

Современная татарская проза

Выпуск 1

Казань

Татарское книжное издательство

2007

УДК 821.161.1–3

ББК 84 (2Рос=Тат)–4

С56

Составители:

Лилия Газизова, Сергей Малышев

Редакционный совет:

Зиля Валеева (*председатель*)

Ильфак Ибрагимов

Ким Миннуллин

Дамир Шакиров

Рафис Курбан

Альфат Закирзянов

Марсель Галиев

Лилия Газизова

Сергей Малышев

Современная татарская проза / Пер. с татарского; сост. Л.Газизова, С.Малышев. — Казань: Татар. кн. изд-во, 2007. — 670 с. — 2000 экз. ISBN 978–5–298–01511–0

В книге представлены образцы современной художественной и документальной татарской прозы. Круг затронутых тем широк: город и деревня, сегодняшний день и прошлое, наши соотечественники за рубежом.

ISBN 978–5–298–01511–0

© Татарское книжное издательство, 2007

© Газизова Л.Р., Малышев С.В., составление, 2007

От составителей

Перед Вами сборник современной татарской прозы в переводе на русский язык.

Кому не знакомы книги Аделя Кутуя, Абдрахмана Абсалямова, Амирхана Еники, Гарифа Ахунова, Мухаммета Магдеева, которые и сегодня пользуются успехом не только среди татарских, но и среди читателей других стран. В советское время их произведения много переводились на русский язык.

К сожалению, современная татарская проза мало знакома русскоязычному читателю. Отдельные произведения малой формы часто публикуются на страницах периодической печати республики, но не дают и приблизительного представления о сегодняшнем лице татарской литературы.

Составители этого сборника старались представить многообразие татарской литературы, включая ее нетрадиционные жанры. Никто не может охватить взглядом все небо. Удивительность и неповторимость татарской прозы похожа на небо.

История татарского народа, насыщенная трагическими событиями, всегда была и остается одной из главных тем писателей. Боль эта выражена в произведениях таких писателей, как Туфан Миннуллин, Мусажит Хабибуллин, Марсель Галиев, Роберт Батулла, Айдар Халим, Ркаил Зайдулла...

Жизнь современного города и деревни также волнует татарских литераторов: Фаниса Яруллина, Заки Зайнуллина, Шагинура Мустафина, Набиру Гиматдинову, Мадину Маликову...

Многообразие жанров, тем и литературных приемов поможет читателям понять, что эту книгу создавал народ незаурядный, имеющий право на большое будущее.

Многих авторов беспокоит отход от исторических и культурных традиций своего народа. Впрочем, всем татарским писателям дорога их история, их народ.

Татары на протяжении многих десятилетий не имели возможности знать свою культуру и историю в полном объеме. Мы надеемся, что эта книга поможет и самим татарам больше узнать о самих себе, представители же других национальностей смогут ближе познакомиться и полюбить народ, с которым волею судьбы живут на одной земле.

Книга сделана силами в основном казанских переводчиков-татар, которые в совершенстве владеют обоими языками.

*Лилия Газизова,
Сергей Малышев*

БЕЗ РОДИНЫ

Ханафи сегодня проснулся с твердым намерением приготовить плов и по-настоящему отметить мусульманский праздник Курбан-байрам. О нем он услышал вчера, по радио. Услышал и удивился — оказывается, с тех пор как покинул он родину, берег родной Идели, ни разу и не вспомнил об этом празднике. Кто же виноват? Сам он или Джинни, с которой связал свою судьбу? Нет, Джинни, пожалуй, не виновата. Стало быть, Ханафи сам стал забывать обычаи предков. Нет. Так нельзя! И без того многого он лишен. Из-за мытарств и долгих скитаний по чужбине память Ханафи мало-помалу стала затуманиваться, а душа — черстветь. Теперь, когда ему за пятьдесят, неплохо бы очиститься и воздать дань уважения предкам. А если приготовить плов из мяса молодого барашка, будут рады и Джинни, и Иделия. Да и самому приятно поесть в охотку. А то все спагетти да спагетти.

Когда Ханафи вышел на крыльцо, солнце только-только поднималось. Джинни и Иделия еще спят. На бензоколонке тихо, полное безмолвие и в простирающейся вокруг прерии. Асфальтовое шоссе, пролегающее рядом с бензоколонкой, обоими концами теряется вдаль; и на нем нет никакого движения.

Ханафи еще с вечера расклеил объявления, что бензоколонка «В тени пальм» сегодня работать не будет. Праздник значит праздник.

Ханафи с удовольствием потянулся и, сойдя вниз, направился в сторону сада, где росло много разных деревьев. Вот только жаль, посаженные им березки не принялись. Видать, не подошел им сухой климат Нью-Мексико. Правда, у одной у самого корня появился молодой побег, но такой уж хилый. Однако Джинни это ничуть не волнует: «А чего огорчаться — все равно они не дают плодов!» — «Но разве дело в этом? — отвечает ей Ханафи. — Как приятно слушать шелест их листьев при легком дуновении ветерка... А если березовый веник в бане сначала запарить, а потом положить на лицо, какой аромат начинает он испускать!.. » — «Здесь и без бани жарко», — возражает Джинни. «Так-то оно так... но ведь береза исцеляет не только тело, но и душу. Она пахнет родиной. Она, словно живая, связывает меня с берегом родной Идели!»

Джинни не спорит. Да и чего спорить. Посаженные ею апельсиновые деревья и виноград вот уже который год дают отменный урожай. И овощи у них растут, правда, не очень много. Воду из колодца приходится экономить для обслуживания клиентов бензоколонки. Дожди здесь редкость. Прерия уже ранней весной становится словно выжженная. Поэтому и соседи-фермеры в основном занимаются животноводством. Редко кто сеет пшеницу и хлопок.

Ханафи сел на скамейку на краю бассейна и залюбовался виноградником, который, словно зеленый купол, закрывал часть бассейна. Зеленые и лиловые гроздья уже налились соком. Райский уголок, да и только. Бассейн шириной в пять, а длиной в двенадцать метров. Плавай себе на здоровье. Воды по самую грудь. Жалеть воду для бассейна грех. Здесь, в прерии, в самую жару искупнуться — одно удовольствие.

Ханафи любит, сидя в шезлонге и потягивая сигару, наблюдать за купанием жены, как она плещется нагишом, разбрызгивая вокруг себя воду. В воде черные кудри Джинни рассыпаются по всему телу и делают ее еще краше. Ну а если Иделия начинает плескаться... Успеет только крикнуть: «Папа, смотри, я ныряю!» — и прыгает в воду. Резвится, словно рыбка, доставляя Ханафи особую радость.

Да, не скажешь, что прерия. Дом со всеми удобствами. Просторные комнаты, хорошая обстановка. И чего не понравилось Майклу? Оставил все Ханафи, а сам уехал куда-то. Видать, доходы его не устраивали.

Эта дорога соединяет город Розвел с рудником. Когда проложили более короткую, движение здесь сократилось, и на бензоколонке выручки стало меньше. Однако хозяин не стал закрывать ее, а начал подыскивать себе замену.

Такой человек нашелся. Им оказался эмигрант Ханафи. После всех скитаний и мучений ему сразу понравилось это уединенное местечко. Устав от работы задарма в колхозе у себя на родине, пострадавший на войне и в концлагерях, Ханафи, попав сюда, сразу смекнул, что здесь он сможет спокойно жить и работать, ни от кого не завися. Правда, Джинни на бензоколонке не очень понравилось. Она хотела жить в более оживленном месте. Но Ханафи, чтобы жена не скучала, часто возил ее на машине

в ближайший город. Потом родилась Иделия. Завели они корову, овец, начали выращивать овощи — работы обоим прибавилось. Так, день за днем, год за годом незаметно проходила жизнь. Ханафи заправлял машины, наливал масло, делал мелкий ремонт, а Джинни здесь же, на бензоколонке, продавала сэндвичи, кофе, колу... Между делом успевала и пококотничать с мужчинами. Последнее Ханафи недолюбливал, но зная, что у итальянских женщин это в порядке вещей, скандалов не устраивал. Да и не будь Джинни такой проворной, игривой, не женился бы на ней Ханафи и сюда бы не приехал. Одним словом, что ни говори, грех на жену жаловаться, и поэтому ничуть не будет лишним угостить ее пловом.

Обдумывая, какого барашка он зарежет и какой отменный плов приготовит, Ханафи не торопясь и с наслаждением потягивал толстую сигару. Спешка здесь ни к чему. Времени достаточно, все он успеет. Вначале, пожалуй, надо как следует побриться!

Тихо войдя в дом, Ханафи бросил взгляд на комнату дочери. Погруженная в глубокий сон, она даже не почувствовала, что одеяло сползло на пол. Ханафи, ступая мягко, как кошка, вошел в комнату и укрыл дочь.

«Красивая доченька моя, вся в мать», — залюбовался ею Ханафи. Одно только плохо — не говорит она ни по-татарски, ни по-итальянски. Да и сам Ханафи, кажется, стал забывать родной язык.

Джинни хорошо. В городе она общается со своими соотечественниками. Немного говорит по-испански и быстро сходится с переселенцами из Мексики... Да, не суждено было Ханафи встретить здесь суженую из своего рода-племени. И со своей единственной дочерью он вынужден говорить на чужом, английском языке...

...Еще шла война. Около пятидесяти татар-военнопленных перевезли из Польши в Италию, в Анкону, портовый город на Адриатическом море, где заставили грузить оружие и продовольствие. После успешных наступлений американцев немцы стали беспокоиться, что могут лишиться своих запасов сырья и прочих материальных ценностей, и решили все переправить назад, в Германию.

Работали военнопленные около полутора суток без передышки, но погрузить все не успели. Американские самолеты бомбили без остановки. А потом начали палить из орудий. Немцы, а вместе с ними и пленные начали отступать на север страны. Вначале шли берегом моря.

По утрам, когда солнце только-только начинало восходить, море становилось сказочно красивым: волны бесшумно накатывались на берег, а с поверхности воды поднимался пар. Идиллия!

Но что самое поразительное — здесь пленных уже никто не охранял. Во время привалов они непременно купались в море, знакомились с местными жителями. Одно было плохо — незнание итальянского языка. А молодые итальянки такие смелые, решительные, сами заигрывают с парнями, громко смеясь, ныряют за ними в воду. Парням же только этого и надо. Не хочется и уходить!

Но вскоре пришлось перебираться в глубь материка, чтобы рыть окопы на новой линии фронта. Кто-нибудь из немецких офицеров определит участок работы, а сам куда-то исчезнет. Пленные как будто вовсе и не пленные.

Кормили их хорошо. А поскольку вокруг были сплошные виноградники, винограда можно было есть столько, сколько хочешь, никто не запрещал. После работы можно было сходить в ближайшую деревушку, посмотреть на жизнь местных жителей. Итальянцы — народ открытый и щедрый, могли и угостить чем-нибудь.

Однажды после работы Ханафи отправился в деревушку и там вошел в один из домов. Его встретили приветливо, как старого знакомого, повели в сад и, усадив в плетеное кресло, с интересом стали разглядывать. В доме, похоже, кроме женщин и детей никого не было. Одна из женщин, что постарше, принесла гостю бокал с каким-то напитком. Ханафи, решив, что это апельсиновый сок, выпил его залпом. Но это оказалось вино! Ханафи стал жестами показывать, что хорошо бы чем-нибудь закусить. К тому же он был совершенно голоден.

Сеньора, подумав, что солдат просит еще, принесла второй бокал. Ханафи и его пришлось опустошить. Вино ударило в голову, и Ханафи, по-дурацки улыбаясь, дал понять, что ему не пить, а пожевать бы чего-нибудь. Наконец сеньора, поняв его, крикнула что-то в дом. Появилась ее дочь. В ней Ханафи узнал одну из девушек, с которыми он купался в море. Эта была Джинни. В руках она держала тарелку с чем-то похожим на студень.

Проголодавшийся Ханафи начал за обе щеки уплетать это незнакомое кушанье. Сказать, что из мяса — очень мягкое, но и не из рыбы. Но оно оказалось таким сытным, что Ханафи смог съесть только половину. Оставшееся намазал на хлеб, чтобы забрать с собой, что вызвало невольную улыбку у хозяев.

Только вернувшись к ребятам, Ханафи понял, что в гостях его угощали не чем иным, как заливным из моллюсков. Фу!.. Его чуть не стошнило! Знал бы раньше, в рот не взял! Но так вышло, что именно это экзотическое кушанье связало его с Джинни на всю оставшуюся жизнь...

Пока жена и дочь не проснулись, Ханафи решил съездить в город, чтобы докупить все необходимое для плова, — редьку, барбарис, пряности. В кои веки собрался готовить плов, так пусть все будет по правилам. У себя на родине он не раз наблюдал в богатых домах, как его готовят!

Включив машину, Ханафи тихо тронулся с места. До городского рынка семьдесят километров. Разве это расстояние? По ровной дороге прокатиться с ветерком одно удовольствие! Да, удивительная страна эта Америка — даже в прерии дороги ровные, гладкие!

Джинни, наверное, еще спит... Ханафи до мелочей помнит их первое свидание. Теплыми сентябрьскими вечерами он не раз бывал в том гостеприимном доме. Его щедро угощали фруктами, виноградом... Но слаще всякого винограда были губы Джинни. Манящие упругие девичьи груди... А вьющиеся черные волосы при свете луны делали лицо девушки необыкновенно красивым! Ханафи казалось, что ему никогда не надоест целовать ее щеки и пухлые губки. Не находя слов для выражения своих чувств, он только и делал, что целовался с ней.

Пленных здесь кормили так же хорошо, как и немецких солдат. Ханафи поправился и окреп физически. Джинни же словно только что распутившийся цветок, да сорвать некому — все ее сверстники-парни полегли на полях сражений.

Немцы, хотя итальянцы и были их союзниками, смотрели на них свысока и не желали учить их язык. Ханафи находил в итальянцах много схожего с татарами и за два месяца пребывания здесь успел выучить немало итальянских слов и довольно сносно говорил. С удовольствием слушал итальянскую музыку — она ему напоминала татарскую. Это нравилось родителям Джинни, и они встречали Ханафи со всем своим радушием и теплом.

Однако вскоре бои переместились. Сначала в Австрию, а затем в Баварию.

Ханафи работал в запасном батальоне. Был ранен. А после окончания войны дал себе слово: на родину не возвращаться; знал, что там «изменнику Родины» пощады не будет. Он решил поехать в Италию, жениться на Джинни, сменить фамилию, замести следы и скрыться от энкавэдэшников.

Слухи об американской технике, об американском образе жизни, о том, что в Америке даже солдаты-негры едят шоколад, свидетельствовали о богатстве этой страны. Многие мечтали уехать туда. У Ханафи это желание переплеталось со стремлением спасти свою жизнь.

Несмотря на благодатный климат и природу Италии, послевоенная разруха и голод заставили Ханафи с Джинни тронуться с места и отправиться на поиски спокойной и сытой жизни. Товарищи Ханафи по лагерю тоже разъехались кто куда, некоторые приехали в Америку. Вначале они переписывались, но потом перестали. Жизнь на новом месте засосала всех...

— Хэллоу, маэстро! Какими ветрами?

— Мистер Хана? Салют! Рад вас видеть! Отдыхаете? — слышал Ханафи, пока ходил по рынку. Это были его клиенты. Ответив на их приветствия и перекинувшись парой слов, Ханафи не стал долго задерживаться. Купив все, что нужно, он тронулся в обратный путь.

...На новом месте самым радостным событием для Ханафи было рождение дочери. Джинни хотела ребенка назвать Цицелией. «А почему Сицилия? — подумал Ханафи. — Почему не другое, более понятное и близкое его сердцу имя?»

Несколько дней ломал он голову. Наконец остановился на имени Идель. Но оно вроде больше подходит для мальчика. Тогда Иделия! Джинни, похоже, не понравилось это странное имя, но вслух она произнесла: «Идеал! А если сокращенно — Ида!» Что ж, пусть будет так. Должна же она сделать что-нибудь приятное своему Хане!

Когда Ханафи вернулся домой, жена и дочь сидели за завтраком.

— Мы тебя потеряли. Где ты был так долго? — спросила Джинни.

— Сегодня у татар праздник. Я решил приготовить татарское блюдо. Съездил на рынок за продуктами.

— Как это пришло тебе в голову?

— Вспомнил. Да и спагетти нужно дать передышку.

— Верно, — поддержала его дочь. — О'кей, попируем от души!

Ханафи, довольно улыбаясь, сказал:

— Все будет готово к обеду. Будьте дома!

Пока Ханафи за хлебом разделявал барашка, слышался шум мотоцикла.

— Кто это? — спросил он у проходившей мимо Джинни.

— Хуан.

— Что за Хуан?

— Разве ты не знаешь? Дружок Иды.

— Тот самый Горилла? — Ханафи видел этого здоровяка несколько раз и недолюбливал его, — черный, как негр, хотя и метис.

— Да.

— Что ему надо?

— Уехали с Идой в город.

— А ты напомнила ей, чтобы вернулась к обеду?

— Напомнила.

— Тоже мне, нашла время для развлечений...

— Что поделаешь. Молодежи трудно усидеть дома. Селяви. Такова жизнь!

Ханафи не стал прерываться, хотя настроение его и было испорчено... Похоже, дочь вся в маму — на уме одни развлечения. Даже не поинтересовалась, что за блюдо собирается готовить отец, сказала лишь: «попируем от души». Как будто он вино собирается делать! Какая ветреная!

Поворчав про себя, Ханафи развел перед домом очаг, установил на него чугунный казан. Налил много растительного масла — не каждый день готовится плов, пусть его будет побольше. Когда масло разогрелось, кинул в него нарезанный кольцами лук и, помешивая, довел его до золотистого цвета. Потом бросил нарезанное крупными кусками мясо и, также помешивая, поджарил его до появления румяной корочки, налил немного, чтобы покрылось мясо, воды, слегка посолил и, уменьшив огонь, принялся резать соломкой морковь. Глядя на «священнодействие» мужа, Джинни только улыбалась.

Когда вода выкипела, Ханафи выложил морковь. Слава Аллаху! Все идет, как и было задумано: мясо, сверху морковь... Теперь можно положить специи, пряности. И пусть все тушится. Рис Ханафи вымыл самым тщательным образом — пока вода не осталась прозрачной. Выложил его поверх моркови и, выровняв, осторожно налил воды на полпальца, добавил соли и прибавил огня. Между делом взглянул на часы — время приближалось к обеду, а дочери все нет.

— Когда же вернется Иделия? — обратился он к появившейся в дверях супруге.

— Загулялась, наверное, и забыла. Молодая ведь. Может, мне поехать за ней? — спросила Джинни, почувствовав недовольство мужа.

Ханафи промолчал и только продолжил свое священнодействие. Джинни его молчание истолковала по-своему и, быстренько сев в машину, отправилась в город.

Когда казан закипел, Ханафи уменьшил огонь и подождал, пока вода не выкипит полностью, затем закрыл его плотно крышкой и, еще больше уменьшив пламя, оставил плов доходить, а сам, зайдя в дом, начал накрывать стол. Нарезал мелко редьку, расставил приборы. Спиртное не стал выставлять — достаточно и персикового сока. А может, лучше заварить чай, как на родине?..

Стол готов. При каждом шуме мотора Ханафи подбегал к окну, но ни жена, ни дочь не появлялись. Вот и верь после этого женщинам. Стоит им отлучиться из дому, все на свете позабудут. И этот Горилла еще, пятое колесо в телеге, и откуда он взялся? Мексиканцы вообще мастера соблазнять девушек. Только и знают, что целыми днями носятся на мотоциклах. А Иделия такая доверчивая и влюбчивая. Даже в присутствии старших рвется в объятия парня. А что вытворяет, когда они наедине? О Аллах! Подумать страшно!

Плов окончательно дошел. Ханафи снял казан с огня и завернул в плотную ткань. Несмотря на это, аромат от плова распространился на всю гостиную. Самое время начинать! Ах, если бы все были дома!

Как хотелось Ханафи отметить этот праздник в кругу семьи, хотелось услышать похвалу за такое отменное угощение!

Потеряв всякое терпение, он позвонил в Розвел знакомым Джинни. Разумеется, не стал о ней спрашивать. И так ясно — они и сами бы заговорили, если бы встретили ее. А время перевалило за три. День начал клониться к вечеру. Ох, не к добру все это, забеспокоился Ханафи. Молодежь, забыв о всякой осторожности, любит мчаться на полной скорости. Как бы чего не случилось! А у Ханафи ближе Иделии никого нет. Пусть нет в ней ничего татарского, но это его плоть, его кровинушка.

Ханафи, обеспокоенный вконец, вышел на крыльцо, выкурил сразу несколько сигар, но ни жена, ни дочь не появлялись... Когда у бензоколонки затормозила полицейская машина, сердце у Ханафи чуть не остановилось.

Полицейский, не выходя из машины, поздоровался и спросил:

— Как дела, мистер Хана? Отдыхаете сегодня?

У Ханафи отлегло от сердца.

— Спасибо. Хорошо. Отдыхаю. — Немного постояв в нерешительности, сам обратился к полицейскому:

— Я дочь поджидаю. Вам она не попадалась по дороге?

- Она на машине?
- Нет, на мотоцикле. Со своим другом. Обещала вернуться к обеду, но до сих пор ее нет.
- А сколько ей лет?
- Шестнадцать исполнилось.
- О'кей! Не беспокойтесь, мистер Хана, вернется. Она уже самостоятельная. Вышла из-под вашего контроля.

Полицейская машина, выпустив клубы синего дыма, тронулась с места. А Ханафи, не успев ничего ответить, так и остался стоять в растерянности. Как это самостоятельная? Как это вышла из-под его контроля? Ведь она такая хрупкая, такая несмышленная, совсем еще ребенок! А может, только Ханафи так кажется и, действительно, зря он беспокоится?

Ну ладно, Иделия по молодости могла забыть об обещании. Но где носит Джинни? Ее почему нет? Может, машина в дороге сломалась? Вообще-то у Джинни много в городе знакомых, и она частенько там пропадает... Но сегодня, в такой день, да еще когда Ханафи предупредил заранее!

Ехать за ней машины нет. Да и не приличествует как-то разыскивать жену. Ханафи, стараясь подавить обиду и гнев, вошел в дом и включил радиоприемник. Эфир полон звуков. Передачи на английском языке, испанском. Прорывается русская, итальянская музыка. Он привык к итальянской. Джинни часто поет свою любимую «Санта-Лючию», да и пластинки у них с итальянской музыкой есть. Вот только с татарской нет. Не доходят они из-за «железного занавеса». Будто татары на другой планете живут.

Так и сидел Ханафи, снедаемый тяжелыми думами, и не заметил, как начали сгущаться сумерки. Горизонт окрасился в багрово-красный цвет. Что-то нужно было делать.

Ханафи на попутной машине решил съездить в Розвел. В город он приехал, когда там уже горели огни. Обойдя кафе и кабаре, где обычно бывала Джинни, в одном из них он увидел свою супругу. Она сидела у самой сцены. Ханафи сразу понял, что супруга навеселе. Все ее внимание было приковано к маленькой, ярко освещенной сцене, где невысокого роста певец вдохновенно пел «Санта-Лючию». Кривоногий и внешне неказист, но голос приятный. Певец, похоже, воображал себя Карузо, и потому аплодисменты принял как должное. Потом, спустившись со сцены, подсел к Джинни. Она что-то ему сказала, скорее всего похвалила, и он, потянувшись через стол, поцеловал ее. Затем они чокнулись и опустошили бокалы.

Ханафи, весь переполненный ядом, так и стоял в своем темном углу. Вот почему Джинни все время рвется в город! Ведь она приезжает сюда каждую неделю! А Ханафи, поглощенному работой, и в голову не приходило, что Джинни способна на такое коварство. Но что делать ему сейчас? Подойти и надавать пощечин жене или поколотить этого «Карузо»? А что, если вся вина Джинни в том, что она приезжает сюда, чтобы только услышать итальянские песни и таким образом заглушить свою тоску по родине?

Ханафи решил не поднимать шума. Отыскав на стоянке машину, отправился в обратный путь. Жена пусть добирается как знает — ведь два удовольствия не бывает враз!

Машина мчалась на полной скорости, не сворачивая ни влево, ни вправо. Так и мысли Ханафи были только об одном — будь он на родине, не случилось бы с ним такое. Вся беда в том, что оказался он на чужбине, где другая жизнь, другие нравы. Война отняла у него родину. Он вынужден был пустить корни на новом месте. И вот что из этого получилось.

Когда Ханафи вернулся домой, плов еще был теплый. Иделия не возвращалась. В доме гробовая тишина. И только в хлеву голодные корова да овцы подавали признаки жизни. Ханафи достал из бара бутылку мартини и наполнил стакан, но, вспомнив про мусульманский праздник, вздрогнул и не стал притрагиваться к спиртному.

Совсем подавленный, сел он на диван и, обняв две подушки, надрывно начал шептать:

— Эх, дорогой мой отец Мухамматнур, эх, дорогая моя матушка Шамсебану, для чего вы родили меня на белый свет? Нет вам никакой пользы от меня, и я несчастлив! Не наслаждался я вдоволь вашей заботой и лаской и, словно неоперившийся птенец, выпорхнул из родительского дома. А что дала мне родина? Ничего, кроме ужасов войны и кошмара концлагерей. Разве это ваше благословение? За что я наказан, за какие грехи? Ведь за всю свою жизнь я не обидел ни одно живое существо!

— Дорогой мой отец, дорогая моя матушка! Теперь я далеко от вас, я среди чужих людей. И нет у меня родины, — продолжал горячо шептать Ханафи, вытирая рукавом выступившие слезы. — Далек-далек от меня земля моих предков, земля, где я родился и вырос. Как я ошибался, думая, что родина там, где твой дом и стол. Теперь я вижу, что это не так! Родина — это значительно большее. Родина там, где живут люди одной с тобой веры, уважающие те же обычаи и нравы, что и ты, готовые в тяжелые минуты утешить тебя. Родина — это любовь к ее людям, к ее природе, это твое прошлое, настоящее и будущее. И хлеб на родине самый вкусный... Воздухом родины дышишь не надышишься. На родине ночи звездные, зимы

снежные, лето теплое, а земля мягкая. И нет места лучше, чем родина. И такие, как я, не покидают родину по доброй воле. Как теперь вырваться отсюда? Кто мне поможет? Ох...

...Не было конца и края тяжелым думам Ханафи, как и не было пути назад...

— Дорогие мои отец и матушка, что мне делать, как мне быть? Подскажите своему заблудшему сыну! — сквозь рыдания шептал Ханафи, еще крепче прижимая к себе подушки. Сердце его гулко стучало.

Словно обезумев, схватил он топор с длинной рукояткой и вышел в сад, где росли апельсиновые и другие деревья. И в ярости начал направо и налево размахивать им — не одной же Джинни развлекаться! Наконец, обессилив, вернулся в дом, рухнул на диван и тут же провалился в сон.

Утром его разбудил шум машин. Солнце уже взошло, и его лучи проникали в комнату.

Подумав, что вернулись Джинни и Иделия, Ханафи вышел на крыльцо. Но это сигналили водители, остановившиеся для заправки машин.

— Хэллоу, мистер Хана!

— Пора вставать, работа ждет вас!

Ханафи спросонок посмотрел на водителей, а потом оглядел сад. Увидев поваленные деревья, шатающейся походкой подошел ближе. Вместе с апельсиновыми деревьями на земле валялся совсем еще слабый молодой росток березы, которая должна была согреть его душу и напоминать о родине...

В хлеву мычала корова, блеяли овцы — просились на волю. Несчастные создания! Однако в эти минуты Ханафи сам ощущал себя самым несчастным созданием на земле.

И где до сих пор носит эту Иделию? А ведь сколько смысла вложил в ее имя Ханафи... Лелеял и пестовал свою единственную дочь в надежде, что она станет его опорой, его утешением на старости лет. А беспечная Ида, забыв об отце, мотается неизвестно где...

Да здесь и Ханафи не Ханафи, а всего лишь какой-то мистер Хана. Нехотя, словно робот, зашагал мистер Хана в сторону бензоколонки, чтобы продолжить свою работу.

Перевод Гузель Садыковой

ОСТРЕЕ МЕЧА, ТОНЬШЕ ВОЛОСКА

(Последние дни поэта)

ГАДАЛЬЩИК

скорее после спешного ухода Хусаина Ямашева в дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения, в комнату почти ворвался человек в лохмотьях.

— Кто там? — крикнул Тукай, раздраженный беспардонностью пришельца.

— Это я, базарный нищий, — ответил вошедший.

Тукай смотрел в окно, беспокоясь за Ямашева, и, не поворачиваясь, предложил:

— Проходи, карманный вор Сенного базара! Сколько чапашек стащил с прилавка? Штаны сползают — нет ремня, был бы ремень, да не на что купить, да? Вон на столе рубль! Возьми! Чего замешкался?

— Прошел! — сказал нищий. — Если бы даже не разрешил, я все равно бы прошел.

Тукай повернулся и увидел мужчину:

— Карамалай, ты, что ли?

Незванный гость, не стесняясь, уверенно вымолвил:

— Можно назвать меня и Карамалаем. Можно и бабаем. Я не умею обижаться. Если даже пинком выпроводишь, все равно не останусь в обиде. Каждому пинку обижаться — и вдоха не хватит на обиды. Так ведь, Тукай эфенди?

Тукай слегка покашливал. Он что-то хотел сказать, но кашель мешал.

— Вздох и воздух и тебе необходимы, Тукай.

Намек нищего на болезнь кольнул самолюбие поэта.

— Кто ты? — спросил он.

— Нищий. Вот ходят слухи, что Тукай лежит при смерти... Навестить захотелось больного...

Тукай насторожился.

— При смерти? — проговорил он. — Откуда ты это взял?

— Да вся толкучка говорит об этом. Прихожане в мечетях твердят, что опасно болен...

— Что тебе от меня нужно?

Гость оказался не из пугливых:

— «И молвил смелый дровосек: «Что тебе от меня надобно?»

Станный нищий... процитировал слова из поэмы «Шурале».

— Ты кто? Шурале?

Нищий засмеялся:

— Остроумно! Но ты немного ошибся, поэт я, не Шурале, я — Шауля!

— Шауля? Это что, твоя кличка?

— Нет! Не кличка. Шауля значит силуэт или фигура. Зовите меня Шауля, и все!

— Чья же ты тень?

— Не тень, Тукай эфенди, а Шауля! Силуэт! — возразил гость.

— Какая разница? Что тень, что силуэт! — недовольно сказал Тукай.

Шауля прошел в середину комнаты и, как учитель, разъясняющий трудный урок туповатому ученику, начал ходить взад-вперед, размахивая руками.

— Эфендим! От дерева падает тень. И у забора есть тень. И человек имеет свою тень. Тень не отстаёт от своего хозяина. Или же находится рядом с ним, когда хозяин недвижим. Шауля, то есть силуэт, не может быть тенью. Шауля — силуэт является самой сутью предмета. Когда солнце заходит, на горизонте рисуется не тень деревьев, а их силуэт. Если туда кто-то попадет, видна будет не тень его, а силуэт. Тень можно увидеть только лишь при солнечном свете, днем. А силуэт — нечто темное, зловещее, тревожное. Силуэт — человеческая фигура, всегда там, где творятся омерзительные преступления.

Шауля остановился, с еле заметной вопросительной улыбкой посмотрел на Тукая.

— Прелюбопытная философия, — ответил Тукай.

Шельмец его немного развлек. Не похож на остальных попрошаек, — у этого бродяги голова есть. Вслух же сказал:

— Я как-то не подумал об этой разнице. Интересный ты человек, Шауля!

— Ты большой поэт, Тукай! Много видишь через «розовые очки». Но мечты не всегда сбываются. Жизнь — штука сложная... Скажем, люди вокруг. Одни кажутся тебе друзьями. Но немало и таких, что возражают тебе, перечат. И ты считаешь их врагами. Очень возможно, что тот, кто сладкословит, твой враг. А возражающие — твои друзья. Таким образом, ты своих врагов греешь, а настоящих друзей заставляешь страдать. Потому что твой характер таков... Ты из-за своего характера самому себе, и своему народу, и литературе приносишь вред.

Шауля замолчал. Но не из-за того, что исчерпал запас слов, кажется, он остановился, чтобы испытать Тукая, и не ошибся: Тукай задумался.

— Литературе и народу моему я никогда не причиню вреда, Шауля, — сказал он.

Гость иронично улыбнулся.

— Если Тукай приносит вред самому себе — значит, он вредит и народу. Потому что Тукай есть народный поэт.

Габдулла повернул голову в сторону гостя, посмотрел прямо ему в глаза и резко спросил:

— Ты кто?

— Я же сказал: Шауля!

— Чья ты тень или силуэт?

Он начал выходить из себя. Шауля же не испытывал беспокойства. Наоборот, он почувствовал себя увереннее. Паясничая, встал в позу и продекламировал:

— Я силуэт великого держиморды, царского самодержавия, двуглавого черного стервятника! Я тень великого русского шовинизма!

Несмотря на то что Шауля паясничал, он казался очень уж серьезным.

Патетические слова сильно подействовали на поэта. Заметив растерянность Тукая, нищий рассмеялся: мол, он просто шутит.

«За такие слова сегодня и на каторгу угодить можно», — подумал Тукай.

Шауля как будто прочитал его мысли:

— Нам, нищим, и каторга не страшна. Не все ли равно, где околоть? Нищий не боится ни холода, ни жары. Нищий не страшится свободы.

— Интересный ты человек, — сказал Тукай. — А чем кормишься?

— Предсказатель я, Абдулладжан!

— Цыган, что ли?

— Не цыган, не черт, а прорицатель. Погадать тебе?

— Ну-ка, скажи мне, что про меня знаешь?

Шауля подошел вплотную к Тукаю, взял его правую руку и начал внимательно изучать линии на ладони.

— О-о, я про тебя очень многое знаю... — сказал гадалщик. — Но за пророчество необходимо платить, господин Тукаев!

— Вон там, на столе, один рубль серебром, — кивнул Тукай.

— Щедрый ты, господин мой, — сказал нищий, не отрываясь от ладони Тукая. — Ну-ну... так-так... А еще что дашь за мой труд?

Тукай рассмеялся:

— Ты ведь еще не предсказал мне будущее! Хитер ты, бродяга.

Шауля, отбросив руку Тукая, подошел к столу, взял рубль и опять уткнулся в ладонь поэта. Что-то пробормотал себе под нос и наконец сказал монотонным голосом, как будто разговаривал сам с собой:

— Говорят базарные «гортани», что ты последнее отдаешь просящему... что у тебя в комнате всегда полно народу... Сегодня я, наверное, первый, кто к тебе пришел...

— Ошибся, Шауля. Я всегда одинок!

— Ты сказал неправду, Тукай... Ладно, пусть будет так... Хо-о, линии, дороги... Хо-о, тебя впереди ждут перемены... — прорицатель улыбнулся, тихонько засмеялся и произнес: — Любовь! Черноволосая, чернобровая, черноокая — красивая девушка. Она влюблена в тебя. Кажется, ты тоже, — гадалщик помял ладонь и сказал таинственным голосом: — Большое богатство само идет к тебе в руки. Точно не смогу сказать... деньги это или... А-а, ты женишься на богатой девушке.

Тукай, забывшись, слушал фантазии Шаули, готовый поверить предсказаниям, хотя никогда не доверял гадалкам. У него поднялось настроение, он рассмеялся:

— Насобачился ты обманывать честной народ! Любви не надо, но от денег я бы не отказался.

Рассмеялся и гость.

— Я тебя люблю, Абдулладжан! — сказал Шауля. — Смелость твоих стихов, прямоту твою люблю... «Я латаю рваную одежду моей нации... Нитки — мои чернила, иголка моя есть остро наточенное перо. Ежедневно ты доносишь на честной народ, ты тот, кто плюет в колодец...» Надо ж так смело писать! «Ты дьяволово отродье...» Х-ха-ха, я знаю, про кого ты написал эти строки... Гениально...

Он смеялся долго, прикрывая рукавом свой рот, чтобы не были видны его желтые гнилые зубы.

Тукай строго сказал:

— Все! Хватит, Шауля! Я сяду работать!

Тот, не попросив разрешения, взял кусок колбасы, разломал его, сравнил куски, маленький положил обратно, а большой засунул в рот и стал жевать. И со словами: «Шпашибо, Токай! Пардун, Токай!» — вышел из комнаты.

ТАИНСТВЕННАЯ КРАСАВИЦА

...Тукай стоял посреди комнаты и смотрел в пол, будто изучая рисунок ковра.

На душе было тревожно. Все вокруг него говорят какими-то намеками; видно, они знают то, что он сам не знает, но открыто об этом ему не говорят.

Вдохнул холодный воздух и закашлялся. Быстро закрыв приоткрытую дверь, долго со свистом кашлял. Костлявые пальцы лихорадочно шарили по карманам, наконец аспирин нашелся, и Тукай, не считая, положил в рот горсть таблеток, дрожащими руками поднес кружку к губам и запил остывшим чаем.

Наконец успокоился и сел за письменный стол. В дверь постучали, в комнату тихо вошла женщина в парандже:

— Разрешите, Тукай эфенди?

— Вы служанка Мафтуха ханум? Проходите! Сейчас я принесу белье...

— Нет! Я не служанка. Вы меня не ждали...

— Слушаю вас, туташ! — сказал Тукай, не предлагая гостье сесть.

— Ханум! — поправила женщина. — Я замужем.

Тукай встал. Черная кисея — чачван — закрывала лицо посетительницы.

— Простите меня за такой маскарад, Тукай эфенди, — продолжала незнакомка. — Я вынуждена это делать.

Тукай иронично улыбнулся:

— Наверное, вы просто красавица и боитесь, что ваша яркая красота ослепит мой единственный здоровый глаз.

Незнакомка шагнула в комнату.

— Тукай эфенди, прошу вас, будьте снисходительны к бедной женщине. Когда читаю ваши стихи, я плачу. Так мечтала увидеть вас. И моя мечта сбылась! Прошу вас, подпишите, пожалуйста, вот эти книги. Я сохраню ваш автограф для потомков...

Ханум подошла к столу и положила перед поэтом несколько книг.

Тукай взял перо, обмакнул его в чернила и спросил:

— На чье имя писать, ханум?

— Напишите так: «Алтан туташ»!

Тукай поудобнее сел и начал писать:

— Алтан... туташ... Алтан — красивое имя, алая заря, а если кто?..

— Не беспокойтесь, эфендим, — успокоила его незнакомка. — Алтан туташ — это моя сестра.

Тукай подписал четыре книги.

— Прощайте, ханум!

Женщина поблагодарила поэта, но уходить, как видно, не собиралась.

— Главная причина моего появления здесь не это, — она показала на книги. — Автограф был только поводом... — так и не получив приглашения сестры, она села. — Пожалуйста, послушайте меня, эфендим. Я не просто почитательница вашего таланта... Я хочу стать вашей покровительницей. Вы большой талант! — голос ее зазвучал сильнее. — Вы гений, который рождается раз в тысячу лет. Но ценить вас некому. Кто ценит, тот сам нуждается в материальной поддержке. Талант ваш принадлежит не только вам одному. Вы целиком и полностью принадлежите вашей нации. Нашей нации!.. Поэтому вас необходимо особо оберегать... Гении нерусских народов прославились на весь мир. Вы, эфендим, ничуть не хуже Руставели, Фирдоуси.

Тукай без необходимости кашлянул. Женщина истолковала это покашливание по-своему и постаралась опередить его:

— Вы популярны, эфендим. Не только среди татарского народа, ну, скажем, среди тюркских народов...

— ...среди тюркско-исламских народов, — иронично добавил Тукай, — а их половина мира. Значит, я популярен во всем мире.

— Это так. Но есть Европа, Америка...

— Какое дело до них Тукаю?

Женщина растерялась. Но быстро пришла в себя:

— Вы не должны нуждаться ни в чем. Не должны думать о хлебе насущном, заботиться о жите-бытье.

Тукай должен жить только творчеством и творить ради своего народа.

— Я и так творю для народа.

— Бросьте вы гнить в редакциях журналов и газет. Вы не нуждаетесь в хозяине-заказчике! Вы сам хозяин! Никто не имеет права использовать ваш талант в мелких делишках. Вам нужны личный адвокат, чтобы вести дела, прислуга, чтобы заниматься вашим домом. Вы гениальный поэт! В остальном положитесь на меня...

Тукай с интересом слушал незваную гостью.

— Я начинаю понимать... Вы — фон Мекк!

Женщина оживилась:

— Верно, я, как фон Мекк, страстно хочу стать вашей покровительницей.

Она протянула Тукаю золотое кольцо с бриллиантом.

— Вы дочь тайного советника Ахтямова? — воскликнул он, прочитав слова, написанные на кольце.

— Тс-с! — женщина поднесла палец к кисее. — Это кольцо — знак уважения и любви к вам! Берите его!

Тукай быстро протянул кольцо женщине.

— Простите меня, ханум, я не привык принимать дорогие подарки.

Гостья нехотя взяла кольцо из рук поэта:

— Я наслышана о вашей чрезмерной гордости. Не хотите принимать это кольцо собственными руками... тогда я положу его на ваш стол. Второе кольцо останется у меня. Внутри кольца есть надпись, прочтите, эфендим.

Тукай взял кольцо со стола и стал читать:

— «Чем... знать... про Мугайди... понаслышке...»

Незнакомка добавила:

— «...лучше его увидеть хоть один раз». Так написано на втором кольце у меня. Ваше любимое изречение: «Чем увидеть Мугайди в лицо... лучше услышать про него много раз». А я разделила это изречение и написала на двух кольцах, немного изменив: «Лучше увидеть Тукая один раз, чем слышать

про него много раз». Лицезреть вас — большое счастье для меня... Пусть одно кольцо останется у вас, другое будет у меня. После моего ухода можете сделать с ним что угодно. Но только не отказывайтесь от кольца, прошу вас, эфендим.

Тукай сидел в оцепенении.

— Не думайте, что я легкомысленная женщина, — продолжила она уверенным, сильным голосом. — Мой муж достоин уважения, он человек дела, миллионер. Но я не собираюсь покровительствовать вам деньгами мужа. Помогу вам своими средствами. Не отказывайтесь же от моей помощи!

Тукай тихо произнес:

— Ханум-эфенди! Я не сутенер, который живет за счет женщин. Вы меня оскорбляете!

— Умоляю вас, подумайте! Ведь творческая свобода ценнее, чем надменная гордость. Разве не так, эфендим?

— Ханум, разговор окончен! Я не смогу принять ваше предложение! Все!

Тукай вышел из-за стола и подошел к окну, повернувшись спиной к госте.

Женщина шагнула в сторону поэта и продолжила:

— Но ведь только капитал может дать творческую свободу Тукаю — душе татарского народа...

— Когда я слышу слово «капитал», мне становится не по себе, — заметил поэт. — Мне он не нужен. К тому же я не испытываю недостатка в деньгах. Правда, они у меня в кармане не залеживаются. Когда есть — транжирую, всех угощаю. Когда нет — за ними не бегаю. И не беру в долг. Богат тот человек, у кого нет долгов.

— У вас берут в долг и не возвращают. А когда вы в безденежье, поносят вас. Ваша щедрость только плодит тунеядцев. Дармоеды даже крадут вещи из вашей комнаты...

— Пусть крадут. Лишь бы чернильницу и перо оставили.

— Прошу вас, примите мое предложение! Отдайтесь целиком творчеству! Никто не узнает, на какие средства вы живете. Если женское покровительство так задевает ваше самолюбие, записывайте все расходы. Вернете долг после.

Тукай медленно повернулся к женщине — ему импонировало ее искреннее желание ему помочь:

— Вы умная женщина, у вас есть талант убеждать других. Но как вы не понимаете — мой независимый характер не позволяет мне принять ваше покровительство! Простите, ханум, меня ждет срочная работа.

Тукай сел за стол и взялся за перо. Женщина отошла к двери. Потом резко повернулась и, еле сдерживаясь, повысив голос, произнесла:

— Вы отвергли мою помощь. Этого я вам никогда не прощу, господин Тукаев!

Тукай начал громко смеяться. Смеялся искренне, с удовольствием.

— Вы ничем не сможете меня напугать. Бедный человек не боится пожара, ибо у него нет богатства.

Неожиданно для Тукая незнакомка быстро подняла вуаль с лица, скинула чадру... Перед ним предстала прекрасная молодая женщина, светская дама, в модном платье по-европейски. Но на голове у нее был маленький татарский калфак, усыпанный изумрудами. Тукай с восхищением смотрел на красавицу.

— К дочери тайного советника Гаухаршад сватался сам генерал-губернатор. Отказ, наверное, сделал его несчастным на всю жизнь.

— Нет, — сказала красавица, — генерал-губернатор сватал меня полковнику Шаитову...

— А Тукай оказался выше... Да? — губы его саркастически искривились.

— Не смейтесь, Тукай! — голос женщины задрожал. Она вытащила из рукава легкий носовой платок и приложила к лицу.

— Я же ваше будущее, эфендим... Ваши стихи пробудили во мне национальную гордость... Я воспитана в русских гимназиях да на высших петербургских курсах... Меня убедили, что татарский народ никогда не будет иметь свою литературу и культуру. Я глубоко переживаю за будущее татарской нации и хочу ему помочь. Это вы сделали меня такой. И гоните прочь. Я пришла к своему учителю за помощью. Не вы нуждаетесь в помощи, я нуждаюсь в ней. Я тоже, как мой учитель, хочу служить моему народу.

Женщина замолчала. Молчал и поэт. Затем он медленно подошел к ней, осторожно и нежно коснулся рукой ее плеча и твердо сказал:

— Простите меня, ханум-эфенди... Я несколько не сомневаюсь в вашей искренности, но... я не смогу согласиться на ваше покровительство.

Женщина хотела что-то сказать, но Тукай резко отреагировал.

— Ни о чем больше не просите! — в отчаянии выкрикнул поэт. — Скоро вы сами все поймете. Не заставляйте меня сейчас говорить об этом, прошу вас!

— Благодарю, мой учитель! — прошептала гостя смиренно. Потом сняла с пальца второе кольцо и протянула Тукаю:

— Берите, Тукай эфенди, оно уже мне не нужно. Лучше один раз встретить Тукая, чем сто раз его услышать.

Тукай не шелохнулся. Ханум положила кольцо на стол, взяла одну из книг, лежавших на письменном столе, и опять подошла к Тукаю:

— Абдулладжан, подарите мне вашу последнюю книгу на память, прошу вас!

Тукай взял книгу, подошел к столу, взял перо и замешкался.

— Пишите: «Гаухаршад ханум»!

Тукай написал и вслух прочитал:

— «Уважаемой почитательнице поэзии Гаухаршад ханум с искренними пожеланиями! Абдулла Тукай».

Красавица печально улыбнулась.

— Спасибо! Прощайте, Абдулладжан... Прощайте навсегда!

За дверью, в коридоре, послышались голоса и звуки шагов, женщина быстро накинула на себя паранджу и черную кисею, открыла дверь и исчезла.

ПОСЕЩЕНИЕ

Приступы кашля мучили Тукая все чаще и чаще. Настроение ухудшилось. Чтобы меньше его беспокоить, друзья старались приходить реже. Целыми днями поэт валялся в постели под двумя одеялами.

...Послышался скрип осторожно открываемой двери.

— Входите! Дверь открыта. Кто там? — спросил Тукай, приподнявшись на локте. — А, это ты, Шауля, базарный пророк!

Он обрадовался приходу нищего — все ж живая душа, заказал чай и пехлеве. Гость сперва налил чаю больному, потом — себе.

— Как твое настоящее имя, Шауля? — спросил Тукай по-дружески.

— Кто его знает? — отпарировал нищий. — У базарных нищих не бывает своих имен, у них только клички.

— И все же? — не отставал Тукай.

— Что бы я тебе ни сказал, все будет неправдой. Если скажу, что меня зовут Абдульман Фаррахович Зулфикаров, то будет неправда; будет и ложью, если скажу, что мое имя Ильминский Иван Николаевич...

Тукай обиделся — этот нищий с ним в кошки-мышки играет. Соскочил с постели:

— Не смей так разговаривать со мной! В гневе я страшен!

Шауля равнодушно заметил:

— А мне наплевать на твой гнев! Не сержусь и за то, что взял меня за шиворот. Этот воротник уже много раз рвали... Не обижусь, если выставишь, как паршивую собаку, на улицу, дав пинка под зад...

— С чего это тебя тянет быть битым?

— То место, которого коснулась нога или рука Тукая, не будет гореть в аду. После твоей смерти, а ты умрешь раньше меня, я буду рассказывать всем: вот сюда Тукай меня пнул, сюда ударил... И после моей смерти тело мое забальзамируют, потому что его коснулась нога великого Тукая.

Тукай засмеялся:

— Сумасшедший ты, Шауля... А если наоборот? Если Тукая станут поносить? Что с тобой будет?

Тот не растерялся:

— Ну и что? Все равно мне будет почет... Скажут: вот этого бедного человека злой, проклятый Тукай избивал...

Тукай снова засмеялся. Из груди его вырвался свист.

— Хватит, Шауля... Мне нельзя так много смеяться...

Нищий вдруг стал серьезным:

— Нельзя? Можно! Сам-то ты как над другими смеешься. Сатира, юмор, говоришь. Вот эта сатира и прикончит тебя когда-нибудь. Дурья твоя голова! Зачем тебе конфликтовать с королями Сенного базара? У них жандармерия, сыщики, палачи. Захочет Сенной базар проглотить тебя — и проглотит. Ты выступаешь против кадимовских мулл, думских депутатов. И мулла, и националист, и шовинист — все они продадут тебя полковнику Старосветову. Татарского националиста и русского шовиниста водой не

разольешь, если необходимо извести строптивного Тукая. Зачем поднимаешь дубинку на власть? Пишешь: хоть выворачивайся наизнанку, как чулок, все равно татарину не быть хозяином на собственной земле. Не сомневайся, эти твои слова дойдут до губернатора. Вон, губернатор, говорят, начал изучать татарский язык. Не из-за того, что воспыал любовью к татарам. Просто не доверяет своим осведомителям, хочет Тукая читать в оригинале. Тучи над тобой сгущаются, Тукай. Со всех сторон черные тучи. Твои же братья по крови собираются справить по тебе панихиду. Вторая черная туча — со стороны прокурора судебной палаты.

— Откуда тебе это известно? — спросил Тукай.

— Я же предсказатель, наблюдатель и подслушиватель Сенного базара... «Привлечь Тукаева к уголовной ответственности по восьми параграфам пятой статьи Уголовного изложения...»

— Прошу тебя, умолкни. Ради Аллаха, умолкни!

— А если не замолчу?

— Если не замолчишь, погибнешь от ножа кадимистов или же тебя погубят русские шовинисты... или... разнесут про тебя сплетню.

— Сплетен и так немало: Тукай, мол, пьет, Тукай нищий, Тукай ослеп на оба глаза... Кажется, все уже перебрали. Что придумали на этот раз?.. Молчишь, не знаешь?

— Так и быть... — и Шауля полушепотом произнес: — Говорят, у тебя такая болезнь... поэтому ты не можешь жениться...

Тукай сначала побледнел, а потом завопил:

— Во-он!

Шауля исчез, ему вдогонку полетела железная кружка и с шумом покатила по полу.

В дверях появился Фатих эфенди Амирхан в коляске. Махмут вкатил его в номер.

— Тебе телеграмма, — сказал Амирхан.

Тукай прочитал: «Абдулла, не смог попрощаться с тобой. За мной следили. Что бы ни случилось, прости меня. Твой печальный друг Сагит Рамиев».

Ничего не поняв, поэт вопросительно посмотрел на Амирхана.

— Он уехал из Казани! Навсегда уехал, чтобы тебя не предавать...

— Кому предавать?

— Печальный Сагит был агентом охраны!

Тукай вздрогнул и почти крикнул:

— Это не тема для шуток!

Фатих был невозмутимо спокоен:

— А я и не думал шутить! Он был связан с охранкой.

Тукай вспомнил слова Сагита: «Будь осторожен, вокруг тебя сомнительные личности. Особенно не открывайся своему другу Бикчуре».

— Не может быть! — тихо сказал Тукай. — Ты это знал?

— Знал, — сказал Фатих, как бы извиняясь. — Сейчас время такое — даже самому близкому другу не все откроешь.

— Рамиев доносил все, о чем здесь говорилось?

— Нет! Он долго препирался, а как прижали, уехал. Чтобы не предавать тебя. Чтобы не марать свою совесть, убежал от нас. А охранке это и нужно, ей выгодны и доносы, и побег знаменитого поэта Рамиева. И спокойнее: одним меньше — и забот меньше. А Казань останется без такого поэта, как Сагит Рамиев.

— Ужасная Казань! Друг предает друга! Татарин губит татарина! Это подло.

Оба замолчали. Только Махмут с равнодушным видом перелистывал журналы с рисунками. Тукай сел, прикрыв лицо руками, задумался. Глубоко вздохнул, слегка кашлянул.

И Фатих осторожно начал:

— Еще одна новость... Несчастный Исхак повесился...

Тукай, еще не очнувшись от мыслей о Сагите Рамиеве, переспросил:

— Что ты сказал, Фатих?

— Исхак Бикчурин повесился... Оставил тебе записку...

Махмут из нагрудного кармана сюртука вынул записку и протянул Тукаю.

Арабская вязь поплыла перед глазами. Тукай пытался прочитать слова, но не смог, протянул записку Махмуту и попросил:

— Прочти...

Тот взял и, не глядя в нее, произнес:

— «Тукай! Живите в этом брэнном мире одни, без меня. Исхак».

Тукай встал, пошатнулся и, закрыв лицо руками, рухнул на кровать. Плечи его вздрагивали.

— Исақджан... — вымолвил он наконец. — Он же недавно здесь был. И говорил... что ему все осточертело... Я думал, мрачно шутит. Почему? Не ему одному тяжело жить на этом свете, всем трудно.

— Люди не от трудностей вешаются, — голос Фатиха был строгим. — Да, жизнь трудна, но за нее цепляется и безногий, и слепой, и безнадежно больной. Значит, совесть его была нечиста!

Тукай сел на кровать, закрыл лицо полотенцем.

— Сагит твердил мне: «Будь осторожен с Бикчурой...» Значит, они работали вместе?..

— Возможно, они встречались там...

— Но почему Исақ и Сагит нанялись в жандармерию? Не могу понять...

— Не нанимались они, их заставили... запугали. А способов этому тысяча.

Тукай повесил полотенце на спинку стула, сел на кровать, обхватил обеими руками колени; так и застыл, съежившись.

— Печальный поэт Рамиев, — начал он, думая вслух. — Уму непостижимо... Бедный Бикчурин... Хотел спастись от волков, закидав их шапкой... Ушел... с чистой совестью...

...На похоронах было многолюдно. Мулла собирался прочитать суры из Корана, но кто-то из присутствовавших выкрикнул:

— Самоубийцу запрещено хоронить по мусульманским обрядам. Таких хоронят вне кладбища правверных и без молитв.

Мулла строго посмотрел в сторону недовольного и, нагнувшись к коляске Фатиха Амирхана, о чем-то его спросил. Тот, жестикулируя руками, ответил.

Мулла громко обратился к толпе:

— Покойный Исақ Бикчурин был в невменяемом состоянии, его довели до самоубийства. Безумный не несет ответственности перед шариатом...

Были прочитаны суры из Корана, после молитвы мулла попросил:

— Трое из близких покойного, предайте тело земле.

Тукай подошел первым, но журналист Абдурахман Мурсалим легким движением руки отстранил его и сам прыгнул в могилу. То же самое сделали писатель Кабир Бакир и Махмут. Положив тело лицом к Кыбле, все трое выпрыгнули из ямы.

Тукай отвернулся и пошел в глубь кладбища. Долго бродил среди могил, будто искал место для себя.

Вскоре на кладбище стало безлюдно. Тукай подошел к свежей могиле. Постоял. Еле слышно что-то прошептал: молитву ли за упокой души раба Аллаха или стихи, посвященные усопшему. И побрел к выходу.

У выхода сидели нищие с протянутыми руками. Тукай вынул из кармана все деньги и, не считая, бросил. Быстро зашагал в сторону города. Дерущиеся за монеты нищие остались позади, но один, горбатый, все не отставал.

— Мяу! — слышалось позади поэта.

Он повернулся; нищий выпрямился — это был Шауля. Они зашагали рядом.

— Ты зря не учился, — сказал Тукай. — Из тебя бы получился неплохой актер.

— Да, наверное, — ответил Шауля. — Перевоплощение нужнее в жизни, чем на сцене. Тебя ждет горе, поэт...

Тукай остановился.

— Не каркай! Какое горе?

— Не первое и не последнее. Вот, почитай...

Тукай взял предложенную газету и увидел портрет в черной рамке. Он побледнел, зашатался и начал падать.

Шауля поддержал его за локоть.

Снова посмотрел на портрет, через силу прочитал некролог:

— «Хусаин Ямашев... умер...»

Шауля взял из рук Тукая газету: «Скончался при странных обстоятельствах известный революционер господин Хусаин Ямашев. До своей смерти покойный выпил мандариновый сок из киоска на улице Проломная. Для дознавания к продавцу соков была направлена группа следователей...»

Тукай будто оцепенел и не слушал. Один за другим уходят самые близкие друзья. И не по своей воле. Чей теперь черед? Тукая? Фатиха? Кольцо сжимается. Расправляет крылья двуглавый черный птах.

СИНИЙ ЦВЕТOK

Смерть друзей стала таким горем, что Тукай слег. Его душили приступы лихорадки, он ничего не ел. Через недели две стало лучше: уже вставал, понемногу начал есть, часто пил горячий чай. И горстями глотал аспирин.

Пришла Зайтуна с цветами в руках. Налила в вазу воду и поставила букет. Тукаю очень нравилось то, что делает девушка. Она порхала по комнате, как красивая бабочка.

— Я рассказала своим родителям о нашей встрече с вами... В середине лета увезу вас в деревню. Там вам будет хорошо.

Зайтуна улыбнулась. Тукай залюбовался ею: прекрасна, искренна, добра, умна.

— Я все еще храню цветы, что вы мне подарили. Они хранятся в моей тетради с песнями...

Она встала, взяла из вазы белый цветок и приколола его к рубашке Тукая.

— Извините! — сказал Абдулла. Встал с кровати, подошел к вазе и взял синий цветок. Зайтуна подумала, что он, как и в прошлый раз, подарит его ей. Но Тукай не спешил. Глядя на цветы, грустно сказал:

— Синий цвет — мой любимый... Он разгоняет печаль... — повернулся в сторону в девушки, но передумал, резко поставил цветок в вазу и сел на свой стул.

Немного посидел молча и начал говорить:

— Во сне я опять увидел самоцветы на цветках, на паутине... Протянул руку, чтобы собрать их в подарок вам, но тут с неба бросился черный двуглавый птах и, подняв тучи пыли своими крыльями, смахнул все алмазы...

И совершенно неожиданно закончил: — Прошу вас, забудьте про наше знакомство и наши встречи. Нам следует расстаться не соединившись!

Девушка удивленно посмотрела на Тукая, затем подошла к нему, схватила за плечи и повернула к себе лицом.

— Нет! — почти выкрикнула она. — Я знаю, с вами будет очень трудно... Знаю, характер у вас не ангельский. У вас много врагов. Вам трудно. И вам, и женщине, которая будет рядом с вами... Знаю... Но я люблю вас!

Тукай был в отчаянии. Эта милая душа объясняется ему в любви, в великой любви, но...

Неестественным голосом он крикнул:

— Зато я вас не люблю!

Хрустальный воздух разбился на тысячи зеркальных кусочков. И повисла тишина.

Он сидел закрыв глаза, не шелохнувшись. Потом встал, глубоко вздохнул: «Прощай, душа моя! Навсегда прощай, милая, и прости мне эту ложь. Прощай, вдохновительница моих стихов, прощай!»

Он закрылся полотенцем, его плечи еле заметно вздрагивали — начинался приступ.

Фатих Амирхан увидел выходящую из номера Тукая заплаканную Зайтуну и попросил Махмута отвезти его в комнату друга.

— Почему девушка в слезах? Вы поссорились? Впрочем, помиритесь еще...

— Нет, Фатих! Мы разошлись не успев соединиться. Она небесная душа. А я неуверенный в себе больной холостяк.

Сделать этого ангела несчастной? Это было бы великим грехом. Она достойна самой великой любви. Сегодня я понял, Фатих, что надо порвать навсегда... Я принадлежу народу, я отдан ему безвозвратно. Мне нельзя жениться... Я обречен на смерть, Фатих. Молчи! Уходи! Я хочу побыть один.

«Да, так будет лучше для обоих! Я нашел свою любовь. Любил. Был любим. Но отверг. Мог ли я сделать любимую несчастной ради минутного наслаждения? Нет! И не жалею об этом».

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Трудный разговор с Зайтуной обострил болезнь и снова приковал Тукая к постели. В один из таких мрачных дней в его комнате снова появился Шауля.

Увидев его, Габдулла крикнул:

— Я болен! Поди прочь!

Но тот не обратил никакого внимания на его крики и уверенно прошел в комнату.

— На этот раз мы не станем-с просить у тебя разрешения, господин Тукаев!

— Кто это «вы»? Царь Николай? — съязвил поэт.

— Мы-с! — гордо ответил Шауля. — Третье отделение жандармского управления Казанской губернии-с!

Тукай сел на край кровати и внимательно посмотрел на гостя. Неожиданно Шауля скинул с себя лохмотья нищего и превратился в хорошо одетого джентльмена.

Тукай, не особенно удивившись, спросил:

— Очередное твое превращение, прорицатель?

— Нет, господин Тукаев! Пора ставить точку. Я хорошо выполнил свою работу, — и с этими словами он достал из кармана книжечку и ткнул ей в лицо Тукая.

Тукай все понял. И вдруг начал смеяться: выходит, пригрел на своей груди змею?!

— Мерзавец!

Шауля подошел ближе и дружески обнял поэта за плечи.

— Знаешь, Тукай, я тебя все равно люблю — ругаешь ты меня, бьешь ли...

Тукай оттолкнул руку. Гость как ни в чем не бывало отошел, встал чуть поодаль и мягко сказал:

— Ты человек особенный. Приставленные агенты проникаются к тебе симпатией, не хотят доносить, начинают защищать. Рамиев сбежал. Бикчурин, мир праху его, сам наложил на себя руки... Хотя и был приказ от полковника Жуховицкого, я не тронул тебя. Вместо этого стал тебя охранять. Да-а, если бы не я, с тобой давно бы уже расправились. Свои же. Я встал на их пути. И они тебя не тронули.

— Спасибо тебе великое, — Тукай иронически улыбнулся. — Спасибо, что охранял меня, чтобы потом убить. За твои труды вон колбаса и пятьдесят копеек медью. Бери!

Шауля расхохотался:

— Тукай остается Тукаем! Bravo!

— А теперь скажи, почему ты не дал меня трогать?

— Ты знаменит, к тебе тянутся. Ты мне нужен был как приманка, как живец. Сколько лет розыск не мог выйти на след государственного преступника Хусаина Ямашева. А я поймал его! Приехал Ямаш, забыв о конспирации, к Тукаю, и попался, милый... Пусть земля ему будет пухом. Вот почему я берег тебя как зеницу ока.

Лютая ненависть блеснула в глазах Тукая.

— Палач! Душитель революции! — крикнул он.

Шауля довольно улыбнулся и продолжил:

— Ты заблуждаешься, Тукай. Но гениям тоже свойственно ошибаться. Я настоящий защитник истинной революции. Те, кто делают революцию, обычно на девяносто процентов неграмотны. Поддавшись идее нескольких фантазеров-фанатиков, восстают невежды. Если же кто заикнется: куда, мол, мы идем, правильно ли идем? — так те же невежды им тут же голову с плеч долой. Трезво мыслящих расстреливают, сомневающихся вешают. На всякий случай бросают в тюрьмы безвинных. И каждый палач, отрубая невинную голову, будет кричать вместо молитвы: «Да здравствует революция!» Вот что такое революция без подготовки народных масс. Революция, о которой мечтал Ямашев, это не революция. Россия пока еще не готова для настоящей революции. Вот чего боюсь, Тукай. Я не хочу, чтобы Россию повели по ложному, ужасному пути. Если Россия пойдет по нему, то весь мир погибнет. Судьба всего мира зависит от России, только от России!

— Сознание у народа будет расти, Шауля. Россия вскоре будет готова к революции. И революция победит. Вот что тогда будешь делать ты, нищий в смокинге? Что будет силуэтом-тенью, душащим революцию?

Шауля с удовольствием начал смеяться:

— Ха-ха-ха, младенец ты, Тукай, ей-богу. Какое бы правительство ни было, все равно без Третьего отделения ему не обойтись. Мы незаменимы. Мы можем послужить и новой власти.

— Вы подобны уличным девкам: все равно с кем спать, лишь бы платили деньги.

— Мы из тех, Тукай, что принципом своим сделали беспринципность. Вы не можете унижить подобных нам. Гениев гениями делаем мы. Без нас и вас не ценили бы. Человек, не познавший трудности, не может стать большим поэтом. Поэта великим делает его трудная биография. А вашу биографию делаем трудной мы. Не будь Булгарина, не было бы и Пушкина. Булгарин — стимулятор, катализатор. Не будь врагов, Пушкин остался бы Пискиным. Он творил назло врагам. Без Моцарта не было бы и Сальери. А без Сальери — Моцарта. Кто есть Герострат? Тот, кто хотел прославиться тем, что сжег прекрасный храм Артемиды. А ведь его имя все-таки осталось в истории. Нет человека, который не знал бы, кто такой Герострат. Не это ли и есть вечная слава? А я кто? Обыкновенный силуэт. Но силуэт, поставивший целью сделать Тукая гением. Наряду с великим Тукаем останется в веках и мое имя!

— Сколько потрачено сил! Все для того, чтобы покончить с одним Тукаем? Невероятно дорогая цена!

— Ошибаешься, Тукай! Не с одним Тукаем, а покончить со всем татарским народом.

— Разве Тукай и татарский народ — это одно и то же?

— Самый опасный враг русского народа — татары. А душа татарского народа — Тукай!

— Татарский народ не враг русскому.

— Тукай — враг всему русскому: религии, культуре, народу. Ты и народ татарский подстрекаешь против русских.

— Я учусь у Пушкина и Лермонтова. Люблю Толстого, искусство Шалапина...

— И Пушкин, и Лермонтов были настроены против монархии. Шалапин также под надзором. Он преступник, участвовавший в маевках. Лишь за то, что ты солидарен с ними, тебя следовало бы уничтожить как врага государства Российского.

— Следовательно, мы враждебны не ко всему русскому народу.

— Татарин — враг всему русскому. Все беспорядки от татар. За Разиным, Булавиным, Пугачевым восемьдесят процентов татар поднялось против царей. И сегодня татарский народ в ожидании нового Пугачева. Ты же сегодня для русского правительства опаснее Пугачева и Разина. Вот почему надо было с тобой разделаться.

— Вы, господин, не хотите знать, что в персидском походе Петра, на войне против Наполеона, в Порт-Артуре тысячи и тысячи татар сложили головы за русскую землю. Татарин не мятежник. Татары в мирное время как лошади работают, в случае войны они верные псы, охраняющие границы. Вы провоцируете народы против народов. Это вы во главе всякой смуты.

— В этом ты прав, Тукаев. Во главе всей этой смуты стою я! Это я довел Бикчурину до петли... Правда, Рамиев сбежал. Но от нас не так-то легко отделаться. Ему там жить недолго. Когда закроют татарские театры, журналы, он всплывет, подобно суслику, у которого нору залили водой. Верно, и Хусаина Ямашева... царство ему небесное... уничтожили мы...

— Теперь очередь за мной?

— Теперь твоя очередь, Тукай. Вот ордер на твой арест. Но я не трону тебя.

— Почему? Это за колбасу и серебряник?

— Не-ет! Ты уже обречен на смерть! Я поговорил с докторами, о твоей болезни в газеты сообщил, телеграммы повсюду разослал. И Хусаин приехал по этой телеграмме. Твои дни сочтены, Тукай. Поэтому скажу все, не тая. Есть еще одно известие...

Шауля нарочно остановился: готовился к последнему решающему удару. Тукай насторожился.

— Твоя любимая бросилась с моста в воду.

Тукай был спокоен.

— Ложь! — сказал он почти равнодушно.

Шауля настойчиво твердил одно и то же. И Тукай кинулся на нищего:

— Ло-ожь! Обма-ан!

Не дойдя до обидчика, Тукай внезапно остановился и упал на пол. Шауля подошел, потрогал его за плечо, пощупал пульс.

— Что с тобой? Я ведь пошутил! Тукай...

Тукай открыл глаза, встал и расхохотался:

— Ха-ха-ха, испугался, крысиная морда?

Шауля в недоумении отступил.

— Нет, я еще не умер, Шауля! И не сошел с ума, не бойся... Я знаю о своей скорой смерти и не боюсь ее. К смерти пойду с песней... Ибо твердо знаю: пролитые нами пот и кровь не пропадут даром. У татарского народа есть еще порох в пороховницах: Амирхан, Рамиев, Кариев, Сахипджамал, Камал... Всех не перевешаете, господин слугитель охранки. — Тукай засмеялся легко и свободно:

— Раз так, разве меня смертью напугаешь, крыса ты жандармская?

Без стука в комнату вошел Махмут:

— Абдулла абый, там внизу тебя ждут запряженные кони...

Тукай шагнул к двери, но резко повернулся к Шауле:

— Татарский народ, как трава лебеда, Шауля! Когда ее вырывают с корнем, зрелые семена разлетаются во все стороны. На другой год лебеды становится еще больше. Чтобы лебеда не размножалась, не надо ее трогать!

Махмут увел Тукая, в комнате остался Шауля. Он стал лихорадочно вытаскивать ящики письменного стола, шарить по карманам пальто; заглянул под кровать, сдернул с письменного стола скатерть и поставил стол торчком. И вдруг на его поверхности увидел нарисованный черной краской крупный крест. Скинул с кровати матрац и одеяла. И на досках опять появился черный крест. Перевернув вверх дном тумбу, тоже увидел там нарисованного двуглавого орла, державшего меч и черный крест.

Шауля захотел как сумасшедший:

— Тукай творил, лежа на кресте, сидя на кресте... Тукай творил на двуглавом стервятнике...

Перевод автора

ДУХ АТТИЛЫ

очему Аттила не разрушил город Рим?

Этот вопрос, подобно сабле в ножнах, уже много столетий дремлет под илом времени.

Этот вопрос невидимой клинописью выбит на каждом камне Вечного города.

Город городов Рим жив, и он продолжает жить, устремленный в вечность. Человек, который пощадил этот великий город и благодаря которому город дожил до наших дней, был гениальным вождем гуннов и звался Аттилой.

Не может считаться победителем тот, кто не разрушит столицу государства, против которого пошел войной. Это — извечный закон всех войн. Страна, превращенная в руины, но сохранившая свою столицу, может пережить горечь поражения. Наслоения лет погребут под собой досадную истину, летописи будут исправлены и переписаны в угоду очередному правителю... У времени такая короткая память. И потому до наших дней доживают лишь легенды — героические и величественные.

Признать свое поражение — самое мучительное испытание. Либо ты как нация и государство будешь обречен на медленную смерть, либо, найдя в себе новую силу, энергию и упрямство, возродишься из пепла и снова расцветешь.

Идти к победе под знаменем своего предыдущего поражения — удел сильного народа.

Поведай, перо, какие тайны ты хранишь? Почему Аттила, мечом вырубивший свое имя на стенах истории, не тронул город Рим?

* * *

Шумный пир в разгаре. В глубине зала за длинным столом сидит Аттила. По правую руку от него — сыновья Ирнек, Дингиз, Иллак, рядом с ними расположились сыновья королей разных стран. Слева от Аттилы сидят его жены.

В середине зала на открытой площадке под звуки тихо льющейся мелодии танцуют наложницы. Легкие, как дыхание, но в то же время страстные и соблазнительные движения прекрасных дев, покачивание гибких тел, чуть мерцающих сквозь дымчато-шелковистые шаровары и туники, сопровождаются нежным звоном серебряных монет, украшающих их косы и запястья.

На усталых лицах мужчин — радость жизни. Их мечи, вложенные в ножны, еще хранят запах крови. Разве можно забыть сечу, произошедшую всего несколько дней назад на Каталаунской равнине?! История до сих пор не знала такого побоища — словно две черные тучи, сошлись на поле боя почти полмиллиона человек! Со стороны Аттилы было около ста тысяч гуннов-тюрков, остальную армию составляли кельтские и германские племена, в том числе остроготы (которыми руководили Валамир и Теодомир — сыновья короля остроготов), гепиды под предводительством ближайшего советника Аттилы — Ардариха. В составе войск Аттилы сражались также словены, бургунды, тюрингцы.

Во главе армии противника стоял Аэций. Лишь около ста тысяч воинов Аэция были римлянами, остальную массу составляли наемники из германо-кельтских племен, франки, хорваты, македонцы, сиракузцы (забывшие своих древних предков — скифов), этруски, черногорцы...

Главнокомандующий римскими войсками Аэций — породистый красивый аристократ, когда-то в далекой юности, попав в плен, прожил среди гуннов несколько лет. Он подружился с Аттилой, гунны научили его скакать на коне, стрелять из лука.

Аэций познал секреты военного искусства гуннов. Позже он получил свободу и вернулся в Рим, включился в борьбу за престол, потерпел поражение, бежал и вернулся к гуннам, где вновь нашел приют на некоторое время.

Говорившие на одном языке — тюркском, — Аттила и Аэций сошлись на Каталаунской равнине мечом к мечу. И у каждого за спиной стояло мощное войско, которому было суждено изменить судьбу государств и историю Европы.

До самого захода солнца Каталаунская равнина оглашалась звоном мечей, свистом стрел, конским ржаньем, стонами людей; земля словно содрогалась от ужасной боли. Обе армии потеряли бесчисленное количество воинов. Но ни одна не уронила наземь свое знамя, и бой закончился ничем: победившего не было.

Если первым отступил Аэций, то почему Аттила не преследовал его, чтобы поставить точку в этом сражении? Но если первым дрогнул Аттила, то почему Аэций не разгромил его окончательно?

(Европейским историкам, разумеется, хотелось бы видеть войско Аттилы слабым и отступающим. Но тогда как посмело «слабое войско», чуть переведя дух, двинуть на Рим?!)

Итак, Аэций признал свое поражение и приказал отступить. Догнать и растерзать отступающую армию ничего не стоило, но... Аттила не стал этого делать. Славный сын тюркского народа не мог предать дух Матери-Волчицы Бозкорт — великой родоначальницы тюрков.

Только волки среди всех других хищников обладают удивительной особенностью: победив сильного и достойного соперника, волк никогда не перегрызает ему горло, а лишь мочится на него в знак презрения и уходит, оставив в живых. И он совершенно не думает о том, что униженный враг оправится, встанет на ноги и жестоко отомстит. И не эта ли особенность волчьего характера — снисходительность к побежденному — постепенно привела тюркские народы к кротости и смирению?..

Между тем пир был уже в разгаре. Карачи лил в серебряные кубки высоких гостей огненное вино — кровь солнца. Лишь перед Аттилой стояла чаша из обыкновенного сандалового дерева. (Если голова государства будет поклоняться серебру да золоту, то чего же захочет «хвост» государства?..)

Повинуясь знаку Аттилы, встают по очереди военачальники и, подняв кубок с вином, говорят тост. Каждый начинает свою речь с прославления Аттилы — сына Тенгри — и завершает пожеланием силы и могущества для побед в предстоящих сражениях.

На языке у всех только Рим. Рим!.. От этого великого города не должно остаться камня на камне! Столица империи, которая мечом подчинила себе столько государств, ввергла народы в рабство, превратилась в гнездо разврата и погрузила народы в пучину крови и слез, должна быть разрушена! Этого желают короли многих европейских государств. Все они с надеждой смотрят на Аттилу. Когда-нибудь — спустя века — никто и не вспомнит, кто строил город Рим, но имя того, кто разрушил Рим, а его разрушил Аттила! — с восхищением будут передавать из поколения в поколение...

Военачальники, разгоряченные предметом разговора, тревожат покой своих спящих в ножнах мечей, то и дело прикасаясь к их рукояткам.

Но вот Аттила встал, и гул в зале мгновенно смолк. Царь хлопнул в ладоши, и откуда-то вдруг появился главный акын — Баянджар. С огромной головой, небольшим кряжистым телом и невероятно короткими ногами, он, казалось, не шел, а катился. Этот человек, чьи глаза из-под густых бровей полыхали подобно черному пламени, был самым приближенным к Аттиле человеком — он исполнял роль и советчика, и предсказателя, и придворного философа, и певца-сказителя. Акын Баянджар, обладавший способностью постигать язык любого народа, на землю которого ступала его нога, был единственным, кто мог бесстрашно в глаза сказать Аттиле правду, какой бы горькой она ни была.

Перебирая проворными пальцами струны домбры, Баянджар окинул внимательным взглядом сидящих за столом, затем огонь в его глазах внезапно погас и взор затуманился... Отрешившись от окружающей действительности, певец весь отдался во власть мелодии без слов. Его звучный, страстный голос словно разливался по широкой степи, постепенно замирая, но вдруг, окрепнув, начинал набирать силу — как будто река течет вспять; казалось, вот сейчас эта волна, состоящая из музыки и чувств, нахлынет и опрокинет тебя, но вдруг голос снова затихал и будто отступал. Казалось, что акын, еще совсем недавно казавшийся невзрачным и убогим, на глазах становится выше, лицо его осветилось каким-то внутренним светом, придавшим ему отпечаток божественности; его способность заставить всех, затаив дыхание, смотреть только на него вызывала зависть. Может, Тенгри, щедро наградив его бездонным колодезем мудрости, красноречием и тонким чувством гармонии, умышленно наделил его неприглядным внешним видом?..

Тем временем мелодия стала более энергичной, и Баянджар запел песню:

С Востока — на Запад,
С Запада на Восток
Быстрее стрелы летит слово:
Сохранила дух племени
Серая волчица по имени Бозкурт.
От Балатона до Байкала прыгнул Волк-Ночь,
От Алтая до Альп прыгнула Волчица-День.
У черного волка — кровь Ночи,
У белой волчицы — кровь Дня;
Про того, кто соединил в себе эти две крови
И взял в свои руки весь мир,
Будут рассказывать ветры, горные потоки, страны.
Он родился в Мир
От смешения этих двух кровей.
Белая волчица — Мать Бозкурт

И воля Неба — Тенгри
Положили начало народу тюрков.
С этого времени началась
Эпоха богатейшей!
В недрах курганов
Хранится память об этом времени...
Улетают ветры, высыхают потоки, исчезают страны,
Брат забывает брата,
Туман закрывает туман,
Лев не найдет себе пару,
Барс покроеет зайчиху.
Но если погаснет дух Бозкурт,
Кто обуздает мир?

Последние строки песни Баянджар проговорил еле слышно. Но, хотя и сказанный шепотом, тревожный вопрос набатом бил в сердца:

— Кто обуздает мир?

Никто не осмелился сказать, что смысл первой части песни остался для них темным (переводчики тоже молчали): показать всем, что ты не понял, было бы изрядной глупостью.

Тем временем Баянджар бросил гордый взгляд на сидящих за столами и, безжалостно распяв на струнах домбры высокомерие прославленных в сражениях военачальников, взял несколько яростных аккордов. Затем он поднял глаза на царя:

— В чьих руках узда?
В руках сына Неба — Тенгри,
В руках Аттилы!

Зал хором подхватил песню акына:

В руках Аттилы!

Песня должна была завершиться этой величественной нотой гимна царю, но растрепанный от энергичных движений и покрасневший от волнения Баянджар поднял руку, успокаивая публику, и вдруг запел совершенно другую песнь:

Пусть в ворота страны
Не стучатся орлы.
Пустим в небо белого сокола!
Пусть меч сына Тенгри Аттилы
Спит в ножнах...

Последний звук, сорвавшийся со струны домбры, задрожал под потолком затихшего зала, словно птица, которой негде сесть. Эта тишина была страшной! Пожелать спокойного сна мечу Аттилы сейчас, накануне его похода на гнездо цезарей — Рим, который окончательно должен был быть уничтожен... Такая оговорка даже любимому уроду, каким был акын Баянджар, была непростительна. Присутствующие в растерянности уставились на Аттилу.

Но, как ни странно, царь выглядел спокойным, и по его лицу невозможно было определить, какие мысли бродят в его голове... А он думал о том, что предстоящий военный совет с полководцами будет трудным. И многих можно будет уговорить лишь при помощи звона золотых монет.

* * *

Точно так же, как тысячу лет назад до эпохи Аттилы, когда собирались войной на восток, на пороге Рима стоит огромная армия: на правом фланге — всадники на белых конях, на левом — всадники на серых конях, в центре — на рыжих конях, а сзади — в резерве — войско на вороных конях.

Но не звучат боевые трубы, не бьют барабаны, мечи отдыхают в ножнах, стрелы — в колчанах. Кажется, что даже конские сердца бьются тише и размереннее, чем обычно.

Прямо впереди высится Вечный город, повидавший всякое. Город цезарей, которые ставили себе памятники при жизни, рубили друг другу головы, развязывали бесконечные войны и собрали у себя все богатства мира, этот город, видимо, родился под счастливой звездой. Если бы сейчас под стенами города стоял какой-нибудь король, выросший в замке с узкими бойницами, каких немало в Европе, то он не упустил бы случая поставить Рим на колени. Но Аттила — другой... Каким бы дерзким ни был, Аттила, вобравший в свое сердце бесхитростное величие степи, оказался в затруднении: он не мог поднять меч на народ Рима, родоначальницей которого была святая волчица!

Возле самых высоких и пышных ворот города Аттила увидел клетку с живой волчицей и, сойдя с коня, в языческом волнении преклонил перед ней голову. Как оказалось, римляне свято чтут обычай своих предков: уезжая из города в дальние края и возвращаясь обратно, они отдают поклон Матери-Волчице.

В давние-предавние времена двух братьев, Ромула и Рема, по приказу царя Амулия бросили в Тибр. Они не утонули, и волна вынесла их на берег, где детей нашла Волчица. Она кормила их своим молоком, согревала, и мальчики выжили.

Когда они выросли, Ромул основал город и, по обычаю этрусков, дал ему свое имя — Рим (восьмой век до нашей эры) и долгие годы царствовал в нем.

(Бронзовая статуя Волчицы, вскормившей близнецов, по сей день стоит в музее Капитолия в Риме.)

В давние-предавние времена враги уничтожили самое сильное племя тюрков. В живых остался только мальчик, у которого были отрублены руки и ноги. Его бросили умирать на берегу озера. Но мальчика нашла волчица — Бозкурт, она зализала его раны, кормила его пищей, которую сначала сама пережевывала, и вырастила.

Враги, узнав, что мальчик остался жив, вернулись, желая убить его. Волчица, посадив юношу на себя, прыгнула через великую степь с Запада на Восток.

В пещере в Алтайских горах Бозкурт родила от этого юноши десять детей. От одного из них — по имени Ашина — снова продолжили свой род тюрки, становясь со временем все сильнее и однажды превратившись в опору мира...

Папа Лев Первый вышел со своей свитой навстречу Аттиле, чтобы умолять его сохранить Рим на любых, даже самых унижительных, условиях. Подойдя к Аттиле, папа опустился на колени перед белоснежным, словно молоко, знаменем царя с вышитой на нем золотом головой волка.

Так судьба решающей исторической дуэли оказалась в зависимости от двух волков. И уже не имели значения бесчисленные возы золота, приготовленные для спасения Рима, и письмо Гонории — сестры перепуганного насмерть императора Валентиниана, в котором она предлагала себя в жены Аттиле, и сотни собранных со всех концов света прекрасных девушек, и горы дорогих подарков. (Ведь Аттиле достаточно было только приказать взять город, и все эти богатства сами попали бы в его руки!)

И если перед Троянской войной Рим спасли гуси, то от Аттилы город был спасен волчицей...

Аттила, с его глубоким ощущением духовного родства, не смог поднять меч против римского народа, поклонявшегося святой волчице...

* * *

Так Аттила пощадил Вечный город в обмен на свою собственную жизнь... Ему не простили этого шага. В 454 году Аттила в очередной раз женился — в этот раз на молодой красавице Ильдике.

На следующее утро после шумного свадебного пира стражники обнаружили царя мертвым в луже крови в объятиях прекрасной Ильдики...

Странная и таинственная смерть пятидесятишестилетнего царя повергла в шок европейские государства.

Перегородив реку Тиссу, гунны повернули течение в сторону. В могилу, выкопанную на дне обнаженного русла, опустили тело Аттилы, положив его в три гроба (золотой, серебряный, железный), туда же уложили сокровища.

Когда могила была засыпана, реку вернули обратно в русло. Все, кто участвовал в похоронах царя, были убиты. Так замком молчания была закрыта на века великая тайна о местонахождении могилы Аттилы и его сокровищ.

После смерти великого вождя в разных уголках мира разгорелись кровавые войны между народами, которые вдруг почувствовали свою безнаказанность. А тюрки, освободившись от кнута Аттилы, дали волю своему безудержному желанию быть «ханом кишлака» в любом месте, где втыкается колышек для шатра, и начали уничтожать друг друга с особой яростью и энергией.

* * *

В Европе до сих пор живет дух Аттилы. Сколько народов называют своих сыновей его величественным именем! Часть Альпийских гор в честь Аттилы названа Этцельскими Альпами.

В древнегерманских эпосах «Песня о Нибелунгах», «Вальтарий», «Песнь об Атли», «Речи Атли», исландской «Саге о Вельсунгах», норвежской «Саге о Тидреке», скандинавской саге «Эдда» перед нами предстает образ великого царя и слышится эхо далеких эпох.

Каждый народ представлял Аттилу по-своему: кто-то видел в нем представителя своей нации и настоящего героя, а кто-то — врага. Мотивы древних эпосов получают новое звучание в современных романах.

Европа, желая постичь тайну Аттилы, вглядывается, оборачиваясь сквозь века, в свою собственную сущность.

И сколько сегодня в Европе — Франции, Германии, Италии, Греции, Болгарии, Австрии, Венгрии (Хунгарии), Черногории (Албании), Македонии внуков Аттилы, потерявших «память предков», но сохранивших во взгляде, характере, душе — дух гуннов?

Миллионы...

Перевод Гаухар Хасановой

СПИД И ЛЮБОВЬ

ироко открыв тяжелую дверь, Рауф прошел в магазин. Однако пройти через вторую дверь было не суждено. На ней — «живой замок»: в проеме стояла молоденькая продавщица. В переводе на простой человеческий язык это означало: продовольственный магазин закрыт, холостой мужчина на ночь глядя остался без хлеба и катыка. Девчонка, одетая в бледно-голубой халат из грубой льняной ткани, стояла, отвернувшись от входа, и лузгала семечки. Полностью отдавшись своему занятию, забыв обо всем на свете, она с упоением плевала на пол. Шелуха от семечек, как новогодний снег, тихо ложилась на мраморный пол.

Стоявшая на вахте продавщица загоразивала проход ногой. Зная толк в женщинах старый холостяк наметанным глазом сразу усек, что нога, выглядывающая из-под халата, длинная и стройная. В ушах у нее не то золотые, не то медные (в этом он не разбирался) большие дугообразные серьги.

Рауф некоторое время потоптался возле «живого замка», но не был удостоен ни малейшего внимания. Черно-белые «снежинки», действуя на нервы, продолжали равнодушно ложиться на пол.

Вдоволь налюбовавшись неожиданно представшим перед ним живым изваянием, Рауф вдруг почувствовал раздражение:

— Пройти можно?

Девушка обернулась. Сверкнули глаза. Голубой цвет сменился бирюзовым.

— Магазин закрыт. Не видите, что ли?

— Но до семи еще пятнадцать минут.

— А мы обеденный перерыв сократили. — Девушка отвернулась и продолжила свое занятие.

Рауф не стал умолять, упрашивать. Но и отступить не хотелось. Говорят, повернувшись вспять не дойдет до двери.

То, что произошло дальше, Рауф ни за что не смог бы объяснить, если бы даже воскресший из мертвых Берия учинил ему допрос со страшными пытками. То ли не доставшийся катык в голову ударил, то ли бес попутал, то ли судьба... Будто кто-то кольнул под лопатку толстой иглой.

Рауф с быстротою мартовского кота подскочил к девушке и крепко поцеловал ее. Значительная часть равнодушного лица с разгоряченными от семечек губами почти целиком ушла в его алчный рот. «О боже, я пропал! — успело мелькнуть в голове у Рауфа, — сейчас она своей сильной красивой рукой влепит пощечину или отпечатает след от импортного сапога у него на мягком месте, чего доброго, еще и милицию вызовет. Как назло, изо рта вином пахнет...»

Однако события приняли совсем иной оборот. Девушка схватила Рауфа за шкуру и поволокла внутрь магазина.

— Девчата, девчата, все сюда! Я вора поймала! — заверещала она, как попавший в капкан зверек.

Продавщицы, уставшие целый день стоять за прилавком, не особенно интересуются мировыми проблемами, зигзагами политической жизни, но им нужно именно такое ЧП — бытового уровня. Все с готовностью сбежались.

— Что случилось?

— Что он украл?

— Что ты шум подняла, Зельфа?

Продолжая крепко держать Рауфа за воротник, девушка с возмущением объяснила:

— Вот этот мужик набросился на меня и насильно поцеловал. Унизил мое человеческое достоинство, нахал!

Воцарилась тишина. Десятки глаз, черных, серых, зеленых, голубых и еще каких-то, кто с интересом, кто с любопытством, осмотрели Рауфа с ног до головы. Выше среднего роста круглолицый черноусый молодой мужчина большинству, кажется, понравился.

Рауф, однако, слегка струсил. А вдруг примутся дружно его колошматить, оциплют, как петуха, как это случилось с шолоховским героем Давыдовым. Что тогда? Тут уж не до шуток. Но продавщицы, кажется, не собирались пачкать руки об какого-то слегка подвыпившего мужика. Руки им нужнее для взвешивания масла, мяса, колбасы и для подсчитывания дневного калыма.

Поднялся галдеж. Как известно, семьдесят процентов всех казанских продавцов — женщины, а восемьдесят процентов из них — мишарки. Ну а эти-то в карман за словом не полезут. Острое словцо всегда готово у них слететь с языка.

— Дура! Да если бы такой мужчина меня даже изнасиловал, не то что поцеловал, я бы только спасибо сказала.

— Да ты что, белены объелась, что ли? Че орешь-то?

— Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Бесстыжий! Отправь в милицию!

— Подумаешь, обнял, поцеловал. Что, от тебя ubyло, что ли?

— Зельфа, от судьбы не уйдешь! Видно, пробил твой час!

Вволю почесав языки, продавщицы разошлись по местам. Кажется, и Зельфа устала держать Рауфа за воротник и отпустила его. Но сама далеко не отошла. Да, красавицей ее не назовешь, но в ней есть какая-то изюминка, которая щекочет мужские нервы, разжигает аппетит, образуя вокруг поле, которое притягивает. Будто медом намазано.

— Ладно, идите. Больше мне на глаза не попадайтесь.

Но Рауфу не хотелось покидать это ее поле. Да и хмель добавляла храбрости.

— Может, мне вас проводить?

— Ну да, только этого не хватало. Мой парень должен за мной зайти. Будет лучше, если вы не встретитесь. Для вас же...

Тут Рауфу в голову пришла откровенно наглая мысль, которая в конечном счете оказалась гениальной, потому что перевернула всю его жизнь и одарила посланным с неба счастьем.

— Ладно, сестричка, прощай. Только я должен тебе кое-что сказать,— начал он вкрадчиво, дотрагиваясь до рукава ее халата и отведя немного в сторону. — Зельфа, мне стыдно об этом говорить, но и не сказать не могу. Знаешь... я ведь сдуру поцеловал тебя. Кажется, и губ коснулся.

— Ну, — раздраженно перебила девушка, недовольная напоминанием об этом.

— Я только на прошлой неделе вернулся из Уганды. Прошел медосмотр. Врачи установили, что я ВИЧ-инфицированный, т.е. у меня возможен СПИД.

— Что-о?! — Девушка не заметила, как вскрикнула. Глаза ее вспыхнули. Кровь схлынула с лица и прилила к ступням.

— Тише. Не кричи, подружки услышат. Останешься без работы и без мужа. СПИД легко передается через поцелуй и даже через дыхание.

— Боже, за что мне такое наказание?! Только этого мне не хватало. И зачем только я не послушалась родителей, зачем я уехала из деревни! — запричитала девушка, закрыв лицо руками.

Своими популярными лекциями и брошюрами о СПИДе врачи уже успели посеять панику среди продавщиц. В отношении всякой инфекции подозрительность и мнительность особенно обостряются в сытой, благополучной среде. Мнительность не обошла и Зельфу. Она уже видела себя лежащей на смертном одре, истощенной и обессиленной, как знаменитый танцор Рудольф Нуриев. Заплаканная мама сидит рядом и поит ее водой из деревянной ложки, причитая: «Деточка моя, ну почему ты не послушалась меня? Говорила ведь, не уезжай из деревни, работай себе в детском саду. Так нет же. Что уж не впиталось с молоком матери, того не вталдычишь. Совсем голову потеряла».

Дальше, против воли и желаний Рауфа, события приняли детективный характер. Зельфа со своим парнем, который оказался широкоплечим здоровяком, взялись проводить его до дому. Вместе ехали в трамвае, вместе шли от остановки по скрипучему, как несмазанные сапоги, снегу. Путь был довольно долгий. Зельфа и ее парень болтали без умолку об общих знакомых, об односельчанах, кто умер, кто родился. А Рауф для них будто и не существовал.

Рауфа брасало то в жар, то в холод. Не зря говорят: вход в блатную компанию — рубль, а выход из нее — тысяча. Знал же ведь, что продавщицы народ хваткий, зачем связался, старый дурак. Уже почти сорок лет, а ума нет, и, похоже, не будет. Если сейчас этот мишарин тебя отдубасит хорошенько или даже убьет, никто ведь и не узнает, и не найдет.

А если и найдет, то за расправу на почве ревности дают-то всего год-два.

Дрожащими руками кое-как открыв замок, Рауф вошел в свою квартиру и сделал неопределенный знак, как бы означавший: «входите». Когда те, как ученый ишак Ходжи Насретдина, закивали головами: мол, нет, спасибо, он поспешно запер дверь на ключ.

У Зельфы была своя цель: если спросят, от кого подцепила эту заразу, то надо же хоть знать, где найти это человеческое отродье. Слово «возможно» у татар имеет весьма опасный смысл.

На другой день в это же время Рауф вновь появился у дверей магазина. На сей раз в дверях стояла несимпатичная пожилая женщина.

— Позовите, пожалуйста, Зельфу.

— Зельфа, тебя твой вчерашний мужик спрашивает! — крикнула женщина зычным голосом.

Девушка медленно подошла к двери. От вчерашней беспечности не осталось и следа. Лицо осунулось, побледнело, как у человека, потерявшего последнюю надежду.

Рауф подошел к Зельфе и зашептал ей на ухо:

— Вот, билеты в кино взял. Что будем делать?

— Иди отсюда, нахал! Видеть тебя не хочу!

— Да ты не спеши отказываться. Перед началом документальную ленту про СПИД покажут.

Пожилая женщина, стоявшая на вахте у двери, услышав обрывки их разговора, хихикнула:

— Зельфа, дорогая, не упрямясь. Чем держать свои руки в боку, пусть лучше мужская рука лежит на твоём бочке.

Зельфа, уже всерьез зачислившая себя в ряды зараженных чумой XX века, попалась-таки на крючок.

В фильме, естественно, были стрельба, убийства, поцелуи, грабежи, но ни слова о СПИДе. «Значит, меня обманули», — сказал Рауф и накрыл ладонью руку девушки. Зельфа засуетилась было, сказала: «Отпусти», но постепенно ее окрепшая в деревенском труде рука стала терять свою твердость, потеплела, обмякла и совсем растаяла в Рауфовой ладони, на его коленях...

— У нас теперь одна судьба. Давай не будем передавать инфекцию еще кому-то, пусть уж она останется только у нас. Выходи за меня замуж.

Аргумент был неоспоримый.

— А если к детям перейдет?.. — машинально, совсем растерявшись, проговорила Зельфа.

Рауф повеселел:

— У меня непередающаяся разновидность, высший сорт, негрский.

— Ты хоть работаешь где-то?

— Да... как сказать. Дамелла я.

— Какой еще мулла! Этого еще не хватало!

— Да нет, я преподаватель, в вузе работаю, если можно назвать это работой.

— Что преподаешь?

— Что преподаю? Раньше моим хлебом было хвалить Ленина и Маркса. Теперь их же ругаю на чем свет стоит. Тем и живу.

— Значит, есть на ком зло срывать. Это хорошо. Ко мне цепляться не будешь. А жену куда дел?

— Умерла.

— От болезни?

— Да, от СПИДа.

— Теперь меня хочешь, что ли, уморить?

— Ты мое солнышко, месяц мой ясный, бутончик мой розовый, Зельфа, да вместе мы не только СПИД, вообще всех победим. Сама судьба связала нас с тобой.

Зельфа посоветовалась для порядку с родными, подругами, знакомыми.

Совет был один:

— Куй железо, пока горячо. Сколько можно киснуть в общежитии. Выходи! Вцепись в него!

Двое суток продавцы гуляли на свадьбе. Богатырь-односельчанин, застыв, как памятник, изливал свои чувства душевной игрой на хромке.

Впоследствии, конечно, выяснилось, что Рауф ни в какой Уганде и вообще ни в какой зарубежной стране никогда не был.

Однажды, когда они уже прожили вместе в мире и согласии много лет, Рауф заявил:

— Здорово я тебя подцепил со СПИДом, да ведь, дорогуша? Что значит ученый человек. Соображаю!

— Да уж.

— А ты и впрямь поверила, что я болен этой заразой!

— С чего это ты взял?

— Так ведь иначе в первый же день не пошла бы меня провожать до дому. Думала, если вдруг призовут к ответу, то хоть знать, где живу, — с победоносным видом пояснил Рауф.

— Глупыш ты мой. Вы думаете, если девушка из деревни, значит, она круглая дура. Нет, не поверила я ни одному твоему слову, просто ты мне понравился. А то, что провожать пошла, так это объясняется просто: хотела узнать, есть ли у тебя квартира, а если есть, то открываешь ли ты дверь своим ключом или кто-то тебе открывает изнутри.

Как бы там ни было, а страшный вирус XX века стал главным сватом для этой пары.

Перевод Наиля Мухаметшиной

КОЛЮНЧИК

азип, хотя и считал себя хитрее лисы, все же допустил в своей жизни один досадный промах. Впрочем, может, это и не был такой уж большой промах. Очень лестным и дорогим для него было то письмо, и он не смог порвать его. Опытные люди не советуют держать при себе лишние бумаги, тем более любовные письма. Но что делать? Чему быть, того не миновать. Видно, шайтан вмешался в это дело.

«Милый Колюнчик...» — так начиналось это любовное послание. Он читал его снова и снова, и каждый раз словно бальзам разливался по сердцу Назипа.

С красоткой — автором письма — он познакомился в Самаре, где служил в армии. Был очень жаркий день, прямо как в Аравийской пустыне.

Назип встал в очередь за мороженым. Впереди стояла красивая стройная девушка в красном в мелкий белый горошек платье с короткими рукавами. Внимание Назипа привлекли отдельные прядки светлых волос, спускавшиеся с затылка на шею. С каждой прядки, будто роднички пробивались, стекал прозрачный пот.

Назип заметил ее стройные ножки, тонкую талию, и горько-сладкая истома охватила все его тело, и от мизинца ноги, через сердце, до мочек ушей прошиб холодный пот.

Подошла очередь девушки. У нее не оказалось мелких денег, только одна двадцатипятирублевая купюра. «Все даете крупные деньги, где я напасусь мелочи на всех вас?» — проворчала продавщица и бросила купюру обратно девушке. Ей не было никакого интереса тратить время на отсчитывание сдачи ради двадцатикопеечного кусочка льда.

У солдата, находящегося в увольнении, хотя и не бывает крупных денег, зато мелочи хоть отбавляй. Назип шестым чувством почуял, что пробил его час, высыпал на лоток все свои монеты. Получив две пачки мороженого, он протянул одну растерянно топтавшейся рядом девушке:

— Пожалуйста!

Времени на раздумье у девушки не было. При виде вожделенного сладкого мороза ее пальцы с ногтями цвета спелой вишни невольно потянулись к нему.

— Спасибо, — сказала девушка и взглянула из-под длинных ресниц на широкоплечего, подпоясанного армейским ремнем солдата. Ее небесно-голубые глаза вроде бы остались довольны увиденным. Во всяком случае, Назип решил: «Кажется, я ей приглянулся. А почему бы и нет? Парень я хоть куда. Да и мое высшее образование прямо-таки написано на моем чисто выбритом лице». Но оказалось, что девушка все еще не отходит от него совсем по другой причине. Не хочет оставаться должной.

— Уж кому-кому, а служивому человеку долг следует отдавать. Зайдем сейчас в какой-нибудь магазин и разменяем деньги.

Назип постарался скрыть свое разочарование и поплелся за нею. Их, естественно, нигде не ждали. Если ничего не покупаешь, то на размен денег рассчитывать не приходится.

Оказалось, что девушку зовут Светлана. Работает она в ателье, живет в общежитии, в отдельной комнате.

Назип, как принято в русскоязычной среде, назвался Николаем. Надо отдать ему должное — оказавшись в Самаре, он пытался сохранить татарский вариант своего имени. Все же была в нем какая-никакая национальная гордость. Но ничего из этой затеи не получилось.

Как только он называл себя Наджип, тут же к нему прилипало прозвище Джип. Когда он представлялся Нажип, то почему-то последнюю букву «п» заменяли на «д», получалось «нажид». Таким образом, живя в столь непонятливой среде, Назипу не оставалось ничего иного, как согласиться на имя Николай.

Через час Светлана уже называла его просто Коля, а когда, гуляя по набережной, они съели еще по три пачки мороженого, он стал Колюнчиком. А потом он зачастил к ней в общежитие и превратился в человека без всякого имени и фамилии, он стал просто «милый Колюнчик».

Горячо влюбленные друг в друга, они встречались довольно часто. У Назипа была такая возможность. В нашей доблестной Советской Армии люди трех профессий, не считая, конечно, офицеров, жили припеваючи: это музыканты, физкультурники и доктора. Их коты ловили не мышей, а зайцев.

Назип, состоявший в сборной Поволжья по спортивной гимнастике, почти в любое время мог выйти в город.

Светлана привязалась к нему. Он уже начал было склоняться к тому, чтобы остаться в Самаре, жениться. Но тут его демобилизовали: попал под хрущевское сокращение.

Назип горячо пообещал Светлане вскоре вернуться, оставил свой рабочий адрес и исчез навсегда.

И вот, когда уже другие красотки почти совсем вытеснили Светлану из его сердца, тут-то и появилось это письмо.

Назип поступил бы мудро, если бы, прочитав письмо, тут же уничтожил его. Так нет же, не могут люди без приятных воспоминаний. Вон ведь как изливается, пишет, что любит его до сих пор, скучает, тоскует.

Как на грех, именно в этот день по пути на работу он купил книгу Павла Нилина «Жестокость», ставшую в то время повальным увлечением всей читающей публики. Он вложил письмо в эту книгу и забыл о нем.

Через некоторое время, когда уже много воды утекло, Назип с благим намерением — начать читать — принес сборничек домой и поставил на полку в книжном шкафу.

Жена Назипа Халиса, как-то делая уборку, взялась протирать книги. Тут-то письмо и выпало из книги. Конечно, оно было немедленно прочитано несколько раз подряд. Дочка, пятиклассница Гульназ, также была ознакомлена с содержанием любовного послания. Таким образом, письмо превратилось в злейшего врага всей семьи.

Перед уходом с работы Назип позвонил домой.

— Это ты? — спросил он у взявшей трубку жены.

— Нет, не я, — отрезала Халиса и бросила трубку.

Он не придал этому значения. Его грубая мужская натура еще не почувала недоброе.

Безмятежно насвистывая марш Сайдашева, он перешагнул порог своего дома.

Жена, выставив в его сторону приличный зад, мыла пол. На него и не взглянула.

— Горячий привет тебе, женушка, — начал он в своей обычной манере, — что есть перекусить? Я голоден как волк.

На приветствия Назипа Халиса реагировала холодно. Обернулась — в глазах слезы. Тут его и осенило: «Письмо... то самое... в руках противника».

— Что случилось?

— Сейчас узнаешь!

Халиса стремительно вышла на улицу, чтобы вылить воду из ведра. Назип молниеносно кинулся искать письмо, которое так долго льстило его самолюбию, а сейчас превратилось в злейшего врага.

На прежнем месте, в книге Павла Нилина, его не оказалось. Сколько ни повторяй вслед за Хасаном Туфаном: «Ничто бесследно не исчезает, только изменяется», чего нет, того уж нет ни в каком виде.

Назип пошарил в карманах халата, платьев жены и беспомощно опустился на диван. Времени в обрез. Вот-вот войдет жена. «Погоди-ка, — лихорадочно размышлял Назип, — женщины имеют обыкновение прятать всякую мелочь под клеенкой на столе». Он отвернул край красной клетчатой клеенки, и вот оно: «Милый Колюнчик!»

Как голодный волк, раздирающий на части бедного барашка, Назип со всей злостью разорвал письмо на мелкие клочья, часть затолкал себе в рот и, давась, проглотил, остальное выкинул в форточку.

Когда Халиса, вернувшись, брякнула ведро на пол, он уже, как корреспондент радио «Азатлык», важно восседал на диване.

— Что ты надулась как индюк, моя красавица?

— Бесстыжий! Я тут ребенка воспитываю одна, как вдова. А он там, в армии, бог знает что вытворял. До сих пор любовные письма текут.

— Не болтай глупостей. Фантазерка. Какое еще письмо?

Халиса почти наизусть изложила содержание любовного послания, схватила с пола ведро и ринулась в атаку.

Назип успел лечь на диван и задрать ноги. Видавшее виды черное мусорное ведро, устав колотить толстую подошву югославских ботинок, покатило под стол.

— Прекрати, говорю, хулиганка! Какое письмо, что ты еще выдумала?

— Ах ты, сволочь! Какое письмо, говоришь? Вот какое!

Халиса схватила клеенку, как и ведро, вовлеченную в семейную драму, и швырнула ее на пол.

Письма не было. Женщина онемела. Ее круглые, как яблоки, щеки отвисли, широко открытые карие глаза полезли на лоб.

— Это ты украл письмо, отдай! — снова ринулась она в наступление.

Назип спокойно встал по другую сторону стола, приняв оборону.

— Что ты все выдумываешь! Не то свихнулась или галлюцинации начались. Больная, так иди к врачу! — кричал он, напустив на себя оскорбленный вид.

Чувства глубокого возмущения, изумления, растерянности, стыда и обиды, которые отразились на лице Халисы-ханум, не под силу описать пером.

— На-зип... где же письмо?.. — выдавила наконец она, — было же оно, мы его вместе с Гульназ читали несколько раз.

Назип похлопал себя по карманам джинсов: дескать, вот, пусто, и, воспользовавшись ее растерянностью, быстро перешел в атаку.

— Мельницу крутит ветер, а человека — слова, — нравоучительно произнес он, удачно вспомнив поговорку, когда-то слышанную много раз от отца. — Ты хоть думаешь, что говоришь, отвечаешь за свои слова?! Мы ведь живем в демократической стране. Между прочим, за оскорбление чести и достоинства трудящегося человека существует статья, за это даже какой-то срок предусмотрен. Так что ты поосторожней процеживай слова сквозь свои редкие зубы.

Соловья пеню не учат. Назип разошелся не на шутку. Наступил на самую большую мозоль жены. Зубы у нее действительно были некрасивые, редкие и немного портили ее в общем-то обаятельную внешность: полная, но гибкая фигура, высокая грудь, круглое личико.

Услышав про свои зубы, она так и застыла, не успев даже закрыть рот. А ведь она собиралась поставить вопрос ребром — развод и все! Но Назип все больше и больше распалялся, так и не дав ей больше произнести ни слова.

Назип работал преподавателем физкультуры. Как известно, это особая каста и в школе, и в вузе. За то, что вместе с учениками они регулярно разминают свои косточки, они получают такую же зарплату, что и те буквоеды, которые, утомляя глаза, вычитывают ошибки в каракулях учеников, морочат себе голову, принимая экзамены, составляя различные методические планы. А урок физкультуры можно провести, даже не выходя из кабинета, руководя учениками через форточку, если уж совсем нет настроения. Но, тем не менее, учитель физкультуры всегда о себе высокого мнения и любит об этом пофилософствовать. Хотя порой его высказывания не блистают оригинальностью и не представляют большого интереса для собеседника, он никогда не прервет свой монолог, пока не убедится в своей правоте.

— В конце концов я коммунист, член большевистской партии! — продолжал ораторствовать Назип. — Завтра же пойду к твоему директору, подробно расскажу, как ты собираешься меня опозорить. Вылетишь с работы! Сейчас нет дефицита в учителях немецкого языка.

Слова Назипа проникли в самое сердце Халисы.

— Колюнчик, милый, — взмолилась она, сама не заметив, как назвала его чужим именем, — было же письмо. Не собираюсь я тебя позорить. Я тебя люблю. Скажи только: было ведь письмо?

— Ничего не знаю. Никакого письма нет. Все остальное — клевета.

Вернувшаяся из школы Гульназ, увидев валявшуюся возле опрокинутого мусорного ведра красную клетчатую клеенку, сразу оценила обстановку и тихонечко прошмыгнула в свою комнату.

Она не собиралась вникать в проблемы родителей, своих хватает.

Назип, окончательно войдя в роль оскорбленной невинности, загнал бедную женщину в угол. Та уж была и не рада, что завела разговор о письме.

...Со времени этих событий прошло более двадцати лет. Уже подрастает внук Тимур. Всю жизнь письмо не давало покоя Халисе, женская память не в силах забыть измену. В самые разные моменты их жизни: был ли Назип в хорошем расположении духа, бушевал ли он, разгневанный чем-то, был ли он вдрызг пьян и даже в порыве любви и страсти всегда вставал вопрос о письме, вернее, о том, было оно или нет.

У Колюнчика ответ был один:

— Никакого письма нет и никогда не было!

Ничего не поделаешь. Не пойман — не вор.

Перевод Наиля Мухаметшиной

ропинка, ладно проторенная от дома к роднику Шири, журчащему на дне глубокого оврага с крутыми берегами из вязкой рыжей глины вперемешку с галькой, совсем не близкая. Она петляет и изобилует спусками и подъемами, на которых пологие, поросшие летом травой места перемежаются обнаженной каменистой породой.

Летом еще ничего, все эти подъемы да спуски — радость и телу, и душе. Тяжело зимой да в раннюю весну: ноги вязнут в глубоком снегу или разъезжаются в жидкой грязи. Но роптать и жаловаться негоже. Вода — она святая. И дорога к ней должна сопровождаться иными чувствами и ощущениями, чем терзания по поводу каждодневных невзгод. Жизнь все же не хомут какой, так просто не скинешь с себя.

За всю свою жизнь — пока была девчушкой, потом девушкой, затем замужней женщиной, а теперь вот уже и старухой — Шамсенур по этой самой дороге к роднику прошла-прошагала, наверное, путь, равный расстоянию от Земли до Солнца. А уж если ты прожила восемьдесят лет и протоптала дорогу до Солнца, то остается только возносить хвалу Аллаху и просить его не оставлять тебя своей милостью и далее.

Возможно ли теперь вспомнить да пересказать все, что некогда происходило на этой долгой дорожке к роднику? Если посчитать судьбы всех тех, кто ходил по этой тропинке, то событий, связанных с ними, наберется до краев, словно воды в ведрах, что качаются на коромысле...

Ведь даже в послеобеденный час июньского дня, когда до деревни дошла весть о начале большой войны, Шамсенур как раз собралась по воду к роднику Шири. В том месте, где над тропой, образуя над головой почти сплошную крышу, с двух сторон буйно разросся орешник, она увидела вдруг мужа Котдуса, запыхавшегося, с капельками пота на лице. Он прибежал сюда прямо через ржаное поле с отавного луга, где колхоз косил сено.

На обоих концах деревни царил тишина, и никого, кроме как друг друга, они сейчас не видели. Только на дубовых кольях плетня сидели три вороны, раскрыв от жары свои клювы.

— Война началась, — встревоженно произнес Котдус.

— Ты говорил, — попыталась придать голосу спокойствие Шамсенур.

— О чем?

— Что начнется.

— Я говорил: «наверно».

— Твое «наверно» всегда оказывалось верным.

— Шамсенур, поставь ведра и положи коромысло.

— Может, я все же схожу за водой?

— Успеешь. Ведь когда еще свидимся? Завтра нам, мужикам, в военкомат.

...Звуки гармони, донесшиеся откуда-то издалека, потонули в скрипе плетня.

— Возвратись только, заклинаю тебя! — с горячечной надрывностью произнесла она.

— Обязательно! — поклялся он.

...А сейчас под подошвами валенок Шамсенур скрипит лишь пушистый снег, заладивший сыпаться со вчерашнего вечера. И еще стоят перед глазами плавно колышущиеся под неведомую мелодию желтые ромашки, росшие на утонувшем в жарком мареве Верхнем лугу. А может, это и не цветы вовсе, а соленые слезы, непрошено набегающие на ее глаза?..

Но цветы до сих пор каждое лето белыми островками появляются на том лугу, где сейчас пасутся пестрые телята. Зимой же они снова приходят на память, когда под ногами скрипит снег...

* * *

Наполнив оцинкованные ведра водой лишь наполовину и подцепив их на выгнутые и уже истертые железные крюки коромысла, Шамсенур пошагала в зимний рассветный час от родника, свернула с тропинки вправо, дошла до своих ворот и заметила чужие следы рядом со своими.

— Это снова ты, Джаудат? — спросила она.

— Кто же еще? — донеслось со двора, уже расчищенного лопатой от снега.

Конечно, кому же еще и быть? Ее собственного сына не привезли в родную деревню, похоронили где-то там, в стольном граде. Наверно, те, кому он был нужен при жизни, решили так отблагодарить его и заодно покаяться, что ли, перед ним за оборванную так рано жизнь. Неведомо то, что уже никому вовек не разузнать.

А друзья, с которыми он когда-то вместе купался, жарил на костре подобранные на сжатом поле гороховые стручки, делил, чтобы не было никому обидно, рыбешек, пойманных сообща в деревенской речке, — те друзья, которые играли на гармони и пели, которые дрались без крови из-за девушек и творили еще много хороших, она знала точно, разных дел, стали знаменитыми трактористами, хорошими

учителями, прославленными животноводами, батырами на сельских и районных сабантуях, радуют и сегодня свои семьи заботой о детях и внуках. А ее-то сыну что понадобилось в далеких каменистых землях да горах? Аллах знает...

Ей не нужны ни их деньги, ни какие-то доллары снохи Талии и внуков. Ей вполне хватает того, что у нее есть: белой кошки, семи куриц с петухом, да еще козы, которая дает ей достаточно молока. Каждое из этих существ стоит, по ее меркам, само по себе миллион.

Ей хотели привезти вещи сына. Но она отказалась принять, взяла только гармонь, унаследованную им от отца.

Один лишь раз, после долгих уговоров невестки, она решилась как-то поехать с нею и внуками на южное море. Но там ее замучили сны. Почти в каждом она видела родник Шири...

Она развернула коромысло, намереваясь поставить на землю ведра, и вдруг почувствовала облегчение: Джаудат успел подхватить ее груз.

— Сколько раз я тебе говорил, Шамсенур-эби, чтобы ты, уходя, закрывала калитку на щеколду!

— Кто же позарится на моих кур с петухом да козу?

— Я, — ответил Джаудат.

— То-то, я смотрю, ты у родителей то сена своруешь, то пшеницы и несешь сюда.

— Я не ворую.

— Ну, тогда тайком носишь.

— Нет. Они знают.

Шамсенур сняла рукавицы, связанные ею самой осенью из овечьей шерсти, и наклонилась к ведрам, собираясь поднять.

— Я сам, — сказал Джаудат.

— Ладно, — согласилась Шамсенур.

Уже в доме Джаудат сказал:

— Дай, пожалуйста, на сегодня вашу гармонь.

— Так не играет же. Сломалась. Из нее один хрип идет.

— Я починил, — сказал Джаудат.

— Когда?

— Когда ты из дома уходила.

— Я же теперь редко ухожу из дома, сынок.

— Мне этого и хватило.

— Хватило на что?

— Починить и поиграть. Эта гармонь с серебряными язычками. У нее голос хороший, звук такой... полный, сочный.

— У тебя же баян есть.

— Есть, да не то.

— И что же у него не то?

— Ваша гармонь — венская.

— А ты почему знаешь?

— На ней слева, возле медных кнопок, под ремнем, латинскими буквами выжжено: «L-nt Imamov K. Vena». Ведь его, дядю Котдуса я имею в виду, после Вены похоронили в Праге.

Шамсенур поправила:

— Предали земле.

— А потом его командир прислал эту гармонь тебе.

— Нет, — сказала Шамсенур. — Уже — нет. Уже тебе, сынок.

* * *

Вечером, подоив козу и задав ей корма, Шамсенур вышла из наполненного теплым запахом сарая во двор и услышала на улице пронзительно знакомую мелодию гармони. «Джаудат», — с радостью догадалась она.

Сегодня она не стала ложиться спать как обычно. Ведь нынешняя ночь — предновогодняя. Она словно чего-то ждала, и это что-то, казалось, непременно придет. Она оделась потеплее и, стараясь не скрипеть по снегу подошвами валенок, вышла к воротам.

С улицы послышался голос Джаудата.

— Празднуешь? — тихо окликнула она его.

— Я не один.

— А с кем? С другом?

— Нет.

— Тогда подойдите сюда, покажитесь.

Они приблизились. В красивой шапке, в полушубке, с гармонью на плече — это Джаудат. А как не узнать его спутницу в пуховой шали, дочку Хабибрахмана-Кукушки!

И все же Шамсенур спросила для верности:

— Никак ты, Зубаржат?

Зубаржат мягко ответила:

— Я, Шамсенур-эби.

— Все расстаться не можете? Новый год принято встречать с родителями.

— Мы решили по-своему, — сказал Джаудат. — Думаем, сегодня у Зубаржат появятся новые родители.

— Это же вам не смена года, — родители не бывают старые и новые.

Шамсенур заметила на лице Зубаржат грустную улыбку. Она прекрасно понимала, какие мысли теснились в голове девушки. Поэтому, желая отвлечь ее, Шамсенур спросила Джаудата:

— На таком холоде пальцы небось стынут на гармони-то играть?

— Стынут, когда не играю, а заиграю — согреваются.

— А тебя же в эту весну в армию заберут, — напомнила Шамсенур.

— Заберут, — подтвердил Джаудат.

— А тебе ждать? — спросила Шамсенур у Зубаржат. — Это самое трудное — ждать.

Джаудат вдруг вспыхнул:

— А ты сама? Сама-то сколько лет ждала? А?

— Ждала с тех самых пор, когда вон на той родниковой тропинке в последний раз повстречала мужа, идя за водой.

...По весне Зубаржат прерывистым шепотом, прильнув всем телом, выдохнула:

— Вернешься?

— Обязательно! — клятвенно заверил Джаудат, перед тем как ушел. Навсегда.

* * *

...Шамсенур казалось, что с тех пор, как остановились в доме большие старинные часы с медным округлым маятником, прошло тысяча несметных лет. Часы она больше не заводила, не просила никого их отремонтировать. А впрочем, они ей не очень-то и нужны были: течение времени она безошибочно определяла по биению своего сердца.

Однажды, когда Шамсенур протирала их мокрой тряпкой, они — удивительное дело! — вдруг затикали. Через столько лет! Она ненароком кинула взгляд за окно и ахнула: по направлению к кладбищу шли мужчины с лопатами в руках. Она уже знала, что в деревню привезли тело Джаудата с чеченской войны. И не пошла на кладбище. Женщинам туда не стоит ходить. Сказано же: если будешь часто посещать кладбище, то земля тамошняя начнет притягивать к себе.

У Шамсенур защемило сердце, когда она узнала, что офицер, который привез гроб с телом Джаудата, вернул его венскую гармонь с серебряными язычками вдове Зубаржат.

...Неся в руках ведра, наполненные водой с поблескивающими льдинками, в тот час, когда мир, пережив вечерние сумерки, погружается в темноту, по зимней утопанной тропинке шла к своему дому Зубаржат. За одним из поворотов встретила соседского паренька Исмагила, который, видно, поджидал ее.

— Зубаржат-апа, дай, пожалуйста, венскую гармонь дяди Джаудата, — сказал Исмагил.

Зубаржат ответила печально и строго:

— Сам зайди и возьми... Только ты обязательно должен вернуться! Обещаешь?

— Обещаю!

Перевод Гаухар Хасановой

ПОХОРОНЫ

ся жизнь моя прошла с часто повторяющимися словами «умереть бы...» И только умирая, я не успела произнести: «Жить хочется!». Но было уже поздно и жить, и умирать.

Оказывается, после моей смерти нашлись и такие, что были против моих похорон на татарском кладбище. Да, конечно же, я — лишь обыкновенная чувашская женщина Василиса. А ведь, кажется, я всегда пользовалась и уважением, и доверием в этой деревне. Меня величали Василисой Павловной. А мне было приятно, что и млад и стар — все называли меня просто Василей.

Я работала ветеринаром, однако никто меня за глаза не называл «конским доктором», коновалом.

Как-то раз позвал меня Каримулла агай, который жил всего лишь через два дома от нас по нашей же улице. У них подрастал бычок, и пришла пора его кастрировать. Так что, закончив все срочные дела, я к приходу деревенского стада пошла к ним. Каримулла агай собрал во дворе пять-шесть соседей, среди которых были кузнец и учитель-пенсионер Госман абый, чтоб стреножить и свалить наземь бычка.

Подошла я к ним, затем, отвлекая лаской да заговорами, обвязала его и одним легким движением сама и свалила. Работу я свою знала прекрасно и привыкла делать все очень быстро. Так что через несколько минут бычок уже спокойно стоял в хлеву и жевал свежее сено. После чего я ушла домой, оставив животное на попечение мужчин. Мне позже передали, что мужчины аж до самого рассвета восторгались моим умением и сноровкой. А впрочем, я всего лишь добротнo сделала то, что умела и должна была делать. То, чему меня научили и чем я жила. Да, можно научиться жить. И работать тоже. Но вот, оказывается, никогда невозможно научиться умирать... Между тем учат всему и всему учатся. Не учат только тому, как вздохнуть в последний раз. Этот вздох совершаешь ты сам, и только сам, лично... В самый последний раз так же, как и в первый раз в жизни. Подобно первому крику новорожденного. Правда, и само рождение, и первый крик, и обрезание пуповины проходят легко, потому что ребенок еще почти ничего не чувствует. Можно вынести, выдюжить и разлуку с родиной.

Самое мучительное — когда хоронят на чужбине. Моих деда и бабушку, а вместе с ними и моего будущего отца сослали в Сибирь из чувашской стороны лишь за то, что крыша дома была дощатой. Можно подумать, что им не хватало досок на свои похороны.

Мой муж доски, предназначенные для моего лэхэта, сделал очень аккуратными и ровными, постаравшись, чтобы ни единая капелька воды не просочилась сквозь щели и не упала на мое лицо. Поэтому я, в знак благодарности за это, на самом последнем вдохе успела произнести: «Ла илаха иллалаху мухаммадрасуллах». Иначе как же? Не в соседней же русской деревне будут меня хоронить. Муж — правоверный мусульманин, дочь записалась татаркой, а я никогда не была православной и крестика не носила. Я — простая чувашка. В нашей сибирской деревне, где я росла, не было уже ни церкви, ни мечети. Все сельчане знали о том, что что у себя прячет: кто Библию, кто Коран. Исмагил абый носил на шее амулет.

Перед преданием его тела земле Мария апа надела свой золотой крестик Исмагилу абый, а себе взяла его амулет.

Училась я в институте. В дни, когда меня должны были оставить в аспирантуре, пошла на концерт, на танцы. Там один из парней, играя на гармонии, не сводил с меня глаз. Поженились. После смерти свекрови, жившей в Татарии, мы переехали сюда и обосновались здесь. В день моей кончины один из наших односельчан, оказывается, заявил, что меня нельзя хоронить на местном татарском кладбище. Но я к тому времени уже успела на последнем вдохе сказать молодому мулле: «Ла илаха иллаллах».

Мусульманское кладбище, где даже и я покоюсь, будет бескрайним, даст Аллах. Правда, здесь тесновато, конечно, но земля не тяжкая.

* * *

— При жизни небеса бездонны. После смерти и звезды полегают, — после этих слов Василия еще успела утереть непрошеную слезу уголочком платка...

Где-то вдали полыхают зарницы. На лугу, за голубеющим при свете полной луны кладбищем, старая кобылица нежно облизывает шершавым языком только что родившегося жеребенка... А перед печкой в деревянном татарском доме муж Василия перебирает клавиши гармони с неотстегнутыми ремешками на плотно прижатых мехах и силится подобрать какую-то мелодию своими негнуцимися уже натруженными пальцами.

— Присоединяйся, Акбар, — сказал он лежащей возле него собачонке.

* * *

Перед самым последним вдохом я уже точно знала, что мой муж, который увлажнял последней каплей воды мои губы, уже никогда не сойдется ни с одной женщиной. Но я не успела сказать ему об этом. Все недосказанное умершими снится живым.

ДИКАЯ РОЗА

глубине души она кляла себя на чем свет стоит. Что ее тут удерживает, почему она никак не может встать и уйти? Отчего сидит, не выпуская из рук бокала с вином, которое все равно не пьет — просто «держит фасон», как выражалась ее бабушка. Надо же было оказаться такой дурой: на ночь глядя, несмотря на сильный снегопад, притащиться через весь город утешать подружку Альфию, которая рассталась недавно с любовником. Приехала, зная ее непредсказуемый характер и боясь, как бы Альфия чего-нибудь не выкинула, но, кажется, малость опоздала. Более того, оказалась лишней. Нужна ли она сейчас подружке? Альфия в нарядном светлом костюме, словно пташка на ветке, уютно устроилась на коленях у какого-то незнакомого мужика и весело щебечет. По всему видать, Дамир — уже пройденный этап: с глаз долой, из сердца вон. Как будто и не было болезненного выяснения отношений и бурного, со слезами и проклятиями — дело дошло даже до потасовки расставания с возлюбленным. А этого гладкого, из породы начальников, типа зовут, кажется, Рафис. А может, Расих? Почему-то Наиля плохо запоминает имена. Зато черты лица, выражение глаз, движения человека ее память схватывает моментально и может восстановить в любой момент. Что ж, это неудивительно, ведь она художник по профессии.

У нового избранника Альфии чувственные, полные губы. Значит, дадим ему прозвище Пухлый Ротик. Кажется, Альфии вино ударило в голову, она принялась расстегивать верхние пуговицы на рубашке Рафиса. Конечно, при Наиле они себе крайностей не позволяют, но все равно — пора трогаться. Предстоит проделать путь обратно через весь город. А если из-за снежных заносов встанут трамваи, придется идти пешком.

— Ну ладно, мне пора! — Наиля встала было с места, но тут Альфия, высвободившись из объятий своего «пухлоротого», повисла на ней и усадила обратно. — Постой, куда же ты! — долила в ее нетронутую рюмку вина. — Надо вас с Рафисом Курбановичем поближе познакомиться.

Сидевший в расслабленной позе начальственного вида мужчина лениво потянулся:

— Я немного наслышан о твоей подружке. Она, кажется, чертежница?

— Художница, — поправила Альфия. — Причем известная. Прошу об этом не забывать, Рафис Курбанович. Ее картины выставляются на международных выставках. Давай, подружка, опрокинем по рюмочке за тебя!

— Спасибо на добром слове. Только, ради бога, не уговаривай, я пошла. — Наиля решительно встала и, не попрощавшись, вышла в прихожую, прочитав на лице «пухлоротого»: «Когда же наконец эта чертежница уйдет и оставит нас вдвоем?»

Альфия, вышедшая ее проводить, беспричинно хихикает, делает какие-то суетливые движения — короче, вне себя от счастья. А ведь еще недавно ходила чернее тучи, день и ночь слезы проливала, убивалась по своему Дамиру. Оказывается, немного надо женщине для счастья — изловить всеми правдами и неправдами какого-нибудь двуногого хищника и всячески его обхаживать и ублажать, чтобы он мурлыкал рядом на диване. Но отчего же тогда Наиля не чувствует себя счастливой?

— Ну, как он тебе? — Пылающее жаром лицо Альфии склонилось к уху подружки. — Знаешь, как я с ним познакомилась? Возвращалась, понимаешь, с работы, хотела перейти улицу, а он чуть меня не сбил. У меня со страху ноги подкосились, а он, видно, перепугался пуще меня — пулей вылетел из своей иномарки, помог мне встать, на руках к машине отнес. Ты бы только видела!

— Что-то уж больно у вас все быстро, — сказала Наиля, заматывая вокруг шеи длинный шарф.

— А что такого — живем в век космических скоростей! — отпарировала Альфия. — Я ведь не такая Дикая Роза, как ты. Если ко мне мужчины проявляют интерес, колючки не выпускаю. Ты, конечно, не одобряешь. А вот Венера с Леной сказали бы: «Молодец!»... Слушай, подружка, как думаешь, если речь пойдет о моем возрасте, могу я себе лет пять-шесть скинуть?..

Наиля, которую разбирала досада из-за бездарно потерянного времени, сделала вид, что не расслышала последнего вопроса. Из зала послышалось покашливание: кое-кто напоминает о себе. Торопится, наверное, у него все по минутам рассчитано, получить обещанный «десерт», а потом успеть домой к ужину...

— Иди, тебя ждут.

— Ладно, Нелечка, не сердись, что так вышло. Завтра обязательно позвоню.

Ой, вряд ли теперь Альфия скоро позвонит. Ведь спасительная жилетка, в которую можно поплакаться, пока больше не нужна!.. Дома у Наили нет ничего съестного, холодильник пуст. В магазине напротив остановки она отобрала двух синих, тощих цыплят. Эти несчастные не иначе как пали смертью храбрых в борьбе с голодом. Хотела было заплатить в кассу, но на дне хозяйственной сумки остался всего один рубль — оказывается, она забыла дома кошелек...

Трамваи не ходили — город был засыпан мокрым, липким снегом. И на «мотор» без денег не сядешь, придется идти пешком. Она опять принялась клясть себя за неосмотрительность — бросилась очертя голову к Альфии, позабыв обо всем на свете. Да и как не позабудешь, когда в дверях ее мастерской подруга оставила ей отчаянную записку: «Не вынесу жизни без Дамира, повешусь...»? Были названы время и час, когда это должно было произойти. Наиля бежала к Альфии, боясь, что произойдет непоправимое несчастье. А вместо этого застала двух воркующих голубков. Что ж, это лучше, чем травиться и прыгать из окна.

До Дамира у Альфии было трое. После разрыва с каждым из них Альфия предпринимала попытки самоубийства: в первый раз спрыгнула с третьего этажа, сломав ногу и два ребра. Во второй раз выпила снотворное. Наиля с Венерой успели тогда вызвать «скорую», и Альфию «откачали». В третий раз она перерезала вены... И чего хотела Альфия этим добиться? Глупая, разве мужчины жалеют брошенных любовниц!

...Ноги у Наили начали мерзнуть. Нет, лучше пойти пешком. Пока идешь — согреешься, заодно и успокоишься. Может быть, в голову придет решение, как завершить картину, которая у Наили пока что только в набросках.

Когда бралась за эту работу, хотелось сказать о многом. Зритель, увидевший эту картину, должен был ошеломленно ахнуть и застыть, позабыв обо всем на свете... Но дело никак не продвигалось — быт и текущие дела постоянно мешали, отвлекали ее: двое детей, дом, служебные обязанности, подруги... А ведь искусство не любит тех, кто разбрасывается, распыляет себя по мелочам — оно требует человека всего, целиком. Если перестаешь быть его верным рабом, перестаешь ему поклоняться и приносить ему ежедневные жертвы, то оно платит тебе холодом и забвением. Вот интересный парадокс: мужчины, завоевав женское сердце, сразу теряют интерес к своей избраннице и остывают, а искусство, наоборот, на любовь отвечает благодарной любовью... Вот он, светлый мир, не знающий предательства и измены!

«Найди себе любовника! Пропадешь ведь!» — в один голос твердят Наиле подруги, а когда она попыталась объяснить, втолковать им этот парадокс, они, похоже, ее не поняли. По их мнению, Наилю нужно спасать от одиночества. Одиночество, одинокая... Достали ее этими словами. Одиноко только ее тело, а душа... Душа ее вынашивает будущие картины, живет образами, которые рисует воображение. Это ее, Наили, мир, ее жизнь, и ей нравится так жить. Впрочем, надо ли винить подруг, что не понимают ее? Они живут и думают совсем по-другому.

Лена — зубной врач. Всю жизнь смотрит людям в рот. Наиля ей совсем не завидует. Альфия работает секретарем в одной фирме. Целый день телефонные звонки, суета, горы папок и бумаг на столе. Венера — администратор в гостинице... Надо же, из-за этой истории с Альфией чуть было не забыла про Венерину просьбу. «Мне грозит увольнение, поспрашивай насчет работы», — просила подруга, и Наиля на прошлой неделе подыскала один вариант. В гимназии, где учится младшая дочка, не хватает учителей татарского языка, а Венера как-никак девять лет преподавала в сельской школе. «Когда в Казань приехала, очень хотелось с детьми работать, но в то время на весь город была одна татарская школа, и ставок, конечно, не было», — рассказывала ей как-то Венера. О деревенских часто отзываются в пренебрежительном тоне — мол, «колхозники», «деревня-матушка», чего с них взять... Однако подруги у Наили, даром что деревенские, в умении устраиваться в жизни оставили свою городскую подругу далеко позади. Все три бойкие, пробивные, в игольное ушко пролезут. Наиля до сих пор живет в старом доме, оставшемся ей от покойных родителей. Несмотря на свое имя и положение, она не может заставить себя ходить обивать пороги, выпрашивая новое жилье. Подруги же Наили получили хорошие квартиры в новых домах. Видно, все дело в пробивных качествах — тут ей, конечно, далеко до своих подруг...

Гостиница, где работает Венера, по пути домой. День все равно пропал псу под хвост, надо зайти порадовать Венеру новостью насчет работы. Однако подруга Наили вовсе не выглядела подавленной и удрученной, вместе с двумя дюжими мужиками она бодро и энергично передвигала с места на место кресла в фойе. Увидев Наилю, она сразу же открыла дверь ресторана и крикнула:

— Эй, принесите две чашки кофе!

Прожив десять лет в городе, Венера так и не научилась правильно выговаривать слово «кофе».

— Я сейчас освобожусь, айн момент! А ну, ребята, веселей. — Маленькая, похожая на колобок Венера принялась привычно командовать своими верзилами.

Когда с мебелью разобрались, подруги присели за столик в закутке, отгороженном от полутемного ресторана занавеской.

— Уф, — пыхла Венера, шумно прихлебывая горячий кофе. — Вчера заселили к нам японскую делегацию, и одного узкоглазого угораздило разбить себе лоб о подлокотник кресла. Поэтому всю мягкую мебель решили передвинуть в угол, от греха подальше. Пускай себе ходят выставив животы. Ну, про животы — это я так. Что-то странно даже, ни одного толстого среди них нет. Живут, что ли, впроголодь эти узкоглазые? Слушай, ты, наверно, есть хочешь? Давай закажу для тебя курицу-гриль. Мигом сделают.

— Спасибо, Венера, мне нужно скорее домой, дети ждут.

Если бы Наиля проговорила о том, что Альфия подцепила нового кавалера, Венера бы не отпустила ее — продержала бы до полуночи, выпрашивая подробности.

— Ну ладно, если здесь есть не будешь, возьми домой. Я сейчас заверну. Ладно, ладно, не смотри так на меня. Это не тебе, детям. Думаешь, не знаю? Ты три месяца зарплаты не получаешь, а муж — полгода. Непонятно, как вы там живете. Не упрямясь, бери — мне же это бесплатно идет. Вот вы все такие, городские, с упрямым нравом!

То, что Венера называла упрямым нравом, было скорее принципом. Не в привычке Наили брать подачки, даже от подруги... Дома и вправду дети голодные. У знаменитой художницы, картины которой, будь они проданы, сделали бы ее богачкой, голодные дети!.. Какой стыд. Тех синих цыплят, наверное, в любом магазине навалом. Надо купить. Попросить у Венеры в долг и купить... Они быстро сварятся. А подруга, словно читая мысли Наили, помахала перед ее носом зеленой бумажкой.

— Это видела? Японцы дали, чаевые. Бери. Когда картину продашь, вернешь. Не обижай меня, возьми. Я же в долг даю. Пожалей детей, голодом ведь заморишь девчонок.

— Ну ладно, если только в долг. У тебя самой дела не очень. Деньги тоже могут понадобиться. Я узнала насчет работы, в школе есть место. Только вот уже два месяца зарплату не платят.

— Если мне даже мешок золота дадут, и то ноги моей в школе не будет, — решительно отрезала Венера.

— Разве ты не об этом мечтала?

— Были мечты, да сплыли. Охота была нервы себе портить с этими детьми. Они у меня и без того расшатаны.

— Эту твою работу тоже спокойной не назовешь.

— Зато к еде поближе. Да и чаевые в наше время тоже не помешают — вторая зарплата. Слушай, пока не забыла! В следующую среду собираемся у меня, буду вас угощать.

— Меня не ждите, со временем туго — начала новую картину...

— Нет уж, чур, без возражений! — не приняла отказа Венера. — Без тебя нам не в кайф. А насчет моей работы не волнуйся. Я это дело уладила. Сунула тут кое-кому. Дурой была, что раньше не догадалась. В жизни ведь как: не подмажешь — не поедешь. На мое место хотели, оказывается, устроить чьего-то там родственника...

— Ладно, Венера, мне пора...

— Ну, беги, корми детей. Слушай, у меня небольшая просьба — загляни с утра в больницу к Лене, скажи, у Закира зуб болит. Пусть Лена немного задержится после работы, а он после совещания сразу к ней подъедет.

— Какой еще Закир? Ахмет, ты хотела сказать?

— Ахмету я дала отставку. Этого зовут Закир. Он покруче будет. Да ты ж его видела у меня. Голубоглазый, с усами.

Да, у подруг жизнь бьет ключом — хоть блокнот заводи новые имена записывать, а то и запутаться немудрено.

— Ну, так не забудешь Лене передать?

— Не забуду, — пообещала Наиля...

Ах, кто бы ей помог позабыть про Закира с его больным зубом, про «пухлоротого» и синих цыплят — отбросить, отрешиться от всего и остаться наедине с чистым холстом! Но нет, она чувствует себя Гулливером, которого одолели лилипуты. Какие-то мелкие, суетные дела и заботы связывают по рукам, по ногам, заполняют мысли, отнимают время и силы. Как со связанными крыльями оторваться от земли, воспарить над обыденностью, достичь тех заоблачных высот, на которых живут мечты и вдохновение?..

Накормив и уложив детей, художница и сама в изнеможении упала на кровать, но сон не шел к ней. Мозг отказывался отключаться, переполненный образами и видениями, которые требовали своего воплощения на холсте. Только бы не остыла в душе, не умерла бы нерожденной новая картина! Ведь такое уже с ней случалось. Скорее бы запереться у себя в мастерской! Может, прямо завтра и начать? Нет,

завтра не получится, — в школе у старшей дочери после обеда родительское собрание. А до обеда в редакции заседание — будут обсуждать план на следующий год. Безденежье вынудило Наилю устроиться на работу в литературный журнал — зарплата чисто символическая, и работы не сказать чтобы много, но все равно она крадет у Наили драгоценное время... А картину если уж начал, нельзя отрываться — уйдет настрой, пропадет вдохновение, и не выплеснется то, что было у нее в душе, останется картина незавершенной...

В замочной скважине повернулся ключ — это пришел муж. На кухне его ждет горячий ужин — Наиля завернула кастрюлю с курицей и жареной картошкой в старый полушубок, чтобы мужу не пришлось разогревать. Он всегда возвращается на ночь глядя.

Сначала Наиле лезли в голову подозрения о том, что муж завел себе любовницу, но потом она отбросила эти мысли. Мужчины, которые крутят любовь на стороне, так не выглядят, — одет во что попало, к своему внешнему виду совершенно равнодушен. С утра залезет в свои сапоги и телогрейку (он прораб на стройке) и бежит на работу. К дому и семейному быту тоже полнейшее равнодушие. Жена таскает с базара тяжеленные авоськи с картошкой, луком и капустой, сама выносит мусор, сама заколачивает гвозди. Бесполезно просить мужа что-нибудь починить или отремонтировать. В первые годы после свадьбы Наиля пыталась его переделать, но очень скоро махнула рукой: горбатого могила исправит. С тем, что муж свалил на нее все хозяйственные проблемы, Наиля готова была смириться. Не могла она только пережить тех незаслуженно обидных и оскорбительных слов, которые порой срывались у него с языка. Правда, это бывало не часто, но слова его жалили, как укусы ядовитой змеи. Когда Наиля носила под сердцем вторую дочку, муж обозвал ее шлюхой, подстилкой. При этом не кричал, не скандалил — обронил вполголоса, сквозь зубы. Слова эти насквозь прошли сердце, наполнили его обидой и горечью. Когда же родилась девочка, муж пять месяцев не брал ее на руки, и причины не называл. Он вообще дома молчал. Молчал и за обедом, и когда смотрел телевизор, а если дети что-то спрашивали — отвечал односложно. Впрочем, говорили, что на работе он весьма разговорчив. Наиля искала вину в себе. Он — из деревни, я — городская, наверное, не могу понять психологию сельского жителя, думала она. И когда не хватало денег, и когда в одиночку тащила семейный воз, стиснув зубы, терпела, не поднимала шум. Ей казалось, что предъявлять мужу претензии типа: «Ты глава семьи, ты должен нас кормить», означало мелочиться. Она никогда не опускалась до этого. Что касается подруг Наили, то они «прораба» на дух не переносили. Даже если твой Салим останется единственным мужиком на всем белом свете, говорили они, то мы к нему и близко не подойдем. Разводись, пока не поздно, твердили подруги, ты еще найдешь свое счастье, хуже, чем с ним, тебе ни с кем не будет.

Наиля не скрывает: когда была помоложе, лезли в голову такие мысли. Теперь она уже об этом не думает. Пускай все остается как есть. Плохой ли, хороший ли, как-никак он отец двух ее дочек. Одного только Наиля боится: не дай бог ей серьезно чем-нибудь заболеть и попасть в зависимость от мужа — стакана воды от него не дожدهшься. Если бы даже сложилось так, что Наиля с мужем разошлись бы, она не стала бы больше пытаться устроить личную жизнь. Свою любовь, которая была ей на роду написана, она встретила и потеряла десять лет назад... Ее подруги, расставшись с одним любовником, тотчас же бросаются на поиски другого. Наиля же, потеряв Шамиля, замкнулась, ушла в себя, отгородилась ото всех, как цветок, закрывающий на ночь лепестки...

Когда Наиля встретила Шамиля, она была свободна. Он же к тому времени успел жениться, но совместная жизнь не ладилась. Возможно, виной тому был межнациональный брак: Шамиль был сергачский мишарин, жена — русская. Возможно, причины крылись в другом. Шамиль как-то обмолвился Наиле, что жениться пришлось поневоле, — он работал в КГБ, а у них там свои порядки... Шамиль с Наилей очень скоро стали друг для друга самыми дорогими, самыми близкими людьми. Он твердил ей, что они созданы друг для друга. Девушка была для него как солнце, как воздух — всем, без чего нельзя жить. Сказать, что она была просто его любовницей, означало бы ополить и принизить высоту их отношений. Шамиль каждой своей клеткой чувствовал Наилю, читал ее мысли и настроение по глазам, понимал любимую без слов. Несомненно, он сумел бы сделать ее счастливой, если бы не его трагическая гибель.

Что с ним произошло на самом деле, Наиля не знает до сих пор... В коридоре больницы она услышала шепот: «Попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения». Это при том, что Шамиль в рот не брал спиртного!.. Когда сердце его отстукивало последние секунды, он хотел видеть любимую. Ее, только ее! Но к изголовью умирающего вместо Наили привезли жену. Он снова попросил позвать девушку. К счастью, прилетевшие из Москвы друзья сумели понять его — срочно разыскали и привезли Наилю. В реанимационной она столкнулась с женой Шамиля — глаза, в которых не было ни слезинки, источали

ненависть. «Это ты его убила, — прошипела она девушке. — Сейчас же снимай золото и бриллианты, которые тебе Саша (русское имя Шамиля) подарил!»

Наиля непослушными, дрожащими пальцами снимала колечки и сережки, а сама не отрывала глаз от Шамиля. Ей казалось, что ее будущее, ее жизнь, смысл и суть которой он составлял, угасает, уходит вместе с Шамилем... Вместе с Шамилем ушли из ее души и картин все яркие краски и цвета. Ее неизбывная тоска, не отпускавшая сердце ни днем ни ночью, возможно, и подтолкнула Наилю к активному творчеству. Критики, по достоинству оценивая ее картины, неизменно отмечали «некоторый переизбыток серых и черных тонов в работах талантливой художницы». Однако Наиля в угоду критикам не собиралась менять свой творческий почерк. Ее сердечная рана была настолько глубока, что это не могло найти отражение на холсте. Ох как трудно обрести в творчестве свой стиль, свою манеру, идти собственной дорогой, никому не подражая, отстаивая на каждом шагу право на свое видение мира и собственную неповторимость...

Муж поужинал, включил телевизор. У него ритуал — смотреть перед сном последние известия. Смотрит и ругается вслух. Можно подумать, что дикторы на экране только и делают, что прислушиваются к его мнению. Лучше бы поинтересовался, как дела у детей. Старшая просит демисезонную куртку, а младшей на ноги нечего надеть — сапоги прохудились. Какую из картин продать? Деньги, конечно, нужны, но ведь картины тоже ее дети. И эту жалко, и ту. Трудно решиться отдать их в чужие руки...

Говорят, утренний сон самый сладкий, но об этом Наиля знает только теоретически. Она всегда встает раньше всех в доме. То бежит в магазин или на базар, то гладит выстиранное с вечера белье, то делает эскизы рисунков для журнала. Потом кормит детей завтраком, провожает их в школу, мужа — на работу, оставшись дома, готовит мужу обед. Прораб никогда не обедает в столовой, он привык к домашней еде. Эту сложившуюся систему Наиля уже не могла изменить, даже если бы захотела. Ее спасало только то, что она привыкла вставать вместе с солнцем и с утра выполнять большую часть своей дневной работы. Конечно, недосыпание — вещь опасная, организм от этого быстро изнашивается, но куда деваться, приходится терпеть.

...Рабочий день у Лены уже начался, но кабинет ее закрыт. Тетки и бабульки с недовольно поджатыми губами выстроились в длинную очередь, — врач, придя, заперлась в кабинете и приводит себя в порядок.

Наиля постучалась в дверь.

— Подождите, инструменты еще кипят! — раздался раздраженный голос изнутри.

— Лена, открой, это я! — попросила художница, вызвав незамедлительную реакцию очереди: «Знакомые, как всегда, без очереди!»

— Заходи. Что так рано? — Лена встретила ее не слишком приветливо. Глаза у нее были припухшие, волосы растрепаны. — Извини, неважно выгляжу. Ночью Фарит поспать совсем не дал. Ты ведь знаешь, он у меня шибко деловой, днем у него на любовь времени нет. И послать подальше тоже не могу — разучилась уже жить на одну зарплату. При всех своих недостатках, Фарит денег не считает, я при нем — как у Аллаха за пазухой.

— У тебя под дверью огромная очередь.

— Подождут, больным спешить некуда. Ну а ты как? Не ушла еще от своего прораба? Все тянете резину?

— Не тянем резину — живем.

— Да-а, жизнью это назвать трудно. Какого черта ты, талантливая художница, должна стирать рубашки и носки какому-то недоразумению, недотепе, который семью толком накормить не может?

— Ладно, не будем мужикам с утра косточки перемывать, а то поперек горла встанут, — пошутила Наиля.

— Действительно, все равно толку нет, — согласилась Лена. — Сделай-ка мне лучше прическу. У тебя рука мягкая. Ой, слушай, что я тебе расскажу! Альфия нового любовника завела.

— Знаю.

— У тебя, дорогая, информация слегка устаревшая, а я получила новые сведения. Как ты думаешь, кем оказался новый Альфиин кадр? Ни за что не угадаешь — он непосредственный начальник Дамира. Надо же, до чего тесен мир!

Наиля не выразила особого удивления. Она привыкла к тому, что любовники у ее подруг часто меняются.

— Альфия теперь хочет сделать так, чтобы Дамира с работы турнули. Мне, говорит, сам бог послал в руки средство, чтобы я ему отомстила. Ходит, от радости подпрыгивает.

— Расстались так расстались, зачем же отравлять друг другу жизнь? И потом, разве она не сама виновата? Не надо было ехать в теплоходный круиз с другим.

— Альфия у нас молодец, складывает мужиков в штабеля... А вот мы с Венерой...

— Ой, чуть не забыла, — спохватилась Наиля. — Венера просила тебе просьбу передать. Говорит, у Закира зуб болит. Просила тебя немного задержаться после работы.

— Ах, наше нежное начальство! всю жизнь стараются пожирнее кусок урвать, зубы у них, видишь ли, не выдерживают... Спасибо, хорошая прическа получилась... Слушай, поехали завтра со мной на Центральный рынок, поищем тебе и мне финские сапоги — Фарит мне вчера денюжат отвалил.

— У меня еще и эти не сносились.

— Ну, ты всегда так. От наших денег нос воротить. А сапоги тебе давно требуются, посмотри на каблуки — в ремонт уже не возьмут. Ну, не хочешь у меня деньги брать, продай картину — клиент есть. Он еще на выставке запал на твою картину.

— Ты про какую говоришь?

— Ну, эта самая, где гора...

— Священная гора. Нет, эта картина не продается. Ни за какие деньги!

— Ну ладно, шут с тобой, не продавай. Тогда вот что. Помнишь, я тебе говорила про друга Фарита? Он от тебя без ума. Денег у него — куры не клюют. Ради бога, не будь Дикой Розой, не давай ему отставку. Когда-нибудь ты должна выбраться из этой нищеты? Ты же у нас заслуженная художница, Наиля Гаязова! Жизнь-то проходит, прими хоть одно разумное решение, в конце концов! Потом локти будешь кусать, жалеть, что упустила.

Наиля не стала спорить с подругой — та по-своему хочет ей добра. Да, жизнь проходит, и в итоге человек все равно о чем-нибудь жалеет. Если ей на роду написано так жить, то она не станет ничего менять. Что касается того поклонника, друга Фарита, то даже угроза голодной смерти не толкнет Наилю в его объятия. Он для нее чужой. Если Наиля захотела бы, сама бы кого-нибудь нашла, — внешностью природа не обидела, мужчины до сих пор заглядываются...

Под ногами похрустывал снежок, Наиля торопливо шагала в свою мастерскую. Еще есть целый час до того, как начнется собрание в редакции, нужно использовать это время. Стены в мастерской заиндевели по углам, — помещение не отапливается. Не снимая пальто, Наиля вытащила спрятанную в углу картину, развернула материю, в которую она была завернута. Вот она, дорогая ее сердцу гора... Продай, дескать. Как ее продать, если ее, этой горы, уже нет. Вернее, гора-то стоит как стояла, но люди все изменили, все теперь не так, как было. Нет больше той дикой первозданности, того ощущения прикосновения к тайне, которое успела Наиля запечатлеть на своей картине. Раньше у подножия горы, в густых орешниковых зарослях, можно было запросто встретиться с гордым лосем, увенчанным короной рогов, а теперь от подножия до самой вершины для удобства людей протянули металлическую лестницу, и все живое вокруг разбежалось от грохота ступеней под ногами паломников, число которых многократно возросло... Именно здесь, на этой Священной горе, Наиля ощутила, как встрепенулось, ожило ее сердце, давно потерянное (так ей казалось) для любви к мужчине.

Четыре года назад Наиля с подругами, решив на Курбан-байрам совершить жертвоприношение, отправились на Священную гору. В тот день гора была окутана туманом; и родник, окаймленный деревянными плашками, и узкая тропинка, ведущая на вершину, едва проступали в этом густом тумане, поэтому место это казалось отчасти сказочным, ирреальным. В тот день Наиля впервые почувствовала легкость на душе, печаль, сжимавшая ее сердце со дня смерти Шамиля, вдруг куда-то отступила. Целительным оказался для нее этот свежий ветер, напоенный утренней прохладой, горьковатым запахом листьев и травы. Все здесь запало ей в душу, каждый камень, каждое дерево и травинка.

Вернувшись, она долго не могла забыть то ощущение легкости и безмятежного покоя, которое испытала. Гора звала ее к себе каждую ночь. Кто знает, может, это был зов судьбы, ведь именно там Наиля встретила с Рамилем... Молодой человек (потом только выяснилось, что он отец двоих детей) пил воду из родника. Стояла тишина, вокруг ни души — только он и она. Казалось, что все идет по заранее написанному сценарию. Говорят же: влюбленные встречаются на небесах. «Вы художница?» — спросил мужчина, бросив взгляд на этюдник. «Да», — кивнула Наиля. «Из Казани?» — «Да». — «Надо же, из такой дали к нам приехали. Не сидите на траве, земля холодная — дело к осени». С этими словами новый знакомый принес из машины волчью шкуру и расстелил ее у ног Наили. Пожелав ей успешной работы, попрощался, но после обеда приехал снова. Привез ей поесть. А вечером развел костер и испек на углях картошку. «Кто этот высокий интересный мужчина? Где живет, чем занимается?» — Наиля не расспрашивала его ни о чем. Обычно в присутствии мужчин она чувствовала скованность и неловкость, точно на ней слишком тесное платье, и хотелось поскорее от него отделаться. Но с Рамилем все было по-другому — легко и радостно.

Через неделю колючая «Дикая Роза» и сама не заметила, как успела к нему привыкнуть.

Когда наброски картины были закончены и Наиля вернулась домой, то внезапно почувствовала, что в ее жизни произошло что-то важное... Ей чего-то остро не хватало... Когда она поняла, в чем дело, то испугалась. Рамиль, все дело в нем! Вот они вдвоем, весело смеясь, спускаются с подпирающей седой макушкой небо древней горы. Наиля, оступившись, начинает падать, но тут же чувствует, как широкая, надежная рука поддерживает ее... Вот Рамиль, сидя у костра, катает в ладонях горячую, только что с углей, картошку... Вот он набрасывает Наиле на плечи свою кожаную куртку, еще хранящую тепло его тела... «Позвони», — сказал он, давая ей свой телефон. Но Наиля не позвонила. Гордость помешала или что-то другое? Вообще завоевывать мужчин было не свойственно Наиле, она была не так устроена.

А в один прекрасный день дверь ее мастерской открылась, и на пороге возник Рамиль; не здороваясь, не раздеваясь, он молча стиснул растерянную и зардевшуюся Наилю в объятьях, крепко прижал к себе. Потом сказал одно лишь слово: «Соскучился». И так искренне, с такой нежностью это прозвучало, что Наиля закусила губу, чтобы не расплакаться, и спрятала лицо, чтобы он не заметил. «Нам нужно чаще видаться, — сказал Рамиль, прощаясь. — Мы с тобой можем стать еще ближе друг для друга. Давай не будем бояться километров, которые нас разделяют». Он чем-то напоминал Шамиля. Такая же чуткость, непоказная готовность прийти на помощь, те же искренность и честность. Не умеет хитрить и лгать. Не изводит Наилю напрасным ожиданием: день встречи обговаривает заранее и всегда придет в назначенный час, что бы ни случилось...

Чем ближе и нужнее становился ей Рамиль, тем больше ныло у Наили сердце. Она, за всю жизнь не проронившая ни слезинки, вдруг научилась плакать. Плакала, предчувствуя неизбежное расставание. У Наили не было права обманывать себя — впереди снова незаживающая сердечная рана, ничем не заполненная пустота и жизнь в серо-черных тонах. Только такой конец может быть у ворованной любви.

Сначала Рамиль очень огорчился, заметив ее заплаканные глаза, но постепенно привык, перестал утешать. Решил видно, что это обычная женская слабость. Ах, если бы просто слабость! Вместе со слезами покидали Наилю несбыточные надежды.

Незаметно, как вода, утекло четыре года. Наиля окончательно поняла: Рамиль на ней никогда не женится. Знает, что она могла бы дать ему счастье всей жизни, но не женится. За эти четыре года у него даже увеличилась семья, — жена родила третьего ребенка. Выходит, Наиля для него лишь временное утешение. И не надо закрывать глаза на очевидную истину: семья Рамилю все-таки дороже.

С тихим скрипом приоткрылась дверь мастерской — вошел ее коллега Ильхам по прозвищу Отшельник. Свою кличку он получил за то, что дневал и ночевал у себя в мастерской.

— Ага, сегодня птичка пожаловала в свое гнездышко, — с одобрительной улыбкой пошутил он, вытирая запачканные краской руки о передник. — Ба, да что я такое вижу? Стоит, понимаешь, с картинкой в обнимку и нюни распустила. Терпеть не могу плаксивых баб! Брось, пустое это! Ты, моя дорогая, по большому счету давно уже не работаешь — с тех самых пор, как со своим красавцем познакомилась, уж извини меня за прямоту. Все твое душевное тепло, вся энергия уходит на него, а на холстах уже ничего не остается. Что мужчины, что деньги — все едино: они на один день, а вот творчество — это вечность. — У Ильхама глаз острый, все-то он замечает. — Тебя, дочка, бог редким талантом отметил, с тебя и спрос особый. Вот скажи, слышала ли ты про выставку в Японии? То-то, не слышала. Наши-то картины там не задержались — сложили, как дрова, и отправили восвояси. А твои оставили. Оценили, значит, японские толстосумы. Теперь жди гонорар — наверно, в долларах пришлют. Ну как, согрелась от такой новости? Давай, дорогуша, раздевайся и работай.

Наиля, просияв сквозь слезы, бросилась обнимать Ильхама.

— Спасибо, ты настоящий друг! Ты меня почаще отчитывай, мне это на пользу. Действительно, распустилась я совсем. Но клянусь, с завтрашнего дня принимаюсь за новую картину!

Однако клятву эту выполнить не удалось, ее мастерская сиротливо пустовала и на следующий день. Возвратившись домой, Наиля в почтовом ящике обнаружила письмо — вызов в горадминистрацию. Оказалось, вызывают, чтобы дать новую квартиру. В прошлом году Президент республики принимал у себя четырех художников, интересовался их условиями жизни — и вот результат... Наиля боялась верить своему счастью. Ей вдруг захотелось начать новую жизнь, в своих мечтах она представляла ее с Рамилем в их новом общем доме...

Целый день она не ходила, а летала, окрыленная счастливой новостью. Но жестокая реальность быстро отрезвила ее, спустила с небес на землю. Нет, ничего не изменится! И завтра, и через месяц, и через год все останется по-старому — та же дорога на базар, те же неподъемные авоськи с продуктами, тот же муж, существующий словно в параллельном с ней измерении, те же одинокие ночи, та же печаль в глазах... Подруги, услышав о новой квартире, запрыгали до потолка. Они в один голос заявили Наиле: «У

тебя пошла счастливая полоса, теперь не уппусти момент, измени свою жизнь». Для начала, по их мнению, нужно было оставить «ходячее недоразумение» прораба в старом доме и найти богатого «спонсора».

— Мне сегодня хочется обо всем забыть, давайте не будем о проблемах — попросила Наиля.

— Забудешь, это я тебе обещаю, — с таинственной улыбкой произнесла Лена. — Я тут кое-кого для тебя пригласила к нам на огонек... В этот раз подруги собрались в гостях у Венеры. Наиля, отстраненно наблюдая за собой со стороны, говорила себе: «Что ты здесь делаешь? Ты и твои подруги — что небо и земля!» Странно, но факт: ее всю жизнь неосознанно тянуло к людям, которые были ее противоположностью. Лена, подойдя сзади, сунула Наиле в руки свою косметичку.

— Иди-ка к зеркалу, наведи марафет. Как-никак сейчас кавалеры придут. И чего она, собственно, упирается. Подруги из кожи вон лезут, чтобы ей помочь. Ну, познакомится она с этим другом Фарита, — ведь от нее не убудет.

— И аллам, дожدهшься от нее, чтобы она накружилась! — Альфия силком усадила ее на стул. — Я сама этим займусь. Одна подруга сделала Наиле макияж, другая причесала ей волосы — короче, сделали из Наили «конфетку». Вскоре после этого раздался звонок в дверь: двое водителей стали заносить на кухню многочисленные коробки и свертки. Только на лестнице стихли их шаги, как в квартиру поднялись один за другим четверо бравых кавалеров...

У Наили после встречи с Рамилем появился «бзик»: она всех сравнивала с ним. Говорят ли они так же коротко и лаконично, как Рамиль? Смеются ли так же от души, смотрят ли, как он, в глаза собеседнику? До него «эталоном», по которому оценивала мужчин, был Шамиль.

Вот и теперь она незаметно бросала взгляды на своего визави, сравнивая его с Рамилем. Друга, которого привел Фарит, нельзя было назвать непривлекательным. Скорее наоборот — слишком смазлив. Глаза блестят, словно у кота, который собрался стащить кусок мяса. Только что не облизывается. Его назойливый, липкий взгляд Наиля физически ощущала на своем теле, ее уже как будто раздевали... Рамиль никогда бы не стал пытаться завоевать женщину без любви и духовной близости, просто из вожделения... Опять Рамиль!.. Пора уже забыть о нем. Довольно искать воду в пересохшем колодце. Ты ведь хотела сегодня забыться, отрешиться от всего! Бери пример с подруг — вон как они умеют беззаботно веселиться, отбросив в сторону все, что мешает жить.

После непродолжительного застолья включили магнитофон, зажгли свечи. В полутьме в медленном танце закружились четыре пары. Партнером Наили, конечно, оказался друг Фарита. Его горячая рука медленно переместилась с плеча на талию женщины. А он, оказывается, такого же высокого роста, как Рамиль... Вот и сходство отыскалось... Нет, запротестовало что-то в глубине души, Рамиль один на всем белом свете, он неповторим... Почему неповторим, возразила она себе, если на нем не зацикливаться, возможно, он не такой уж и неповторимый... Напрасно пыталась Наиля себя переспорить. Все ее существо, ее плоть и кровь не желали принимать человека, который был с ней рядом. Один только его запах вызывал ее неприязнь. Этот запах не могло заглушить даже безмерное количество дорогого одеколona.

Партнер крепко прижал Наилю к своей груди и возбужденно зашептал ей на ухо:

— Вот мы и встретились, Дикая Роза. А то ты все время от меня бегаешь. Мы тут маленько потусуемся, потом сбежим в одно классное местечко. Там нас ждут сауна и бассейн. У меня, любимая, все схвачено.

Слово «любимая» резануло ей слух, прозвучав фальшиво и неестественно.

— Хорошо, — легко согласилась Наиля. У нее слегка кружилась голова, перед глазами пробежали то светлые, то темные полосы. — Я сейчас вернусь... Прическу нужно поправить...

— Смотри, только недолго, любимая.

Зайдя в ванную, Наиля стерла с лица помаду и румяна, кокетливо распущенные по плечам волосы собрала в строгий узел. Потом сняла с вешалки пальто и шарф и, тихонько толкнув входную дверь, выбежала на улицу...

Перевод Фариды Ситдиковой

ХАН И ПОЭТ

1

ассивная дверь медленно, словно сама собой, отворилась. Откуда-то из глубины прозвучал надтреснутый, хрипловатый голос:

— Именем Аллаха, хозяина нашего и господина, судьи всем судьям, казий Бадретдин-ас-Суари!

Через порог, тяжело волоча ноги, переступил казий города Сарая.

Он еще пытается держаться с подобающей сану величавостью, но величавость эта ничего, кроме усмешки, вызвать не может. Стар казий, спина его согбенна, лицо напоминает сморщенное яблоко. «Сколько же ему лет? — подумал Бирдебек. — Он ведь был казием еще во времена незабвенного Узбека».

Казий отвесил поклон, при этом едва не опрокинувшись навзничь. Затем тяжело опустился на низкую кушетку, молитвенно сложил ладони перед лицом.

Бирдебек в ответ быстро провел ладонями по лицу и недобро усмехнулся:

— Ну, довольно, довольно, хромец. Что-то ты больно благочестив стал. Уж не умирать ли собрался?

Казий, уже привыкший к грубым выходкам нового хана, промолчал, скрыв за седой бородой обиженно поджатые губы. В кого он такой? Не в отца, не в мать. Жители Сарая уже боятся его и не любят. По городу давно ходит слух, будто смерть Джанибек хана случилась не без его, Бирдебека, участия.

Разумеется, хана и должно бояться, но страх этот должен непременно быть обернут покрывалом любви и восхищения.

Присутствие казия начало раздражать хана.

— Ну, — нетерпеливо молвил хан.

— Мой повелитель, — казий вновь смиренно склонил голову, — в городе объявился некий нищий поэт...

— Велика новость. Все эти дервиши, нищие поэты, богомольцы давно уже заполнили город доверху. Плюнь — на поэта попадешь. Дармоеды!

Казий украдкой усмехнулся. Он знал, что некогда в молодости Бирдебек баловался стихами; когда был наместником в Ширване, он, бывало, любил окружить себя компанией стихотворцев. Слыхивал и про то, что над его бледными баитами порой открыто посмеивались.

Видимо, именно потому Бирдебек, взойдя на трон, невзлюбил поэтическую братию, как давних своих обидчиков. Иным людям, увы, свойственно возненавидеть то, что самому не по зубам.

— Среди них разные есть, — казий шумно вздохнул. — Тот, о ком я говорю, некий Ахмед Булгари, мутит народ на базаре, болтает невесть что. Поучает, как надобно страной править.

Бирдебек побелел от внезапного гнева.

— В Салкын таш! его!

— Он уже взят под стражу. Но тут есть одна загвоздка... Я, собственно, затем и пришел.

— Какая загвоздка?

— Очень уж он на тебя похож, хан. Просто — две капли воды.

По пальцам хана, сжимавшим подлокотники трона, пробежала нервная судорога.

— На хана никто похож быть не может!

— Это разумеется, — поспешно молвил Бадретдин, не отрывая глаз от ковра, вышитого персидскими искусницами. — На небе — Аллах, на земле — хан. Однако велика сила Аллаха, он волен и оборванцу придать облик венценосного хана. Я, конечно, могу сгноить его в зиндане, могу голову с плеч снести. Однако без твоего ведома, великий хан, я на это решиться не в силах. Еще раз говорю: невиданное сходство, просто как близнец.

Некоторое время Бирдебек молча размышлял. Может ли один человек как две капли воды походить на другого? Не знак ли это Всевышнего? Или это кровь наших дальних предков сыграла с нами шутку? Ведь донесло ветром времени семя великого Чингиза с берега одного моря до берега другого. Разумеется, Бирдебеку достаточно рукой махнуть, и голова этого несчастного покатится, как перекасти-поле. Впрочем, это успеется.

— Приведите-ка его сюда, сам погляжу, — сказал он.

Бадретдин тяжело поднялся и, прихрамывая, направился к выходу.

Массивная дверь закрылась за ним сама собой.

Хан покинул трон и принялся неторопливо прохаживаться взад и вперед. Стан его выпрямился, паутина, опутывавшая сознание, спала. О похожем на него как две капли воды поэте он уже успел позабыть, мысли его были заняты другим.

Сам не зная для чего, подошел к стоявшему у стены столику. На столике золотая ваза, доверху наполненная самоцветами. Бирдебек вдруг вспомнил, как он, будучи в ту пору в Ширване, узнал, что отец его тяжело болен. Тогда он бросил все и немедля вернулся в Сарай.

Здесь сановникам доверия нет и не было. Нету тебя — нету пригляда. Было, похоже, у них намерение после смерти Джанибека возвести на престол послушного им царевича. Ширван в итоге уплыл прямо из рук. Укрепившись на престоле, Бирдебек тотчас разослал во все края гонцов — собирать войско. Все эмиры поддержали тогда Бирдебека. Еще бы, Иран грезился им золотом, драгоценностями,

наложницами. И лишь из Булгара не было известий. Похоже, придется как-нибудь послать туда войско и смешать не в меру зарвавшегося эмира с пылью.

И вот воинство хана бесконечной, извивающейся змеей движется за тридевять земель. Попробуй встань на его пути! Хан усмехнулся.

И в этот момент кого-то внезапно толкнули в отворившуюся дверь. Потеряв равновесие, тот упал ничком прямо у ног хана. Видение ошетилившегося копиями войска уступило место скучной повседневной суете.

— Встать! — приказал хан, толкнув носком сапога непокрытую голову распростертого у его ног человека.

Тот с трудом приподнялся. «Похоже, ему сегодня крепко досталось», — подумал хан.

— Ассалям алейкум!

Хан не ответил на приветствие. Ибо был поражен увиденным. Перед ним был... он сам, Бирдебек: тот же рост, та же рыжеватая борода, те же зеленые насмешливые глаза.

Поэт рассмеялся.

— Да ты, оказывается, на меня похож, Бирдебек!

— Запомни, несчастный, хан может быть похож только на себя самого, — Бирдебек знаком велел удалиться стражникам.

— Так о чем ты там болтал, на площадях? — Хан хотел было добавить «оборванец», но, глянув мимоходом в прищуренные зеленые глаза собеседника, отчего-то не сказал.

— Я говорил и говорю об одном — о справедливости.

— О справедливости? — Бирдебек рассмеялся и неторопливо направился к трону. — Что ты можешь понимать в справедливости? Любая несправедливость завтра может стать справедливостью, и наоборот.

— Ханская власть обязана быть справедливой, — с неожиданным упрямством сказал поэт. — Подати должны быть разумными, нечистые на руку чиновники судимы, войн неправедных быть не должно.

— Вот ты болтаешь о какой-то справедливости, баламутишь народ. Народ, наслушавшись твоих бредней, затеет, чего доброго, бунт. Мне же ничего не останется, как призвать войско и передавить бунтовщиков, как мух. Прольется кровь. Вот и вся справедливость, ты сам же сеешь зерна несправедливости. Потому-то, чтобы не полетело много голов, я вынужден буду снести с плеч твою. По отношению к тебе это, разумеется, несправедливо, ибо ты есть человек, тебя сотворил Всевышний, но по отношению к тем многим, кто мог бы по твоей милости лишиться головы, это вполне справедливо. Казнив тебя, я спасу многие десятки жизней.

— Если хан правит справедливо, никакого мятежа не будет.

Затянувшийся спор начал надоедать.

— Кстати, ты ведь из Булгара, — переменял разговор хан. — Зазнались вы что-то. Податей не платите.

— Так ведь Джучиев улус — что лоскутное одеяло. Каждый лоскут — страна. А у всякой страны — свой интерес. С чего бы это нам, булгарам, посылать своих джигитов за тридевять земель?

Услышав это, Бирдебек переменялся в лице.

— И где ты наслушался такого? — спросил он.

— У слова ведь господина нет, оно само ходит.

Хан вновь оставил трон и принялся мерять шагами комнату.

Увидев, что Бирдебек вышел из себя, Ахмед Булгари окончательно потерял надежду выйти отсюда живым. Впрочем, угодивший в Салкын таш редко выбирается оттуда невредимым. Возможно, если бы он и впрямь рассчитывал сохранить свою жизнь, он говорил бы иначе...

— Так ответь, что мы забыли в Иране? Не разумней ли было бы сперва навести порядок у себя в доме?

— Разумней?! Вот оно как! — хан вдруг перешел на крик. — Ах как легко стихотворцам поучать других! А вот эмирам нужна война, а не нравоучения. Для того, чтобы прирастала их слава и достаток, хан должен посылать войско в чужие земли. Степным мурзам не надобен хан, который носа не высовывает из столицы! — Бирдебек выкрикивал то, что давно накопилось на душе, ибо считал своего собеседника почти мертвецом. — Легко прикидываться умным перед базарными зеваками. А ты попробуй сам посиди на этом троне!

— А что, я согласен, — беспечно усмехнулся поэт. — Давай поменяемся. Тем более что подмены никто не заметит.

— Поменяться?.. — Хан снял руки с подлокотников трона.

А если... Нет, в самом деле, всего лишь неделю побыть жалким, безвестным узником в темнице, поразмышлять о вечном, о судьбах мира, отдохнуть наконец от постоянной подозрительности, наушничества, от не оставляющего ни на миг страха за престол. Да, конечно, власть — это великое

счастье, возможно, величайшее на свете счастье. На небе — Аллах, на земле — хан. Однако всего лишь на неделю... Сбросить это опостылевшее бремя власти и, подобно вольному дервишу... Ведь говорят же, что великий Гарун аль Рашид, переодевшись в рубище, бродил по багдадским улицам, слушал, что говорят люди о нем. Интересно, что о нем, Бирдебеке, толкует чернь? Для этого нужно одну-единственную неделю побыть неким Ахмедом Булгари. Воротить трон назад будет несложно. На пальце у него серебряный перстень хана Батыя. Этот перстень может быть только у хана...

— Хорошо. Посиди за меня неделю на этом троне. Посмотрим, что ты запоешь.

— Ты за меня не беспокойся. Поэт может быть властителем. Властитель поэтом — никогда.

— То, что поэты народ пустой, я давно знаю, — сказал хан, снимая украшенный самоцветами, отороченный собольим мехом чапан, расшитую индийскими изумрудами чалму, и принялся за болгарские сафьяновые сапоги.

Затем он быстро переоблачился в ветхое одеяние поэта и шагнул к двери.

— Только запомни: всего лишь на неделю, — сказал он, поворотившись к столь же быстро переодевавшемуся и взбиравшемуся на трон поэту.

Массивные двери отворились сами собой.

И тут поэт, воссевший на монарший трон, вдруг пронзительно вскрикнул, нервно сцепив ладони:

— Вор! Этот мерзавец украл мой перстень! Стража! — Он властно махнул рукой. — Быстро вернуть мне мой перстень! А вору отсечь голову. Да не медлите!

Стражники спешно повиновались. Вскоре за дверью послышалась лихорадочная возня, что-то тяжелое с шумом упало на пол...

А затем один из стражников ползком приблизился к подножию трона, в его руках вздрагивал серебряный перстень Батыя и Берке.

2

Когда хан вошел, Ханике вместе с подругами очищала жемчуг.

Завидев его, девицы вспугнутой стайкой упорхнули прочь. Подле Ханике осталась лишь миловидная девушка с большими темными глазами и длинными косами до самых колен.

Ахмед опустил на атласные подушки. Решил пока помолчать, ибо не знал, что именно надлежит говорить. Зато долго и сосредоточенно читал молитву.

— Здоров ли ты, мой султан? — ласково поинтересовалась Ханике, не сводя с мужа влюбленного взгляда.

— Устал. Суэта замучила, — ответил он.

Тем временем темноглазая красotka нацедила в чашу кумыс.

Когда Ханике подавала чашу мужу, ему вдруг бросились в глаза ее обнаженные белые руки.

Он пил кумыс жадно, судорожными глотками, словно истомившийся под солнцем пустыни путник. Он ощутил нестерпимый, шедший изнутри жар и дрожь. Жадный и нетерпеливый взгляд его соскользнул с обнаженных рук на явственно угадывающуюся под легким шелком грудь, и, замирая от сладострастного предвкушения, он вытянул ноги.

Миловидная девица куда-то вдруг пропала.

Ханике, пригнувшись, стала снимать с него сапоги. Однако сапоги Бирдебека, похоже, тесноваты. На лбу ее сквозь слой пудры выступили капли пота. Женщина подняла на него виноватый взгляд.

Потеряв терпение, хан обнял жену.

— После, после, — сказал он ей.

Ханике, порывисто вздохнув, выскользнула, подобно змее, из шелкового платья...

— Ты... не Бирдебек, — сказала она ему потом, когда ее дыхание улеглось.

— Ты в своем уме?

— Бирдебек не такой.

— Какой не такой?

Женщина отвела глаза и некоторое время лежала молча, словно решая, говорить или не говорить.

— Не такой... жадный.

«М-да, кажется, я переусердствовал», — подумал Ахмед. Невесть сколько времени не было у него женщин, вот и накинулся на нее, как оголодавший хищник на жертву, позабыв, что и как...

— Истосковался, — сказал он, не найдя ничего другого.

— Так ведь не далее как вчера был у меня, — возразила она, не сводя с него недоверчивого взгляда.

— Что с того? Я всякий день готов быть только с тобой. Для меня иных женщин просто не существует.

Однако Ханике вскочила, в ужасе отпрянула от него и прикрыла тонким покрывалом обнаженную грудь.

— Нет! — пронзительно вскрикнула она. — Ты не Бирдебек! Ты — другой!

— Не кричи, дура! — Ахмед с силой встряхнул ее за плечо. — Подумай сама: ежели я не хан, то ты, стало быть, переспала с чужаком? Да тебе ж первой голову и снесут. Не снесут, так все равно царицей тебе точно не бывать.

Ханике, упав вниз лицом, забилась в рыданиях. Наплакавшись, она села, подняла на него перепачканные растекшейся сурьмою глаза.

— Кто ты? — спросила она дрожащим голосом.

— Я — Бирдебек. — Он глянул на нее с недоброй усмешкой. — Ты меня хорошо поняла?

Ханике взглянула на его плотно сжавшиеся губы, холодные глаза, напоминающие битое зеленое стекло, и вздохнула:

— Поняла.

...С утра его уже поджидали есаул и нукеры. Он легко вскочил на оседланного скакуна и направился в Алтын таш*.

Во дворце было прохладно. Он взял из хрустальной вазы апельсин, однако, очистив наполовину, рассеянно положил обратно.

Стояла щемящая тишина. У двери безмолвно застыли двое стражников.

На душе у него беспокойно, а предчувствие никогда не обманывало его. Что сулит ему этот престол? Укрыться бы сейчас своим залатанным халатом да и бежать прочь от этого проклятого дворца! Там, на улице, вся эта тщета, тряпичная мишура, властолюбие, стремление любой ценой подчинить себе подобного кажутся смешной бессмыслицей. Однако назад пути нет. Коли уж Всевышний даровал чудесную возможность побыть властителем, так надо доиграть эту роль до конца. И ежели уж суждено оставить эту подлую игру под названием жизнь, то уж под трубный вой да барабанный бой! У всякой дороги — свой конец, каждому путнику — своя придорожная канава. Со скорбным ликом и радостью в сердце былые попутчики уйдут дальше, вперед. Однако напрасна радость. И им далеко не уйти.

И потом, в бытность поэтом он ведь поучал властителей справедливости. Вот ты и сам властитель. Так твори же ее, справедливость, ничто тебе не помешает!..

Тем временем ему доложили о приходе муэдзина ханской мечети.

— Что ему нужно? — гневно спросил он. По утрам он не склонен был к общению с ближними, предпочитал одиночество.

Слуга глянул на него с удивлением и тотчас отвел глаза.

— То, что обычно, повелитель, — растерянно пробормотал он.

Ахмед понял свою ошибку. Решив поправить ее, тут же допустил еще одну:

— Я... нездоров.

Хан не должен жаловаться!

Он побагровел от раздражения на самого себя. Да, нелегко расстаться с привычками дервиша. А ведь по происхождению он — из древних болгарских беков.

Когда Батый овладел Великим городом, он повелел полностью истребить его род за оказанное сопротивление. Лишь его ветвь чудом уцелела. И вот утратившие власть и имущество родовитые беи стали бродячими дервишами. Так что к детям и внукам Батыя у Ахмеда Булгари свой кровный счет.

— Впустить! — процедил он сквозь зубы, резко махнув рукой.

Муэдзин, узкоглазый, жидкобородый человек в застиранной чалме, шаркая коленями, ползком приблизился к трону.

— Встать! — резкий голос ошарашил молитвенно сложившего ладони муэдзина, словно плеть.

Ахмед сразу понял, что за тип этот муэдзин. Бирдебеков наушник. Видимо, в его обязанность входит ежедневно по утрам доносить великому хану все, что он успел пронюхать за прошедший день.

— Ну!

— По Сараю ходят скверные слухи, великий хан... — осторожно начал муэдзин.

Ахмед молча ждал, когда доносчик закончит. А тот не знал, что сказать, он словно сам боялся своей вести.

— Говорят, что ты — не хан, а... стихотворец, хитростью овладевший престолом. Вот такой нелепый слух ходит.

— Хитростью?!

— Да, говорят, воспользовался тем, что похож на тебя, как брат-близнец.

Ахмед в возбуждении соскочил с трона, задев нечаянно стоявшее рядом золотое деревце, крона которого, словно плодами, была усыпана драгоценными камнями.

Камни посыпались, словно от порыва ветра, один из них, рубин, упал на ковер, сверкнув каплей свежепролитой крови.

Ахмеду вдруг захотелось тут же, на месте зарубить доносчика саблей. Однако не глупо ли выдавить собственный глаз за то лишь, что он крив, или отсечь ухо за то, что оно обвисло? У хана всюду должны быть глаза и уши, и об этом всем надлежит помнить. Все и помнят, однако болтают за его спиной. Стало быть, не боятся.

— И кто же именно такое говорит?

— Твоя родня. И более других — Танышбек. Говорит, хан сам на себя не похож.

Хан повелел доносчику уйти. Нет ничего удивительного, что многие из родни зарятся на престол, считая, что именно он, и никто другой, его достоин. Они хоть сейчас готовы его низвергнуть, лишь дай знак. Ахмед осознавал, какую великую опасность представляет для него бесчисленная родня Танибека и Джанибека. Твердая рука хана — залог безопасности державы. Страх — вот фундамент государства. С этим собачьим лаем, зачатками бунта надобно кончать. В этом — справедливость для народа. Кроме того, родство ему связывать руки не будет.

Мысли его прервал странный шорох в углу. Мышь... Ахмед снял башмак и повернулся на звук.

Мышь, затихнув на миг, снова принялась за свое мышье дело. Мыши-то все равно — что хижина, что ханский дворец.

Ахмед хлопнул в ладони.

— Завтра созвать во дворец всю мужскую родню, — сказал он вошедшему слуге, — разговор будет. И стол собери побогаче.

3

До прихода гостей он велел позвать Саруджу, бея племени Табын. Его род властвовал на левобережье Камы. Храбр и хладнокровен Саруджа, ликом темен, раскос и кривоног. Дворцовую суету и лицемерие не терпел и потому в городе появлялся редко, лишь по прямой надобности. Чуждо ему было вероломство, с врагом, считал он, надобно говорить лицом к лицу и побеждать его лишь в честном бою.

Однако что делать, — когда нужно победить любой ценой, иногда можно воспользоваться и оружием врага.

— Скоро соберется моя родня, — сказал Ахмед. — А они, сам, поди, знаешь, из тех, что всегда одеяло тянут на себя. А Джучиев улус должен быть в едином кулаке. Иначе врагов не одолеть. Пришла пора вернуть себе Ширван и Арран. А вся эта межродственная грызня доведет державу до беды. В роду Хулагу неспокойно. Внуки Узбека тоже готовы схватиться за мечи. Если это случится, падет знамя Чингизова в прах. Так вот, во имя спасения державы необходимо отправить родню мою в поднебесье. Такова справедливость! — Он некоторое время молчал. Пальцы, стиснувшие рукоять сабли, побелели.

Саруджа слушал его молча, не поднимая головы.

— Перед боем всем надо собираться в единый кулак, — вновь повторил Ахмед. — Как только я встану из-за стола, твои люди должны отправить моих родственников к праотцам.

— Я понял, великий хан...

— От болгарского эмира последнее время никаких известий нет. Похоже, не хочет он давать войско для общего дела. Будешь эмиром Булгарии. Если кто воспротивится, передави, как клопов.

— Клянусь, я весь твой, хан...

— А когда начнется сражение, отдам под твоё подчинение правый фланг. Я сказал.

Саруджа, пятясь, направился к двери. Ахмед, откинувшийся на троне, криво усмехнулся. И так, коли уж Всевышний даровал ему трон, то он, Ахмед, сумеет показать миру величие этого трона. Слава Орды, как золотая монета, в умных руках явит свой блеск и силу.

Лишь победоносные сражения поднимают властителей на недосыгаемую высь. Он еще напишет имя свое на страницах истории, и напишет мечом! Стихотворец Ахмед умер, его уже нет, зато есть хан по имени Бирдебек. Что делать, люди помнят лишь беспощадно жестоких. Имена Чингиза и Батыея не потускнеют в истории, а кто помнит ныне хана Берке, принесшего в страну ислам и превыше всего ставившего мир и благополучие?

Когда покончу с родней, дойдет черед и до эмиров. Потому что эмир думает лишь о своей вотчине, а не о государстве. Им нужно устроить встряску, как когда-то сделал Чингиз, надо перетасовать их, перемешать. Одна страна — один род!

...Ему доложили, что пожаловала его матушка, вдова покойного Джанибека. В дверь прошла седовласая старушка. Ступает не спеша, с достоинством, десяток невольниц, идущих следом, придерживают длинный подол.

Хан сошел с трона, взял ее за руки и бережно усадил рядом с собой по правую руку.

Старуха пронизала его насквозь изучающим взглядом, затем придала лицу безучастное выражение, лишь едва слышно прошептала молитву.

Между тем гости постепенно заполняли зал. Ахмед радушно приветствовал Ханике, усадив ее по левую руку. Каждый из гостей знал свое место, быстро, без шума расселись, вместе прочли молитву. Неподдалеку от трона, с правой стороны, вольно откинувшись на подушки, расположился Танышбек. Ахмед краем глаза уловил его злобную усмешку.

В больших кожаных мешках принесли конское мясо, кумыс. Стол был завален фруктами. В серебряных блюдах хищно посверкивали ножи. Мать налила ему кумыса. Отпив половину, он подал оставшееся Танышбеку*. При этом рука пораженного Танышбека едва заметно вздрогнула.

Перед каждым гостем поставили блюдо с мясом. Выпитый кумыс понемногу развязал языки, зал вскоре наполнил шелест разговоров, негромкого смеха. В стеклянных кувшинах тускло, как отсвет скупого северного солнца, засветилось вино.

По древнему обычаю человек, взявший в руки кубок с вином, должен был приветствовать хозяина пением.

По степи ветра гуляют, потемнели небеса,
Рыщет в поле за добычей красношерстная лиса... —

пропел, глядя на хана в упор, Танышбек.

«Уж не себя ли ты возомнил красношерстным лисом, Танышбек? — усмехнулся про себя Ахмед. — Похоже, кумыс крепко ударил тебе в голову».

Он поднял руку, потребовав внимания.

— Недавно узнал, что по городу обо мне болтают всякие нелепицы, — начал он внезапно охрипшим голосом. — Говорят, будто я не я. Будто на троне не Бирдебек, а некий оборванец-стихоплет. Не стал бы и внимания обращать на подобный бред, если бы этим слухам дружно не вторили мои дорогие родственники.

За столом установилась гробовая тишина. Танышбек, вытянувший было затекшие ноги, замер, откинувшись на подушки.

— Итак, кто именно из вас полагает, что я не Бирдебек?

Зал безмолвствовал.

— Вот справа от меня сидит моя мать. Я плоть от ее плоти. Может ли мать перепутать свое кровное дитя с чужим человеком? — Ахмед повернулся к старухе. — Матушка, ответь моей заблудшей родне, кто я?

Старуха подняла на него свои маленькие, темные, глубоко запавшие глаза, буквально пронизав его насквозь. От этих глаз ничего не утаить.

— Ты — сын мой, Бирдебек, — едва слышно произнесла она.

— Слева от меня — моя жена Ханике. Немало ночей я провел с нею на одном ложе. Может ли она спутать супруга с чужаком? — Ахмед повернулся к жене. — Ответь, женщина, этим маловерам, кто я?

Ханике с усилием подняла голову, оглядела гостей, затем прерывисто пролепетала:

— Ты — супруг мой, Бирдебек.

— Принести Коран! — выкрикнул Ахмед. — Пусть поклянутся.

Увидев книгу в зеленом переплете с золотыми буквами, Ханике непроизвольно отпрянула назад и незаметно спрятала руки за спину. Вдова Джанибека быстро провела ладонью по книге и едва слышно произнесла: «Клянусь».

Ханике, замороженная, как кролик удавом, ледяными зелеными глазами Ахмеда, тоже положила тонкие, дрожащие пальцы на книгу...

Вскоре обе женщины удалились к себе. «Когда на уме лишь одно — спасти шкуру да сохранить место у трона, и об Аллахе забудут, и о том, что смертны, и о том, что ответ держать на том свете», — подумал Ахмед, презрительно глянув им вслед.

Между тем вино изрядно разгорячило кровь собравшихся в зале, затуманило их разум. Они словно позабыли, что перед ними — хан, сидящий на троне.

— Пора крымских генуэзцев поучить уму-разуму, — в полный голос крикнул крепко захмелевший Танышбек. — Дорого это им обойдется!

Кто-то из гостей ткнул не в меру разгорячившегося Танышбека локтем в бок: о подобных вещах можно было говорить лишь с высочайшего дозволения.

«Экие мы важные да гордые! Если из Чингизова рода, так не иначе как баловни Аллаха! Каждый — пуп земли, каждый зрит себя в мыслях на троне, и ради того, чтобы вскарабкаться на этот проклятый трон, и отцу, и сыну, и брату горло порвет. Ничего, очень скоро во всем доме Батыевом ни одного претендента на престол не останется...»

Когда диван-бек хлопнул в ладоши, в зале появился Асан из племени мангутов, известный в ту пору певец. Нарастающий рокот домбры заглушил нестройный гул застольных бесед. Песня певца — о величии хана, о его справедливости и мудрости, о чем же еще!

Однако Ахмед-то знает цену слову. Еще бы не знать, ведь совсем недавно был он бродячим поэтом в драном халате. Для поэта цена слову — грош. Для того, чтоб скрыть то, что у него на уме, он никаких слов не пожалеет.

Осыпаются цветы на лоно текучих вод — любо-дорого смотреть. А там, в глубине, увязнув в иле, лежит черный камень, вокруг него — мелкие рыбешки резвятся, улитки ползают. Засмотрится на плывущие лепестки человек, свалится в воду и унесет его течение в темный омут.

Этот вот Асан считает небось себя за умнейшего из присутствующих здесь. Мол, ханы приходят и уходят, а поэзия живет в веках. Вот и ищет еженощно в темных водах жемчужины. Трон для него — ничто, ищет счастья в голых словах.

А ему, Ахмеду, на что теперь стихи? Ежели связал жизнь с троном, так вся жизнь твоя — сплошное творчество, только мера его не слова, а целый мир.

Много он повидал придворных поэтов... Ночами они решают мировые проблемы, а при свете дня ловят благосклонный взгляд властителя.

Отчего это все так стремятся быть на виду перед стадом, стать властителями умов?

Когда-то Ахмед, презрев земные блага, мирскую суету, решил стать бродягой-дервишем. Но ведь и это, если вдуматься, — поиск своего особого места. Ведь если бы его строки не вызывали восторг и почитание таких же, как и он, дервишей, он был бы уязвлен. Так, значит, двигало им не стремление стать ближе к божьей благодати, а суетное желание возвыситься над себе подобными.

Забвение мирских благ, полуголодное бродяжничество не способ ли возвысить себя над прочими людьми?

Солнце тонуло в темном закатном омуте. Последние его лучи осветили зал. Жирные жующие лица, заполнившие его, стали видны отчетливей.

«Мир этот не стоит кончика ногтя, — подумал он. — Посему надо вкусить от этой жизни все, что только возможно. А чего нет, то выдумать. В этом — особый вкус».

Он оглядел присутствующих налитыми кровью глазами и сделал знак недвижно сидевшему у двери Сарудже.

В следующее мгновение зал заполнился внезапно ворвавшимися нукерами. Тень смерти накрыла сидящих в зале, взметнулись клинки, безошибочно находя свои жертвы.

Счастливый жених на кровавой свадьбе, хан в возбуждении вскочил на ноги и, завидев отсеченную голову Танышбека, не утерпев, пнул ее в сторону двери. Р-раз!

Вот он, самый сладкий вкус! Вот оно — истинное вдохновение.

4

— Хан отправился осматривать место для охоты. Пока не воротился, поговорить бы надо, — сказал диван-бек.

— А вот как вернется, тут же и зарезать его, вот и весь разговор, — сумрачно молвил бей мангутов, — сил уже больше нет терпеть.

— Да сколько же можно трястись перед каким-то жалким дервишем! — добавил Котлыбуга. — Или мы совсем уже забыли, кто мы есть? Он меня вчера принял, сидя... на ночном горшке!

Несколько мурз, не удержавшись, коротко рассмеялись, прикрывшись ладонями.

— Вы еще смеетесь! — выкрикнул он, уязвленный. — Вы видели, он всех городских дервишей, поэтов выгнал в степь пасти скот. Скоро дойдет черед до эмиров. Может ли истинный татарин снести такое!

Все низко опустили головы.

— Татарин многое может снести, — осторожно начал Махмуд-визирь. — В этом деле торопиться не следует. Ты, Котлыбуга, должен был переговорить с Ханике и со старухой-ханшей. Что скажешь?

— Ханике утверждает, что он — Бирдебек. А старуха отвечает так: сможете повязать самозванца, скажу, что он — не Бирдебек...

— Вот сукина дочь, — выругался мангут. — Баба как под мужиком окажется, так последний разум теряет.

— Не в том дело, — вмешался в разговор Махмуд-визирь. — Она ведь неглупая женщина. Помнит: на Коране клялась. Теперь пойти на попятную нельзя. Во-вторых, допустим, признается: да, мол, я, супруга хана, сплю с нищим дервишем. И что тогда? Да ей не то что во дворце, на всем белом свете места не будет. В-третьих, если убьют Бирдебека, ей ханшей в любом случае не быть. Так что отступить ей некуда. А что до старухи, так все мы знаем, что это за лицемерная тварь.

— Да нам-то что до того! — не утерпев, закричал мангут. — Нож в живот — и дело с концом. Хватит воду в ступе толочь!

— И потом, — не слушая его, продолжил визирь, — ни в коем случае нельзя объявлять, что он — простой дервиш. Иначе станем посмешищем перед всем миром. Скажут: потомки Чингиза гнули спины перед нищим бродягой. И прикончим мы нынче не дервиша, а именно Бирдебека, Джанибекова сына, — кровавого Бирдебека, угнетателя и тирана.

— Лично мне все равно, кто сядет на трон. Лишь бы он моих стад не касался. А этот жеребчий выблядок взял и выгнал в Крым тридцать моих деревень.

— Коли сам без роду-племени, так он и другие роды решил извести.

— А кого на трон посадим? — спросил диван-бек. — Ведь род Батыев он до последнего уничтожил.

— Да уж, ни единого не оставил, — усмехнулся мангут, — тверда у него рука, ничего не скажешь.

— Теперь — за нами очередь, — визирь исподлобья глянул на мангута. — Вчера двух мурз привязал к лошадиным хвостам и...

— Что будет завтра — никто не ведает, — молвил Котлыбуга.

— Дело надо завершить, пока Саруджа не воротился из Булгара. Он ведь болгарского эмира повесил и теперь идет с войском.

— Так кого все же на трон посадим? — повторил вопрос диван-бек.

— Шкуру неубитого медведя делить не стоит, — ответил визирь, — не бойся, трон пустым не останется.

— Так-то так. Как бы междоусобицы не случилось...

— Есть такой Кильдебей, он кочует на Азовье. Про него говорят, будто он внук Узбек хана...

— Любого вшивого пастуха можно на трон посадить, достаточно объявить, что он — рода Чингизова, — рассмеялся мангут. — Опыт уже есть.

— Хана застрелим на охоте, — подвел черту визирь. — Причем выстрелит каждый из нас. Нельзя, чтобы убил его один человек. Аминь.

Быстро помолились и двинулись с места. В этот момент явственно послышался удаляющийся стук копыт.

— Кто-то подслушал! — произнес диван-бек. Лицо его смертельно побледнело.

Беки обменялись быстрыми взглядами. Мангут выскочил первым. «Догнать его!» — послышался снаружи его голос.

— Все. Теперь назад пути нет, — тихо сказал визирь не то собеседникам, не то себе самому.

...Суэта кипела возле дворца с раннего утра. Конюхи осматривали сбрую, телеги, егеря проверяли оружие.

Хан уже собирался выйти из дворца, когда ему доложили, что некто хочет с ним встретиться.

— Пусть войдет, — махнул он рукой.

— Что за дело столь спешное? — спросил хан, неприязненно глядя на вошедшего бея.

— Бунт, великий хан! — выкрикнул в волнении Котлыбуга. — Визирь Махмуд, диван-бек и мангут-бек замыслили застрелить тебя из луков во время охоты.

— И всего-то? — Ахмед зло усмехнулся. — Из-за такого пустяка ты решился меня беспокоить?

— Что?! — пораженный Котлыбуга не знал, что сказать.

— Так ведь и ты был с ними, Котлыбуга. Как подошло время, штаны обмочил от страха?

— Я за тебя жизнь отдам, великий хан, — мужественно возразил Котлыбуга.

— Не болтай пустого. Жизнь — игра азартная, таким, как ты, очень уж не хочется с нею расставаться. А мне... Мне, может, сегодня пришла пора свое предсмертное стихотворение написать...

Некоторое время он молчал, отдавшись своим мыслям.

— Сколько ты душ загубил, Котлыбуга? От крови, поди, опьянел. А самому тебе не хочется ощутить на вкус, что такое смерть?

Котлыбуга молчал, не зная, что ответить... Нукеры плотным кольцом оцепили место охоты. Хан снял колпак, покрывавший голову охотничьего ястреба, и бросил птицу в небо. Вскоре примеру хана

последовали бей и мурзы. Рванули вперед охотничьи псы. Через такое плотное кольцо не проскочит ни один зверь, кроме разве что кабана.

— Охота будет удачной, даст бог, — сказал Махмуд-визирь.

— Крупную дичь ты присмотрел, — засмеялся хан.

Руки визиря, сжимавшие поводья, побелели, но лицо осталось спокойным.

— Смотри, чтобы руки не задрожали, — сказал хан.

— В жизни не был таким спокойным, как нынче.

— Тогда — подними лук! — крикнул хан и пустил коня вскачь.

Тотчас вслед ему полетели три стрелы. Через мгновение и четвертая.

Хан дернулся, точно подпрыгнул в седле, однако не упал с коня, а лишь опрокинулся, ломая торчащие из спины стрелы, навзничь.

Умная лошадь, почувствовав разом потяжелевшее тело седока, остановилась.

Подскочивший мангут с ходу, выругавшись, отсек голову уже мертвому хану. Подхватил ее и вздел за окровавленную рыжую бороду вверх.

Зеленые глаза Ахмеда широко распахнуты, словно успели увидеть в небе что-то удивительное, поразившее его.

Подъехавший визирь двумя пальцами опустил ему веки.

Охота закончена.

Сделав дело, вернулись на свои места ловчие птицы.

И только белого ястреба хана не было среди них. Знать, унесся он в небо, вслед за душой несчастного хана, злополучного поэта.

Перевод Рустема Сабирова

ДИТЯ

т самого порога в нос ударил тяжелый кислый воздух, настоящий на запахе кошачьей мочи. Глаза привычно скользнули по стенам с облупившейся штукатуркой, грязному и давно не мытому полу с ошметками грязи по углам.

В маленьком закутке с выбитыми стеклами сидела старушка вахтерша; она пила чай, макая в него сухарь. Бросив на вошедшую женщину мрачный взгляд, старуха шумно хлебнула из своего замызганного стакана. Возле лестницы на второй этаж на стене большими буквами было написано самое короткое и любимое в народе слово.

Добравшись до своей комнаты, женщина начала шарить рукой в маленькой сумочке. Странное дело — мужчины обычно готовят ключ загодя, а женщины почему-то предпочитают копаться в карманах или сумке в последний момент.

В конце коридора напротив двери в туалет курил сосед. Его широкое лицо, как обычно, было слишком красным, а это значило, что он пребывает в самом хорошем расположении духа. В такие минуты он любил заговаривать с каждой проходящей мимо женщиной, а если повезет, то и шлепнуть ее ненароком по мягким выпуклостям. Но сейчас сосед промолчал и, стряхнув пепел с кончика сигареты на пол, отвернулся к окну.

Женщина вообще-то была вполне симпатичной. У нее были рыжие волосы, зеленоватые глаза и редкие веснушки вокруг вздернутого носа — внешность, весьма характерная для некоторых уголков Арского района, где в татарскую кровь намешана удмуртская. Довершали картину стройная фигура и чуть кривоватые, но красивые ноги.

Невзирая на это, сосед так и остался стоять, уставившись в окно.

Наконец скособоленная дверь со всхлипом открылась. Взору предстала опрятная комната. Возле входа — два шкафа, между которыми натянута занавеска, в самой глубине комнаты, у окна, детская кровать с сеткой по бокам. У изголовья кровати на стене висит большой портрет Филиппа Киркорова.

В кровати, безуспешно пытаясь встать, барахтался ребенок. Он был измазан собственными испражнениями, с его неестественно отвисшей нижней губы тянулась длинная нить слюны. Ребенок издавал нечленораздельное мычание — видимо, каким-то краешком своего сознания он понял, что вернулась мать.

Женщина вздрогнула. Она всегда так вздрагивает. Прошло уже пять лет, но она никак не может привыкнуть к виду своего малыша и каждый раз, возвращаясь домой, пугается снова и снова.

Не снимая пальто, женщина сходила в коридор, принесла тазик с теплой водой, усадила туда ребенка, поставила на плиту кастрюльку с манной кашей.

Потом она привычными движениями мыла ребенка, а из ее глаз текли слезы и тяжелыми каплями падали в тазик с водой. Казалось бы, должно произойти чудо и больной ребенок, которого каждый день моют водой, перемешанной с материнскими слезами, наконец выздоровеет, начнет ходить и разговаривать... Но, увы, чуда не случилось. Сознание больного существа словно заблудилось в каком-то царстве мрака, так и не обретя связи с этим миром...

После родов ее уговаривали всем миром — и врачи, и родственники в один голос твердили: «Оставь его, он никогда не будет здоровым, не обрекай себя на страдания, не губи свою жизнь!» Она никого не послушалась. Как же можно, думала она, бросить своего малыша, свою кровиночку?.. После возвращения из роддома приехала мать из деревни. Рано овдовевшая и натерпевшаяся всякого, она увидела ребенка и разрыдалась: «Несчастливая ты моя, сама без мужа, ребенок — инвалид, как же ты вырастишь его?!» Тяжело было это слушать, но она и тогда выдержала, ответила только: мол, в миру воробей не умрет.

Сейчас-то она думает по-другому. Может, воробей и не умрет, но человек запросто умрет... Еще как умрет! Вон на прошлой неделе у них с третьего этажа выбросился из окна одинокий старик — видно, совсем немоготу стало.

В последнее время старика этого частенько встречали возле мусорных баков, он собирал там остатки хлеба и картофельные очистки...

Эх, какая же ты дура, ни капли ума! Если бы тогда послушалась врачей и родную мать... Впрочем, она довольно скоро поняла, что они были правы, и даже пыталась пристроить ребенка в какой-нибудь детский дом. Но везде ей давали от ворот поворот: детей-инвалидов всюду хватало. «Э-э, милая, если хочешь избавиться от больного ребенка, надо дать в лапу начальнику детдома». А откуда ей взять, чтобы дать в лапу? Она и сама едва концы с концами сводит, весь ее доход — пенсия на больного ребенка. Вот уже полгода она тщетно ищет работу. Где только не была, и везде одно и то же: узнав о маленьком ребенке, отказывают прямо от порога.

Усадив дитя на колени, она начала кормить его манной кашей; но только половина попадала в рот, а вторая половина стекала по уголкам губ на подбородок.

... Она родила почти в тридцать лет, испугавшись грядущего одиночества и разумно решив, что ребенок станет ей опорой в старости. Хотя внешность у нее была довольно милая, парни особо ее не осаждали: может, тому причиной была кажущаяся холодность, а может, серьезность в глазах. Ведь молодым людям нравятся озорные и веселые девушки, с которыми, как обычно принято считать, удобно общаться до брака. Жениться, разумеется, надо на серьезных и неприступных девушках. Но, как ни странно, активное общение и совместно проведенные ночи приводят к тому, что парни привыкают к этим вертихвосткам и незаметно для себя женятся на них.

В тот вечер праздновали день рождения подруги. Стол был замечательный — целый день они делали «зимний» салат, селедку «под шубой», винегрет, варили суп-лапшу. Посередине стола гордо торчали бутылки вина и водки. Один из гостей — парень с длинными черными волосами и густой бородой на лице — разлил по бокалам шампанское, произнес какой-то тост. Как оказалось, он работал главврачом в одной из больниц на окраине Казани.

— Как в лучших домах Лондона и Парижа! — зачем-то рявкнул он, засовывая винегрет в отверстие в бороде. Чуть позже, разгорячившись, бородатый снова вскочил и крикнул: «За нацию! Пьем стоя!»

Знакомый подруги — бледный светловолосый парень — попытался сказать какой-то тост в честь женщин. Бородатый перебил его: «На свете не бывает некрасивых женщин, просто бывает мало водки...». Девушки не совсем поняли его мысль, но все же подхихикнули его шутке.

— Ты почему грустишь? — вдруг встрепенулась подруга. — Ну-ка, давай выпей!

— Да уж, нечего отделяться от компании! — подхватил бородатый и шумно привалился к ней сбоку. Общими усилиями они заставили ее выпить рюмку водки.

И вдруг мир изменился! Ей стало смешно и радостно. Каждое слово, каждая реплика в пьяном разговоре за столом вдруг стали казаться остроумными и мудрыми.

Когда вечеринка завершилась, бородатый вызвался проводить ее до комнаты. Время от времени его покачивало, и тогда он, словно бы нечаянно, опирался на плечи девушки, а сам не переставая бормотал: «Видишь вот эти руки? Золотые руки... Попробуй найди в Татарстане другого такого врача...» Уже зайдя в комнату, он зачем-то резко вскинул вверх руку, сжатую в кулак, и выкрикнул: «Азатлык!»¹

Девушка не стала его прогонять. Где уж там прогонять?

Так и пролежала всю ночь, прижавшись к пропахшему потом мужику своим истосковавшимся от одиночества телом. А утром бородатый, уже собираясь уходить, пробормотал на прощание:

— Татар надо рожать больше. А то одни русские кругом...

Больше он не появлялся. А в роддом, когда пришло время, ее проводила подруга.

Смеркалось. За окном угадывался силуэт подстриженной ивы. Она была похожа на птицу без крыльев, что тщетно рвется в небо и стонет от своего бессилия... Женщина взяла с тумбочки небольшую бумажную коробку. Ее занесла утром подруга...

Сама подруга благополучно замужем, живет припеваючи в трехкомнатной квартире и растит двоих детей. Сегодня она спешила, а потому раздеваться не стала, только распахнула свою дорогую шубу. «Времени нет, в гости иду, — сказала она. — Вот тебе ампула. Достала по великому благу. Одного укола достаточно. Не сомневайся, ведь это все равно не человек. Зачем мучить себя?.. Даже наоборот, ты сделаешь доброе дело, — его невинная душа прямиком попадет в рай... И вы оба избежите от этого кошмара... Только ты держи рот на замке, никто не станет допытываться, отчего умер ребенок-инвалид. Ради тебя, дура, стараюсь...». И, оставив в комнате запах дорогих духов, подруга умчалась.

Они много раз говорили об этом. Она даже видела сон: у ее ребенка выросли крылья, и он парит в небе вместе с ангелами. Вокруг поют птицы, звенят ручьи, гроздьями висят плоды на деревьях. Настоящий рай!.. Ему будет там хорошо; Господь дарует ему наконец все то, чего лишил в этой жизни...

Когда она вводила ему лекарство, ребенок не плакал. Наверно, он вообще не чувствовал боли. Только зачем-то протянул беспалую ручку.

Не зажигая света, женщина села и неподвижно уставилась в затянутое сумерками окно.

...Позавчера она случайно встретила бывшего сокурсника по училищу. Узнав, что она живет неподалеку, он напросился в гости. С завидной расторопностью он накупил в магазине вина, шоколада и прочих подходящих к случаю угощений. Мужчина был слегка нетрезв и, очевидно, ждал от этой встречи чего-то большего. И в магазин он ринулся вовсе не потому, что соскучился по девушке, с которой когда-то вместе учился в училище. Ведь тогда он даже не замечал ее.

Она долго не могла попасть ключом в скважину замка. Рядом нетерпеливо переступал с ноги на ногу сокурсник, которого известие о наличии ребенка почему-то обрадовало. Однако испытание, ожидавшее внутри, оказалось ему не по силам... Они посидели немного за столом, задавая дежурные вопросы и отвечая невпопад, а потом гость ушел, даже не допив бутылку. Прощаясь, он принялся горячо уверять, что обязательно придет еще. И оба прекрасно понимали, что он больше никогда не переступит порог этого дома.

Она уже смирилась с мыслью, что у нее никогда, до самой старости, не будет мужчины. Правда, одно время к ней ходил похожий на подростка азербайджанец, сбежавший из зоны конфликта с армянами. Азербайджанец являлся хозяином двух ларьков, где работали местные девушки, а он сам каждое утро развозил по своим ларькам фрукты. Азербайджанец был совсем не скуп и щедро снабжал свою любовницу слегка подпорченными фруктами. И больной ребенок не вызывал у него брезгливости. Но... в последнее время азербайджанец тоже почему-то перестал приходить к ней.

...Из кровати начали доноситься какие-то странные звуки, и теперь тишина в комнате вдруг стала особенно заметна, — это была тревожная тишина. Почувствовав, как к горлу подкатил ком, женщина сорвалась с места словно сумасшедшая, бросилась к двери.

Улица была наполнена дыханием весны, снег почти растаял — его грязные ошметки виднелись только возле стен домов, куда не проникали лучи солнца.

Женщина шагала, не отдавая себе отчета, куда идет, по темным улицам, через жуткие дворы, не замечая сальных шуточек развязных подростков.

Когда она, проблуждав по городу, наконец вернулась домой, дверь общежития была уже заперта. Женщина долго стучалась, затем за дверью послышались шаркающие шаги.

Старая вахтерша с ворчанием отперла замок, окинула вошедшую ненавидящим взглядом и отвернулась: «Таскаются тут всякие...»

Женщина не стала ей отвечать и побежала к себе на второй этаж. Залетев в комнату, она щелкнула выключателем и остановилась на мгновение, ослепленная ярким светом. А когда глаза привыкли, она ахнула: «Де-е-точка моя...». В кровати, держась ручками за края, стоял улыбающийся ребенок, а его сморщенные губы неумело пытались произнести первое в жизни слово: «Мама!».

Протянув руки к своему ребенку, к своему сокровищу, женщина шагнула к весеннему окну. Там — по другую сторону окна — раскинулся прекрасный и бесконечный мир.

Перевод Гаухар Хасановой

КУРБАН-БАЙРАМ В КОНЦЛАГЕРЕ

(быль)

середине лета девяностых годов я шел куда-то по улочкам моего родного села Эстэрле. Был я в отпуске и приехал повидаться с деревней, подышать ее воздухом.

Помню, что на перекрестке двух улиц стоял, вплоть до моего ухода в армию в 1952 году, большой, красивый двухэтажный дом, о хозяине которого я знал лишь понаслышке. Внизу дома был подвал, на первом этаже — магазин. Второй этаж был деревянным, и делали его вызванные из Казани лучшие плотники и столярных дел мастера. Говорили, что бывший владелец дома Хузиахмет Хавасович Тайгунов был очень богатым, но и не менее щедрым человеком, он славился как мастер на все руки и действительно владел несколькими специальностями. К людям был отзывчив, благожелателен. В 1929 году его с женой и шестью детьми как «кулака и вредного элемента» выслали в Сибирь. С тех пор не было от них никаких вестей. Видно, так и сгинули в бескрайних снегах или тайге.

На месте их бывшего терема, казавшегося мне сказочным, теперь торчит неказистое, нелепое двухэтажное сооружение, наскоро слепленное из белого кирпича. Внизу расположен гастроном, а наверху продают билеты на поезда и автобусы, стригут желающим волосы и наводят маникюр местным леди.

Итак, летним утром я проходил мимо этого магазина-гастронома, от дверей которого, согласно незабываемой коммунистической традиции, тянулась терпеливая хлебная очередь. Среди ожидающих хлеб сельчан я увидел и сутулую фигуру дяди Биктимира, после войны перебравшегося на нашу улицу. Здравуюсь со всеми. Мне вежливо отвечают. Меня здесь узнают, привечают. И только одна старушка, не узнав меня, спросила народ, с кем это он здоровается. Очередь недовольно загудела:

— Да ты че, разуй глаза! Как же его не узнать? Это же последыш тети Марзям, тот самый Заки, что давно уже уехал из аула в большой мир и все-таки не забывает свою малую родину. Заки это, Заки-и!..

— Говоришь, сын Марзям? Какой Марзям?

— О Аллах Всемогущий! Она еще спрашивает, какой Марзям! Да той самой Марзям, что была женой сельского писаря — дяди Лутфуллы! Какой же еще! Ты посмотри-ка на Заки — вылитый отец! И походка, и фигура, и улыбка... Бывает же такое удивительное сходство!.. Видно, родился он с благословения самого Аллаха, милостивого и милосердного...

Из очереди выходит дядя Биктимир и протягивает обе руки для приветствия.

— Нихаль? Как дела? Жив-здоров ли, Заки?

— Пока не жалуюсь, дядя Биктимир, все нормально. Сам-то как поживаешь?

— Хвала Аллаху, хожу пока. Как у тебя со временем, брат Заки?

По опыту знаю: если дядя Биктимир задал такой вопрос, значит, ему есть что сказать, или же у него ко мне какая-то просьба. Он не из тех, кто беспокоит человека по пустякам.

— Я ведь в отпуске, дядя Биктимир, так что времени у меня — вагон и еще тележка. Есть какая-то просьба? Или ты раскопал что-то интересное для меня? Слушаю!

— Пойдем ко мне. Расскажу я тебе одну историю. Думаю, что никто уже, кроме меня, не сможет ее рассказать. Уверен, что из этой истории ты напишешь какой-нибудь замечательный рассказ, а может, и книгу.

— Что же, если эта история действительно заслуживает внимания... И если я смогу описать ее пером...

— Сможешь, браток, сможешь! Ты еще мальчонкой фирманы мог писать, а уж рассказы сбацать — для тебя дело плевое. Ты очень похож на своего отца, славного писаря Лутфуллу, и на старшего брата своего Гарифуллу, погибшего на той проклятой войне. Как и они, ты отзывчив к людям. А способностей у тебя не занимать, знаю! Так что напишешь! Ну, пошли ко мне.

— Ты же без хлеба останешься.

Он с досадой махнул рукой в сторону очереди.

— Может, и не останусь. Приду попозже. Успеется... Я должен рассказать тебе одну историю, случившуюся с нами в немецком плену. Ведь не у каждого, кто побывал в плену, есть в деревне свой писатель, верно, браток? То-то... А если не расскажу, так и умрет эта история вместе со мной... Угу... А этого допустить нельзя, браток, понимаешь? В этом году я жил в страхе, что помру, не успев повидать тебя. Но Всевышний услышал мои молитвы, и ты приехал, когда я еще, сам видишь, живехонек, хотя и не совсем, а вернее, совсем не здоров. Видно, Всевышнему так было угодно, чтобы я рассказал, а ты — описал эту историю, поучительную для всех мусульман, где бы они ни жили и куда бы их судьба ни закинула...

Зашли мы в дом дяди Биктимира, уселись за стол с дымящимся чаем, приготовились к долгой беседе.

После смерти жены Джамил и дядя Биктимир привез из соседней деревни Юмахузино некую башкирку, тоже одинокую вдову, и стали они скрашивать одиночество друг друга.

Честно признаюсь: мне очень хочется, чтобы история дяди Биктимира в моем писательском переложении понравилась читателям. Не секрет, что «железобетонная» коммуно-советская литература показывала немцев 1941—1945 годов исключительно как фашистов, эдаких оголтелых наци. Конечно, на войне, особенно такой большой и кровопролитной, без жестокостей ни одной из сторон не обойтись. И все же были в немецких концлагерях и другие события, кроме расстрелов, унижений и газовых камер. История, рассказанная Биктимиром Хусаиновым, относится именно к таким «нестандартным» событиям.

НА ВОЙНЕ

— Недавно я еще раз попросил внука перечитать твою книгу «Мальчишки предвоенных лет», взяв ее у соседского сына Мухми-Гарая, ты ведь знаешь их. В книге описана история Кутыйки Сабурова с нашей улицы, того самого Кутыйки, что побывал в немецком плену. Интересно ты написал, и жалостливо как-то, и сурово... Мы ведь с Кутыйкой встретились в одном концлагере на Украине и пробыли там вместе больше года. Потом, в сорок третьем, нас отправили в Германию. Сабурова купила тогда одна немецкая фрау.

— На войну меня призвали 19 сентября сорок первого года. Сам знаешь, моя Джамилия, царство ей небесное, осталась с четырьмя детьми на руках: Анваром, Зуфаром, Асией, Хайдаром. Анвару — одиннадцать лет, Хайдару — годик.

Попал я в 361-ю стрелковую дивизию, то бишь стрелком стал, етить твою... Только у стрелка этого даже ружья не было. Какую-то допотопную винтовку дали уже на фронте. Учиться стрельбе «стрелкам» было некогда. Что касается меня, то я вообще впервые в жизни увидел оружие. Вернее, впервые держал в руках оружие, потому что старинную охотничью двустволку я не раз видел в детстве на базаре, куда башкирский мерген: Янгул приносил продавать подстреленных им зайцев.

Октябрьские праздники мы, будущие стрелки, встретили неподалеку от Уфы, в селении Булгакове. Кормили сносно, голодными не были. В других частях похуже бывало. В местечке Алкино, что за Уфой, народ, говорят, и вовсе с голоду пух. Пришлось срочно их, сердечных, на фронт, где, кроме смерти, все-таки присутствует и полевая кухня.

13 ноября нас погрузили в вагоны на станции Дюма. 50 человек в одну теплушку. Через четверо суток монотонной тряски мы достигли древнего русского города Ярославля, расположившегося вдоль реки Волги. Там нас высадили из вагонов, кое-как построили. А немец уже всю бомбил этот город, причем и днем, и ночью. От Ярославля нас пехом погнали к городу Калинин.

Еще в Ярославле нам выдали на десять человек одну настоящую винтовку с десятью патронами, остальным сунули в руки покрашенные в черный цвет деревянные ружья. И настоящие, и бутафорные винтовки были без ремней, приходилось держать их в руках постоянно... Правда, деревянные ружья были значительно легче настоящих, но у них даже бутафорский штык отсутствовал. В общем, винтовка системы «НИ» — «на испуг». Мне, конечно, досталась «деревяшка», как и большинству бойцов. «В бою возьмете настоящую винтовку у погибшего солдата», — цинично обнадежили нас.

Из нашего района нас было трое. Мазит Шаймуратов, из нашего села, на верхнем конце жил, женка его Магинур первой певицей на деревне была. Потом — один мишарин, из деревни Амирово, имени точно не помню, кажется, Галямутдин. Он погиб в первом же бою от взрыва мины. Ну, и я, конечно. Трое земляков.

Мазит Шаймуратов был ротным старшиной. Смелый, решительный в бою, человечный в обращении с солдатами.

Итак, 25 декабря сорок первого года мы с деревянными ружьями в руках кинулись на вооруженного до зубов врага. Оставалось только шапками его закидать.

«Деревянщики» старались держаться возле солдата, вооруженного настоящей винтовкой. Если его убьют, ружье достанется тому, кто окажется самым проворным и ловким.

В этой первой в моей жизни атаке и зацепила меня пуля. Вернее, пули: одна — поясницу, другая — предплечье. Даже разок выстрелить не успел! Судьба... Не досталось мне тогда настоящего ружья...

Спасибо Мазиту — он погрузил нас, пятерых раненых, на подводу и вывез на большак. На дорогах — столпотворение!

Устрашающе подняв над головой гранату, Мазит вынудил остановиться одну санитарную машину, посадил, вернее, погрузил нас в нее и попрощался.

— Дядя Биктимир, — сказал он мне на прощанье (он был значительно моложе меня, хоть и старшина), — ты уж как-нибудь постарайся больше сюда не попадать.

Фамилия командира нашей роты (мы говорили на татарский лад «рута» вместо «рота») была Дида. Это был молоденький, 1922 года рождения, красавец-грузин. Несмотря на свой юный возраст, он воевал и командовал грамотно, с головой, сберег солдат. В полку нас называли звучным именем — рота Дида, почти по-иностранному, а?..

Лечился я в госпитале № 1729 города Кургана до мая 1942 года. Поправившись, сумел вернуться в свою же, «родную» дивизию. Помню, как слезно, жалостливо умолял я начальство вернуть меня именно в эту часть. По-русски я говорил тогда с диким акцентом, что вызывало улыбку начальства, а возможно, как следствие этого, и благожелательное ко мне отношение. Посудите сами: как можно отказать смешному татарчонку, который старательно и горячо лопочет что-то вроде: «Харуши камандыр рута грузин — литинат Дида. Тульке у ниво я жибой буду»?

Посмеялись и разрешили вернуться в родную часть. С Мазитом мы переписывались, так что о расположении части я знал.

К моему возвращению часть держала оборону у «хохляндского» города Хорошево, недалеко от Харькова. Окопы были вырыты в пятидесяти километрах от города. Там мы и отсиживались. Долго сидеть нам не дали, погнали в наступление. Меня назначили вторым номером к пулемету «максим». Дида был уже капитаном, командовал батальоном, все такой же красавец с двумя орденами на груди. При встрече он обнял меня, похлопал по спине, приговаривая: «Молодец, Хусаинов, молодец!» Оказывается, и фамилию мою не забыл. Ну и я по части любезности в долгу не остался. «Здравия желаем, — говорю, — товарищ капитан! Вас лубим, и вирнулса вот!»

Дида смеялся, обнажив свои белоснежные зубы.

Ладно, вернулся я в свою «руту». Огляделся, и слегка приуныл, потому что большинства из прежнего состава уже не было. Война!

Проставили меня к пулемету. Плохой, надо сказать, пулемет. Неужели нельзя было сделать пулеметную ленту из металла или кожи? Например, как у превосходного немецкого пулемета «МГ»... У «максима» она была брезентовая, быстро намокала от влаги или осадков, и тогда патрон «не шел». А в жаркое время брезент пересыхал так, что патроны сыпались, не успев попасть в ствол. Намучились мы с «максимушкой»! Немец валом прет на тебя. А у твоего «максима» патроны на землю сыплются!

В одной ленте — 250 патронов. Целых пятьдесят километров тащился ящик с патронными лентами. В одном ящике — две ленты, которых хватает на отражение двух атак. Если глаз у пулеметчика верен, а рука тверда, двумя лентами можно и три атаки отразить.

Беда обрушилась на нас 12 июня 1942 года, когда нас погнали в очередное контр наступление. Однако немцы не дремали — их разведчики заранее сообщили о готовящемся у Харькова советском контр наступлении. Говорят, это была работа немецких резидентов в Москве.

Зная план нашего наступления, немцы подготовили для себя удобные пути обхвата и позволили нам рвануться в лобовую атаку. После того как мы увязли в боях, им ничего не осавалось, как окружить и разбить, раскромсать нас по частям. Все было, увы, заранее продумано ими.

Степь лежала ровная, словно деревенская сакел. Лесов было — раз-два и обчелся, так что прятаться негде. Наскоро накопили мы неглубокие окопца в этой скудной степи, куда спозаранку ринулись было наступать. Вжались в окопца, держим оборону. Кругом — немцы. Они не спешат. Знают, что бежать нам просто некуда. Отовсюду мы видны им как на ладони. От нашей дивизии остались жалкие куски, окруженные превосходящими силами врага. Немцы нещадно бомбили нас с воздуха, не было покоя и от их артиллерии и от минометов. В атаку они пока не шли, берегли солдат, предпочитая перемалывать нас с помощью авиации и артиллерии. Немцы умеют сражаться. Они не гонят с криком «ура», подобно нашим командирам, толпы необстрелянных юнцов под разящий огонь вражеских пулеметов. Да, немцы воевали с умом!

Фрицы бомбили нас весь день, и только к вечеру пустили пехоту под прикрытием танков. У каждого из их солдат был автомат и несколько гранат. Разгорелся бой. Жаркий бой в жару, когда пар поднимался и от пулемета, и от пулеметчика. Вдруг на моих глазах осколком мины буквально срезало голову первого номера нашего пулемета. Минометов у немцев много, и стрелять из них они наловчились мастерски. Мина тем и опасна, что ее осколки после взрыва летят не вверх, как у снаряда, а косят солдат, так сказать, «на бреющем полете», то есть разлетаются в разные стороны над землей. Минометы созданы специально для истребления живой силы противника.

Итак, головы у «первого номера» не было совсем. Ее срезало осколком, как косой, и только кровь лилась из обрубленной шеи, хотя пальцы обезглавленного пулеметчика по-прежнему давили на гашетку, поливая врага огнем. С трудом оторвав его руки от гашетки, я отбросил в сторону тело погибшего. Оно еще вздрагивало, конвульсировало, не желая умирать.

До позднего вечера мы как могли отбивались от фрицев. Много их побили. Но и немцы вошли в азарт — не остановить. Атака за атакой. Из их танков пять мы подбили: один из противотанкового ружья, другой — бутылкой с зажигательной смесью, третий — чуть ли не голыми руками... Много наших полегло, очень много.

Где-то часов в шесть вечера на наш пулемет с жутким воем стал пикировать немецкий самолет. От ужаса хотелось спрятаться под землю, но и там не было для нас места, кроме мелких, открытых окопов. Неожиданно Мазит с силой оторвал меня от пулемета и швырнул на дно окопа, прикрыв меня своим телом...

До восьми часов утра лежал я без сознания. Под Мазитом. Нас буквально сровняло с землей. Пикирующий бомбардировщик не промахнулся. Прямое попадание. Метким оказался, гад! Мазит спас меня, но самого его, бедолагу, и по частям нельзя было собрать.

Домой я возвратился осенью 1945 года. Военком, майор Голышев, записал с моих слов, где, как и когда погиб старшина Шаймуратов. Вдове его, некогда веселой певунье Магинур, оставшейся с двумя детьми на руках, выписали пенсию. Хорошим человеком был майор Голышев, понимал людей... Вскоре Магинур начала получать пенсию за погибшего мужа. Героем был Мазит! Сам погиб, а меня спас!

В ПЛЕНУ

Утром 13 июня меня выкопал из земли Саша Подольцев. Я стонал, пытаюсь прийти в сознание.

— Вставай, Хусаинов, вставай! Мы в плену!

Он побрызгал на меня водой из солдатской фляжки, протер мне лицо, поднял меня и под руки отвел на место, указанное немцами для сбора пленных. Оказывается, Сашу немцы назначили старшим над пленными. Перед тем как составить список, нас построили и даже заставили немного походить строем, при этом шесть человек, видимо, раненых, сразу отстали и были застрелены на месте, вернее, на том месте, где упали или вынуждены были сесть от бессилья.

Два дня собирали пленных со всех окрестностей, затем построили в колонны и погнали в Ростов. В первую же ночь исчезли Саша и двое его приятелей. Меня тоже пробовали уговорить на побег. Нас сопровождали всего десять немецких автоматчиков. Но я отказался. Какой из меня беглец? Голова раскалывалась, ноги еле двигались, постоянно тошнило. О каком бегстве можно думать в таком состоянии?..

После войны я отыскал родное село Саши Подольцева. Встретил я там лишь его мать. Отец, старший брат и два младших — никто не вернулся с войны. Тетя Матрена осталась одна-одинешенька на белом свете. Невестка с двумя детьми подалась в Сибирь искать «счастья». Была она женой старшего сына, первенца. А о Саше в октябре сорок второго пришло извещение как о пропавшем без вести...

Рассказал я о Саше, что знал. Тетя Матрена слушала и плакала навзрыд. Не вернулся Сашенька Подольцев — неизвестно, где сгинул...

Нашу колонну пригнали в Ростов. Поселили в местной тюрьме. Через месяц погнали на Украину, где в течение года с лишним мы работали на обслуживании аэродрома. Я отпустил усы и бороду, а сам был весь бледный такой, как привидение. Даже немцы меня жалели. «Ты же старый», — говорили они и частенько разрешали мне не работать. Не все же из них были фашистами. Встречались люди благородные, милосердные, особенно среди пожилых. Всю зиму мы очищали аэропорт от снега, сгребая его в сани и увозя подальше. Вместо лошадей в сани впрягали по шесть человек пленных. Там-то, в одной упряжке, я и встретил Кутыйку Сабурова, что с нашей улицы. Его часть отступала от самого Бреста до реки Днепр, где Кутыйка и попал в плен. Ты знаешь, Кутыйка был парнем дошлым, пронирыливым. Да и башка у него «варила». А по-немецки лопотал почти как фрицы, угу... Сначала немцы как следует избивали его. Несколько раз. Кажется, Кутыйка что-то спер у них. Говорю же, ловок был, бестия. Ну, отметелили его и больше не трогали. Он нужен был как немцам, так и нам, пленным, в качестве переводчика.

Осенью сорок третьего погрузили нас в вагоны и отправили в Германию. Высадились мы в городе Киле — портовом городе, расположенном на балтийском побережье. Там я и увидел в первый раз море. Зрелище, конечно... Противоположного берега не видно. Вода и вода — без конца и края. Поселили нас в концлагере, в пригороде Кили. В каждом из двадцати барачных жилищ жило по 250 человек. Спали на двухъярусных полках.

В ЛАГЕРЕ

Работа не была особенно тяжелой. Мы разгружали или загружали коробки. Неподъемные грузы доставляли на тележках с невиданными у нас надувными резиновыми колесами. Правда, в тележку впрягались опять-таки мы сами.

Начальником концлагеря был очкастый высокий худой майор. В лагере при нем почти не было случаев рукоприкладства и вообще какой-либо жесткости по отношению к пленным. Редко немецкие солдаты замахивались на нас, еще реже — били. Большинство немецких солдат были пожилого возраста, видимо, резервисты. Неторопливо, степенно прохаживались они по лагерю. Глядя на них, и мы невольно чувствовали себя более спокойно, нежели раньше. Никто нас не гонял, не пинал, не рывкал на нас. Видимо, они тогда уже начали понимать неизбежность своего поражения...

Это было, кажется, в конце мая — начале июня 1944 года. После работы мы, пленные-мусульмане, обычно собирались вместе и проводили время за разговорами, греясь на вечернем ласковом солнце. Сидели и судили, гадали, когда же будет конец войне и когда, как собираются нас освободить из неволи? Скоро ли мы вернемся в родные края? Оставят ли после войны колхозы или распустят их, окающих? А что будет с нами? Как отнесутся к нам после войны? Власовские агитаторы чуть ли не каждый день пугали нас: «В Советском Союзе всех вас объявят предателями и расстреляют! В лучшем случае — выгонят в сибирскую тайгу! Пока не поздно, записывайтесь в Русскую освободительную армию генерала Власова!»

Но никто не хотел идти в эту изменническую армию.

В нашем концлагере были и азербайджанцы. С разрешения командира они читали молитву, совершали намаз. Один из них взбирался по лестнице на крышу барака и возвещал азан — призыв к намазу. Намаз совершали один раз в неделю, в пятницу, то есть священную для мусульман джуму... Азан читали вечером, поскольку днем были заняты на работах. Молились возле барака, постелив на землю вместо молитвенных ковриков-намазлыков всякие тряпки.

Молились они дружно. Мы же, татары, в их молитвах не участвовали, только смотрели. И вот кто-то из нас, наблюдая за молящимися азербайджанцами, вдруг хлопнул себя по лбу:

— Джигиты! Через восемь дней — Курбан-байрам!

Поговорили немного на эту тему и смолкли. Потом кто-то снова подал голос:

— Это правда?

— Правда, ребята, — ответили ему. — Осталось восемь дней.

Кто-то насмешливо заметил:

— Откуда тебе в немецком концлагере известно, когда будет Курбан-байрам?

— Знаю уж! Не татарин я, что ли? Ровно через восемь дней наступит Курбан-байрам!

И тут гулко забились сердца татар, все разом принялись что-то говорить, что-то доказывать! Места на завалинке у барака оказалось мало.

Курбан-байрам! Да-да, как же! Кто не помнит этого чудесного праздника?! Жарко натопленная баня вечером накануне праздника... Белые штаны... белая рубашка... белые платья... С утра пораньше — праздник Курбан-байрам с чтением Корана, его кыстыбы, эпочмаками, кабартомой, бялишем¹, жертвенным мясом и супом из него!

Апогей праздника — знаменитая татарская лапша — токмач! Объедение, фурор, фантастика! А эти пышные караваи ржаного и пшеничного хлеба! Гречневая, просяная каша! Блины! Мм-м! Блины, истекающие желтым маслом или ярким вареньем!..

Господи, когда это было? И было ли?!..

День напролет, в какую избу ни зайди, всюду ждут тебя губадия, эпочмак, бялиш, блины, бавырсак, чак-чак, кыстыбий, каймак и много-много других вкусных блюд! А катык! Господи, как можно забыть восхитительный вкус катыка — только что из погреба, заполненного снегом еще с ранней весны?

Через несколько минут десятки людей, собравшихся у порога барака, гудели пчелиным роем. Курбан-байрам! Скоро Курбан-байрам!

Казалось, что весь барак вдруг пропитался запахами праздничной татарской кухни. Слюнки текли у людей, скулы сводило от воображаемых яств! Желудки произвольно заурчали, прося пищи богов, требуя татарскую небесную манну. В татарских башках — головах стали рождаться какие-то пронзительно-светлые мысли, находившиеся в непонятной, казалось бы, связи с вышеупомянутыми яствами татарских застолий. Сердца бились учащенно, еще недавно тусклые глаза искрились жизнью, желанием!

Человек, первым обронивший слова о Курбан-байраме, оказался татарин средних лет, вероятно, не более сорока, лет, всегда аккуратно одетым, вымытым, чисто выбритым. Позже он рассказал о себе несколькими из нас.

Родом он был из Казани. Коренной горожанин. Он назвал себя почему-то двумя именами: сначала — Мустафой, потом — Муртазой. Оказалось, что вплоть до 1935 года он был муллой в одной из казанских мечетей.

Грамотным, образованным человеком он был, не то что мы, лапти, неучи. И сказал нам тогда Мустафа:

— Выберем среди нас троих и пойдем к коменданту за разрешением на Курбан-байрам. Чтобы хоть один день полностью не работать, хорошо выспаться, прийти в себя для проведения праздника.

Над ним сначала лишь посмеялись:

— Как так? Чтобы отметить Курбан-байрам в немецком концлагере? Как же! Немцы такой «Курбан-байрам» тебе устроят — свету не взвидишь!

Был среди нас славный такой татарский паренек по фамилии Галякаев, родом из Средней Азии. Он поддержал Мустафу. Более того, оказалось, что этот Галякаев неплохо «шпрехает» по-немецки, из-за чего заслужил среди немцев определенный авторитет, если не уважение. И вот говорит этот загадочный среднеазиатский и немецкоговорящий татарин:

— К коменданту и я пойду. Хотя бы как переводчик. Я должен искупить свою вину перед Аллахом, перед своим народом. Дело в том, что вера во мне почти погасла было. Более того, до войны я успел прочитать немало лекций о вреде религии в разных учебных заведениях Ташкента, да и в других местах... А ведь я — сын муэдзина. Я — человек, на которого пало отцовское проклятие! Я тоже пойду к коменданту! Уверен, что именно из-за безверья, из-за утраты веры несу я тяготы плена! Но Аллах есть! Я возвращаюсь к нему, милостивому и милосердному! Пойдемте к коменданту!

Мустафа хазрет смотрел на меня и улыбался. Почему он смотрел на меня?

Дослушав исповедь Галякаева, он одобрительно похлопал его по спине:

— Афарин! Молодец! Ты, Галякаев, еще сможешь замолить свои грехи. Послушай, раз ты сын муэдзина, значит, умеешь возвещать азан?

— Умею, конечно! С двенадцати лет я поднимался с отцом на минарет ташкентской мечети для азана.

Словом, дослушал Мустафа хазрет каявшегося сына божьего и обратился прямо ко мне.

— Дядя Биктимир! — говорит. — Ты моложе меня, но внешне выглядишь благообразным, благочестивым татарским аксакалом (действительно, усы и борода были у меня белыми — вероятно, от пережитого). Поэтому я и называю тебя «абзы», то есть дядей, и предлагаю пойти с нами третьим человеком в нашей маленькой делегации. Мы скажем, что ты являешься нашим аксакалом, то есть старейшиной, или старостой, по немецким понятиям. Усы и бороду придется тебе подправить, сделать, как у мусульман. Беру это на себя. Наденем на тебя тюбетейку. Ее я тоже сам изготовлю, вернее, раскрою материал, а парни сошьют. Ну а теперь совершим омовение и помолимся, очистимся, почитаем намаз. И — с богом! Решено! Как зайдем к коменданту, прежде всего снимем с головы тюбетейки, показывая, что мы являемся мусульманами. А потом перейдем к нашей просьбе...

Спрашивает затем меня:

— Дядя Биктимир, скажи, знаешь ли ты какие-нибудь молитвы?

— Знаю суры «Альгам», «Кулхуалла», «Салават»...

— Хватит, достаточно! Как аксакал, ты должен будешь прочитать молитву. Не спеша, обстоятельно, с выражением, нараспев...

Прошли сутки. Вечером Мустафа с Галякаевым вытащили меня на улицу.

Галякаев сказал:

— Когда завтра мы построимся на Аппельплацу, прежде чем отправиться на работы, мы втроем выйдем из строя: Мустафа, я и ты, дядя Биктимир...

Признаюсь, что в эту минуту мне стало страшновато, хотя я старался не показывать этого. А Галякаев пристально посмотрел на меня и спросил:

— Чего молчишь? Или испугался?

— Пугаться не стал бы, — отвечаю, — во всяком случае, за себя. Но в деревне у меня четверо детей осталось.

Мустафа как-то странно покряхтел и сказал:

— Когда меня забрали в НКВД, у меня было пятеро детей, а жена была беременная шестым, уже рожать готовилась... М-да...

Он дважды хлопнул меня по спине:

— Надо нам решаться! Дело богоугодное, и кто-то обязан его начинать. Так начнем его мы! Только не нужно бояться.

РЕШЕНО!

Наутро мы втроем вышли из строя на Апельплацу. Вышли и повернулись лицом к строю. Ночью нам всем сшили тюбетейки. В бараке нашлись превосходные портные и парикмахеры. Растительность мою постригли по-мусульмански. Головы у нас троих были побриты по-мусульмански. Тюбетейки мы сняли и держали в руках. И пленные, и немцы с удивлением смотрели на нас.

Кто-то из русских пленных рассердился:

— У, татарва гололобая! Чего повылезали?

Мы застыли как статуи.

Комендант не спеша подошел к нам, рукояткой хлыста легонько стукнул меня по бритому черепу и спросил: «Вас ис дас? Что это?»

И тут Галякаев как начал чесать на языке Гейне! Я понял лишь единственное слово — «мусульман».

Майор молча выслушал Галякаева и отдал какую-то команду. Тут же подошли два солдата с карабинами и повели нас в здание комендатуры. Мы шли и молились про себя.

Пришли. Спустя некоторое время явился и майор в сопровождении нескольких офицеров. Не глядя на нас, он прошел в свой кабинет.

Вскоре вышел адъютант и позвал нас:

— Комман зи битте! Заходите!

Зашли. Стоим у двери. Комендант сидит за столом, фуражка — на столе. Кажется, он чего-то ждет.

Вскоре выяснилось, что он ждал звонка из Берлина.

И вот телефон зазвонил. Оказывается, наш комендант приказал найти имама берлинской мечети, чтобы тот позвонил ему в лагерь в назначенное время. Комендант взял трубку, стал разговаривать по-немецки, о чем-то спрашивать. Галякаев пояснил нам, что комендант спрашивает, действительно ли через семь дней состоится мусульманский праздник. Выслушав ответ, комендант как-то сразу успокоился, черты его сурового, резкого лица немного смягчились. Он понял, что татары его не обманули. Комендант пальцем поманил к себе Галякаева, передал ему трубку.

Сын муэдзина осторожно приложил к уху трубку, послушал и ответил гостю:

— Ассалюмугалейкум, Гани хазрет!

Стоило произнести эти слова, как наш бедный Галякаев залился слезами, будто дитя. Он плакал так искренне, можно сказать, так заразительно, что вслед за ним начал шмыгать носом и я, а потом и Мустафа. Надо же! В Германии говорить с настоящим татаринном, да еще с самим хазретом!

Немного послушав Гани хазрета, Галякаев ответил:

— Мулла у нас есть. Настоящий. Раньше был муллой в одной из казанских мечетей.

Задумался над очередным вопросом берлинского хазрета:

— Не знаю точно, сколько у нас мусульман...

— Не менее ста пятидесяти! — громко шепчет ему Мустафа-мулла.

Галякаев отвечает. Поговорив еще немного, кладет трубку.

Майор спрашивает нас:

— Вы все трое мусульмане?

— Да, герр комендант, мусульмане, из казанских татар.

Галякаев показал на меня, объяснив, что я являюсь у них аксакалом, то есть старейшиной. Аксакал дословно переводится как белобородый, а у меня, как я уже сказал, и усы, и борода действительно были белыми. Словом, типичный седобородый мусульманин, пользующийся уважением у своих единоверцев. Надо сказать, постригли меня очень удачно. Уж очень я стал похож на деда Абдуллу Пушти с верхнего конца нашей деревни.

«Гут! Хорошо!» — сказал нам майор и что-то приказал стоявшему в углу солдату. Тот проворно скрылся за дверью и скоро появился с подносом в руках, неся кофе и бутерброды. Стало быть, угощение для нас, значит, не расстреляют. И даже бить не будут. Все зер гут, хорошо. Сначала угощение взял Мустафа мулла как духовное лицо, затем я — как старейшина. Что касается Галякаева, он преспокойно засунул бутерброд в рукав и лишь делал вид, что жует. Мы знали, что его сосед по нарам — грузин — очень страдал, болел от постоянного недоедания. Жалел его Галякаев, вот и приберег для сына гор халявный бутерброд.

Пью я кофе и думаю: «Эх, сюда бы чай с молоком, как у нас в ауле!»

Договорились: под мечеть майор отдаст нам один из барачков. Весь барак, полностью. Мы моем его изнутри известковой водой, стелем на пол брезент. На крыше барака разрешалось установить мусульманский полумесяц. Кроме того, майор приказал доставить нам воды для омовения. Целую

пожарную машину! Мустафа мулла терпеливо объяснял, что еще им требуется. Галякаев переводил его на немецкий язык, а адъютант коменданта аккуратно записывал все в блокнот. Так проговорили часа полтора. Перед нашим уходом майор сказал:

— Составьте и принесите мне список участников праздника. Я на два дня освобожу их от работы.

Наконец мы вышли. У барака посидели еще немного, посоветовались. Я оказался ответственным за изготовление полумесяца, мытье барака и застилку пола брезентом. Галякаев взялся за изготовление минбара и посоха, шитье чалмы для себя и хазрета, а также за составление списков.

ГОТОВИМСЯ

Вечером ко мне заявили Галякаев с хазретом. Довольные — рот шире варешки. Мы были заняты мытьем того барака, что отдали нам под мечеть, кроме того, ладили маленький минарет с полумесяцем. Галякаев с видом заговорщика отозвал меня в сторону и с улыбкой сказал:

— Ну, ребята, что делать будем? Как только в бараках узнали, что комендант на время празднования Курбан-байрама дает мусульманам два дня отдыха, от желающих приобщиться к исламу прямо-таки отбою нет. Ко мне пришли три якута, больше десяти армян и грузин с просьбой записать их в мусульмане. Хоть плачь, хоть смейся.

Мустафа мулла задумался и сказал:

— Ну что же. Это неплохо. Посади их всех в ряд возле барака и научи их трижды подряд воскликнуть: «Ля илляху илляляху мухаммаду расульилляху!» Это должен знать каждый мусульманин. Без знания этих слов нельзя войти в мечеть. Так что для наших «новообращенных» вполне хватит этих слов. Привлечи к этому делу Музагита абзы, того самого, что мне частенько помогает. Пусть он учит их этим словам и объяснит, что только тот может считаться мусульманином, кто, как минимум, может произнести эти слова, которые означают: «Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его!» Их надо повторить три раза подряд!

Галякаев едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. Ему интересно: новых мусульман уже набралось больше полусотни! Их рассадили у барака, и они принялись старательно повторять вслед за Музагитом абзы: «Ля илляху илляляху-ху...» Люди хором говорили священные слова, и на душе становилось как-то хорошо, светло... а сам думаешь: надо было этим якутам, армянам, чувашам, марийцам, грузинам и бог его знает еще кому очутиться в Германии, пройдя муки плена и концлагерей, чтобы вдруг возжелать принять ислам. Чего только не бывает на этом свете!

Кажется, и комендант заинтересовался ходом нашей подготовки к празднику. Спрашивает с любопытством:

— А скажите, разве недостаточно для молитвенных поклонов чисто вымытых полов? Зачем еще брезент стелить?

Галякаев отвечает:

— Дело в том, что во время намаза мы становимся на колени.

— О-о! Гордые татары становятся на колени?

— Да! Мы, мусульмане, становимся на колени только перед Аллахом!

— А почему воды так много просите?

Галякаев объяснил ему суть мусульманского омовения.

Майор слушал внимательно, иногда удивляясь.

— О-о! — протягивал он. — Омовение тела перед молитвой показывает, что вы, мусульмане, принадлежите к высокой цивилизации, владеете культурой физиологии! Гут! Гут!

Все мусульмане и примкнувшие к ним «неофиты» всюду принялись готовиться к празднику. Везде шили тюбетейки — кто из куска шинели, кто — из какой-то тряпки. Кто-то шил чукьяки, кто-то вышивал на рубахе полумесяц. Все поголовно брились и стриглись по-мусульмански. Словом, настроение было поистине праздничным!

С этого дня концлагерь под Килем стал похож на разворошенный муравейник. Люди суетились до полуночи. Все в лагере знали о предстоящем мусульманском празднике, никого он не оставил равнодушным. Конечно, были и недовольные, особенно из русских. Однажды под подушку Мустафы подложили записку угрожающего содержания: «Пока не поздно, прекрати подготовку к празднику!» И все же даже среди русских несколько человек записались в «мусульмане». Кто-то вспомнил, что его дедушка по матери был татарин, кто-то выкопал татарские корни прапрадеда, потомки которых были уже крещены, и т.д.

На крыше барака водрузили маленький минарет с полумесяцем на шпиле, окрашенным в желтый цвет...

Вечером накануне праздника разгорелся спор: кому руководить праздничным намазом?

Наконец один из набожных азербайджанцев честно признался:

— Издавна так повелось, что наиболее образованные, знающие муллы были именно из казанских татар. Вся организацию праздника, от разрешения на него до самых что ни на есть бытовых вопросов, смело взвалил на свои плечи уважаемый казанский мулла Мустафа-эфенди. Пусть же этот достопочтенный казанец и руководит проведением праздничного намаза.

Все согласились и на этом разошлись по баракам.

ГАИТ

И вот наступила кульминация праздника — Гаит-байрам, или Курбан-гаит, день мусульманского жертвоприношения. Все было организовано с большой тщательностью. На голове Мустафы хазрета красовалась большущая белоснежная чалма. Откуда только нашли материал? Новообразованная мечеть была чисто вымыта, выскоблена и заполнена торжественно настроенными «прихожанами». Истинные мусульмане смешались с новообращенными и образовали несколько стройных рядов. При входе в мечеть все дружно запели «Ля илляху...» — словно взяли в руки волшебный ключ к исламскому храму. И только один незадачливый «неофит» — вечно голодный грузинский друг и сосед Галякаева — Гоги как назло забыл слова «Ля илляху...» и растерянно остановился у дверей барака мечети. Его не пускали в храм!

Отчаявшись и кляня себя за забывчивость, Гоги уселся у порога мечети и что есть силы колотил себя кулаками в выбритую до синевы башку, повторяя стражам мечети, как заклинание, корявые слова на ломаном русском:

— Ти-и ви-идишь, мая галава мусульман голова стал! Ви-идишь, валус нит, гулый сапси-им! Ви-идишь? Ти чту, слипуй? Уши мыл, нус мыл. Чистый сапсим!..

Он попытался прочесть по-русски забытую молитву-талисман:

— На всюм свете Аллах тульке адин! Ей-богу, один Аллах!

В доказательство искренности своих намерений он уже поднес было руку ко лбу, чтобы... перекреститься, но, тут, на его счастье, появился его друг Галякаев и, обняв его за плечи, подтвердил: «Да, да, Гоги — мусульманин, настоящий мусульманин!» И сам повел друга в мечеть.

Когда все прихожане нашли и заняли свои места в храме, муэдзин Галякаев взобрался на крышу и, держась за минарет, начал призыв к молитве:

— Аллаху акбар! Алла-аху акба-ар!..

Пришел и хазрет Мустафа: в зеленом чапане, белой чалме, в ичигах, сшитых из брезента, поверх которых были надеты самые настоящие резиновые калоши! Откуда только все взялось? В руке хазрета красовался нарядный желто-зеленый посох с полумесяцем на верхушке.

Пройдя в тот угол мечети, что смотрит в сторону Кыблы, хазрет повернулся лицом к собравшимся. Лицо его, обрамленное аккуратной «растительностью», было полно вдохновения. Он стал читать проповедь — вагаз:

— О мусульмане! Братья по вере и товарищи по плену! А также все наши братья — сыны других народов, вошедшие в мечеть из-за превратностей горькой судьбы, судьбы пленника — горемычного изгоя! Безбрежно милосердие Аллаха! В исламе хватит места для всех желающих последовать его учению. По воле Аллаха мы попали в плен, но те, кто охраняет нашу свободу, прозрели для того, чтобы позволить нам отметить наш священный праздник Курбан-гаит. Да вы сами чувствуете, что уже недолго осталось нам ждать часа свободы.

По мечети прокатился шум разговоров.

— ...Пусть всем нам доведется увидеть любимую родину, встретиться с родными и любимыми, поцеловать и обнять детей, родителей. Освободив нас от плена чужбины, да поможет нам Всевышний освободиться и от неволи на родине! Как бы ни было и что бы ни случилось, дай нам бог вернуться на родину и начать жизнь сначала! На свободе и дома! Иншалла, даст бог, мы достигнем своей цели!

В эту минуту в мечеть зашли около двадцати немецких солдат и молча заняли места на самой задней скамейке. Кому-то из них не хватило места, и они также молча прислонились к стенам барака. Все они догадались снять обувь, прежде чем войти в мечеть. Вместе с солдатами в мечеть вошли также комендант и трое его офицеров.

Хазрет подождал, пока гости разместятся, и продолжил:

— А теперь приступим к намазу. Если кто-то из вас плохо знает или неточно помнит порядок и последовательность движений во время намаза, пусть смотрит на соседей и делает как они. Кто не знает или плохо знает слова молитвы, пусть от начала до конца намаза повторяет или про себя, или шепотом слова: «Аллаху акбар! Аллаху акбар!» Это вам зачтется за молитву, ибо слова эти восхваляют Аллаха, милостивого и милосердного! Начнем же, братья мои, намаз!

И хазрет мелодичным, трогаящим за душу голосом принялся читать намаз.

Забились в каком-то непонятном, сладостном ритме сердца мусульман. Намаз соединил воедино всех их, сделал их как бы одним дыханием, одной сутью. Даже сыны других народов, все эти чуваша, якуты, буряты, грузины, армяне, марийцы, мордовцы, — все они, пожелавшие хотя бы на два дня стать мусульманами, лишь бы отдохнуть от каторжной работы, — прониклись удивительным чувством взаимопонимания и как могли старались повторять движения соседей-мусульман и шептали не переставая: «Аллаху акбар! Аллаху акбар!»

Мустафа хазрет проводил намаз с полной душевной отдачей, самоотрешенно. Он четко и ясно понимал, что этот намаз будет его самым ярким и последним намазом в этом бренном мире!

Голос хазрета продолжал соединять сердца собравшихся, звал и звал их на беседу с богом, Всевышним, Аллахом, с самим мирозданием!

...Альхамдуллилаху-аллаху-раббилга-лями-и...

...сират уль-мустаким-м-м...

...саяйхим-м-м-м... валяд-даа ки-им-м...

...Аминь!..

Хазрет тщательно, вдохновенно исполнил четыре рикагата — особых намазных поклона с молитвой. В конце молитвы он повернул голову направо, налево, приветствуя Всевышнего. То же самое повторили сидевшие на брезентовом «ковре» мусульмане. После этого хазрет, помолчав с полминуты, прочитал проповедь. Читал твердым, уверенным голосом. И закончил так:

— Иншалла, даст бог, закончим мы скоро намаз-гаит. Даст бог, закончится скоро и война...

Он оглядел притихшие, склоненные фигуры прихожан и продолжил:

— Придут за нами и вызволят нас из неволи. То, что я скажу вам сейчас, может быть, не всем понравится. И все же послушайте и спрячьте мои слова в затаенный уголок души своей. Можете даже забыть... до тех пор, пока однажды не вспомните...

Лицо хазрета посуровело, преисполнилось решимости, голос стал отдавать металлом:

— Когда война закончится, возможно, многим из вас повезет, и вы вернетесь домой. И тогда Сталин может сорвать все свое зло на нас, военнопленных, за все те позорные поражения, которые преследовали нас в течение 1941—1942 годов. Нас сделают козлами отпущения, виновниками первых двух лет поражений. Постарайтесь забыть, что вы сегодня участвовали здесь, в концлагере, в проведении Гаит-байрама. Когда придут сюда наши, не будьте болтливы, не говорите много... Помните, что на протяжении нескольких веков злодеи пытались уничтожить, растоптать или хотя бы принизить нашу религию. Нас крестили насильно, мечом и кровью, голодом и нищетой, обманом и лживыми посулами. Нас вешали, отрубали нам головы, топили в прорубях, рубили саблями. Нас методически превращали в рабов, отнимали у нас наши же земли, реки, природные богатства. После войны нас снова загонят в колхозы, как рабов, без всяких прав и даже документов. Помните и думайте об этом в момент будущего вашего освобождения! И дай вам бог вернуться на родину живыми-здоровыми, обнять своих жен, родителей, детей, родных!..

Намаз близился к завершению. Из мечети люди выходили внутренне очищенные, одухотворенные, считая себя истинными мусульманами. Они расходились степенно и тихо, и лица их светились тихой, спокойной радостью.

ПОСЛЕ ГАИТА

На другой день утром с Апельплаца нас отвели в комендатуру. Герр комендант ожидал нас в своем кабинете. Смотря на нас умными, цепкими глазами, он протянул руку и обменялся рукопожатием с каждым из нас троих. Потом обратился к Мустафе:

— Господин мусульманский хазрет! Я слушал вчера ваши молитвы, и хотя не понимал ни слова, но ощутил какой-то благоговеиный трепет. Даже в нашей церкви-кирхе я не ощущал подобного. Если хотите, можете молиться в мечети каждый вечер.

Подождав, пока Галякаев переведет его, он продолжал:

— Скоро война, по всей вероятности, кончится. И тогда, вы, надеюсь, скажете вашему командованию, что я лично разрешил вам провести религиозный праздник. Думаю, что сумел помочь вам, мусульманам.

Мустафа грустно улыбнулся и ошарашил майора совершенно неожиданными словами:

— Герр майор! Прикажете немедленно, сегодня же закрыть мечеть. Если сюда придет русская армия, то ее командование, особенно НКВД, ничего не должно знать о прошедшем в лагере мусульманском празднике. Ни слова об этом! И вы, и мы должны забыть об этом...

Опешив, комендант удивленно спросил:

— Но... Но почему? Мы же сделали сообща богоугодное дело. Для пленных это явилось радостным событием, разве не так?

— Так, герр майор. Но хорошо было только для пленных мусульманского вероисповедания. Русские власти уже около четырех веков подряд пытаются уничтожить нас как нацию, как приверженцев определенной конфессии... Данке шен, спасибо и рахмат вам! Вы действительно сотворили хорошее дело для мусульман!

* * *

Долго еще мы беседовали с дядей Биктимиром в его доме, возле остывшего уже чая. Память у него была превосходная.

Нет уже теперь незабвенного дяди Биктимира. Он скончался в марте 2001 года.

Последний раз я видел его, кажется, в июне 2000-го. Зашел к нему домой проведать, а он сидел довольный такой, улыбающийся.

Поздоровались, разговорились, и я снова удивился отменной памяти старика. Здоровье его, правда, оставляло желать лучшего. Он тяжело поднялся с постели, сел, с благодарностью принял мой гостинец, прочитал молитву, провел руками по лицу.

— Так этот гостинец — мне, Заки?

— Тебе, тебе, Биктимир абзы. Всем соседям нашим гостинцы разношу, почти пол-улицы обошел.

— Спасибо, браток, рахмат! Дай бог тебе здоровья, пусть не оскудеет твой разум и не иссякнет доброта в сердце!

Оказалось, что на старости лет Биктимир абзы решил отпустить усы и бороду. Посмеиваясь, он поглаживал их, приговаривая:

— Вот эдак и в плену немецком отпускал я на лице растительность. И тогда усы и борода были белыми, хотя мне было всего тридцать лет... И сейчас они белые, как снег... Я страшно выгляжу, не так ли?..

Наговорившись всласть, он напоследок спросил:

— А ты написал о Курбан-байраме в немецком плену? Ну, что я тебе тогда рассказывал?

— Конечно написал, дядя Биктимир. Осталось немного обработать, подчистить, и можно в печать давать. Хороший получился рассказ.

— Не забудь, добавь еще ненаписанную главу. После прихода Красной Армии Мустафу хазрета отделили от нас и отправили в Москву. Оказалось, что кто-то написал на нас донос: мол, татары здесь свой праздник устраивали, и так далее. Думаю, что расстреляли Мустафу. Галякаева тоже увезли. Он был образован, умен. Не знаю, что с ним случилось. Вряд ли его в живых оставили. А вот меня не тронули. Наверное, учли мой рассказ о том пулеметчике, убитом под Харьковом. И, кроме того, я же был неучем, невежественным, простым человеком. «Наверху», видимо, посчитали, что «враги» просто использовали меня, как олуха...

Он затихает. В негаснущей памяти его медленно проходит вереница друзей. Биктимир абзы долго читает молитву, проводит по лицу морщинистыми ладонями. Я солидарен с ним, и к его молитве присоединяю молитву свою: «Аллаху акбар...»

Перевод Фаяза Фаизова

АРБУЗ

ержи! — кидает сверху арбуз Данияр.

— Хоп! — ловко подхватывает Наиль внизу. — В голову не попади! Давай!

— Лови!

— Кидай!

В кузове машины полосатые арбузы лежат один к одному, аккуратно укрытые волжской камышовой соломой. Из кузова их выгружают на землю. Каждый арбуз взвешивается и записывается в тетрадь девушкой в короткой юбке. За ее работой наблюдает загорелый юноша с усами черными, как смола, и глазами коричневыми, как спелые арбузные семечки. Его зовут Танбек.

В Астраханской области, расположенной в дельте Волги при впадении ее в Каспийское море, раскинулось несколько деревень. Неспроста наши деды-прадеды прозвали Каспий «промысловым» морем. Промысел здешних нугайских татар-карагаши — выращивание арбузов, помидоров. Танбек — из племени местных промысловиков.

...«Газель», нагруженная арбузами, трогается в путь по городским улицам к торговым точкам. Одна расположена на берегу Казанки, на уличном перекрестке.

Лето на исходе. Но жара еще держится. Люди стремятся к реке, на пляж. На прибрежном песке не то что арбузу, арбузному семечку негде упасть. Распластавшись под горячими солнечными лучами как змеи, люди загорают.

А Данияр с Наилем с утра до вечера сгружают и разгружают астраханские арбузы — то в «Газель», то из «Газели». Ее арендует брат Танбека — Саэт.

Оба разместились в кабине водителя. А место Данияра и Наиля — среди арбузов, в кузове. Место что надо — самое-самое прохладное, приятное и вкусное.

Тупоносая синяя «Газель» ловко лавирует в бесконечном потоке городских машин по длинным улицам города.

Только что выбрав приглянувшийся арбуз, ребята с аппетитом уплетают его за обе щеки. За день появляются и расколотые арбузы. Конечно, если бы Саэт вел машину аккуратнее, бедные арбузы не раскалывались бы так часто. Но ничего не поделаешь — раскалываются, хочешь ты этого или нет. На роду что написано, то и будет...

Выбрать арбуз нелегко. Пока их все переберешь, разглядишь, сожмешь да пощелкаешь пальцами — с ума можно сойти. Иногда кажется, что вот он, окончательный выбор, — сочный, красный да сладкий! А расколешь — ерунда: белый, неспелый, огурцами отдает. Огурцы и то намного приятнее на вкус.

Однажды, пока ехали в «Газели» и уплетали очередной пузатый арбуз, Наиль сочинил частушку:

Данияр сидит на троне.
Трон его — арбузы.
Эй, казанцы, налетайте,
Ешьте их от пуза.

— Разве ты поэт? — удивился частушке Данияр и даже похлопал по арбузу, на котором восседал, как на троне.

— Поэт! — Наиль задрал голову, похожую точь-в-точь на арбуз, в зеленой бейсболке с черными полосками. — На поэта учусь.

— Где?

— В универе.

— В каком?

— Как в каком? В самом главном!

— В КГУ, что ли? Так и я тоже там учусь...

— В точку попал, — Наиль осекся. — А ты на каком факультете?

— Татфаке! — ответил Данияр.

— Не-е-т, я не там, — протянул Наиль. — Я на юрфаке. Заочно учусь... Я из Казани, и учусь, и работаю.

«А разве на юрфаке учат писать стихи? — хотел полюбопытствовать Данияр, но, взглянув на голову Наиля, круглую, зеленую да полосатую, как арбуз, рассмеялся.

— Ты чего смеешься, не смейся! — обиделся Наиль. — Смех без причины — признак дурачины! Репу, что ли, увидел?

— При чем здесь репа? — удивился Данияр.

— У нас в деревне так говорят...

— В деревне?

— Да, а что?

— Ты же только что сказал, что из Казани!?

Мы, казанские ребята,
Любим моду соблюдать.
Из-под бейсболок полосатых

- В деревне родился, в Казани рос. Сплошь и рядом полно таких, чего не понятно?
- Все понятно, — произнес Данияр, удивленный тем, как речист его напарник. За словом в карман не полезет!

2

- Лови!
- Бросай!

Сегодня они поменялись местами: Данияр ловит арбузы на земле, а Наиль бросает их с кузова. Бросать-то легко, ловить трудно.

За десять дней работы ребята чуть ли не профессорами по арбузам стали. Странно, они почти перестали их кушать. Хотя ничего странного тут нет. Все когда-нибудь приедается. Если каждый день кушать деликатес — черную икру, — и она вскоре надоест.

Кушать-то арбузы ребята перестали, но раскалываться арбузы не перестали.

Как-то Танбек им про арбузы вот что рассказал:

— Есть арбузы женского и мужского рода: «женщина» и «мужчина». Арбуз-«женщина» и сочнее, и слаще.

И вот, когда «Газель» с арбузами отправилась к очередной торговой точке, Данияр с Наилем принялись, по совету Танбека, определять, какой из арбузов «женщина», а какой — «мужчина». Нелегкое это оказалось дело, однако!

- «Мужчина»?
- Нет, «женщина»!

Ребята бросают арбуз на дно кузова, и он раскалывается, рассыпая белые семечки и незрелую мякоть.

— Фиг тебе, а не «женщина»!

Интересная это штука — арбуз. Никогда не знаешь, что внутри. Иногда в предвкушении сочной сахаристой мякоти закроешь глаза, а откроешь, — он неестественно белый, тебя выворачивает даже от его запаха, как от горькой полыни. Разве наша жизнь сама не как арбуз?

Увидев расколотые арбузы, Танбек с дядей Саеком хватаются за голову, ахают да охают.

— Да ты сам, помнишь, на повороте резко на газ нажал! Разве «женщина» выдержит твою езду? Осторожно надо возить пузатых «женщин»! — пытается успокоить их Наиль.

— Чтобы узнать, какой арбуз, надо просто покатавать его по полу, — советует Саек.

Сказал тоже, разве можно узнать, красный ли арбуз, покатав его по полу? Чудак человек!

— Вот как надо узнавать: по хвостику! Если хвостик пожелтел, значит, арбуз поспел! — пытается вразумить ребят Саек.

Но и эта теория на практике терпит фиаско.

... Солнце, нещадно палившее весь день, внезапно скрывается за тучи. Налетает осенний ветерок, словно он только и ждал, когда спрячется солнце.

— Как девичьи грезы, осенние слезы, — произнес Наиль как будто в раздумье.

— Знаешь, на кого похож арбуз? — спросил его Данияр.

— На кого, скажи?

— На муллу!

— При чем здесь мулла?

— Снаружи зеленый, а внутри — красный, — пояснил Данияр.

— Да нет же, нет, — возразил Наиль. — Не трогай ты муллу! Скажи, что на чиновника похож арбуз. На словах — одно, на деле — другое... Точь-в-точь татарский чиновник!

— Ты, друг, может, и в мечеть ходишь? — усмехнулся Данияр. — Больно уж муллу выгораживаешь.

Неспроста так сказал Данияр. В их деревне бывший секретарь парткома Азат абый теперь муллой заделался: снаружи зеленый, а внутри — красный. Чем не арбуз?

— А красивое ты сочинил двустигшие, мне понравилось. Честное слово, поэтично получилось! Отличный поэт из тебя выйдет! — Данияр пытался завязать разговор с Наилем.

Но Наиль почему-то помрачнел, насутился. «Ну чего ты, Наиль, друг, обиделся, как девушка, приуныл, сидишь набычившись?» — хотел сказать Данияр, но не посмел.

— Наверное, дед его был муллой, и в Сибирь его сослали. А он, недотепа, рану его душевную разбередил. Чужая душа — потемки, как арбуз: снаружи не видно, что внутри...

- Лови!
- Ну давай, бросай!
- Держи!
- Кидай!

С утра до вечера, словно роботы, сгибаются и разгибаются Данияр с Наилем. Им уже так приелись арбузы, что они стали кидать-ловить их как неодушевленные предметы — мячи, шары, ядра. Арбузы уже не вызывали у них прежнего интереса, любопытства, азарта, аппетита. Пузатые полосатые арбузы снились Данияру даже во сне, например, в обличье круглых полосато-зеленых поросят с крючковатыми хвостиками. И Наилю тоже, наверное, снились всякие кошмары, он почему-то ходил мрачным, насупленным.

После окончания работы ребята выбирают арбузы домой. Данияр живет в общежитии, поэтому ему все равно, какой арбуз, лишь бы побольше, чтобы на всех в общежитии хватило. Жаль, что многие разъехались на каникулы по домам.

А Наиль выбирает арбуз долго. У него сестренка есть. Назлыгуль зовут. Нежный цветок! И все с ног валяются, выбирая арбуз для его «нежного цветка». Советы Танбека и Саета не годятся. Им лучше не вступать. Наиль арбузы щелкает пальцами, сжимает ладонями, прикладывает к уху, разглядывает хвостики... В общем, выбирает долго и старательно. Со вкусом.

Одна старушка, проходя мимо, пыталась помочь Наилю:

- Бог в помощь тебе, сынок!
- Дай бог хорошего жениха тебе, красавица! — отвечает с улыбкой Наиль.

Старушка растерялась, не знает, что сказать: смеяться или ругаться. Пошамкала что-то беззубым ртом и удалилась, сердито постукивая палкой, такой же древней и кривой, как она сама.

На следующее утро Данияр с нетерпением интересуется «судьбой» арбуза.

- Ну как?
- Во! — Наиль поднимает вверх большой палец. — Что надо!

Это надо понимать приблизительно так: «Не зря я так долго выбирал. Сестренка была просто в восторге от моего арбуза!»

Данияр пристает к Наилю с расспросами о его сестренке: какая она? Красивая, загадочная?.. Буквально засыпает вопросами.

Но Наиля голыми руками не возьмешь. Он отвечает с чувством, с толком, с расстановкой:

— Представь ее глаза — миндалевидные и как арбузные семечки. А какие лучистые, сияют, как звездочки! Взгляд скромный, стеснительный...

- У Назлыгуль белые глаза?
- Как белые?! — недоумевает Наиль.
- С белой поволокой, что ли? Арбузные семечки ведь белые.
- Тупица ты и есть тупица! — сердится Наиль. — Арбузные семечки, если хочешь знать, коричневые бывают. Карие у нее глаза, карие!

- А губы?
- Губы? Губы крутые, шельма!
- Как это — крутые?
- Крутые — и все!
- Почему шельма?
- Потому что всегда на ее губах играет ласковая улыбка.

— А теперь скажи, друг, какие у нее груди? Тоже крутые? Как наши арбузы? — у Данияра от собственной фантазии рот до ушей.

— В натуре, крутые! — Наиль тоже улыбается. — Чего ты ржешь? Репу увидал?

Друзья смеются от души. Их смех сливается с гулом городской улицы, по которой плавно движется тупоносая синяя «Газель». Из открытого окна кабины долетают обрывки фраз — «шымылдык», «калым», «свадьба», «сватья».

- Танбек жениться собирается, — Наиль загадочно прищуривает глаза. — О деньгах спорят...
- Уж у кого у кого, а у этих деньги куры не клюют, — добавляет Данияр. — Столько арбузов продали...
- Хм, а знаешь ли ты, дружок, что на свадьбах они гуляют неделю? А то и на две растягивают пиршество. В придачу — калым дают! В калым — машину дорогую, новенькую!
- Ну да! — Данияр от удивления вскинул брови.

— Это раньше в тех краях вместо приданого пять-шесть мешков кишмиша вручали — и по рукам. А нынче столько денег надо — без штанов останешься.

— Хорошо, что мы там не живем, — с облегчением вздохнул Данияр. — Ради свадьбы да калыма и мы бы наизнанку выворачивались, крутились как белка в колесе.

— Друг, знаешь что, вчера вечером Назлыгуль все о тебе расспрашивала.

— Ну и!.. — Данияр сразу оживился.

— Ну и расхваливал я тебя, конечно, — Наиль улыбался. — На полную катушку расхваливал. Что ни говори, а вместе работаем, почти как друзья.

— Ну!

— Баранки гну!

— Дальше что, договаривай!

— Чего тебе?

— Конкретно, как ты меня расхваливал.

— Расхваливал в пух и прах, а ты как думал? Говорю — высокий, стройный, умный — то, что надо!

— Да ладно уж... Что еще?

— А еще? Скромный, веселый, добрый, сказал. За словом в карман не полезет. Смешит всегда...

— Ну-у, это ты загнул...

— Почему? — Наиль с недоумением посмотрел на Данияра.

— Подумает еще, что клоун.

— Брось! Девчата любят шутку и смех. Любят веселых ребят. Рассмешишь — ты герой!

— А она что сказала?

— Она-то? Хм-м... — Наиль отвел глаза в сторону.

В это время «Газель» притормозила у торговой точки.

— Ну?

— Потом, ладно?..

— Потом — суп с котом! — в голосе Данияра послышалась обида. — Не тяни кота за хвост, говори!

— Нет! Давай попозже, — Наиль был не в духе.

В знойную жару что лучше арбуза утолит жажду? Ничто! Бог создал арбузы для наслаждения!

— Арбуз на свете — самый большой фрукт! — говорит Танбек.

— Нет, тыква! — спорит с ним Данияр.

— Тыква — это овощ, а арбуз — фрукт, — Наиль явно на стороне Танбека.

— Тогда тыква — самый большой овощ, — не унимается Данияр.

«Газель» плавно трогается с места.

— Ну говори, что она еще сказала?

— Кто?

— Кто-кто? Назлыгуль!

— Ох, у кого что на уме! — отвечает Наиль, нехотя растягивая каждое слово, и сидит понурился голову.

— Ты что, завис? — Данияр кажется обиженным. — Больно нужна она мне...

— Кто?

— Твоя Назлыгуль!

— Э-эх, сердце у тебя есть? А душа? Ей ведь встретиться с тобой хочется, поговорить, пообщаться! А ты?! Бесчувственный чурбан!

— Когда? — заволновался Данияр.

— На следующей пятнице!

— Давай завтра! — не унимался Данияр.

— Беспардонный какой! Да хоть сию же минуту встречайтесь, мне до лампочки... Девушка-красавица, вся из себя, хочет с ним встретиться, а он заладил одно — завтра да завтра...

Сегодня — пятница. Последний день знойного лета. Данияр с утра спешит на работу. На ногах новые модные ботинки из натуральной кожи!

— Девушки в первую очередь на обувь смотрят, — говорил Наиль.

На заработанные деньги Данияр купил дорогие ботинки.

— Девушки любят цветы! — говорил Наиль.

Это он и сам знает.

— Девушки любят веселых ребят, — говорил Наиль.

Сегодня у него в голове шутки-прибаутки, хоть отбавляй.

Душа на крыльях любви! Трепещет и рвется! Данияр даже не замечает деревенских девчат, которые курят в коридоре общежития.

— Эй, Данияр! — кричат они вслед. — Разбогател ты, что ли? Нос кверху задрал, как бы молнией не пробил!

Данияр не отвечает. Он спешит на работу.

Пятница! Пятница... Но с утра льет дождь.

Как девичьи грезы —
Осенние слезы!

Дождь то ливнем пузырится в лужах, то стихает на время, то сыплет на землю дождевики-слезинки. Осенний дождь не по нраву, кажется, и «Газели», которая скрипит тормозами, фыркает.

— Большие кидайте! Вот такие! — говорит Саэт.

— Лови! — кричит Данияр.

— Бросай! — отвечает Наиль.

— Лови!

Неожиданно большущий арбуз вырывается из рук Наиля и падает на асфальт, размазывая ярко-красную мякоть с коричневыми семечками.

Данияр в недоумении смотрит на Наиля. А на нем лица нет — мрачный, взгляд потух.

— Мама умерла. Отец пьет. Брат в тюрьме! — будто выдавливает из себя слова Наиль. — Нигде я не учусь! И никакой сестренки у меня нет! Никого нет!

Не зная, что сказать, Данияр широко открытыми глазами смотрит на Наиля. А у того почему-то рот растянут в широкой улыбке, а из глаз по щекам катятся и катятся крупные то ли капли дождя, то ли горькие слезы.

Перевод Наиля Краевой

МУХА

огучего телосложения с выпуклым квадратным подбородком парень едва влез в черный джип с тонированными стеклами.

— Бизон, ты телился там, что ли? Три минуты прошло... Ну и как, забрал деньги? — бородач с заднего сиденья нетерпеливо потер ладони.

— Забрал! Про цветы чуть не забыл, пришлось вернуться. Самые-самые купил, лучше не бывает! На, держи!

— Поехали! Давай деньги...

Джип резко рванул с места.

Бородач, заметно повеселевший, принялся пересчитывать «зеленые»: «Пять тысяч сто, пять тысяч шестьсот...»

— Мулла, а Князь когда прилетает? — спросил тот, что был за рулем.

— Бл-лин! Вечно сбиваешь с толку! — недовольно процедил бородач. — А?! Сегодня, в два ночи! Ты, Фид, будь наготове, слышишь?

— Мулла, да ты что, я не могу! Мы с Настей в ночной клуб собрались завалиться.

— Головой думай, а не задницей! Поедешь! — сказал, как отрезал, Мулла-бородач.

— Тоже мне Князь!.. Нашел время, когда прилетать... — выругался Фидель, сидевший за рулем. — Нормальные люди Новый год встречают не у черта на куличках, а дома под елочкой спокойно дрыхнут...

— Чего гундосишь, лишка хватил, что ли? — усмехнулся Бизон.

— Да брось ты! Я не пью! — ответил Фид. — Настеньку ублажал всю ночь, вот и не выспался...

Все трое заулыбались.

Под колесами джипа чавкало липкое месиво. И, словно пытаясь отвязаться от него, машина мчалась вперед по дороге, разбрызгивая во все стороны шмотки грязи.

— Тормозни, Фид! — сказал Мулла.

На полной скорости джип затормозил возле огромного супермаркета. Его хозяина нашли в отделении, где разделявали мясо.

— Ребята, да нет у меня!.. — Глаза у хозяина были как у самодовольного кота, который только что досыта нализался сметаны. — С наличкой же сейчас проблема, сами в курсе...

Бизон потянулся к большущему острому топору, воткнутому в деревянный пенек для разделки мясных туш.

— Ну хоть две недели обождите... — засуетился хозяин, следя за действиями Бизона. Глаза его теперь выражали не самодовольство, а животный страх. А когда к топору потянулась и рука Муллы, задержался. — Одну неделю, а?!

— Ох, разрубил бы я тебя сейчас на этом пеньке вот этим топором, да только не потребляю свинину... Ладно, три дня тебе даю! Но чтобы сразу и все!!!

После этих слов топор вернулся на свой пенек.

Когда они сели в машину, Фид предупредил:

— Ночной клуб беру на себя.

— Конечно... Пусты козла в огород... Нечего туда соваться! Авторитет твой упал!

— Чего? Да ладно, Мулла, не возникай... Ты ведь Жанну в кафе «Шурале» пристроил?!

— Не Жанну, а Жаухар! — поправил Мулла.

— От перемены имени сумма не меняется! — пытался разрядить обстановку Фид.

— От перемены места, горе луковое! — поправил его Бизон.

— Если наркоту не бросишь — конец тебе, браток! — Мулла вернулся к прерванному разговору. — И тебе конец, и твоему авторитету, который упал!

— Все у него скоро упадет! — добавил Бизон. — И не встанет!

— Только сегодня! Один день! Последний раз... И все! — твердил Фид. — О'кей?!

— Завязывай с этим делом, понял! — строго произнес Мулла.

На том разговор закончили.

Разбрызгивая во все стороны дорожное месиво, джип опять рванул с места.

...Около трех часов ночи Бизон встретился с Муллой.

— Ну? Как дела у Князя?

— Все о'кей! Самолет припоздился чуток. Все нормально! Только вот... Фид куда-то запропастился.

— У, мать твою!..

— И не отвечает... — Бизон вынул из кармана сотовый телефон. — А ведь клялся-божился, что будет в ночном клубе с Настей.

— У-у! — Мулла зло выругался. — Так дело не пойдет! Взорвать, что ли, этот ночной клуб?

Ребята тяжело переживали за Фида-Фиделя-Фидила, который на глазах гиб в наркоте.

...От мощного нокаута директор ночного клуба согнулся в три погибели.

— Где Фид? — повторил Мулла.

— Н-не знаю... С-сегодня д-долго не сидел, б-быстро уехал... — директор едва выговаривал слова.

— Семь лет на халяву работаешь, сука! Последний раз тебя предупреждаю: если еще раз дашь Фиделю наркоту... твою анашу-манашу в твою же задницу засуну, падла!

В это время из отворенной в соседнюю комнату двери послышался голос Бизона, заглушаемый дикой музыкой и воплями:

— Нашел я ее, Мулла! Настя в малом зале!

В малом зале танцевали, визжа, изгибаясь, выделявая невообразимые телодвижения, восемь девушек и четверо парней. На них, казалось, не действовало земное притяжение. Они крутились и вились, как сигаретный дым, наполнивший душную комнату. Даже коротенькие юбки девушек, словно живые, задирались все выше...

Схватив Настю за оголенный локоть, Бизон подвел ее к Мулле.

— Фид где?

Тараща на всех остекленевшие глаза, не узнав ребят или не расслышав вопрос, девица невпопад орала:

— Че зыришь? Щас как дам по х-х-харе!

— Бесплезно с ней говорить... Она уже «в полете», — проговорил Бизон.

Узнав, что Фид, поймав такси, отправился в сторону железнодорожного вокзала, ребята поспешили туда.

— Настя совсем пропала, — задумчиво покачал головой Мулла. — Завязла основательно в болоте. Не выберется...

— И Фида в проклятое болото она же затянула, стерва! Да, она его в наркоте втянула, сучка! — со злостью произнес Бизон, в голосе которого было явное сожаление.

Вот тебе и Настя-Нафиса. Какой-то столетий старик про нее вроде роман написал. С виду смазливая, красивая... А человека нет... души нет... Как выжившая из ума старуха.

Фида нашли у ночного казино. Точнее, во дворе казино. А еще точнее... на постаменте памятника Ленину!

По-видимому, в этом здании когда-то размещался райком партии. И в то время рука вождя, сжимающая кепку и протянутая к райкому партии, призывала, наверное, к светлому будущему. А сейчас истолковать жест можно было иначе: рука как будто просила милостыню у казино...

Так вот, взобравшись каким-то уму непостижимым способом на постамент вождя, обняв одной рукой его выставленную вперед каменную ногу, Фид мочился с двухметровой высоты.

Случается иногда такое и на трезвую голову: обуреет нестерпимое желание взобраться повыше и плевать, плевать, плевать на тех, кто остался внизу!

Конечно, Фид переборщил. К тому же струя его тонкого фонтана лилась прямо на крышу машины, припарковавшейся под памятником.

— Шестисотый «Мерседес», — глубокомысленно изрек Бизон.

— Чей?

— Кто его знает... Номер московский...

— В темпе надо стащить этого писуна с памятника. И срочно валить отсюда! Пока нас всех не прихлопнули, как мух! — проговорил Мулла.

Не успел он это проговорить, как из казино вывалились пятеро разъяренных амбалов. Все пятеро были пьяны и обкурены.

— Серьезные ребята... Шутить не будут...

Ругаясь так, как только можно ругаться по-русски, парни тут же, вытащив пистолеты, начали взводить курки и прицеливаться.

Увидев направленные на него дула пяти пистолетов, Фид, казалось, на мгновение пришел в себя. Замер... Но лишь на мгновение. Вдруг он начал дико хохотать. «Глаза у него остекленели уже», — подумал Мулла.

Внезапно Фид смолк и уставился вниз.

— Если сейчас полезет за пистолетом, то всех перебьет, как мух, — произнес Мулла вслух.

Раз. Два. Три... Четыре! Тишина. Напряженная тишина. Ее может разрядить малейшее дуновение ветра, даже покашливание! Тишина!.. Сердца у всех замерли в тревожном ожидании...

Осторожно ступая, Мулла вышел на середину площадки перед памятником.

— Ребята, мы виноваты, мы! — Он медленно произносил каждое слово, боясь перевести дыхание. — Давайте по-мирному!

— Ух ты, мразь! — один из пятерки выступил вперед. — Ща как разнесу твою репу!

«Конец базару! Сейчас начнется... — Мулла сжал пистолет в кармане. — Ладно, конец так конец, я хоть и Флюр, но не флюгер!»

В это время из раскрытой настежь двери казино послышался зычный голос:

— Ба! Муля! Ты, что ли? Отбой, ребятки! Свои!

Знакомый голос! Где же он его раньше слышал? Да никак Кефир из детдома, вместе росли! И вправду он! Только Кефир и звал его Мулей...

Друзья поздоровались, обнялись.

— Убери амбалов-то! — Мулла старался говорить как можно спокойнее.

— А ты — во-он того засыху сверху! — Кефир рассмеялся и указал на Фида. — Надо же так обоссать моей новый «Мерседес»! Я только-только пригнал его из Москвы!..

А Фид-Фидель-Фидаил в это время уже крепко спал, обняв выставленную вперед ногу каменного изваяния вождя мирового пролетариата.

2

Какой простор, какое блаженство! Такое впечатление, как будто на тысячи верст никого кроме них нет! Будто по белой лохматой шкуре огромного арктического медведя карабкается крохотная черная блоха — его машина.

Флюр прибавил газ, и «БМВ» рванул вперед по белой ледяной трассе. В этой машине, казалось, заключались не лошадиные, а сатанинские силы.

Жаухар, сидевшая рядом, ни слова не проронила, а лишь крепче прижала к груди роскошный букет цветов. От «сатанинской» скорости на заднем сиденье весело подпрыгивали торты, подарки, угощения.

Какой великолепный сосновый бор! Высоченные стройные сосны с золотисто-желтыми стволами будто подпирают бесконечный небесный свод своими макушками.

Флюр опять надавил на газ. Жаухар, которая от страха ехала с закрытыми глазами, не выдержала, ухватилась за локоть спутника, взмолилась:

— Тише ты... Убьешь ведь!

— Такая махина «БМВ»! Разве обуздаешь ее?

Снег, падающий поначалу отдельными снежинками, теперь повалил крупными пушистыми хлопьями. И весь мир, казалось, закружился в безмолвном белом вальсе.

— Блаженство, а?! — с восхищением повторял Флюр.

Вот бы ссучить из этого снега тонкие белые нити и связать прозрачный и легкий платок-паутинку! Бабушка бы так, наверное, сказала. Или мама. Только ни бабушку, ни маму он никогда не видел.

Флюру не исполнилось и года, когда его подбросили в дом ребенка, повесив на шею табличку с надписью: «Флюр Хисамов». С тех пор его жизнь, как в черно-белом кино без начала и конца, все катится и катится неведомо куда. Эх, увидеть мы бабушку, маму... Да нет! Лучше не надо.

Он опять прибавил скорость. Машина стала подпрыгивать, как резвый жеребец. Странно, что Жаухар спокойна, даже глаза открыла, жвачку жует. Что ни говори, а женщина — сплошная тайна...

Белый чистый снег покрывает скользкую дорогу. И в городе он, наверное, дороги покрывает. Но там снег сразу же превращается в грязное месиво. И попробуй докажи кому-нибудь, что ты был когда-то белым и чистым. Никто не поверит, даже слушать тебя не станут, не то что жалеть!

Флюр опять взглянул на спутницу. Жаухар прижала к животу роскошный розовый букет в шуршащей прозрачной упаковке. «Молодец Бизон, красивые цветы выбрал!» — порадовался Флюр. — Интересно, девочка у нас будет или мальчик?..»

Жаухар — нежное, ласковое, музыкальное имя. Не переделаешь на русский язык. Не то будет. Ни красоты, ни звучания не останется! А вот Флюр... «Моя мама, наверное, из Актаныша была родом, — рассуждал он, — там любят необычные имена. Эх, если бы были у меня сейчас братишки — Флюн, Флюс!»

Белая лента дороги пошла на подъем. И подъем, и спуск на полной скорости доставляли Флюру непередаваемое острое ощущение. Спуститься — одно, а ведь каждому хочется еще и взобраться, никому не хочется прозябать внизу, черт возьми!

— Осторожнее! Встречные машины могут появиться... — Жаухар не выдержала, вцепилась в локоть Флюра.

— Будь спокойна! Все будет о'кей!

О свадьбе они заговорили лишь тогда, когда Жаухар забеременела. Не долго думая, парень согласился. После того разговора прошло еще два месяца. И вот они едут к родителям Жаухар за благословением.

— Некогда сейчас, к весне бы съездили, — пытался отговорить ее Флюр.

— Нет-нет, потом поздно будет, живот заметен будет, — Жаухар уперлась — и ни в какую. Взяла, что говорится, быка за рога.

Так в тридцать три года Флюр решил жениться. В возрасте пророка Исы. В самый расцвет сил. Все, что надо, имеется — трехкомнатная квартира, две машины, все чин по чину. Гулять бы еще да гулять, конечно... Ничего не успел сделать... Такташ в тридцать лет ушел из жизни... Император Нерон в тридцать три года поджег Рим, отрубил брату голову, задушил подушкой мать. Хм... А ты чем прославился? Надеешься, что твоя девушка не подбросит никому твоего ребенка?! Успокаиваешь себя тем, что ты хоть и Флюр, но не флюгер? Мечтаешь, что будет кому передачи тебе носить?.. А если подумать, то ничего общего с Жаухар у тебя ведь и нет, — разные люди, разные судьбы. Как следы от колес «БМВ», нигде и никогда не пересекутся. И ты знаешь это. Откуда? Да интуиция подсказывает. В этом бренном мире надо дорожить каждой минутой, каждым мгновением! Всему в жизни радоваться надо — это ты тоже знаешь! Чего же тебе не хватает, Мулла-Флюр, черт возьми!..

Наконец добрались до места. Деревенька приютилась возле опушки леса. Малюсенькая, всего-то две улицы.

Возле дома их встретила хозяйка — мама Жаухар. В белом головном платочке, она незаметно смахнула набежавшую слезу при встрече гостей:

— Добро пожаловать в дом, дети! Как доехали?

Забрав из машины торт, подарки, гостинцы, прошли в дом.

Флюр разделся, зашел в комнату, сел возле окна. Снегопад, снегопад... До чего же приятный сегодня день! Все белым-бело.

Во дворе петух деловито опекает пестрых кур.

А на оконном стекле, откуда ни возьмись, появилась живая муха. Откуда она взялась зимой? Жужжит, тычется в оконное стекло. Вот невидаль! Весной, летом да осенью мухи так достают, что глаза бы их не видели! А зимой даже одна муха сколько эмоций вызывает!

Пока Флюр разглядывал муху и двор, открылись ворота. И с улицы во двор зашел мужчина. Он нес вилами охапку сена. Под глазом у него был синяк.

— От жены досталось небось, — усмехнулся про себя Флюр. — Или... корова боднула...

Тут же раздался громкий женский голос:

— Скотине солому, буренке корм положил? Не забудь трубу печную в бане затворить!

Мужчина молча, повинувшись приказанию жены, оставив охапку сена, опять направился к воротам.

«Немой, что ли, он? — подумал гость. — Да я бы на его месте... Пройдусь-ка к машине...»

Выйдя на двор, он поздравил мужчину к «БМВ».

Тот, казалось, только этого и ждал. Оставив вилы, не спеша подошел к Флюру. Поздоровались. Познакомились.

Флюр достал из машины бутылку водки, рюмки, банку маринованных шампиньонов.

— Давай держи по чуть-чуть!

— Раз так... это... если есть — не возражаю! — Мужчина заметно оживился. — А сам чего?

— Не пью. Нельзя.

— Вон как. Ну, раз так... Это... Правильно делаешь, как тебя...зять! Я тоже думаю, завязать с этим делом надо... Ничего хорошего... Беречь надо здоровье смолоду...

Чувствуя, что сейчас начнется демагогия, Флюр проговорил:

— Ладно, я в дом пошел. Если будет желание, машина открыта, сам смотри!

Вошел в сени. Дверь кухни была чуть приоткрыта, и оттуда доносился разговор матери с дочерью.

— Эх ты, чучело гороховое, на третьем месяце беременности говоришь, а...

— Мама, хватит тебе! А!

— Хватит, конечно! Как не хватит! Доконаете вы меня! Позорница! Жениха себе нашла без роду без племени... По лицу же видно — бандит он, вылитый бандит! Чует мое сердце... О Аллах!

— Мама, ну будет тебе! Кажется, он уже идет...

— Слышишь, как мне его звать-то?

— Вот те раз! Зятем зови!

— О Аллах!

— Флюр! Флюрчик!!!

— Ау?

— Где ты ходишь? Пойдем чай пить! — позвала Жаухар. — Папа скотину кормит, попозже зайдет.

— Отца корова боднула, — мать начала разливать по чашкам чай. — Приболел немного.

Чай был очень горячий, и Флюр обжег губы.

— Молоко налить? Остынет, — сказала Жаухар.

Флюр промолчал, потихонечку прихлебывая горячий чай из чашки.

— Вы уж, дети, будьте осторожны. Время-то беспокойное, — мать подседа к молодым.

...Покружив над столом, муха уселась на вазочку с медом.

— Губа не дура! Хитрюга! — усмехнулся парень. — Знает, куда сесть.

— Сейчас кушанье будет готово. Чаю подлить... зять? Блины деревенские с медом отведай! — Мать взяла в руки кухонное полотенце с вышитыми краями и прогнала муху от вазочки с медом.

Муха, отлетев от меда, села на край стола. Хлоп! И тут ее достало-таки кухонное полотенце: кувырком полетела со стола на пол.

— О Аллах! Откуда зимой в доме муха?! — удивилась мать.

Поблагодарив за чай и угощение, Флюр встал из-за стола и прильнул к окну. Пейзаж с падающим чистым белым снегом буквально приковывал его взгляд. Мужчина уже не таскал солому. Покрутившись возле машины разок-другой, он куда-то исчез. У каждого свое счастье. Каждый понимает его по-своему. Мало ли что в жизни бывает... Что бы то ни было, в деревню, конечно, лучше не соваться. Будешь, как этот мужик, сено-солому таскать, навоз убирать, а Жаухар корову будет доить. Какой тут маникюр?! Лак быстро сойдет с ногтей... На ладонях появятся трудовые мозоли... Руки огрубеют, пальцы станут заскорузлыми. Так-то вот... Если боднет какая-нибудь корова твоё счастье — век его не видеть.

А муха-то, глянь! Живучая оказалась! С перебитыми крыльями все норовит ползти по оконному стеклу.

На улицу стремится, порхать с белыми бабочками-снежинками. Бывает такое: летом тепла не хватает — зимой его ищешь. И ты, наверное, как зимняя муха, не ко времени появившаяся, кому-то не ко двору приходишься. По-разному у людей судьбы складываются...

На кухне раздавался звон расставляемой по столу посуды.

Жаухар подошла к Флюру, прижалась к его плечу.

— Какой же сегодня день чудесный, правда, Шурале ты мой! — И длинным ногтем, покрытым красным лаком, она раздавила ползущую по стеклу муху.

3

Черный джип с тонированными стеклами остановился возле ворот кладбища.

Захлопнув дверцу машины, с двумя букетами цветов под мышкой Мулла прошел за ворота.

Он не был здесь с тех пор, как зимой похоронили Бизона и Фиделя. Кроме нищей старухи, на кладбище никого не было. Мулла вынул из кармана «зеленые» и протянул нищенке. Дрожащими руками сжав в кулаке деньги, она что-то пробормотала себе под нос, затем провела по лицу сложенными ладонями сверху вниз.

В этот миг в ее глазах мелькнул какой-то до боли знакомый, родной, завораживающий луч. Но когда Мулла снова обернулся к старухе, вместо завораживающего душу луча на него глядели остекленевшие, безжизненные глаза. «На кладбище и старухи какие-то чудные, как с того света», — мелькнуло в голове.

Как много было на кладбище надгробных камней! Выстроившись ровными рядами, повернутые все в одну сторону, они стояли словно неустрашимое войско, готовое захватить город. Зловещая молчаливая угроза таилась в холодных надгробных камнях. Угроза мертвых за безрассудное отношение к жизни живых.

«Нынешняя тишина еще не тишина. Полная тишина наступит, когда мы захватим все улицы, все площади города... Вот тогда будет совсем тихо, как на кладбище», — будто предвещали надгробия.

Здесь покоятся ровесники Муллы. Многих из них он хорошо знал. О Аллах! Сколько же жизней скосила смерть. В мирное-то время! Не в Афгане, не на Кавказе...

«Ку-ку, ку-ку, ку-ку...» — раздается на кладбище голос кукушки. Чему ведет она счет — годам, месяцам, дням?..

С дорогих мраморных надгробий смотрят на него друзья. И Бизон, и Фидель всегда улыбались, когда снимались на фото. И сейчас улыбаются. Но сейчас их улыбки вселили в сердце Муллы тревогу. Улыбки с надгробий словно манили его к себе: «Браток, мы с зимы тебя поджидаем. Тут и тебе места хватит!»

— «Не спешите! Рано еще! Я все хочу понять, в чем смысл жизни. Что такое жизнь?»

— «А разве ты не понял еще, что твоя жизнь, Мулла-Флюр, — это черно-белое кино без начала и без конца?!»

Вчера он заезжал к гадалке. Беззубая, глаза ввалились, горбатая, иссохшая, — прямо ископаемое мезозойской эры. «В чем только душа держится у этой «мумии»! Ее предсказание вселило ужас в Муллу.

— У тебя что начало жизни, что конец — одно и то же...

Мулла не понял.

— Я сюда пришел не кроссворды отгадывать. Прямо говори — когда? — нетерпеливо выпрашивал он.

— Тебе предстоит встреча с особой в красном, — прошамкала «мумия».

— Кто она?

— Близкий тебе человек... Женщина.

— Когда?

Старуха молчала.

Парень вынул из кармана деньги. Кинул ей в подол две столларовые купюры. Но «мумия» словно язык проглотила. Он еще вынул, еще кинул. Тщетно. Тогда он швырнул к ее ногам всю пачку «зеленых». «Мумия» даже не шелохнулась. Она будто окаменела. Ввалившиеся глаза ее были закрыты. То ли она погрузилась в сон, то ли в забытье, то ли отдала богу душу...

Так что же это за женщина в красном? Не Жаухар! Во-первых, у нее нет красного платья. Да и о какой встрече идет речь, если они и так всегда вместе. Тогда кто? Он начал лихорадочно перебирать в памяти всех, кого знал, с кем общался... И среди круга его общения не нашлось никого, кто был бы для него «близким человеком».

Возложив цветы на могилы друзей, Мулла направился к воротам кладбища. «И зачем он сюда пришел? Что привело его? Друзья, которые уже истлели в могиле? Чувство страха перед смертью, которое он пытался в себе подавить в царстве мертвых?»

Старуха-попрошайка сидела на том же самом месте. Мулла опять пробовал уловить в ее взгляде когда-то промелькнувший живой лучик. Но напрасно... Глаза были как стеклянные, ничего живого в них не отражалось...

Вынув из кармана «зеленые», он всучил их нищей старухе. При виде денег она также пробормотала что-то невнятное и, проведя двумя сложенными ладонями по лицу сверху вниз, заспешила прочь. Неожиданно Мулла услышал позади себя тяжелую поступь мужских шагов и металлический звук. На слух Мулла мгновенно определил — щелканье взводимого затвора пистолета. В голове пронеслась мысль — рвануть что есть силы в сторону, бежать, бежать, бежать... Но было уже слишком поздно... Его спина, голова, все тело горели, как в огне, от пуль... Он тяжело повалился вниз... Не на землю, а на «мягкое место» старухи-нищенки, которая, впопыхах споткнувшись о выступ тротуара, растянулась на дорожке.

Падая, парень услышал голос кладбищенской кукушки: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку...» Не годы, не дни, не часы, не минуты отсчитывала она сейчас, а секунды его жизни...

Опомнившись от шума выстрелов, старуха поднялась и тут же поспешила скрыться в гуще деревьев.

Муха, сидевшая на подбородке Муллы, взлетела, покружила над его головой и полетела вверх, где в желтеющей кроне дерева роились ее сородичи.

Спустя некоторое время старуха вышла из своего укрытия, приблизилась к трупу. Что-то бормоча себе под нос, она обшарила карманы.

Приглядевшись внимательнее, можно было заметить, что надетое на нее платье, невесть когда стиранное, вобравшее чуть ли не всю грязь Вселенной, когда-то, в незапамятные времена, было красного цвета...

Перевод Наили Краевой

МОР

Языческая повесть-легенда

роснись, Кам Ана¹, вставай скорее... — в голосе служанки-карауч² звучала тревога.

Кам Ана, которая лишь недавно заснула, полночи промучившись от бессонницы, вздрогнула и открыла глаза. Еще до конца не проснувшись, она переводила взгляд то на обеспокоенное лицо служанки, обрамленное распущенными волосами, то на темное окно.

— Чего тебе вздумалось среди ночи меня будить?

— Пришел начальник караула, хочет тебя видеть, — виновато оправдываясь, объяснила карауч.

— Самое время нашел, — разворчалась старуха. — Нашел кого спрашивать! Я что — теперь вместо Йорт-бея осталась управлять делами рода? Зачем понадобилось тревожить старуху Кам Ана? Эх, порядок навести некому... Ступай разожги очаг, да поживее!..

Служанка тут же растворилась в темноте.

Вскоре послышалось, как тихо скрежетнула, открываясь, заслонка дымохода на крыше юрты, как затрещал в очаге огонь. Сквозь занавешивающий дверной проем войлочный полог в спальню неторопливо просочился оранжево-красный свет, который, осмелев, рыжим котом подкрался к лежанке, потерялся о ноги старухи, уже одетые в шерстяные носки, прыгнул ей на колени, потом забрался выше, на плечи, кончиком хвоста касаясь и заставляя искриться драгоценные камни в костяном гребне, сползшем с затылка...

Кам Ана, приведя себя в порядок, направилась в соседнюю комнату. Отведя в сторону войлок, осторожно просунула голову в темноту; тонкий аромат духов зашекотал ноздри, а легкое ровное дыхание успокоило слух, — надо же, ее чуткая внучка Сэнджере, вскакивающая даже от мышинного писка, до сих пор не проснулась!

Ступая на цыпочках, чтобы не потревожить сон девушки, старуха прошла в прихожую. Там ее уже поджидала служанка, держа на руках джилян¹ хозяйки. Сгорбленная фигура старухи, после того как ей на плечи накинули длинный черный джилян, как будто распрямилась и стала выше ростом. Когда же Кам Ана взобралась на высокий стул с подлокотниками, каждый из которых завершался бараньим черепом, то на фоне собственной тени, отбрасываемой огнем на висевший сзади ковер, старуха стала производить еще более внушительное и величественное зрелище.

— Пусть войдет, — приказала Кам Ана. То уже не был ворчливый заспанный голос старого человека, поднятого среди ночи, это была не допускающая возражений речь повелительницы.

Вслед за служанкой в юрту вошел начальник караула. В дверь он протиснулся боком — его широкие плечи не пролезали в дверной проем. Богатыря звали Кылчын-алпар². Среди воинов рода Кук Тэкез никто не мог превзойти его силой и отвагой, никто не мог сравниться с ним в стрельбе из лука. Йорт-бей, глава рода, отправляясь в путь со своей дружиной, нарочно не взял Кылчын-алпара с собой — в ауле должен оставаться защитник на случай нападения врагов.

Кылчын-алпар почтительно склонился перед Кам Ана.

— Встань и говори! — велела старуха.

От голоса Кылчын-алпара, исходившего из здоровенных, словно кузнечные мехи, легких, в очаге языки огня удивленно заплясали и разгорелись ярче.

— Вернулся Куксэ. Говорит, что у него для тебя очень важное сообщение.

— Если новости такие важные, почему он сам ко мне не пришел?

— Он остался со своими людьми возле озера Кыска Куль¹. Не могу, говорит, в аул вернуться без разрешения Кам Ана.

— Вот тебе на: если дело действительно важное, тут уж не до разрешения. Что-то здесь неладно. Не сотворил ли он чего дурного?

Кылчын пожал плечами.

— И Куксэ, и спутники его выглядят неважно. Говорят, что дорога была тяжелая.

— Выйди и подожди меня на улице, — решила Кам Ана. — Сейчас вместе к ним поедем.

Богатырь едва успел выйти за дверь, как войлочный полог соседней комнаты приподнялся и оттуда показалась девичья головка с длинной косой. Девушка сначала удостоверилась, что Кам Ана осталась одна, затем появилась вся ее стройная фигура, облаченная в шелковую ночную сорочку. Как описать ее? Сказать, что она была молода и хороша собой — значит ничего не сказать. Она была так прекрасна, что свет очага, равномерно рассеянный по всей комнате, с появлением девушки тотчас устремилось в центр, покинув стены, потолок и углы; остались в темноте и наваленные друг на друга сундуки, и другие предметы обстановки, — теперь казалось, что комната освещена не огнем очага, а сиянием, исходящим от босоногой юной красавицы в белом платье...

Встав на цыпочки, девушка неслышно приблизилась сзади к Кам Ана, погруженной в раздумье.

— Тайт! — от внезапного ее оклика Кам Ана подскочила на месте.

Наблюдавшая эту сцену служанка-карауч невольно прыснула со смеху; потом, испугавшись, что много себе позволила, прикрыла рот уголком платка.

— Уф, надо же так напугать! — ласково пожурила внучку Кам Ана, кладя сморщенную старческую ладонь на крепко обнявшие ее сзади горячие нежные руки. — Ты ведь только что спала крепким сном. Когда вскочить-то успела, полуночица?

— Я еще до прихода начальника караула за столом спряталась, а ты и не заметила! — пошутила Сэнджере.

— Вы только поглядите на нее!.. — разговаривая с внучкой, Кам Ана не могла сдержать нежность в голосе.

— Бабушка, милая, — Сэнджере, ласкаясь, пощекотала губами мочку уха Кам Ана. — Можно, я поеду с тобой?

...Кам Ана души не чаяла в своей внучке. Она ее вырастила, можно сказать, с пеленок. Мать Сэнджере, Тэнкебика, умерла вскоре после рождения дочери, когда на их земле свирепствовала беспощадная неизлечимая болезнь, унесшая больше половины населения. Тэнкебика славилась далеко на всю округу своей красотой, умом и кротким нравом. Кам Ана сама выбрала ее в невесты своему старшему сыну Аккучкару. И она не ошиблась в невесте: Ильбика (так стали называть девушку после того, как она стала женой правителя) оказалась верной и любящей женой. Одного за другим родила Йорт-бею четырех сыновей. А напоследок, на радость всем, подарила мужу дочку. Но вскоре после этого страшный мор унес ее вместе с двумя сыновьями.

Вторую жену, Сузгынбику, Йорт-бей выбирал сам. «Не зарься на красоту, — предупреждала его Кам Ана, — нутро у нее гнилое, не женись на ней. И вдобавок, происходит она из какого-то чужого, пришлого рода». Но Йорт-бей не внял уговорам матери.

Пришлая девушка Сузгынбика стала Ильбикой. Новая невестка на первых порах всячески старалась угодить свекрови, но так продолжалось недолго — до тех пор, пока у нее не родился сын. С этого дня она перестала замечать Кам Ана.

Когда свекровь посоветовала ей натереть лоб ребенка золой, чтобы уберечь от сглаза, невестка напустилась на нее с криком:

— Что он, замарашка безродный, чтобы с перемазанным лицом ходить! Свои глупые советы и приметы оставь при себе, не морочь мне голову. Я теперь Ильбика, Иль-би-ка! Теперь ты меня не можешь упрекнуть в том, что я пришлая чужачка!

Настали черные дни для Кам Ана. И не только для нее. Новая жена Йорт-бея невзлюбила свою малышку-падчерицу. Она уже не притворялась, как раньше, разыгрывая горячую любовь к девочке. С куклами маленькой Сэнджере теперь играл сын Ильбики, Азалак. Няньки и служанки уже больше не суетились вокруг неугодной падчерицы.

Кам Ана попробовала было пожаловаться сыну, но в ответ услышала только резкое: «Не встречай меж нами!» Старуха поняла, что в этом доме больше нет места ни для нее, ни для внучки. В тот же день она велела поставить себе отдельную юрту через улицу от сына и невестки и переселилась туда вместе с Сэнджере...

Сэнджере росла в неге и холе под крылышком у бабушки. Кам Ана, словно птица, которая высидела в гнезде лишь одно яйцо, ничего не жалела для своего единственного птенца. Боясь, чтобы Сэнджере не почувствовала себя в чем-то ущемленной или обделенной по сравнению с братьями, старалась, чтобы внучке всегда доставалась самая лучшая еда, самая дорогая одежда. Кам Ана воспитывала Сэнджере как настоящую бикич — девушку из знатной семьи: учила красиво говорить, держаться на людях, читать и писать, скакать на лошади, стрелять из лука. Все, что сама знала и умела, хотела Кам Ана передать любимой внучке.

Сэнджере никогда не расставалась с бабушкой: где Кам Ана, там же всегда и внучка. Но в этот раз, когда предстояло ночное путешествие на лошадях к далекому озеру Кыска Куль, Кам Ана явно не хотела брать ее с собой.

— А я знаю, что за новости привез Куксэ и почему он остался на озере, — пустилась на хитрость Сэнджере.

— Если знаешь, скажи.

— Вот возьмешь меня с собой, тогда скажу, — Сэнджере стояла перед бабушкой лукаво улыбаясь.

— Да ты посмотри на себя, ты ж еще не одета. Живо беги одеваться, одна нога здесь, другая — там.

Девушка бегом бросилась в свою комнату. Пока Кам Ана передавала через служанку приказ седлать двух лошадей, Сэнджере уже успела вернуться, надев на себя остроконечный шлем с лисьим хвостом, кольчужную рубаху-нургаба, а на пояс повесив колчан со стрелами.

На горизонте еще только начинал брезжить рассвет, когда трое всадников, обогнув юрту Йорт-бея и пересекая улицы, которые кругами расходились от центральной юрты главы рода, направились к северным воротам аула.

Заслышав конский топот, собравшиеся у костра пожилые охранники — в прошлом воины-яугиры, теперь перешедшие на караульную службу, — поднялись со своих мест, где уже было удобно устроились на ночь, и, сетуя на неведомых полуночников, настороженно всматривались в темноту.

Кылчын-алпар еще издали зычно крикнул:

— А ну отворяй ворота!

Узнав знакомый голос, охранники вздохнули с облегчением и отперли ворота, склонив головы перед скачущим впереди Кылчын-алпаром. Двоих же остальных всадников приветствовать не стали, приняв их за простых нукеров. Только когда вся троица отъехала далеко за ворота, стражники стали перешептываться между собой: «Кажется, одна из них была Кам Ана. Ах мы, дубины стоеросовые, не оказали ей должного уважения...» А кто-то поспешил успокоить и себя и других: «Да нет же, вряд ли Кам Ана в ее-то годы по ночам будет шататься. Она, наверное, у себя в юрте седьмой сон досматривает...» — и снова заняли свои места вокруг костра.

Отъехав за ворота, всадники стали спускаться под гору, в долину. Вскоре лошадей пришлось придержать, потому что ехали по осыпи, и кони могли оступиться. Мелкие сыпучие камни с шумом вылетали из-под лошадиных копыт. Вороной конь Сэнджере, Кашкару (прозванный так из-за того, что на лбу у него была белая звездочка — кашка), не в силах унять молодую прыть, не зная, какую ногу вынести вперед, передвигался нетерпеливыми скачками.

Потом пошли места, где сухие стебли прошлогодней травы доходили лошадям до груди, и всадники, как по морю, плыли среди седого ковыля. Наконец миновали и этот участок, и, как хозяева ни натягивали поводья, кони радостно понеслись к знакомым лугам, поросшим молодыми сочными травами.

Из-за тучи медленно выплыла желтая луна, по краям окрашенная в красноватый цвет. В лунном свете с высоты холма перед путниками раскинулась мерцающая гладь реки Ик, серебряной лентой огибающей подножие горы Чатыртау. Черемуховые уремы по берегам реки, утопавшие в белоснежной пене цветов, тянулись в ночи путеводной светлой полосой — словно Млечный Путь спустился с неба на землю. От этой завораживающей колдовской красоты ночной природы, раскинувшейся перед девушкой в лунном свете и манящей раствориться, затеряться в ней, у Сэнджере захватило дух. Она чувствовала внутри себя какой-то неизведанный, неуправляемый зов, отдавшись которому, хотелось отпустить поводья, положившись на верного Кашкару, и вместе с конем птицей взмыть ввысь, к небесам, — пронестись над круглыми, разбросанными горстью монет по земле озерцами, дремучими синими лесами, окинуть взглядом ночные стада, мирно пасущиеся на лугах, перелетая с одной звезды на другую, доскакать по облакам до самой луны, заарканить ее и помчаться быстрее ветра туда, к Дальнему лесу... Тогда уж наверняка тот, кто ждет

Сэнджере на лесной поляне у костра — парень с васильково-синими глазами, — тогда он непременно ее заметит и крикнет на всю землю: «Я здесь, я жду тебя!», и замашет ей снизу руками, уговаривая отчаянную всадницу оставить луну на небе, где ей и положено быть...

Чем ниже спускались всадники по склону холма, тем гуще становился пьянящий аромат цветущей черемухи. Кылчын-алпар повернул своего гнедого вправо — теперь им предстояло двигаться вдоль берега реки, по узкому ущелью между двух гор, до самого озера Кыска Куль...

А Сэнджере, парящая на крыльях своей мечты, с улыбкой, блуждающей на губах, все смотрела вверх, на небо. Завтра! Завтра будет полная луна... Недолго осталось ждать... Когда луна, катясь по небосклону, повиснет над горой Чатыртау, они встретятся...

Кам Ана за всю дорогу не проронила ни слова. Ее обуревали недобрые предчувствия, вызванные непонятным решением Куксэ остаться на озере...

...Много лет назад люди из рода Кук Тэке вместе с другими родственными племенами вынуждены были переселиться в эти места, придя сюда с юга. Спасаясь от свирепствовавшей на их родине холеры, они поднимались все выше и выше по реке Итиль, пока не нашли прибежище здесь, в укромной долине Ика.

Немало воды утекло с тех пор — за это время маленькая бикич Айдан, которая приехала в эти места на седле впереди матери, выросла, вышла замуж, стала Ильбикой, рожала и растила сыновей, вела большое хозяйство, помогая мужу нести нелегкое бремя главы рода, а когда муж умер, передала бразды правления старшему сыну Аккучкару, к которому перешел титул Йорт-бея¹⁴.

Постепенно род Кук Тэке приживался в новых местах. Подобно костру, который занялся от маленького уголька, он разгорался, поднимался ввысь, раскидывая вокруг себя новые искры жизни и разрастаясь вширь.

Высоко взметнулось пламя этого костра, слишком хорошо стало видно его издалека, — видать, поэтому и на новом месте отыскала род Кук Тэке беспощадная болезнь.

Это был настоящий мор, от которого не было спасения. Никто не знал, как бороться с неведомой болезнью. Заболевший человек не мог ни есть, ни пить, его постоянно рвало, через семь-десять дней его облик менялся до неузнаваемости — он высыхал, чернел и умирал. Люди гибли один за другим в страшных мучениях. Как раз тогда переселилась на небо Тэнкебика вместе с двумя сыновьями; доблестные алыпы-богатыри, мудрые старики и старухи, не успевшие расцвести подростки и малые дети — ушли один за другим в мир иной, во владения Тэнгре¹, осиротив и обескровив род Кук Тэке.

Теперь от многочисленного и мощного рода, славившегося отважными воинами-яугирами, искусными знахарями и заклинателями, прекрасными девушками, по силе и ловкости мало в чем уступавшими мужчинам, — от рода Кук Тэке осталась малая толика, как от прогоревшего костра остается горстка тлеющих угольков.

Вместе со стариками уходило в небытие древнее искусство врачевания, ворожбы и камлания. Ни в роду Кук Тэке, ни в соседних кочевых родах не осталось человека, кто бы смог принять эстафету у стариков в этом тонком и сложном деле.

Когда Айдынбика, забросив домашние дела, всецело посвятила себя изучению знахарства, колдовства и камлания, то сын ее, Йорт-бей Аккучкар, который долго не мог оправиться от потери жены и двух сыновей, не стал возражать против того, чтобы мать исполняла в их роду обязанности Кам Ана.

Кам Ана расспрашивала оставшихся в живых древних старух, постигала различные способы врачевания, ворожбы и заговоров, надеясь при помощи накопленных предками знаний уберечь людей в случае новой эпидемии.

Но болезнь, отступив, больше не возвращалась.

Зато пошли другие напасти: лесные люди, которые в прежние времена и близко не осмеливались подойти к владениям Кук Тэке, теперь, обнаглев, то и дело стали угонять с пастбищ коров и лошадей...

Много времени прошло после того страшного мора, однако с тех пор род Кук Тэке так и не смог восстановить былую мощь и славу, — он, как костер под дождем, все еще горел через силу, рискуя каждую минуту погаснуть. Над древним родом черным грозовым облаком нависла опасность вымирания. Видать, всемогущему небесному покровителю Тэнгре сквозь это облако стало не под силу разглядеть горстку несчастных, покинутых им людей... Видно, позабыл он, что жил когда-то на земле хранимый им от бед и напастей доблестный род Кук Тэке...

Кроме лесных людей, нежданно-негаданно объявились и другие враги: во время весеннего половодья из низовьев реки стали приплывать на своих быстрых челнах угры. Они совершали внезапные набеги на аул, в котором осталось не так уж много боеспособных защитников, граба и увозя с собой все, что попадалось под руку.

Несколько соседних родов, объединенных общей бедой, собрались на совет и решили устроить в устье реки засаду непрошеным гостям.

Йорт-бей Аккучкар, забрав с собой почти всех яугиров, включая и мальчиков-подростков, уплыл со своей дружиной вниз по реке на семи больших ладьях.

Кам Ана теперь плохо спала ночами: ведь вместе с Аккучкаром уплыли и все его сыновья — трое ее внуков...

Какая необычная луна в эту ночь стоит над землей: кажется, что даже свет, исходящий от нее, пронизан чем-то недобрым и зловещим.

Уже три недели прошло с отъезда дружины.

Уже спала вода, и река вернулась в свои берега, а ладьи с воинами-яугирами все не возвращались.

Что могло случиться с Йорт-беем? Может быть, Куксэ как раз от него привез плохие известия?..

Словно читая бабушкины мысли, Сэнджере с улыбкой обратилась к Кам Ана:

— Хочешь, скажу, какие новости привез Куксэ?

— Ну, давай говори, раз обещала.

— Куксэ, наверное, привез от остяков приглянувшуюся ему девушку — вот и боится возвращаться в аул, ждет, что скажет на это Кам Ана.

— Тебе бы все шуточки шутить.

— Вот посмотрим: а что, если окажется по-моему?

— Не поверю, чтобы Куксэ мог такое выкинуть: что, разве у нас свои невесты перевелись? Негоже нам, людям рода Кук Тэке, с чужаками родниться, кровь свою древнюю разбавлять.

— А если у них любовь?

— Даже если любовь, не посмеет привезти. От горбатой верблюдихи никогда не родится крылатый скакун.

— А если та девушка сама с крыльями?

— Пусть так. Но Куксэ не из тех, кто нарушает обычаи предков. Люди из нашего рода из века в век роднились только с равными себе родами, так тому и дальше быть...

Только из-за тучки, которую ветер, как платок, набросил на круглый лик луны, — только из-за этой маленькой тучки, пославшей спасительную темноту на землю, бабушка не заметила, как от ее последних слов омрачилось и погрузнело лицо любимой внучки...

Пока добрались до Кыска Куль, окончательно рассвело.

...У догорающего костра на берегу озера сидели люди — они как будто спали, положив головы на колени. Однако приближающийся топот копыт не вызвал никакого оживления у костра — никто не встал, встречая гостей. Только стреноженные лошади, бродившие неподалеку, почуяв троих всадников, приветственно заржали, и звук этот, отраженный многократным эхом, долго еще стоял над озером...

Кылчын-алпар остановил своего коня в десяти шагах от костра. Сэнджере и Кам Ана, натянув поводья, придержали своих лошадей рядом с ним.

Отсюда Сэнджере было хорошо видно: у костра было только трое. То, что они сначала приняли за людей, оказалось большими мешками, к которым прислонили спины путники, отдыхая на своих снятых с коней седлах.

— А где остальные? — спросила Кам Ана.

— Вернулись только трое...

Кылчын-алпар издал приветственный возглас, такой громкий, что лошади испуганно шарахнулись в сторону. Никто не двинулся с места; тогда ему пришлось позвать по имени: «Эй, Куксэ!»

Сидевший в центре человек в собольей шубе, на голову возвышавшийся над остальными, наконец пошевелился, посмотрел в сторону прибывших и медленно поднялся с места. Сделал шаг и, не подходя близко к всадникам, согнулся в поклоне.

«Это же вовсе не Куксэ!» — удивилась Кам Ана, не узнавая человека в шубе. Куксэ был круглолицый, румяный и крепко сбитый, один из самых видных джигитов аула, а этот — высохший и сморщенный, на лице один только нос и остался.

— Встань! — велела Кам Ана.

Человек, в котором Кам Ана старалась и никак не могла признать Куксэ, встал, глядя на нее воспаленными запавшими глазами.

— Говори!

— Прости, Кам Ана, что не смог встретить. Всю ночь напролет тебя ждали, глаз не смыкали, а под утро всех сморило, — тут и без того тихий голос его неожиданно прервался.

— Рассказывай, что за новости ты привез, — нетерпеливо нарушила Кам Ана затянувшееся молчание.

— Я был в стране остяков. Возил туда наши товары, которые менял на дорогие меха — соболь, выхухоль, бобер. Роскошных шуб накопил... Когда к остякам приехали, все у них было ладно, жители были веселы и здоровы. Не прошло и недели, как с людьми что-то стало твориться — они стали чернеть и сохнуть на глазах, будто их изнутри какой-то червь точил. На лица их страшно было смотреть — словно на всех натянули безобразные маски.

Вскоре мор охватил все селения остяков. Негде было ступить от трупов умерших людей. Их не успевали ни закапывать, ни сжигать — число трупов множилось слишком быстро. А потом настало время, когда уже некому стало держать в руках лопату... У нас сначала умер один нукер. Не успели его похоронить с почестями, как умерли еще двое. Тут уж мы собрали свои пожитки, погрузили меха и бросились прочь из этих проклятых мест. Но было поздно — в пути полегло еще пятеро наших товарищей... Вот какие дурные новости я привез, Кам Ана. — Куксэ, рассказывая, с трудом держался на ногах, он был настолько обессилен, что его покачивало.

— Садись, — заметив это, сказала Кам Ана.

Куксэ удивленно посмотрел на нее — как это можно сидеть в присутствии Кам Ана? Он продолжал стоять, опираясь на колчан со стрелами.

— С недобрыми вестями ты вернулся, Куксэ, — после некоторой паузы произнесла Кам Ана. — На пути домой вам не попадались мертвецы?

— Попадались, Кам Ана.

— Где в последний раз?

— В Дальнем лесу. Это был один из лесных людей.

Установилось тяжелое молчание, прерываемое только пофыркиванием пасущихся неподалеку лошадей.

Кам Ана повернулась к Кылчын-алпару:

— Ты в прошлый раз не подходил близко к Куксэ?

— Нет, Кам Ана. Он мне сам не велел подходить. Потому я и в этот раз остановился, не доезжая до костра.

— Ладно, это ты правильно сделал... Сэнджере, внучка, отойди-ка подальше отсюда...

Девушка недоуменно взглянула на бабушку.

Лицо у Кам Ана стало как у каменного изваяния: бледным и безжизненным, только глаза горели мрачной решимостью, Сэнджере стало не по себе. Она скорее натянула поводья, заставляя Кашкару отступить назад.

После этого снова повисла напряженная тишина.

Куксэ осторожно прочистил горло.

— Кам Ана, — прошипел он с трудом. — Я знаю, что ты мне скажешь. Потому и не вернулся в аул. Разрешите мне остаться здесь и соорудить шалаш...

— Понимаю тебя, Куксэ. Только нельзя тебе здесь оставаться. Лучше будет, если ты вернешься в Дальний лес — туда, где вам встретился последний труп...

После этих безжалостных слов очнулись и двое остальных спутников Куксэ, до этого молча сидевших у костра.

— Пощади нас, Кам Ана, не хорони заживо! — взмолились они, ползком приближаясь к ней.

— Прекратите!

Гневный окрик Куксэ, несмотря на то, что прозвучал не слишком громко, подействовал на нукеров безотказно.

— Седлайте лошадей.

Несчастные медленно, через силу поднялись на ноги и с обреченным видом, пошатываясь, будто с похмелья, направились к костру со своими седлами.

Куксэ обратился к Кам Ана:

— Столько всякого добра пропадает — драгоценные меха, роскошные собольи шубы. Возьми хоть одну, Кам Ана. Память обо мне останется.

— Никому теперь эти шубы не нужны... — Кам Ана помолчала немного. — Если в живых останетесь, возвращайтесь в аул. Встретим вас с радостью... Хотя и плохие вести ты доставил, все же спасибо тебе... Прощаться с вами не буду.

Всадники повернули назад. Гулко застучали копыта.

Отъехав совсем недалеко, Кам Ана остановилась.

— Куксэ! — крикнула она. — До самого Дальнего леса оставляй за собой гаревый след!..

Всадники проделали уже порядочную часть пути, когда, оглянувшись назад, увидели, как над озером Кыска Куль черными клубами поднимается дым.

Это Куксэ сжигает соболями шубы... Когда подъезжали к аулу, солнце уже успело запрячь в колесницу своего золотисто-рыжего коня и, поднявшись над горизонтом, теперь неторопливо взбиралось по склону горы Мэтавыш.

Всю дорогу Кам Ана молчала, и лишь когда, въехав в аул, поравнялись с юртой Йорт-бея, она сухо приказала:

— Подождите меня здесь. — Спешилась с коня и, еле ковыляя на затекших, негнущихся ногах, скрылась в юрте...

С того дня, как Кам Ана с внучкой переселилась в отдельную юрту, она ни разу не разговаривала с Ильбикой Сузгынбикой. При встрече обе женщины делали вид, что не замечают друг друга. Проходили мимо, не поздоровавшись.

Где-то с неделю назад к Кам Ана прибежала служанка Ильбики. Целуя ноги старухе, она умоляла от имени хозяйки, чтобы Кам Ана срочно пришла.

Кам Ана сперва недоумевала: что могло случиться с надменной Сузгынбикой, которая годами и не вспоминала о существовании свекрови. Потом сообразила: про Ильбику рассказывали, что она слегла на другой же день после отъезда Йорт-бея. Вспомнила и старух-знахарок, приглашенных из соседних родов и племен, которые попадались ей на глаза возле юрты главы рода. Да, если невестка попросила позвать ненавистную свекровь, значит, совсем плохи ее дела...

Служанка Ильбики проводила ее до самых дверей спальни.

В комнате стоял полумрак. Через некоторое время глаза Кам Ана привыкли к темноте — она увидела, как в глубине комнаты постель зашевелилась и слабый, прерывающийся голос Сузгынбики произнес:

— Хоть и позвала... но думала, что не придешь... — Тут послышались всхлипывания, и невестка запричитала:

— Спаси, меня, свекровь, не дай умереть! Когда мой единственный сын, свет моих очей Азалак уплыл вместе с отцом, на другой день со мной что-то стало неладно. В горло кусок не лезет, по ночам заснуть не могу. Вроде бы и не сплю, но как будто наяву брежу... Преследуют меня какие-то нескончаемые страхи — словно кто-то душит меня, сердце мое сдавливают чьи-то холодные и омерзительные руки... Уж не помню, сколько разных знахарок у меня перебивало, но все без толку. Если кто и сможет тебя вылечить, так только Кам Ана Айдынбика, — так они сказали. Спаси меня, ведь ты мне свекровью приходишься,ними с меня свое проклятье!

— Хоть и натерпелась я от тебя обид, но чтобы проклятье на тебя наложить — такого не было. Другое проклятье на тебе лежит, Сузгынбика!

— Какое же?

— Проклятье наших предков. Вспомни: когда ты стала Ильбикой, то слишком возомнила о себе, возгордилась, с обычаями предков перестала считаться. Скажи мне, разве не грешно сироту обижать?.. И Йорт-бея против родной матери настроила...

— Прости меня, свекровь. Знаю, что ты души не чаяла в своей первой невестке, Тэнкебике. А меня всегда считала чужачкой, незаслуженно занявшей место Ильбики... И сына моего не признавала — потому я и срывала злость на Сэнджере-бикяч...

— С тех пор как ты сделалась Ильбикой, на нашу землю несчастья сыплются одно за другим. Это все оттого, что ты сироту малую обижала, все от этого...

— Прости меня, свекровушка, умоляю, прости!

— Что тебе от моего прощения. Повыше меня силы есть. А над ними стоит всемогущий Тэнгре. Вот у кого тебе надо прощение вымаливать...

...С такими словами в прошлый раз Кам Ана вышла от невестки. Она и не предполагала, что снова придется с ней свидеться...

Ильбика лежала на спине, утопая в пышной перине. Безучастным взглядом посмотрела на Кам Ана. В провалившихся глазах загорелись недобрые огоньки.

— Зачем пришла? — в ее голосе, еле слышном, все же явственно прозвучала неприязнь. Не дожидаясь ответа, отвернула лицо с заострившимся, как птичий клюв, носом и, глядя в потолок, сказала тоскливо и безнадежно, будто разговаривала сама с собой:

— Сегодня у меня внутри что-то оборвалось.

— Плохие новости я принесла, Ильбика!

Сузгынбика подняла растрепанную голову и округлившимися от ужаса глазами посмотрела на Кам Ана:

— Сыночек... Азалак... — дальше она не могла говорить, только ввалившиеся глаза не отрываясь глядели на Кам Ана в ожидании неминуемой беды, умоляя: пощади, не произноси убийственных слов!

— Плохие вести не от Йорт-бея, Сузгынбика...

Ильбика облегченно вздохнула. Голова ее обессиленно упала на перину.

— Вчера Куксэ вернулся от остяков. На нашу землю надвигается страшный мор, Ильбика!

Больная как будто и не слышала последних слов: ни один мускул не дрогнул на ее лице. Острый нос по-прежнему был направлен к потолку.

— У меня сегодня внутри что-то оборвалось... — повторила она все тем же безжизненным голосом. — Может, я и Ильбика, но уже не жилец на белом свете... Уйди поскорее с моих глаз...

Кам Ана вышла из юрты и взобралась на коня. Потом решительно приказала Кылчын-алпару:

— Скажи своей охране: в аул никого не впускать и не выпускать. Пастухи пусть не возвращаются с джайляу¹. Пахари пускай прямо в поле соорудят себе какое-нибудь временное жилище. Вернутся, когда их позовут. А насчет Куксэ — никому ни слова... Пока на этом все.

Ночное путешествие отняло много сил. Когда вернулись к себе в юрту, Кам Ана велела внучке идти досматривать прерванные сны. «Сегодня день будет нелегкий, иди и как следует отдохни, внучка».

Однако, как Сэнджере ни старалась, сон не шел к ней. Стоило ей сомкнуть веки, как перед глазами, словно наяву, возникал Куксэ — он, пошатываясь, стоял, опираясь на колчан. Исхудавший, высохший... Ввалившиеся щеки, торчащий нос, запавшие глаза... На всем облике лежит безжалостная печать приближающейся смерти... Как сурово Кам Ана повернула его назад... Наверное, Куксэ не доберется до Дальнего леса... Труп лесного человека... Синеглазый лесной парень... От ледящей крови мысли Сэнджере съежилась и завернулась плотнее в одеяло. Нет, не может быть, он — жив! Ведь они виделись совсем недавно, в новолуние. У нее до сих пор в ушах звучит его смех, стоит перед глазами белозубая улыбка. И скоро, совсем скоро — нынешней ночью — они условились встретиться. А до наступления ночи впереди еще один день, который кажется Сэнджере целой вечностью. Как выдержать эти нескончаемые часы и минуты до встречи?! Ах, лесной джигит — безраздельный властитель девичьих дум, неизвестно откуда взявшийся окаянный синеглазый леший, похитивший девичье сердце! Ты всегда своим незримым присутствием помогал Сэнджере отгонять печальные мысли, так помоги же и сейчас — видишь, она так несчастна и безутешна, а все оттого, что боится потерять тебя!..

Сэнджере зажмурила глаза и стала вспоминать их первые встречи. Сколько же раз она восстанавливала в памяти счастливые минуты, воспоминания о которых дарили ей ни с чем не сравнимую радость? В сотый раз? А может, в тысячный?.. Одно можно сказать с уверенностью — что не в последний...

Когда ранняя осень начала водить золотой кистью по кронам деревьев, по всему аулу стремительнее оперенной стрелы пронесся слух о том, что Йорт-бей собирается на охоту.

Жители аула, узнав об этом, потеряли покой. Мужчины при встрече не могли разговаривать ни о чем другом, как о предстоящей охоте.

«А что, в этом году тоже в Дальний лес поедем?» — «Интересно, кто на этот раз будет возглавлять охоту — сам Йорт-бей, или Кылчын-алпара поставят?» — «Наверное, охотничьи собаки понадобятся, какая же охота без собак?»

Сэнджере, до которой каждый день доносились подобные разговоры, собрала однажды своих подруг и заявила: «А почему бы им и нас, девушек, не взять? Мы тоже хотим участвовать в охоте!»

— Ну-ка, ответьте мне, кто на весенней байге¹ обогнал всех джигитов и выиграл главный приз?

— Ты! — крикнули девушки.

— А кто попадает голубю в глаз?

— Ты! — крикнули девушки.

— А раз так, то пускай с нами тоже считаются, пойдём сейчас же к Йорт-бею и потребуем, чтобы он сам разрешил ехать с мужчинами.

Йорт-бей возражать не стал:

— В засаде, конечно, вам не место, но помогать загонщикам вы вполне можете.

Вечером накануне долгожданного дня охоты охотники, всадники со сворой гончих собак и девушки отправились в Дальний лес. Когда солнце, закатившись за деревья, окрасило небосклон в сиренево-розовые тона, путники уже добрались до опушки леса, расставили походные шатры, развели костры. До тех пор, пока старшие не разогнали всех спать, молодежь сидела вокруг костров, проводя время в веселых беседах, играя на сазе, танцуя и распевая песни...

Еще не рассвело, когда призывно протрубил охотничий рог. В мгновение ока шатры были собраны, лошади оседланы. Загонщики и девушки приготовили свои погремушки, трещотки и обтянутые кожей барабаны. Главный загонщик расставил всех по местам, чередуя мужчин и девушек, объяснил, что делать и в каком направлении двигаться. Их задача была, колотя в барабаны и гремя погремушками, гнать зверя по направлению к лесной прогалине, где в засаде находились охотники во главе с Йорт-беем.

Снова протрубил рог — это был знак загонщикам трогаться. Заповедную тишину разорвали надсадный лай собак, грохот барабанов, погремушек и трещоток, пронзительные крики и свист. Лес проснулся и ожил, — хлопая крыльями, поднялись в воздух испуганные птицы; треща валежником и ломая ветки, понеслись лоси, волки и медведи, стараясь скорее унести ноги. Они бросались то в одну сторону, то в другую, но везде их преследовал беспощадный грохот и крики, от которых они бежали в поисках спасения как раз туда, где их поджидала неминуемая гибель.

Сэнджере, охваченная всеобщим азартом, гремела трещоткой, кричала, свистела, перекликалась с подругами. Ей не терпелось взглянуть на какого-нибудь дикого зверя вблизи, и, решив немного оторваться от загонщиков, она отпустила поводья. Кашкару, только этого и ждавший, радостно понес ее вперед, и вскоре она уже нагнала гончих собак, которые мчались перед ней с яростным лаем. Некоторое время они летели, слившись в едином упоительном ритме, — собаки, ее конь и она, Сэнджере, затаенная в этот стремительный водоворот, подчинивший себе безраздельно людей и зверей. Только когда она стала свидетельницей того, как охотничья собака впереди нее набросилась на выскочившего из кустов зайца и свернула ему шею, с Сэнджере что-то случилось. Внезапно ей стало не по себе, весь ее пыл угас, и она пустила коня шагом... Вскоре лай собак отдалился, стал еле слышен, звуки погремушек и барабанов стихли где-то вдали...

Загрустившая девушка ехала понурившись, не запоминая дороги и не замечая времени. Вдруг взгляд ее упал на украшенный ярко-красными ягодами куст. Это были несъедобные волчьи ягоды, но дело было вовсе не в них. Дело было в том, что под кустом этим рос тот самый таинственный огнецвет, о котором ей рассказывала бабушка. «Огнецвет — трава редкая, растет вдали от людских глаз, но тот, кто его найдет, обязательно отыщет и свое счастье».

«Ну вот, огнецвет я нашла, осталось только счастье найти», — сказала себе Сэнджере, у которой немного поднялось настроение. Остановила коня, спешила и присела, разглядывая находку. Стебли и листья растения уже приняли буровато-оранжевую окраску — это означало, что самое время выкапывать корневище. Она отложила в сторону колчан, трещотку и, достав из ножен кинжал, медленно и осторожно принялась раскапывать землю вокруг стебля. «Тот, кто найдет огнецвет, проживет сто лет», — вспомнила она слова Кам Ана, поглощенная своим занятием настолько, что не видела и не слышала ничего вокруг...

Внезапно над ее головой послышался треск сучьев, посыпались листья и мелкие ветки, сломанные под тяжестью чего-то падающего с дерева, раздалось предсмертное рычание, и к ногам Сэнджере упало тело крупной рыси. Секунду-другую ее лапы еще продолжали подергиваться, словно пытаясь вцепиться в намеченную жертву, но вскоре хищник затих. Из груди рыси торчала поразившая ее стрела... Сэнджере не успела даже как следует испугаться и осознать, что с ней мгновение назад могло произойти. Когда же наконец она пришла в себя, то увидела, что рядом с ее Кашкару, держа в руках лук, стоит синеглазый парень с ослепительной улыбкой на лице. Вернее говоря, первое, что увидела Сэнджере, были именно редкой синева глаза, а льющийся из них синий свет оставлял как бы в тумане и льняные волосы, и удлиненное лицо с правильными чертами, и белозубую улыбку. Все это уходило куда-то на второй план, и только васильково-синие глаза, лучащиеся теплом и манящие к себе, околдовывали и заставляли позабыть все на свете!..

Руки Сэнджере невольно опустились, пальцы разжались — кинжал выпал, воткнувшись в землю, ноги сами шагнули вперед, к нему! Один шаг, второй...

— Сэнджере! — раздался крик из-за деревьев.

Не успела девушка сделать третий шаг, как синеглазый лесной призрак исчез. Только голубое марево все еще продолжало колыхаться у нее перед глазами, как будто парень оставил здесь частичку сияния, пролившегося из необыкновенных глаз...

— Сэнджере!

— Вот она где!

Девушки, обнаружив пропавшую подругу, обрадованно загалдели. Но увидев, что Сэнджере стоит остолбенело уставившись в пространство, забеспокоились: «Что с тобой? Уж не заболела ли часом?»

Только когда Сэнджере собрала и надежно спрятала в своем сердце все до единого предназначавшиеся ей лучики синего света, которые, невидимые для других, еще были рассыпаны вокруг, — только тогда она заметила подруг и начала отвечать на расспросы.

— Ты погляди-ка, — удивлялись девушки, — мы гнали впереди себя столько всякого зверя, но не смогли поймать даже захудалой пташки, а она была позади всех и рысь подстрелила! Давай подвесим ее за ноги к твоему седлу.

— Не смейте до нее дотрагиваться. Это добыча синеглазого хозяина леса...

Да, в тот первый раз появление синеглазого парня Сэнджере восприняла именно как чудо, как помощь, в образе доброго лесного духа посланную ей небом в трудную минуту...

А во второй раз, когда они встретились...

— Сэнджере, внучка, вставай скорее, пришли старухи-шемякчи.

Кам Ана приглашала в свою юрту заклинательниц-шемякчи лишь в исключительных, особо важных случаях, — когда надвигалась угроза военного нашествия или какая-нибудь другая страшная беда. Видно, и в самом деле предупреждение Куксэ было крайне серьезным.

Сэнджере выскользнула из-под одеяла. Ей никак нельзя пропустить старинный таинственный обряд шемяк, который будет проходить в большой комнате. Во время него Кам Ана никому, кроме старух-шемякчи, не разрешает находиться в юрте, но для Сэнджере было сделано исключение, — пусть внучка смолоду вникает в тайны древних обрядов и обычаев.

Окна в большой комнате завешены, чтобы не проникал дневной свет, и только сквозь приоткрытую отдушину на потолке в центр помещения просачиваются скупые солнечные лучи. По краям комнаты, где совсем темно, смутно виднеются силуэты старух, одетых в белые джиляны. Посредине на земляном полу начертан большой круг. В этом кругу стоит Кам Ана в необычном одеянии: на ней тастар — белый головной убор с двумя бараньими рогами, а на плечи наброшена шкура сивого барана — символ рода Кук Тэке. Вот она молча сделала внучке знак рукой, чтобы та прошла в дальний угол... Установилась полная тишина.

Кам Ана кашлянула, прочищая горло, и начала:

— Шемякчи-колдунья, что справа от меня! Принесла ли ты зеленый камень от северных ворот аула?

— Принесла, Кам Ана.

— Положи этот камень на северную сторону круга.

— Шемякчи-колдунья, что слева от меня! Принесла ли ты красный камень от восточных ворот аула?

— Принесла, Кам Ана.

— Положи этот камень на восточную сторону круга.

После зеленого и красного камней на юге большого круга положили голубой камень, а на западе — желтый.

Кам Ана вытащила из белых ножен, висевших на поясе, кинжал с белой рукояткой и острием его провела поверх круга тонкую линию.

— Это — священный круг. Войти в него может только беззаветная любовь. И выйти из священного круга может только любовь...

Старухи-шемякчи, все как одна, повторили хором ее слова.

Кам Ана повернулась лицом на север и, глядя куда-то вдаль, крикнула:

— Эй, Мать-Земля, хозяйка зеленого камня, я призываю тебя в этот круг! Дай нам свою силу!

Сидевшая затаив дыхание Сэнджере не могла сдержать изумленного возгласа: из той стороны круга, куда смотрела Кам Ана, стало расходиться по комнате зеленое сияние!

Кам Ана устремила взгляд на красный камень.

— Эй, хозяин красного камня, Отец-Огонь, войди в священный круг! Дай нам свою силу!

От красного камня начало разливаться красное свечение, постепенно заполнившее комнату.

Кам Ана крикнула, глядя на юг:

— Эй, хозяйка голубого камня, Мать-Вода, приди в этот круг, дай нам свою силу!

С зеленым и красным сиянием смешался голубой туман.

Теперь Кам Ана смотрела на желтый камень.

— Эй, хозяин желтого камня, Ветер-удалец, прилетай в наш священный круг, дай нам свою силу!

В круг тотчас же ворвалось желтое сияние. Цвета и краски, переливаясь, стали переходить один в другой, образуя различные оттенки.

Старухи-шемякчи, казалось, только этого и ждали — они тотчас же вскочили, взяли за руки и образовали движущийся хоровод вокруг костра. Шаги их все ускорялись, пока не перешли в бег. Где-то в центре круга, в вихре закручивающихся спиралью разноцветных переливов еле проглядывалась фигура Кам Ана. Сэнджере удалось разглядеть, как она воздела кверху руки.

Зазвучал голос, от которого затряслась, ходуном заходила юрта:

— Эй, могучий дух наших предков!.. Войди в священный круг, дай нам силы одолеть жестокий смертоносный мор!

Сэнджере не поверила своим глазам: Кам Ана, испуская вокруг себя яркое сияние, поднималась все выше и выше над полом!

Носившиеся с бешеной скоростью по кругу старухи-шемячки остановились как вкопанные и разом подняли руки кверху — к Кам Ана, которая парила в воздухе между полом и потолком. Разноцветное сияние, образуя радужные смерчи, поднималось над полом вверх и, достигнув Кам Ана, как бы уходило в нее. И вот уже Кам Ана, парящая над всеми с кинжалом в вытянутых руках, сама стала излучать свет — от нее во все стороны забили ослепительно яркие лучи. Раздался дикий, нечеловеческий рев, и Кам Ана тяжело обрушилась на пол, воткнув при этом кинжал в землю по самую рукоять. Видно было, как в считанные мгновения исходившее от Кам Ана сияние через кинжал ушло в землю.

Сразу сделалось тихо — застыли, не дыша, старухи-шемячки, ни жива ни мертва сидела в своем углу Сэнджере, неподвижно лежала на полу Кам Ана. Казалось, что жизнь покинула ее тело безвозвратно.

Сэнджере, кусая губы, беззвучно заплакала.

Стоявшая рядом одна из старух заметила это и, обняв девушку, прошептала ей на ухо:

— Не плачь, доченька, нельзя мешать Кам Ана — она сейчас слушает, чем закончится борьба между духом предков и грозным мором...

Кам Ана открыла глаза. Старухи помогли ей встать. Надели на голову слетевший тастар и терпеливо принялись ждать, пока она заговорит.

Кам Ана долго молчала, будто онемев.

Наконец одна из старух спросила:

— Ну как, мор побежден?

— Наши покровители и дух наших предков не покинули нас...

Все вздохнули с облегчением.

Немного придя в себя, Кам Ана обратилась к «правой» шемячки:

— Нужно первым делом привязать к северным воротам аула ветки ивы, к восточным — молодой березы, к южным — тополя, к западным — лиственницы. При этом произнести заклинание-тулгау. С этого дня ветры будут дуть не в нашу сторону, а только от нас!

«Правая» шемячки, взяв с собой в помощь трех старух, торопливо вышла из юрты.

— «Левая» шемячки! Тебе нужно произнести семь раз заклинание-тулгау и опустить бараний череп в воду Ика. Мать-Вода разрешила впустить Кук Тэке в свои владения. Пусть Кук Тэке прогонит мор подальше от наших мест.

Исчезла и «левая» шемячки.

— Кто-нибудь, разыщите Кылчын-алпара. Пусть его нукеры подожгут сухую траву вокруг аула...

Возле Кам Ана осталась одна старуха.

— Приготовь большую соху, веревки и арканы. И камчи не забудь. Пусть все будет готово после обеда. А ты, внучка моя Сэнджере, собери сорок своих подруг. Пусть придут ко мне в белых платьях...

Юрта опустела. Кам Ана медленно сняла с себя тастар с бараньими рогами, накинутую на плечи шкуру и, еле дойдя до спальни, повалилась на постель. Долго лежала, глядя в потолок. Когда ее спросили о том, побежден ли страшный мор, она не смогла ответить ни «да», ни «нет». И на то была причина... Когда, воткнув кинжал в пол, она долго лежала, приложив ухо к земле, то так и не смогла расслышать отголосков той борьбы, которая должна была происходить между духом предков и покровителями рода Кук Тэке, с одной стороны, и грозным мором — с другой. И дело было вовсе не в том, что старость туга на ухо. Если бы действительно между духами шла битва, то земля гудела бы так, что и глухой не мог не услышать!

Когда тихо заплакала Сэнджере, то из-под земли до Кам Ана тоже донеслись всхлипывания. Но кто же это был? Дух предков? Или хозяйева земли и воды? А может быть, сам проклятый мор?

Внезапно плач прекратился, и раздался грозный, зловещий, леденящий душу голос:

— Ах ты, глупая старуха! Я вовсе не тот мор, с которым тебе доводилось встречаться в жизни! Я — совсем иной Мор, ты в этом сама убедишься. Недолго тебе осталось ждать: приду к тебе в полночь на седьмой день! Запомни, на седьмой день... Приду, чтобы никогда, не уходить!

От этих слов Кам Ана внутренне содрогнулась. Много она повидала на своем веку — и голод, и падеж скота, и холеру, и оспу. Они приходили и уходили. А это было пострашнее...

— Кам Ана! Я привела сорок девушек, как ты велела. — У дверей стояла запыхавшаяся Сэнджере. — Они ждут твоих указаний, Кам Ана.

— Что это у тебя в руках?

Сэнджере погладила черный пушистый комочек.

- Разве не видишь, котенок!
- Откуда ты его взяла?
- Да бегал возле нашей юрты.
- Выпусти его на улицу, внучка. Мало ли кто слоняется возле нашей юрты...
- Бабушка, пусть останется у нас! Посмотри, какой красивый, пушистый!..
- Делай, что тебе сказали, — голос Кам Ана звучал непреклонно.

Сэнджере недоумевала — что это вдруг случилось с ее бабушкой? Она никогда не могла пройти спокойно мимо любой, даже самой облезлой, кошки или собаки — обязательно находила чем угостить! Сэнджере, обиженно поджав губы, вышла из комнаты.

- Не забудь белое платье надеть! — крикнула ей вслед Кам Ана.
- Пришла старуха-шемякчи, которую послали за арканами и веревками.
- Кам Ана, твою юрту будто белые птицы со всех сторон облепили.
- Это хорошо, что собрались. Ты все приготовила, что я сказала?
- Все готово.
- Тогда пошли.

В самом деле, вокруг юрты Кам Ана, как на берегу, собралась стая белых чаек: сорок девушек — все как одна в белых платьях. Галдят, перешучиваются, сменяются — настоящий птичий базар.

Когда во двор вышли Кам Ана и старуха-шемякчи, девушки притихли.

- Сейчас мы, доченьки, пойдем с вами за ворота аула.

Взяли большую соху, арканы и веревки, погрузили все это в ручную тележку и двинулись.

Навстречу им попались четыре старухи-шемякчи, посланные привязать ветки к воротам.

Одна из них радостно сообщила:

- Ветер дует только с нашей стороны! Пойдемте с нами.

Вокруг аула, как и велела Кам Ана, подожгли траву. Огонь уже отползал вдаль от аула, оставляя после себя оголенную, обгоревшую землю и свинцово-сизые клубы дыма.

Вечный путник Солнце, отдыхавшее в зените, отпустив пастись своего огненно-рыжего коня, с высоты удивленно наблюдало за странной стайкой людей в белой одежде, копошившихся на черной, выжженной земле. Потом, спохватившись, что пора трогаться в путь, покатило на своей колеснице дальше по небосклону.

...К сохе привязали длинный аркан, к аркану — множество веревок с петлями.

Девушки впряглись в соху.

Кам Ана, как пахарь, встала сзади.

Старухи-шемякчи перемазали лица сажей и золой, подобрав их прямо с земли, распустили и растрепали волосы — ни дать ни взять сущие ведьмы.

Засвистели камчи, закричали, понукая девушек, старухи — то на одном, то на другом белом платье стали появляться темные следы от плетей, волочившихся по земле. Соха вонзилась в землю, переворачивая почву. Кам Ана двигалась вперед, шагая по бороздам.

Враг, который зовется Мор,
Грозный Мор, смертоносный Мор!
Пусть земля, вспаханная сорока девушками,
Станет тебе ловушкой!

Старухи-шемякчи хором подхватили заклинание, которое громко выкрикивала Кам Ана. Звонко хлопали камчи, раздавался рев и вой старух, погонявших девушек и топавших ногами, как разъяренные быки.

Камчи, которые гуляли по девичьим спинам, были сделаны из льна, но старухи лупили ими из всех сил. Доставалось и Сэнджере — никто не считался с тем, что она внучка Кам Ана. Но ни свист плетей, ни дикие крики старух-погонщиц не могли отвлечь Сэнджере от сладостных грез о предстоящем свидании...

...Когда они встретились во второй раз, уже стаяли снега — стояла чудная пора пробуждения и обновления природы.

В тот день веселая стайка девушек, одетых в черную одежду, изображая черных ворон, перелетала от юрты к юрте, произнося заветные слова «дэр-дэр-дэреге», за что им давали крупу, яйца, масло¹.

Другая группа девушек, которой верховодила Сэнджере, оделась серыми воронами.

Дождавшись, пока у «черных ворон» мешки и туеса наполнятся доверху, «серые» с громким карканьем налетели на них и, хотя им и изрядно потрепали перышки, все же отняли добычу и, вскочив на лошадей, поскакали в сторону Дальнего леса.

«Черные вороны» помчались вдогонку. Началась погоня. Впереди «серых ворон», естественно, летела на своем Кашкару Сэнджере — вероятно, поэтому они и оказались возле той самой полянки, где прошлой осенью Сэнджере повстречалась с синеглазым лесным парнем. Вскоре, запыхавшись и сетуя на то, что забрались так далеко, их нагнали «черные вороны». «Все равно без нас вы ничего не сделаете! Казан у нас, да и кашу без крупы тоже не сварить!» — хвастались они. Выяснив отношения, «серые» и «черные» вместе мирно занялись делом: развели посреди поляны большой костер, повесили казан. Вокруг костра начались веселые песни и пляски.

...Никто не заметил, как исчезла Сэнджере. Кашкару привез ее к тому самому кусту волчьих ягод, под которым она осенью нашла огнецвет.

Как и в прошлый раз, девушка сошла с коня и присела под кустом — вот она, та ямка, которая осталась после выкопанного корня. Сейчас там не было ничего, кроме опавших прошлогодних листьев и набравшейся талой воды, в которой, словно в круглом зеркале, отражалось лицо Сэнджере.

Талая вода, талая вода, покажи ей синеглазого хозяина леса! Где он сейчас, что с ним? Знает ли он, что всю осень и долгую зиму не было ни одного дня, ни одной ночи, чтобы Сэнджере не думала, не мечтала о нем? Знает ли он, что она приехала сюда не случайно, что привела ее на знакомую поляну надежда снова встретит его? Талая вода, талая вода, прямо перед тобой — лицо Сэнджере: загляни в ее черные бездонные глаза, видишь ли ты, сколько в них грусти, ожидания любви и нерастроченной нежности, сколько в них счастья и сколько отчаяния... Талая вода, талая вода, скажи своему лесному хозяину — ведь лешие всегда помогают тем, кто попал в беду, — передай ему, что сюда приходила одна девушка, сидела на этой поляне, тоскуя о нем, что она была глубоко несчастна, а он не почувствовал и не пришел, как в прошлый раз, чтобы помочь ей...

— Сэнджере! — вдруг окликнул ее мужской голос. Сэнджере вздрогнула и, обернувшись, не поверила своим глазам — возле Кашкару, как и тогда, стоял, улыбаясь, синеглазый хозяин леса. «Наверное, это мне мерещится», — решила девушка.

— Сэнджере!

Неужели и уши ее обманывают? Неужели ей послышался этот ласковый тихий голос, назвавший ее по имени? А откуда он может знать, как ее зовут? Значит, глазам почудилось, ушам послышалось.

Сэнджере шагнула вперед. Надо потрогать собственными руками. Если и осязание ее обманет, значит, это был лишь призрак, рожденный ее мечтой. А если...

Сэнджере снова поддалась магической силе синих глаз, из-за которых весь остальной облик джигита — его светлые волосы, удлинённый овал лица, высокий рост, одежда, — все как будто расплывалось, растворялось и таяло в синем сиянии, льющемся из этих волшебных глаз. Она сделала еще шаг вперед.

А если он и вправду стоит перед ней, живой и всамделишный, и Сэнджере дотронется до него — то что будет? Нет, нет, об этом лучше не думать, нельзя об этом думать...

Лесной призрак тоже сделал шаг вперед.

Кажется, это не сон! Вот и дыхание его стало слышно.

Теперь уже никуда не деться — ни свернуть, ни убежать, да и как же быть с теми неотвязными мечтами, которые так долго не давали ей ни сна, ни покоя?.. Ноги невольно сделали еще один шаг, и девушка оказалась в объятиях джигита.

Кашкару тактично отвернул голову в сторону. При этом он осторожно фыркнул, как бы предупреждая: смотри не потеряй голову, хозяйка!

— Сэнджере-э! Сэнджере-э-эу!

Лесная чаща приглушала крики подруг, а гулкое эхо возвращало лишь окончание имени:

— Э-е!.. Э-эу! — доносилось до девушки. Голоса постепенно становились громче и отчетливее.

— Ты знаешь мое имя, а я умею говорить на твоём языке, — похвасталась Сэнджере синеглазому парню. — Всю зиму училась у одного из пленников...

Чтобы самая знатная и красивая девушка из доблестного, гордого рода Кук Тэке сама явилась в лес в поисках человека из чужого, враждебного племени, да еще при этом выучила язык этого племени, — от избытка чувств не терявший ни в каких ситуациях джигит совсем потерял дар речи.

— Сэнджере-э-эу!

Голоса девушек приближались.

Парень опомнился. Полез в карман.

— Сэнджере, это тебе на память о нашей первой встрече, — сказал он, протягивая ожерелье, сделанное из зубов рыси и кончика рысьего хвоста.

— Не обижайся, сейчас не могу взять. Вот встретимся еще раз, тогда возьму...

— Что значит — встретимся еще раз? Я тебя сейчас же увезу с собой. Пойдем!

- А ты бы поехал со мной?
- Ты ведь знаешь, я не смогу жить без леса...
- Сэнджере-а! — Между деревьями замелькали силуэты «черных» и «серых ворон».
- Давай встретимся здесь в полнолуние. Тогда я тебе дам окончательный ответ.

На спину Сэнджере со свистом обрушилась камча.

Непрощенный враг, имя которому — Мор,
Беспощадный и грозный враг,
Который никого не щадит на своем пути!
Пусть земля, вспаханная сорока девушками,
Встанет преградой, что тебе не перейти!

Старухи-шемякчи уже охрипли, нараспев повторяя вслед за Кам Ана заклинания, под звуки которых упряжка из сорока девушек трижды обогнула аул, опоясав его широкой лентой свежевспаханной земли.

На платьях девушек не осталось ни одного белого места.

Свидетелем тому было лишь Солнце, которое, намереваясь поскорее завершить свой ежедневный путь по небосклону, уже повернуло усталого коня к западу.

Из центра аула, от площади у колодца, послышались звуки большого барабана — кауга, которые разносились далеко вокруг, оповещая жителей аула о предстоящем сходе.

Солнце, успевшее сменить своего коня с рыжего на гнедого, наблюдало с высоты, как люди, бросив все дела, торопились к площади у колодца. В их числе были и сорок девушек, которые разбежались по домам сменить запачканные сажей платья.

Когда Сэнджере присоединилась к собравшейся толпе, Кам Ана уже заканчивала свою речь;

— Кто посмеет перейти через полосу, вспаханную вокруг аула, будет застрелен. Любого, кто посмеет выйти из аула или войти в аул, ждет неминуемая смерть. Кылчын-алпар! Через каждые сто шагов поставь караульного. Пускай смотрят в оба и днем, и ночью.

Сэнджере похолодела, ноги у нее подогнулись. Как же так? Ведь именно сегодня ночью наступит полнолуние и на лесной поляне возле костра будет ждать Сэнджере ее суженый. Выходит, себе же на беду, погоняемая плетью и воплями старух, изрезав себе плечи ремнями и веревками, волокла она эту злосчастную соху! Сама же помогла устроить себе ловушку! Что же теперь делать?.. Ах, если бы снова случилось чудо и возник бы перед ней как из-под земли синеглазый хозяин леса, как это уже дважды случилось, посадил бы ее на крылатого коня-тулпара и умчал бы далеко-далеко...

— О чем задумалась, внучка? Пора домой возвращаться.

Сэнджере очнулась, глянула вокруг — все разошлись, на площади не осталось никого, кроме Кам Ана.

...Ах, мудрая, всевидящая Кам Ана, неужели тебе удалось проникнуть в душу внучки, догадаться, какие чувства таятся в глубине ее сердца, прочесть мысли, которые она никому не осмеливается доверить? Видно, так оно и есть, иначе не проложила бы ты вокруг аула эту полосу-ловушку, в которой, как зверь в западне, оказалась самая красивая, самая ловкая и быстрая девушка аула, побеждавшая джигитов на скачках и попадающая голубю в глаз! Да, Кам Ана, не иначе для того, чтобы удержать возле себя рвущееся из дому влюбленное сердце, пошла ты на эту хитрость. Значит, не забыла ты тот незначительный, на первый взгляд, разговор о невесте из чужих краев, которую мог привезти с собой Куксэ. Поняла, что внучка этим вопросом испытывала бабушку. Если бы не раскусила ты, Кам Ана, уловку Сэнджере, то, наверно, пропустила бы шуточный вопрос внучки мимо ушей и не стала бы заводить беседу о строгих обычаях отцов и дедов...

Бабушка с внучкой вернулись в юрту, где уже приятно щекотали нос вкусные запахи. Служанка-карауч собрала на стол, помогла Кам Ана и Сэнджере умыться, держа кумган с теплой водой и поливая им на руки.

Подогнув колени, они сели за низкий столик, уставленный разными кушаньями. Сэнджере пыталась съесть понемногу от нескольких блюд, но кусок не проходил в горло.

— Здорова ли ты, внучка?

— Голова что-то разболелась... — отговорившись так, Сэнджере вышла из-за стола. С собой она прихватила чашку с молоком...

Кам Ана и после ужина не пошла отдыхать. Она велела служанке-карауч принести полотняный мешок с сушеными травами. Отложила в сторону коренья ядовитой чемерицы, стебли белены с чашечками смертоносных семян и еще какие-то известные только ей травы, корни и куски коры. Все это высыпала в

небольшой казан, налила воды и, закрыв крышкой, велела поставить на огонь. Потом достала из колчана две самых длинных, самых острых стрелы, способных сразить на скаку лошадь. Когда вода закипела и забулькала, приоткрыла крышку и засунула их в казан, погрузив наконечники в темную жидкость; тем временем карауч подкладывала в огонь дрова.

Кам Ана приказала принести несколько луков. Перепробовав тетивы всех луков, она выбрала тот, который был ей по силам.

В это время Солнце, погоняя своего гнедого, завершало путь над землей, проходя через алые ворота заката. Что же касается западных ворот аула, над которыми ярко пылал закат, то они были крепко-накрепко заперты охранниками. С наружной стороны по приказу Кам Ана ворота выкрасили в черный цвет...

Сэнджере лежала в своей комнате, безразлично уставившись в потолок, не замечая, как постепенно гаснут в окне розовые краски вечерней зари и по комнате расползается темнота. Такое же беспросветное отчаяние переполняло душу несчастной девушки. Она чувствовала себя так, будто стремительный водоворот затягивает ее в черный глубокий омут, и нет ни единой соломинки, за которую можно было бы ухватиться, ни единого лучика надежды. Сегодня она должна была дать ответ синеглазому парню. Что это был за ответ?.. Разве могла она сказать «нет» лесному хозяину, околдовавшему все ее существо неведомыми чарами, против которых бессмысленно было бороться? Конечно же, ответ был только один...

Но как сказать «да», если безысходность положения, в котором она оказалась, говорит «нет»!

Как жалела она о том, что не согласилась уехать с суженым, когда он хотел забрать ее с собой! Почему она этого не сделала? Для подруг и для бабушки она бы просто заблудилась и бесследно исчезла в лесу — заплакали бы да и забыли о ней...

В окошко уже заглядывала полная луна. Наверное, она сверху видит костер, который уже разжег синеглазый хозяин леса, поджидая свою долгожданную Сэнджере. Что же ты сидишь сложа руки, Сэнджере, когда каждый луч, посланный тебе полной луной, притягивает к себе, велит встать, манит на улицу?.. Девушка решительно сбросила одеяло, подушка сама соскользнула на пол — нет, нельзя больше валяться в постели, а то потом придется всю жизнь жалеть об этих минутах, проведенных в бездействии! Пришло время самой, своими руками вершить свою судьбу! Перед тобой три дороги, три пути, — либо ты останешься здесь и всю жизнь будешь кусать локти, не в силах обрести покой, либо умчишься за своим счастьем, либо навечно останешься лежать на вспаханной тобою же земле. Второй пугь, — в который зовет тебя полная луна, — он тебя не подведет, это путь, по которому пришли к своему счастью все влюбленные на земле.

Сэнджере вскочила с кровати, скинула с себя всю одежду и, достав из сундука новые вещи, принялась одеваться. Движения ее были быстрыми и уверенными, во всем теле она чувствовала какую-то необыкновенную легкость.

Из верхней одежды не брать ничего лишнего: пусть в комнате все останется как было, чтобы казалось — Сэнджере где-то здесь и скоро вернется.

А вот без черной епанчи ей не обойтись — ее светлая одежда в ночи будет заметна издали, а ей привлекать к себе внимание караульных вовсе ни к чему.

Проходя мимо сложенных в углу сундуков, девушка ласково погладила мирно дремлющего давешнего котенка:

— Прощай, Черныш. Бабушка тебя не обидит...

Приподняв войлок, служивший дверью, она прислушалась: в юрте стояла тишина, похоже, что и Кам Ана, и служанка-карауч крепко спят. Теперь нужно бесшумно выскользнуть из юрты, миновав большую комнату и прихожую. В большой комнате темно — хоть глаз выколи, непонятно, зачем окно занавесили. Девушка, вытянув вперед руки, сделала несколько шагов... Вот здесь стоят сундуки, здесь должен быть дверной проем... «Ах!» — нога споткнулась обо что-то тяжелое — раздался гулкий, гудящий звук задетого ею казана, заплескалась какая-то жидкость в нем, железо звякнуло о чугун. Вот невезенье! Это, конечно, Кам Ана поставила казан у самых дверей — сейчас она встанет, не заставит себя долго ждать!

Сэнджере перешагнула через казан, пронеслась через прихожую, мимо лежанки, где, свернувшись калачиком, спала карауч, и вылетела из юрты — скорее в загон, где ее ждет верный Кашкару.

Конь узнал хозяйку по шагам — тихо пофыркивая, выражал свою радость. Избалованный лаской, он ждал, что его, как обычно, потреплют по морде и чем-нибудь угостят, но хозяйка в этот раз была настроена сурово. Уж если она решила ехать без седла и стремян, то, значит, дело не терпит отлагательств, сообразил скакун и, одним махом перепрыгнув через изгородь, помчал всадницу по улице.

Сэнджере, испугавшись, что топот далеко разносится в ночной тишине, пустила коня шагом, но и это не помогло — подкованные копыта Кашкару издавали слишком много шума. Нет, она никак не сможет миновать охрану незамеченной.

Она соскочила с коня, сняла епанчу и джилян и, вытащив из-за пояса кинжал, разрешила джилян на четыре части.

Поглядывая на хозяйку, деловито возившуюся с его ногами, Кашкару недоуменно фыркнул: зачем понадобилось посреди аула его стреноживать, ведь здесь и не пахнет свежей травой, куда бы его отпустили пастись!

Закончив свое дело, Сэнджере взлетела на спину Кашкару и натянула поводья. Конь вначале подпрыгнул, как это делают стреноженные лошади, — и только тогда ощутил, что ноги его свободны. Он радостно поскакал вперед, только теперь копыта его, словно валенками обтянутые мягкой суконной тканью, касались земли почти бесшумно.

Вороной конь с белой звездочкой на лбу и оседлавшая его всадница в черной епанче растворились в тени юрт, стоявших на окраине аула...

По внутренней стороне вспаханной полосы, взявшей аул в кольцо, охранники разожгли костры на таком расстоянии, чтобы промежутки между ними хорошо просматривались в темноте. Казалось, между двумя соседними кострами проскочить незаметно под силу только крохотной мышке.

Караульные, видно, только что подбросили дров в огонь — пламя поднялось высоко, щедро рассыпая искры вокруг.

Когда дрова немного прогорят, то огонь станет не таким ярким, — тогда, быть может, и проляжет темный «коридор» между двумя кострами.

Сэнджере взглянула на небо — о радость! — к ярко сиявшему лунному диску подбиралась неведомо откуда взявшаяся случайная тучка.

О, случайная тучка, единственная на всем небе, сделай доброе дело — прикрой на минутку свет луны, пока Сэнджере не проскочит вспаханную полосу и не затеряется в березняке, что напротив аула! Дай беглянке немного времени, чтобы спасительная темнота укрыла ее от глаз охранников!

Два костра, ближайших к Сэнджере, уже пылали не столь ярко, как вначале.

Случайная тучка приближалась к луне.

О, покровители рода Кук Тэке, духи земли, неба и воды, и ты, могучий дух предков! Ниспошлите прощение вашей несчастной дочери, сердце которой сжигает неумолимый огонь любви! Простите ее за то, что, не устояв перед зовом другого сердца, на который не могла не откликнуться ее чуткая душа, она покидает свой род, которому вы покровительствуете из века в век, — покидает навсегда! Исполните же последнюю просьбу вашей Сэнджере: выпустите ее живой и невредимой из аула, пропустите ее через непреодолимую полосу, которая черной ловушкой опоясала аул... словно тот магический круг, который сегодня в юрте был начерчен рукой Кам Ана...

Войти в этот круг сможет только беззаветная Любовь.

Выйти из этого круга сможет только... Сможет ли Любовь выбраться из заколдованного круга без вашей помощи, о духи-покровители?

...Темный коридор между кострами все ширится. А робкая тучка, подойдя вплотную к луне, никак не осмелится набросить свое покрывало на ее лицо.

Вот сейчас охранники подбросят дров в огонь, и тогда все пропало.

О, случайная тучка, добрая спасительница, почему же ты медлишь и робеешь, разве ты не знаешь, что луна — помощница всех влюбленных — сама готова погаснуть, чтобы на земле на миг стемнело?.. Скорее же, милая тучка...

Охранники подбросили дров, и свет от двух костров, разгоравшихся с новой силой, уже бежал навстречу друг другу, уменьшая спасительный коридор, когда наконец тучка справилась со своим делом — и желтая луна скрылась под ее покровом.

Всадница в черной епанче на черном коне бесплотной тенью скользнула в узкий темный коридор между двумя кострами. Нельзя слишком спешить, но и промедление смерти подобно. Если поторопишься — караульные могут услышать топот копыт, даже приглушенный хитроумными «валенками». Если замешкаешься — окажешься освещенной ярким пламенем двух набирающих силу костров.

О, всесильный Тэнгре, власть твоя безгранична — удержи от спешки и не дай опоздать!

Ноги коня утонули в мягкой, трижды перепаханной земле.

Коридор между кострами был уже шириной в три шага.

Караульные, учуяв неладное, засуетились, подняли шум. Засвистели в воздухе стрелы.

Охранникам послышалось, как в десяти шагах что-то высоко подпрыгнуло над вспаханной полосой и мягко опустилось на землю, — наверное, это был какой-нибудь дикий зверь, успокоили они себя.

Свет от соседних костров снова сомкнулся, сведя на нет темный коридор.

Никто так и не разглядел промчавшуюся во мраке невидимую всадницу на вороном коне...

Кам Ана намеревалась лишь немного отдохнуть, но сон все же сморил уставшую за день старуху. Звон задетого кем-то казана и звяканье стрел о стенки заставили ее в страхе проснуться: ей привиделось, что Мор, грозившийся прийти на седьмой день, уже ворвался к ним в юрту, но замешкался, споткнувшись о казан с ядовитым зельем.

Ох, сейчас он ввалится сюда, с горящими, как угли, глазами, с кровожадно раздувающимися ноздрями...

А что, если он в поисках Кам Ана сначала попадет в комнату к Сэнджере?! От этой мысли к глазам прилила кровь, к горлу подступил комок, руки сжались в кулаки — Кам Ана бросилась к двери.

В большой комнате не видно было ни зги. Старуха, спотыкаясь, добралась до окна и сдернула занавешивающий его войлок. По комнате сразу разлился ровный лунный свет. Отражаясь в казане с ядовитым отваром, луна словно купалась в нем... Настороженно оглядывая темные углы, Кам Ана подошла к комнате Сэнджере. Осторожно отвела в сторону войлок дверного проема: легкий аромат духов, приятно защекотавший нос, и умиротворяющая тишина, в которой ей почудилось ровное дыхание, сняли тревогу с ее души.

Она вышла в прихожую, подошла к очагу, в котором тлели угли, вытащила из лукошка несколько кустов бересты, бросила в очаг.

Береста с треском загорелась, съезживаясь и корчась в ею же рожденном пламени, от которого в комнате стало светлее.

Служанка-карауч продолжала спать на своей лежанке у двери. От пристального взгляда Кам Ана она вздрогнула и открыла глаза.

— В соседней комнате кто-то недавно споткнулся о казан. Не слышала?

— Не-ет, — протянула служанка, ничего не понимая спросонья.

— Встань и больше не ложись. Разожги очаг, мало ли что может случиться в полнолуние.

Кам Ана подняла войлок большой комнаты, чтобы стало светлее от очага в передней. Свет от очага и лунный свет из окна скрестились на медном казане, Кам Ана внимательно осмотрела пол вокруг казана — ни капельки жидкости не пролилось, кругом сухо.

Наверное, ей послышалось. Если бы Мор споткнулся, то содержимое казана обязательно бы пролилось.

Надев джилян, Кам Ана вышла из юрты. От полной луны было светло настолько, что язык не поворачивался назвать эту ночь ночью, скорее ночной день.

Кам Ана обошла юрту. Вокруг ни души, не слышно ни единого шороха. С окраины аула поднимаются дымы караульных костров и изредка доносятся обрывки разговоров охранников. Нет, Мор еще сюда не добрался. Не стоял бы тогда над аулом такой тихий и светлый ночной день.

Кам Ана случайно подняла глаза на луну и обомлела: мимо лунного диска по небу плыли ладьи, их было ровно семь! Они двигались очень быстро, и было отчетливо видно, как на передней блестят весла, вынимаемые из воды. Вот первая ладья остановилась над тополями, что росли возле юрты Йорт-бея. Подплыли и остальные лодки, гребцы подняли весла кверху. Из первой ладьи вышел рослый мужчина в блестящей под лунным светом нургабе. Кам Ана узнала в нем Йорт-бея. Рядом с ним выросли фигуры трех молодых воинов в кольчугах. Это были сыновья Йорт-бея — внуки Кам Ана. Словно не зная, куда идти, они поворачивали головы то вправо, то влево. В этот миг со стороны Дальнего леса показались быстро приближающиеся всадники. Скакавший впереди спрыгнул на ходу с коня и склонился перед Йорт-беем. Это был не кто иной, как Куксэ!

Куксэ поднялся с колен и, показывая на мешки, свисающие по обеим сторонам седла, что-то говорил; потом достал из мешка соболью шубу и бросил под ноги Йорт-бею...

— Карауч, скорее сюда, — просипела Кам Ана.

Йорт-бей и Куксэ что-то бурно обсуждали; Куксэ, указывая на юрту Кам Ана, что-то объяснял. Йорт-бей дружески хлопал Куксэ по спине... Снова поглядев в нерешительности по сторонам, Йорт-бей указал наконец на запад. Гребцы заработали веслами, всадники вскочили на коней. Вслед за семью ладьями, взявшими курс на запад, отправились и всадники. Вскоре и те, и другие скрылись из виду...

Тем временем служанка-карауч, прибежавшая на зов хозяйки, смотрела вместе с ней на небо и, не видя там ничего, кроме полной луны и накрывшей ее неведомо откуда взявшейся тучки, недоумевала — отчего на Кам Ана лица нет.

Кам Ана пришла наконец в себя:

— Скажи, ты видела?

— Что видела? — удивилась служанка.

— Как это не видела?! — рассерженно напустилась на карауч Кам Ана. — Да ведь они остановились вон под теми тополями!..

Испугавшись гнева хозяйки, бедная служанка бросилась ей в ноги.

— Прости, прости, Кам Ана, что не видела, — и зашмыгала носом.

Голос Кам Ана смягчился.

— Ничего-то ты не видишь, ничего-то не слышишь... Хотела бы я стать такой же, как ты...

Только теперь Кам Ана поняла, что имела в виду Ильбика, говоря, что внутри у нее что-то оборвалось.

Теперь у самой Кам Ана в груди будто оборвались четыре струны, и нестерпимая боль пронзила сердце...

Нет, вовсе не свет льется на землю от этой луны — что-то недоброе и зловещее исходит от нее...

Род Кук Тэке остался обезглавленным...

Луна-проводница сказочным клубком с путеводной нитью катилась по небу, указывая путь всаднице в черной епанче, помогая находить самую короткую и прямую дорогу. Когда же вдали за лесными стволами показался долгожданный огонек ночного костра, луна остановилась.

Спасибо тебе, полная луна, что показала дорогу к суженому! А теперь возвращайся обратно в аул. Без Сэнджере и без тебя совсем темными останутся улицы и переулки... Да и Кам Ана, наверное, почернела от горя, оставшись без внучки... Возвращайся, полная луна, и попроси у нее прощения за Сэнджере...

...На знакомой лесной поляне, возле куста волчьих ягод, огнецветом расцвел костер. Поблизости пасется оседланная лошадь, мелькая темной тенью за светлыми стволами берез. У костра сидит высокий, светловолосый лесной парень. Тень его, отбежав от костра, взбирается то на одно дерево, то на другое, повыше, — высматривает девушку, обещавшую прийти сюда в полнолуние.

Сэнджере бесшумно соскользнула с коня, обмотала поводья вокруг ствола и, раздвигая ветки, пробираясь сквозь кусты, вышла на край поляны.

Вот она и на месте. Преодолев страхи и сомнения, безнадежность и отчаяние, она все же приехала к любимому. Теперь можно вздохнуть с облегчением. На душе делалось радостно и светло, как от этого костра-огнецвета, освещавшего поляну...

Джигит сидел спиной к девушке, не подозревая, что она стоит совсем рядом. Сэнджере, ступая на носки, осторожно двинулась к нему. Сейчас она неслышно подойдет к любимому и закроет руками его синие глаза. Самое главное — не выдать себя смехом, а это так нелегко...

Бедняга, видно, уже потерял надежду увидеть Сэнджере — сидит пригорюнившись, согнувшись, голова опущена, светлые волосы спутались. Неважный вид у парня, что и говорить...

Сэнджере обхватила его сзади, закрыв лицо ладонями.

Парень вздрогнул, схватил ее руки, но ничего не произнес и не вскочил — остался сидеть.

Девушка, не выдержав молчания, рассмеялась:

— Смотри-ка, даже имя мое успел забыть!..

Джигит не отвечал, только еще крепче стиснул руки девушки: и захочешь — не вырвешь. Сэнджере только сейчас обратила внимание, что его руки были холодны и безжизненны, как лед, — это были руки мертвеца!

Пронзительный визг разорвал ночную тишину.

— Не бойся, — хриплым голосом заговорил «мертвец». — Перестань вырываться! Не отпущу тебя до тех пор, пока не передам тебе все, что велено... Твой возлюбленный, который должен был здесь тебя ждать, прийти не смог. Он вчера умер... В последние минуты я сидел у его изголовья и обещал ему, что выполню его предсмертную просьбу — встретиться в полнолуние с тобой. Велел говорить на своем языке — мол, ты по-нашему понимаешь. Еще сказал: прорасту весной на этой поляне огнецветом под кустом волчьих ягод, пусть осенью придет и выкопает корень. А самое последнее слово, слетевшее с его уст, было не на нашем языке — не разобрал...

Сморщенное, как кузнечный мех, лицо посланца было похоже на уродливую маску. Он выпустил одну руку девушки и полез за пазуху.

— Это тебе велели пере... — тут он неожиданно согнулся, схватился руками за живот, выпустив вторую руку Сэнджере, и его затошнило. Он успел бросить небольшой сверток, вытащенный из-за пазухи, и махнуть девушке рукой, чтобы отошла от него.

Сэнджере стояла не двигаясь, оглушенная страшной новостью... Неизвестно, сколько она так простояла, пока не пришла в себя от душераздирающих криков: бедняга, катавшийся по земле в приступе выворачивавшей его рвоты, случайно попал в костер, и на нем загорелась одежда, но он не мог ничего сделать, скрюченный недугом.

Сэнджере быстро скинула с себя епанчу и набросила на несчастного — тот, продолжая кататься по земле, завернулся в епанчу, превратившись в черный комок, внутри которого скрылись языки огня. Через отверстия наружу прорвались вонючие струйки дыма. Черный комок перекатился еще несколько раз, потом дернулся и затих. Больше он не шевелился...

Девушка, на которой из одежды осталось только тонкое белое платье, потопталась в растерянности, ежась от ночной сырости и не зная, что делать. Нога наступила на что-то мягкое. Она подняла с земли маленький сверток.

Подойдя к костру, Сэнджере развязала тесемку кожаного мешочка — конечно же, там было ожерелье, которое хотел ей в прошлый раз подарить ее синеглазый спаситель, — ожерелье из зубов рыси, напавшей на Сэнджере...

Не приняла она в тот раз от него подарок. «Возьму, когда встретимся в следующий раз». И вот он у нее в руках... Подарок есть, а самого парня уже нет...

Нет! Страшная мысль с беспощадной ясностью снова пронзила Сэнджере, перед глазами поплыл туман, ноги подкосились, она почти лишилась чувств.

На этот раз ее привело в себя звонкое ржание Кашкару, разносившееся по всему лесу. Девушка, покачиваясь, из последних сил пошла в ту сторону, откуда доносилось знакомое ржание.

Издалека почуяв приближение хозяйки, Кашкару перебирал ногами и беспрерывно пофыркивал, словно желая сказать: «Я здесь, давным-давно тебя заждался».

При виде Кашкару на глаза у Сэнджере навернулись слезы. Она обняла его за шею, словно самого родного и близкого человека, которому можно доверить свое горе, и, уткнувшись в черную гриву, зарыдала:

— Синеглазого парня больше нет, Кашкару, он вчера умер, ты понимаешь, он умер...

Кашкару слушал, печально кивая головой, будто соглашаясь: мол, помню его — хороший был джигит...

Слезы девушки проложили дорожку по всей лошадиной шее, замочили грудь Кашкару и катились теперь по передним ногам, достигнув копыт, обутых в суконные «валенки»...

Долго они так стояли, пока наконец верный Кашкару не издал фыркание, означавшее на сей раз: «Не убивайся так, за покойником вслед на тот свет не отправишься».

Сэнджере, перестав плакать, еще долго всхлипывала и шмыгала носом, потом принялась размышлять, как ей быть дальше.

Домой возврата нет. И податься больше некуда.

Никого у нее не осталось, кроме Кашкару.

О всемогущий Тэнгре, слишком поздно ты ее поторопил... О всемогущий Тэнгре, как ты ее ни торопил, все равно она опоздала...

— Проснись, Кам Ана, вставай скорее... — в голосе служанки-карауч звучала тревога.

Кам Ана, которая лишь недавно заснула, полночи промучившись от бессонницы, вздрогнула и открыла глаза. Еще до конца не проснувшись, она переводила взгляд то на обеспокоенное лицо служанки, обрамленное распущенными волосами, то на темное окно.

— Что, уже полночь?

— Скоро наступит, Кам Ана!

Старуха села на постели. Велела поднять войлочный полог, занавешивающий проем.

Из соседней комнаты, где пылал очаг, неторопливо пробрался в спальню оранжево-красный свет, который, осмелев, рыжим котом подкрался к лежанке, потерял об ноги старухи, уже одетые в шерстяные носки, прыгнул ей на колени, потом забрался выше, на плечи, кончиком хвоста касаясь и заставляя искриться драгоценные камни в костяном гребне, сползшем с затылка...

Кам Ана, приведя себя в порядок, направилась в соседнюю комнату. Отведя в сторону войлок, осторожно просунула голову в темноту: тонкий аромат духов зашекотал ноздри, а легкое, ровное дыхание успокоило слух, — надо же, ее чуткая внучка Сэнджере, вскакивающая даже от мышинного писка, до сих пор не проснулась...

Ступая на цыпочки, чтобы не потревожить сон девушки, старуха прошла в прихожую. Там ее уже поджидала служанка, держа на руках джилян хозяйки. Сгорбленная фигура старухи, после того как ей на плечи набросили длинный черный джилян, как будто распрямилась и стала выше ростом. Когда же Кам Ана водрузила на голову белый тастар с торчащими кверху рогами, она стала выглядеть еще внушительнее.

— Возьми стрелы из казана и положи в колчан. Смотри, чтобы яд на руку не капнул, держи их за самый конец!..

Колчан с двумя стрелами служанка вручила хозяйке. Принесла и лук, который вечером выбрала для себя Кам Ана.

— Пошли, — сказала Кам Ана. — Не будем людей будить топотом, пойдем пешком...

Они вышли к окраине аула, обращенной к Дальнему лесу. Указывая на наступление полночи, одна за другой на небе зажглись семь звезд.

— Кто идет? — закричала охрана.

— Я, Кам Ана!

От костра, освещенные со спины огнем, поднялись фигуры двух охранников — один высокий, другой коротышка. Узнав Кам Ана, они низко ей поклонились; даже пламя в костре приникло к земле, словно кланяясь вместе с охранниками.

— Поднимитесь, — велела Кам Ана. — Никто не переходил через вспаханную полосу?

— Нет, — в один голос ответили охранники.

— Направлялся было сюда зайчишка — и тот не прошел, — добавил коротышка.

— Это ты его застрелил?

— Я, Кам Ана.

— Ну, если в зайца попал, то уж в лошадь и подавно попадешь. Вот тебе стрела. Теперь смотри. — Кам Ана указала на опушку освещенного лунным светом березняка, ведущего к Дальнему лесу. — Сюда скачет всадник. Как только он приблизится к вспаханной полосе, стреляй в коня. Стреляй молча, без предупреждения.

Охранник, натянув тетиву, стал ждать приближения всадника. Когда расстояние между ними сократилось до тридцати шагов, просвистела стрела, вороной конь на полном скаку споткнулся, упал, перекувыркнувшись через голову, забил ногами, тщетно пытаясь встать, но быстро затих.

Когда всадник в белом, слетевший при падении коня на вспаханную землю, поднялся на ноги, Кам Ана вытащила из колчана вторую стрелу и натянула тетиву своего лука.

Белый всадник шел прямо на Кам Ана.

— Бабушка! — вдруг раздался крик. — Бабушка, это я — твоя внучка!

— Я не твоя бабушка, а ты — не моя внучка! — С этими словами Кам Ана отпустила тетиву.

— Бабушка-а! — звенящий крик, оборванный смертоносной стрелой, перелетел через вспаханную полосу земли, пронесся над улицами и переулками аула, отыскал знакомую юрту и, улегшись у дверей, затих навек...

Оторопевшие охранники переводили взгляд с распластавшейся на земле девушки в белом платье на Кам Ана.

— Если это не твоя внучка, то кто же? — наконец спросил коротышка-охранник, стрелявший в коня.

— Моя внучка осталась дома. А это — коварный Мор, принявший ее облик. Завалите тело дровами и сожгите!

Кам Ана повернулась и пошла домой, а ноги ее невольно ускоряли шаг по мере приближения к юрте. «Внучка осталась дома... Внучка моя дома...» — твердила себе Кам Ана.

Войдя в юрту, она бросилась к комнате Сэнджере. Вот сейчас она, подняв войлочный полог, просунет голову в темноту и, как всегда, тонкий аромат духов защекочет ноздри, а легкое, ровное дыхание успокоит ее слух... Вот так она постоит у входа, дожидаясь, пока на душе не уляжется тревога, а потом, ступая на носки, пойдет в свою спальню...

Долго еще она не осмелится зайти в комнату Сэнджере...

Перевод Фариды Ситдиковой

ЯПОНСКИЙ ТАТАРИН

звестие о том, что приехал сын Галимжана Рафиль, поначалу никого в Салавчыче не удивило. Ну, приехал так приехал. И что? В девяти домах из десяти дети уже давно живут в городе. Каждую неделю

человек десять —пятнадцать таких вот горожан на своих машинах с ветерком заезжают проведать родителей. С ветерком-то оно, конечно, с ветерком, а обратно всё же прихватывают с собой мясо да сметанку, что родители для них приготовили. Значит, очередной визит проголодавшегося наследника на этой неделе приходится на дом Галимжана, чему же тут удивляться?

Но уже через пару часов возле хозяйства Галимжана началась какая-то суета: то и дело пробежали соседи, слышались странные разговоры.

— Говорят, Рафиль, чтоб ему пусто было, отыскал какого-то родственника в Японии! И теперь приехал затем, чтобы Галимжан и Саня написали японцу письмо с приглашением приехать в деревню погостить.

Новость была ошеломляющая, и народ принялся судачить о семье Галимжана с удвоенной энергией.

— Этот Рафиль-Коротышка с малых лет был рвачом. Принесет в школу хлеб с маслом и ест, так что у всех кругом слюни текут. А потом обменивает половину хлеба на ручку или пенал. Когда в институт поступал, тоже сообразил: пришел на экзамен в солдатской форме. Преподаватели расчувствовались и щедро наградили его хорошими оценками. И сейчас он неспроста отыскал этого татарина, сбежавшего к японцам: он что-то собирается у него урвать. Наверняка этот японец никакой им не родственник!

И тут всех словно громом поразило, и народ в одночасье вдруг прозрел:

— Постой, постой! Этот японец вообще-то кто? Говорили, что после революции из нашей деревни сбежали богач Наджметдин и Гусман хазрет. И каким боком они приходятся родственниками Галимжану? И вообще... Немудрено, если этот японец окажется настоящим родственником кому-нибудь из нас...

К вечеру возле ворот Галимжана, словно стадо, собралось все население деревни. Вскоре был сформулирован и общий список вопросов к Рафилю:

— Какого искусственного родственника ты себе отыскал? От какого это японца тебе пришло письмо? Что он написал? Кому из нас он приходится родственником? Давай выкладывай, что знаешь, перед всей деревней!..

Но Рафиль — парень не промах: он не только институты заканчивал, но и в аспирантуре учился. А потому в сторону невеж он даже не посмотрел, с ушлыми да хитрыми спорить не стал, а вынес из дома большой конверт, украшенный блестящими сургучными печатями, да и вручил его прямо в руки своих односельчан.

— Касим бей — односельчанин и нам, и вам. В его письме секретов нет. Он передает всем приветы, читайте все вместе.

Вначале народ зашумел: мол, «мне дайте!», «я прочту!». Но, схватив письмо и покрутив в руках, каждый старался отправить его дальше.

— Здесь вначале арабскими буквами, а потом латинскими! Кто же это поймет?

Письмо прошло через все руки, но в толпе так и не нашлось того, кто мог бы прочитать его. В результате письмо снова вернулось к Рафилю.

— Ты в институты ходил, среди ученых вращался. Давай читай сам.

— «Дорогой наш брат Рафиль, невестка Гульчачак, сестрица Саня, уважаемый зять!» — начал громко читать вчерашний аспирант, и соседи сморщились, словно полыни пожевали, поджали губы и соорудили равнодушное выражение лица. Однако следующая фраза заставила их встрепенуться, и все разом, как на дармовую горбушку в голодный год, ринулись вперед.

— ...«Дети и все наши родные, друзья и земляки! На теплых ветрах Японии посылают вам свой привет и надеются на ваши добрые молитвы ваши односельчане Касим и Салиса, которые хоть и не знают никого из вас лично, но скучают по всем вам и очень хотели бы встретиться и поговорить по душам, глядя глаза в глаза. Также посылают вам свой дружеский привет все татары, живущие в столице Японии. Мы обращаем свои молитвы к нашему великому Господу и просим его ниспослать вам счастливую жизнь во здравии и благополучии...»

— Черт бы его побрал, это что за огрызок прошлого? Мулла, что ли, какой?! — вдруг закричал, не выдержав, Руслан — любитель выпить на халяву, вечно околачивающийся возле магазина или любого другого места, где могут невзначай налить.

Несколько человек вокруг немедленно зашипели на него, словно гуси:

— Тс-с, замолчи ты, недотепа! Дай дослушать! Интересно же, что за люди пишат и сколько богатства накопили, а мы с тобой погулять успеем.

А Рафиль между тем продолжал:

— «...Получив ваше письмо, мы очень обрадовались, что на старости лет у нас появились родственники. Очень приятно, что нас не забыли и знают по именам, хотя мы живем очень далеко от вас. Мы — люди пожилые, болезни делают свое дело, и вряд ли нам придется встретиться — может, только на

том свете. Но мы надеемся, что вы, молодежь, как-нибудь приедете к нам. Милость Господа безгранична. Да воздаст вам Аллах за доброту вашу, аминь!..».

Дальше авторы письма рассказывали о том, как они попали в Японию, как потихоньку налаживалась жизнь. Народ слушал затаив дыхание. Ага, один из написавших — из рода Мухутдина, а другая — из семейства Аппакая. Их предки когда-то имели обширные владения не только по берегам Белой, Ижа и Салавыча, но и в оренбургских краях. Оказывается, сейчас этот самый Касим — председатель всеяпонского общества «Исламия» (ну, это совсем ерунда!), а главное — он президент японского филиала немецкой фирмы «Мерседес». Мать божья! Это же буржуй... миллионер!..

А сами всё недовольны, жалуются. Вон что пишет о себе Салиса:

— «У вас, наверно, уже холодает, у нас пока тепло. У меня большое сердце, а потому я не люблю жару и в такое время стараюсь не выходить из дома. Правда, у нас дома кондиционер, и он спасает меня... У нас здесь мало земли, и поэтому дома строят близко друг к другу. (Я иногда думаю, что если бы наш народ поселили на таком клочке земли, то мы уже давно перебили бы друг друга). Здания высокие, между ними совсем не остается места для ветра и воздуха. К тому же на улицах чересчур много автомобилей, а потому воздух насыщен удушающими запахами масла и гари...»

При этих словах многие среди слушателей начали тихо ругаться: «Эх, вас бы сюда, да попарить в советском раю!» — но перебивать никто не стал. Что ни говори, а взгляд человека со стороны — вещь любопытная.

— ...«Даже вороненок, где бы он ни родился, кричит «кар-кар». Бывая в Турции или Америке и встречая там своих соплеменников из Татарстана, мы поражаемся тому, что они ни слова не знают по-татарски, хотя росли в родительской семье.

— ...«Очень тянет на родину. Если бы нам посчастливилось приехать, то первым делом мы бы пошли на кладбище и помолились. А потом окунули бы ноги в воды Салавыча и посидели на его бережку...».

— «...В обратном адресе вы указали город Брежнев. Где находится этот город?.. Мы сначала отправили вам свое письмо на кассете, но ваша страна вернула его обратно, объяснив отказ тем, что запись сделана не на русском языке... Если из-за нашего письма у вас будут какие-нибудь неприятности, не расстраивайтесь. Милость Аллаха безгранична, теперь не будем терять друг друга из виду...».

Вот такое грустное, полное ностальгии было это письмо. После того, как Рафилъ закончил читать, многие стояли молча, посерьезнев, словно прослушали на кладбище отходную молитву.

Уже было далеко за полночь, но сегодня половина деревни еще не спала. Где-то в доме разговаривали муж с женой, где-то бегали друг к другу соседи.

— И у Касима, и у Салисы предки из нашего района. Интересно, остались ли у них здесь какие-нибудь родственники? И почему это, спрашивается, миллионера-японца должны принимать в гости Рафилъ и Галимжан? Да еще и сам Касим собирается приглашать их в Японию. Очень может быть, что он отвалит им кругленькую сумму. И с какой это стати туда должны ехать Галимжановы дети? Может, мы этим японцам гораздо более близкие родственники?..

Вскоре огни в домах погасли, но хозяева многих из них так и не сомкнули глаз до самого рассвета.

* * *

На следующий день на улице Неподмытых в одном из дворов подрались супруги Артур и Райса, которые в пылу битвы выбежали аж на улицу.

— ...Если понадобится, то не только мотоцикл, но и корову продадим, мать твою! Я что, дурак, что ли, упускать такой шанс?! Детям, видите ли, молоко нужно, а я в Японию из-за этого не поеду?! — погнался Артур с лопатой за женой. Но Райса тоже оказалась не промах: подбоченившись и задрав подол по самый пояс, она выкрикнула:

— А вот это ты видел, подлец? Вот тебе Япония, вот тебе корова!

Соседи застыли с открытыми ртами. Тракторист Артур и учительница Райса до сих пор жили дружно. Словно пара голубков. Какая кошка между ними пробежала?

Все выяснилось после того, как односельчане разняли дерущихся и растащили их по разным углам. Оказалось, что тетка Райсы замужем за близким родственником Аппакеев. Артур узнал это и решил немедленно ехать в Японию.

— Не торопись, парень, делить шкуру неубитого медведя, — пытались односельчане спустить его с небес на землю, но Артура уже понесло.

— Рвач Рафиль завтра же помчится к этому японцу Касиму и привезет себе миллион. Но Рафиль ни фига не родственник этому Касиму! У меня прав больше! Или я продаю тут все к черту и еду к японцу, или...

Больше Артур никаких пояснений давать не стал. Да, хвороба, оказывается, косит даже таких крепких мужиков...

* * *

Через месяц, словно желая подразнить цепного пса жирной костью, Рафиль привез в деревню целую кучу новостей.

— Касим хаджи прислал приглашение в трех экземплярах — на японском, русском и татарском языках. Одно из них надо отнести в японское консульство. Говорят, что японцы при оформлении визы никаких препятствий и задержек не чинят. А потом еще надо побегать за заграничным паспортом. А вот тут наши организации проверяют тебя до седьмого колена, сорок раз пропускают через сито. Дай бог, чтобы какой-нибудь наш отдаленный предок до Невского сражения тысяча двести сорокового года не служил кучером у какого-нибудь немецкого или шведского барона...

Новость, каждую минуту и час обрастая, как на дрожжах, новыми подробностями, облетела все дворы в Салавыче. И каких только хвостов, похожих на оборки старых лаптей, не прицепили к ней, пока она переходила из одних ворот в другие.

— Оказывается, жена Рафиля Гульчачак — больная. Поэтому, чтобы не пропадать приглашению, Рафиль решил взять с собой Галимжана с Санией.

— У японцев, говорят, подарки дарят по количеству гостей, поэтому Рафиль берет с собой родителей.

— У этого Рафиля еще в институте рыло в пуху было, поэтому его и выгнали оттуда без защиты кандидатской. Теперь ему, видно, не дают разрешения выехать в Японию, поэтому он решил впрямь в это дело Галимжана с Санией — чтобы ловчее «подойти» богача Касима...

И сегодня деревня легла спать очень поздно. Но захрапеть никто, кажется, так и не успел. По улице, наполняя сердца тревогой, с криками пробежали несколько мужиков:

— У Галимжана баня и хлев горят! По-жа-ар, по-жа-ар!

* * *

Рафаэля с улицы Зимогоров в последний месяц словно бес попутал. Раньше он, как послушный телок, каждый день безропотно ремонтировал колхозные культиваторы, сеялки, плуги, а нынче он даже не оглядывается в сторону машинного двора. Зато теперь его ежедневно встречают то на дороге в Агрыз, то в Сарапул, в крайнем случае он околачивается в местном хозяйственном магазине. И тащит он в свое хозяйство весьма странные вещи. То кайло с какими-то шнурами и шпагатами, то шахтерскую лампу с разнокалиберными фонариками. В один прекрасный день девушки-продавщицы вообще перестали понимать, какого рода «антиквариат» просит у них Рафаэль.

— Мне нужен бинокль ночного видения, компас и лупа.

— Нельзя ли заказать в казанских магазинах карты прошлого века?..

Однажды он зашел в здание сельсовета и безмерно удивил председателя — Робсона:

— Я собираюсь строить дом на том месте, где был когда-то сад Наджми. Какие документы нужно, чтобы оформить это?

— Вот те раз! Это место уже пятьдесят-шестьдесят лет никто знать не хотел. И кроличью ферму на этом месте пытались организовать, но какая-то болезнь истребила поголовно всех животных. И что хорошего ты увидел в этом богом проклятом пустыре? — начал допытываться председатель.

Рафаэль в ответ смог лишь пробурчать нечто невнятное:

— Место спокойное. И к роднику близко. А потом сынок мой, Марат, коли станет ему в городе тесно, сможет рядом со мной дом себе построить...

Купля-продажа прошла гладко, и через десять дней Рафаэль уже огородил заброшенный пустырь высоким забором. Его сын Марат в Ижевске был хозяином крупного кооператива, а потому почти каждый день в деревню начали привозить бревна, доски, брусья. На деньги того же Марата из соседней деревни Аккуз был нанят и плотник Хайрулла. Так что именно он первым выдал сельчанам таинственные планы Рафаэля:

— Его дед Миннахмет всю жизнь проработал батраком в имении Наджметдина-бая. Говорят, будто бы когда Наджметдин-бай и его брат Таджи бежали в Сибирь, они бо`льшую часть своих денег и золота

закопали. Миннахмет это видел, но из-за темноты не заметил, под какой яблоней зарыт клад. Теперь Рафаэль хочет найти сокровища...

Деревня опять сошла с ума. В первую же ночь четыре семьи с четырех углов проникли на огороженный участок и начали вскапывать имение Наджметдина-Рафаэля. Марат предусмотрительно оставил отцу сотовый телефон, и тот, видимо, призвал сына на помощь. На следующий день к вечеру, когда только-только вернулась с пастбища скотина, в деревню нагрянули три легковые машины, набитые здоровенными бугаями во главе с Маратом. Всех «крохоборов» вывели на задворки и отметили что твоя половая тряпка. Деревня наблюдала за событиями в щелочки на заборах, на улицу никто выйти не решился. Марат уехал, оставив на участке охрану, а на следующей неделе вернулся уже с каким-то типом, похожим на крота, в очках со стеклами толщиной в палец. А по деревне вновь пошли слухи:

— Это известный ученый, археолог, который вдоль и поперек перекопал Ага-Базар в Старом Булгаре. Он будто бы сказал, что за машину «Жигули» отыщет даже старые башмаки предков до седьмого колена...

Деревня невежественна, откуда ей знать, что местность, где был расположен знаменитый Ага-Базар, уже полвека назад осталась под водохранилищем?.. Народ затаился и наблюдал за происходящим, словно заброшенные в тыл врага разведчики. Оказалось, что «известный археолог» привез с собой металлоискатель и локатор, похожий на улитку.

Копали неделю с самого рассвета до глубокой ночи. Вскоре посередине хутора, окруженного прямо-таки крепостными стенами, возникла громадная куча из колесных ободьев, сломанных лопат, вил, старых топоров, дырявых тазов, полусгнивших кумганов и еще черт знает какого мусора. Похоже, одновременно с этим и терпение «известного археолога» кончилось: в один прекрасный день бедняга в отчаянии переломил об колено свой металлоискатель и убрался восвояси в город. Говорят, Марат в сердцах кинул ему вдогонку единственную найденную в «имении» драгоценность — серебряный чайник с отломленным носиком.

* * *

Теперь Рафилей каждый день по дороге на работу вынужден заходить в отделение милиции. Прошло уже почти два месяца с тех пор, как он сдал документы, а в отделе выдачи виз ему до сих пор не дают внятного ответа. Каждый раз гоняют от одного стола к другому. То им не нравится зеленый цвет чернил, которыми подписана характеристика с места работы, то недостаточно четко написаны даты в трудовой книжке. Спрашивается, неужели для того, чтобы вписать в заграничный паспорт твою фамилию, так важно знать, с какого дня ты начал работать в шестнадцатой школе города Набережные Челны, — с двадцать третьего июля или с двадцать девятого?!

Но все знают, что в этот монастырь со своим уставом не полезешь. Здешний народ и посажен специально для того, чтобы не выпускать за «железный занавес» таких вот деревенских простаков вроде тебя. Они же кормятся с этого. Потому и проверяют по сорок раз каждую твою новую бумагу — только через рентген вот еще не смотрят. И находится ведь каждый раз какая-нибудь зацепка!

— Вы в своей биографии написали, что ваш отец сражался на первом Украинском и втором Белорусском фронтах и получил три ранения. Но Татвоенкомат выдал справку, подтверждающую только два ранения...

Умереть, не встать! Какое отношение к моей поездке в Японию и получению иностранного паспорта имеет количество осколков, ранивших тело моего отца сорок пять лет назад? Ведь он Россию защищал и за нее проливал кровь ведрами, так неужели этого вам недостаточно, люди добрые?! Может, вам еще принести справку о группе крови отца, чтоб вам пусто было?!

Рафилей каждый день так ругается, — правда, про себя. Внешне он вынужден мило улыбаться и покорно приносить все новые и новые бумаги. Потому что служащие здесь — что собаки на сене. С ними невозможно не считаться.

А в один из дней Рафилей был приглашен в кабинет за кожаной дверью, где его изрядно потрепали. На двери никакой таблички не было, встретил его мужчина средних лет в гражданской одежде. Рафилей совершенно не представлял, как следует вести себя в этой обстановке, и даже вспотел. Мужчина вопросов задавать не стал, но каждое его слово было как иголка под ноготь.

— Когда ты вступал в комсомол, ты сказал о Зое Космодемьянской, что «немцы наверняка поимели ее»...

— Когда ты купил свои первые «Жигули», то через пять месяцев продал бригадиру Зиннуру Шаехову из соседней деревни по цене новой машины...

— Ты побил свою жену за то, что она ушла за водой к роднику и пробыла там слишком долго...

Рафиль как-то сразу отупел, словно ему по голове ударили молотком, и моментально скис, как первый снег. Ладно еще, человек в гражданском оказался мужиком невредным и вскоре небрежно бросил на стол бумаги, в которые он посматривал во время экзекуции. Рафиль мельком взглянул на них, и ему тут же все стало ясно. Одна из них была написана рукой Расима, с которым Рафиль четыре года просидел за одной партией, а другой донос начеркала их дальняя родственница Зайнап. И какую, интересно, выгоду будут иметь эти придурки с того, что я не поеду в Японию?..

В конце концов пришлось выкладывать тысячу рублей. Это была цена одной коровы, но что же делать, ведь ясно как день, что несмазанная ложка рот дерет...

И, наконец, когда уже начали заполнять бланк паспорта, вдруг обнаружилась новая напасть. В Москве умер «гений» по имени Брежнев, и город, «гордо носивший» его имя, теперь возвращался к своему старому названию. Не было печали... Оставалось только терпеть.

* * *

После пяти-шести часов мучений и проверок они наконец вылетели в Японию из аэропорта Шереметьево. Руководитель делегации Инна Абрамовна (наверно, представитель весьма серьезной организации) начала давать указания:

— Без разрешения руководителя делегации (то есть ее) никуда нельзя ходить. В магазины, рестораны, даже в туалет(!) ходить строго парами. Возможны провокации со стороны японской тайной полиции, так что тот, кто ослушается приказа, первым же рейсом будет отправлен домой!

— В сторону ночных баров, казино, секс-шопов и прочих язв гнилого капитализма даже не смотреть! Советскому гражданину должны быть чужды подобные развлечения!..

Затем Инна Абрамовна предложила кандидатуры на должность старосты делегации, комсорга и звеньевых, за которых все безропотно проголосовали. В заключение еще раз была прочитана проповедь о жестокости самураев и недопустимости всяких там сакэ и гейш.

Самолет приземлился в аэропорту «Ханэда». Проверки на таможне заняли всего пять минут. На автобусе их привезли в гостиницу «Гранд-отель», выделили немного времени на то, чтобы привести себя в порядок, а затем пригласили к обеду (позже выяснилось, что «Гранд-отель» — это гостиница самого низкого класса, где останавливаются только заезжие рыбаки).

В ресторане между столов, где расположились советские туристы, девушки-официантки скользили, словно ветер. Перед каждым гостем была поставлена дымящаяся паром тарелка. На тарелке лежало белоснежное продолговатое нечто. Поскольку многие уже давно умирали с голоду, то немедленно взяли в руки вилку и нож и принялись резать это. Но, как ни странно, «яство» не поддавалось. Сидевшие за соседними столами японцы начали фыркать от смеха. Вскоре все стало ясно: то, что советские туристы приняли за еду, оказалось осибори — влажная салфетка для рук...

Вечером, получив милостивое разрешение «железной леди» Инны Абрамовны, Рафиль позвонил Касиму хаджи и Салисе ханум домой. Сначала он запутался, не в силах повторить заученные слова приветствия ни на турецком, ни на английском языке, но, услышав в трубке татарскую речь, ничем не уступающую речи диктора Казанского радио, чуть не слетел со стула.

— Добро пожаловать, дорогой наш родственник Рафиль! Неужели и в России выпускают за границу обыкновенных граждан?!

На следующий день Касим хаджи приехал за Рафилом в гостиницу. Из письма Рафиль знал, что Касиму далеко за семьдесят, а потому он ожидал увидеть сгорбленного, беззубого старика с седой бородой. Но на деле оказалось, что Касим хаджи — стройный мужчина с румянцем во всю щеку. Правда, его виски поблескивали сединой и на лбу и возле глаз пролегли морщины. Но было абсолютно очевидно, что он способен одной рукой скрутить любого салавычского пятидесятилетнего мужика...

Заручившись согласием «железной леди», Рафилю показали и токийскую соборную мечеть, и офис общества «Исламия», и помещения двухэтажного медресе, и национально-культурный центр татаро-башкирского товарищества. В центре Рафиля угостили конской колбасой, кумысом и кортом, которых у себя на родине последние десять лет он в глаза не видел. Напоследок его повезли на мусульманское кладбище Токио, где произошла невероятная встреча с татариним девятидесятилетним от роду.

Они шли между могилами, похожими на грядки, когда заметили возле памятника, представлявшего собой миниатюрную копию башни Сююмбике, одинокого коленапреклоненного белобородого старика в белой рубашке.

Касим хаджи дернул Рафиля за рукав:

— Этот человек — самый старый татарин в Японии, следует поздороваться с ним.

Затем Касим хаджи громко сказал:

— Как поживаете, Гайнан хазрет? Мы рады видеть Вас в добром здравии.

Старец — Гайнан Сафа хазрет, долгие годы прослуживший имамом в соборной мечети, — теперь, как выяснилось, уже плохо слышал и видел. Но все же, услышав голос Касима хаджи, довольно проворно вскочил с колен. Лицо его прояснилось — словно солнцем осветилось.

— К нам из Татарстана большой гость приехал, хазрет, — наклонившись к самому его уху, сказал Касим хаджи.

Хазрет вздрогнул и устремил взгляд на Рафиля. Затем едва слышно прошелестел:

— Казань-то стоит ли еще, сынок?

— Стоит, дедушка, стоит! — бодро закричал Рафиль, а старец вдруг упал на колени. Из полуслепых глаз девяностосемилетнего старика брызнули слезы, плечи и руки его дрожали.

— Стоит... Слава Аллаху, все еще стоит. Значит, и мы проживем еще. Спасибо тебе, сынок, спасибо...

* * *

Путешествие Рафиля в Японию вызвало в деревне две прямо противоположные оценки.

— Вот придурок! Стоило ли ехать к японскому миллионеру, чтобы просто поздороваться и вернуться с пустыми руками! Ей-богу, у него от учения совсем крыша поехала! — заключила одна часть, списав путешественника в разряд дураков. Но другая часть населения, куда входили люди более ушлые — бригадир, бухгалтер, учителя, — вынесла другой вердикт:

— Так тебе и даст миллионер обобрать себя с первого раза! У богача даже зимой лопату снега бесплатно не возьмешь.

В этом духе деревня спорила долго, но окончательное заключение оказалось одинаковым. Отныне Рафиль приобрел к своему имени приставку «придурок».

* * *

В очередной раз Салавыч был разбужен в девяносто первом году. И снова виновником оказался Рафиль. Ну, не может он жить без того, чтобы не выкинуть какое-нибудь коленце! Новость звучала так:

— В пять часов состоится телефонный разговор с Касимом хаджи. Если у кого-то есть вопросы к односельчанину, семьдесят лет назад бежавшему отсюда, пусть идет в зал клуба.

— Как это, интересно, можно разговаривать по нашему деревенскому телефону с Японией? А потом, как сможет услышать вся деревня то, что японский миллионер будет говорить в трубку? — подобные сомнения посетили многих, но к пяти вечера зал клуба был битком набит.

Посередине сцены стоял самый обыкновенный телефонный аппарат, по обе стороны от него виднелись две черные коробки, от которых в зал тянулось по два-три провода. Рафиль сидел чуть в сторонке, на людей не смотрел. Здесь же с чрезвычайно важным видом восседали глава сельсовета Робсон и председатель колхоза Ислам. Ну, раз уж и эти прибыли, значит, насчет «прямой связи» правду сказали.

Ровно в пять аппарат ожил. Япония слишком далеко и, видимо, не сразу смогла отыскать на земном шаре телефон деревни Салавыч. Рафиль судорожно схватил трубку, и две черные коробки тут же заговорили.

— Ассаляме-галеюкум ва рахматулла ва баракатух!

— Блин! — во все горло заорал вечно не просыхающий Руслан. — Этот придурок обманом нас тут собрал, чтобы мы молитву послушали!

Сидящие вокруг дружно зашипели на него, словно гусыни:

— Тс-с, мать твою! Тс-с, говорят тебе!

— Уважаемые односельчане и дорогие родственники!..

Люди в зале зашевелились: кто-то поправил на себе одежду, кто-то напустил на лицо серьезное выражение, словно предстояло сниматься на телевизионную камеру. Многие в зале, возможно, надеялись, что Касим хаджи сейчас назовет их по именам. Но тот имел в виду совсем другое, а потому продолжал говорить свое:

— Все последнее время мы живем в атмосфере необъяснимой радости. До нас дошла весть о том, что Республика Татарстан объявила о своем суверенитете. Мы до сих пор не можем поверить, что татарский народ через четыреста сорок лет снова завоевал независимость. Впервые в жизни я искренне и от всей души горжусь тем, что я татарин. Дорогие односельчане, спасибо вам за то, что вы восстановили нашу государственность, спасибо вам! Если бы я сейчас был рядом с вами, то расцеловал бы кончики пальцев каждому из вас ...

Сыновья Ахкама, что живет возле Свинячьего переулкa, — Рево и Самсон, как оказалось, приехали в деревню со своими русскими женами и притащили их с собой в клуб, словно предстояло не привет по телефону услышать, а миллион рублей от Касима хаджи получить. И вот теперь эти две жены начали шумно, как искусанные оводами коровы, возмущаться:

— А че вы нас сюда притащили, два дятла? На хер нам нужны эти стариковские каля-маля? Лучше бы мы на вашей крыше жопы грели.

— Да ладно тебе, Наташа, ладно уж. Не шуми ты, ей-богу, стыдно же, — потихоньку уволок сначала свою супружницу Рево. Но жена Самсона, видать, была не согласна выходить из зала незаметно, а потому, покачивая, как корова выменем, своими грудями величиной с медный самовар, она громко высказалась:

— И на хрен вам сдался какой-то беглый старикашка? Тоже мне, родственничек нашелся! Тьфу, мерзость!..

Между тем Касим хаджи продолжал говорить и, казалось, слышал все, что говорилось в зале:

— Долго мы страдали под гнетом России. Она разграбила нашу культуру, города и земли, язык и душу. Поэтому, подобно другим татарам, изгнанным на чужбину, обиженным и униженным, я тоже в полный голос говорю: «Свобода и независимость».

— По моему мнению, для всех народов — от башкир до якутов в Сибири — самая прямая дорога к независимости — это объединение в качестве совершенно нового татарского государства. Если якуты, чуваша, мордва, мокша, башкиры, ногайцы все одновременно не объединятся под татарским знаменем, дороги к достижению полной свободы не будет. Только в этом случае Организация Объединенных Наций примет нас в свои ряды в качестве полноправного представителя. И тогда некоторые татары, страдающие сейчас на чужбине, на крыльях прилетят на свою родину...

Тут уж лопнуло терпение не только Руслана, но и у прикорнувшей возле него на корточках Шамсии. И они заорали дуэтом:

— Мало было у нас нахлебников, только тебя не хватало! Цена тебе — копейка за пуд!

— Отправляй нам свои страдающие в Японии миллионы!..

Похоже, эти пожелания прозвучали в добрый час, потому что черные коробки голосом Касима хаджи сообщили новость, от которой деревня сегодня наверняка должна была остаться без сна.

— Мы узнали, что после объявления суверенитета в Татарстане появилась возможность строить мечети. Нас обрадовало известие о том, что в честь тысячи и ста лет со дня принятия ислама были построены мусульманские храмы в Набережных Челнах и Нижнекамске. Хотелось бы изменить облик и нашей родной деревни. Если бы в Салавыче на месте нашего старого дома была построена мечеть, мы бы посчитали, что вернули родной земле хотя бы малую частицу своего долга. С этой целью мы решили перечислить на расчетный счет сельского Совета сто тысяч долларов. Было бы замечательно, если бы на следующей неделе вы оповестили нас о получении этой суммы...

* * *

Салавыч было не узнать. Раньше никому бы и в голову не пришло ломать шапку перед кем бы то ни было, кроме председателя колхоза Ислама. Теперь король — Робсон! Когда он идет по улице, не только прохожие, но и едущие на лошади, тракторе или машине соскакивают на землю и подбегают пред ясные очи председателя сельсовета. Вся деревня словно надела маски: никто не перечит Робсону, никто не огрызается вслед. Какой бы приказ ни отдал Робсон, ответ всегда один:

— Хорошо, Робсон эфенди. Спасибо, спасибо...

Зовет ли он тебя копать могилу для очередного покойника или вызывает в сельсовет на ковер за выброшенные на улицу помои и старые башмаки — картина одна и та же: просветленное лицо, рука, прижатая к сердцу, и благодарность:

— Спасибо, спасибо.

Говорили, что Марат, живущий в Ижевске, даже успел придумать для деревни новую кличку: «Дабл ю, дабл ю, дабл ю. Спасибо, спасибо, точка, ру».

А сам, зараза, два-три раза в неделю приезжает в Салавыч, нагрузив машину блестящими коробками и диковинными бутылками. И каждый раз в доме Рафаэля творится такое, словно там принимают высокопоставленного свата, собирающегося поделиться с новыми родственниками своими личными заводами, или саму молодую невесту с несколькими вагонами приданого. Полы в доме моют до солнечного блеска. Топят баню, из Арестантского леса приносят свежие березовые веники. Возле бани крутятся привезенные из Ижевска молодые девушки, возле ворот на завалинке суетится стайка «новых батраков».

А гость всегда один — Робсон, Робсон. Между сельсоветом и домом Рафаэля, а также между домом Рафаэля и своим домом Робсон ногами земли почти не касается, поскольку носят его практически на руках.

Подобно подолу ветреницы, загуляли в деревне всякие слухи:

— Говорят, Робсон ищет подрядчиков на строительство мечети, а Марат хочет отхватить себе этот жирный кусок.

— Марат в Ижевске держит в руках один из банков и легко превращает доллары в «деревянные» рубли...

Как не бывает дыма без огня, последние предположения, похоже, оправдались. У подножия Чертовой горы, что стоит прижавшись к самой деревне, отгородили огромный участок земли, поставили забор под стать губернаторскому дворцу, а затем внутри закипела работа, словно в муравейнике. Вся колхозная техника, а также взятые в аренду у строительных организаций краны, экскаваторы, бульдозеры работали там. Теперь Робсон практически не бывал в сельсовете, Ислам — на току или хотя бы на ферме. Целыми днями они толклись на стройке, как курица на навозной куче.

Сначала деревня наблюдала эту картину безмолвно, как лежачий больной на больничной койке.

— Они же по ветру пустят все деньги Касима хаджи! Неужели даже фундамент мечети не собираются строить?

— Этот обжора Робсон будто бы сказал: мол, этот беглый Касим одной ногой в могиле стоит, поэтому вряд ли приедет из Японии сюда с проверкой. Если так, то эти два черта сожрут все деньги, предназначенные для мечети...

Вскоре деревня очнулась и вскочила на ноги, подобно тому, как вскакивает небрежно связанная скотина, предназначенная на убой.

— Касим хаджи обещал эту мечеть всей деревне. Значит, она общая. Где наша доля?!

В первую же ночь из-за «губернаторской» ограды вынесли около двух тысяч кирпичей. Кто-то взял шесть-семь штук, кто-то — пятьдесят. Целую грудку медных листов для скатов крыши словно ветром сдуло. Мешки с цементом тоже сбежали. Исчезло около пятидесяти брусьев, приготовленных для стропил. «Новые хозяева» утром безуспешно искали тюки пакли, штабеля толя, «вагонку» и прочее.

К следующей ночи возле каждой стороны забора было поставлено по три-четыре мужика, нанятых в соседней деревне. Этот шаг был равносильным тому, чтобы бросить в огонь порох.

— Ах, так?! — самым первым крикнул Японец Артур с улицы Немытых. — Я буду не я, если не прочитаю заупокойную вашему дворцу, построенному на мои деньги!

Верно сказал великий поэт: «Народ — он велик, он могуч...». К полуночи на вершине Чертовой горы была построена катапульта. К одному концу длинной жерди, схожей с колодезным журавлем, Японец Артур тщательно приладил горшки, наполненные бензином и керосином. К горлышку горшков он прикрепил тлеющие угли, завернутые в брезентовые рукавицы. Закончив работу, истошным голосом, способным поднять мертвого из могилы, он выкрикнул:

— Пл-ли, так-растак его мать!

Пять-шесть горшков с ревом почище крика Шурале, у которого прищемили пальцы, полетели вовнутрь «губернаторских стен». Ударяясь о штабеля досок и груды кирпича, они начали взрываться. В разные стороны полетели черепки, начался пожар.

С воплями: «Караул! Конiec света!» наемные охранники, дав друг друга, ринулись к выходу...

К рассвету пожар на территории стих, от досок остались одни угли, лишь горы кирпича и бетонные плиты торчали по-прежнему вызывающе.

* * *

Жена Японца Артура — учительница Райса — сейчас ходит по деревне, словно ханша. Оказывается, в тот раз, когда в пылу уличного скандала с мужем она выделявала кренделя со своим подолом, за нею наблюдал сосед — Липучка Сагди. Этот самый Сагди первым и проторил для всей деревни дорожку в «райские кущи» учительницы.

...Был тихий, волшебный вечер, когда хотелось только слушать и слушать кваканье лягушек, кричащих неподалеку, — на Воровском болоте. Артура отправили на осенний сев на самое дальнее поле — где-то на границе с мокшами. Туда же командировали и мастерскую техпомощи. А в ее арсенале было несколько лежанок и прочая необходимая утварь, так что Артур вряд ли станет приезжать домой на ночевку. Но учительница Райса — женщина молодая, у нее сейчас именно то время, когда она просто горит желанием исполнять свои супружеские обязанности. Поэтому, когда начало смеркаться, она, как обычно, поставила на плиту вариться суп, натаскала с Чертового родника воды и затопила баню. Пока она

рысила между домом и баней, на землю опустилась темнота, но Артура все не было и не было. Подумав немного, женщина решила помыться в одиночестве.

Разомлев, она лежала на полке и поначалу даже не заметила, что за окошком кто-то есть. А когда увидела, то первым делом прикрыла не свои «райские кущи», а грудь. Кстати заметим, что и визг ее в тот момент был совершенно искренним.

— Как тебе не стыдно подсматривать за чужими женами? Неужели в деревне девок мало, подлец!

— Э-э, да уж насмотрелся я на них, — сгоряча ляпнул мужчина за окошком. Но тут же спохватился: — Но разве тебя можно с ними сравнить! Когда ты на улице подняла подол, я влюбился в твою красоту. Я никогда не видел таких белых бедер и таких красивых ног. Я бы отдал половину своего богатства ради счастья просто смотреть на твои ноги!

— Богатства? — с удивлением повторила женщина. Слышно было, как ее голос задрожал и тревожно зазвенел, словно оконное стекло во время бури.

— Точнее не богатства, а хозяйства, — поправился мужчина за окном. — Разве могут быть еще у кого-нибудь в деревне такие белые бедра? Эх, если бы только прикоснуться губами к этим непорочным, словно хрусталь, красивым бедрам!

Женщина в бане замерла, схватившись за ручку двери. А Сагди не зря получил прозвище Липучка, и теперь он запел с новой силой — на зависть соловью, что заливается на рассвете.

— Э-э, какие у тебя красивые груди, эх, какая тонкая талия, Райса! А стройные ноги! Ничего больше не надо, только смотрел бы и смотрел на них! Больше ничего не надо, откроешь, милая, задвижку?..

Райса — учительница. И она всю жизнь мечтала услышать такие возвышенные, литературно звучащие слова. Из уст Артура таких нот-сонат никогда не вылетало. Наверно, именно по этой причине, уже наполовину сломленная, Райса ответила:

— Уходи, проклятый распутник, уходи, говорят тебе... Если муж узнает?.. Тогда прощай богатства из Японии?..

Голос распутника Сагди стал нежнее еще на два тона:

— Эх, милая! Касиму хаджи не Артур, а ты — родня. Артур ничего тебе не скажет, если даже узнает, что за тобой полдеревни ухаживает. Так что открой задвижку, милая, открой, а? Я только посмотрю на твои прекрасные хрустальные бедра.

— Только посмотришь? Ты меня не обманешь? — переспросил горячий, словно раскаленный в банной печи камень, голос.

Сагди ответил, распластавшись перед дверью, словно жвачка:

— Только посмотрю, даже пальцем не трону, открой задвижку, милая!

Изнутри послышался щелчок открываемой двери...

* * *

Новая напасть поразила Салавыч.

Однажды на рассвете председатель колхоза Ислам был вынужден лично посетить дом Руслана, ухаживавшего на ферме за колхозными телятами. Разумеется, Ислам был уверен в своей правоте, а потому от самого порога заорал:

— Уже третий день колхозная скотина непоеная стоит. Всё задницу греешь, алкаш? Ты когда собираешься выходить на колхозную работу?

Не протрезвевший до конца мужик, лежавший прямо на полу в куче старья, тут же залаял в ответ:

— Как говорит сноха Ахкама Наташка, а на хрен мне нужна твоя колхозная работа и твои колхозные телята?

От такого ответа председатель, считавший себя пупом земли, совершенно растерялся.

— Как это «на хрен»? А кто же будет смотреть за колхозными телятами?

— Ты строишь дворец на деньги японца, так что ты и смотри за телятами, хапуга! А потом... нашей деревне твой колхоз вообще не нужен.

Председатель даже икать начал.

— Как это не нужен?.. Почему не нужен?

— Потому, председатель! Начинай читать отходную своему колхозу. Японец Касим не сегодня-завтра приведет нашу деревню к коммунизму.

— Какому коммунизму?..

— Вот те раз! Здрасьте, приехали! Ты что, забыл, что Японец Касим — миллионер?

— Ну, знаю, и что с того? При чем здесь наша деревня?

Алкаш Руслан аж вскочил с пола.

— Очень даже причем, очень причем! Так, миллионер Касим — уже старик? Значит, не сегодня-завтра все равно откинёт копыта. А если он помрет, все его богатство останется нашей деревне.

Челюсть Ислама отвисла до самой груди.

— По... по... почему нашей деревне?

— Потому что у Касима в Японии нет близких родственников, которым можно оставить наследство. Думаешь, он просто так дал нам деньги на строительство мечети? Значит, если он дуба даст, то завещает все свое богатство Салавичу. А его миллионов нам хватит, чтобы прожить сто лет и в ус не дуть. Так что месить навоз за твои два-три деревянных рубля — теперь тю-тю!

* * *

А однажды приехали неожиданные гости из Перми. Они не стали ни с кем разговаривать, а сразу заявили к сельсоветскому Робсону. Держались они гордо и высокомерно, словно гусаки по весне, но понять, что у них на уме, было трудно. Председатель, раздобывший себе диплом техникума в Московском метро, не сразу, а только после тщательного отсеивания всего лишнего понял наконец, в чем дело.

— Мы — внуки старушки по имени Зубейда. Бабушка уже умерла. Она была двоюродной тетей Касима эфенди, который перечислил вам десять миллионов рублей на строительство мечети. После революции именно она ухаживала за Таджетдином — младшим братом Наджметдина — отца Касима эфенди, она выполнила все предписанные обряды и проводила его в последний путь. Следовательно, у потомков бая Мухутдина есть перед нами огромный долг. Иначе говоря, из тех денег, что были перечислены на мечеть, нам полагается доля...

Пришлось Робсону тайком отправить «гонцов» к Японцу Артуру. Но Райса оказалась шустрее Артура, и очень скоро появилась в сельсовете с дубовым коромыслом наперевес, словно воин, штурмующий вражескую крепость.

— Ну, любит наш народ халяву! Значит, и в Перми у нас родственнички нашлись, чтоб вам пусто было! Если так и дальше пойдет, как бы евреи и чукчи не оказались нам соплеменниками. Нам и самим тут кусочка не перепало от общего пирога, а вы уже приготовились снять навар с нашего казана? Вот вам, вот!

Когда учительница Райса, взмахнув подолом, обнажила место, с которым познакомилось уже полдеревни, незваные гости побледнели и заторопились к выходу. Собравшиеся возле крыльца деревенские мужики еще долго провожали гостей оглушительным свистом.

* * *

Через два года «придурок» Рафилёв снова появился в деревне и второй раз лишил весь Салавич сна и покоя.

— Касим хаджи приезжает. По приглашению муфтия. Собираются назвать нашу мечеть именем Наджметдина — отца Касима хаджи.

— Какую мечеть? О чем это ты? Где мечеть?

— Ну, это уж, милые мои, ваши проблемы...

Не успела прозвучать новость, как в дом Рафаэля постучались Робсон с Исламом. Оба взмыленные, словно их собаки гнали!

— Что ты придумал? Зачем он приезжает, когда?

Рафилёв демонстративно сдувая со своих плеч не существующие пушинки, отвечать не торопился.

— Может... к рождеству пророка нашего Мухаммеда приедет. Может... до Курбан-байрама... потерпит.

— Этот байрам Мухаммеда когда будет, и этот... день рождения Курбана — когда?

— Э-э, дядечки! — протянул Рафилёв, схватившись за голову. — Вы бы, прежде чем грабить чужое, вспомнили о судном дне. Впрочем, горбатого могила исправит, не будем тратить слова попусту.

Но Робсон и Ислам не отставали, словно осы.

— И все-таки скажи, когда приедет хаджи, через сколько месяцев?

— Если я смогу удержать его до Курбан-байрама, то у вас еще есть четыре месяца. Давайте шевелитесь.

* * *

Выяснилось, что Касим хаджи и Салиса ханум придут десятого августа. И придут не одни. Среди высоких гостей будет казанский муфтий Ислах хазрет, а значит, одной только свиты и охраны будет две-три машины.

Эта информация прибыла в Салавыч за неделю до предстоящего события, поэтому народу собралось много. С женами и детьми понаехали даже те, кто когда-то покинул деревню. Народ сгрудился между клубом и мечетью, над толпой висел ровный гул, в котором перемешались языки и голоса.

— Пап, пап, а че это столько народу собралось? Че раздавать будут?..

— Вечером на том берегу Ижа у мокшей будет праздник Каргатуй, надо туда смотаться — нажраться дармовой водки...

— Хоть бы какой захудалый магазинчик прислали, а то и водки нет...

Ой, братец, не торопись с выводами. Вон видишь, алкаш Руслан рьяно гоняется за свиньей. И как этой четырехногой заразе удалось вырваться со двора бригадира Фарраха?.. Свинья, кстати, всегда найдет себе пару. Вот и теперь они гоняются с Русланом по очереди друг за другом. Впрочем, они, кажется, не одиноки. К Руслану присоединился Шакур-Глотка с улицы Немытых. Значит, пьянчужек здесь уже достаточно.

Робсон и Ислам нервно похаживают, словно их поставили на раскаленную сковороду. Одним глазом они смотрят на агрызскую дорогу, другим косят в сторону Чертовой горы. Перед «губернаторскими стенами» они выгрузили огромную кучу дров, но и она не смогла прикрыть два новеньких дворца. И возвышаются два двухэтажных дома над всей деревней, как совы на голой ветке. Сейчас Робсона и Ислама сверлит только одна мысль: «На кой черт вздумал приехать этот старикан? В их Японии что ни день, то вулканы стреляют и земля трясется. Старикану — за восемьдесят, почему же его земля не проглотит?..»

Зато для Артура и Райсы сегодня праздник. Артур нарядился в невиданный в Салавыче фрак, на шею — бабочка. Народ говорил, что в последние два дня он и на работу не выходил. Наверно, из бани не вылезал: его руки, раньше никогда не встречавшиеся с мылом, теперь белее лебединых крыльев. Райса мертвой хваткой вцепилась ему в руку, а у самой рот до ушей — не собрать. И говорят они только о еде.

«Два раза ездили в Уфу, привезли бекон, шпроты, говяжий язык, лангет. Даже вяленого гуся приготовили, вот. Разве будем жалеть свои «деревянные» рубли для таких дорогих гостей? А Рафиль, ей-богу, придурок. Вернулся с пустыми руками из самой Японии! Говорят, что пустая ложка рот дерет. Надо уметь подмасливать. Пусть только придут наши дорогие гости...»

Видимо, Господь услышал их просьбу. В конце деревни в легких клубах пыли показался большой кортеж. Впереди, посверкивая яркими бортами и зеркалами, ехал «джип».

— Машина муфтия. Это, считай, непостроенный минарет какой-нибудь деревенской или городской мечети, — заявил Рашит, имевший отношение к одному из банков в Агрызе.

Спорить с ним не стали. Потому что «джип», действительно, принадлежал муфтию. У народа же сейчас была другая забота. Когда кортеж остановился посередине площади, люди облепили кругом все машины.

— Где Касим хаджи? Где японский старикан?

Японские гости вышли из второй машины, за рулем которой сидел Рафиль. Ступив на землю, Касим хаджи хотел было пасть на колени, чтобы поцеловать ее, но ему не дали. Подобно не кормленому два дня стаду, которое бросается к корыту с кормом, люди, толкаясь и напирая друг на друга, окружили хаджи со всех сторон. Схватив его, кто за подол, кто за руку, каждый старался увести к своему дому.

— Хазрет, помнишь Халима Солдата с улицы, где раньше стояла Гимадиева мельница? Я — внук этого Халима, Рабиндранат. Мы со стороны твоей бабушки приходимся тебе родственниками.

— Шел бы ты отсюда, скунс вонючий! Да в вашем хозяйстве даже гвоздя непроржавевшего отродясь не видел никто. Да откуда в роду бая Мухутдина взяться таким голодранцам, как вы?.. Ты, хазрет, лучше вспомни тетку Хаернису с Нижней улицы. Говорят, твой отец Наджметдин захаживал к ней каждую неделю. Я внук этой Хаерниси...

Неизвестно, сколько бы еще толпа терзала Касима хаджи, если бы конец этому не положил голос муфтия Ислаха.

— Люди, не ведите себя, как уличные шавки. Касим хаджи не успел даже взглянуть на деревню, а вы уже так набросились на него, словно гуся щипать собрались.

Касим хазрет наконец оглядел деревню. И, разумеется, не узнал. Хозяйственные постройки во дворах — крепкие; стоят, словно надутые индюки. Куда ни глянь — крыши то из шифера, то из железа. У нескольких домов виднеются мансарды, — раньше такое мог себе позволить только богач Гимади, у которого было две мельницы. Перед каждым двором — либо большой штабель досок, либо груды

красного или белого кирпича. Дрова больше не нужны, каждое хозяйство подключено к газу. Окрепла, расцвела деревня...

Вдруг зашевелился и заговорил мужчина с караваем хлеба, прижатым к огромному, словно мешок, животу (видимо, Ислах хазрет подал ему знак):

— Добро пожаловать, дорогие наши родственники Касим эфенди и Салиса ханум! Мы бесконечно рады приветствовать вас на земле вашей родины. Мы преклоняем голову перед тем, что вы сделали во славу нашей деревни.

— Ну, фаливает Робфон, — зафуфыкал из толпы косноязычный мужичонка. — Готоф бородой фемлю мефти, лиф бы Кафим у него отчета не потребовал.

А мужчина с караваем продолжал свою речь:

— Ваше предложение, направленное на то, чтобы улучшить и украсить нашу деревню, все — и стар и млад — восприняли с восторгом. Ни копейки из присланной вами суммы мы не пустили на ветер. Вот эта красивая мечеть была построена на ваши деньги. С согласия нашего уважаемого муфтия Ислаха хазрета мы назвали мечеть славным именем вашего отца — Наджметдина. Провести церемонию открытия мы торжественно поручаем вам.

Молодая девушка в белоснежном платье вручила Касиму хаджи ножницы. Ласковый ветерок коснулся лица хаджи, и он чуть улыбнулся. Затем он повернулся в сторону мечети и автоматически сделал два-три шага. Словно желая охватить все взглядом, он впился глазами в мечеть и вдруг резко остановился, словно проглотил горячий уголь или натолкнулся на острие меча. Его лицо, не в силах сдержать готовые расплыться в улыбке губы, застыло, как деревянная маска.

Впереди стояло сооружение, наспех сколоченное из сырой сосны. Бревна были плохо обтесаны, словно были краденые и потому их обтесывали ночью, тайком. Местами виднелась даже кора, и казалось, будто дети, играя, заляпали стены красноватой глиной. Длина избы едва достигала девяти-десяти шагов. Сени были сколочены из сырых досок, никогда в жизни не видевших рубанка, и там, где пригревало солнце, стена уже зияла щелями, словно лапти весной. Крыша была крыта жостью, но тоже была какая-то драная, как шкура овцы, побывавшей в волчьей пасти. Минарет стоял криво, а медный полумесяц отсвечивал зелено-красным, словно его вынули из болота...

Касим хаджи обернулся на односельчан, его глаза вопрошали: «Что это?». Он обежал взглядом толпу. Беззубые старики, которые никогда не знали, что такое мусульманская борода... Пожилые женщины с распущенными по ветру седыми волосами... Чуть дальше — парни с сигаретками в уголках рта. Русские снохи, выставившие напоказ тугие ляжки и роскошные груди. Неподалеку качается пьяный мужик, зажавший между колен абсолютно грязную свинью. Ветхая старуха, собирающая в дырявый мешок пустые бутылки...

— О Господи, спаси!.. — прошептал Касим хаджи и, схватившись за грудь, упал на землю.

— У него сердце, сердце слабое! — крикнула Салиса ханум, бросившись на землю перед мужем.

Народ, собравшийся на площади, чтобы посмотреть комедию, начал с охами и ахами суетиться. Общий шум был перекрыт визгливым криком жены Артура Райсы:

— Сколько денег на ветер выбросили, мать его!..

А Касим хаджи, горячо сжав руку своей жены, прошептал ей свою последнюю просьбу:

— Ради бога, Салиса, родная, увези меня в нормальную страну! Не оставляй меня здесь...

Перевод Гаухар Хасановой

МОЗАИКА

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

мотрю на электрические лампы на столбах. Раньше они висели низко да и светили слабо. Но вот пришли электромонтеры и подняли их высоко. Во дворе сразу же стало светло. Даже солнце в зените греет щедрее! Вот что значит высота!..

А на людей высокое положение действует почему-то иначе... Болезнь, что ли, это? Чем выше служебное положение, тем выше задирается нос, а великодушия, чуткости, внимания к подчиненным становится все меньше. Если раньше за руку с тобой здоровались, то теперь отделяются кивком головы. А если доведется по делу зайти в кабинет высокопоставленного лица, то встретит он тебя со светлой улыбкой, но она, как январское солнце, светит, да не греет. И прежде чем закроется за тобой дверь кабинета, все твои проблемы высокопоставленным лицом забудутся.

К счастью, как говорится, мир не без добрых людей. Встречаются и такие люди, для которых высокое положение не божья милость, а высокая ответственность. Одного из таких людей довелось мне встретить в студенческую пору.

Произошло это в сороковые военные годы. Окрыленные надеждой на скорую победу мы, полуголодные студентки Казанского государственного университета, усердно грызем гранит науки. На лекции по геологии из главного здания университета спешим за десять-пятнадцать минут по улице Ленина добраться до «Бегемота», что напротив Кремля. И каждый раз на этом отрезке пути попадается навстречу мне солидный пожилой человек в пальто и кепке из черного драпа, который учтиво приветствует меня: «Здравствуй, доченька!»

И лишь спустя многие годы я узнала, что это был Председатель Верховного Совета Татарстана Гали ага Динмухамедов. Несмотря на то, что к тому времени он был уже на заслуженном отдыхе, до конца пятидесятих годов вспоминали о его великодушии, чутком, внимательном отношении к людям. Даже к обыкновенной девушке-студентке, изо дня в день спешащей на занятия в университете.

Верно гласит пословица: не место красит человека, а человек — место.

БОГАТСТВО

Однажды на съезде писателей Татарстана гость из Киева начал свое выступление такой фразой: «Где бы я ни побывал, чтобы узнать уровень жизни народа, первым делом посещаю городской рынок...» Мне почему-то запомнилась эта фраза. В свою очередь хочу поделиться и собственным наблюдением.

Когда я бываю в гостях, то первый взгляд бросаю на книжные полки: что читают, чем увлекаются мои знакомые? Каков их интеллектуальный уровень? И если среди книг вижу словари, энциклопедии, справочники, то уважение и интерес к хозяевам дома намного возрастает.

Верно гласит пословица: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты.

ПОРОСЛЬ

В наше время нередко встречаются люди, которым свойственны безразличие и безысходность. Их жизненное кредо сведено до минимума: «После нас хоть потоп!» Такие люди похожи на старые, больные деревья, пускающие поросль. Эта поросль слаба и уродлива. Она не в силах противостоять социальным порокам. На молодое поколение пагубно влияют алкоголизм, наркомания, воровство, бандитизм.

А жизнестойкая поросль пробивается из здоровых, крепких корней. Свято место пусто не бывает!

КАПЛЯ РОСЫ

Когда ранним утром выпадает роса, воздух чист и свеж. Сердце бьется ритмичнее, руки тянутся к работе, и на душе приятно. Эти счастливые мгновения жизни удивительно прекрасны и восхитительны.

Озарив утро алмазным блеском, капля росы навсегда исчезает под лучами восходящего солнца. Но что интересно: лишь росистое утро бывает ясным, прозрачным.

И у человека, который умеет радоваться даже капельке росы, на душе тоже становится легко и приятно.

ИСКОРКА

Я сегодня во сне сочинила стихотворение. Проснувшись, тут же его записала.

От встречи до расставания
Мимолетное расстояние,
А ты все грустишь,
Печалишься и молчишь,
Вздыхаешь вновь и вновь...
Разве ж это любовь?!

Записала и задумалась. Откуда берутся такие сны? Ведь сколько лет уже минуло... Может быть, это отголоски несбывшейся девичьей мечты, незаживающая душевная рана по любимому, который не вернулся с войны?

Верно говорят, что душа не стареет. Иногда и в потухшем костре вдруг ярко-ярко вспыхнет искорка. Но костер из нее уже никогда не воспламенится...

ПОДАРОК

Во дворе нашего дома есть отдаленный нетронутый уголок земли, куда не забегает детвора. Особенно живописен этот уголок природы весной. На яркой изумрудной траве — золотая россыпь желтых одуванчиков. Только они отцветут, как на смену им уже подрастают желтые ромашки, лютики. Сочетание двух цветов — зеленого и желтого — настолько притягательно, что невозможно оторвать взгляд. Как разумно создает природа красоту! Простые цветы, а сколько в них очарования!

И у человека притягательна красота естественная, в сочетании с душевной добротой. Вроде бы обыкновенный, простой человек, а столько в нем привлекательности, обаяния! Это ли не счастье!

ЕДИНСТВО

Неподалеку от нашего дома есть большое озеро. Как оно возникло среди громады многоэтажных строений и как находят его весной дикие утки, ума не приложу.

Весной на озере тишь да гладь. Его бороздят лишь селезни с зеленовато-синим опереньем на гордо вскинутых головках. Они охраняют гнезда, спрятанные в камышах. И вот однажды камыши и озеро оживают. Каждая утиная пара выплывает из гнезд со своим выводком — пушистыми желтенькими утятами. Необычное зрелище привлекает внимание любопытных волжских чаек, которые присоединяются к торжественной утиной церемонии. Издали они напоминают белые бумажные кораблики, пущенные мальчишками по воде. Спешат к берегу бабушки, бережно держа за руки своих внучат. Малыши бросают в воду корм, кусочки хлеба, к которым живо подплывают обитатели озера. То-то радуются ребятишки!

А однажды прихожу на озеро и вижу: стоит девчужка и плачет.

— Кто обидел малышку? — пытаюсь успокоить ее.

— Утки улетели с озера, вот и расстроилась моя внучка, — отвечает бабушка, утирая ей слезы платочком.

И впрямь — опустело озеро. Улетели куда-то утки. Осень приближается. Наверное, готовятся в дальнюю дорогу, учат молодое поколение летать. Собираются в большие стаи. Около тридцати пар насчитала поутру.

Объединяются птицы согласно своим законам, передающимся из поколения в поколение.

В единстве — сила. Раньше и люди были сильны своим единством. А сейчас разрознены все. Даже родственники. Лозунг «Один за всех, и все за одного» сменил другой: «Каждый сам по себе». А ведь один в поле не воин. Так говорится в народе. Поневоле позавидуешь птицам, честное слово!

ЛОЖЬ

Приснился мне сон: будто читаю свой рассказ главному редактору детской национальной литературы московского издательства Галии ханум Каримовой. А она, даже не дослушав текст до конца, прервала меня, сказав, что сюжет заимствован у Ильдара Юзеева. Мне стало не по себе, потому что это была явная ложь. И мой рассказ был как раз-таки о лжи. В таком случае я и сама, значит, лгунья? А заканчивалось мое произведение такими словами: «Мы напомнили им о том, что надо непременно возложить цветы на могилы павших за освобождение этой земли. И когда они проходили мимо нас, мы увидели в их руках цветы. Но цветы издавали какой-то странный шуршащий звук. Тогда мы вдруг поняли, что цветы эти были не настоящие, а бумажные...»

Не только во сне, но и наяву у скольких людей разбиваются надежды, черствеет душа, теряется вера в добропорядочность из-за того, что часто искренние человеческие отношения подменяются ложью. Словно бес вселяется в людей и подзадоривает их: «Обмани, обмани, обмани...»

А если бы на свете не было лжи и люди творили только добро?!

НЕПРИМИРЕНИЕ

Когда в стране началась перестройка, нашлись такие умники, которые отрицали само существование классовой борьбы. Дескать, все будет хорошо! Даже выдумали «День примирения». Никак богатых с бедными примирять! Да только «воз и ныне там». В нынешнюю эпоху, когда господствует беззаконие, пропасть между богатыми и бедными стала еще непреодолимее. А ведь классовая борьба придумана не политиками, а имеет глубокие исторические корни, может быть, с времен Чингисхана (или и того раньше).

В детские годы у Чингисхана был друг Жамух. Когда друзья подросли, они бок о бок защищали родные земли. Однако постепенно их дружба сошла на нет. Жамух, будучи представителем бедных слоев народа, защищал их интересы. А Чингисхан был на стороне богатых. И между друзьями началась классовая вражда. Чингисхан и Жамух пошли друг на друга войной.

Классовое расслоение всегда было и есть. Пока есть богатые и бедные. Их никто никогда не сможет примирить, пока есть на земле богатство и бедность.

ОБЫЧАЙ

Помнится, перед тем как готовить кушанье, моя мама приговаривала, наливая воду ковшиком в казан:

- Первый ковш воды для нас.
- Второй превратится в пар.
- А третий ковш — для наших гостей!

Я уверена, что эти слова она произносила вслух для того, чтобы и в своих детях воспитать навыки бережного отношения к расходованию продуктов. В нашей семье был исстари заведенный обычай каждый день кушать свежеприготовленную еду. И я не видела ничего предосудительного в том, что мама готовила еду умеренно, рационально. Удивительно было другое — ее глубоко укоренившаяся черта загодя готовить еду для людей, которые вдруг да и заглянут к нам домой.

Что интересно, люди и впрямь заглядывали к нам частенько. И по неотложным делам, и просто так, проведать нас. Приезжали папины и мамины знакомые, друзья. И каждого гостя приветливо приглашали в дом, звали к столу. Таков у татар обычай. Его переняла от мамы и я.

Когда однажды разговор зашел об обычаях народов, я вспомнила эпизод из жизни, рассказанный Шарафом (речь идет о муже Лябибы Ихсановой — поэте Шарафе Мударисе).

Было это в Германии, в городе Штеттене. Хозяева квартиры, где проживал Шараф, сидели за столом и обедали. В это время неожиданно входят к ним соседи.

- Вы обедали? — спросил их хозяин.
- Не успели еще, — был ответ.
- Мы тоже только что сели, — сказал хозяин.

У каждого народа свои обычаи. Никого осуждать нельзя. К людям надо относиться так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.

А мне по нраву обычай гостеприимства татарского народа!

ПАМЯТЬ

Когда ушел из жизни Назар Нажми, мне было очень тяжело на душе. Вспомнились годы нашей крепкой дружбы, когда мы переписывались, дарили друг другу на память свои книги, встречались.

Вновь и вновь перечитывала его письма. И будто наяву слышала его голос. В душе все звучала протяжная мелодия его песни, исполненная приятным глубоким баритоном.

Я впервые услышала эту песню на берегу реки Белой. Песня, словно птица, унесла меня к высоким горным вершинам Урала, которые я полюбила еще в студенческие годы. А затем вернула на грешную землю.

В песне поэт изливает душу. В песне он поет и плачет. С песней идет в огонь и воду на защиту родимой земли.

Он был славным сыном своего народа. Теперь он навек ушел из жизни, а песни продолжают жить в народе. Живет в памяти его образ, сказанные когда-то слова, шутки, раскатистый громкий смех.

«Скажи, какой ты след оставишь на земле?..» И в памяти народа!

МАЛЕНЬКАЯ ЕЛОЧКА

Маленькая елочка стояла в лесу, раскинув зеленые веточки по мягкому пушистому снегу. Возле нее росла многолетняя ель, которая ревниво оберегала ее от обитателей лесной опушки — длинноухоих зайчишек, сорок-трещоток. Только вот от злых людей не смогла уберечь!

Когда холодное лезвие топора вонзилось в ее нежный ствол, маленькая елочка вздрогнула от боли. Потом, будто прощаясь с родным лесом, замерла на мгновение и упала на снег. На мягком пушистом снегу застыли капельки прозрачной смолы, как слезы погубленной елочки.

Маленькую елочку принесли в теплую комнату и украсили разноцветными гирляндами, сверкающими игрушками. Возле нее пели песни, водили веселые хороводы. Раздавался звон хрустальных бокалов. Всем было очень весело. Только маленькая елочка день ото дня все больше желтела. С хрупких веточек осыпались сухие иголочки.

Навеселившись вдоволь, люди выкинули на грязный холодный снег маленькую елочку. И забыли про нее...

ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ

В этом грешном мире всегда найдется повод для раскаяния. Нет-нет да защемят сердце по какому-то поводу. Не успеешь одну печаль унять, как возникает другая. Но бывает в нашей жизни печаль, которую унять просто невозможно, которая терзает всю жизнь и уйдет из жизни вместе с тобой, — вечная печаль о неоплатном долге перед родителями.

Моя мама очень тяжело пережила смерть отца. И как лебедушка, потерявшая пару, отметив его годину, тут же и сама сложила крылья — слегла. Для нас потянулись дни, полные тревоги и отчаяния.

С содроганием следили мы за угасанием ее жизни. И лишь по едва заметным колебаниям пальцев рук, опущенных в тазик с холодной водой, догадывались, что жизнь еще теплится в ней. Так мама подавала нам знак, что пора сменить воду.

Осторожно вынимаю мамины руки из воды и кладу их на полотенце. Потом, взяв тазик, спешу в ванную комнату, где даю волю накопившимся слезам. Перед мамой сдерживала себя, а тут слезы неудержимо катятся и катятся по моим пылающим щекам.

Мамины руки горячи, как огонь, и, чтобы как-то облегчить ее страдания, по ее просьбе мы опускаем их в холодную воду, которую меняем через определенные промежутки времени. Высохшие почти до костей, испещренные вздутыми синими венами мамины руки неподвижно лежат на полотенце. А какими крепкими, сильными, ловкими были они раньше!

Натруженные мамины руки никогда не боялись холода. Даже в лютые январские морозы она ходила на улице без варежек. У меня стыла в жилах кровь, когда она полоскала в зимнюю стужу в ледяной проруби белье.

Более сорока лет проработала моя мама учительницей. Я видела, как она нежно гладила по голове учеников своего класса, как часто думала об их судьбе, когда проверяла ученические тетради, ставила туда отметки.

И даже когда, справившись с домашними делами, мама садилась отдыхать, ее руки не знали покоя. Как она любила рукоделие! То вышивала, то вязала, то шила. Никогда не сидела сложа руки. Связанные мамой наволочки, покрывала, полотенца бережно хранились в сундуке для приданого мне и моей сестренке. В нашей деревне кто только не перерисовывал придуманные мамой узоры вышитых воротничков, выкройки детской одежды.

А вот теперь руки лежат на полотенце без движения. Хочется взять их в свои ладони и прижать к пылающим щекам, поцеловать все заскорузлые пальцы. Но почему-то робость сковывает чувства.

...Сейчас, спустя годы, я задумываюсь: всегда ли мы были внимательны и чутки по отношению к родителям? Всегда ли спешили к ним на помощь по первому зову? Или ограничивались выполнением только данных поручений? По всей вероятности, так оно и было. Ах, если бы молодость знала, если бы старость могла!

Вот и гложет теперь раскаяние, не дает покоя мысль о неоплатном долге перед родителями... Как говорится, что имеем — не храним, потерявши — плачем. Но — поздно...

ЦВЕТЫ

Говорят, что у грузин есть обычай дарить гостю то, что ему у хозяев понравилось. Не знаю, сохранился ли этот красивый обычай в наши дни, но нечто подобное произошло однажды и со мной.

Моя соседка по даче Надия апа — прекрасный цветовод. С ранней весны и до поздней осени она проводит время в цветнике, от которого невозможно оторвать взгляд. Радуют глаз выращенные ею примулы, пионы, флоксы, гладиолусы, астры.

И вот однажды, заметив, с каким умилением рассматриваю я цветы в ее саду, она вечером того же дня приносит мне роскошный букет.

— Прими от меня в подарок, вижу, что любишь цветы. Осенью и семена, отростки дам...

Я была на седьмом небе от счастья. И от роскошного букета, и от ее обещания. Не знала, что и ответить. Надо честно признаться, что вырастить такие же цветы — это была моя тайная мечта. Только не хватало смелости спросить.

И мою дочь цветы привели в восторг. Весь вечер она восхищалась ими, перебирала, составляла икебану. Утром два белых и один красный гладиолус понесла на работу.

— Сегодня как раз день рождения нашей Марьям апа. К ее приходу и поставлю на стол.

Марьям апа, наставница молодежи, была уже в почтенном возрасте.

Увидев стройные, нежные гладиолусы, она воскликнула:

— Ах, какая красота! Давно мне никто не дарил цветы!..

— Представляешь, мама, у нее от радости на глаза даже навернулись слезы...

Но не суждено было ей донести стройные, нежные гладиолусы до дома. Не успела она выйти на улицу, как к ней подбежал запыхавшийся молодой человек:

— Скажите, пожалуйста, где вы купили букет?

— Это мой подарок, — с гордостью ответила тетя Марьям, но, заметив, как опечалился парень, поинтересовалась: — А что случилось?

— Да вот иду на свидание к невесте, а цветов нигде нет...

— А вы возьмите мой букет! Нельзя же на свидание идти без цветов...

Когда дочь рассказала мне о судьбе стройных, нежных гладиолусов, я не смогла сдержать радостных эмоций:

— Вот видишь, скольким людям доставили радость цветы!

Не совсем по-грузински получилось, конечно. Но если радость разделить на пятерых, то это все равно радость!

Перевод Наили Краевой

СЛОМАННЫЙ ЦВЕТОК

I

тот момент, когда прозвучал третий звонок, редактор многотиражной газеты Закиров находился в буфете и с наслаждением потягивал пиво. «Ничего, успею, — подумал он. Посмотрев же на часы, удивленно покачал головой. — Точь-в-точь, однако».

Чуть вразвалку, не спеша сошел вниз, в шахматную. Здесь не олимпийский, правда, турнир, но городскому чемпионату не уступит — схватки нешуточные. Закиров задержался у столика подле двери, опять бросил взгляд на часы. Что ж, пора, пожалуй.

Большой зал Дворца культуры заполнен был лишь наполовину. Но, по мнению Закирова, это неплохо, ведь в другие годы публика занимала рядков пять, может, шесть, не больше.

Грузными шагами, не торопясь, прошел он к пустующему ряду, степенно опустился в кресло. Ему наверняка оставили место в одном из передних рядов, он знал это, но сидеть на виду у тех, кто на сцене, совсем не хотелось.

Его, конечно, все равно увидели и узнали. Во-первых, он ведь вошел с опозданием; а потом — в зале сидела одна «мелкота», в основном девчата, понаехавшие за последние годы из деревень. А Закиров — крупный, заметный мужчина, пожалуй, на голову выше всех.

Когда удобно уселся, выпрямив торс и опершись о спинку мягкого кресла, он наконец бросил взгляд на сцену.

Большоголовый, с поредевшими волосами поэт басом читает стихи. За тонконогими столиками сидят еще шестеро.

Один из поэтов, постарше других, — однокашник Закирова. Он внимательно всматривался в зал, пока взгляд его не остановился на Закирове. Но тот как будто не заметил этого, якобы не узнал... Более того, нарочно не отводил глаза от трибуны. Не хотелось ему встречи с бывшим однокурсником.

В студенческие годы Закиров и сам писал рассказы, нередко публиковал их в периодической печати. Но — женился и забыл о юношеских мечтах; творческое горение, высокие идеи, которые хотел тогда донести до читателей, увы, утонули в омуте домашнего быта, осыпались с его души, когда рыхлил землю под яблонями и кустами смородины, так и остались в земле удобрением. А его бывший друг теперь — автор десятка книг, известный поэт.

На сегодняшний литературно-музыкальный вечер Закиров пришел с неохотой, по долгу службы: надо было упомянуть об этом мероприятии в заводской газете. Он колебался, но случай решил проблему: у его литсотрудника умерла мать, и Закирову пришлось отпустить журналиста в деревню. Делать нечего, редактор вынужден сам писать информацию. Правда, он мог бы завтра получить данные у директора заводского Дворца культуры. Но совесть и этика журналиста не позволяли ему так поступить. И вот он здесь. «Ладно, посижу минут пятнадцать, и смогу уйти, — как бы в свое оправдание подумал он. — Приличия ради ...»

Однако ему не удалось долго размышлять. Его отвлекли.

Только смолкли аплодисменты и вновь полились стихи, как у двери раздался осторожный стук каблучков и кто-то присел позади него. Этот кто-то горячим дыханием обжег ухо Закирова.

— Давно начали? — спросили его.

— Нет.

— Многие выступили?

— Нет, первый.

— Ой, как хорошо... Я так боялась опоздать.

Когда большоголовый закончил, к микрофону вышел долговязый, длинноволосый очкарик.

Сидящая сзади особа опять что-то шепотом спросила.

Закиров не расслышал и, полуобернувшись, предложил:

— Пересядьте сюда, не будем шептаться через ряд.

Оказалось, это девушка, молоденькая. Она охотно пересела к нему. Положила на колени букет цветов.

— Ах, как читает! — восторженно прошептала она.

Вытянув вперед изящную длинную шею, приоткрыв ротик с пухлыми алыми губами, девушка внимательно и, несомненно, с интересом слушала стихи, так что лицо ее как бы осветилось изнутри, и Закиров стал смотреть не на сцену, а на свою соседку.

Четкие дуги бровей, изредка вздрагивающие густые ресницы, упавшие на лоб иссиня-черные завитки волос — в ней все было безукоризненно. На веки тонким слоем нанесена голубая тень. И, еще более кружа голову Закирову, до него донесся легкий аромат изысканных духов. Опыленный этим, он даже опустил веки. У него будто оборвалось что-то внутри и кольнуло сердце. «Эх!» — произнес он со вздохом, сам того не заметив.

— Простите, вы что-то сказали?

— Нет, это так...

— Правда, хорошие стихи?

— Сидя рядом с такой красавицей, я готов и не слушать стихов.

— Благодарю за комплимент, — отозвалась она и снова обратила внимание на сцену.

Когда высокий парень кончил читать, девушка чуть не бегом поднялась на подмостки и вручила свой букет молодому поэту. Зрители благодарили поэта, а заодно и девушку дружными аплодисментами.

Парни продолжали сменять друг друга, и времени, кажется, прошло немало. Однако Закиров, не решаясь претворить в жизнь свое прежнее намерение, не осмеливаясь даже посмотреть на часы, вообще пошевелиться, продолжал молча сидеть, как приклеенный к креслу. Теперь что-то удерживало его от ухода. Правда, Закиров знает, что именно и почему, только признаться сам себе не желает, потому что, даже если никто не узнает и не заметит, одна эта мысль, казалось, бросит тень на его авторитет. А Закиров чрезвычайно дорожит им. Однако сразу уйти неудобно и, по правде говоря, ему очень приятно сидеть возле этой девушки. «Ах, эта мужская влюбчивость! Сам стареешь, а сердце — напротив, молодеет. И чем старше становимся мы, тем прелестней девушки, черт побери!»

Если случается, что в мужской компании кто-нибудь начнет хвалиться амурными похождениями, Закиров краснеет и обыкновенно читает нотацию, по-отцовски укоряя: «Стыдитесь, ребята, нам уж теперь

не к лицу, у самих растут дети». А в душе завидует ловеласу, сожалеет, что самому не попадает такая прелестница, что так ему не везет. Ничего не поделаешь, не выйдешь же на улицу ловить удачу и волочиться не станешь за кем придется. Торчать в ресторанах ему тоже не по душе. В редакции, конечно, есть молоденькие машинистки, но Закиров с самого начала придерживается правила: лиса не ищет корм у своей норы. Завоеванный с таким трудом авторитет мгновенно лопнет, как на сабантуе разбитый вдребезги горшок.

Он и сам не заметил, как произнес: «Ах, прошла молодость, черт возьми!» — и густо покраснел, увидев, что девушка бросила на него быстрый взгляд. И все же он быстро взял себя в руки.

— Вы останетесь на концерт? — спросил он.

— Не знаю.

— Артистов каждый день видим по телевизору, по радио слышим. Не стерлось бы, говорю, впечатление от стихов.

— Тогда надо уйти, — согласилась девушка.

Закиров встал и сам удивился своему смелому предложению, и еще раз удивился тому, как легко согласилась с ним и проворно поднялась с места его собеседница. Ведь, хотя занавес и закрылся, перерыв еще не был объявлен, и зрители оставались в ожидании на своих местах.

II

На улице в лицо ударило теплое дыхание весны, городской шум закладывал уши.

Уже стемнело. Тускло светили фонари, на асфальте, как зеркала, блестели лужи — крохотные озерца, темно-синий небосвод украшали мерцающие звезды.

У девушки, должно быть, на душе тоже весна. Недолго они шли молча: вдруг ни с того ни с сего она, чуть вытянув лебединую шею в белом шарфике и отбросив назад густые волосы, стала декламировать:

Что за весна — волшебная пора!
То радует, то опечалит вдруг...
И почему всегда — сейчас, вчера —
Приходит радость — исчезает друг...

— Чьи это стихи, знаете?

— Да. С этим поэтом мы вместе учились. Это его юношеское стихотворение.

— Вы, может быть, тоже пишете?

— Да, — с чувством неловкости отозвался Закиров, но потом добавил не без гордости: — Рассказы.

— О, я очень люблю, мне близки такие люди! Какие же вы счастливые!

Закиров покраснел. Ведь он уже с десятков лет не публикуется, даже просмотреть и подправить рассказы, написанные когда-то, не может: ни времени нет, ни желания. И все-таки приятно, даже сладко представить себя в одном ряду с теми, кто стоял сегодня на сцене. Особенно ежели кто-то говорит с тобой, считая тебя равным им, — так славно, будто попал под теплый летний дождь.

Эта милая девушка в куртке из черной кожи и голубых джинсах не думала, не вникала, куда и зачем она идет. Но Закиров ни на минутку не забывал, как ему следует держаться, помнил, что здесь его могут встретить знакомые. Поэтому он повел спутницу вдоль сквера, где было меньше прохожих. Говорят же, береженого бог бережет. В одном месте, где асфальт был разбит и скопилось порядком воды, он повел себя по-джентльменски: остановился, быстро поднял девушку и перешагнул через лужу. Но тут же почти раскаялся в своем поступке: она взвизгнула, звонко, на всю улицу, рассмеялась и даже обхватила руками его шею.

Они отправились дальше. Спутница Закирова болтала без умолку. Кажется, сегодня она была одинаково влюблена и в поэтов, оставшихся во Дворце культуры, и в бесчисленные звезды на небе, и в волшебные деревья с набухшими почками, и в попадающихся им на пути лохматых собачонок, и в шагающего рядом с ней Закирова.

— Вы домой?

— А? Нет еще, сегодня я свободна. Сына только в понедельник забирать.

Закиров поразился, едва не остановился, как столб. Верить или нет?! Искося, но пристально, очень внимательно посмотрел на спутницу. При свете фонаря еще раз окинул взглядом ее стан. Худенькая, миниатюрная, ну совсем же юная, и вдруг — мать.

— А где же он? У бабушки?

— В санаторном садике, в недельном.

- А отец?
- Мы живем отдельно. Ушел к другой. Бросил нас, когда ребенку было всего семь месяцев.
- Вон как!
- Расскажите что-нибудь. Ведь вы... — Молодая женщина не могла подобрать слово. А потом неожиданно спросила: — Вы женаты?
- Зачем об этом? Сегодня...
- Нет, скажите правду.
- Да.
- И дети есть?
- Двое.
- Как вас зовут?
- Ирнис.
- А меня – Ляйсирэ. Говорите мне правду, о чем бы я ни спросила, ладно, Ирнис абый?
- Договорились.

Они довольно долго бродили по улицам и переулкам. Ляйсирэ опять читала стихи, пела, рассказывала о своем мальчике. Она как-то удивительно быстро привязалась к Закирову. Хотя его плотная фигура в бежевом плаще с поясом, степенные шаги казались полной противоположностью ее быстрым, живым движениям, этот мужчина с его видимой рассудительностью вызывал у нее чувство уважения. Правда, один раз, взглянув на Закирова при свете фонаря, Ляйсирэ подумала, что его плащ напоминает лицо покойника и черные перчатки на руках вызывают неприятное чувство. Но это промелькнуло только на миг и тут же забылось.

Закиров главным образом слушал, но и сам не молчал, как в рот воды набравши, — неведомая сила и ему сегодня развязала язык. Разумеется, он не сомневался, что это могучая сила — молодая привлекательная женщина, идущая с ним, и так легко завязавшиеся между ними простые человеческие отношения.

III

На следующий день Закиров долго стоял на трамвайной остановке. Чувство неловкости и опасение, что может встретиться кто-нибудь из знакомых, — это одно неудобство, а кроме того, собачий холод! Он пробирал до костей, — ночью были заморозки, и земля основательно промерзла.

Давно уже прошло назначенное время, но он еще на что-то надеялся и ждал, прячась то за газетный киоск, то за цветочный павильон. Ему было известно, откуда она должна появиться, но на всякий случай он посматривал и влево, и вправо, издали процеживал взглядом выходящих из трамвая пассажиров. И лишь когда у него полностью пропала надежда, вдали, на аллее, показалась наконец хрупкая фигурка в красном пальто и пуховом белом платке. Этот тонкий силуэт Закиров воспринял сейчас как нечто очень близкое, дорогое. Какое счастье: она спешила, она стремилась к нему на встречу! Он невольно рванулся, как птица, готовая взлететь, и, потеряв выдержку, несвойственными ему быстрыми шагами пошел ей навстречу.

- Извините, Ирнис абый, за опоздание.
- Ничего...
- Одну нашу работницу провожали на пенсию, а я с вечера об этом не знала. Пришлось поиграть на гармонии. Ну и выпили немного. Вы не сердитесь? Я, наверно, вся красная?
- Это отражение от пальто. Не беспокойся, девушкам красное к лицу. Ну, пойдём?
- Может быть, сегодня просто прогуляемся? А домой пойдём в другой раз.
- Мы же вчера договорились. Долго не задержимся.
- У меня и не убрано.
- Не имею привычки сплетничать.
- Тогда простите меня, хорошо?
- Безусловно.

... Двухэтажное деревянное здание. Крутая, высокая лестница. Закирову трудно было поспевать за быстроногой Ляйсирэ. Но в него вселилась необычайная сила — такая, что поднимает на горные вершины. Зато какое же наслаждение взобраться наверх и, чувствуя себя победителем, смотреть с вышины вниз, с гордым видом обозревая окрестности!

Пройдя темным коридором, вошли в помещение посветлее, вроде как на кухню. Закиров, не отстававший от Ляйсирэ ни на шаг, заметил: когда отпирала дверь в комнату, у нее дрогнула рука.

- Вот здесь мы и живем с сынишкой. Проходите.

— Спасибо.

Закиров снял у двери ботинки, вытащил из кармана и поставил на столик бутылку вина, затем, ударившись боком о холодильник, протиснулся в комнату.

— Садитесь на диван.

Ляйсирэ быстренько разделась, повесила пальто Закирова в шифоньер, а шляпу положила на верх шифоньера, рядом с телевизором.

Такое Закиров видел впервые. Но виду не подал. Вообще комната вызвала у него ощущение тесноты. Человеку, давно уже проживающему в изолированной квартире со всеми удобствами, здесь все казалось противоестественным. Диван, на который он сел, и большой шифоньер с холодильником у входа занимали полкомнаты. А ведь тут еще уместились стол, детская кроватка, несколько табуреток. Потолок увешан в разных направлениях веревками для белья и похож на паутину.

Но совсем скоро Закирову стало все равно, где находится, он погрузился в сладкую истому, подобно старику-паломнику. Ведь возле него не перестает мелькать стройная фигурка хозяйки: то она включит телевизор, встав на краешек дивана, то снимает с веревки детское белье, то вручит Закирову фотоальбом, уходя с чайником на кухню, то, опять что-то припомнив, возвратится к нему.

Закиров сажает Ляйсирэ рядом, на диван, или к себе на колени, а то положит мясистую, большую руку на ее тонкий, гибкий стан, нежно обнимет хрупкие плечики. Все это доставляет ему необычайное наслаждение.

В одну из таких упоительных минут его взгляд задержался на холодильнике. Он заметил хрустальную вазу с высохшими цветами. Закиров потянулся к вазе, взял в руки ярко-красный цветок с тонким желтоватым стеблем. Цветок был мягкий и очень гладкий. Он даже провел по нему рукой. Но когда сажал обратно в вазу, стебелек с треском обломился. Наблюдавшая за этим Ляйсирэ огорченно вскрикнула:

— Ай!

— Простите.

Этот цветок для нее был дорог как память, она хранила его уже много лет. Однако Ляйсирэ ничего не сказала Закирову. Стараясь казаться беспечной, промолвила:

— Ладно уж, пусть будет мне наказанием.

— Я принесу другой.

— Не надо.

Чтобы скрыть слезы, Ляйсирэ, низко склонив голову, вышла якобы взглянуть на чайник. Закиров тоже вернулся на диван. Почти сразу забыв про этот эпизод, погрузился в думы.

Он не знал, сколько лет этой женщине. Судя по внешности, она, должно быть, очень молода, думал он, в глубине души испытывая чувство гордости. «И меня, выходит, не обошло счастье!»

Закиров взял в руки альбом, который только что дала ему Ляйсирэ. Прочитал на первой странице памятную запись. Оказывается, альбом подарила ей мама к совершеннолетию. Были указаны день, месяц, год. Закиров не верил собственным глазам! Потом его охватило разочарование. Этот альбом подарен одиннадцать лет тому назад! «Ладно, пусть так. Все равно моложе меня на тринадцать лет». Размышляя таким образом, Закиров успокоил надломившийся уголок своей души.

Пока он перелистывал альбом, к нему под села Ляйсирэ.

— Это я в юности, — сказала она, взяв в руки карточку. — Ну что, хороша?

— Да. Впрочем, вы и теперь еще красивы и молоды.

— А сколько мне лет, по-вашему?

— Не знаю, — притворился Закиров, пожав плечами. — Трудно определить возраст женщины.

— Почему?

— Потому что женский возраст — трех видов.

— Странно. Впервые слышу. Как это?

— Первый — по свидетельству, то есть по паспорту, второй зависит от того, сколько дают люди, ну а третий — в каком возрасте ощущает себя человек сам.

— Любопытно. И все-таки сколько же мне, по вашему мнению?

Закиров сделал паузу.

— Г-мм, приблизительно... можно дать лет двадцать два — двадцать три, — ответил он.

Ляйсирэ радостно захлопала в ладоши. Открыв дверцу шифоньера, она встала перед зеркалом, полюбовалась собой, поправляя прическу, и опять повернулась к Закирову:

— Мне уже двадцать девять!

— Не может быть!

— А вот может.

- М-да, Марфуге тоже тридцать...
- Нет, не тридцать, а только двадцать девять...

Они посмеялись. Закиров ласково смотрел в карие глаза женщины. Ляйсирэ тоже обратила на него глубокий взгляд своих сияющих глаз. Полное, скуластое лицо Закирова, широкие брови, подбородок с ямочкой, его спокойный характер рождали в душе Ляйсирэ уважение и доверие. Она провела ладонью по его темным длинным волосам, взъерошила их пальцами, прижала его голову к своей груди. Покоренный этой лаской, Закиров нежно взял женщину на руки...

- Наверно, чайник вскипел, — сказала Ляйсирэ, приходя в себя.

За чаем она рассказывала о своем сыне, его шалостях, о своей работе на предприятии, о том, что с детства мечтала стать артисткой и что, к сожалению, ее мечте не суждено было сбыться.

- Это огорчает тебя?
- Нет. Но я, очевидно, всю жизнь буду влюблена в представителей искусства и литературы.
- Давай выпьем за этих мечтателей и влюбленных.
- А если опьянею?!

Когда немного закусили, Ляйсирэ вытянула из-под детской кровати гармонь и по-мужски пробежалась по клавишам. Потом заиграла другую мелодию, очень напевную, даже печальную, запела под собственный аккомпанемент:

У родника подзвездного семь желобов,
Журчат-звенят серебряные струйки...

Молодая растревоженная женщина все пела и пела. По-видимому, эта песня вобрала в себя и ностальгию по юным годам, и боль-тревогу за теперешнюю одинокую жизнь, и скопившуюся за месяцы и годы, переполнившую душу горечь переживаний, и ожидание встречи с кем-то близким, родным... На глаза ее невольно навернулись слезы. Однако на этот раз она не стала их прятать от Закирова. В ее взгляде светилась надежда, желание найти утешение, жажда ласки. Возможно, молодая женщина полагала, что сидящий перед ней крепкий, сильный мужчина поймет это, почувствует, что творится в ее душе. Может быть, она собиралась через некоторое время показать Закирову еще один альбом. Там записаны самые потайные мысли Ляйсирэ, ее стихи о красоте природы, оды, прославляющие жизнь и человека, его красоту. Однако... Закиров предложил новый тост. После этого он еще больше осмелел и заключил Ляйсирэ в свои объятия...

IV

- Ты страстная и, наверно, счастливая, — сказал ей через некоторое время Закиров.
- Не знаю.
- Впрочем, в первом я уже убедился.
- Не смущайте меня...
- А второе... У нас ведь как: встречая невестку, обычно говорят: «Добро пожаловать». Ты еще найдешь свое счастье, я уверен. Ты молода, красива.
- Вы всем женщинам говорите такие слова?
- Нет. По правде сказать, давно уж не говорил ничего подобного. А сказать очень хотелось. Мечталось до безумия полюбить кого-то, от кого-то потерять голову.
- Любопытно.
- Что любопытно?
- Мне тоже хочется до безумия полюбить кого-нибудь! Хотите, буду вас любить?
- Постарайся.
- Я серьезно. Э, но Вы женаты. Мне нужно семейное счастье, а так...Хотите, почитаю Вам стихи?

Когда б твоею силой обладать,
Весь мир гнилой я мог бы разобрать,
Разрушил бы его без сожаленья,
Чтоб мир счастливый мы могли создать,
Где все получают долю, без сомненья...

- Почитай еще.
- Хватит. Я, кажется, опьянела. Сколько сейчас?
- Половина шестого.
- Не опоздать бы в садик.

Одеваясь, Ляйсирэ встала перед Закировым и вдруг сказала:

— Если попалась, рожу тебе сына.

Закиров, который продел одну руку в рукав пальто, так и застыл, услышав эти слова. В эту минуту он похож был на свое чучело на дачном участке. Подбородок задрожал, как у наркомана, положившего табак под язык.

— Испугались?

Увидев в глазах женщины искорки озорства, Закиров наконец обрел дар речи и промямлил кое-как:

— Нет.

— Ладно, домой к Вам не принесу, только алименты будете платить. — Ляйсирэ ехидно усмехнулась и громко засмеялась.

...Когда вышла из такси, Ляйсирэ постояла, озираясь, не понимая, где она находится. Но потом радостно воскликнула:

— А, вот же! Я с этой стороны не хожу.

Закиров, стоявший засунув руки в карманы, спокойно произнес:

— Ну ладно...

— А... Вы уходите? Не хотите увидеть моего сына?

— В другой раз.

— До свидания.

— Будь здорова.

— Когда увидимся?

— Мы же договорились: в понедельник, в шесть часов.

Не сказав ни слова, Ляйсирэ резко повернулась и побежала к белому двухэтажному зданию.

Закиров тоже пошел своей дорогой. Ему хотелось свои запутанные мысли нанизать на одну нить, привести в порядок, но не получилось. Он еще не продумал от начала до конца, что будет дальше, как решить проблему. Но он уже спокоен. Из влюбленного принца он снова превратился в довольного всем на свете мужчину средних лет, главу семейства, уважаемого отца дорогих своих детей. И ему теперь много-много лет не нужен был никто, кроме своей жены. Потому что его давнишняя мечта осуществилась, желание исполнилось. Он вернулся в свое прежнее состояние. Снова стал уважаемым редактором Закировым, достойным, солидного вида, с неторопливой походкой.

V

...Понедельник. Уже почти семь часов вечера. Ляйсирэ сидит и смотрит в окно. На улице еще светло. Хотя скоро середина апреля, сегодня с самого утра похолодало, лужи покрылись ледяной коркой, весь день падал снег, а вечером и ветер поднялся. Снег идет не отдельными редкими снежинками — он похож на бьющий по лицу проливной дождь. Сильный ветер гневно гонит его откуда-то, рассыпая вокруг. Голые деревья судорожно бьются, подобно раненой птице со сломанным крылом, гнутся и качаются от порывистого ветра, будто молят о помощи. Но никто им не протянет руку помощи. Напротив, свирепый буран усиливается. Старые листья осыпались еще осенью, а новые... Вон и набухшие почки вынуждены приостановить свой рост. А деревьям очень хочется побольше раздуть почки, чтобы украсить красивой пышной кроной.

Ляйсирэ посмотрела на дорогу: машины мчатся, спешат-торопятся люди. Один из неторопливо идущих показался ей Закировым. Плотная фигура, высокий рост... Нет, не он. «Может быть, опоздал и сейчас ждет меня? Надо было мне постоять еще минут пятнадцать-двадцать. Впрочем, я ведь ждала его полчаса. Если бы хотел прийти, пришел бы уж». Ляйсирэ этими мыслями успокаивала себя. Но потом вдруг встала и начала одеваться. «Я сижу тут в тепле, а он, наверно, продрог на холоде. Может быть, его просто что-то срочное задержало». Но, уже одевшись, она опять остановилась. «Ну и глупая же я! Ведь уже час прошел».

Стянув рукав пальто, она опустилась на диван, стала смотреть в окно. Ей взгрустнулось, и она тихо запела:

Мы увидимся — я знаю,
Неизвестно лишь — когда...

А буран на улице бушевал все яростней, завывал, свистел; изменивший направление ветер теперь лепил мокрый снег на ее окно.

Ляйсирэ начала раздеваться. Вдруг взгляд ее упал на вазу, и сердце сжалось при виде сломанного цветка. Но она заглушила боль. Это чувство никак не отразилось на ее печальном лице.

А Закиров в это время — зашедший по дороге с работы к шуринам дорогой гость — сидел на кухне за столом и грыз хвост жирной, только что снятой с веревки чехони, с наслаждением запивая пивком...

ЖУРЧАТ РУЧЬИ

амига-тутый проснулась раньше обычного. Ведь сегодня — выборы. А день выборов своей праздничностью всегда поднимает людей пораньше.

Самиге довелось участвовать в выборах самых разных: выбирали и таких, как сама она, колхозников, и больших ученых, мастеров нефтедобычи, министров — словом, разных. Но, чтобы выбрать на руководящую государственную работу, законодателем собственную дочь, — такого не было. И думать-то не думала Самига, что когда-нибудь с ней это случится, что доживет она до такого вот дня. Не было у нее никогда привычки планировать по-крупному, предаваться несбыточным мечтам. А есть в деревне и такие, встречаются. Но у этих людей обычно крепкая, устроенная жизнь, живут в полном достатке. Не со сломанным крылом, не в униженной бедности, как тетюшка Самига. А ведь и ей не думалось, что суждена такая жизнь и что ожидает ее одиночество.

Летом сорок первого Самига вышла замуж — за любимого парня из соседней деревни. Но счастье было недолгим, его поглотил омут войны, развязанной Гитлером. В отчаянии, громко рыдая, осталась она на дороге, ломая руки, даже не привыкшие еще по-настоящему ласкать любимого мужа, — до тех пор стояла, пока пыль от подвод не рассеялась в воздухе.

Расставаясь, муж наказал, какое дать имя, если родится ребенок. Ему так хотелось стать отцом! Хотя сам он не рос в многодетной семье, ему и до женитьбы мечталось иметь дом, полный веселой детворы.

Самиге тоже казалось, что именно так сложится их жизнь. Ее волновали детские голоса, ребячья возня в соседних избах, она стала жить в неясном ожидании. Но судьба повела ее другой тропой.

Через год ей вручили похоронку — сообщение о героической гибели мужа. О-о, какие муки она перенесла, как тяжело ей было! Словами и не выскажешь. Самигу будто камнем тогда придавило. Недели, месяцы шли чередой, но не было силушек скинуть с себя этот стопудовый груз... Однако тяжесть общего горя, общего для всех, видать, всей страной и поднимается. Как бы там ни было, а работать, двигать жизнь вперед все равно приходилось.

И все-таки случалось, что земля уходила из-под ног, что непроглядные черные тучи затягивали весь белый свет... Правда, однажды счастье и ей как бы улыбнулось. Но ненадолго!

Осенью сорок восьмого, когда уж все оставшиеся в живых солдаты вернулись с войны и надежда увидеть, дожидаться мужа почти угасла, когда и свекровь уже покинула бранный мир, Самига решила пустить на квартиру жильца, приезжего мужчину. Позже она и сама удивлялась своему поступку, но когда тот предложил: «Давай сойдемся, не век же одной тебе маяться», — она не нашла сил противиться. Быть может, потому, что он чем-то напоминал ей мужа, а может, победило страстное желание иметь семью — Самига уступила.

Однако их семейная жизнь не сложилась. Не привыкший долго задерживаться на одном месте, бродяга попользовался месяца два ее гостеприимством — и пропал. Пережить это было еще тяжелее, чем потерять когда-то мужа. Нет, не об этом проходимце сокрушалась Самига, не потому терзала себя, — ей было так обидно и досадно, что, дожив до двадцати шести лет, не научилась она разбираться в людях, что счастье так упорно обходит ее стороной. И она, хотя не клялась, как говорится, хлебом, но дала себе твердое слово замуж никогда не выходить. Как знать, сдержала бы она его или нет, если б не случай, который окончательно решил ее судьбу.

Деревня, где прижилась Самига, состояла из пяти-шести десятков хозяйств, приютившихся на берегах небольшой речки под большими старыми ветлами. К тому же с самой окраины начинался дремучий лес. Жителей этой деревни, расположенной в стороне от больших дорог, всегда отличали дружелюбие, готовность помочь ближним.

В этих местах проезжие редко встречаются, разве что заглянет кто-то в соседнюю деревню — ту, где Самига родилась. Прежде к одинокой женщине мало кто заходил, а вот в последние два года зачастила учительница из той деревни, Кашифа. Она снимала квартиру у родителей Самиги и всякий раз,

направляясь в район, захаживала к ней. А в районе она бывала часто, там работал ее муж. Сама — в деревне, а муж — в районе, так и жили, ни то ни се. Сама даже заметила как-то:

— Трудно небось жить на два очага.

— А как же, апа, ну конечно, — взволнованно отозвалась молодая женщина. — И купить ничего не купили, и денег не видно.

— А что, в районе не найдется работы?

— Работа нашлась бы, но я должна отработать три года после педучилища. А в деревню он переезжать не хочет. Вот закончится учебный год, и сама, наверно, переберусь.

Но ей не суждено было перебраться в район.

... Наступление весны — для всех отрада. Земля, сбросив белое одеяло, будто молодеет. Деревья, животные, люди — все живое радуется приходу весны.

Но зима не спешит сдавать позиции. Иногда она посылает обильный снегопад в апреле и даже в мае. Вызывает откуда-то издали студёный ветер и сталкивает его с весной. В первую очередь, все это, конечно, бьет по людям, заставляя их снова доставать теплые пальто и шубы. А неосторожных может навечно превратить в инвалидов, а то и вовсе отправить на тот свет.

Жертвой немилосердной зимы оказалась и Кашифа. По молодости лет не рассчитала: кое-как одевшись, налегке покинула она райцентр.

Нежданно-негаданно тучи затянули небо, задул сильный, порывистый ветер. Все вокруг превратилось в непроглядную мглу.

Когда Кашифа, заблудившись пару раз, завернув ребенка во все, что смогла с себя снять, кое-как добралась и постучалась к Самиге, было уже так поздно, что в избах давно погасли огни. «Кто может прийти в этот час?» — насторожилась женщина...

— Кто там?

И все-таки по стуку она определила: «Кашифа! Неужто пришла в такую погоду?!» — Подумав так, она подняла фитиль лампы и пошла открывать.

Прислонясь к косяку двери, едва ли не ползком вошла Кашифа с ребенком на руках. В легком платье, простоволосая, кудри забиты снегом, руки красные, как гусиные лапы.

Самига была потрясена. Она придвинула табуретку к теплой печке, усадила женщину и, быстро взяв у нее из рук ребенка, положила на сакэ. Нагнула голову Кашифы и принялась смахивать гусиным пером густо покрывший ее волосы и одежду мокрый снег, приговаривая:

— Ах ты, господи, и как тебя угораздило в такую пургу?!

— Ребенок жив? — перебила та. С трудом волоча обессиленные ноги, Кашифа присела на край сакэ и стала судорожно разворачивать ребенка, закутанного в ее шерстяную кофту и платок.

Видя, как медленно двигаются ее заочкованные руки, Самига сама принялась за это дело: полностью развернув девочку, убрала все тряпки, положила на нары стеганый матрасик, подушку, одеяло, уложила малышку в постель.

Затем Самига, достав из зеленого кованого сундука чистое белье, протянула Кашифе.

— На, переоденься и отдохни чуток, — говорила она при этом, готовя на нарах еще одну постель.

Некоторое время Кашифа спокойно лежала, глядя то на чистый, как янтарные бусы, потолок, то на белоснежные кружевные занавески на окнах, придававшие комнате особенный уют. При виде нескольких рюмок в старом застекленном шкафу ей вспомнилось, что муж опять запил и стал посещать ту женщину, с которой и раньше встречался. Кашифа помрачнела. Как же так! Ведь не думала, не гадала она, что когда-нибудь он станет вот таким.

Они вместе росли в детском доме. Тогда он был хорошим, благоразумным мальчиком, правда, немного ленивым, учился неважно.

Выйдя из детдома, он окончил курсы киномехаников, стал работать, даже время от времени помогал Кашифе.

Девушка, закончив учебу, вернулась к любимому, но ее направили на работу не в райцентр, а в деревню. Через год они поженились. Но, должно быть, длительная разлука внесла холодок в их отношения. Даже рождение ребенка не обрадовало мужа. «Нет, все равно не смогли бы жить», — подумалось ей. Все-таки правильно она поступила, не просто сгоряча написала заявление о разводе.

Кашифа лежала в больнице, когда стало известно, что ее муж арестован: затеял, говорят, драку и кого-то покалечил. Его не выпустили даже жену хоронить. Так ребенок Кашифы полностью осиротел.

Разливаясь по лугам, унося с собой обломки запруд, отшумели весенние потоки. Вот листья распустились на прибрежных ветлах, а вот уж и осыпаются; черемуха перед домом вроде бы только что буйно цвела — глядишь, на ней уже висят спелые черные гроздья. И малютка, оставшаяся на руках у

Самиги, встала с четверенек на ножки и затопала, цепляясь за нары; и вот уж она в школе! Об отце же ни весточки...

Хотя в целом ребенок в учебе не блистал, по русскому ее хвалили. И еще: уже с первого класса девочка участвовала в концертах, пела, плясала. Вот так, в тревогах и печалях, в муках и радостях шли год за годом.

Однажды, когда Самига в боковушке возилась с тестом, дочь стремительно вбежала в дом.

— Мама, посмотри, ни одной тройки! — радостно сообщила она, размахивая свидетельством об окончании восьмилетки.

Самига обняла дочь, стараясь не задеть ее волосы ладонями с налипшим тестом. У обеих на глазах засверкали слезы, радость переполняла сердце.

— О-о, доченька, видел бы это отец — на руках бы тебя носил.

Девочка, по всей видимости, разделяла чувства матери — держа в руке свидетельство, она подошла к большому портрету солдата, что висел на стене.

— Папочка, видишь? Вот как выросла твоя дочь!

Конечно, история ее рождения не была тайной для Гульназиры, «добрые» люди постарались, поведали ей обо всем, да и мама в прошлом году сама все рассказала. Но девочка не знала других родителей, другой дом, да и не хотела знать. Для нее вот это жилище свято и все, что в нем, как священна каждая травинка этой деревушки, прикорнувшей у леса.

Гульназира, уехав в Казань, поступила в педучилище, но уже через полтора месяца возвратилась домой.

— Я скучаю по тебе, мама, и по деревне тоскую. Больше не могу, сил моих нет... Ты не сердись, мамочка, ладно? Я работать буду, с тобой вместе.

Ну что может сказать на это Самига! Она уже представляла себе дочь образованной, большим человеком, при встрече с соседями, знакомыми иногда с гордостью вставляла: «Дочка на учительницу в Казани учится». Видать, от судьбы не уйдешь.

Гульназире, с малолетства привыкшей быть подручной, поначалу работа на ферме показалась не более чем игрой. Но уже через неделю руки ее посинели, опухли и затвердели, как камень, пульсировали и ныли. И опять-таки понадобилась мать. Все перепробовала Самига, как говорят, не мытьем, так катаньем, а добила: опухоль спала.

Через год Гульназира решительным тоном заявила:

— Мам, завтра на ферму не пойдешь. Я сама буду доить, мы договорились. Ты уже наработалась, можешь отдохнуть.

— Ах, дочка, какой отдых, мне же всего только сорок два? — возразила Самига и постаралась все свести на шутку. — Что же, по-твоему, я смахиваю на старуху?

Синие глаза Гульназиры внимательно взглянули на мать: увы, следы жизненных невзгод — морщины густо усеяли смуглое лицо еще нестарой женщины, а в черных волосах светились и серебристые нити. Дочка тоже отшутилась:

— Не хочешь работы полегче? Соглашайся, отдохнешь! Ну как?

Объяснились, договорились.

Целых два года прошло, пока заговорили о Гульназире как о хорошей доярке. За это время колхозы окрепли, для фермы отстроили новые помещения.

Самига тоже скинула и отправила на свалку соломенную кровлю, покрыла избу шифером, а крышу хлева, амбара, навесов оклеила толем. Обновила забор и ворота.

И тут же, как будто только этого и ждала, из соседней деревни, вспомнив старинный обычай, протоптала к ним тропу сваха. Может быть, потому, что сватались из ее родной деревни, Самига принимала ее приветливо, дочь же осталась равнодушной: у нее уже был возлюбленный, друг со школьной скамьи.

Хотя парню давно пора было в армию, почему-то два года подряд его не призывали. Вот опять не прислали повестку, и они с Гульназирой решили сыграть свадьбу. Но в самом конце года, в декабре, мужа Гульназиры вдруг призвали.

— Время теперь не военное, дал бы только бог здоровья — вернется. Не горюй, доченька, — утешала Самига.

Да, конечно, войны не было, но обстановка в мире тревожная, то здесь, то там возникали очаги напряжения.

На второй год службы муж Гульназиры, защищая мирную жизнь братского государства, погиб. Судьба повторилась: Гульназира, как и ее мать когда-то, стала вдовой. Сколько опять горя, сколько слез. «Ну

почему она такая, наша жизнь? Почему не делит несчастья и радости между всеми поровну? Нет, пусть никому-никому не будет горя, но делила бы всем поровну счастье. Ведь совсем еще молодые... Ничего не поделаешь, дай нам всем терпения, Господи», — плача, причитала Самаги.

Как знать, исполнилось ли желание матери или дочь сама оказалась стойкой и терпеливой, — она устояла, не сникла, утешение находила в труде. Ее осиротевший ребенок, пока не ведая, что такое сиротство, рос себе под опекой бабушки. А Гульназира с головой ушла в работу. Районное руководство уже нередко упоминает имя передовой доярки колхоза. Гульназира, окончив вечернюю школу-десятилетку, поступила в сельскохозяйственный институт. Уезжая на экзамены, коров своих опять оставляла на попечение матери.

...Самаги задумчиво брела по хлипкой дороге, не обращая внимания на бречание бубенцов.

— Э-эй! — послышался звонкий голос.

Она вздрогнула и обернулась. Отошла в сторонку. Мчавшаяся по дороге лошадь с медным колокольчиком на дуге, подчиняясь вознице, сразу остановилась.

— Садись, бабушка Самаги! — крикнул ей державший вожжи мальчик лет двенадцати. В санях уже сидели пожилые женщины в таких же, как у Самаги, пуховых платках на голове. Они задвигались, засуетились, чтобы освободить для нее место.

— Да ладно, я пешком пойду, — сказала Самаги, не подходя к саням.

— Давай-давай, да поудобней садись. Мы же твою дочку выбираем, — сказала одна из старух.

— Ну ладно. Спасибо, сынок, — поблагодарила Самаги мальчика, который с трудом удерживал в руках натянутые вожжи.

Только она села, как лошадь, словно того и дожидалась, рванула и понеслась так же стремительно, как мчалась до этого.

Самаги ушла в свои мысли. «После выборов загляну в гости к Гульназире. Приласкаю детишек. Может, и заночую там. Молодой зять так приветлив. И старшую любит, как свою, уж, конечно, не обижает. Купит что-нибудь вкусное — и ей в первую очередь...».

Самаги-тути ехала и ехала, задумчиво разглядывая поле с почти уже стаявшим снегом, потемневший лес. Природа встречает еще одну весну. Пусть же она будет радостной!.. Никак и жаворонки уже рассыпают свои трели. А внизу — да-да! — журчат ручьи. Пожалуй, так и есть, в ушах у Самаги весенний звон: то ли удаляющийся звук бубенцов, то ли шум весенних потоков.

Перевод Зумарры Халитовой

ЧЕРНАЯ КОШКА В ТЕМНОМ ЛЕСУ

должи сто рублей!

Энгель-агай старательно приколачивал телевизионную спутниковую антенну к щербатому фронту соломенной крыши сарая и сделал вид, что не слышит просьбы соседского пацана: мол, постоит-постоит мальчик в ожидании ответа, да и пойдет себе дальше.

Ирис, однако, уходить не спешил.

По-настоящему-то Ириса хотели назвать Идрисом. Но, по воле злого случая, секретарь сельсовета пропустил одну букву, когда заполнял свидетельство о рождении. Мирумир-абзый, почти всю жизнь проживший в Ташкенте, вернулся со всей своей семьей в родное село как беженец. Поэтому по восточной привычке он частенько нюхал табак и многократно на все регистрируемые имена чихал.

В тот злополучный раз, видимо, разрядил секретарь свою «двустволку» аккуратно на букве «д».

— Тебе говорю, Энгель-агай!

С крыши успокоили Ириса, характерным жестом правой руки намекнув: мол, погоди немного. Почти в то же самое время был заколочен и последний гвоздь. Энгель-агай, на всякий штормовой случай, дополнительно привязал «тарелку» обрывком старой вожжи к стропилу.

Соломенная крыша была сильно скособочена в сторону двора, поэтому старик Энгель осторожно съехал с противоположного откоса прямо на улицу.

— Ты что, тоже стал ходить в казино, в пожарку-то? Апулеевский сынок ни за что не впустил тебя с жалким стольником-то... Вона фердинандовский младшенький-то зашел, не знамши-то, и все денежки от продажи бычка там и оставил-то.

— Да нее-е, деньги мне для себя нужны, Энгель-бабай. Каникулы кончаются, пока учиться не начали, хотел в город съездить, разливного пивка попить.

— Мать-то знает про то, что деньги стреляешь?

— Знает. Это она надоумила у тебя занять.

— Она научила, как же... Сказала небось: кого встретишь, у того и проси. Я-то, дурак, подумал, он с соседом поздороваться хочет, руку мне тянет, а он, оказывается, деньги клянит, вместо «здрости». Вот потому-то те, кто побогаче будут, и не кажут без дела носа на улице, чтобы с попрошайками не встретиться. Глянь, вона тишина какая на улице, ни души, будто повымерли все... На прошлой неделе вона Алекс наш поздно вечером возвращался с того края села, и заблудился. Эти дьявольские дочки свахи Луары опоили, видать, чем-то его, одурманили — до самого утра так и не смог он найти своего дома. И спросить-то не у кого: мол, не подскажете ли мне, любезный, где же это я живу-то...

— Да знаю я про это... Денег дашь, что ли? Ты же и у турков работаешь, и пенсию получаешь, уж сто рублей-то выделить сумеешь, надеюсь.

— Сумею, как же... За целый год работы на стройке турки-то вона глянь-ка, чем расплатились со мной, каким-то НЛО, — обиженно сказал Энгель-агай, показывая узловатым пальцем на привязанную к соломенной крыше тарелку: — А про пенсию вспоминать рановато еще. Тетка Октябрина нас покамест стороной обходит.

— В двух местах зарабатывать и не иметь в кармане ста рублей! Вот выучусь, работать начну, так я же просто завалю вас всех деньгами!

Пропустив мимо ушей «завалю», Энгель-агай продолжал упрямо гнуть свое:

— Мать твоя, Римма, на работе, что ли?

— Да. Со свинофермы навоз вывозит на телеге.

— Ну, если до пенсии дотерпит, то потом уж полегче ей станет с деньгами-то... А эти, алименты, тоже, что ли, не приходят?

— Нет. Ни от моего отца, ни от сестренкиного. Тетка Октябрина к нам уж месяца три как не заходит.

— Прячется почтальонша наша. Она же на всю деревню одна-разъединственная — и пенсию, и алименты народу разносит. А народ-то он вчера вона получил денежку-то, а сегодня уже и забыл, и опять к ней идет клянить.

В это время во дворе у Энгель-бабая испуганно закудахтали куры, что-то грохнулось, и через несколько секунд из сарая на другую сторону улицы сигануло нечто, похожее на вывалянного в дегте крокодила.

— Ну, зараза, опять по кладкам шарит. Это же кошатина бабки Регины. Только ведь на прошлой неделе залезала — два яйца выпила. Позаражает всех птичьим гриппом-то, как пить дать, позаражает... Если бы изловил ее — убил бы на месте, да только приметы одной боюсь... Оказывается, когда в судный день ангелы спрашивают тебя: мол, как ты жил, то да се, эти кошки ябедничают на тебя у тебя же за спиной... Короче, так сделаем: иди прямо сейчас к бабке Регине, она-то тебя и обналичит, только не говори ей, что я подсказал.

— Так запросто в чужой дом как зайдешь-то?!

— Да уж, мода на гостей закончилась в деревне-то. И я ни к кому не захожу теперь. У кого какая обстановка в доме, и не представляю даже. Только во время разгрузки машины и можно углядеть, кто чем богат, кто чему рад... Ты к ней не заходи, на домофон надави только, что на столбу у ворот висит, бабка тебе сама и откроет. Ты знаешь, сколько лет бабке Регине-то?

— Нет.

— Наберешь «87», она и откликнется. Скажешь ей: пришел, мол, кошку твою подальше от дома увести, чтобы уж никогда не вернулась она больше. На меньшее, чем сто рублей, не соглашайся.

Сказать категорично, что ни разу не видел чужой обстановки, Идрис не мог, потому как удалось ему однажды подсмотреть внутрь дома тетки Клары. Изба эта стоит на самом углу дороги, что ведет к ручью.

Комбайнер Рафинад, возвращаясь как-то после застолья, которое закатили по случаю коллективного строительства бани, решил срезать путь, чтобы поскорее разбавить выпитый спирт родниковой водой. Только вот ставший непослушным комбайн локоточек-то свой о совнархозовскую избушку малость почесал. Одно бревнышко из стены и часть забора опьяневшая машина скovyрнула без видимых усилий... Возвращающиеся из школы ученики долго разглядывали через образовавшийся проем обстановку внутри дома. А в это же самое время тетка Клара, скрестив ноги на молельном коврике, тыча в кнопки мобильника, перебрасывалась эсэмэсками со своим единственным сыночком, выбившимся в начальники. Когда раскулачивали колхоз, то причитающимся семидесятилетней Кларе паем овладели безо всяких денег, выменяв десять гектаров земли на ворованный мобильник, два залетных афериста. Обрадовалась. Теперь вот с сыном каждый день созванивается, никак не может наговориться. И даже пенсию продвинутая старушка и ту по «экспресс-карте» стала получать.

Ирис, стараясь не наступать на следы «черного крокодила», добрался до ворот бабки Регины. Домофон был пристроен очень высоко, подальше от шаловливых детей, и если бы не старческий наклон держащего столба, то роста у Ириса не хватило бы, чтобы набрать заветные цифры.

— Вижу тебя, мотальщик, заходи, ворота открыла.

Мальчишка вошел и увидел, что хозяйка раскладывает пасьянс на компьютере, говоря по-простому, по-деревенски, в карты режется. Ее этой забаве научил внук, когда бабушка Регина гостила в городе... Продав весь свой домашний скот армянам-оптовикам, она все-таки купила себе компьютер. Если бы кто подключил ей эту адскую машинку к интернету, то бабка, весьма вероятно, навела бы и с самим раем постоянную связь...

— Все про тебя знаю — ищешь, у кого бы сто рублей занять, — сказала бабушка, облегчив Ирису начало разговора.

— Откуда знаешь-то?!

— У меня вот тут, в интернате, все давно известно. И то, что мать твоя навоз возит на телеге, и то, отчего отец твой никак не может алименты выслать.

— Нужно говорить не интернат, а интернет.

— Не умничай! То, где вы порнуху выискиваете, интернетом называется... А это у меня — деревенская сеть, она называется интернат. Все, что ни происходит на селе, обо всем она знает.

— Ну, тогда расскажи мне об отце.

— Отец твой связался с рыбаками и там, куда он поехал гастарбайтером, у него украли паспорт. Сейчас он бомжует на Сахалине. Как только встанет на ноги, даст о себе знать... Отец твоей сестренки — из соседней деревни. Тот тук соломы, которым он хотел рассчитаться за август, мама твоя не взяла. За июль-то он, худо-бедно, сеном алименты заплатил...

— Бабушка Регина, больше ничего мне не рассказывай, лучше денег дай.

— А что будешь делать со ста рублями? Если правду скажешь — дам...

— Хочу в город поехать, холодного пива попить. Каникулы-то уже кончаются.

— Так ведь и в нашем гипермаркете выпивка-то никогда не переводится. Без хлеба они могут нас оставить, но без спиртного — ни за что.

— У нас же только бутылочное пиво. А мне хочется холодненького бочкового попробовать.

— Так что, бутылочное уже не годится для ученика седьмого класса?!

— Восьмого!

— Ты в восьмой только перешел, ни дня еще не учился.

Бабка Регина, не отрываясь от пасьянса, левой рукой достала из принтера сторублевую купюру. Ирис на радостях собрался было перескочить через порог, но, увидев на обратной стороне сторублевки приглашение на выборы, передумал.

— А чем тебе не подходят для фальшивых желаний фальшивые деньги-то?

Не хотелось Ирису выдавать себя. Если сейчас сказать, что надумал он для младшей дочери Ганса-абзый, дом которого недалеко от деревянного моста, подарок покупать... Со стыда ему потом — хоть помирай! Засмеют же — мол, даже в долги залез, чтобы только девчонке своей подарок купить...

— Ну тогда давай кошку твою в лес уведу, как Энгель-агай научил. Заплатишь мне сто рублей?

На слове «кошка» рука у бабки Регины превратилась в кулак размером с куриное яйцо. Она второпях собрала все карты с экрана и выключила игрушку.

— Давай валяй, уводи. Если через три дня не вернется — заплачу тебе...

— После каникул зачем мне деньги-то? — насупился Ирис, невольно обнаруживая правду.

— Ладно уж, через два дня зайдешь.

На призывное «кыс-кыс-кыс», открыв правой лапой захлопнутую Ирисом дверь, в комнату вошла та самая черная кошка. Она, словно вызванный в очередной раз на педсовет провинившийся ученик, заранее зная свое место, села напротив хозяйки и молодого воспитателя. Хвостом прижалась к печи, а взгляд устремила в открытое окно.

Говорят, чтобы сравнить по возрасту кошку и человека, нужно кошачий год умножать на пять. Эта черная бестия, при такой арифметике, напоминала трехкратного абсолютного батыра районных сабантуев — стодвадцатикилограммового Флорида.

Бабка Регина, изловчившись, одной ногой извлекла из-под кровати пыльный дерюжный мешок и подтащила его к середине комнаты.

Только успел, было, подумать Ирис о том, что не рекомендуют, мол, держать в доме чисто черных кошек, как пушистая проказница, словно прочитав его мысли, показала пацану белое пятнышко, вытянув шею, и обнюхала незнакомый мешок. Прозвучавший вслед за этим вопрос:

— А как хоть ее зовут-то? — вывел старушку из терпения.

— Еще чего придумаешь? Не хватало мне еще имя для кошки подбирать, чать, не знакомиться ее уводишь! Если каждой деревенской кошке имя давать, то с ума сойдешь. Баловство все это, мы же не в городе живем, где на каждого поселившегося в квартире таракана паспорт заводят да имя с фамилией дают... Моя — уже восемь лет — просто кошка. Через день лазает по сараям и выпивает яйца, чтоб ей сдохнуть от сальмонеллы. Почти со всеми соседями перессорила меня... К вам еще не залезала, нет?

— Нет, бабушка Регина, я ведь, если увижу, то хвостик-то ей тут же и оборву.

— Если от нее избавлюсь, то эти сто рублей с превеликой радостью отдам. На-ка вот, мешок завяжи, — с этими словами вручила бабка старый поясок от халата, отрезав Ирису все пути к отступлению.

Как научил его Энгель-агай, решил Ирис приобщить несчастную кошку к труду. А то, когда в доме кончаются грызуны, кошки начинают с жиру беситься: кто на цыплят охотится, кто еду со стола ворует, кто яйца куриные опустошает...

— Коровы все пока еще на пастбищах подъедаются, беспощадные скотники с грозными вилами тоже все при них, так что у крыс и у мышей на ферме сейчас привольная пора — тишь да благодать, — наставлял мальчишку Энгель-агай, присоветовав разгрузить мешок именно на ферме.

Первый поход получился очень коротким и завершился позором. Первое, что увидел Ирис, возвратившийся к бабке, чтобы вернуть пустой мешок, это сидящие на печке те самые «сто рублей» с блестящими, словно оливковое масло в деревянной ложке, глазами. Увидев своего недавнего конвоира, кошка нахмурила брови и воинственно выгнула спину. « Из-за тебя голодные крысы чуть не разорвали меня!» — ругала она его по-своему.

В следующий раз Ирис решил действовать строго по науке. Кошки воды боятся, поэтому если вытряхнуть ее на той стороне ручья, то мурлыка там и останется навсегда, и найдет себе на другом берегу новую хозяйку.

Вышел Ирис на противоположный берег.

Перед тем как выпустить арестантку, чтобы окончательно сбить ее со следа, Ирис много-много раз прокрутил мешок над головой.

Яичная гурманша, словно рухнувшие под тяжестью бревна лесопильные козлы, распласталась на земле, разметав четыре лапы на все четыре стороны света. Полежав некоторое время без движения, она, набравшись сил, рванула через ручей домой. С камушка на камушек в пять-шесть прыжков, как и сам Ирис, одолела ручей и побежала к родному перекрестку. Парень со злости проскрипел зубами, но рук не опустил, не сдался.

— Все равно живу тебя со свету! Мне сегодня нужны деньги! — погрозил он пальцем вслед стремительно удаляющемуся зверю.

Бабушка Регина сама посоветовала Ирису использовать приманку в этом трудном деле:

— Заберешь из дома что-нибудь съестное. Когда заведешь кошку в глубь леса, то дашь ей покушать, и она решит, что здесь ее новый дом, и никуда не побежит.

Когда Ирис в третий раз проходил с мешком за плечами мимо Энгель-агая, то услышал:

— Как успехи-то, киллер? Она откуда только ни возвращалась уже: и с шихаповской пасеки, и с Журавлиного озера, и с тугашской трясины... Я даже в Перовский лес ее как-то уводил, все бесполезно...

То, что в числе опробованных гибельных мест не был упомянут густой лес на окраине Бимы, только обрадовало Ириса.

Этот лес, угрюмой стеной тянувшийся вдоль дороги на Лаишево, разросся в глубину на пятнадцать километров. В него пастухи никогда не заводят коров, да и грибники-ягодники обходят эти заросли стороной. Косари избегают косить траву на опушках, а дровосеки найдут сорок всяческих причин, чтобы только им дали деланку поближе. А все из-за того, что об этих местах сложилась в народе дурная слава. Раньше туда, говорят, перед грозой спускались грозные зеленые драконы и запускали в воздух ужей. С тех пор двадцать поколений сменилось. В драконов и ведьм никто не верит. И для нашего смельчака Ириса эти предания — пустая сказка. Он бесстрашно в дремучий лес зайдет, оставит соседскую кошку в самой чаще и так же прямехонько выйдет...

Пока наш смелый паренек шагал между деревьев, золотой каникулярный денек превратился в кроваво-красный вечер. По мере углубления в дебри красный цвет становился все гуще и гуще. Наверное, уже и до самой середины леса недалеко отсюда... Вытопанные лошадьми дороги сменились травянистыми лосиными тропинками, полянки с перепутанными высокими травами сменились почти непролазными зарослями. Когда водруженный на спину мешок с пленником болезненно натер шею, Ирис, предварительно запутав следы и сбив с обратного курса заплечного пассажира, наконец-то развязал горловину... Кошку он не прогонял, наоборот, нежно погладив, ткнул носом в принесенную из

дома яичницу. Но, словно догадываясь о назначении приманки, черная толстушка бабушки Регины не прикоснулась к еде. Отряхнула от приставшей пищи усы и, подобрав лапки под себя, легла на опавшую хвою. Щекочущую кончик ушка стрелку травы кошка ловко вырвала и пожевала.

Ирис, облегченно вздохнув, засобирился в обратный путь и, наверное, чтобы успокоить, все приговаривал:

— Ничего, ничего... Будешь делать то же, что и ежики делают. Да и птицы не все время в гнездах сидят, кладку сторожат, по весне будешь к ним за яйцами наведываться, когда немного похудеешь. С голоду не помрешь. И ругать здесь тебя никто не будет за проделки.

Полянки с перепутавшимися высокими травами почему-то не перешли в утрамбованные конскими копытами дороги. Пройденный путь отнял немало сил. Ирис и левее, и правее отклонялся, но ничего обнадеживающего, ничего окрыляюще знакомого не увидел. В непроходимом темном лесу все ориентиры-горизонты потерялись, куда ни пойдешь, одна и та же картина: впереди — лесная стена и позади — стеной громоздятся деревья, короче, это называется заблудился. Тот, кто хотел запутать другого, сам заблудился...

Ирис от злости размахнулся и хотел было закинуть мешок в папоротники — но, немного подумав, не стал этого делать. Скользящая, словно змеиная кожа, холодная, словно лед, лесная тишина, тревожные шорохи, неведомые ночным деревенским улицам лесные голоса — все это говорило о том, что если здесь заночевать, то, вне всяких сомнений, можно погибнуть; все это нагоняло в «сторублевую» мальчишескую душу печаль и тоску... Но в то же самое время желание вырваться из ночного лесного плена росло с каждой минутой.

Обострившееся чувство настороженности, помноженное на страх, добавило мальцу ума-разума. Услышав внутри себя какой-то провидческий голос, Ирис замер и стал к нему прислушиваться. «Мешок не выбрасывай, пригодится еще — будешь использовать или как подушку, или как подстилку, если на себя накинешь мешок — согреешься, если вовнутрь залезешь — от комаров спасешься... Найди кошку! Если будешь правильной дорогой идти, то она за тобой увяжется. А если не так, то поворачивай назад и иди вслед за кошкой. Они в лесу не боятся, наверное, не успела она еще убежать с того места, где ты ее оставил. Зови ее, зови...»

— Кошечка, где ты? Кыс-кыс-кыс! Кыс-кыс! Кыс!

«Ми-яуу!»

Какой же это дорогой сердцу звук! Какая гармония!.. За всю свою жизнь Ирис ни разу так не радовался кошачьему мяуканью, никогда так не жаждал услышать его, как сейчас. Страх, только и ждущий того, чтобы Ирис окончательно сдался в этой темной чаще, от этого звука почти весь улетучился. Спасительным, обнадеживающим, торжественным был этот звук! И долгожданный чай с молоком по возвращении, и новый учебный год через три дня, и обещающая много-много денег работа по окончании школы, и день рождения любимой девчонки, и любовные приключения приближающейся юности, и еще много-много того, о чем мальчик пока и не подозревает, было в этом звуке!..

Оставшийся на полянке в темном лесу черный клубок не торопился потереться о ноги Ириса. Когда мальчик приблизился на расстояние вытянутой руки, то он смог рассмотреть кошачьи глаза, в которых проглядывали недоверие с настороженностью вперемешку. Значит, она еще не была готова простить его, ей нужна была еще одна проверка искренности неожиданной дружбы: уж не двуличничает ли, часом, пришедший с миром мальчик?.. Ведь, в случае чего, ей, чтобы оставить пацана с глазу на глаз с темным лесом, достаточно одного прыжка в сторону!..

Взяв кошку на руки, Ирис ласкал ее, словно это был самый дорогой ему человек, самый близкий родственник. А та, почуяв через потную футболку тепло мальчишеского тела, блаженно зажмурилась. Ее ровное мурлыканье нужно было понимать как своеобразное «не оставлю в беде». Или, может быть, это означало: «Когда мы вместе, то и заблудиться не так уж и страшно».

Мальчик, привязав пояс от бабкиного халата к ремню от своих брюк, заарканил кошку. Убедившись в прочности поводка, он стал погонять ее, похлопывая березовой веточкой о штанину и не переставая при этом подлизываться:

— Айда, чернявая моя, айда, пушистая моя, ведь ты из таких лесов-то выбиралась уже. Айда, беги, пока совсем не стемнело, поспешим домой. Нас там уже обыскались, наверное... А я, когда вырасту и новый дом себе построю, то тебя первую в хоромы впущу, вот увидишь...

Кошка, выказывая несогласие, сначала легла на траву, потом, незаметно для других, стала поводить ушками туда-сюда, поглядывая за местным населением и прислушиваясь к обстановке, и вдруг, резко вскочив, развернулась и пустилась бежать. Ирис еле поспевал за ней.

Деревня оказалась совсем в другой стороне...

Когда впереди замелькали деревенские огоньки, когда стали узнаваемы родные места, Ирис отцепил поводок. Но кошка не убежала от мальчика, лишь трусила чуть поодаль, в сторонке, зацепив за кончик черного хвоста покрывало ночного неба.

— Ну где ты ходишь-то?! — голос сестренки звучал восторженно от двойной радости. — Отец твой сразу за три месяца алименты прислал. Мама в магазин побежала...

На следующий день мама Ириса вышла из курятника, удивленно взмахивая пустыми руками.

— Все четыре выпила, окаянная! Хотя до сих пор наши почему-то не трогала... Найдется ли кто-нибудь, в конце-то концов, кто прочит этого ворюгу, или нет?!

Перевод Наиля Ишмухаметова

ШАПКА ИЗ ЕЖИКА

о дарки я всегда выбирал не спеша — начинал искать за сто тысяч, а покупал за тысячу рублей... Вон, смотрите-ка, продают календарь на этот год с изображением тигра... То ли оттого, что он с начала года в отделе уцененных товаров лежит, но очереди за этим подарком никакой нет: мужикам не до него, а женщины просто-напросто не видят такую красоту в «уцененке»... Принес я календарь домой и наклеил прямо поверх старого, что висит напротив двери, рядом с зеркалом. Жена моя всегда календарь вешает напротив двери: сразу видно, какого числа уехал, какого вернулся. Из командировки, конечно!

В предвкушении заслуженной похвалы в адрес подарка жду возвращения жены с работы.

Наконец-то открылась дверь и вошла жена, вся обсыпанная снегом, похожая на Деда Мороза, ой, извиняюсь, на Снегурочку, конечно же. У нее привычка есть такая — раздеваться перед зеркалом... Пока снимала шапку из меха заснеженной лисы, увидела моего тигра...

— Ах ты, батюшки, какой огромный зверь, из его шкуры на такую женщину, как я, две шубы можно сшить, ей-богу!

Должно быть, этот амурский тигр размером со слона, раз на такую фигурку, как у моей жены, две шубы из него получается.

— Не носи уж, пожалуйста, шубу из тигра, — стараясь вести себя предельно вежливо, как примерный муж говорю я, — он же в Красную книгу занесен. Нельзя с него сдирать шкуру.

— Есть, между прочим, и такие, с которых можно. Та дубленка, которую ты мне в год крысы купил, вся засалилась уже, вот так вот. Овца, она и есть овца — шкура тонкая, мех паршивый...

Эх, мужики, не подумал я про другую сторону тигрового подарка моего — разве можно показывать женщине меха, да еще и в подарок!.. Знаем же, что все равно выпрашивать начнет!..

— Есть ли на свете более хищный зверь, чем женщина?! — говорю я, пытаюсь разговором о воспитании сменить тему. — Готовы сшить себе шубу даже из редкого животного, занесенного в Красную книгу!

— Слушай, если ты такой умный, то почему же ты такой бедный, а? Ну что ты привязался ко мне со своей Красной книгой! Мне лично хватило бы и тех, кто занесен в зеленую: норка, соболь, бобр, белка... — начала она перечислять.

И не рад будешь после такого, что родился в Европе. Самые счастливые мужики живут в Африке! У них ведь погода всегда одинаковая — что в январе, что в июле! Подарят своим папуаскам лоскут материи размером с ладошку, и все на этом: хочешь — на голову повяжи, хочешь — трусы сшей, другой-то одежды у них все равно нет. Зато нашим европейкам — на четыре времени года четыре разных наряда нужно, и чтобы каждый год — все новое было.

Боясь растравить жену мыслями о новой шубе, решаю подойти к этому вопросу с другой стороны.

— Знаешь, сейчас ведь очень опасно носить дорогую шубу. Вон — одна женщина только вышла на улицу в обновке по якутской моде до самых пят, как тут же перед ней вырос необъятный амбал и говорит: «Слышь, тетка, ты туда не ходи, разденут!» Женщина хотела тут же вернуться. «И туда не ходи, все равно разденут... И направо пойдешь — разденут, и налево пойдешь — разденут...» — «Так куда же мне идти?» — спросила женщина в отчаянье. «А никуда не ходи, прямо тут и раздевайся», — подсказал амбал.

— Байки свои любовницам рассказывай! Да разве какой хулиган пристанет в наше дикое время к женщине, одетой в шубу из хищного зверя, чего бы понимал-то! Женщину раздеть очень легко, а ты вот попробуй-ка одеть ее!..

— Одной зарплаты на два удовольствия не хватит, дорогуша: если холодильник затоварил, значит, одежду уже не купишь, а если придется желать, тогда нужно немного поголодать. Если хочешь и то и другое сразу — нужно воровать.

— Э-эх, есть же все-таки где-то счастливые жены, — начала моя возвращаться из своих фантазий. — Те, которым мужа преподносят в подарок шубу из амурского тигра, упакованную в Красную книгу... И даже если их посадят, жены-то останутся на всю жизнь обеспеченными.

— Вот-вот, женушка, когда всех их пересажуют, когда простые мужики вроде меня останутся в гордом одиночестве и некому станет работать, может быть, тогда начнет государство и нас ценить, и деньги большие нам платить. Вот тогда-то и я тебе буду по три-четыре шубы за один раз покупать...

Жена с недоумением выслушала контрворовские выпады... Ну и ладно, больно хорошо, что она ничего не поняла... Привычным жестом отряхнула она лисью шапку, из-за налипшего и растаявшего снега ставшую похожей на шитую из рыжего ежика, и повесила на вешалку.

Ох уж эти мне холодные зимние месяцы! Побоишься лишней раз теплое слово жене сказать, ей-богу, а то, неровен час, опять начнет новую шубу просить...

Перевод Наиля Ишмухаметова

ФАРИДА, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ ПОД КРЫШЕЙ

е подумайте, что я жаловаться вам решил, нет, это же все шутки ради говорится, раньше-то мы, помните, как жили, — денежек поднакопим и рыскаем с ними днем и ночью в поисках товара. А сейчас... Товар сам к нам в руки идет. Стоит только почтовый ящик открыть, как из него пачками-пачками реклама вываливается: продам, вылечу, научу, заговорю, приворожу, присушу — в кредит, плюс подарки, минус скидки. Фирмы готовы круглосуточно зазывать к себе и обслуживать.

Однажды из бесплатной газеты выпало приглашение, с виду похожее на пять долларов, — в доме напротив, оказывается, чердак отремонтировали и оборудовали в нем парикмахерскую. Почему говорю, что только с виду похоже на пять долларов, потому что вместо Джорджа Вашингтона посредине красовалась девушка-парикмахер. Красавица, все при ней, все как есть... Глаз не отвести, чем больше смотришь, тем больше хочется...

Ну уж вы-то, уверен, знаете этих парикмахерш-то, они ведь с лысыми-то даже и не здороваются. А в этой парикмахерской меня, еще издавек завидев, приглашают к себе. Все, у кого кресла свободные на этот момент, зазывают, торопливо отряхивая накрахмаленные белые халатики.

И очереди никакой, и не торопит никто, пришел и плюхнулся в свободное кресло. Затылок — на спинке, ноги на полу, лицо — в зеркале.

Разомлев на мягком, блаженно прикрываю один глаз, а вторым наблюдаю в зеркало, самая красивая девушка ко мне подойдет или не самая.

От услышанного:

— Какую же прическу сделать этому красавцу? — автоматически закрывается и второй глаз.

— Чтобы по-молодежному было, — отвечаю, — наведите-ка красоту, пожалуйста, а то уже на люди стыдно показываться в таком виде.

— Пятая модель очень даже подойдет, рискнем, что ли?

— На Ваше усмотрение; с меня волосы, с Вас — прическа.

К моей щеке прикоснулось что-то мягкое и очень теплое.

Смотрю, приоткрыв один глаз... Вот это да!.. Это же та самая девушка-президент с рекламного доллара! Что-то не пойму, то ли это парикмахер сверху в мое кресло села, то ли просто жарковато здесь. Второй глаз распахнулся до предела! Ну есть же на свете люди, которые умеют так заразительно и со вкусом работать... Мастерница, слегка навалившись на мои плечи округлостями, красиво облегаемыми белым халатом, увлеченно выстригала из меня пятую модель. В зеркало глянул — вах, как же красиво ее лицо, рассказал бы поподробней, да боюсь, что мужики, которые прочитают этот рассказ, начнут приставать ко мне: мол, и нам бы адресок такого мастера не помешал бы, замучают ведь, не отстанут!

А девушка, чик-чик-чик, знай себе стрижет своими серебряными ножничками мои трехгршовые волосы, да нет, не волосы — сердце мое кромсает! В голове моей сразу уйма вопросов назрела.

— А имя у Вас такое же красивое, как и Вы сами?

— Фариды.

— Смотри-ка, и Фаридой, оказывается, называют красавиц! Фариды, скажи-ка, ты здесь недавно, что-то я тебя раньше не замечал?

— Да, меня сегодня только перевели.

— Ты вот, Фариды, людям волосы-то подкорачиваешь, а у самой-то какая коса выросла — тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! От парней-то, наверное, отбою нет?

— Да как-то всем не до этого... Вот, пятая модель и готова, нравится ли Вам, красивый мой?..

— Что, уже готово?! Слишком быстро. Эх, жалко, что у людей всего одна голова, а не две! Сейчас за вторую прическу принялась бы... А так даже вдоволь наговориться не успел.

— Забудете ведь, как только шапку наденете.

— Я? Тебя? Слушай-ка, Фариды, можно ли как-нибудь за один день отрастить волосы? Я тогда завтра снова пришел бы.

— Забудешь, забудешь. Красивые парни всегда забывчивы...

Заплатив за пятую модель сто пятьдесят рублей, я вышел из салона. Сам вроде иду по улице, а душа моя в парикмахерской осталась.

На следующий день с утра пораньше, торопясь не опоздать к открытию, прибежал я опять на чердак к Фариде. А там, глазам я своим не поверил, невиданное дело сотворилось — сплошная очередь. Засомневался было, уж не в аптеку ли спросонья попал, хотя вроде бы все верно — в парикмахерской народ скопился.

Пока дождался своей очереди, уже и на работу успел опоздать. А Фариды меня сразу узнала!

— Что, новая прическа не понравилась, что ли? К Вашему богатырскому сложению она так подходит.

— Эээ-ммм, Фариды, скажи-ка, ведь спортивная стрижка мне еще больше подошла бы? Я уже давно о такой мечтаю.

— Что ж вчера-то не сказали об этом, золотой Вы мой...

— Так это, подрастерялся я вчера.

Пока Фариды из меня спортсмена делала, видели бы вы, сколько еще народу набежало... Сейчас и к министрам таких очередей не выстраивается.

Мужики угрожающе смотрели внутрь салона, того и гляди, вышвырнут из кресла, не дожидаясь окончания процесса.

А в кресле-то — я, я, я!!! Руки Фариды глядят меня по стопятидесятирублевым волосам. Грудь ее часто-часто, нежно-нежно, жарко-жарко прикасается к моей щеке.

— Ну вот, пожалуйста, теперь не хуже, чем у олимпийских чемпионов, прическа-то.

А мне наплевать на огромную очередь, не хочу вставать с кресла и все тут!

— Фариды, не хочу быть спортсменом. А давай, как в детстве, оставь мне маленькую челку на лбу. А все остальное — сбивай, не жалей. За оплату не беспокойся, за каждую стрижку рассчитываюсь по отдельности.

А Фариды, слушай-ка, ведь какая ловкая она оказалась-то: пока мужики в очереди успели только пару раз горло почесать, она, ненаглядная моя, тридцать годков мне враз скинула, оставив на макушке узенький чубчик, шириной примерно с козий хвостик, не больше.

Но одеколоном подушить я не дал, не хочу, чтобы кто-то другой на мое место сел. Рядом с Фаридой так хорошо, так бы и сидел целый день возле нее, постригался бы с утра и до вечера. А волосы-то кончаются. Какую бы еще прическу заказать ей?

— Фариды, пропадать так пропадать давай, сбивай все до конца, хочу лысым ходить.

— Это зимой-то? — сказала мастерица, удивленно вскинув плечи, — мне-то все равно, как скажешь, так и сделаю, ласточка моя.

Давно надо было мне такой заказ сделать... Вот где, оказалось, работы непочатый край! Фариды обо мне как о маленьком ребенке заботилась: под ручку повела голову мыть, густо намылила пеной и острой-преострой бритвой побрила, все порезы заботливо припудрив.

Ожидające в очереди мужики, от ревности не зная, куда себя деть, обратили свои взгляды в сторону улицы.

— Фариды, если завтра в это же время подойду, сумею тебя застать или нет?

— Завтра? — многозначительно переспросила она. — У тебя же волос совсем-совсем не осталось, и раньше чем через два месяца они не отрастут, вон в зеркало посмотри, если мне не веришь, падишах мой...

В зеркале я себя не узнал... Ладно, успею еще похорошеть.

— Если я целых два месяца тебя не увижу, то, наверное, умру. Завтра тогда в каком-нибудь парике приду, ты парики не стригла еще?

— Нет, соловей мой, не стригла. С тебя ровно сто рублей. Кто там следующий, заходите! — не стала излишне углубляться в новую тему Фариды.

Очередь дружно посмеялась над моей бритой головой. В жизни-то оно так вот и бывает: счастливые люди всегда вызывают смех у остальных.

Гордо расправив грудь, я вышел на улицу. Макушка моментально покрылась «гусиной кожей», на улице-то, оказывается, очень холодно — даже под шапку проник холодный воздух. Голова уменьшилась, пришлось опустить у шапки уши и завязать на подбородке.

Завтра, завтра. Как же быть завтра? С чем еще зайти к Фариде?

Но я все-таки нашел выход. Хотя если бы на моем месте оказалась женщина, которая влюбилась бы в парикмахера, и, как и я, обрилась бы наголо, то она бы точно два-три месяца не смогла бы снова сюда прийти. А я вот приду, прямо завтра и приду! Потому что я мужик и у меня усы и борода растут, вот счастье-то!

Назавтра прихожу подправить усы — а Фариды-то и нет! И не только ведь я один такой оказался, еще около двадцати лысых мужиков пришли к ней с утра пораньше. Вызвали на допрос заведующего, требуем у него адрес, грозно стуча кулаками по столу.

— Не волнуйтесь, — говорит сладкоголосый начальник, успокаивающе поглаживая нас по спинам, — Фариды по приказу генерального директора работает в соседней парикмахерской, спасает им план. К нам ведь ее тоже только на два-три дня переводили, иначе прогорели бы мы с треском... Там, где работает Фариды, от клиентов отбою нет...

И мы, двадцать лысых мужиков, побежали искать соседнюю парикмахерскую.

Перевод Наиля Ишмухаметова

ЯБЛОКИ РАМАЗАНА

риехав к сыну в город, Марьям-апа прихворнула. Не слегла, нет, но чувствовала какую-то слабость, пропал аппетит. Очень захотелось яблок. И Марьям-апа, взяв сумку, отправилась утречком на колхозный рынок.

Обойдя все прилавки, она добралась наконец и до фруктов. Был уже март, а прилавки, казалось, прогибались под тяжестью румяных яблок. «Вот спасибо-то! И как им удалось сберечь такую красоту? Наливные, будто только что с дерева сняты», — приговаривала она про себя, с восхищением оглядывая яблочные россыпи.

— Ты что там бормочешь, ханум? — с улыбкой спросил стоявший за прилавком старик. — Скажи вслух, если не секрет.

— Валлахи! Да ты знаешь по-татарски?

— А как же! — отозвался старик, поглаживая сидящую бородку.

«Аккуратный человек», — отметила про себя Марьям-апа.

— Я азербайджанец, — продолжал старик.

— Азербайджанец? Неужто? — удивилась почему-то апа.

— Да, с Кавказа... Не пью, не курю, со старухами не путаюсь. Даже священный пост — уразу соблюдаю, — пошутил старик, дожевывая яблоко.

— Вижу, — усмехнулась апа. — Да разве ж прерывают уразу с утра? Как звать-то тебя, правоверный?

— Ну что ж, давай познакомимся, ханум, Рамазан я, — улыбнулся старик, обнажив крепкие зубы.

— Чего-о? — недоверчиво протянула она.

— Говорю же — Рамазан, — отвечал старик, вскинув густые брови. — Слава Аллаху, шестьдесят семь лет уж Рамазан.

— Вон как... — проговорила Марьям-апа задумчиво. Однако своего имени не назвала. И попросила: — Взвесь-ка мне два кило яблок... Хорошеньких... Вон тех, ладно?

— Это можно, — с готовностью откликнулся старик и стал отбирать и класть на весы одно за другим наливные яблоки, протирая каждое до воскового блеска расшитым полотенцем, да при этом приговаривая: «Для тебя, апакай, на весах — алмакай!»

Расплатившись со стариком, Марьям-апа отправилась домой, и всю дорогу перед глазами стоял старик с густыми черными бровями. «Азербайджанец... Рамазан...»

А спустя несколько дней Марьям-апа снова пришла к Рамазану за яблоками. И в третий, и в четвертый раз... Придя домой, старуха складывала их в хрустальную вазу, ставила на середину стола и любовалась: «Что за красота! Что за лакомство!» И похоже — яблоки эти и впрямь прибавили ей сил. «Кажется, поправляюсь», — радовалась она, с благодарностью вспоминая губастого улыбающегося старика с седыми висками. А в голове засела и не отпускала мысль: «Не он ли?..»

Однажды утром, прихватив, как обычно, черную кожаную сумку, старуха опять отправилась на базар.

У прилавков с фруктами толпился народ. Продавцы-южане нахваливали свой товар покупателям, те охотно раскошеливались. Эх, и чего только тут не было: и лимоны, и хурма, и урюк-курага, и пастила, и горки изюма, и даже свежий виноград — так и манят, так и дразнят взоры. А уж яблоки! Вот уж воистину райские плоды! Их тут целые горы — как будто Господь Бог высыпал с неба.

Марьям-апа поискала глазами Рамазана, но его на прежнем месте не было. «Рановато пришла», — подумала она и стала дожидаться старика. Подождала час, другой — нет его. Уж все другие прилавки обошла по нескольку раз, а возвратившись к фруктовому ряду, с тревогой убеждалась, что Рамазан так и не появился.

«Может, у кого-нибудь другого купить...» — с этой мыслью она подошла к кудрявому парню в белом фартуке.

— Сынок!

— Что желаете, апа-джаным?¹

— Ничего, что ли, у тебя яблоки?

— Ой, вкусныи-и! Язык проглотишь! Отведай, апа-джаным... — Продавец срезал ножом кусочек и протянул старухе. — Мои яблоки слаще меда!

— Спасибо, сынок... Да, хороши... Но все же не такие... Продашь другим. Не обессудь.

— Интере-е-сно... — развел руками продавец.

Марьям-апа попробовала яблоки у второго, третьего, но нигде не было того вкуса, что у яблок Рамазана. И она, купив немного пастилы, ушла домой.

На следующий день Марьям-апа опять была на базаре.

— А-а... это ты, апа-джаным? — воскликнул чернокудрый парень, узнав старуху. — Салям! За яблоками пришла? Апа-джаным, я знаю, какие яблоки тебе нужны. Сказать?

— Говори, коли знаешь, — ответила удивленная старуха.

— Яблоки Рамазана!

Услышав это, старуха покачнулась, меняясь в лице.

— Что с тобой, апа-джаным? — растерялся парень.

— Да так... ничего... Ничего, сынок, — пересохшими губами ответила Марьям-апа, стараясь взять себя в руки. — Разве ты знаешь дядю Рамазана?

— Как не знать? — отозвался парень. — Мы же из одной деревни, продаем яблоки нашего колхоза. Рамазан-ага — знатный садовод. Летом он выращивает яблоки, а зимой продает их. Я ему помогаю.

— Тебя ведь не было, когда он торговал. Сочиняешь небось? — усомнилась Марьям-апа.

— Мы торгуем по очереди. День — он, день — я.

— Хм... Так ведь вчера тоже был ты. Чего ж старик два дня отдыхает?

Парень помолчал. Потом пояснил:

— Рамазан-ага хворает. Горло у него болит. Ангина.

— Вот оно что, то-то его не видать... Ангина, говоришь? Знаю, знаю... Противная болезнь, сама хворала. Три дня глотнуть чаю не могла, — заговорила Марьям-апа, сокрушенно качая головой. — Ты убеди его, — продолжала она, — купить валенки, нельзя же стоять в ботинках в двадцатиградусный мороз. Это у вас тепло круглый год.

— Откуда знаешь, апа-джаным? Ты что, бывала в наших краях?

— Видела по телевизору. Я люблю смотреть телевизор: все покажет, все расскажет. Вот уж спасибо тому, кто придумал эту штуку. Дай Бог ему здоровья. В телевизоре ведь всегда рассказывают, где какая погода. Кабы смотрел телевизор, не приехал бы в Казань в калошах... А что, сильно Рамазан расхворался?

— Лежит третий день.

— Ах, бедный! А доктор был у него?

— Нет, апа-джаным.

— Сынок, — начала было Марьям-апа и запнулась.

— Чего, апа-джаным?

Марьям-апа, подойдя поближе, прошептала на ухо юноше:

— Ты дай-ка мне его адрес, а...

Парень понимающе кивнул, достал из кармана бумагу, карандаш и написал: «улица Тукаевская, Дом колхозника, комната 13».

— Ежели есть, то и телефон напиши, — попросила старуха, внимательно следя за движением карандаша в руке парня. «Левша, как и мой сын», — подумала она.

Помусолив кончик карандаша, парень вывел на бумажке и номер телефона.

— Спасибо, сынок. Дай Бог тебе здоровья, — сказала старуха, пряча бумажку в карман. — Только ты об этом никому не рассказывай. Ты и я будем знать — и все.

Дома Марьям-апа сварила крепкий куриный бульон и стала собираться. Положила в сумку завернутую в полотенце кастрюльку с бульоном, пакетик душицы, баночку меда и ближе к вечеру отправилась к старику Рамазану.

Дом колхозника был недалеко, тринадцатую комнату тоже долго искать не пришлось — она оказалась рядом с дежурной.

Старик Рамазан лежал на кровати под теплым одеялом и тихо стонал. На голове у него была тубетейка, шея обмотана вязаным шарфом из овечьей шерсти...

Старик со старухой долго не могли произнести ни слова, будто у них языки отнялись. Оттого ли, что Рамазан беспомощный лежал на кровати, а Марьям-апа вошла без стука, но оба чувствовали себя виноватыми.

— Марьям, проходи! — тихо позвал наконец старик.

Старуха вздрогнула, услышав свое имя. Рамазан произнес его удивительно ласково, но и почтительно, взволновав ее до глубины души. «О Аллах, узнал!» — радостно подумала она, а вслух сказала, точно оправдываясь:

— Я слышала, Рамазан, что захворал ты, вот и пришла.

— Да, приболел маленько, Марьям. Должно быть, простудился... — Рамазан не смог договорить, закашлялся.

— Болезнь не привычка, уйдет, — сказала Марьям, подойдя поближе. — Ты все еще носишь свой каляпуш, а я... я, Рамазан, уже по-другому повязываю платок.

— Да, Марьям, вижу, по-старушечьи стала повязывать.

— Рамазан-дус... Вот, принесла тебе бульончику, поешь, пока горячий. Потом чайку попьешь с душицей — бог даст, полегчает. А это мед — цветочный, из нашей деревни.

...Лето в 1943 году выдалось жаркое. Гульсум, колхозный бригадир, распорядилась косить сено на опушке леса и велела Марьям приступить к работе в паре с новым в деревне человеком, который поселился дней пять назад в соседней от Марьям избе. Молодая женщина не решалась идти с незнакомым мужчиной, особенно неловко было перед свекровью. Однако Гульсум с ее мужским характером не любила повторять дважды.

— В тылу тоже фронт! — отрезала она, стукнув по столу так, что Марьям согласна была не только сено косить, но бежать хоть на край света. Но свекор все-таки не захотел отпускать Марьям одну. «Раз идешь, бери с собой и сына!» — потребовал он.

В тот же день Марьям отправилась с новым соседом на сенокос. «Рамазан, учитель, по национальности — азербайджанец», — представился он.

Во время косьбы Марьям заметила, что Рамазан припадает на левую ногу, а потом разглядела — протез. «Видать, потерял ногу на войне, бедняга», — подумала она с жалостью.

Одиннадцатилетний Фаннур все время крутился возле нового учителя: ворошил сено, складывал в стожок, пока мать ходила к роднику и кипятила воду. Потом вместе садились под дерево и пили чай с душицей.

Рамазан всегда что-нибудь рассказывал, похоже, знал он немало. И всегда приходил с новостями с фронта. И где только он их добывал? «...Наши войска прорвали оборону противника и продвинулись в Орловском направлении на двадцать пять километров...», «...Армия противника понесла значительные потери в живой силе и технике...» А однажды сообщил: «В честь героев, освободивших Орел и Белгород, в Москве был дан салют...» При этом взгляд его был устремлен на запад, к горизонту...

Оттого ли, что хотелось каждый день узнавать о новостях, или по привычке друг к другу на сенокосе, Марьям теперь охотно шла на работу, зная, что увидит Рамазана. И сын Фаннур, услышав хорошую весть с фронта, бежал в деревню и сообщал мальчишкам.

— Урр-а-а! — орали мальчишки и с визгом кувыркалились на гусиной траве.

Три недели не выпускал косу из рук Рамазан, но однажды не пришел на сенокос. «Что случилось?» — гадала Марьям, глядя на протоптанную тропку. И все ждала. Но Рамазана не было. Тогда Марьям послала в деревню сынишку: «Сбегай узнай...»

— Нет его дома, дверь заперта, — вернувшись, сообщил матери Фаннур.

«Где же он? Неужто уехал? Уехал насовсем, не попрощавшись?..» — всерьез обеспокоилась Марьям. И в груди заныло — то ли от тревоги, то ли от обиды...

Когда вернулись с работы и легли спать, она потихоньку от свекра вышла на улицу посмотреть, нет ли огонька в окне Рамазана. Но дом молчал, погруженный в темноту. «Уехал к себе на родину, уехал, уехал...» — стучала в голове неотвязная горькая мысль.

До рассвета она не сомкнула глаз. На сенокос отправилась через силу, и весь долгий день прошел как в тумане.

Но через несколько дней Марьям увидела из окна дымок над трубой соседнего дома. У нее заколотилось сердце, она метнулась во двор... обняла сына:

— Рамазан абый вернулся! Из трубы дым идет!

Когда Рамазан появился на сенокосе, Марьям не выдержала, спросила с улыбкой:

— Где пропал?

— В районе были дела, — уклончиво ответил Рамазан. — Ты слышала, Марьям, войска Южного фронта отбили Таганрог? Четыреста шестнадцатая стрелковая дивизия сплошь состоит из азербайджанцев, ей теперь присвоено имя «Таганрогская». Моя дивизия... Мои земляки там, а я вот здесь...

— А от моего Кадыра все нет вестей, — тяжело вздохнув, проговорила она.

Солнце скрылось за горизонтом, жара спала. Можно было возвращаться домой.

А на следующий день, к несказанному удивлению Марьям, ей пришел почтовый перевод от Кадыра на пятьсот рублей.

— Вдруг его уже нет в живых, а мне прислали за него эти деньги, — говорила перепуганная солдатка.

— Не болтай чепухи, Марьям!.. Ты жди его — кого ждут, тот возвращается, — успокоил ее Рамазан, отведя глаза.

Марьям казалось, что Рамазан что-то знает о Кадыре, но скрывает, недоговаривает. И чтобы развязать язык азербайджанцу, принесла однажды на сенокос поллитровку.

— Э-э, Марьям, с чего это ты? — удивился Рамазан, увидев бутылку.

— Получила деньги от мужа. У татарок есть обычай угощать мужчину на мужнины деньги.

— Хороший обычай, — засмеялся Рамазан.

Марьям поставила бутылку перед ним.

— Наливай сам... Ты ведь знаешь, нам, женщинам нельзя, Коран не велит. И так взяла грех на душу. За ради Кадыра, дай Бог ему здоровья. Говорят же: хоть плачь-рыдай, а обычай соблюдай, — сказала Марьям повеселев.

Рамазан налил стакан и выпил. За стаканом еще стакан. Хмелея, он твердил, не поднимая глаз:

— Ты жди его, Марьям. Жди... И верь. Кого ждут, тот возвращается.

— Как не ждать, жду я... жду, — отвечала смятенная женщина, не зная, как вернуть в разговор главный свой вопрос. И решила:

— А скажи, Рамазан, ты ничего не скрываешь от меня?.. Чует мое сердце... Ну не мучай, скажи, коли знаешь... Он — жив?

— Ты жди его, Марьям! Год, два, три года... Жди, вернется! — точно убеждая себя, повторил Рамазан.

Первого сентября начались занятия в школе. После уроков учитель находил время помочь Марьям: то они возили солому с гумна, то дрова из лесу, то пилили вместе, то он колот, а Фаннур складывал дрова в поленницу... Словом, стал Рамазан своим человеком в семье. Даже заработанный на трудодни хлеб поместил в клеть Марьям. Дескать, больше некуда. Более того, и свою картошку засыпал ей в подпол. И это еще не все: свое добротное пальто на меху и куртку отнес к Марьям. Деду же отдал на хранение сумку.

В деревне, как известно, вся жизнь на виду у всех. И вот уже пошли разговоры, что азербайджанец женился на Марьям. Видимо, слухи дошли до самого учителя, и чтобы оградить Марьям от напраслины, Рамазан стал ночевать в школе, в учительской. Тогда стали поговаривать, что Марьям прогнала азербайджанца. И — Рамазан исчез из деревни. Как внезапно появился здесь, так и пропал...

После исчезновения Рамазана на имя Марьям трижды приходили посылки с фруктами. Хотя на посылках и не было обратного адреса, Марьям точно знала, что они от Рамазана. «Хурма ведь растет в теплых краях, значит, Рамазан дома», — мысленно рассуждала она. А меховое пальто и кожанка продолжали висеть за занавеской.

«Надо будет узнать его адрес и отослать вещи», — решила женщина. В сельсовете отыскала анкету, которую собственноручно заполнял Рамазан, прописываясь в селе. В ней было указано, где он родился.

На другой же день Марьям принесла на почту меховое пальто, куртку и сумку. Сумка была заперта.

Почтовик попросил открыть, чтобы проверить содержимое. Стали искать ключ. Он оказался в кармане мехового пальто.

Когда сумку открыли, обнаружили фотографию, взглянув на которую, Марьям вскрикнула: «Кадыр!» На обратной стороне было написано: «Фронтovому другу Рамазану от Кадыра». «Вот оно что-о», — в глубоком раздумье произнесла Марьям.

А спустя какое-то время она получила письмо с Кавказа. «Уважаемая Марьям! Это письмо пишет известный тебе Рамазан, — читала она. — Сумку и пальто с курткой я получил. Большое спасибо, что прислала. Нет только фотокарточки, которую подарил мне друг Кадыр... Уважаемая Марьям, Кадыр мне подарил эту карточку 23 апреля 1943 года, а на следующий день он погиб от снаряда. У моего друга и твоего мужа нет даже могилы. Он мне сказал как-то: если погибну, навещай мою семью. Вот почему после излечения в госпитале я приехал в вашу деревню учителем... Но, как ты знаешь, мне пришлось покинуть ваши края — не хотел осложнять тебе жизнь. Приезжай сама с сыном ко мне на Кавказ. Деньги на путевые расходы я вышлю...»

Прочитав письмо, Марьям долго думала. И с людьми советовалась. И все в один голос убеждали: «Переезжай, легче жить будет...» Но... не хотелось обижать свекра, оставлять семидесятилетнего старика в одиночестве. И она, поблагодарив Рамазана, ответила, что приехать не сможет. Шила в мешке не утаишь — там же, на почте Марьям узнала, что те пятьсот рублей, которые она получила якобы от Кадыра, выслал ей Рамазан из районного почтового отделения. Вот почему он пропадал во время сенокоса.

Сколько лет прошло с тех пор. И вот они снова встретились. Со смущением, скрытой радостью смотрят друг на друга, узнавая в постаревшем облике черты далекой молодости, догадываясь, что творится в душе у каждого.

...Уже рассвело, Марьям-апа накормила-напоила старика и ушла домой. Вечером опять пришла, но не одна, а с сыном и невесткой.

Всю неделю Марьям-апа ухаживала за Рамазаном. Кормила домашней едой, поила отварами. Рамазан стал быстро поправляться, встал на ноги и вскоре отправился продавать яблоки. Иногда и Марьям приходила ему помогать управляться на базаре. Ей казалось, что весь город ест эти целительные плоды.

И вдруг неожиданно исчезла. Прошла неделя, другая, месяц — нет Марьям, как в воду канула! Напрасно высматривал Рамазан в толпе знакомый платок, родное лицо... А однажды, купив в киоске газеты, чтобы заворачивать яблоки, увидел в уголке некролог: «В связи со смертью матери приносим свои соболезнования Фаннуру Кадыровичу Ильясову...» — прочитал он как во сне.

Оставив прилавок напарнику, Рамазан отправился на татарское кладбище. Долго он бродил среди могил, читая на надгробных камнях имена почивших... Наконец, встретив могильщика, поверил ему свою надобу.

— Здесь она, — сказал тот, подведя Рамазана к могиле. — Рядом с неизвестным солдатом... Хорошим человеком была Марьям-апа. Часто навещалась к солдату. И когда бы ни пришла, всегда с полной сумкой яблок... Я тоже пробовал... яблоки Рамазана... А ты кем ей приходишься? Родственник, что ли?

— Да, родственник... дальний... как тот солдат... — обронил Рамазан и замолчал. Могильщик деликатно отошел.

Сняв с головы фуражку и оставшись в одной тюбетейке, к которой давно привык, Рамазан долго стоял у могилы Марьям.

Аккуратный холмик слегка осел, омытый весенними дождями. А на могиле неизвестного солдата всю пробивалась молодая трава. «Надо осенью посадить тут яблоневые саженцы. Любила Марьям яблоки... яблоки Рамазана».

Перевод Светланы Хозиной

ГАЗРАИЛ

томившись за долгое утро от нескончаемых домашних хлопот, Газзе присела у окна, да так и замерла в щедрых лучах мартовского солнца. И на душе вроде бы полегчало, стало отраднее. Как будто сам архангел Джебраил: посылал на землю небесную благодать.

Но вдруг калитка во дворе приоткрылась и показалась фигура... нет, не Джебраила, а Лаврентия. Вот он — сущий Газраил!²

И солнце для Газзе померкло, и сердце охватила тревога. А ведь недаром у нее сегодня дергалось правое веко, ох недаром!

Газзе ожидала, что Лаврентий пройдет прямо в избу, а тот сразу от калитки направился в хлев. Ай-ай, хоть бы не вспугнул кур, а то она только дала им корм — толченое стекло. Но случилось то, чего она опасалась: только успел Лаврентий толкнуть дверь, как оттуда с кудахтаньем выпорхнули испуганные куры, точно к ним забралась лиса.

Не обращая внимания на птичий гвалт, Лаврентий просунул внутрь голову, зажег спичку и внимательно осмотрел хлев. Чего он ищет там среди бела дня? Была бы у Газзе собака, не посмел бы Лаврентий расхаживать по двору так вольготно, по-хозяйски. Кто ему дал такое право? Срам, да и только! От негодования у Газзе опять задергалось веко, она не знала, что предпринять: выбежать с ухватом и погнать наглеца со двора или закричать: «Караул! Держи вора!»

Между тем Лаврентий уже переступил порог избы и явился перед настороженным взором хозяйки. На голове у Лаврентия меховая шапка-ушанка, на плечах черный полушубок — новенький, еще запах не выветрился.

Лаврентий расстегнул тугие пуговицы, поправил гимнастерку, подпоясанную широким ремнем, с важностью уселся на стул, неторопливо достал из потертой кожаной сумки тетрадь. На широком запястье блеснули золотые часы.

Раскрыв тетрадь, полистал исписанные страницы, поднял на хозяйку маленькие пронзительные глазки:

— Ты фамилию мужа носишь?

— А какую фамилию прикажешь мне носить? — возмутилась Газзе. — Я жена Файзуллы, разве не с ним уходил ты на фронт? Иль запамятовал?

— Может, и было такое... — невозмутимо прервал ее Лаврентий и опять полистал тетрадь.

— Неужто и впрямь забыл Сафина? А ведь он писал с фронта, что ест из одного котелка с тобой.

— Может, и было такое, ничего не поделаешь — фронт. Только то, что было, быльем поросло, — отрезал Лаврентий.

— А-а, вот оно как, — вздохнула Газзе. — На Файзуллу мы похоронку получили... Бомба рядом взорвалась... Семеро сирот остались... Короткая у тебя память оказалась, Лаврентий...

— Что ж, теперь помирать из-за того, что без мужа осталась? Не ты одна... — будто не слыша упрека, заметил Лаврентий, продолжая изучать свои записи.

— Это верно, не я одна, — печально согласилась Газзе.

— Теперь тебе не о муже своем Файзулле печалиться, а радеть о государстве, — назидательно изрек Лаврентий, доставая из-за уха карандаш. — Вот, — ткнул он в тетрадный лист, — из ста двадцати литров молока, что за тобой числятся, ты не сдала еще ни одного...

— Так ведь корова осталась яловой, Лаврентий, — сокрушенно начала оправдываться вдова. — Водила ее в твою деревню, да твой отец Алендей запросил пятьдесят рублей... — Газзе опять вздохнула. — Ведь по всей округе только у вас и остался бугай. Коров-то кормить нечем, не то что быков.

Упоминание о своем отце Алендее Лаврентий оставил без ответа. Ни слова не вымолвил ни в защиту его, ни в осуждение. Пропустил мимо ушей.

— А яйца? Почему из ста яиц не сдала ни одного?

— И яиц нету, Лаврентий. Куры не несутся. Ведь их кормить надо, а чем?

— Кажется, они стекло у тебя клевали...

— Разве что одно стекло.

Лаврентий сурово сдвинул брови, строго спросил:

— Почему ты до сего времени не сдала государству шерсть? Всего-то два фунта — по фунту от каждой овцы. Что, опять отговорка?

— Опять... — повторила Газзе и запнулась. Лаврентий испытующе смотрел на несчастную.

— Нынче старшему сыну Ринату валенки отдала свалять, — виновато объяснила Газзе. — Прошлой зимой он ноги отморозил, когда возил лес на сруб бани для председателя колхоза Сабитова.

— Ты, Сафина, того... не задевай товарища Сабитова. Поостерегись. Этот человек в войну купил самолет для фронта.

— На колхозные-то деньги? — усмехнулась вдова.

Лаврентий вскочил, будто его ткнули в спину вилами.

— Не желаешь добровольно, как сознательная гражданка, платить налоги, а еще выступаешь против товарища Сабитова! Да тебя под суд надо отдать за саботаж!

Он судорожно запихал тетрадь в полевую сумку и, уходя, гневно выкрикнул:

— Под суд! Тогда бы прикусила язык, саботажница!

Газзе застыла на месте, сердце ее тяжело ухало, глаза заволокло слезным туманом. Как жить? А ведь говорили, что многодетных освободили от налогов...

Не прошло и недели, как снова явился Лаврентий, требуя, чтобы вдова проявила наконец сознательность и заплатила долги государству без промедления.

Газзе растерянно озиралась по углам, гадая, что бы ей продать из вещей.

— Вот! — воскликнул Лаврентий, доставая из шкафа пиджак и брюки покойного Файзуллы.

...А когда через три дня Лаврентий опять предстал перед вдовой, глаза ее расширились от удивления: она увидела на Лаврентии пиджак мужа.

— Товарищ Сафина, — будто не замечая удивления Газзе, воодушевленно начал свою речь налоговый агент, — ты чего опять тянешь с долгами?

Бедная вдова только и смогла обреченно произнести: «Где мне взять?», как Лаврентий со словами: «А вот!» схватил со стола пузатый самовар.

Самовар этот еще до войны вручили Файзулле в качестве премии за ударную работу. «Лишил последней памяти о муже, Газраил», — с горечью подумала Газзе, глядя вслед Лаврентию. Почему он так измывается над матерью семерых детей? Может, на фронте между Лаврентием и Файзуллой что-то произошло? А иначе зачем ему так лютовать? Ведь житья не дает проклятый Газраил! Эх, если бы жив был ее Файзулла, она бы ему обо всем подробно порассказала, а уж он посоветовал, защитил бы ее с детьми. Так думала вдова, тщательно протирая фотографию мужа в рамке. «Файзулла, что же между вами произошло? Почему этот Газраил мстит твоей жене? За что? Ну скажи!» — в каком-то иступленном отчаянье шептала Газзе. Может, пойти в чувашскую деревню и погадать на картах у тетушки Альтук? А сколько та возьмет за гадание? Погоди-ка, ведь есть же у нее немного денег, которые она по копейке накопила, чтобы прочитали Коран на помин души Файзуллы.

Газзе завязала в узелочек медяки и серебряные монетки, закрыла на щеколду дверь и пошла в соседнюю чувашскую деревню. Но с полпути почему-то вернулась. То ли денег пожалела, то ли вспомнила поговорку: «Не ходи к гадалке, не прибавляй себе забот».

Когда она переступила порог своей избы, то так и обмерла со страху: в переднем углу в расстегнутом полушубке, развалившись, восседал Лаврентий-Газраил.

— Товарищ Сафина, где гуляешь? Ты ведь еще не рассчиталась с государством, а? Это уже пахнет вредительством. Понимаешь ты это, а? Вспомни татарскую поговорку: «По капле озеро наполняется». Так и ты могла бы платить по копейке.

— Говоришь, по копейке, Лаврентий?

— Товарищ Лаврентий! — поправил ее налоговый агент. — Да, по копейке.

— Есть у меня... тринадцать рублей, сберегла для моего Файзуллы...

— Так ведь Файзуллы нету, на кой ему деньги?

— По правде говоря, хотела просить прочитать по нему Коран, — слабым голосом промолвила Газзе.

— Где? — вскочил Лаврентий.

— Что? — всполошилась Газзе.

— Деньги для Файзуллы?

— Вот... — она положила узелок на стол.

— Сколько, говоришь, здесь?

— Тринадцать рублей.

Лаврентий, до страсти любивший считать деньги, лихорадочно развернул узелок и стал отсчитывать по одной медные и серебряные монеты. Когда набрался рубль, сложил монетки в столбик, достал из нагрудного кармана маленькие счеты и звонко щелкнул: «Один рубль!» Похоже, он чувствовал себя удачливым рыболовом, вытянувшим из воды увесистую щуку никак не меньше двух кило.

— Двенадцать рублей восемьдесят семь копеек, — ловким движением перекинул последнюю костяшку Лаврентий, добавив: «Вот тебе квитанция об уплате налога», — и с важностью вручил Газзе клочок бумажки.

— Товарищ Лаврентий, вот ты третьего числа унес самовар, а такой бумажки не дал, — осмелилась напомнить вдова.

— Самовар не продан, не берет никто. Когда продам, тогда и принесу квитанцию. Да не бойсь, за мною не пропадет! — и припечатал свое веское слово ладонью по столу. — А костюм я решил купить сам.

Что ни говори, а мы с Файзуллой вместе на фронте солдатскую ляжку тянули. Вместе солдатские щи хлебали. Так вот. И тебя мне тоже жалко. В списке неплательщиков ты в самом хвосте.

Теперь же, считай, уплатила двести рублей. Все должно быть по закону. Вот тебе квитанция за костюм. А деньги я сам внесу государству. Так что закон будет соблюден. Самовар твой надо продать за сто пятьдесят рублей. Стало быть, всего получается триста пятьдесят. А вместе с деньгами в этом платке станет уже триста шестьдесят два рубля восемьдесят семь копеек. Таким образом, товарищ Сафина, тебе осталось уплатить государству всего сто тридцать семь рублей тринадцать копеек, — быстро щелкая костяшками счетов, заключил Лаврентий. Затем сгреб монеты в платок и сунул в карман.

— Товарищ Сафина, мне ни одной твоей копейки не надо. Я не для себя стараюсь, для государства, — воодушевленно рассуждал Лаврентий, направляясь к двери. Он шел наклонив голову, глаза его радостно поблескивали.

— Даже платочек прихватил с собой — истинный Газраил! — прошептала ему вслеп Газзе.

...На скрип калитки Газзе выглянула в окно и... обомлела. Неужто снова идет Лаврентий-Газраил?! Ведь говорили, что он умер. Выходит, жив? С той поры прошло ни много ни мало — двадцать лет. Теперь не надо сдавать ни молока, ни шерсти, ни яиц. Так чего он сюда явился? Или ей почудилось, что этот незванный гость именно Лаврентий?

Между тем вошедший не стал обшаривать глазами дверь, не пошел в хлев, а направился прямо в избу.

Очувтившись лицом к лицу с гостем, Газзе к ужасу своему убедилась: перед ней стоял Лаврентий. Значит, не умер. Значит, проклятья собаки до волка не доходят? Ведь столько женщин проклинали его тогда! Может, он пришел за недоимками?! Может, недосчитался тогда яиц или шерсти? Но почему-то в руках у него самовар. О Аллах, ведь это ее самовар!!

— Кто ты? Не товарищ Лаврентий? — нерешительно спросила Газзе.

— Я сын его... Тракторист, — ответил гость, ставя самовар на стол. — Мы с одним парнем из вашего села работаем вместе на тракторе.

— Из нашего села?

— Да. Его зовут Джаудат.

— Как? Как ты его назвал?

— Джаудат.

— Так ведь это мой младший сын.

— А, вот как, — засмутился парень. Неожиданно он протянул ей пожелтевшее письмо — солдатский треугольник. — Прочтите, апа. Это письмо от вашего мужа. Моя мать нашла его на дне сундука.

— Да я, милый, читать не умею.

— Тогда, может быть, я вам его прочитаю.

— А разве ты умеешь читать по-татарски?

— Умею. Джаудат научил, — и чуваш стал по складам читать письмо.

— «Лаврентий, раньше я считал, что ты хороший человек, но сильно ошибся...» — парень растерянно остановился.

— Читай, читай, сынок!

— «...Ты, Лаврентий, оказался подлецом. Тебе было мало того, что стал на войне самострелом, ты захотел поживиться чужим добром. Думаешь, я не догадался, что это ты украл у меня часы, которые мне вручил комиссар за отвагу, да еще прихватил шестьсот рублей? Если у тебя осталась хоть капля совести, наручные часы и деньги отдай жене моей Газзе. И хоть ты, негодяй, избежал трибунала, проклятья людского не избежишь. Так и знай! Твой земляк Файзулла Сафин. Действующая армия. Полевая почта № 23226. 27 февраля 1942 года».

...Газзе и парнишка долго стояли молча.

— Вот, возьмите сто рублей, — тихо проговорил он, стараясь овладеть собой. И положил на стол деньги.

— Новыми?.. Нет, нет, не надо, — решительно отказалась Газзе. — Ты за отца не в ответе. Да и не нуждаюсь я теперь — дети, слава Аллаху, выросли, сами зарабатывают себе на хлеб. Дай-ка лучше письмо моего Файзуллы, хоть подержу в руках... А я-то гадала, в чем дело... Да ты не переживай, у нас с твоим отцом свои счета. Да, война показала, кто чего стоит. Вот за самовар спасибо, сынок. Будто с Файзуллой свиделась.

— А это часы дяди Файзуллы, — виновато произнес парень. — Если отдадите Джаудату, то, пожалуйста, не говорите, что принес я.

«Отец его был Газраилом, а сын оказался Джебраилом, — думала Газзе, с доброй улыбкой глядя на парня. — Недаром говорят: у кого совесть чиста, у того лицо светлое. Вон какое у парня хорошее лицо».

А много ранее произошло вот что. После того как Лаврентий распустил слух, что будто бы его ограбили по дороге в банк, сын его, Егор, нашел на сеновале под огромной вязанкой соломы двадцать одну тысячу рублей. Оказалось, Лаврентий припрятал.

Когда заговорили о том, что едет следователь, Лаврентий метнулся в лес. Рассказывали, что в метель он долго блуждал, да там и замерз.

Острые языки уверяли, что обезумевшему Лаврентию в снежных хлопьях чудились монеты, что якобы он кричал: «Ай-ай, серебряные монеты падают, серебряные монеты!» Будто его крики слышали люди, рубившие в тех местах лес. Вот и вышло у Лаврентия, как в тех пословицах: пока копишь добро, Газраил овладевает твоей душой. Блеском золота прельстишься — в беса злого превратишься.

Перевод Светланы Хозиной

ПОЛЫНЬ

И безмерная сердцу услада —
Эта горькая страсть, как полынь.

А.Блок

ставай, сынок! Тебя в сельсовет вызывают! О Аллах, в такую рань... Неужто провинился в чем? Не стянул ли огурцы или еще чего на колхозных огородах? Признавайся!

— Нет, мама!

— Зачем же вызывают? Уж не пришла ли какая-нибудь черная бумага с фронта о твоём брате? О Всевышний, отведи беду!

— Тогда послали бы за тобой, мама.

— Думаешь?... И то верно...

Выпив парного молока, я отправился в сельсовет. Небо еще розоватое от утренней зари. На гусиной травке лежит сизая роса.

Когда я вошел, комната председателя была полна подростков.

— Проходите, джигиты! Садитесь, — кашляя, пригласил председатель Халиулла-абзы.

Я сел в уголке. Халиулла-абзы, поблескивая стеклами очков, взглянул на меня и написал что-то на бумаге. Через некоторое время вошел дедушка Хисматулла.

— Старуха меня не пускает и все тут. Еле уговорил. Мол, привезу тебе со станции глазных капель, — сообщил словоохотливый дед, объясняя причину своей задержки.

— Ну, кажется, все вызванные собрались! — объявил председатель, поднимаясь из-за стола. — Дело вот в чем: на станцию прибыл эшелон с эвакуированными. Вам поручается съездить за ними. Хиззят, наш конюх, назначается старшим. О квартирах договоренность есть, вам остается только привезти гостей живыми-невредимыми в нашу деревню.

— Привезем, а то как же, — с песнями привезем, — живо отозвался Хисматулла-бабай и обернулся ко мне. — А ты, сынок, не забудь захватить гармошку.

...Запрягли лошадей и отправились в путь. Дедушка Хисматулла говорит, что от нашей деревни до станции семьдесят верст. Ну и что! Ехать на арбе в ясный летний день — да это уже счастье! Дорога ровная, нетряская, подводы — будто цепочка журавлей. Наверно, поэтому мне хочется сравнить дедушку Хисматуллу, который едет впереди, держа вожжи в руках, с журавлиным вожаком.

У подножия Шайтановой горы решили распрячь лошадей и отдохнуть. У предусмотрительного бабая оказалась коса, и он взял меня с собой в лес накосить сена.

Вышли на небольшую поляну — ух и высокая же здесь трава, сочная, цветonoсная! Накосили две большие охапки сена.

Завидя траву, мой рыжий конь по кличке Подсолнух радостно заржал. Подсолнухом коня прозвали потому, что мать его, взрослая кобыла Зорька, паслась возле подсолнечного поля, да так там и ожеребилась. Подсолнух принялся с аппетитом жевать сено, и я тоже с удовольствием выпил бутылку молока, которую дала в дорогу моя мама. Отдохнув, мы снова тронулись в путь.

Я лежу на ворохе скошенной травы, которая приятно холодит мою спину, и смотрю в небо, по которому плывут облака, похожие на белых ягнят. Оттуда, с невысказанной высоты, доносится звонкий голосок жаворонка. Я пытаюсь различить его в синеве, но солнце слепит так, что я закрываю глаза и слушаю, слушаю... птичье пение, стрекот цикад, лошадиное фырканье... И незаметно засыпаю на мягком, душистом сене, убаюканный покачиванием арбы и музыкой летнего дня...

Проснулся я перед самой станцией от громкого голоса Хисматуллы-бабая:

— Вставай, улым! Не попади под поезд!

На вокзале эвакуированных не оказалось — никаких даже признаков.

— Черт побери, куда же они делись? — ругнулся Хиззят.

После расспросов выяснилось, что эвакуированных надо искать на товарной станции.

Когда мы подошли, товарняк тронулся и стал набирать ход.

— На фронт, — задумчиво проговорил Хисматулла-бабай, провожая глазами вагон за вагоном и платформы, накрытые брезентом.

Когда состав отошел, открылась площадка, заполненная большой толпой людей с пожитками. Это и были эвакуированные. «Которые же из них наши?» — ломал голову Хисматулла-бабай.

— Чего гадать, кто захочет сесть на арбу, тех и повезем, — сказал Хиззят.

— Вот еще новости! — проворчал бабай и направился к приезжим.

Мы выехали в обратный путь.

На моей арбе сидят женщина с ребенком и девушка с серыми глазами и длинными черными ресницами.

— Как тебя зовут, мальчик? — спрашивает она и легкой рукой гладит меня по волосам. Нарочно молчу — хочу, чтоб меня приласкали, гладили по волосам. Эх, была бы у меня такая сестра!

— Ну скажи уж, как зовут, а?

В конце концов я вынужден был сказать.

— Вот как! По-индийски твое имя означает поэт.

Я громко смеюсь: какой я поэт?! Откуда, думаю, взяться поэту в нашем роду?

— Придет время — начнешь писать стихи, — говорит девушка.

— Когда?

— Когда влюбишься! — и ласково треплет меня по волосам.

Я опять весело хохочу. Как-то незаметно исчезла робость, и мы разговорились.

Девушку звали Саррой. Она с интересом расспрашивала о нашем крае, о людях, обычаях. И я с воодушевлением рассказывал ей обо всем, что знал.

— А я думала, что булки растут на деревьях. Теперь буду знать, откуда они берутся, — улыбаясь, говорила Сарра, и я не мог понять, шутит она или говорит серьезно.

Ближе к деревне на нашу подводу подсел конюх Хиззят и неожиданно стал звать Сарру на квартиру к себе.

— Мне все равно, — пожалала плечами девушка и посмотрела на меня.

Я набрался храбрости и сказал, что у нас в доме места много, — мы с мамой живем вдвоем. Видимо, это обстоятельство сработало, и, как ни старался, Хиззят зазвать Сарру к себе, ничего у него не вышло — девушка поселилась у нас.

Я познакомил Сарру с деревней и окрестными достопримечательностями: ржаным полем, запрудой, где любят купаться наши мальчишки, родником в овраге, заросшем ежевикой и шиповником.

Девушка ходила босиком и в расшитой тюбетейке, которую я ей подарил (к неудовольствию моей матери).

— Хранила ее как память о твоём брате, теперь нечего в руках подержать, когда взгрустнется... Спрятала ведь на дне сундука, так нашел-таки, раскопал эту тюбетейку и отдал иноверке, негодный мальчишка! — говорила она мне и вздыхала. — Хоть бы уж надевала ее на голову с молитвенным словом. Правда, научи-ка ты ее читать «Бисмиллу», ладно?

Когда еврейская девушка Сарра из Барановичей появилась у нас, мама не возразила. Не ворчала даже, когда узнала, что девушка не одна, а с собакой.

Сарра собаку свою очень любила, заботилась о ней: купала чуть не каждый день, расчесывала волнистую шерстку, поила молоком, которое давала Сарре мама, водила свою питомицу гулять.

С тех пор как девушка поселилась у нас, в деревне начали болтать, что, дескать, мама держит эту красавицу как будущую невесту для своего старшего сына, который сейчас на фронте. Возможно, не последнюю роль в этих пересудах сыграла тюбетейка.

Сарра быстро у нас освоилась и охотно помогала матери по хозяйству: мыла пол, носила воду, чистила картошку, даже научилась месить тесто для хлеба. И все делала весело, проворно. Мама была довольна, а я так просто шалел от радости.

Только отношения с конюхом Хиззят у нас окончательно испортились. Дошло до того, что он перестал давать мне Подсолнуха. А Сарра, как назло, приставала ко мне: хочу увидеть ту лошадь, которая привезла нас со станции, хочу — и все тут! Я оттягивал, отговаривался тем, что Подсолнух нездоров.

Раньше мы каждый год сами заготавливали сено на зиму, а в то лето мама купила сено в лесхозе. Надо было его привезти, но, сколько я ни просил Хиззята, лошадь он не давал, все находил какие-то отговорки. Мы с мамой были удивлены и гадали, что предпринять. Пожаловаться председателю — тот может рассердиться, скажет, что не занимается такими пустяками, просите у конюха. Что делать?

— Пойду-ка я сама попрошу Хиззята, — вдруг заявила Сарра. И сдержала слово.

Вернулась она с подводой.

Увидев рыжего мерина, который стоял у наших ворот и качал головой, я готов был прыгать от радости. Но когда заметил на арбе Хиззята с вожжами в руках, радость моя померкла.

— Садись давай, поехали, — невозмутимо, как ни в чем не бывало сказал Хиззят.

Я сел на арбу. Когда деревня осталась позади, Хиззят передал вожжи мне, а сам пересел к Сарре.

— Будешь со мной ладить — засыплю ваш дом сеном, — хвастливо пообещал он и покровительственно хлопнул меня по плечу. — Сарра вон тоже говорит, что молоко любит. А у нее еще и собака, которая тоже не прочь полакомиться молоком. Молоко всем нужно — и людям, и собакам, — начал разглагольствовать Хиззят. — Ты ведь тоже небось молоко любишь хлебать?

— Ну люблю. Тебе какое дело?

— Смотри, как разговаривает. Ты что, все дуешься на меня? Дай пять! Отец твой покойный был миролюбивым, и братан тоже. Не похож ты на них, однако.

— Не во мне дело. Сколько раз я просил Подсолнуха, а ты не давал.

— Ну-у, опять ты за свое... Заладил... Кто старое помянет, тому глаз вон! Забудь — и все. Как говорится, конь не лягнет — оглобля не переломится. Оба были не правы — и я, и ты. Человек — не ангел. Давай гони своего Подсолнуха!.. Ну-ка я!..

Только Хиззят взял из моих рук вожжи и дернул их, как лошадь, фыркая, припустила к лесу.

— И-ех, хороший конь! Запрячь бы этого рыжего на свадьбу! — по-ухарски возгласил Хиззят и стрельнул лукавым взглядом на Сарру. Та звонко рассмеялась.

Найдя подходящее место, Хиззят велел мне распрячь лошадь, а сам взял косу и принялся косить сено. Ему что мягкая трава, что жесткая полынь — все едино. Только коса звенит. Сарра, как кузнечик, прыгает вокруг Хиззята.

— Научи меня косить! Научи! — просит она, то кокетливо склонив голову набок, то сжимая кулачки от нетерпения.

— А мозоли не натрешь? У тебя ведь, Сарра, руки, как у дочки муллы. Ты хоть знаешь, кто такой мулла?

— Знаю. Тот, кто любит беляши. Ха-ха-ха!

— Это тебе мать того пацана сказала?

— Ха-ха! Сама догадалась!

Накосив целый воз, Хиззят повел Сарру на «чувашскую» речку купаться, наказав мне сторожить коня и сбрую.

Ничего не поделаешь, пришлось подчиниться. Хотя мне до чертиков хотелось искупнуться в прохладной воде. Но не оставлять же Сарру одну в незнакомом, пустынном месте. Это я понимал, но почему-то было очень обидно. И совсем уж защемило в груди, когда Сарра и Хиззят скрылись за деревьями.

Ждал я их долго. Уж и Подсолнух перестал жевать и теперь дремал, лениво отмахиваясь длинным хвостом от надоедливых слепней и подрагивая рыжей шкурой. Наконец терпение мое иссякло, и я, стреножив коня и прихватив с собой уздечку, пошел искать.

Миновав перелесок, поляну и снова лес, я не заметил, как вышел на берег. Река неслышно, как-то притаенно, несла свои воды: ни шороха, ни всплеска... Хиззята и Сарры здесь не было.

Заметив вдали стадо овец, спускавшихся к воде, я поспешил назад, опасаясь очутиться в туче пыли.

Углубившись в лес, я почувствовал чье-то присутствие. Осторожно, боясь хрустнуть сухой веткой, я сделал несколько шагов и увидел сквозь листву: Сарра и Хиззят целуются... У меня помутилось в голове. Повернувшись, я стремглав, не чуя под собой ног, помчался обратно к арбе. Ветви хлестали мое лицо, в глазах мелькали стволы, листва, сучья...

Когда Хиззят с Саррой вернулись, я горько рыдал, уткнувшись в сено.
— Что с тобой? — кинулась ко мне Сарра.
— Наверно, шмель ужалил, — сказал Хиззят, приглаживая ладонью кудрявые черные волосы.
Мы всю неделю возили сено, но, по правде сказать, оно было вперемешку с полынью!
Но хоть и с полынью было сено, мама всю зиму не могла нарадоваться, что корова дает столько молока. Надоит и начнет уговаривать:
— Выпей, сынок, молочка. Парное — оно поле-езное...
А у меня перед глазами все стояла лесная чаща и шелковая шапочка Сарры...
— Пусть вон Сарра поит свою собаку, — шептал про себя и отворачивался от кружки.
Хотя вслух я не говорил, что молоко отдает полынью, и мама, и Сарра, конечно, чувствовали ее привкус.

Перевод Светланы Хозиной

КАК Я УГОЩАЛ ИОСИФА БИШСАРЫЮНЫЧА ЫСТАЛИНА

ослушай, как тебя там... господин-товарищ, послушай, я тебе расскажу кое-что.

...Это еще до войны было. Кажись, в тот самый год, когда козел соседа Мирзакая повздорил с моим козлом и пришел с выгона со сломанным рогом. Мирзакая тогда, помнится, бушевал да грозился отомстить мне. Почти неделю он ходил шибко сердитый и угрожал, мол, «сообщи куда следует, товарищу Сталину жалобу подам, а уж он, отец наш родной, найдет управу на твоего козла-вредителя, оскопит его». Терпел я, терпел, да не выдержал и зарезал животинку. К слову сказать, мясо старого козла и мясом-то называть неохота!..

Так вот, как раз тогда, во время этой самой заварушки с козлом, пошел я как-то на озеро, что возле нашей деревни. Рыбки половить, опять-таки, скажем, к примеру. И, скажу я тебе, господин-товарищ, поймал! Да еще какую рыбу! Разговаривающую! По-нашему, по-человечески! Даже, скажу я тебе, по-мусульмански! Не веришь, господин-товарищ? Я и сам в сказки не шибко верю.

— Исполню любое твоё желание, ваше высокопревосходительство Хатмулла хазрет! — говорит мне это существо человеческим голосом. Да так жалостливо — чуть не плачет...

Я, конечно, поначалу малость струхнул, не скрою. И от страха, скажу по секрету, чуть не обмочился прямо в свои сорок раз латаные штаны. И немудрено! Рыбина-то по-человечески говорит! А роста в ней, тьфу, один аршин! На пуд тянула, факт! Если не на два... Пожалуй, что и на два...

В этот самый момент моя голова, чтоб ей пусто было, вдруг перестала соображать! Словно бы и нету ее у меня! Стою я, как дурак, будто столб от плетня, на который дырявые горшки вешают, — в самый раз... И тут чувствую, что язык мой зашевелился. Это я что-то сказать, видно, пожелал, по существу, так сказать.

А это чудо-юдо продолжает канючить:

— Хатмулла хазрет, скажи желание свое, да отпусти ты меня, ради бога!

И вот ведь какая странность: голова у меня не работает, а уши — слышат! Да так хорошо слышат — словно у охотничьей собаки!

А тем временем и язык во рту начал ворочаться да беспокоиться, словно лошадь, увидевшая волка. И доносятся до моих ушей какие-то слова. Ба, думаю, так это же я сам и говорю!

— Хочу повидать отца нашего Ысталина, — говорю я противным голосом. — Пусть он приедет в наш Саз-Куль, зайдет ко мне в дом, погостит...

А рыбина мне отвечает:

— Отпусти ты меня за ради Бога, Хатмулла хазрет. Все сделаю, как ты хочешь!

Только она скрылась в воде, как сзади кто-то положил мне на плечо тяжелую руку. (Потом-то я понял, чья это рука была.)

Оглянулся, а там... О Аллах! Передо мной стоит отец наш товарищ Ысталин собственной персоной и попыхивает трубкой. Рядом Берия сытым котом стоит. У Берии стекла очков сверк да сверк. А глаза-то — ну чисто как у нашего кота! От такой картины у меня ноги в тех самых латаных-перелатаных штанах начали трястись что есть мочи. Стою я и дрожу, словно чучело на ветру, — у меня такое в огороде ворон пугает...

Берия мне говорит:

— Ты, товарищ Баракатуллин, раньше времени не пугайся, мы с товарищем Ысталиным на этот раз приехали к тебе не за этим. Заехали по дороге — проведать, погостить, — говорит он.

Берия все это сказал по-русски. Но я, как человек образованный, все понял слово в слово. Не зря же я полгода учился в соседней русской деревне... До революции еще это было...

При слове «погостить» мои ноги дрожать перестали. Хотя душа по-прежнему отказывалась возвращаться из пятток.

— Пажалте, товарищ Ысталин Иосиф Бишсарыоныч, отец вы наш родной! Гостем будете, — сказал я по-русски. — Тулькы, — говорю, — прощения просим, с хлебом-солью встретить не получилось. Рыбка-то того...

— Говори на своем языке! — перебил меня товарищ Берия. — Товарищ Ысталин понимает. Мы же — ентырнасыоналы.

— Якши, — отвечаю я. — Понимайски....

Собрали мы быстренько удочку да все прочее и пошли ко мне домой. А как пришли, тут страсти-то и начались.

Увидев перед собой живого Ысталина, моя Васбикамал тут же потеряла сознание и хлопнулась прямо на пол. А когда падала (она как раз раскатывала тесто из лебедовой муки), — выпустила из рук свою заляканную скалку, и та шлепнулась на блестящий, словно зеркало, сапог Ысталина. Ох и терпелив, оказывается, наш отец Ысталин — даже не охнул. Только сморщился недовольно.

Тесто, что налипло на блестящий сапог товарища Ысталина, я быстренько вытер концом своего пояса. Тру сапог, а сам бормочу чуть слышно: «Прости, пажалста, товарищ Ысталин, избинити нас!»

Тем временем помощники Берии быстренько собрали мою Васбикамал с пола, да и повезли в больничку в соседнюю русскую деревню. Я загоревал было, мол, кто же теперь гостям на стол соберет, но Берия, словно угадав мои мысли, сказал:

— Не беспокойся, товарищ Баракатуллин. У нас повара свои!

Пока повара бесшумно возились у печки, товарищ Ысталин сел на нары, которые я сам сделал, закурил трубку и начал что-то писать.

— Товарищ Ысталин пишет труд о русском языке! — шепнул мне один из поваров, помешивая деревянной ложкой кипящий суп из баранины.

Когда суп сварился, охранники Ысталина сначала заставили меня съесть тарелку бульона. «Когда товарищ Ысталин бывает у кого-нибудь в гостях, он любит угощать вначале хозяина дома!» — объяснили мне охранники. Хороший человек во всем хорош, подумал я; что тут скажешь про товарища Ысталина, кроме добрых слов?!

Суп товарищ Ысталин съел с большим аппетитом. Сказать «выхлебал» как-то неприлично по отношению к отцу нашему, однако ел за обе щеки. Оказывается, товарищ Ысталин очень даже неравнодушен к супу из баранины.

Вставая с нар, товарищ Ысталин произнес, наконец, одно-единственное слово. И сказал он его с такой значительностью, что моя вечно согнутая спина распрямилась, так что я чуть не угодил головой в щель на потолке!

— Ыспасыбо! — сказал товарищ Ысталин.

Мы как раз в тот день баньку истопили — словно чувствовали, что к нам пожалует такой большой гость.

— Не желаете ли в баньке попариться, отец наш товарищ Ысталин? — спросил я. Но тут вернулся Берия, который за два-три часа успел проведать да расспросить про житье-бытье почти пятнадцать женщин нашей деревни. Он потер ладонями свое красное распаренное лицо и сказал:

— Спасибо, Баракатуллин, за твою белую баню. Но товарищ Ысталин любит мыться в прокопченной черной бане. Да и то, когда у него время есть.

Машина уже готова была отъехать, когда Берия, словно вспомнив о чем-то, подошел ко мне и, дыша чесночным духом, просипел мне в ухо:

— Пока тебя с собой не берем. Извини, нет места...

Я, грешным делом, не особо-то и хотел ехать в Москву рядышком с товарищем Ысталиным, но такие слова Берии мне слышать было очень даже приятно. Ей-богу, говорю как есть.

На следующий день после того, как товарищ Иосиф Бишсарыоныч Ысталин погостил и отдохнул в моем доме, ко мне во двор бочком-бочком зашел сосед мой Мирзакай. Он тащил за собой на веревке своего несчастного безрогого козла.

— Слышь, сосед, — сказал он, — возьми моего козла! Я хочу подарить его тебе. Боится, шельма! Опасается, что я пожалуюсь товарищу Ысталину.

Но я тоже парень не промах и, не подав виду, отвечаю ему:

— Конечно, без рога это уже и не скотина вовсе... Ну да ладно, оставь, что ли...

Видел бы ты, как обрадовался Мирзакай!

Спрашиваешь, что было дальше?.. Через неделю я привез жену из больницы. Выздоровела Васбикамал, пришла в сознание. Правда, иногда в ее тряпичной голове начинает ветер свистеть. Особенно когда спать ложимся.

— Почему вы, отец наш Иосиф Бишсарыоныч, сбрили свои красивые усы? — спрашивает она и поглаживает пальцами у меня под носом, где никогда в жизни волосы не росли. И так каждый раз! А то еще, бывает, вдруг спросит: — Почему ты никогда не закуливаешь свою трубку?..

СКЕЛЕТ

оскресный вечер. Все дома. Мы с женой на кухне пытаемся соорудить ужин из того, что есть в холодильнике. Старшая дочь Айсылу, устав от телевизора, заглядывает в дверь кухни.

— Завтра мне нужна будет курица! — заявляет она.

— Она бы никому не помешала, — отвечаю я.

— Нет, папа, ты не понял, — говорит дочь. — Учительница велела принести.

— А что, мы теперь должны поить и кормить учителей? — спросил я, бросив на жену презрительный взгляд. Она у нас учительница, потому я к ней и повернулся: — Может, и тебя подкармливают курицами да гусями, а мы тут перебиваемся с хлеба на воду?..

— Ты не понял, — сказала жена. — Курица нужна Айсылу для урока. Учительница велела всем ученикам принести курицу.

Я не дурак, потому понял правильно.

— А корову ей не надо? — съязвил я, разозлившись на эту учительницу. — Пока нет, — спокойно ответила дочь. — Но на завтра нужна курица.

— Вот народ! — разозлился я еще больше. — В холодильнике шаром покати. Откуда же у нас взяться курице?!

— Купите! — хладнокровно предложила дочь.

— Так ведь денег нет! — попытался сопротивляться я.

— К завтрашнему утру курица должна быть. Остальное меня не интересует. Я из-за вас «двойку» получать не намерена, — отрезала дочь и ушла смотреть телевизор.

Я вопросительно посмотрел на жену. Она, как оказалось, была не дурой и вопрос мой поняла правильно.

— Если наскребем все, что есть в доме, то на курочку размером с голубя денег хватит! — сказала она.

Мы оделись и поплелись в магазин. Нужная вещь попалась нам на глаза практически сразу — так бывает всегда, когда денег нет, а хо-о-очется...

Оказалось, что жена рассчитала точно. Денег хватило как раз на сизую тушку размером с небольшой кулак.

— Ты готовить любишь, займешься сам, — сказала жена, аккуратно укладывая куриный комочек на дно тряпичной сумки.

— Так это еще и варить нужно?! — удивился я.

А жена в ответ:

— Если хочешь, чтобы суп был наваристый, добавишь немного подсолнечного масла...

Ладно, вернулись мы. Сварил я эту курицу. Позвал дочку.

— Я могу быть свободен? — спрашиваю.

— Мне мясо не нужно, а нужны только кости, — говорит дочь.

— Если есть мясо, то кости найдутся, — компетентно заявил я.

— Курицу резать нельзя. Мне нужен целый скелет. Должно быть видно, как кости соединены между собой!

Она сказала — я сделал. А у кого в руках, у того и во рту: кусочек-другой я, разумеется, отправил себе в желудок. Странно, но мой желудок особой радости не выказал.

На следующий день дочь пришла из школы с «пятеркой». Однако я радовался даже больше, чем она. Что ни говори, а в «пятерке» есть и моя доля участия. Оказалось, что незадолго до этого так же радовалась моя жена. Ей тогда пришлось готовить к уроку скелет рыбы. Кстати, я почему-то этого эпизода не помню. Наверно, я тогда был, как обычно, после «банкета» на работе...

Рыба, курица... На этом испытания не закончились. До коровы дело не дошло, но бедную овцу в школу переправить все-таки пришлось.

Мы уже всерьез начали готовиться к работе над коровьей тушей, когда однажды дочь пришла из школы и объявила:

— Папа, учительница велела завтра привести тебя! Помню, что я успел спросить:

— Вы уже до людей дошли?..

Очнулся я оттого, что жена брызнула мне в лицо холодной водой.

— Папа, ты не понял, — сказала дочь. — Завтра отец Динара принесет в школу скелет акулы. Ты же знаешь Динара?! У него отец все время ездит за границу. Так вот, он привез скелет акулы. Завтра нужно будет ему помочь привезти его в школу. Понял?

Я слабо улыбнулся.

— А что касается скелета человека... Эту тему мы, кажется, будем изучать на будущий год! — успокоила дочь.

Утешила, ничего не скажешь...

Перевод Гаухар Хасановой

ДИКАЯ ДИВИЗИЯ

(дорожные рассказы)

ак-то раз мчались мы с ветерком на машине из Казани в сторону Зеленодольска. Когда проезжали мимо большого села Айша, сидящий рядом со мной шофер сказал:

— Вон там, слева, видите постройку — там раньше была дикая дивизия.

Я очень удивилась. В Айше, если мне память не изменяет, расположен известный на всю округу совхоз «Овощевод». Разве можно назвать этих земледельцев «дикими»? Мало того, еще и «дивизией».

— Автоколонна там была, — продолжал водитель. — Настоящие соколы подобрались. По каким только дорогам ни проезжали они, какие только грузы не доставляли, из каких только немислимых краев. Ничто их не останавливало, потому-то их и прозвали «дикой дивизией».

— А почему все время «была» да «была» говорите? И сейчас, наверное, есть эта автоколонна?

— Была — да сплыла. Перевозить-то стало нечего. Заводы стоят, а «челноки» все больше на своем горбу таскают товары.

— А где же соколы? Я про шоферов говорю, куда они подевались?

— Разлетелись кто куда... Машины распродали за бесценок... Родне да друзьям-приятелям начальников и продали. А некоторые грузовики разобрали. На запчасти.

...В другой раз, когда проезжали по окраине Казани, совсем другой шофер начал мне говорить:

— Вот здесь располагалась «дикая дивизия».

— Автоколонна, что ли?

— По каким только дорогам ни проезжали они...

— Какие только грузы ни перевозили, в какие только края ни забирались, — продолжила я за рассказчика. — Так ведь? А разве не в Айше была эта дивизия?

— Нет, здешняя — более дикая!

— И где же сейчас местные соколики?

— Разлетелись...

«Ого, какая могучая у нас «демократия», — подумала я. — Умело так, исподтишка разметала в пух и прах даже такие неустрашимые дикие дивизии».

Ну вот, автоколонны-то расформировали, но машин на дорогах от этого не убавилось, наоборот, даже больше стало. Я с интересом вглядывалась в лица водителей: кто же из них, все-таки, из бывших орлов «дикой дивизии»?

Постепенно и я обзавелась машиной, пришла пора нанимать себе шофера. Многие из них работали раньше в автоколоннах. Я как хозяйин-работодатель должна была приручать этих «соколиков», укрощать их.

Однако... сокол — это тебе не курица, на каждый твой «цып-цып-цып» не больно-то разбежится навстречу.

ПЕРЕГРЕТОЕ СЕРДЦЕ

а дворе была незабвенная эпоха больших перемен, когда окончательно остановились заводы и фабрики, а кооперативы расплодились нещадно и несчетно. Хвала Аллаху, дали всем полную свободу, как говорится — создавай и властвуй. Мы тоже создали новое предприятие, состряпали устав и официально зарегистрировались. Осталось только начать работать. Предприятие наше — благотворительное общество, наша обязанность — призывая богатых к милосердию, оказывать помощь инвалидам и малоимущим в распределении и доставке полученной благотворительной продукции. Соответственно профилю предстоящей работы в начальники выдвинули меня — опытную в бумажных делах и достигшую авторитетного возраста женщину. Для быстрого и успешного разрешения возникающих задач нам выделили новенький грузовичок ГАЗ-53.

Друзья меня настойчиво предупреждали: если хочешь, чтобы машина у тебя всегда была на ходу, а не стояла на ремонте, найми себе опытного водителя. А где и как его найдешь-то, толкового шофера?

Ясно уж, где и как — через знакомых.

Я пошла к знакомому начальнику автоколонны и объяснила ему свою проблему. Он, конечно же, пообещал подобрать мне очень достойного среди кадровых водителей. Будучи сам непомерно загруженным работой руководителем, он тут же перепоручил это дело начальнику гаража. Ну сами посудите: умный хозяин разве отдаст кому-либо своего хорошего работника? Я в этой области совсем не разбиралась в те годы и целиком положила на обещание знакомого начальника.

Однако, если бы мне самой выбирать, то все равно, кажется, я бы остановилась именно на том, кого они предложили — на Ильгизе. Синеглазый, с пшеничными усами и крепким торсом, примерно тридцати лет от роду миловидный мужчина сразу пришелся мне по душе. Вот он сидит на мягком канapé, что возле двери. Доставшийся по наследству от старого хозяина потрепанный диванчик перенесли в мой кабинет, чтобы было куда усадить проходящих по делам людей. Парень, слегка подавшись вперед, очень внимательно, с уважением смотрит на меня. Во всем его облике видно желание угодить и понравиться мне. Да уж, нечего и говорить о том, какое выражение приобретает взгляд, когда он смотрит на хозяина.

Нужно сказать, что я никогда до этого не работала руководителем, никогда не нанимала работников, и такое заискивающее поведение было для меня также в новинку. Раньше, когда мне самой приходилось стоять перед начальством, то и мой взгляд, наверное, так же масляно блеснул. А теперь я ощущаю, что становлюсь «важной птицей», что я расту, постепенно превращаясь в начальственную «шишку». И этот муж — надежда и опора государства, золотой столп семьи — будет теперь кормиться с моей руки, и не только сам, но и жену с двумя детьми будет содержать на заработанные деньги, подумалось мне в тот момент.

Ладненько, познакомились, поговорили, ударили по рукам. Он написал заявление, я издала приказ — сама напечатала на машинке, от руки подписавшись внизу, секретаря-то нет, и вся бумажная работа — на мне. Забрала у него трудовую книжку и закрыла ее, с хрустом провернув огромный ключ, в пустой металлический сейф. Все. Теперь судьба этого мужчины в моих руках. Сразу вспомнились мне беспричинные обвинения в мой адрес со стороны бывших начальников, все мои проглоченные обиды и упреки в их адрес. И решила я тогда, что буду стараться понимать и жалеть своих подчиненных.

Ну вот, сели мы в машину и поехали, сначала в ГАИ, потом в транспортную инспекцию выправлять документы. Во время стоянки Ильгиз открывает капот и начинает рыться в моторе — чего-то там подправляет, подкручивает, прилаживает. Я слышала, что с конвейера частенько сходят машины, у которых то болты не докручены, то гайки не дотянуты. Поэтому, видя такое усердие водителя, я никак не могла нарадоваться. И у него довольная улыбка не сходила с лица. Новая машина — это же мечта каждого шофера.

— Хорошая машина — «газон», — говорил он, вытирая лобовое стекло чистой тряпкой. — Но есть у нее одно слабое место — мотор. Постоянно нужно быть внимательным при езде. Чтобы сердце не «посадить». Не перегреть. Если сердце не перегреешь, то все остальное выдюжит.

А как его не перегреть? В кабине, напротив шофера, есть особый прибор. Нужно не забывать на него поглядывать. Если стрелка прибора приползет к самому краю шкалы, то нужно остановиться, разобраться и починить. Ильгиз мне обстоятельно всю эту науку изложил.

А мне опять радостно на душе: «Вот ведь, и работу свою знает до мелочей!»

— Я тут диффузор демонтировал, — подошел он как-то ко мне, держа в руках деталь, похожую на причудливо просверленный пластмассовый поднос. — Она мешает только. Из-за нее ни к мотору не подлезешь, ни болты не подтянешь...

Я в полном недоумении. Ох уж эти мне изготовители! Ну надо же, в такое тесное место напичкать столько всего, а!

В конце концов, Ильгиз, выбросив из-под капота все лишнее, подтянул все болты и гайки. И необходимые документы к тому времени успели.

Хвала Аллаху, работу закончили. На душе спокойно стало... На следующий день с утра пришла я и с головой погрузилась в бумаги — такие хлопоты у нас никогда не кончаются. Через некоторое время в кабинет заходит Ильгиз, поклонившись, садится на диван и начинает смотреть на меня. Я пишу, а он все сидит и сидит. И не говорит ничего, и не уходит.

— Что? — первой не выдержав, спросила я.

— Вот, на работу пришел, — отвечает.

Вах-вах, погоди-ка, как же так получилось-то... Он пришел на работу... Значит, ему нужно какое-нибудь дело дать... То есть, получается, если нанял человека, то нужно его и работой обеспечить!.. Тут, кажется, необходимо кое-что прояснить. Машина весной и летом нужна нам лишь от случая к случаю, горячая пора в нашей работе наступает только осенью, с началом уборочной страды. А в те дни на дворе был май месяц. Тогда я вывела для себя как для руководителя очень важную мысль: принятых на работу людей нельзя оставлять без дела. Приняла человека, будь добра — предоставь ему фронт работы! Отложив бумаги, я вышла из-за стола и сказала: «Поехали».

И поехали мы на покрытом синим тентом «газоне» в районы — по подсобным хозяйствам, по фермам, по колхозам. Приезжаем к сельчанам рано утром прямо к самой разнарядке. Год выдался очень хорошим — и дождик вовремя лил, и ветер вовремя дул. Настроение отличное, все время на подъеме, никто не был против того, чтобы с нового урожая помочь нам выделением от одной до трех тонн зерна, картофеля или овощей.

Однажды, в самый разгар жаркого дня, когда мы бултыхались на ухабистой дороге в Бавлинском районе, Ильгиз резко остановил машину и, спрыгнув на землю, поднял капот. Оттуда с шипением вырвался пар, как из добротной каменки. Что случилось? Мотор перегрелся, стрелка на приборе глубоко забурилась в красный сектор. Ни он, ни я этого не заметили...

Пришлось нам довольно долго простоять, дожидаясь, пока остынет мотор.

— Ильгиз, — обратилась я к водителю, вспомнив, что через каждые пять тысяч километров пробега необходимо по инструкции менять масло в двигателе. — Наверное, пора уже масло заменить.

— На своем родном масле мотор только лучше будет работать, — ответил мне шофер. Я пристально посмотрела в глаза водителю. Разыгрывает он меня, что ли? А он так искренне, таким чистым, непорочным взглядом смотрит на меня! Доверяться мне инструкции после такого взгляда, или же этому трудолюбивому, уважающему меня попутчику? Ну не дурак же он, в конце-то концов, чтобы шутки ради испортить новую машину! Она же его кормит, как ни крути!

Сделав такие очевидные выводы, я успокоилась.

В другой раз он шутил уже более явственно. Мы ехали в сумерках по проселочной дороге в сторону Муслюмово, когда нас остановила встречная машина ГАИ.

— С какой целью разъезжаете здесь? — спросили милиционеры.

Ильгиз посмотрел на них полными правды глазами и ответил:

— А все с той же — попрошайничаем.

На новой машине? Побирušки? Гаишники рассмеялись. Ильгиз тоже присоединился к ним, похоже, что к своей работе он относился словно к несерьезной игре или комедии.

Но истинная причина такой выходки в тот раз не дошла до меня. Вроде бы паниковать-то мне было не с чего — ездим мы с ним много, а, значит, и дела наши делаются, и денег Ильгиз у нас получает больше, чем в автоколонне, и что самое главное — без задержек. В районах мы всегда останавливались на ночлег у моих родственников или у друзей, они нас очень приветливо встречали, как желанных гостей. И командировочные шофер тоже получал в полном объеме. Нужно сказать, что супруга его, Гюлина, нарадоваться не могла тому, что муж теперь работает у нас.

Не прошло и двух месяцев, как Ильгиз начал сокрушенно ворчать:

— Мадина-апа, мотор ведь начал стучать. Стучит себе и все тут! Вы вот ничего не замечаете! А он стучит!

Гарантия к тому времени еще не закончилась, и если это заводской брак, то можно ремонт сделать бесплатно. Но моторист из автоколонны сказал, что по вине шофера перегрелся мотор.

В таких случаях ремонт машины нужно было бы делать за счет водителя. Заставить его заплатить мастерам из своего кармана. Но я пожалела его, зная, что ему нужно двух детей кормить, не смогла предъявить ему счет за ремонт.

Он сам перебрал мотор возле грязной лужи на задворках автоколонны. Первый раз в жизни. Уж не знаю, сколько может прожить человек после того, как ему на сердце сделает операцию такой врач. Но наш бедолага «газон», вопреки всему, ожил и поехал.

Несмотря на всю эту возню с машиной, мы, конечно же, не могли не выполнять свои благотворительные задачи. Третий хлебозавод в то время выделял нам через день по двадцать свежеиспеченных батонов, мы привозили этот хлеб и раздавали полуголодным инвалидам и сиротам. Эта работа приносила мне большое удовлетворение. Я раздобыла особые пищевые мешки, принесла из дома клетчатую скатерть. Хлеб привозили в мешках и потом выкладывали на расстеленную скатерть. Булочки — горяченькие, свеженькие. Инвалиды и многодетные матери, которых заранее занесли в список нуждающихся, всегда ждали нашего возвращения с нетерпением и, не уставая расточать благодарности в наш адрес, уносили горячие булочки по домам.

В один из понедельников, когда мы возвращались с хлебозавода, на безлюдной улочке нас остановил патруль ГАИ. Молоденький сержант, проверив путевой лист, свернул его «кульком» и сунул раструб под нос шоферу, сказав:

— Дыхни-ка!

Потом, понюхав содержимое кулька, проводил Ильгиза в стоящую рядом патрульную машину. А там уже поджидал лейтенант.

Короче говоря, Ильгиз мой оказался не до конца протрезвевшим после воскресенья. Но шофер начал препираться с милиционерами, мол, я трезвый, как стеклышко, и я, сами понимаете, начала его выгораживать. Меня, конечно же, никто не стал слушать, посадили Ильгиза к себе в машину и повезли на медицинское освидетельствование в больницу. А мне, мне-то что теперь делать? Там ведь ждут с нетерпением свежий горячий хлеб бедняжки-инвалиды! Побрела я с мешком за спиной на трамвайную остановку. Видели ли вы когда-нибудь директора, волокущего огромный мешок? Не видели, так теперь увидите — это я!

А что же Ильгиз? После проверки в больнице у него отобрали права. Тогда для тех, кого поймали в нетрезвом виде за рулем, еще была возможность отделаться штрафом. Если руководитель напишет положительную характеристику с места работы и будет хлопотать за тебя. Разумеется, я пошла к командиру ГАИ, покаялась и поручилась за Ильгиза. Похвалила своего водителя и на словах, и характеристику написала такую, что можно за заслуги сразу к ордену его представлять. В милиции моим хвалебным словам вняли и заставили Ильгиза только штраф заплатить.

...Я копалась в бумагах, когда он зашел в кабинет и сел на все тот же потертый диван, слегка подавшись вперед и направив на меня невинный взгляд своих синих глаз.

— Вся родню обошел, никто не может мне дать в долг денег, — начал он разговор. — Но тетка сказала, что через десять дней у нее появятся деньги. А до этого времени велела у кого-нибудь другого занять.

Все понятно: его судьба в моих руках. Если права не выкупит, то останется без работы. А таких безработных — пруд пруди. Как же он сможет прожить-то, чем он детей будет кормить?

Правда, и у меня лишних денег не было. Из деревни приехал ко мне братишка, с ним я и посоветовалась вечером. Он на руководящей работе работает, и служебная машина у него тоже есть, так что шоферов он перевидал на своем веку немало. И с моим водителем тоже знаком, несколько раз мы с Ильгизом останавливались переночевать у брата.

— Водитель со временем как родственник становится, — сказал братишка. — А родственнику не помочь нельзя.

И достал из кармана необходимую сумму.

— На десять дней только, — успокоила я. — Ему тетя обещалась дать.

Ильгиза тоже предупредила:

— Я у брата на десять дней только попросила в долг.

— Конечно, конечно, — поспешил он заверить меня.

Выкупили мы права. Десять дней прошло, пятнадцать, Ильгиз про деньги — молчок. Конец месяца подошел. Я закончила все отчеты. Разговор о деньгах возобновился сам по себе.

— Мадина-апа, сделайте уж, чтобы у меня из зарплаты удерживали понемногу, — предложил мне должник.

Я осталась без слов. Посмотрела в его невинные честные глаза. Попыталась понять. Он же в автоколонне работал, рассуждала я. А на государственных предприятиях такой порядок: работников без полочки не оставляют, если есть долг, то гасят его постепенно. Кто дал мне право ломать эти устои?

Разве это в моей власти лишать его детей куска хлеба?

«Перед братом извинюсь за задержку. В августе-сентябре ожидаются неплохие заработки, тогда и рассчитаемся», — искала я выход из неприятной ситуации. Лишь бы машина не ломалась, да шофер не болел!

Но беда подкралась, откуда ее совсем не ждали. В середине августа тяжело заболел брат, так тяжело, что очень долго находился на грани жизни и смерти. И начались для меня черные дни.

Братишку положили в больницу в Казани и начали готовить к сложной операции. Мне пришлось ежедневно таскаться из одного конца города в другой.

...В пятницу, после обеденного перерыва ко мне в кабинет вошел Ильгиз и с ходу выпалил:

— Меня с понедельника отпустите, пожалуйста, в отпуск. Пока погода не начала портиться, хочу успеть отдохнуть.

Если бы мне в голову попали булыжником, и то, наверное, не так сильно оглушили бы. Какой отдых? Именно в те дни, когда наступает самый разгар работы! И потом, мне в больницу часто нужно ездить, так что — без машины никак не обойтись! За какие грехи карает меня этот человек, сковывая меня по рукам и ногам в такое тяжелое время? За что он мстит мне?

После долгого молчания я выдавила ослабевшим голосом:

— Я не могу сейчас дать шоферу отпуск.

— Тогда я увольняюсь, — услышала я в ответ.

Взяв со стола чистый лист бумаги, Ильгиз, даже не присаживаясь, лишь слегка склонившись над столом, начал писать заявление: «По собственному желанию...». Разогнув спину, он протянул мне листок. Я посмотрела ему прямо в глаза. На дне окруженной золотыми ресницами синевы плескалась какая-то непонятная мне радость, какое-то неуместное довольство. Отчего же это он такой радостный-то? От внезапного прозрения я чуть было не лишилась рассудка: ему радостно оттого, что я вынуждена унижаться перед ним, оттого, что я стою такая вся разнесчастливая и убитая горем! Вот, мол, смотри, кем ты себя считала, и кто ты есть на самом деле! Ну что, пришло время тебе меня умолять о помощи? Давай, умолай теперь меня, молись на меня, может быть, я и пожалею тебя, может быть, и не пойду в отпуск!

Но у меня в ту минуту и умолять-то сил не осталось.

Через некоторое время я, наконец-то, смогла взять себя в руки и продолжила разговор. Пододвинув к себе калькулятор, я начала подсчеты:

— Следи, — сказала я, — правильно ли я буду считать? Ты у нас проработал четыре месяца, значит, тебе положено восемь дней отпуска... Берем зарплату за один день... Умножаем на восемь, плюсуем сюда заработанное за половину августа... Даже долг вернуть не хватит... Так ведь?

Он до этого все улыбался чему-то. Но теперь веселье с его лица слетело, улыбка странно искривилась и покоробилась.

Я, пододвинув к себе машинку, отпечатала приказ. Не вставая со стула, повернулась и, открыв сейф, достала с железной полки его трудовую книжку. Вписала сегодняшнюю дату и, поставив печать, вручила документ в руки хозяину. На все ушло пять минут.

— Пошли! — сказала я.

— Куда?

В его округлившись глазах читалось неподдельное удивление.

— В гараж, — пояснила я. — Машину ставить.

Сели в машину, поехали. Когда подъехали к гаражу, он повернулся ко мне и спросил:

— Мадина-апа, мы же в больницу должны были съездить?

— Об этом не беспокойся. Мои проблемы тебя теперь не касаются.

Машину поставили во дворе около вонючей лужи. Ильгиз направился в сторону огромного неказистого сооружения — в сторону гаража. Голова гордо поднята вверх, на лице беззаботная улыбка. А чего ему печалиться-то? Вот он четыре месяца колесил со мной по районам, а осенью должен был довести дело до конца — вывести все грузы. А он переложил все это на меня. Теперь он вернется домой безработным без копейки денег в кармане. Но знает ведь, что ни он, ни дети не останутся голодными, потому что жена прокормит. Сегодня сыт, а завтра — хоть потоп. А сейчас ему наименее приятное дело предстоит — со слесарями от всей души «оторваться», «погудеть», увольнение свое «обмыть». Там, за застольем, он будет рассказывать, как запудрил своей начальнице мозги, будет смешить всех этими историями. Как он ловко прикидывался, что заботливо протягивает болты-гайки под капотом «газона», как перегрел грузовику мотор, как заставил ходить-хлопотать в ГАИ, как искусно провел с оплатой штрафа... Правда, в конце концов, посмеяться надо мной как следует у него не вышло, все, на что он способен — это выставить начальника глупцом, а себя умнее всех.

Вот тебе и сокол из дикой дивизии, стране — опора, семье — золотой столп.

На фоне переживаний за судьбу брата доставленные Ильгизом неприятности прошли как-то незаметно, потому что я работала тогда, как бездушный робот: наняла нового шофера, и всю предоставленную нам благотворительную продукцию мы вовремя вывезли из деревень.

...С тех пор минул год, сменилось несколько водителей. То ли пятый, то ли шестой из них начал сокрушаться, что в машине нет одной важной детали — диффузора. Из-за того, что эта деталь отсутствует, мотор, оказывается, перегревается. Поискали по магазинам и рынкам, но не нашли такой запчасти.

— Почему же машину выпустили с конвейера без диффузора? — недоумевал водитель. Тогда-то я и вспомнила: это же Ильгиз демонтировал деталь!

Поехали в автоколонну. Только я начала, было, расспрашивать, где мне найти Ильгиза, как он сам, словно ясное солнышко, объявился! После того, как ушел от нас, он еще полгода не мог найти работу и, улучив подходящий момент, вернулся на прежнее место. Где-то на чердаке гаража отыскал он эту причудливо просверленную пластмассовую деталь. Правда, чем-то тяжелым придавив, повредили один край у детали, но оказалось, что повреждение можно починить, подвязав проволокой.

Я решила немного пошутить на радостях:

— Ильгиз, нам должны еще одну машину выделить, если бросишь свою привычку, — характерным щелчком под горло я изобразила какую именно, — то я снова приму тебя на работу.

Он ответил мне, улыбаясь:

— Э-эх, Мадина-апа, кто же бросает такую привычку-то, а?

«А ведь и для него тоже есть свои святыни, — подумала я. — Он тоже умеет быть преданным чему-то».

Перевод Наиля Ишмухаметова

Я И ГОРОД БЕЛОКАМЕННЫЙ

Повесть (в сокращении)

ще никогда не тянулось время так медленно. Уф, алла! Каникулы, эти самые, летние, раньше пролетали прямо-таки исключительно быстро. А нынче все что-то не так. Утром, глаза продравши, о вечере мечтаю, вечером лечь не успеешь, ах, как утра хочется — невтерпеж! До чего интересно было на игрища смотреть, те, что на семиозерном лугу бывают, а теперь и туда не тянет.

Зуфар, хвальбишка, ветеринаровский сын, за лето прибарахлился — мопед купил. На что уж раньше был приставучий, а теперь совсем очумел, только вечер — глядь, уж тарахтит под окнами. «Хей, горожанка, привет семье и детям, выходи, пока папы-мамы нету, по лугам эх, и прокачу!»

Зуфар два года мне друг, но я теперь штучка не простая, с секретом.

— Смотри вперед да держись за землю: ляпнешься! Подумаешь, ас-водитель нашелся, взгромоздился на драндулет — и нос кверху!

Аса-водителя упоминаю нарочно — как-никак в городе побывала!

— Хей, горожанка, неженка Нажюк! Не задавайся, мазюкалка! Не пришлось бы в слезах домой возвратиться. Привет семье и детям! — Тарахтит Зуфар, тарахтит мопед, пыль столбом — покинул меня, и на кого же, ах-хи-хи-хи!

Кажется, всерьез чернявый разобиделся. День нет, два нет... А тот день желанный, когда в город мне ехать, — далеко он, этот день, ах далеко! Хей, веселая трын-трава, махнуть бы на все ручкой да умчаться, улететь! А уж поступлю в школу ту, художественную, — вот тогда посмотришь, Зуфарка-задавака! А на душе все же беспокойно. Оно вроде бы и сказали, что возьмут меня... но вдруг переполнена школа, вдруг кто-нибудь займет мое место... У Зуфарки рот небось до ушей растянется; высоко прыгнула, скажет, да вниз шлепнулась, не вышло из тебя ничего, вэт тэк!

Быстрее бы уж сентябрь. Быстрее бы уж день отъезда. Нетерпение так раздирает меня, что его замечают и отец с мамой. Они обращаются со мной куда мягче, чем прежде, разговоры ведут как с ровней, прямо так и гладят по шерстке. Родные вы мои!

Но время-то движется, земля-то вертится — вот и день моего отъезда уже совсем близко.

Мать готовит мне мои вещички, я собираю свои накопившиеся кисти, картоны, бумаги, заворачиваю их в старые обои, сверху еще в клеенку синтетическую и перевязываю лохматой веревкой.

В этот раз меня провожает мама. У отца много дела в лесу. Все же он приходит с работы и строго напутствует:

— Смотри, девка, учись так, чтоб за тебя краснеть не приходилось, ясно?

К шутке доброй мы в семье привычные, и потому я отшучиваюсь:

— Ну-у, уж если после целого года учебы да не попаду, домой и приезжать не стоит — прямо в Волгу и — с концами! — говорю я.

— Да чего там деньги-то переводить, ну, и профессору цельный год морока, ты уж сразу ныряй поглубже! — подхватывает отец.

А в Казани со мной шутки не шутят: хочешь — терпи, хочешь — нет.

Преподаватель художественной школы Натягунин в первый же день вызывает меня к себе в кабинет.

— Отец, мать есть? — спрашивает он.

— Есть, — улыбаюсь я.

— Смогут они год содержать тебя?

— Отец — лесник, мать — учительница.

— Квартира?

— Так я у профессора Галикаева живу.

— Прекрасно. Сын профессора Рустем тоже у нас учился. Способный парень, я бы сказал, очень способный, но ленив. Ленив, как многие способные дети. Я поговорю с профессором, Рустем будет твоим домашним учителем, проверять работы и... в общем, ясно?

«Очень он мне нужен», — думаю я, но рта не раскрываю и киваю головой: мол, что за вопрос, конечно, ясно! Потом Натягунин объясняет мне, что начну я сразу с третьего класса, а первые два должна перенять у Зухры Галикаевой, младшей дочери того же Нурмухаммата-абый.

— Вот так раз! — удивляюсь я. — Да ведь Зухра совсем малышка, в пятом классе учится, и вообще, при чем тут она?

— Очень просто. Если хочешь знать, Галикаева летом подала заявление о приеме и лучше всех прошла вступительный конкурс, — поясняет Натягунин.

Выходит, первый-второй — с малышкой Зухрой, а старшие два — дядя Рустем руку приложит и мне поможет!

Ну что ж, посмотрим, думаю я. «Посмотрим, — сказал слепой, — как безногий в пляс пустится», — любит повторять мой отец... И я принимаюсь за покорение города, большого и каменного.

По правде говоря, покорение это, кроме мучений, мне пока ничегошеньки не приносит.

Восемь мальчишек, две девочки — сидим на уроке. У всех планшеты, а на них бумага натянута, белая, красивая. У меня бумаги нет. Мальчишки хихикают, мне становится не по себе. Подумаешь, Леонарды какие лопухие! Я лихо раскатываю перед собой лист ватмана и выжидательно смотрю на учителя. Натягунин в это время ставит на стол длинношею посудину для молока из глины, красной и теплой, бархатную тряпицу стелет, на нее кладет желтую-желтую репу. Объяснив порядок работы, он уходит.

Я тихонько так, украдкой, поглядываю на мальчишек. Карандаши у них отточены длинно и остро, держат они их за самые кончики, бегают карандаши по бумаге ровно и быстро.

— «Вот она, школа!» А я что делаю? Карандаш у самого острия сжимаю так, что придушила беднягу, еще бы он рисовал, задушенный-то! И рисунок мой — не из смелых и точных линий, а из черточек семенящих, спотыкающихся. Покорение-то, значит, с карандаша начинается, с умения держать его.

Я осторожно ухватываюсь за кончик карандаша, и кувшин мой морщинистый исчезает под смелыми, однако удивительно неточными линиями. Зато они смелые! Да и мы тоже исключительно из себя смелые, джюк!

Тут я вспоминаю когда-то вычитанную историю. Говорят, из всех созданных зверей аллах невзлюбил тигра и в гневе исчеркал ему всю шкуру. Так и я исчеркала сегодня все мои старые рисунки.

Когда Натягунин возвращается в класс, я все еще увлеченно расчерчиваю свой кувшин. Я слышу позади себя забавное посапывание моего учителя и одно слово — «хорошо!». От этого слова среди мальчишек опять перекачивается веселое хихиканье, и Натягунин почему-то не пресекает их.

Через два часа урок кончается. Мальчишки и девочка Светлана уходят домой. Я остаюсь: сегодня первый мой разговор с учителем Натягуниным.

И он начинается с похвалы: «Ты, девочка, с головой, что к чему — вполне соображаешь, поработать с тобой я очень даже согласен». Чувствую, как теплая радость заполняет меня. Натягунин приносит два планшета, еще два листа ватмана и велит повторять за ним все, что он делает. Натягунин никак не может научиться произносить «Надзия», говорит, что будет называть меня Надей. Конечно, о чем разговор!

Мы натягиваем мокрую бумагу на планшет, высыхая, она лежит туго и ровно, маслянистый блеск пропадает, теперь, оказывается, готова она и под карандаш, и под акварель.

Потом мы еще два часа рисуем кувшин. Я пытаюсь водить карандашом так же, как и он, но выходит что-то такое дикое! Учитель терпеливо поясняет, показывая мне правила рисования. Оказывается,

художники все делят на целое и части, ищут пропорции. Натягунин объясняет, в каком соотношении высота и ширина кувшина, горлышко и выпуклость, кувшин и репа, чертит на листе, наглядно показывая выведенные пропорции.

— Это почему же художники всяких подобных линий не проводят, а берут карандаш и рисуют сразу? — смелею я.

— Они, Надя, пропорцию уже чувствуют, знают на ощупь, вот как ты знаешь буквы. Это называется глазомер.

Хоршее слово — глазомер. Теперь, значит, мне, кроме умения держать карандаш, надо научиться глазомеру — определять пропорции любых предметов, так, что ли?

Рисуя кувшин, я запоминаю еще одно слово — «фактура». Учитель объясняет мне, что стекло, дерево, глина отражают свет совершенно по-разному, и блики на них тоже разные, отчетливо-радостные на стекле, рассеянные на дереве и сонно-шершавые на глине.

«Понятно, почему у меня кувшин непохожий получается!» — отмечаю я и опять жадно внимаю словам учителя.

Но больше ничего в мою голову уже не лезет — Натягунин отправляет меня домой.

В тот же день пишу я письмо отцу и маме.

Дни мои в городе потекли, как большая река в ледоход, переполненные, забитые всяческими заботами. Первым делом я, конечно, мчусь в библиотеку художественной школы. Беру книгу «Начинающему художнику». Дальше я читаю книгу о передвижниках, читаю будто увлекательный роман, и тоже за один раз.

Бегу по музеям. В тот, что у Кремля, хожу три дня подряд. Затем иду в Музей изобразительных искусств. В душе моей масса противоречивых чувств. Желания, надежды и опасения. Во мне вдруг зарождается сомнение. Изобразительное искусство так необъятно, так прекрасно, просто и сложно, да смогу ли я создать хоть в самой малой степени что-нибудь подобное!

Если постоянно думать об этом — недолго и в панику удариться. Ладно еще не все потеряно — есть художественная школа, есть Натягунин. Он вновь сажает меня за мольберт, и вновь я рисую тонкошей кувшин и желтеющую репу. И вновь я слышу за собой ехидный смешок медноголового Бари и веселое хихиканье остальных.

«Ну, заяц, погоди!» — говорю я, вспоминая телевизионного волка. Обхихикавшемуся Бари в его медную голову требуется набить знания за восьмой класс, целый год еще ему долбить книги, а у меня одно дело — рисовать, да еще, пожалуй, облазить вновь все музеи...

Временами мы собираемся втроем. Зухра, ее отец и я. Нурмухаммат-абый смотрит наши творения, улыбается краешком губ или задумчиво склоняет голову. На похвалу он скуп, и мы сидим и гадаем — то ли нравится, то ли нет. Нурмухаммат-абый — профессор биологии, а она, как известно, наука теперь хитрая, открытий в ней ожидается прямо-таки громаднейшее количество (это профессор так считает), и вот как заберется он в свои дебри — сидим и глядим в рот профессорский — за-а-ани-матель-но! Профессор раскрывает нам мир чудесной, звонкой мечты, что называют романтикой, разжигает наше увлечение научной фантастикой.

Мои отношения с членами приютившей меня семьи сложились с каждым по-разному.

Профессор надеется, что я не зря взялась за карандаш, к труду подвижническому вдохновляет меня. С тетушкой у меня кухонные контакты, во всем я ей старательная помощница — приняли меня к себе, и вам, тетушка, за это большое спасибо! В неделю раз мою полы, а на меня гляючи, и Зухра приноравливается. Утром, вечером посуду мою. Да и мыть ее благодать божья, кран отверни — вода горячая течет, хочешь час, а хочешь день! С Зухрой мы в школу ходим, в кино, в музей, рисунки друг дружки то хвалим, то ругаем, в общем, с нами дело ясное.

А вот с Рустемом беда. Какой-то он странный. То, что я на отчаянный приступ города кинулась, — он этого будто и не замечает. Игнорирует меня. В институт уходит, из института приходит, а меня словно и не видит. К нему друзей набивается ватага, все лохматые — ужас! Музыка оттуда магнитофонная несется, гитары у них, кра-а-сивые и, как сами говорят, очень даже дорогие. Бренчат эти самые гитары, а как подходит время Нурмухаммат-абый и тетушке Гульджихан с работы возвращаться — все исчезают. Когда они уроки готовят, когда книги нужные читают — это простому человеку, вроде меня, совершенно непонятно. А со мной Рустем и разговаривает-то будто с малым ребенком, «снисходит». И будь он хоть раскрасавец какой сказочный — для меня что он, что пень — все равно. Но пень-то пень, однако не навожу ли я тень на плетень? Тянет меня к нему, очень тянет...

За окном рассвет старательно отмывает ночь, черную замарашку, тихую и забытую. Люблю я предрассветную пору, особенно летом, да еще в деревне. Петухи голосят, коровы мычат, рожок пастуха слышится. И сон покидает деревню.

Корову со двора обычно выгоняю я. Сосед — плотничьих дел мастер — Гыйльфан-абый, увидев меня, улыбается сквозь усы:

— Эх, сыновей бог не дал, уж я бы уговорил Вафу, забрал бы у него Нажюк, честное слово!

Я краснею как маков цвет — стесняюсь...

Вот и сейчас я вспоминаю о нем. Мы — тетушка Гульджихан, Зухра и я — спим все вместе в одной комнате. Вернее — спят они, сладко, по-ребячьи посапывая, а я — я смотрю в потолок. И делать вроде бы нечего, и спать неохота, и ходить неудобно. В общем, что ни говори, я не у себя дома. Наконец все-таки встаю и, ласково поглаживая босыми ногами пол, скользя в ванную. Умываюсь, хватаю купленный с Рустемом в худсалоне громадный этюдник и выбегаю на улицу.

Желтоперые нахохлившиеся осенние деревья будят в моей душе какие-то далекие и грустные мотивы, я вновь вспоминаю доброго Гыйльфан-абый. И слова его, зажигавшие на моем лице красные зори, кажутся теперь какими-то загадочными, добрыми, близкими... Я представляю себе усатое, улыбочное лицо старого мастера, разбиваю его на квадраты, ищу пропорции, заполняю получившиеся квадратики глазами, бровями, носом и, пораженная, вглядываюсь в прозрачное видение. Из квадратиков смотрит не Гыйльфан-абый, а изводивший меня в деревне хвастливый Зуфар. Я даже слышу тарахтенье мопеда, и... пронзительно вскрикивает за моей спиной такси, я испуганно отскакиваю в сторону.

Из такси выпрыгивает лохматый черноволосый юноша, а за ним дева — «гроздь волос ее золотых рассыпаны были по белым плечам...». Ба, да это Рустем! О-ла-ла! Я быстро поворачиваюсь к ним спиной, а в ногах слабость непосильная, и сердчишко закололо... Дела-а...

«Слышится смех серебристый ее» — во ведьма! Я, тарахтя этюдником, лечу к железнодорожной насыпи... Что? Откуда железная дорога? А разве я еще не сказала? Нурмухаммат-абый живет в одном из самых красивых уголков Казани, и называют этот уголок в пареде не улицей Новаторов, а «Кубой», и вот по каким признакам. Улица Новаторов — это как бы полуостров: справа овраг, слева овраг, а в оврагах сады яблоневые. С третьей же стороны — железная дорога, а за ней река Казанка «волны катит, незлобива и тиха». Во как! И любят железнодорожные люди этот свой уголок, и зовут гордо и громко — Куба!

«На Кубе живу!» — так заявляют гордые железнодорожники.

Так вот, я побежала на железнодорожную насыпь. Запыхавшись, опускаюсь прямо на рельсы. Раскрываю этюдник и вглядываюсь в одинокую березу. Художники почему-то говорят не «рисую», а «пишу». «Якупов написал новую картину». Поначалу это казалось мне очень странным... Теперь я уже сама себе говорю: «Пишу». Конечно же, я пишу, пишу эту вот березку-сомнамбулу. Когда вечером я пробегаю из школы, она тянется ко мне из спутанного марева деревьев робко и доверчиво.

Сейчас она словно бы вырвалась из толпы своих подруг и купается в солнце, радуясь, что живет в этом чудесном мире, просыпается в ней что-то, как в девушке, к которой пришла первая любовь... Я пишу о ней, пишу ее. И то, что я узнала в школе, вплетается в эту осеннюю музыку, раскрываясь для меня совершенно в новом и ярком свете. «Непрерывность линий», — твердит мне Натягунин. Это значит — та линия, которая написана на одном вздохе. И душа моя прозревает, столько нового открывается ей, верного и прекрасного. Для художника недостаточно уметь рисовать; вложить в произведение сердце свое и дыханье — в этом художник, творец...

Я, забыв все на свете, не замечая толпы собравшихся мальчишек, пишу свою золотую березку. Краски сливаются, смешиваются... не с водой, нет... с грустью моей и с радостью. И, рождаясь вновь на листе моем, зовет и тревожит меня моя березка. Легкость необычайная переполняет меня, поднимая в прозрачное небо. Крылья мои вздымаются ровно и сильно, лечу к далеким лесам на горизонте, к дубравам и рощам, а за ними пятна озер, светлые реки, моя родина, мои друзья и одноклассники.

Скучают ли они, помнят ли? Как я скучаю по ним! Крылья мои, слышите?..

Гремит, захлебываясь гудком, пассажирский поезд. Машу рукой ему, считаю вагоны «Казань — Киров». Бежит к местам моим, к родному Агрызу.

«Передайте привет им, вагоны! Передайте привет, машинисты! От Нази Ханнановой, что живет в городе большом и каменном, на чудесном полуострове Куба».

В моей жизни теперь все идет своим чередом. Рисую без усталости по шесть, восемь, даже по десять часов в день. А березке моей Натягунин был очень рад. «Ну, еще парочку таких композиций, и вполне можно в училище!» И целый месяц уже ждет от меня новую «березку». Я пишу... и старую иву, и дуб, сожженный молнией. Клонит голову Натягунин, молчит.

Он в недоумении. Ну почему это я написала одну хорошую, очень хорошую акварель, а больше ничего не получается?

Я и сама этого не понимаю...

Через месяц, спускаясь утром на этюды к Казанке, я опять встречаю Рустема с его желтоволосой подругой. В этот день я пишу автопортрет. Досыта смеюсь над собой, над природной радугой красок, разлитых на моем лице. Огромные глаза чуть хитры и пронзительно сини. Симметричные ряды веснушек вывожу аккуратно и четко. Вздернутый нос торчит задорно, и на губах язвительная ухмылка. Это моя месть заносчивому Хрусту, так я иногда называю Рустема.

Натягунин изводит меня, требуя новую удачную работу. Я показываю ему этот свой автопортрет. В первый момент он застывает, будто молнией ударенный. Смотрит он долго, потом вдруг вскрикивает: «Здорово! Наденька, замечательно!» Затем, спотыкаясь, убегает в учительскую.

А настроение у меня удивительно мерзкое. Портрет мой, сработанный исключительно для того, чтоб отомстить противнику Хрусту, вдруг оказывается не тем, что требовалось. Тут-то и подвертывается медноголовый Бари. Он все еще мечтает посмеяться надо мной, видимо, решил, что настал удачный момент. Вокруг нас толпятся мальчишки. Я вплотную подхожу к медноголовой Чебурашке и говорю томно и громко:

— Бари, дружок, я понимаю, что ты ужасно влюблен в меня, но зачем так ясно показывать это? При посторонних как-то неудобно...

Бари потрясенно выпучивает глаза, лицо его заливается краской, а мальчишки вокруг заходятся от смеха. Не оборачиваясь, я удаляюсь лебединой поступью.

А дома меня ждут неприятности. Вернее, неприятности вторгаются в дом Нурмухаммата-абый. У открывающей мне дверь тетушки Гульджихан на глазах слезы.

— Что случилось, тетушка? — спрашиваю я испуганно.

— Ой, Назия, и не спрашивай! Рустем институт бросил...

— Да ну? Почему? — только и могу я произнести.

— Да кто их поймет, молодежь-то нынешнюю, от сытости с жиру бесятся. Мы-то, мы-то с отцом столько перенесли, чтоб знания получить! Их бы, бездельников, на наше место, почувствовали б, негодные, как все это достается, так ведь нет... — обиженно причитает тетушка Гульджихан.

Я прохожу на женскую половину. Из соседней комнаты доносится голос тетушки, что-то со слезами выговаривающей Рустему, душераздирающую, тоскливую тираду ее прерывает голос профессора:

— Перестань изводить себя. У каждого свои ошибки. Поработает вот с годик на заводе, там видно будет.

Наступает тишина. В душе я, конечно, поддерживаю тетушку Гульджихан. Жалко ее, а хрустовские выкрутасы мне никогда не понять. Уж как люди стараются в институт попасть, по три-четыре раза экзамены сдают, а он хорошо сдал, и давалось ему все легко. Ума нет — как зовут? Рустем Галикаев! Строительный институт, будущий архитектор! Я поеживаюсь: что-то не по себе стало. Будто меня из художественного вышибли.

С неделю в доме все уныло молчат. Рустему запрещают поздние прогулки, да и сам он после этой истории присмирел и притих. Устроился на заводе слесарем; утром уходит, повесив на плечо рабочую сумку. На ногах теперь не штатовские платформы «консул» — сапожки кирзовые в полпуда; на голове фуражка помятая, и завитки волос торчат из-под нее смешно и жалко.

По классическим канонам тело человека делится на восемь частей, причем на голову приходится как раз одна восьмая. Это у взрослых. У мальчишек голова составляет одну шестую. Самая же верная пропорция у юношей. Голова Хруста, бывшая для меня образцом пропорциональности, теперь как будто вдруг увеличилась. Еще вчера изящный, точеный архитектор, теперь — в помятой кепке и огромных сапогах — вдруг превращается в приземистого, крепко сбитого работягу. Но дорог он мне по-прежнему. Да что там: раньше он был для меня недостижим... Архитектор! Американские костюмы в фигурных клепках. Гитара стоимостью с пианино. Желтоволосая мадонна. Как это вам? О-ла-ла! А теперь — вот он, земной и близкий. Он в кирзовых, а я в валяных. Маменька из деревни прислала. А что? Тепло. Но все же надо подумать, может, мне теперь прибарахлиться, стать модницей, стилисткой? Паспорт уже в кармане, не маленькая, так зачем у меня бантики-то торчат? Вот мы их обрежем и такого «гавроша» закрутим! Это — раз. Пальто у меня зимнее — воротник весь облезлый, да и шалька шерстяная лохматиться вздумала. Что, родители мои меховой берет не в состоянии мне справиться? Модницы эти городские, ходят же они в сапогах на платформе! Что, не хватит у папеньки с маменькой денег на сапоги? Что, я хуже здешних? Вот скину валенки, надену платформы, о-ла-ла! И губы незачем такие тонкие, насмешливые. Взять помаду —

и вот так! Бантиком фигуристым, что я, рисовать не умею, что ли? Вот теперь пусть попробует Рустем меня не заметить!

Я, довольная своей выдумкой, веселюсь от души. Хорошо еще, что дома никого, кроме Зухры, нет. Разыскав в шкафу тетушкину шляпу с павлиньими перьями, водружаю себе на голову, туфли лакированные, сумочка замшевая, а походка! Стиляга, как есть стиляга!

Потом, обнявшись с Зухрой, хохочем до слез, включив рустемовский магнитофон, прыгаем по комнате... Уф! Когда приходит тетушка Гульджихан, мы, усталые, тихие, сидим рядышком на диване.

Поглядев в нашу сторону, она уходит на кухню, но вскоре возвращается обратно, проходит в свою комнату, в кабинет, опять выходит к нам, в общем, видно: есть что-то у тетушки на душе и хочет она этим «чем-то» поделиться.

Наконец тетушка посылает под каким-то предлогом Зухру в магазин и, вздыхая, подсаживается ко мне.

— Узнала я, Назия, узнала все как есть... — шепчет она мне, будто что-то недозволенное.

— А что — все, тетушка Гульджихан?

— Это почему Рустем из института ушел, вот что...

— Ну?

— Та желтая девица... бросила она его!

— Какая? — вскидываюсь я, и мне становится ужасно стыдно за свою несдержанность.

— А та самая... что на такси все с ним разъезжала. Я уж от отца-то скрыла. Довела мне сына до хорошей жизни, знаешь ли, он совершенно как околдованный был. А та, думаешь, что сделала?

— А что?

— С приятелем Рустема куда-то в Алтайские горы укатила.

— Неужели? — удивляюсь я, а в душе моей радость взмахивает крыльями.

Тетушка Гульджихан проникновенным голосом все рассказывает о «желтой девице», но я не слышу — ведь Рустем свободен! И я строю планы, один другого смелее и красивее.

Но мои планы оказываются выстроенными на песке. Родители в ответ на мое письмо, в котором я просила денег, чтобы купить все, что нужно для модницы, ответили двумя словами:

«Денег нет». Отец уже несколько лет замышляет постройку нового дома, деньги нужны ему позарез.

Ну, да я из неунывающих! Решаю: раз надо — найду и сама. У моей одноклассницы Светланы мама — врач. И говорит однажды этот врач: вот, мол, человек им нужен в больницу, ночью на вешалке дежурить, да что-то никак не найдут. А еще уборщицу ночную надо бы, прямо беда... Тут выскакиваю я и радостно кричу, что есть такой человек, что я на все согласна!

Ночи напролет дежурю теперь на вешалке, убираюсь, халаты подаю всем с большим уважением. В свободные минуты, естественно, берусь за карандаш. Рисую по очереди всех нянечек, говорят — похоже! Смеются, радуются, я уже совсем тут своя. Месяц проходит: «считайте деньги, не отходя от кассы». Еду на толкучку и покупаю себе сапоги-чулки на платформе. Потом полдня томлюсь в парикмахерской, зато «гаврош» получился самый что ни на есть стильный.

И вот, высокая, на платформе, с гордо поднятой головой, захожу домой. Слесарь Рустем, увидев меня, поперхнулся даже. Но я вида не подаю, прохожу мимо, скучающе и небрежно. За ним следом столбенеет и Нурмухаммат-абый, и лишь тетушку Гульджихан поразить никак не удается:

— И-и, деточка, загубила волосы-то, — говорит она своим тихим, «пушистым» голосом.

Наверное, оттого, что идут от чистого сердца, слова эти переворачивают мою душу. Я вдруг начинаю казаться себе такой жалкой, несчастной. Скинув сапоги, бросаюсь на подушку, и слезы сладко-соленые текут и текут, принося невиданное облегчение...

«С кем поведешься, от того и наберешься», — любит повторять мой отец. Раз уж живешь в городе, изволь и одеваться по-городскому, да и деньги за сапоги эти уплачены, теперь выбрасывать жалко, сама над собой посмеюсь, а носить их буду!

Но не проходит и недели, я, простудив ноги, с опухшим горлом валяюсь в постель.

И радуюсь этому несказанно. Думаете, кто становится моей нянькой, когда я больная лежу на кровати, — Хруст. Рустем то есть Галикаев! Он вызывает врача, он получает рецепты, бежит с ними в аптеку. Рустем, никогда меня не признававший, положив руку на пылающий мой лоб, заботливо мерит температуру. Если б раньше заметил он мое пылание! Не сейчас, когда я в болезни столь жалка и слаба. Страшно мне не хочется пребывать в слабости, и я отталкиваю его заботливую руку, пытаюсь доказать, что нет для меня жалких положений, не выдуманно еще!

Мои потуги вновь вызывают у Рустема чувства превосходства и насмешливого покровительства. Он, словно опытный врач, что разговаривает с больным ребенком, говорит:

— Больная Ханнанова, вот эту микстуру извольте принимать в день по три раза. Перед употреблением не забудьте взбалтывать.

Я чувствую, как насмешливая ярость начинает ворочаться в моей тяжело дышащей груди, клокочет в опухшем горле. Вспоминаю медноголовую Чебурашку — ну, погоди, братец!

— Галикаев! Не хочешь ли сказать мне, отчего это некоторые люди в Алтайские горы столь ужасно влюбленные? И еще отчего это они иногда так поспешно к этим самым горам устремляются? — улыбаюсь я.

Рустем на мгновение теряется, но вот до него доходит, что удар мой остер и обдуман, он морщит красивые брови, щурится по-прежнему снисходительно:

— А! Ехидна... не пора ль пристрелить тебя?

Уходит. Целый день его нет рядом со мной, до вечера я одна, но, чувствуя силу в себе радостную, я начинаю заниматься самолечением.

Прописано мне полоскать горло чайной содой: ложка на стакан теплой воды. Это кому как — я же бухаю три: вот, теперь нормально. А и крепка, проклятая, от горечи все нутро горит, но я полощу горло. Потом ложусь и пытаюсь заснуть.

Грохочет вдали поезд. Я мчусь к нему. Нет, не добежать: гудит он прощально, пыхтит, утопая в клубах белесого дыма, откуда-то выносится Зуфар на велосипеде, подхватывает меня и рвется за поездом, превращается в красную точку поезд. Я в беспокойстве, хочу крикнуть вслед поезду, вслед машинисту в высокой фуражке, ах, невозможно! Голос пропадает, велосипедист оборачивается ко мне, кладет руку на мою легкую голову, перепуганная, я узнаю Рустема. Сознание колеблется, упорно пытаюсь покинуть меня, напрасно! Рустем подхватывает меня на руки, и мы летим к облакам. О, какие это красные, красные облака! Тело мое, лицо, руки в невыносимом пламени... Я задыхаюсь в огненных потоках, но что-то холодное кидается мне на голову. О, как страшно!.. Открываю глаза. Мокрое прохладное полотенце в руках тетушки Гульджихан, в глазах ее участие, добрая и чуть грустная улыбка...

Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь... Пять месяцев... Пять месяцев живу я в городе, большом и каменном, далеко-далеко от мамы, папы, от сестры моей Руфии, от всех. Соскучилась ужасно. Так хочется их увидеть, если бы вы знали!

Бывало, только наступит рассвет, и мы уже на ногах, хлопочем по домашним делам, толковые и несуетливые. А потом хлопают двери, и все четверо на все четыре стороны. Мама — в школу, мы с Руфией в соседнюю деревню, тоже в школу, отец, взгромоздившись на велосипед, катит в лесничество. А вечером он привозит какой-нибудь причудливый кусок дерева или древесной коры, затейливо переплетенный корешок и непременно спрашивает:

— Назия, взгляни-ка. А что, вот этот корень — ничего тебе не напоминает?

Я начинаю вертеть деревяшку так и сяк, поначалу ничего особенного не вижу, но потом проявляются или цапля одноногая, или медведь, или еще что...

Однажды Руфия, взяв такой узловатый корешок в руки, радостно вскрикивает:

— Папа, да это же Шаяхмат-бабай!:

И точно, со стола будто смотрел на нас согбенный, подслеповатый старичок с кривой палкой в руке...

Да, уже прошло пять месяцев... То ли уж тетушка Гульджихан недолюбливает мои стилижные платформы, то ли «гаврош» тот самый замысловатый ей не приглянулся, но как-то, придя домой, она мне говорит:

— Ты, Назия, бросила бы работу да взялась покрепче за учебу. Тебе ведь, деточка, не только рисование — русский язык еще надо сдавать.

О своей болезни я не пишу родителям ни слова. Решаю, что после декабря, в каникулы, съезжу домой, потом уж уйду с работы, а в школу буду ходить и с третьим, и с четвертым классом.

Откровенно говоря, я очень рада, что не поступила в училище осенью. Как бы я там училась! Что у меня за душой было — неумелые рисунки да свидетельство за восьмой класс.

Когда в каникулы приеду домой — будет о чем рассказать.

Забавного, что ни говори, было немало. Да не обо всем расскажу. Ну, как я, положим, скажу о моем влечении к Рустему?

Однако рассказать все-таки будет о чем.

Однажды вышла такая история. Тетушка Гульджихан обожает кошек и котов. Дома у них живет черная, как уголь, и блестящая, как сапог, кошка Мурка. Каждый год она приносит котят. Их надо как-нибудь пристраивать. Одного я унесла Светлане в школу. Спрятала за пазуху, жду Светлану, что-то она запоздала. Садимся за мольберты, а ее все нет и нет. Пока я раскладываю кисти да краски, котенок умудряется

удрать у меня из-за пазухи. Ну, думаю, пропала моя головушка, нагоняй будет — о-ла-ла! И что вы думаете? Наталья Карловна становится вся такая умиленная, кричит:

— Ой-ей-ей! Какая прелесть! Кыс-кыс-кыс! — И пытается поймать котенка.

А тот пускается куда-то под мольберты, под стулья. Мы бросаемся его ловить. Мебель летит, вода льется — светопреставление! Наконец, когда котенок начинает ужасающе громко протестовать, отчаявшись вытащить одну из своих конечностей из-под конечности кого-то из нас, его ловят и торжественно вручают преподавателю.

Оказывается, на этом деле не одна тетушка Гульджихан помешана. Наталья Карловна, к примеру, аж помирает от любви к кошачьим отпрыскам. Мне, естественно, ни одного слова лихого не говорится. Чем не веселая история? Приеду домой — обязательно расскажу.

Еду домой на поезде «Казань — Киров». Арск, Кукмор, Можгу я вижу во второй раз. Земля белая-белая, а снег какой-то неровный, волнистый. Березовые рощи вдали едва заметны, словно дымком затянуты. Интересно, можно ли подобрать этот, чуть напоенный голубым, легкий и дымчатый цвет? А еще есть в нем красноватые искры. Красиво и удивительно воздушно. Ели на бескрайней белизне кажутся особенно темными, даже черными. Все шесть часов я сижу у окна, смотрю и не могу оторваться.

В Агрызе стоит трактор из колхоза, на нем добираюсь до соседней деревни, оттуда ножками до Кульбая. По скрипу снега под ногами соскучилась — ужас! С каждым шагом, с каждым шагом так по-свойски и дружелюбно скрипит он!

Наши все дома, как-никак вот-вот Новый год.

— Отпросилась? — спрашивает отец, поздоровавшись.

— Раньше отпустили. Велят медный кувшин да пару лаптей привезти, — добросовестно шевелю я замершими губами.

— Инструмент лапотный, кочедык там или еще что, не надобно?

Вот всегда так. То ли шутит, то ли нет — непонятно.

Я и вправду не сказала родителям ни слова о своей болезни. Не хотелось беспокоить.

Все же, приехав из деревни, чувствую себя не в своей тарелке. Тело здорово, да душа не совсем. Я начинаю злиться, что не могу не думать о Рустеме, и потому, видимо, из обычной веселой, насмешливой Нажюк постепенно превращаюсь в отчаявшуюся глупенькую девчонку. Мне начинает казаться постылым даже мир моих рисунков, и это очень пугает меня.

Спасает же прежнюю Нажюк приехавшая в Казань выставка юной художницы Нади Рушевой, ушедшей из жизни в 17 лет. Прочитав об этом в газете, я бегу в Музей изобразительных искусств.

Первый раз в музее так много народу и такая тишина. Строгое молчание сотен людей само по себе рождает определенное состояние души и готовит к принятию чего-то большого, значительного.

Учителем Нади, ее наставником был академик Ватагин. В месяц раз она шла к нему с толстой папкой рисунков. Учитель-академик — это, конечно, не шутка! Но академик академиком, а ученик должен быть художником. Я вот полгода работаю по советам Натягунина. Из хроменького состояния вышла. Пишу акварелью. Мне уже подчиняется фломастер. А вот о темпера, офорте я имею понятие лишь по книгам... Работать, работать, засучив рукава, невзирая ни на что. Эти мысли проносятся в моей голове, когда я осматриваю первый зал, детские рисунки Рушевой. Но второй зал меня потрясает. Забыв обо всем, я погружаюсь в прекрасное, созданное моей тезкой. В 16 лет Рушева иллюстрирует «Войну и мир». Я перечитывала роман у Нурмухаммата-абый, и ее рисунки к этому грандиозному эпосу для меня словно какое-то чудесное откровение.

Надя создала свою Пушкиниану. Пушкин живет в душе ее, воплощаясь в каждой огненной и нежной линии. И тот Пушкин кажется мне ближе, чем портреты великих художников. Меня притягивает по-детски заостренный рот Пушкина, светлое облако легких кудрей — у других оно темное, это облако! Я ощущаю почти физически Надину смелость, решительность. Я раздосадованно спрашиваю у себя: «Почему я не пишу Тукая? Почему эта мысль даже не приходила мне в голову? Почему мне никто из старших не посоветовал сделать это? Почему бы мне не воплотить вот в таких же легких непрерывных линиях, в таком же светлом, радостном ключе моего любимого поэта — синеглазого Такташа? Надя Рушева рисовала богов любви и смерти. У нас нет подобных богов, понятия мои о них весьма отвлеченны, но есть же на свете Галиябану и Халил, Юсуф и Зулейха, носившие в себе большую любовь, знакомые мне с детства. Я вновь спрашиваю себя: как Рушева смогла так полно влиться в мир прекрасного? Отец у Нади — музыкант, мать — балерина, дед был художником. Ее подготовленность, следовательно, не ограничивается художественной школой, понимание прекрасного идет к ней от поколения к поколению. Надя живет в мире музыки, в мире танца. В 15 лет она едет в Варшаву. В 15 лет я впервые покидаю свою деревню. В 15 лет я впервые встречаюсь с городской жизнью, непосредственно с искусством, о котором

знала только по книгам. Передо мной еще дел — непочатый край! Вместо того чтобы фанатически отдаться работе, я хожу разобиженная на Рустема Галикаева, жалкие слова произношу: он, мол, меня не замечает, он меня не признает. Да зачем ему меня признавать, он же пока недосыгаем для меня: на гитаре играет, на фортепьянах, музыку со всего мира на магнитофон записывает. А если говорить без дураков, он же всю библиотеку отца-профессора прочитал, и читает такое, о чем я и понятия не имею. Я должна догонять его, догонять безостановочно и перегнуть, и заставить его самого бежать за мной...

Устав от мыслей, я бреду по залу и вдруг застываю у автопортрета Рушевой. Я вспоминаю свой автопортрет! Вот почему Натягунин хвалил меня. Получается, я тоже в какой-то миг достигла Надиного мастерства, сумела перенести на ватман душу. Это окрыляет меня.

Я читаю отзывы о выставке Нади Рушевой. Меня бесконечно волнуют слова зрителей, их восхищение Надей. Меня волнует оценка академика Ватагина: «Я имею счастливую и ответственную возможность наблюдать развитие необычных способностей Нади Рушевой в течение одного года. Я вижу, что как художник она растет не по дням, а по часам. Ее рисунки далеко выходят за пределы «детского творчества», но и среди взрослых художников едва ли многие могут поспорить с легкостью ее техники, чувством композиции, с остротой ее образов, с ее творческим восприятием мира». И другие художники говорят о безупречности пропорций ее рисунков, легкости ее техники и изумляются прекраснотой всех без исключения ее героев. «У нее даже бабы-яги и черти какие-то святые», — поражаются художники.

Надя очень рано освоила технику акварели, темперы, офорта, мастерство ее в этих областях быстро росло, но особенностью ее всегда оставалась легкость линии, сразу, без подготовки и поправок проведенная карандашом или же цветным фломастером. В переходный период, на что сетуют художники, у нее не замечается никакого спада, мечта ее по-прежнему звонка и чиста, и вот, совершенствуясь изо дня в день, в 17 лет... она умирает от кровоизлияния в мозг.

Сглатывая подступившие слезы, выхожу из музея. Клянусь себе никогда не предавать тезку, продолжить начатое ею дело...

Перевод Рашида Ахунова

ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ

ХАРАКТЕР

работал, когда ко мне в комнату чуть ли не ворвались внучка Диляра с внуком Данияром. Оба взбудораженные, агрессивны настроенные друг против друга. Данияр — так тот вовсе покраснел, вот-вот расплещется.

— Что случилось? — спокойно спрашиваю.

Знаю, что внуки мои такие — если и поссорятся в пух и прах, то очень скоро помирятся и снова будут не разлей вода.

Как всегда принялись оба сорванца наперебой объяснять мне причину ссоры.

— Погодите-ка, — стараюсь остановить я их, — не все сразу, говорите по очереди.

— Дедушка! — звенит голос Диляры. — А он на пианино ногой играл!

— Нет! Нет! — кричит Данияр. — Не играл! Не играл!

— А вот и играл! Он играл, дедушка, точно играл!

— Не играл! Диляра обманывает, я не играл!

— Играл!

— Не играл!

И тут Данияр в пылу спора в сердцах закатывает своей старшей сестре оплеуху.

Поднять руку на старшего по возрасту в татарской семье считается большим грехом. Поэтому я сразу же схватил Данияра за руку и строго спросил:

— Как ты смел поднять руку на апа?!

— А чего она врет?.. — не унимался Данияр и, изловчась, пнул сестру.

Этого я уже не выдержал и шлепнул пострела по мягкому месту. Данияр как будто ждал этого и еще пуще залился слезами, заревел белугой, забился. Достигшая своей цели Диляра тихонько шмыгнула из кабинета.

— Не плачь! — тщетно пытался я успокоить Данияра. — Прекрати сейчас же и перестань вертеться!

Куда там!.. Если раньше в подобных обстоятельствах внучек успокаивался относительно быстро, то сегодня словно бес в него вселился.

— Не играл!.. Я не играл! — весь в слезах кричит он.

Да... И «дедовский» ремень не помог. Более того, Данияр впал в истерику, буквально задышался в плаче, бился в слезах. Я испугался: такого еще не бывало. Попробовал успокоить — напрасно. Позвал супругу Наджибу — и бабушкины объятия и причитания не помогли. Ребенок захлебнулся в непрерывном плаче, его схватила судорога, лицо побелело, дыхание перехватило. Моя Наджиба сама принялась плакать, а вертевшаяся рядом внучка Диляра забилась в угол и испуганно смотрела на происходящее.

Взволнованный, я опустился на колени перед внуком и принялся его утешать, шепча ему: «Данияр... Данияр... Сыночек... Миленький... Нет... Не играл ты, конечно, не играл, успокойся...» — и что-то еще в этом роде, уже не помню всех слов, падавших с моих побелевших губ.

— Ох, погубили ребенка, погубили... — ломала руки моя Наджиба. Однако через несколько мгновений — таких долгих! — Данияр, наконец, стал отходить: дыхание восстанавливалось, лицо розовело. Но все его тельце по-прежнему трепетало.

— Я... а... не играл... ногой... не... иг...рал, — время от времени повторял малыш.

Даже полностью оправившись от приступа и лежа на постели, он стоял на своем:

Диляра обманывает, я не играл ногой. Не играл...

И так до самого вечера (а дело произошло в полдень) твердил маленький Данияр о своей невинности.

Спрашиваю Диляру:

— А ну-ка, выкладывай правду! Обманула ты или нет?

Девочка растерялась, даже заикаться стала:

— О-он... сказал, что... что буду играть...

— Почему же, — сержусь я, — ты лгала? Почему ябедничала?

— Я-а... не буду больше, дедушка, — заканючила внучка, все еще находившаяся под впечатлением неожиданного припадка братика.

А Данияр после этого избегал меня, на сестру даже и не глядел, лишь возле бабушки успокаивался.

Пришлось мне первому идти с повинной:

— Ну, ладно, внучек, не обижайся, все выяснилось: не играл ты ногой на пианино.

— Почему тогда ты ударил меня? — спрашивает малец.

Оказывается, он и своим родителям успел пожаловаться, что дедушка побил его из-за ябедницы Диляры.

Ночью Данияр бредил во сне и кричал:

— Не играл! Не играл я!

Несколько дней не подходил ко мне внучек. А ведь раньше вьюном около меня вертелся.

Даже когда мы, наконец, помирились, он все продолжал бурчать:

— Не играл я на пианино ногой, Диляра наврала, а ты меня ударил... Тут я не удержался от замечания:

— Ударил я тебя, внучек, не за то, что Диляра наябедничала, а за то, что поднял ты руку на апа!

— А чего она врет... — не унимался упрямец.

Обычно Данияр быстро забывал обиды или наказания, не был злопамятным, но тут, как говорится, нашла коса на камень.

После этого случая мое внимание к внуку удвоилось, и я стал наблюдать за ним. Вскоре мне открылось, что Данияр, оказывается, тем и похож на меня, что никак не может вынести незаслуженного оскорбления. И подумал я: Господи, ведь и я таков! Если есть на мне вина, то, даже не признавая ее, я терплю наказание, даже издевательство. Но когда меня обижают или обвиняют незаслуженно, этого-то я никак не могу вынести, даже в самой малости. И что характерно: знаю же, что так жить трудно, что в этом богом проклятом времени желательно уметь приспособливаться, но ничего с собой не могу поделать.

Видимо, на то и дан характер, чтобы его нельзя было изменить.

Перевод Фаяза Фаизова

КОЖАНОЕ ПАЛЬТО

дравствуйте, уважаемый товарищ Миннуллин. Обращаюсь к Вам с огромной просьбой. Но вначале немного о себе. Работаю я директором нашего деревенского музея. Вернее, какая уж там работа. Так, на общественных началах, без зарплаты. Учительствовал, вышел на пенсию, тут мне и говорят: хотим деревенский музей открыть, не хочешь ли, мол, стать его директором. Я согласился. Историей нашей деревни я давно интересовался, хоть и преподавал математику. Экспонатов в музее к тому времени

набралось достаточно: старый кумган, ручное молотило, ступка, весы. Много было всякого старья. Старье — не в смысле насмешки, все это для нас дорого, ведь на всем этом — следы рук наших дедов и прадедов... Впрочем, ладно, что-то я все о себе, перейду к делу.

Когда наш колхоз организовался, председателю нашему, чтобы в грязь лицом не ударить, приобрели кожаное пальто. В те годы колхозное начальство щеголяло в кожаных пальто. Это нынче в них юнцы разгуливают.

У нас было так принято: если уходит председатель со своего председательского места, то кожаное пальто обязан передать преемнику. И носил его по праву уже новый председатель. Не ежедневно, конечно. Только если в район или в Казань.

Так вот, это самое пальто сменило за тридцать лет без малого шестнадцать председателей. А когда началось укрупнение колхозов, наш объединили с соседним. Колхозы-то объединили, но председатель наш прежний пальто кожаное так и не отдал укрупненному председателю. У себя оставил.

Пальто по сей день цело. А тот председатель уже помер. Теперь пальто у его старухи.

А я давно хочу это самое пальто в деревенский музей забрать. Но старуха не дает пальто и все тут. Память, говорит, о любимом покойном муже.

Чуть не забыл сказать: мы теперь опять — отдельный колхоз. А раз так, то пальто должно быть в музее, так ведь? Как самый ценный экспонат. Старуха, однако, не дает, как, говорит, помру, так и заберете, но не раньше. А когда она помрет-то? Может, вообще никогда не помрет. Ей уж давно за восемьдесят, а она еще вовсю бегаёт. Похоже, я скорее ее умру. Поставят тогда на мое место нового директора музея. Да разве нынешняя молодежь пустоголовая в вещах толк знает! Сдалось ей это пальто.

Я уж и у районного прокурора побывал. Битый час с ним толковал. Так ничего он и не понял. А как понял, так сказал: не морочьте мне голову разной ерундой. А что ему, прокурору! Для него все ерунда.

Вы все-таки писатель и на кожаное пальто как на ерунду, надеюсь, не смотрите. Оно, конечно, совсем старое, то пальто. А что музею нужно-то? Старье и нужно. Новая вещь — в магазине, старая — в музее.

Так вот, может вы, товарищ Миннуллин, подскажите, как пальто у старухи забрать? Самое скверное, как сейчас докажешь, что пальто это — колхозное? Документов-то никаких нет.

Только уж вы, пожалуйста, не скажите, что я вам ерундой голову морочу. Посоветуйте, как нам быть. С пожеланиями больших успехов...

Перевод Рустема Сабирова

ЛАСКОВОЕ СЛОВО

лышь-ка, Туфан абый, жена-то моя, похоже, совсем тронулась. Ну не совсем, конечно. Не так, чтоб в дурдом везти. Однако все равно — тронулась. Зубчик у нее, видимо, от шестеренки в голове обломился.

Лежим мы как-то утром, вставать еще неохота, дождь на улице, да и идти некуда. Овец у нас мать пасет, и корову она доит... Я не скажу, что жена у меня бездельница. Мама у меня все так поделила: утренняя работа — моя, вечерняя — твоя. И потом жена моя, какое ни есть — начальство, в сельсовете сидит. Не председатель, конечно. А кто — я и сам, по правде говоря, не знаю. Сам я тракторист. В прошлом году — первым был по району. По этому поводу в санаторий меня отправили. Я как оттуда приехал, так сам не свой, что, думаю, с женой стало за это время?

С того дня все и началось, с того дождливого дня. Лежим, значит, вставать неохота. Дети в соседней комнате возле матери. Двое их у меня. Один нынче в школу пошел. Очень способный малый. Как-то спрашивает меня: папа, говорит, а корова — это жена быка, да? А хоть бы и так, говорю. А он не отвечает, только рот свой беззубый скалит. Почему спросил — сам не пойму. Как-то взял его стадо пасти, так он все пялился, как быки за коровами увиваются. Все, шельмец, знает. Весь в мать. Видно, не зря ее в сельсовет выбрали.

Так вот, говорю, лежим как-то, вставать неохота, дождь на улице, на работу идти не надо. И у жены выходной. Им ведь положено, работникам сельсовета. Это только у нас выходных нет. Разве что когда дождь на улице. Так вот, лежим, значит... Она возьми и брякни:

— Скажи, Анас, какое-нибудь ласковое слово...

— Чево-о?

— Ласковое слово, говорю, скажи.

— Ты не заболела часом?

— Может, и заболела. Поэтому хочу от тебя одно ласковое слово услышать. От тебя ведь не дожدهшься. Все работа да работа. В молодости как-то раз сказал. Люблю, мол. И с тех пор — ни разу.

— Слушай, не действуй-ка мне на нервы. От безделья маешься в своем сельсовете, вот и лезет тебе в голову всякая дурь.

А она все не понимается — скажи да скажи. Да еще обниматься лезет. Точно, свихнулась. На улице светлым-светло, а она с объятиями. Кто ж при свете-то обнимается!

— Не любишь, говорит, ты меня. Если б любил нашел бы хоть одно ласковое слово.

Вот ведь, понимаешь, комедия! Я встал и вышел. Потом захожу — она лежит и плачет. Все ясно, думаю, — тронулась.

— Сейчас же вставай, говорю, — не валяй дурака. А она заладила — не любишь да не любишь.

— Да если б не любил, разве жил бы я с тобой целых восемь лет! С жиру ты бесишься, вот что. Вставай давай!

Встала. Однако целый день ходит сама не своя. А ночью повернулась спиной и спит себе. И так целую неделю. И хоть бы что. И так с ней, и этак — без толку.

Как-то не выдержал, сказал:

— Так откуда ж мне знать, какое тебе слово нужно! Ты хоть подскази, что ли.

— Если подсказу, это не твое будет слово, а мое.

И так по сей день.

Вот хожу теперь, не знаю, что делать. Может, думаю, письмо ей какое написать? Написал. Потом прочел да и порвал. Не дай бог кому постороннему в руки попадет — на смех поднимут. Совсем, скажут, сдурел, жене такие письма пишет. Так ведь если б я ее не любил, разве б я на ней женился!

Я к чему все это рассказываю. Может, что подсказешь, Туфан абый? Или письмишко напишешь, а? Вы-то, писатели, небось с женами только красивыми словами и выражаетесь. Не то что мы, стоеросовые.

Только ты уж не смейся. Нам ведь жить еще, детей с ней растить...

Перевод Рустема Сабирова

ПРОКЛЯТЫЙ

(рассказ)

января 1891 года казанский купец Шамсутдин Сагадеев поехал гласным в Думу. Встретившись со мной перед отъездом, купец в конце разговора как бы мимоходом заметил:

— Говорят, Евфимий Александрович, что Гарай Ахмеров крестился. Только я недавно на вашей даче был, виделся с Гараем. Не крещеный он еще; говорил, что деньги себе на хлеб зарабатывает. Вот и пойми нас, татар... Да и как можно человека крестить насильственно?..

— Конечно, конечно... Нехорошо крестить насильно, — ответил я, прощаясь с ним».

Записав в свой дневник эти слова, профессор Казанской духовной академии миссионер Евфимий Малов задумался. Заново перечитав написанное, он вслух повторил последнюю фразу: «Нехорошо крестить насильно...»

Вспомнилась недавняя нелюбезная беседа с ректором духовной академии Николаем Ивановичем Ильминским. Внешне респектабельный, вежливый, интеллигентный, Николай Иванович на самом деле обладал натурой грубой и резкой, и это качество временами взламывало тонкие стенки искусственной интеллигентности. Кроме своих, несомненно глубоких знаний, ректор отличался еще и хитростью, коварством. Впрочем, это и понятно: ведь Ильминский послан был самим Петербургом проводить русификаторскую политику в киргиз-кайсацких и татаро-башкирских краях.

Несколько дней назад Николай Иванович отчитал Малова как мальчика:

— Плохо работаем, Евфимий Александрович. Даже новокрещенные стали возвращаться в Ислам, а мы что делаем? Сидим сложа руки, а?

Ректор вспомнил неопита из татар, пожелавшего креститься — Сахипгарая Ахмерова.

— Мы упускаем даже то, что само идет к нам в руки, — назидательно продолжал он. — Нужно было быстрее завершить работу над Ахмеровым, чтобы он в ближайшее время официально принял христианство. Чтобы и другие брали с него пример...

Малов попробовал возразить, что как положительный пример Ахмеров вряд ли подходит, но Ильминский лишь еще более повысил свой менторский голос:

— Нам нужна не личность Ахмерова, а его имя, нужен факт, что сын муллы и бывший шакирд медресе добровольно принимает христианство. Поймите, что мы с вами не просто миссионеры, но и политики. И знайте, наконец, что наша цель — привести к русскому знаменателю все нерусские народы России. В единой и неделимой державе, именуемой Россия, должна быть лишь одна великая нация — русская. Для осуществления этой цели в первую очередь нужно приобщить все российские народы к единой религии — православию. Вникните, уважаемый Евфимий Александрович: сегодня нам необходимо иметь как можно больше таких Ахмеровых. Не время выбирать и привередничать...

Малов сунул дневник в ящик стола, встал с кресла, размял затекшие от долгого сидения члены и вдруг увидел в окне идущего к его дому Ахмерова.

Гм-м... Что бы ни говорил Ильминский, но не лежала у Евфимия душа к этому шакирду. После каждого разговора с этим сыном муллы в душе Малова оставался какой-то неприятный осадок, чувство недовольства, несогласия.

Да, Николай Иванович прав — им необходимо, чтобы Ахмеров крестился. Нужно его новое, православное имя. Однако дело все же не в имени, а в сути. Ведь, кроме имени, человек имеет и душу. О, как хотелось бы завладеть не только именем, но и душой человека! Тогда неизмеримо ценнее оказался бы и сам факт крещения, и Ахмерова действительно можно было бы преподнести мусульманам в качестве яркого, «положительного» примера.

В дверь постучали.

— Войдите, — пригласил Малов. Вошел Сахипгарай и, преклонив колени перед Евфимием, поцеловал ему руку.

— Хорошо ли живете, отец? — поздоровался будущий новокрещенец.

— Благодарение Господу, живем его милостями, Петр, — ответил профессор.

— Не спешите менять мое имя на христианское, — поправил миссионера Сахипгарай, — ведь я официально еще не принял вашей веры. Пока еще я — Сахипгарай Ахмеров.

С этими словами молодой человек повернулся к иконе и принялся креститься. Громко, чтобы слышал отец Евфимий, читал он «Отче наш», бил поклоны, стучаясь лбом о пол, истово крестился...

Профессор не выдержал:

— Не слишком ли ты усердствуешь, Ахмеров?

— А я такой, отец Евфимий, — отвечал Сахипгарай, не отрывая глаз от иконы, — если меняю веру, то делаю это не корысти ради, а по искреннему убеждению. Прежде чем посвятить душу великому учению Христа, я поклялся беспрестанно молиться во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Малов, уже довольно хорошо успевший изучить всю подноготную своего подопечного, с некоторым удивлением слушал его разглагольствования. Все же он подошел к Сахипгарая и, стараясь не выдавать своих мыслей, с улыбкой возложил длань на плечо крестившегося. Кто знает, может осенила юношу мысль благочестивая, и понял он, насколько важен в жизни человека акт крещения, забвения одной религии ради принятия другой, истинной...

— Хочется верить в искренность слов твоих, помыслов твоих, сын мой, — сказал Евфимий, положив ладонь на лоб ученика.

Некоторое время они стояли рядом, созерцая икону Николая Угодника.

Вдруг профессорские ноздри уловили тяжелый, характерный неприятный запах.

— Опять выпил, — поморщился Малов и поспешил отойти от Сахипгарая.

Ахмеров встал с колен, отряхнул брюки и буркнул, косясь на сидящего в кресле профессора:

— Не сегодня. От вчерашнего это...

— Много пьешь. В последнее время тебя редко можно видеть трезвым. Смотри, пьянство к добру не приведет, — заметил Малов, стараясь не глядеть в лицо Ахмерову.

— От мук душевных пью, отец...

— Отчего же душа твоя мучится? Ты, наконец-то, вышел на путь истинный, значит, не болеть, а радоваться душа твоя должна.

— Конечно, спасибочки вам, отец, за то, что наставили меня на путь истинный, хотя кто в этом мире знает, что истинно, а что — нет. А душа моя до сих пор неспокойна. Несколько поколений моих предков веровали в Аллаха, единого и милосердного, в пророка его Мухаммеда, мир ему и благоденствие, а я вот под влиянием ваших проповедей сбился с пути предков и встал на ваш путь.

— Не на мой путь, а путь истинный.

— Почему? Разве ваш путь — не истинный путь?

— Я так не говорил. Над нами есть высшие силы...

— Ну да, конечно: Бог, в которого мы веруем, его Сын и Святой Дух...

— Поэтому пусть душа твоя будет спокойной, сын мой. Сахипгарай поморщился:

— Так-то оно так... Но живем-то мы в грешном мире, отец Евфимий. От меня, например, уже отвернулись все родственники и друзья. Знакомые перестали со мной здороваться.

— А ты не придавай сему особого значения. У тебя будут новые друзья, ведь мы с тобой, считай, почти сроднились. Единство духовное, общая вера сроднила нас... Ну, а в Казани какие новости?

Обрадованный, что разговор перешел в другое русло, Сахипгарай растянул рот в улыбке и с удовольствием начал перечислять «свежие новости»:

— Хорошие вести: Галимджан мулла выгнал из свое медресе восемь шакирдов, Аглям мулла, что из Апанаевской мечети, исключил троих, а Бурханутдин хазрет — пятерых шакирдов. Кто знает, возможно, изгнанные шакирды вскоре предстанут перед вашими очами, чтобы вы наставили их на путь истинный. Глядишь, и число крещеных татар увеличится на 16 голов, а вы удостоитесь похвалы его преподобия Ильминского. Да что Ильминский — может, сам царь вам медаль пожалует!

— Много говоришь, сын мой... По какой причине изгнали шакирдов?

— Хм-м... Причина известная: гулянки, пьянки, прелюбодеяния, лень, нерадивость. Все это считается у мусульман страшным грехом, а вам, наоборот, как раз таких и подавай. Испортившиеся, опустившиеся татары — это лучшая дичь для ваших стервятников, не так ли, отец мой Евфимий?

И Сахипгарай рассмеялся мелким, неприятным смешком. Профессор с отвращением смотрел на него. До чего же, право, противный этот татарин: какой-то недоделанный. Ни мужик, ни баба, все черты какие-то расплывчатые, скользкие, неопределенные. А уж липучий какой... К руке прикладывается — будто собака ее облизывает, так и хочется по рту ударить. И смех какой-то ненормальный — с надрывом да пристоном, не поймешь, то ли мужчина, то ли женщина смеется. А может, он этот... гермафродит? Тьфу ты!.. Боже, помилуй мя...

Ахмеров внезапно замолчал и посмотрел Малову прямо в глаза, словно пытаясь по глазам прочесть профессорские мысли.

— А не любите вы меня, отец, — вкрадчиво сказал он. — Вы даже презираете меня, верно? Профессор не ответил.

— Почему же молчите? Или расхотелось уже со мной калякать? Может, уже раскаиваетесь, что допустили меня до ваших очей? А ведь в Библии написано: «Возлюби ближнего своего».

— Много говоришь, сын мой. Пустословишь.

— А зачем же вы такого пустобреха, такого отвратительного человека, как я, изо всех сил стараетесь приобщить к своей религии? Греха не боитесь? Может, вы меня еще воспитывать собираетесь? Эдакого агнца из меня сотворить? Но учтите — я не агнец, а волк. И вы — тоже волк. Впрочем, возможно, я не волк, а лисица...

— Не юродствуй, Сахипгарай.

— Нет, я уже не Сахипгарай, а Петр. А у этого Петра голова болит с утра. Поэтому я сердит и зол. У вас, надеюсь, есть лекарство для Петра, у которого голова болит с утра. Молитва — это, конечно, хорошо. Но если можно было бы опохмелиться лишь посредством крестных знамений, то все церкви мира уже с утра были бы переполненными.

Терпение Малова, казалось, вот-вот лопнет.

— Нет у меня водки, нет. Здесь не кабак.

Ахмеров обмяк.

— Вот как? Что ж, извиняюсь, отец Евфимий. Тогда я пошел, — он направился к двери, но выйти из кабинета медлил, словно ожидая, что его остановят.

Малов молчал.

— Ну, так я пошел, — повторил «Петр».

— Пошел к черту! — не вытерпев, закричал Малов.

— Ладно, ладно... К нему и пойду. Тем более, что он, чертяка эдакий, меня давно уже ждет. Раз и вам я не нужен, куда мне деться, как не к черту? А я, глупец, снисхождения, милости от вас ждал, думал, что поможет мне отец Евфимий выйти на истинный путь.

— Я прекрасно знаю, о чем ты в действительности думал.

— Лишь вы занимаете мои мысли, отец Евфимий.

— Хватит паясничать, Ахмеров.

— Значит, вы не верите в мою искренность? Как же мне быть? Выходит, я ошибся. Ошибся, отказавшись от веры моих предков. И у вас нет места для человека неприкаянного, заблудшего. Отчего мир так жесток?

Сахипгарай снова подошел к иконе, встал перед ней на колени и истово запричитал:

— О, Господи! Не в ярости Твоей обличай меня и не в гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены; и душа моя сильно потрясена; Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь мою душу, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей...

И Ахмеров без остановки, без единой запинки прочитал несколько псалмов из «Псалтыря» Давида.

Малов смотрел на Ахмерова в изумлении и думал о том, как щедро одарил Бог талантами этого татарского дьяволенка. Почти машинально поднялся он с кресла, открыл шкаф, вынул и поставил на стол графин с водкой и рюмку.

Сахипгарай быстро поднялся и подошел к столу. Выпив подряд три рюмки, он замер в ожидании скорого опьянения. Потом облегченно вздохнул, просветленно улыбнулся и опустился на второе кресло, напротив Евфимия Александровича. Сахипгарай стало так хорошо, что он блаженно закрыл глаза.

— Ты, кажется, спать собрался, сын мой, — заметил Малов.

— Нет, отец, — мотнул головой Ахмеров. — Спать я буду в другом месте. Русских девиц для татарского выкреста предостаточно.

— Если будешь продолжать в таком же духе, выгоню, — предупредил Евфимий.

— Конечно, конечно, выгонишь... меня всюду гонят, — спокойно ответил Ахмеров, откидываясь на спинку кресла и взглядом упершись в потолок. — Из рая меня тоже выгонят. Как из мусульманского, так и из вашего, христианского. Да, отец Евфимий, бывают же и такие, кто создан, предназначен для того, чтобы их отовсюду гнали...

Ахмеров немного помолчал в задумчивости и вдруг тихим голосом начал читать мусульманскую молитву:

— Бисмиллахи иррахмани иррахим, мне шайтан ир-разим. Альхамделлилляхи раббель галямин. Иррахмани иррахим. Малики йауметдин...

Так прочитал он суры «Фатиха» и «Ихлас», потом снова в упор посмотрел на профессора, встал, выпил еще одну рюмку водки, налил вторую...

Малов поспешил убрать графин в шкаф.

— Опьянеешь, сын мой, — хмуро предостерег он.

— А я и хочу опьянеть, отец Евфимий. Зачем, по-твоему, пьют водку? Знаю, знаю, что хочешь сказать: мол, пьянство к добру не ведет, пьянство — это грехопадение. И хазрат в мечети говорит, что пить нельзя. А я говорю: можно! Значит, я выше вас обоих, выше и христианина, и мусульманина. Мне все позволено. Вы передо мной — соринки! Вы боретесь за мое имя. Одним я нужен как «Петр», другим — как «Сахипгарай». Каждая из сторон претендуют на господство мною. А я не хочу подчиняться ни одной стороне. Мне хочется быть самим собою. У меня свой бог есть. Никто из вас не знает, что за бог живет в душе моей. Может, я сам себе и есть бог. Вот ты, стервятник веры, хочешь купить меня водкой. Что ж, я с удовольствием продамся тебе. На, бери меня! Но я продаюсь тебе, смеясь над тобой, плюя тебе в лицо. Ты, конечно, в душе своей места не находишь от гнева и возмущения. Но куда ты денешься? Если ты потеряешь меня и мне подобных, тебе деньги перестанут платить, голодным оставят, верно? Выходит, это не ты поишь меня, а я кормлю тебя, господин Малов. Плевать я хотел на твоего Николая Угодника! Плевал я на всех ваших пророков — от Моисея до Мухаммеда. Понятно ли вам, господин Малов? Вам нужна душа моя? Ну, так — на! — возьми ее, если сможешь, возьми, выкуси!..

Долго еще витийствовал Ахмеров, долго бранился, долго поносил все и вся на свете, что есть живого и святого, и только дьявола ни полсловом не обругал.

— Единственно, кто справедлив — это дьявол! — восклицал он. — Он, по крайней мере, не обманывает, не прикидывается святошей. А вы — все вы! — боитесь дьявола, трепещете при его имени... А мне он — друг сердечный, мы с ним и спим в обнимку... Вы меня поняли, господин профессор? Во мне сидит дьявол. А он честнее и сильнее вас всех. Да, да, сильнее. Потому что правда, истина на его стороне. Чего вы молчите? Боитесь поспорить? Да, я продал душу дьяволу. И не прогадал. Не прогадал...

Евфимий старался держать себя в руках. Хотелось выругаться, выгнать эту словоохотливую мразь из кабинета и закричать ему вслед: «Вон из моего дома, поганая рожа!» Но он молчал, терпел. Нельзя ему, профессору, выходить из себя при столкновении с каждой мразью. Нельзя. Да и Ильминский не разрешит, не одобрит.

...И все же Малов не выдержал, вскочил вне себя от ярости и принялся отвешивать Ахмерову полновесные звонкие пощечины. «Вон из моего дома!» — заорал профессор.

Только что хорохорившийся «Петр» внезапно поник, замолчал, потом что-то хотел сказать, но поперхнулся. Он безвольно опустился на колени, шмыгая носом.

Профессор закричал еще раз:

— Во-он, татарская морда!

Подбежав к двери, он настежь распахнул ее.

— Вон!

К Сахипгараю наконец вернулся дар речи.

— Отец, отец, простите, я виноват, — запричитал он подползая на коленях к профессору.

Малов немного поостыл:

— Иди, иди, придешь, когда протрезвеешь.

Ахмеров тяжело встал и медленно, спиной, попятился к выходу.

Когда он ушел, Малов в изнеможении прислонился к дверному косяку. Щемило сердце. Настроение было вконец испорчено. В голове теснились мысли одна мрачнее другой. Видимо, Ильминский был прав: с такими, как Ахмеров, нужно держаться построже. Только суровостью наверное, можно подчинить себе их души. И правда — для чего сюсюкаться с такой мразью?

Профессор подошел к окну. На противоположной стороне улицы виднелась удаляющаяся, чуть пошатывающаяся фигура Ахмерова. Несколько прохожих — судя по одежде, татар — обернулись и плюнули вслед вероотступнику, а одна старушка в татарском калфаке даже погрозила ему клюкой. Но Сахипгарай-Петр ни на кого и ни на что не обращал внимания. Он медленно, но верно удалялся и вскоре пропал из виду, свернув в один из городских переулков...

Перевод Фаяза Фаизова

ВОСЬМИУЗОРЧАТОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

(Быль)

Вышиваю полотенце
Нитями весенними,
Душу в песнь ее вплетая
Чувствами бесценными...

М.Загорский.

ачиная статью, спешу предупредить, что «Полотенце» в заголовке написано с заглавной буквы неспроста, потому что оно не обычное слово, а безмерно дорогое. Полотенце, вписавшее в себя горячие следы и неизбывный свет надежды ожидающих возвращения сыновей; и нежную печаль, согревающую детей даже вдали от Родины, и задушевные, вдохновенно-радостные печальные песни; и в то же время отразившее в своей красоте всю душевную щедрость трудолюбивого, духовно богатого, чистого в помыслах и до конца верному своему долгу нашего татарского народа. Потому что это — Полотенце судьбы святой Матери, подарившей Отчизне восьмерых Героев войны, бесценное Полотенце Фатыйхи апы. Восьмиузорчатое Полотенце!.. Восемь узоров — это восемь священных рисунков, вышитых на вечную память о восьми не вернувшихся в родные края, в отчий дом, о восьми героически погибших в боях, о восьми безмерно любимых сыновьях...

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Познакомиться с этой необычной семьей Фаттаховых, с их удивительной, в то же время поучительной судьбой, а также увидиться с внуками Фатыйхи апы мне помог Габденур абзый Ибрагимов, проживающий в селе Средние Кирмени Мамадышского района Республики Татарстан. Когда я, добираясь на перекладных до родной деревни Арташ, дабы проведать свою маму («Мать-Героиню» — выростившую семь сыновей и четыре дочери — Гульзайнаб Ибрагимовну), по обыкновению сошел с автобуса «Казань — Набережные Челны» и, дойдя до Средних Кирменей, прошел по ее центральной улице, то вдруг, возле здания правления колхоза «Игенче» («Хлебороб»), что напротив памятника погибшим на войне, меня остановил Габденур абзый.

Стоял один из красивых солнечных дней мая. День празднования юбилея Дня Победы. Грустные глаза этого худого, среднего роста человека были наполнены слезами. Несмотря на то, что народ, успев

торжественно почитать память всех односельчан, добывших Победу на фронтах кровопролитной войны и беззаветно трудившихся в тылу, давно уже разошелся по домам, этот солдат-ветеран оставался стоять перед обелиском, погруженный в свои тревожные думы.

Увидев меня, Габденур абзый встрепенулся и взгляд его заметно посветлел.

— Здравствуй, братишка Шагинур! Долго будешь жить, мы только что утром тебя вспоминали, — сказал он, приветливо протягивая мозолистые, истрескавшие от трудной работы, руки. — Слежу за твоими публикациями и выступлениями по радио и телевидению: во многих местах давних боев ты побывал, в архивах различных работаешь... Очень многих земляков, соотечественников порадовал новыми именами забытых героев... Спасибо тебе! И у меня к тебе есть одна просьба: нашел бы ты время, да и написал о восьми погибших за Родину сыновьях Фаттаха ага и Фатыйхи апы. Ни один из них не вернулся домой...

Эти слова взбудоражили, содрогнули мою душу, будто бы меня, вдруг, с головы до пят облили бочкой кипятка! Если говорить честно, то мне стало ужасно стыдно за свое незнание судеб этих мужественных земляков...

Впрочем, эта неожиданная встреча дала большой толчок моим поискам. Вскоре, благодаря многочисленным встречам с ветеранами и в результате кропотливых работ с сотнями архивных документов, мне удалось собрать довольно богатый материал о жизни Фаттаха аги и Фатыйхи апы, а также документы о судьбах их детей — родных братьев Фаттаховых и даже найти фотографии некоторых из них (впоследствии по ним известный художник-график, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Эрот Зарипов сделал портреты героев из моего очерка. Вдобавок ко всему этому, мне посчастливилось подержать в руках то самое, описанное в начале очерка, знаменитое и бесценное восьмиузорчатое Полотенце, некогда сотканное руками Фатыйхи апы и ныне бережно хранящееся у одной из ее внучек — в доме Марзии апы Бикмурзиной в деревне Средние Кирмени.

В ходе поисков я познакомился еще с несколькими семьями, очень схожими по своей трагической судьбе с семьей Фаттаховых. Поэтому, прежде чем перейти к обстоятельному рассказу о среднекирменской семье Фаттаховых, считаю нужным вкратце познакомить читателей с несколькими из них.

ЛЫСЕНКОВЫ

...Я встретил их во время экскурсии по Центральному музею Вооруженных Сил в Москве, в зале под номером семнадцать. Встретил и... не смог оторвать глаз от пожелтевших фотоснимков. Передо мной был факт, в который трудно поверить: десять родных братьев из одной семьи воевали на фронтах Великой Отечественной войны и все десять вернулись домой героями, дожив до Дня Победы! Это братья Феодосий, Петр, Степан, Михаил, Андрей, Николай, Александр, Иван, Павел, Василий Лысенковы из деревни Бровахи Корсунь-Шевченковского района Черкасской области! Эти мужественные ребята в мирной жизни тоже были первыми. Кого только нет среди них: хлеборобы, животноводы, строители, рабочие... Все они прочно обосновались в своем родном краю, пустили глубокие корни в родную землю, где обзавелись семьями, вырастили детей и, подобно могучему раскидистому тысячелетнему дубу, гордо и уверенно несут честь и славу фамилии Лысенковых в грядущие века. На общей фотографии, сделанной в юбилейный день праздника Победы на деревенской площади, от героев Лысенковых исходит какой-то особенный свет, свойственный лишь уверенным в своей счастливой судьбе людям, чувствующим себя настоящими хозяевами на этой земле. Я опять и опять вглядываюсь в их лица и не могу оторваться, словно замороженный их жизнерадостными улыбками...

СТЕПАНОВЫ

Да, безусловно, Лысенковы — люди удивительной судьбы! Удивительной и везучей! К сожалению, мало кому так повезло. Это просто чудо, что такую большую, многодетную семью пощадил бог! А вот семье Степановых пришлось в полной мере испытать все тяготы и лишения роковых сороковых: все девять детей Епистинии Федоровны и Михаила Николаевича, проживающих на хуторе Шкуропадский (Первое Мая) Тимашевского района Краснодарского края, погибли на войне. Погибли очень молодыми... Старший сын — Александр, которому тогда исполнилось только восемнадцать лет, погиб от рук белогвардейцев в гражданскую войну. Он был наказан за помощь красным. Второй сын,

двадцатисемилетний Федор, погиб в 1939 году на Халхин-Голе в бою с белофиннами. На фронтах Великой Отечественной войны отдали свои жизни за свободу Родины, оставшись до последнего вздоха верными присяге, еще три сына — Федор, Павел, Василий, старшему из которых не было и тридцати пяти лет. Ивану и Филиппу довелось на своих плечах вынести унижения вражеского плена, а затем принимать участие в партизанской войне. А самый младший из братьев, названный так же как и старший, Александром — погиб 2 октября 1943 года в боях при форсировании Днепра, взорвав последней гранатой и себя и фашистов, за что был посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

В родные края вернулся только один Николай, да и ему выпала недолгая жизнь — он вскоре скончался от незаживающих боевых ран...

Я в долгих, глубоких размышлениях простоял у музейной экспозиции с фотографиями солдат и офицеров — сыновей Епистинии Федоровны, и в моей памяти всплыло еще одно воспоминание о такой же многодетной семье с похожей трагической судьбой.

АЛЕКСЕЕВЫ

О них мне в свое время рассказал известный чувашский писатель Михаил Юхма... Он тогда начинал писать книгу о восьми родных братьях-героях Алексеевых, уроженцев села Изедеркино Чувашской Республики. Впоследствии Михаил Николаевич выполнил данное мне обещание и подарил свою книгу «Улица братьев Алексеевых» с автографом. Она вышла в московском издательстве «Советский писатель» в серии «Писатель и время»...

Я на одном дыхании, очень внимательно прочитал эту книгу и, наверное, поэтому в мою память навсегда врезались имена всех братьев Алексеевых.

В обычной чувашской крестьянской семье Татьяна Николаевна и Алексей Илларионович воспитали восемь прекрасных сыновей — восемь орлов. И когда над Отчиной нависли темные тучи военного горя, когда вражьи самолеты затмили кровавыми крестами белый свет, они все восемь, один за другим ушли на фронт и встали на защиту Родины.

Прошло совсем немного времени с начала войны, как в окошко к Алексеевым уже постучалась беда — смертью храбрых в неравном бою с фашистами погиб Иван... А вскоре погиб и Григорий, которому 30 сентября 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра... В том же году Егор Алексеевич повторил подвиг легендарного Александра Матросова, самоотверженно закрыв своей грудью амбразуру врага в бою под Житомиром, тем самым обеспечив победу своих товарищей... В 1944 году во время штурма одной из стратегических высот, занятых врагом, от осколка фашистского снаряда погиб еще один из братьев — Павел...

Очень тяжело переносили эти потери мать и отец Алексеевы. Смерть унесла и бывшего участника Первой мировой войны, Георгиевского кавалера Алексея Илларионовича — не выдержало сердце старого солдата...

«...Как же быть мне сейчас, как жить дальше?» — растерялась было Татьяна Николаевна, но наконец-то закончилась война и один за другим вернулись ее ненаглядные кровиночки — Фрол и Родион. Несмотря на то, что дети были тяжело ранены во время последних боев, мать была очень рада их возвращению. Однако оба рано скончались от фронтовых ран...

Ныне только два брата — Александр и Михаил Алексеевы здравствуют и трудятся на мирной чувашской земле. Пройдя всю войну от начала до конца и удостоившись многих боевых наград, они сейчас живут в Чебоксарах...

И все-таки Татьяна Николаевна была человеком довольно счастливым: она после войны прожила еще четверть века, окруженная вниманием и заботой своих благодарных детей и внуков, и скончалась на девяносто первом году жизни...

ФАТТАХОВЫ

К сожалению, моим землякам, Фатыйхе и Фаттаху Ахмадиевым, всю жизнь прожившим в деревне Средние Кирмени Мамадышского района Татарстана, а также их восьми сыновьям такого счастья не

пришлось испытать. Невозможно спокойно, без душевного волнения рассказывать эту печальную, проникнутую глубоким драматизмом, необычную поэму человеческих судеб...

...Правда, в довоенные годы их жизнь была вполне благополучной, душевные горизонты освещались солнечными рассветами радостей. На всю округу славилась большая семья известного хлебороба и строителя Фаттаха ага и искусной мастерицы-ткачихи Фатыйхи апы. Вместе со своими трудолюбивыми сыновьями поставили они прекрасный дом из добротных сосновых бревен да со сказочными ставнями на все четыре стороны. И двор был полон живности, и земельных угодий имели достаточно и, конечно же, считались одними из богатых крестьянских хозяйств. Батраков не держали — со всеми работами управлялись сами. Так как к совместному труду были приучены с малолетства и искренне верили в благие цели коллективизации, они одними из первых вступили в колхоз и принялись за работу. И вообще, все Фаттаховы неизменно были среди тех, кто первым подхватывал новые идеи, стремились претворить их в жизнь и верили в счастливое будущее. И не только сами верили, но вселили эту веру в других. Личный пример, проникновенное слово, воодушевляющие песни — вот в чем была их сила! Вскоре за трудолюбие, справедливость Фаттаха ага назначили главным мельником во вновь образовавшемся колхозе «Алга» («Вперед»). Дети тоже были под стать родителям: показали себя старательными, знающими свое дело хлеборобами.

Давайте здесь сделаем небольшое отступление от начатого рассказа и поближе познакомимся с каждым из братьев многодетной семьи Фаттаховых (В связи с этим хочу выразить искреннюю благодарность за оказанную помощь в поисках архивных материалов и за личные воспоминания моим друзьям — ветерану войны и труда из Средних Кирменей, деревенскому мулле Мияссару ага Аскаркову, «Заслуженному колхознику» Габделхаку ага Ахметшину, среднекирменским учителям Фариду Хасанову, Рашиду Аухадиеву, Ринату Хайруллину, директору школы Ильдару Ибрагимову, руководителям сельсовета Хузятю Абдуллину, Галимулле Валиуллину, Булату Хасанову, казанским друзьям — Хану Ахтямову, семье Мугтасимовых и многим другим. — *Ш.М.*)

Самые старшие сыновья Фаттаха аги и Фатыйхи апы — отважные Исмагиль и Ибрагим беззаветно сражались на фронтах гражданской войны за молодую Советскую власть. В одном из кровопролитных боев Исмагиль погиб, а Ибрагим же, доведя дело старшего брата до победного конца, изнемогая от боевых ран, возвращается на родную землю, чтобы претворить в жизнь светлые мечты о строительстве новой счастливой жизни. И он, вместе со своими братьями Мугтасимом, Мухлисуллой, Магсумзяном, Габдельбарыем, Мисбахетдином и Агмалетдином продолжает достойно нести честь семьи Фаттаховых...

Одним из первых, записавшихся в только что созданную деревенскую комсомольскую ячейку, были тоже они — дети Фаттаха и Фатыйхи, поэтому и в шутку и всерьез эту комсомольскую организацию называли «ячейкой Фаттаховых».

Впрочем, в те годы Мисбахетдин работал секретарем исполнительного комитета Среднекирменского сельского Совета и одновременно прекрасно исполнял обязанности секретаря комсомольской ячейки. Впоследствии он уехал в летное училище по призыву: «Комсомол, молодежь — на самолет!» и всю свою дальнейшую жизнь связал с авиацией...

Только два брата из восьми — Ибрагим и Мугтасим — успевают обзавестись своими семьями до начала Великой Отечественной войны. Ибрагим продолжает работать в колхозе, а Мугтасим сначала уезжает в Пермь, а оттуда переезжает в Ростов-на-Дону, где становится шахтером-стахановцем. Однако после смерти жены Гамили он с сыном Исмагилом и дочерьми Насимой, Марьямбикой, Рахимой вернулся на родную мамадышскую землю...

С первых же дней войны все Фаттаховы ушли добровольцами на фронт. Правда, некоторых из них возвращали обратно домой, давали «бронь», но они добивались своего и брали в руки оружие. Мугтасиму, например, отказывали трижды, однако в четвертый раз он все-таки добился призыва в армию...

Братья Фаттаховы храбро сражались на разных фронтах в составе разных войск и все геройски погибли за свободу Отечества. Военный летчик Мисбахетдин Фаттахов повторил подвиг легендарного капитана Гастелло: когда возвращающийся с боевого задания самолет был обстрелян зенитками и загорелся, он направил свою пылающую машину на скопление живой силы и техники врага...

К сожалению, сердце Фаттаха абый не выдержало ошеломляющего натиска трагических известий о гибели сыновей и он безвременно умирает. А Фатыйха апа, мобилизовав все свои силы, продолжила жить с верой в какое-то чудо, лелеять лучик надежды в глубине измученной горем души. Недаром ведь даже от самого младшего сына Агмалетдина пришло фото, на котором он улыбается с букетом цветов в руке. А на обороте карточки были написаны обнадеживающие стихи:

...Плыву Иделью вдоль и поперек.

Птиц караваны манят нас вперед —
Они к родному дому возвращаются.
Я верю: встреча и моя придет!

— Самой последней надеждой нашей бабушки был Агмалетдин абый, — рассказывала внучка — Марзия Бикмурзина. — Потому что письма от него приходили даже после Дня Победы. Он служил на Дальнем Востоке. И только в сентябре 1945 года связь с ним прервалась... О героической гибели Агмалетдина абый в боях с японскими самураями я узнала случайно еще в детстве. Как-то раз мне довелось пойти вместе в тетей Минсылу в соседнюю деревню Чытыр к ее младшему брату Магсумзюну Юнусову, который только что вернулся с войны. Вот там-то при разговоре с сестрой Магсумзюна абый очень уважительно вспомнил моего дядю Агмалетдина: «Мы были близкими друзьями... Во время одного из ожесточенных боев за господствующую высоту, упорно удерживаемую японцами, он закрыл грудью дзот врага и ценой своей жизни обеспечил победу и спас жизни многих боевых товарищей. Хоронили мы его всем полком со всеми воинскими почестями, с троекратным салютом...» Услышав это, я тотчас помчалась домой и рассказала бабушке обо всем услышанном в гостях. Из глаз бабушки, измученных печалью и скорбью, скатилось несколько горьких слезинок. Последних слезинок...

На следующее утро она спозаранку начала готовиться к Магсумзюну абый в Чытыр: испекла вкусные угощенья из того запаса продуктов, что берегла к приезду сына, взяла мешочек с припасенными для сыновей орехами, надела выходное платье в горошек, накинула на плечи белую шаль и, взяв меня с собой, поспешила к фронтовому другу своего младшего сына.

— ...Знаешь, сынок, ты мне так же дорог, как и мой родненький Агмалетдин, так что, рассказывай все без утайки — я уже старая и сумею выдержать все, — попросила она Магсумзюна абый. Несколько часов подряд, забыв обо всем на свете, слушала мать рассказ о подвигах сына из уст его однополчанина и друга. Долго не могла собраться в обратный путь Фатыйха апа несмотря на то, что уже успела несколько раз до мелочей расспросить солдата о последних днях и часах жизни своего сына. Домой Фатыйха апа вернулась только вечером. Шла она медленно, тяжело опираясь на неизменную суковатую палку, часто останавливаясь и что-то задумчиво шепча о своих детях. Временами она начинала выговаривать имена своих сыновей и с отчаяньем повторять: «Где же вы лежите теперь, мои родненькие, мои кровинушки?..»

Вскоре Фатыйха апа слегла и больше уже не вставала с постели... Но, что ни говори, а есть ведь на свете добрые люди — не оставили ее односельчане в трудные минуты. Младшие Фаттаховы никогда не забудут благородства Хабибуллы и Халимы апы Хамидуллиных! Они полностью приняли на себя заботу о немощной старушке и как могли облегчали ее тяжелое состояние. И по сей день с искренним восхищением и уважением рассказывают пожилые среднекирменцы Нагима Ахтямова, Дэрия Фатыйхова, Шамсиджамал Хафизова и другие.

До последних минут своей угасающей жизни, до последнего вздоха думала Фатыйха апа о детях:

— ...Я очень надеялась увидеть своих сыновей... Не смогли вернуться... Пусть будет проклята эта кровавая война и те, кто ее развязал!.. Пусть же дойдут до них бесконечные проклятья таких, как я, поседевших раньше времени, матерей и всех наших детей, погибших в расцвете сил...

Пусть покарает их Аллах!.. Пусть выпадет и на их долю вся тяжесть тех мучений и горя, что довелось испытать нам!.. А вы... мои милые... будьте здоровы и счастливы... Я благославляю и благодарю за все!..

Вот с такими словами покинула этот мир Фатыйха апа, а в нашей памяти навеки остались печальные слова ее последней прощальной песни:

...Если я уйду из жизни —
Луч судьбы моей порвется,
То душа к друзьям, на счастье,
Белой бабочкой вернется...

Наверное, именно поэтому при виде белых бабочек я теряю спокойствие души: так и кажется, что это вернулась душа Фатыйхи апы, чтобы проведать нас и чем-нибудь помочь...

* * *

«...Матери и дети... Как мне хочется, чтобы навеки был запечатлен их беззаветный героизм в книгах, кинофильмах, памятниках. Как мне хочется, чтобы создавались специальные музеи, посвященные их подвигам! Правда, в этом направлении ведется некоторая работа: например, воздвигнуты памятники известным во всей России героям — десяти братьям Лысенковым в Черкасской области, девяти братьям Степановым в Краснодарском крае, восьми братьям в Чувашии. И матерям, и их детям... А ведь ничем не

хуже их и семья Фаттаховых в Татарстане. Но достаточно ли в нас чувства благодарности к своим героям-землякам и национальной гордости?! А желанье, конечно, мечта есть: чудесно было увидеть к следующему Дню Победы великолепный памятник. Образы восьми погибших солдат-сыновей и матери семьи Фаттаховых стали бы воплощением нашей благородной памяти тысячам погибших героев-соотечественников и этот мемориал стал бы олицетворением бессмертного подвига наших добрейших, терпеливейших, выносливейших, трудолюбивейших, дорогих матерей...

Увековечение памяти Фатыйхи апы и ее восьми отважных сыновей — очень нужное, очень важное дело! Давайте вместе сложим прекрасную песню их памяти — поставим величественный Памятник Героям! Это нужно живым! Как всем известно, нет будущего у народа, забывшего свое прошлое... Подумаем об этом, дорогие соотечественники! Ведь от строительства этого памятника мы все только выиграем! Его появление только добавит чести нашему суверенитету!..»

Так писал я в свое время в республиканских газетах и журналах...

* * *

...Наконец-то, настал этот день! Утром 22 июня 1997 года в самом центре города Мамадыш был торжественно открыт первый в Татарстане мемориал, посвященный матерям, потерявшим своих детей на войне. Памятник — символ, памятник — дань героизму!..

Перевод Мансура Сафина

СВЕРЧОК

Клавдия Петровна чаевничала у своей соседки. Неожиданно для хозяйки, сославшись на неотложные дела, она засобиравшись домой. Медленно вышла в сени, в задумчивости обула войлочные полусапожки и, тяжело опираясь на палку, направилась к своему двору. Ей было грустно. Подружке Матрене Павловне пришло время возвращаться в город, и сегодняшнее чаепитие оказалось прощальным. Разговор за столом никак не вязался. Молодость ли свою вспоминали подруги или рассказывали смешные истории — душу обволакивала печаль, начинали строить планы на следующее лето — глаза застилала слезы. То об одном пытались говорить, то о другом — и вдруг замолкали, понимая несуразность разговора. Наконец, сдержанно попрощались. Бог даст — и следующее лето проведут вместе.

Старушка поднялась на свое крыльцо и потянула висевшую снаружи двери веревку от металлической щеколды, вошла в сени и на мгновение замерла. Прислушиваясь, не раздастся ли шуршание, осторожно отворила вторую дверь и вошла в комнату. Она ожидала, что навстречу выскочит Петя, целыми днями играющий отошедшими от стены старыми обоями и точивший зубки о ножки стола — но его не было видно.

Клавдия Петровна постучала об пол гладкой, ошлифованной временем палкой, которая досталась ей от мужа Афанасия — в ответ ни звука. Тогда хозяйка, держась рукой о косяк, отступила назад, с усилием подняла легкую свою палку, длиной в ее нынешний рост, и потыкала ею над притолокой. Петя не отвечал.

Наверно, он в закуточке у обеденного стола спрятался, подумала старушка. Когда она, откинув занавеску, прошла к печке — лицо ее посветлело. Радость промелькнула в серых ее глазах, которые выглядывали из морщин, словно две неспелые ягоды черемухи. Уходя на посиделки, тетушка Клавдия напоила Петю молоком, и теперь он, то ли устав от ожидания, то ли насытившись, сладко спал, растянувшись на полу. Стараясь не потревожить его, старушка вернулась на середину комнаты. На столе лежит письмо от сына Кости. Оно перечитано уже много раз. Хотела сперва, чтобы и подруга прочитала, да только придержала она эту новость, надо же о чем-то поговорить при очередной встрече у самовара.

Петровна протянула к письму дрожащие, изборожденные венами руки. Может быть, оттого, что поздно родила она сына, стал он для нее безмерной радостью. Мать прижала бумагу, впитавшую ласковые слова своей кровиночки, сначала к одной, затем к другой щеке, словно хотела почувствовать спрятанную между строк теплоту души.

— Ах, Костя, Костя, родной мой, — бормотала она. — Даже с автоматом в руках, в горах Афганистана не забываешь ты о своей матери. Спасибо, спасибо тебе, сынок. Пишешь, что много врагов уничтожил, чтобы скорее вернуться домой.

Клавдия Петровна вдруг поймала себя на мысли, что не продумала, чем будет угощать сына. Хорошо еще, что в клетки на крюке висит вяленый гусь, в туесок собраны яйца, которые единственная хохлатка откладывает под штабель в полуразвалившемся дровяном сарае. Нынче даже малину не стала сушить, ведь и прошлогодние запасы еще не закончились, да и спасибо Мане, представительнице знатного рода,

— маленький алюминиевый бидончик ежедневно наполняется парным молоком. Вот только мяса нет. Говорят, что и в холодильниках горожан его тоже не шибко много. Слышала, что мясо в городе продают по талонам, да и то по четыреста граммов на человека. Да что там, и без мяса есть чем угостить. Не сравнить с солдатским пайком. Испечет блины, из козьего молока собьет масло.

Да, хорошо, что вспомнила, старое масло надо бы скормить Пете. Вот и ему перепадет угощение с праздничного стола, когда приедет старший брат.

...Мышонка Петю подарил Клавдии Петровне Мишка, внук Матрены Павловны. Мальчик поймал его в подвале одного из многоэтажных домов. Да только строгая невестка Матрены не разрешила держать это божье создание в квартире. Для грызунов у Клавдии Петровны в хозяйстве была припасена мышеловка. Но от Пети отказаться не смогла. Провожая подругу на зиму в город, оставила его у себя, хоть какая-никакая живая душа рядом.

Есть такая примета: если заведешь своего грызуна, то его сородичи покинут этот дом. Верная оказалась примета. Как появился в доме Петенька, ни один серый проказник не поднялся из подполья. Конечно, у старушки и припасов-то не было особых, а то, что есть, аккуратно прибрано.

Тетушка Клавдия быстро приручила зверюшку, наливая себе в ладонь парное Манино молоко. Мышонок так привык к своей новой хозяйке, что приехавшая на следующее лето Матрена Павловна не смогла его забрать. Сообразив, что гостя, взяв его в ладошку, собирается уходить, Петя больно укусил ее и, спрыгнув на пол, сиганул под кровать. От боли у Матрены глаза вылезли из орбит, но она стерпела, даже не вскрикнула. Стараясь не обидеть подругу, сказала:

— Вижу, вы уже подружились, ну и ладно, живите вместе, а то ведь осенью опять у тебя придется оставить.

Оторвавшись от воспоминаний, Петровна посмотрела в сторону печи.

— Ах, Петя, Петя, ну что же ты все спишь? Вот приедет брат, не даст тебе спать-то. Будет в доме двое мужчин. Сарай обновите. Дубовую кору, что на крыше лабаза, обменяете на доски, да и крыльцо негоже держать на подпорке.

Вечерело. Хозяйка включила свет, и даже тюлевые занавески на окнах не стала задерживать: по этой улице мало кто ходит.

— Совсем нехорошо это: спать на закате. Поставлю чайник, и тебе что-нибудь перепадет, — с этими словами Клавдия Петровна снова прошла в закуток. Шутки ради, осторожно ткнула палкой в Петин хвостик.

— Гляди-ка, и ухом не ведет, глупенький, — проговорила тетушка Клавдия, и уже сильнее ткнула его в спинку. Петя не шевельнулся.

Старушка все поняла. Не зная, что делать, она некоторое время стояла в оцепенении.

— Да будет душа его в раю, — машинально произнесла она. Затем мятым кончиком черного платка вытерла скатившуюся слезу.

С первыми лучами солнца Петровна вышла в сад. Под анисовой яблоней, посаженной Афанасием, выкопала своей палкой маленькую могилку. Опустившись на колени, вынула из передника Петеньку и положила его в ямку. Сидевший на листе лопуха сверчок одним прыжком очутился на плече старушки.

Бормоча молитвы, положенные на похоронах, Клавдия Петровна вернулась в дом, так и не заметив появления нового друга. Войдя в чулан, прихватила со стола оставшийся кусочек вяленого гуся и бутылку с рябиновой настойкой. Занятыми руками закрыть за собой двери не удалось, поэтому ей пришлось оставить продукты на столе и вернуться. Сидевший на плече старушки сверчок благополучно спрыгнул на скатерть.

Клавдия Петровна в одиночестве сидела за поминальным столом. Сверчок между тарелками, словно выбирая с чего бы начать, потер лапки друг о друга:

— Пе-тя!

Старушка повернула голову на странный звук и увидела уставившееся на нее крохотное серовато-зеленоватое существо.

— Неужто, Господи, душа Петина вернулась в образе сверчка? Тетушка Клавдия спешно перекрестилась. Гость смотрел настороженно.

— Петенька, иди ко мне, — Петровна взяла пустой стакан, отлила в него половину налитой для себя настойки и поставила перед попрыгунчиком.

— За тебя, Петенька, — если бы кто-нибудь увидел ее в этот момент, непременно принял бы за пьяную. Слава Богу, по соседству находился только один дом — принадлежал он Матрене Павловне, которая сегодня утром выехала в город.

Тем временем новый жилец немного освоился и по-хозяйски запрыгнул на край стакана. Пытаясь попробовать на вкус содержимое, наклонил голову, стараясь при этом не свалиться внутрь.

— Ой, Петенька, да это и впрямь ты! — казалось, старушка хочет, чтобы и сам кузнечик поверил в это. — Не успели расстаться, а ты уже и вернулся.

То ли радость, то ли тоска — не поймешь, захлестнули тетушку Клавдию, и она разрыдалась.

— Петя, я приготовлю тебе постельку на печи, возле себя. Приедет брат твой Костя — я уложу его на лавке. Он еще молод — в его годы нужно в объятьях девушек согреться. Вот только мое время подходит к концу. Ты ведь больше не покинешь меня? Слышишь, что говорю: будь рядом, пока навсегда не закроются мои глазоньки.

Слышал или не слышал, а только пригретый у печки сверчок принялся, как бы в ответ, стрекотать.

— Вот как хорошо-то стало, теперь и радио в доме ни к чему, — удовлетворенно сказала старушка, можно подумать, что до сих пор у нее были и радио и телевизор. — Вот бы только поскорей Костя наш приехал... Ох, и хороший у меня парень. Ты, Петенька, каждый день будешь петь в его честь, ладно? Вот пусть только приедет, мы и печку новую выложим, такую, чтобы не дымила, и шторы шелковые повесим. Пишет Костя наш, что с большими деньгами вернется, просил ему невесту присмотреть. Твои глаза-то позорче будут, чем мои старушечьи... Да только можно ли доверить будущее сына в чужие руки? Мы с тобой хоть и не чужие друг другу, да ведь мой сын разве ж он просто сын?!

Дома у тетушки Клавдии висят два мужских лица. С одного, сквозь свет лампы смотрит Иисус Христос. Вот и сейчас его взгляд устремлен в пожелтевшее от времени лицо матери. В другом углу на такой же полочке — фотокарточка сына. Улыбающийся юноша в военной форме. Внизу крупными буквами: «Ради Родины не пожалею жизни!» — Смотри-ка, десятерых бандитов уложил! — произнесла Клавдия Петровна, в который раз испытывая гордость за сына. Вспомнив, что погибшие от рук сына люди были не православные, она добавила: — В аду гореть неблагодарным душам, подставившим под пули жизнь сына моего... Спаси их Господи, ведь тоже чьи-то дети. Слава Богу, мой Костя как ушел на войну с крестиком, так и вернется. Перед отъездом, не дожидаясь подсказки, сам пожелал сходить в церковь и святой воды набрал. Да сохранит она кровинку мою.

Старушка придирчиво осмотрела занавесочки, украшавшие фотографию. Потянула их то в одну сторону, то в другую — да как-то все не по душе ей они сегодня. Затем, то ли пытаясь отвлечься от них, то ли сочувствуя неверным, проговорила:

— Да простит вас Господь, и пусть на том свете направит вас по пути истинному. Вот мой Костя — слава Богу, христианин. Надо же, десятерых бандитов уложил!

День, который для Клавдии Петровны начался со скорби, закончился радостным ожиданием встречи с сыном.

Но что-то день приезда Кости задерживался. Пролетела осень, зима подходила к концу. У печи или же на печи старушка разговаривала со сверчком о храбром солдате. Потянет ли ветер веревку на входной двери или завоюет в печной трубе, а то вдруг старый тополь у ворот застонет в ночи, во всем мерещилось Костино возвращение, слышался его голос. А парень все не приезжал.

Тем временем Петя подрос, голосок стал звонче, глазки — больше. Он чем-то напоминал молодого петушка-забияку, бегающего за курочками. Клавдия Петровна привыкла к новому хозяину дома: качала его на руках, или заставляла прыгать от одной стены до другой, сдувая с ладони.

Однажды, когда надежды почти угасли, дверь распахнулась и на пороге, держа тяжелые чемоданы, возник Костя. Обнялись. Тетушка Клавдия несколько месяцев мечтавшая по приезде сына сразу же накрыть праздничный стол, забылась и, словно влюбленная девушка, долго не могла отвести взгляд от подросшего, возмужавшего, похорошевшего парня.

Весь вечер они не могли наговориться, лакомились угощениями, которые привез Костя. Старушка придумывала, как бы ублажить сыночка, и надумала только предложить сыну свое место на печи.

Наконец, погасили свет, легли спать. Всю ночь Костя не сомкнул глаз. Солдату, привыкшему к жесткой кровати, казалось, что на высоких матушкиных перинах кружится голова. И совсем некстати среди ночи послышался стрекот сверчка. Парень терпеливо слушал один час, потом другой... Встать и включить свет у него не хватило смелости, и он в темноте принялся за поиски мучителя. Петя, привыкший к ласковым рукам Петровны, не догадываясь о замыслах гостя, запрыгнул ему на запястье и запел еще громче.

— Ах, ты разбойник! Ты что, смелее солдата? — Костя уже беззлобно, словно играючи, придавил сверчка свободной рукой. Безжизненное насекомое полетело в приоткрытую дверку печи.

— И матушке спокойнее, и я, наконец, отдохну. Только вот сон пропал, а в комнату начал проникать рассвет.

Костя хоть и не спал, все ждал, что мать, подоив Маню, затопив печь, накрыв стол, ласково позовет его завтракать. Но старушке было не до этого: она все возилась возле печи, словно чего-то потеряла.

— Петя, Петя! — позвала она тревожным голосом. — Петя, выходи, говорю. Где ты ходишь, проказник? Давай напою тебя, пока брат не проснулся.

Озадаченный солдат спрыгнул с печи и уставился на мать.

— Какой Петя? К нам никто не заходил, пока ты была на дворе. Да и не спрячешься в нашем доме...

— Ну, как сказать... Петя — это мой квартирант. Мой товарищ... Сверчок...

Костя рассмеялся:

— А я-то думал это мальчик какой. Не понял сразу, что ты ищешь сверчка. Прихлопнул я его, в печку бросил...

— Прихлопнул? В печку... — Перед глазами Клавдии Петровны побежали темные тени, затем они превратились в сверчков и мышат и, встав на задние лапки, пустились в пляс. Старушка, прислонившаяся к печке, начала терять сознание и медленно сползала. Дыхание участилось, глаза покраснели. Сын легко подхватил ее на руки, уложил на лавке, дал лекарство. Поглаживая высохшие руки матери, поцеловал выступавшие на похудевшем лице скулы:

— Мама, ты поправишься до моего отъезда?.. Проводи меня в добром здравии, мама.

— Проводить? Ты опять уезжаешь?.. А с кем останусь я? Скажи, с кем я буду жить? — казалось, старушка приходит в сознание.

Солдат не ответил. Он вспомнил, что забыл известить мать о продлении срока службы.

— Нет, нет, я никуда не уеду, — сказал он через некоторое время, лишь чтобы успокоить ее.

Худые плечи Клавдии Петровны холодели, взгляд становился бессмысленным...

— Господи, забери меня к Пете! Иисусе... — произнесла она на последнем дыхании. Рука, поднятая для сотворения креста, застыла в воздухе.

Перевод Талии Шарафиевой

СОЛОВУШКА

Еще недавно казалось, что весна никогда не наступит. Пришла... Земля оживает... Ах, до чего же красивые и жаркие весенние деньки, невозможно передать! Занятия в школе порядком надоели. Мы мучительно ждем окончания уроков, хочется домой, погонять с мальчишками мяч на пустыре, хочется лечь на едва проклюнувшуюся траву и поговорить о жизни.

Но для меня эта весна выдалась нелегкой. Мама — в больнице. Дома четверо детей мал-мала меньше, приходится присматривать за ними. А еще я ухаживаю за домашней скотиной и собираю тизяк, хотя в других семьях этим обычно занимаются девочки. Отец наш целыми днями пропадает в поле: пока не подсохла земля, нужно успеть закончить посевные работы.

В поисках тизяка мы с соседской девочкой Сюенеч иногда доходим до дальних склонов гор. На коромысле у нее висят небольшие ведерки, на них нарисованы два соловья. Я дразню ее соловушкой. Не сердится. Поднимет голову, посмотрит на меня в упор огромными глазищами, и снова уткнется в землю.

Сюенеч похорошела на глазах. Она уже общается с взрослыми девушками. Сурьмит брови, подкрашивает ресницы, ногти покрывает розовым лаком. Мне это совсем не нравится. Где это видано, чтобы у соловушки были густые брови?! И выглядит она от этого старше и строже.

— Станный вы народ, девушки, — говорю я. — Нужно чувствовать меру: сурьмиться так, что вечер кажется светлее — грех.

— Меня этому не учили. Откуда я должна знать? — Сюенеч смотрит на меня, хитро улыбаясь.

Не дал мне Бог красноречия, чтобы продолжить разговор. Да и по-узбекски я говорю так себе, вперемешку с татарскими словами. Наша семья переехала в эти края давно, до моего рождения. Переехала из Крыма, где города и села утопают в зелени. С нами прибыло еще несколько семей. Все покинули нажитое добро и, прихватив на руки детишек да узелки с пожитками, тронулись в путь. Здесь, в чужих краях обосновались рядом друг с другом, привнесли в жизнь деревни свои традиции и приняли местные обычаи. Отец не любит вспоминать о тех временах. Если кто заговаривает об этом, отец старается сменить тему, случается, на глаза набегает слезы, тогда он делает вид, что вспомнил о неотложном деле и стремительно направляется к двери. Видно, что тоскует.

А мне нравится кишлак по названию Акболак. Я не хочу уезжать отсюда, терять своих друзей. Для меня-то Акболак место рождения! Но в то же время я чувствую, что где-то есть моя вторая родина, где живут по-другому и звучит другая речь.

Узбекский дается мне с трудом. Так сложилось, что и в семье и среди друзей мы говорим на смешанном языке. Для того, чтобы мы лучше понимали на уроках, учителя вставляют в предложения слова, присущие только татарам, стараются объяснять доходчиво. А литературу узбекскую я понимаю хорошо. Много читаю и даже запоминаю стихи, которые мне нравятся.

Я шел с желанием увидеть красоту лугов,
ибо эту соловьиную землю нашел цветущей...

Сюенеч любит это стихотворение Увайси. Она звонко смеется и, словно газель, прыгая по прибрежным камням, убегает вперед, а затем оборачивается и машет мне рукой:

— Давай быстрее! Медлительный мужчина похож на упрямого ишака.

Это я медлительный, это я похож на ишака?

— Эй, шайтан ты или бес?.. Нет, ты сладкий мед... Не торопись... Я тебя съем!

В тот день мы с Сюенеч очень долго собирали тизяк, я забыл и про футбол с друзьями, и про домашние дела.

* * *

Честно говоря, мне уже стала надоедать эта бесконечная история, которую рассказывал Гайрат. Приходилось постоянно переводить ее на татарский язык, причем казанский. Я удобнее расположилась на покрывале, которое расстелила на берегу:

— Гайрат, оставь на время свои уроки литературы, мой узбекский хуже твоего. Да и знанием вашего крымского я не могу похвастаться. Мое ленивое ухо может лишь различить, что эти строки из стихов о любви относятся не ко мне. Неужели ты каждый день приходишь к этому тополю лишь для того, чтобы предаваться воспоминаниям о детстве? Иди, искупнись, позагорай...

Как там говорил твой любимый узбекский поэт? Губы — цветок, тело — цветок..., в саду твоей души — цветник. Ты очень похож на него: Сюенеч — соловушка, Насима — соловушка, Зоббениса — соловушка... Только меня среди них нет...

Мои слова не понравились Гайрату, по лицу его пробежала тень обиды. Было видно, как долго у него не было возможности высказаться. Мой новый знакомый опять предался воспоминаниям но, уже не глядя в мою сторону. А я продолжала слушать и старательно переводить.

* * *

Сообразив, что отец уже вернулся с работы, я попытался на цыпочках проскользнуть к себе в комнату, но не удалось. Опершись на подушки, он сидел в той комнате, где после захода солнца мы собираемся на ужин. Его тяжелое дыхание таило в себе недобрую весть.

— Матери стало хуже, рано утром поедем забирать ее, будь готов, — произнес он.

Маму привезли домой. Действительно, она выглядела изнуренной, и, казалось, больше никогда не встанет на ноги. Но чудо ли произошло, по милости ли Аллаха, мама, готовая угаснуть с минуты на минуту, уже через неделю присела на краешек кровати и попросила поесть. С этого дня увядшее лицо ее постепенно стало розоветь и наполняться жизнью. Я часто беру ее исхудавшие руки в свои и глажу их, и чувствую, как день за днем к ней возвращаются силы. Мне кажется, что на сердце у матери какая-то тайна, и я пытаюсь узнать ее. Лучше бы я не допытывался... Впрочем, это уже не могло что-либо изменить.

Вскоре мама поправилась. Начала кое-что делать по дому. Я ошибался, считая, что о днях, проведенных в больнице, мама нам все рассказала. Однажды она подозвала меня и сообщила:

— Сынок, в больнице меня навестила наша дальняя родственница. У нее есть дочь по имени Махаббат. Мы с ней договорились, что если будем живы-здоровы, получим согласие мужей и породнимся.

— Так ведь мы и так уже родственники... Пусть приезжают, погостят.

— Махаббат красивая девочка, ты ее полюбишь, — сказала мама, поглаживая мои кудри. Если бы она вырвала их с корнем, я бы не возражал! Я бы даже не заметил! Камень в душу брошен самым дорогим мне человеком.

Я бежал по улице, не разбирая дороги, и вскоре очутился в долине, у арыка, где еще вчера мы с Сюенеч радостно плескались.

— Сюенеч! — изо всех сил крикнул я. — Сюенеч!

Я не заметил отдохавшего в тени тополя дедушку Махмута.

— Ну что ты громыхаешь, бестолковый! — сказал он, сердито тряс палкой. — Если каждый радующийся будет выходить на улицу и орать истошным голосом! А я вот прилег под деревом и приснилась мне моя старушка. Что, и мне теперь об этой радости кричать.

Радость... Сюенеч... Кричу твое имя от горя. Я не приду завтра с тобой к речке, а запрягу лошадь и как помолвленный джигит поеду к другой девушке.

Я присел у арыка, берега которого для прочности были выложены камнями. Хоть и не мужское это дело плакать, не выдержал — разрыдался. Подошедший ко мне дядюшка Махмут постоял озадаченный, затем пробурчав: «Вот те на, что делается от радости-то...», — направился в сторону кишлака.

Дождавшись, пока он отойдет подальше, я швырнул камушек в колышущуюся тень аксакала. Не в него я бросил, а в обычаи, разлучившие меня с Сюенеч, в недуг, который хотел забрать маму, в обязательства, которыми болезнь связала нас, отступая.

Страх потерять маму, не выполнив ее обещание, и мысль о помолвке с девушкой, которую ни разу ни видел, изводили меня. Успокаивая, мама сказала:

— Глупенький, если не понравится, кто же тебя заставит, погостим да и вернемся...

Махаббат была не уродлива и не глупа, только место в сердце моем было занято Сюенеч. Ее огромные глаза, ее колючие шутки стали для меня родными. Я не смог представить на месте своей невесты другую. Поговорили о здоровье, о жизни, поели-попили и я собрался вместе с ребятами поиграть на улице, но мама остановила меня, незаметно дернув за рукав.

Повернулась к матери Махаббат и произнесла:

— Гульжамал, пусть дети сходят в кино, пока мы разговариваем. — Сказала так, что возражать было бесполезно. Затем она соединила руку Махаббат с моей рукой.

По дороге в клуб и на обратном пути мы не произнесли ни слова, даже не взглянули друг на друга. Влажные пальчики в моей руке выдавали волнение Махаббат. Я почувствовал, что она своим четырнадцатилетним умом еще не осознает, что нас ожидает.

Мы возвратились в Акболак.

— Я никогда не женюсь на вашей Махаббат! Я не люблю ее! — крикнул я отцу, встречавшему нас у ворот.

— Сынок, что ты говоришь... — остановила меня мама. — Ведь ты, держа ее за руку, прошелся с ней по улице. Если откажешься, что о ней подумают родственники, знакомые? После такого никто не придет ее сватать. Ты обесчестишь ее.

Я погиб! Какой позор? Какое бесчестие? Да я за руки-то ее взял только потому, что мама всучила. А теперь говорит, если бы не любил, за руки бы не держал. Я погиб. Ни за что ни про что меня превратили в злодея. Я вдруг понял, что будущее перечеркнуто, и в свои четырнадцать лет я принесен в жертву.

«Сюенеч...» — начал было я, но мама продолжила сама:

— Конечно, радость! Эх, бессовестный мальчишка, как ты нас напугал.

Я понял бесполезность разговора и громко, так громко, чтобы посуда, разложенная на тандыре для просушки, разлетелась на мелкие осколки, крикнул:

— Не пугаю я вас, и не радуюсь, я люблю Сюенеч!

Родители застыли. Акборын, крутившийся у наших ног, спешно заполз в конуру. Я хлопнул воротами и ушел из дома. Ушел с мыслью не возвращаться, отречься ото всех. Дни стояли теплые, можно было заработать немного денег, помогая торговцам на рынке. Этого будет достаточно, чтобы прокормиться. Можно даже устроиться поденщиком в чайхану. Туда я и направился. Кахорман ага — хозяин чайханы, хоть и не с распростертыми объятьями меня встретил — просьбу мою не отверг, взял к себе. Скорее всего, он опасался, что я могу уйти из кишлака. Вскоре я почувствовал, что ага послал весточку моему отцу и получил от него согласие.

Целыми днями я носился между кухней и открытой беседкой во дворе: то, помешивая плов, то, прислуживая посетителям, в основном пожилым людям. Но приближалась осень, а вместе с ней и занятия в школе. Пора было думать, как жить дальше. Решение пришло само — в один прекрасный день в чайхане Кахорман ага появился мой отец. Было видно, что зла на меня он не держит. Его доброжелательность и уговоры вернули меня домой.

Как я страдал все это время, не видя Сюенеч! Началась учеба в школе и на мою радость, хоть и знали все о помолвке, посадили меня рядом с ней.

Сюенеч не поднимала на меня своих огромных глаз, не расспрашивала, но на вопросы отвечала охотно.

Мои домашние даже не вспоминают о Махаббат, каждый занят своими делами. Порою мне кажется, что о помолвке забыли.

Не забыли... Внезапно в нашем доме появилась Махаббат вместе со своим багажом. Оказалось — мать девочки умерла, отец женился на другой, а возраст Махаббат уже вполне подходил для замужества.

От неожиданности я остолбенел, не в силах вымолвить слово, ища поддержки, смотрю на отца. Он тоже молчит. Мама суетится вокруг невесты, они уже делят между собой обязанности по хозяйству, говорят о предстоящей свадьбе и посматривают в мою сторону.

Отец кивком вызывал меня во двор.

Вынув из кармана пачку папирос, протянул мне — виданное ли дело! Было это признание меня как равного, или просто от волнения — я так и не понял. Мы опустили на пожухлую траву:

— Сынок, — начал он после долгой затыжки. — Ты видишь, в каком состоянии мать. Куда я пойду на старости лет, с кем я останусь, если из-за твоего упрямства потеряем ее. Кто поднимет на ноги малышей? Знаешь, люди поговаривают, что в смерти матери Махаббат есть и твоя вина...

...Я бросил школу. Мы с Махаббат поженились. Я не могу сказать о ней ничего дурного. Она трудолюбива, старательна и к тому же я вижу, что она немного любит меня, но вот привязать меня к себе так и не смогла. Я просыпался, ел, ложился спать, не забывал и о супружеском долге... Однообразные дни сменяли друг друга, а Сюенеч все не забывалась. Напротив, со временем желание быть рядом с ней только усиливалось. Я не переставал думать о ней даже после ее переезда в дом мужа.

Размеренное существование прервала смерть мамы. Теперь-то уж не осталось ничего, что удерживало бы меня возле Махаббат. В тот вечер, когда я лег, намереваясь сказать жене о своем решении, она взяла мою руку влажными от волнения пальчиками, прижала к своей груди, а затем повела ее вниз по телу:

— Гайрат, у нас будет ребенок, чувствуешь?

Как бы я к ней ни относился, разве мог я обидеть Махаббат в таком положении? Я остался.

Следом за первой дочкой, привязывая меня к семье еще крепче, появилась вторая. А когда родился сын, мне и самому стало ясно, что об уходе из семьи я никогда больше не заикнусь. Махаббат, казалось, почувствовала это: она изменилась, ее голос, походка стали тверже, речь более уверенная, но ко мне она относилась с прежним уважением. Наше несчастье заключалось лишь в том, что между нами не было любви.

Проклятия судьбы на этом не закончились. Однажды Махаббат, оставив во дворе чан с кипящей водой, побежала в продовольственную лавку. Но не добежала... Вернулась, услышав душераздирающий крик полуторагодовалого Хусаина. Опоздала... Малыш свалился в чан и не смог оттуда выбраться... От горя я почти лишился рассудка. Мое безразличие к жене сменилось ненавистью. В ней я видел причину моей сломанной жизни. Иногда я даже давал волю рукам. Аллах мне судья. Потеряв наследника, я вновь решил уйти из дома. Именно во время сборов в ворота вошел дальний родственник из деревни, в которой жила Махаббат, прибывший к нам с поручением...

— И зачем человек приходит в этот мир, если ему суждено умереть? — начал он с порога. — Ах, горе-то какое, не успели мы свыкнуться со смертью вашей матушки, как уже отец ваш готовится отправиться за ней следом. Просил привезти зятя своего Гайрата. Очень хочет его увидеть.

Я отправился в путь, только не в поисках счастья, а к умирающему тестю, дабы услышать его последнее слово. Когда мы с отцом переступили порог их дома — не осталось сомнений, что дни бедняги сочтены. Поговорить умирающий с моим отцом так и не смог. Собрав остатки сил, едва заметным жестом исхудавшей руки позвал меня к себе. Я присел на стул у края постели. Тесть тихо проговорил:

«Я понял, что не смогу умереть, не взяв с тебя обещание... Несколько ночей я зову смерть, она не переступает мой порог, хоть я и слышу ее шаги... Гайрат, ты мне как сын. У моей маленькой Махаббат кроме тебя никого не осталось... Знаю, что не любишь ее, но если сможешь, если хочешь, чтобы я ушел со спокойной душой, обещаю, что не оставишь мою дочь. Я не требую, чтобы ты не глядел на других женщин, вижу, как много лет мается твоя душа, наверное, дело нелегкое ... Это уж как сам знаешь. Другой просьбы нет. Будете жить дружно, не бросите детей, от меня вам — благословение».

Мне бы встать и уйти. Отец, угадав мои мысли, положил руку мне на плечо и, склонившись к уху, прошептал:

— Дай слово, не обижай старика.

Не зная, как поступить, не в силах дать такое обещание, я обнял тестя. Выкатившаяся из старческих глаз слеза благодарности, скатилась по щеке. Он умер в моих объятиях.

Махаббат сильно переживала потерю — о разводе пока не могло быть и речи. Я терпеливо ждал, пока она оправится, пока пройдут семь дней, сорок дней, год. В конце концов, намереваясь объявить о своем решении, посоветоваться о том, как жить дальше, я предстал перед отцом.

— Сынок, бойся проклятия, не забывай про обещание у постели умирающего, если переступишь через него, нигде, ни с кем не видать тебе счастья. Да ты и сам все понимаешь. Детишки уже не маленькие, без тебя не пропадут. Для меня же нет невестки лучше Махаббат. Я еще в силе, как-нибудь проживем. — Этими словами отец завершил наш разговор.

Уйду — единственной дочерью отца станет Махаббат. А кто — моя единственная? Уйду — значит, не будет мне обратной дороги в отцовский дом. Если только найду свою единственную... А вдруг жизнь не сложится... Пытаясь найти ответ, я отправился в долину своего детства. Нашел старый тополь, под которым любил отдыхать дедушка Махмут и тоже прилег. Плывут по небу облака, пышные, воздушные как любимые платья Сюенеч.

— Сюенеч! — крикнул я изо всех сил.

До дальних гор долетел мой голос:

— Сюен — еч! — откликнулись они. И тут из меня вырвался истерический смех. Во мне закипала злость на безучастно проплывавшие мимо облака, на старика у арыка, когда-то не понявшего смысл моих слов, на все на свете.

— Сюенеч... — хрипел я, царапая глину.

— Сюенеч... — повторял я, молотя кулаками по молодой траве, смело пробивающейся даже на такой скудной земле...

* * *

Сюенеч... Удивительная штука жизнь! Радость — слезы, любовь — слезы, Целое море слез. Море из соловьиных слез. Как можно не любить саму любовь! Можно ли было предугадать, называя дочь таким именем, какой трагедией для нее это обернется. Я ужаснулась. Изю дня в день, из года в год называть жену по имени Махаббат (любовь. — *Ред.*), и не испытывать к ней ничего, кроме неприязни. Мне хотелось озвучить эту мысль, но я не решилась прервать монолог Гайрата. Нужны ли чужие мысли человеку, решившему выговориться? Гайрат сидел, откинувшись на спинку деревянной скамейки. Он говорил, говорил, и мне казалось, что он уменьшается на моих глазах, я не могла понять, что я испытываю по отношению к нему...

* * *

Я направился в чайхану. Вместо чая пиалу за пиалой я пил водку. Но она не приносила облегчения.

Передо мной стоял образ Сюенеч, вспоминались горестные годы, проведенные без нее. Я знал, что она вышла замуж, но не знал — счастлива ли она, ведь по нашим обычаям грех общаться с замужними женщинами. Может быть, у нас плохие обычаи — не мне судить. Но только соблюдение их помогло продлить жизнь моей дорогой матушки, а моему тестю — легко покинуть этот мир, отец окружен любовью и заботой, а дети не стали сиротами. Подчиняясь времени, душа моя плыла по многоводной реке милосердных обычаев, ударяясь об ее каменистые берега, не имея сил повернуть против течения или выйти на берег, остаться невредимой, не израненной острыми камнями.

Мне бы выбрать эти камни, отбросить их в сторону, но арык может высохнуть, потому что ими выложены его дно и берега, и тем самым принести людям страдание, оставив их без воды, без урожая. Осознав, что сохранение этих обычаев означает принесение себя в жертву ради благополучия других — я успокоился.

Конечно, обида в сердце осталась. Когда становится тошно, я прихожу сюда, к тополю, ложусь на спину и наблюдаю за облаками. Они изменчивы, как лицо Сюенеч: иногда сердитые, иногда — ласковые. Только волосы у них чуть светлее. Хоть я и люблю вспоминать черные брови моей Сюенеч, я не люблю черные тучи. Может быть, от того, что в моей жизни было слишком много темного?.. А может быть, от того, что Сюенеч любила все белое — светлое?

Сегодня своей младшенькой я купил ведерки. На них нарисованы не соловушки, а цветочки — к чему опять тревожить душу, в ней тоска соловья, не нашедшего свою пару.

Дочке уже четырнадцать... Вот так незаметно и прошла жизнь. Болтались на одном коромысле два непарных ведра: раскачивались невпопад, расплескивались, обдавали кого-то водой помимо его воли. Нас не спрося повесили на это коромысло, и до краев наполнили скорбью...

Почему я прихожу сюда? Нет ли Вас среди моих соловушек? А Вы уже знаете, кто там есть. Если бы не приглянулся Вам мой тополь, мы бы и не встретились. Я рассказал о своей жизни, чтобы Вы поняли

единственную причину моих ежедневных прогулок сюда. О ней знает каждый здешний кустик, каждый ребенок.

Сегодня подарил ведерки своей младшей. С цветочками. Чтобы они привлекли своего соловья...

* * *

Сюенеч — соловушка, Махаббат — соловушка. В одном сердце их двое, таких разных. Нет, их больше — у него ведь есть дочери. Целое семейство соловушек... А вдруг их станет еще больше, и сердце вновь наполнится грустью, выдержит ли оно? А если одна из них запоет звонче, забывая своим пением другие голоса?

Эх, Гайрат, Гайрат! Кто бы мог подумать, глядя на молодого, едва тронутого сединой мужчину, что сердце его переполнено страданием?

Мы молча наблюдаем за облаками. Есть среди них и облако Сюенеч. Вот бы это были целебные облака, способные залечить раны моего знакомого.

Издалека доносится звонкий радостный смех. Это два подростка, взявшись за руки, бегут за облаками.

— Сюенеч! — кричит мальчик.

— Сюенеч! — отвечают ему снеговые вершины.

Я в недоумении смотрю на Гайрата. Его лицо светится. Сон это или явь? Может быть, мы бредим его воспоминаниями. Гайрат, отряхиваясь, поднимается с земли:

— Это моя дочь, моя Радость. Говоря языком поэзии: «еще один цветок в саду моей души».

Перевод Талии Шарафиевой

РАДИФ САГДИ

НЕ ЗАБЫВАЙ, ДОЧКА, О СЕСТРЕНКЕ

сли бы год назад Ольге Михайловне сказали, что она выйдет замуж за татарина, она назвала бы это несусветной чушью. А сегодня Ольга даже не может себе представить будущее без Рамиля.

Их взаимоотношения переплетены двумя языками, двумя культурами, двумя религиями. Родители девушки стояли насмерть, не желая отдавать свою дочь за представителя народа, описанного в русской истории самыми черными красками. Да разве отдадут они свое нежно взлелеянное дитя какому-то грязному степному народу! Ольга, похожая на цветок, и — широколицая, узкоглазая, кривоногая образина, от которой за версту несет конским потом?! Никогда в жизни!

Ольга писала им письма: «Папа, мама, вы ничего не знаете! Вы ошибаетесь!». Но в доме Михаила Семеновича, что в селе Воробьевка Вологодской области, покоя и мира больше не было. Отец семейства вновь пролистал учебник по истории и еще более утвердился в мысли, что татары — ужасный народ. Забыв, что всю свою жизнь проработал учителем, он даже взял за обыкновение молиться перед старыми, оставшимися от родителей, иконами. «О Господи, спаси нашу дочь!..» — взывал он со слезами на глазах. Иногда он принимался упрекать жену:

«Это из-за тебя ребенок уехал бог знает куда! Все твердила ей, мол, нечего здесь киснуть среди пьяниц, поезжай, мир повидаешь...»

Невдомек ему было, что жена страдает не меньше его. В отчаянии она бегала по родственникам, надеясь услышать дельный совет. Все в один голос твердили: «Напиши письмо, зови обратно! Мы поможем, если что. Может, и в милицию сообщить нелишним будет...». К дочери одно за другим летели письма: «Ничего не бойся, доченька, ради тебя мы на все готовы...»

А Ольга отвечала: «Мамочка, вы зря беспокоитесь, я выхожу замуж по любви. Никто не держит меня здесь силой или принуждением! Приезжайте и убедитесь сами!». Получив это письмо, Мария Ивановна побежала к своей двоюродной сестре — незамужней Ларисе.

Пробежав глазами Ольгино письмо, сорокалетняя Лариса авторитетно заявила: «Околдовали!».

— Не может быть! — пробормотала несчастная мать.

— Точно! Околдовали! Иначе она не стала бы писать, что ей там хорошо.

— О Боже, что же мне делать?! Я поеду и привезу ее. На колени встану, но ребенка верну...

Вечером она привела попа из соседней деревни. Отец Федор прочитал молитвы. Затем с кадилницей в руках прошелся по всей избе, очищая ее от нечисти. Завершив ритуал, он успокоил хозяев:

— Все будет хорошо, дети мои. Бог с нами. — А в субботу почтальон снова принес письмо. «Мама, я так соскучилась по тебе. Очень хочу увидеть. Скорей бы каникулы. Я ждала вас на никах. Почему вы не приехали? Свадьбу мы решили отложить до лета. Умоляю вас, не позорьте меня перед родителями и родственниками Рамиля».

Значит, дочь все-таки не послушалась их и никах состоялся. Дом Михаила Семеновича выглядел так, словно из него только что вынесли покойника. Все молчали и избегали смотреть друг на друга. Только 17-летняя Таня попыталась заступиться за сестру:

— Послушайте, нельзя же так! Надо повидать Ольгу! Почему мы не поехали на помолвку? Если ей хорошо, пусть живет!..

Отец лишь тяжело вздохнул в ответ. А матери всю ночь снились кошмары. Она увидела бескрайнюю степь. В небе ни облачка, лишь безжалостное солнце. Вдруг появились какие-то юрты. Возле костра ходит женщина, ее лицо и руки перепачканы сажей. Она то ли кипятит воду, то ли варит обед... Приглядевшись повнимательнее, мать поняла, что перед нею Ольга. В грязной одежде, лохматая ...

— Доченька, пойдем отсюда скорее, пока нас не увидели, — заторопила она Ольгу. Дочь словно бы хочет бежать, но не может — ее левая нога прикована цепью. Несчастливая мать с трудом освободила ее ногу, но дочь кричит:

— Мама! Беги быстрее! Иначе они и тебя на цепь посадят. Беги! Беги!

Вдруг, откуда ни возьмись, появились узкоглазые и кривоногие люди и окружили Ольгу плотным кольцом. Она заметалась между ними, пытаясь вырваться. Возник шаман, застучал в свой заунывный бубен и начал приплясывать на месте. Затем он что-то приказал, толпа навалилась на Марию Ивановну и начала давить ее. Несчастливая уже не могла даже вздохнуть. В тот самый миг, когда ей показалось, что она умирает от удушья, вдруг наступило пробуждение... Отдышавшись немного и успокоившись, Мария Ивановна убедилась, что и дочь, и страшный шаман исчезли, а она сама лежит в своей комнате, в своей кровати и просто видит страшный сон.

Тогда она разбудила мужа:

— Ехать нам надо, Миша! Давай поедем! Своими глазами поглядим!

— Ну, что же, ехать, так ехать! Собирайтесь!

Маленькой Ольге казалось, что краше ее родной деревни на свете нет. Какие у них луга! Она собирала там цветы, ягоды. А какая вкусная родниковая вода! Ольга пила ее горстями или купала в ней свою куклу. Ходила с родителями по грибы...

Окончив школу, Ольга уехала в Вологду учиться в институте, но скучала по деревне и старалась чаще приезжать. Там ее ждали мама с папой, маленькая сестренка и Игорь. С Игорем они договорились пожениться после получения диплома. Мечтали вернуться в родную Воробеевку: одна — учителем, а другой — механиком... Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает...

После окончания института Ольгу направили по распределению в далекий Татарстан. Путешествие предстояло опасное, но интересное. Ольга даже помолилась тогда: «Боже, спаси и сохрани!»

Поезд мчался в неведомые края. А девушку одолевали бесконечные мысли. «Поживу месяц и, если будет совсем тяжело, уеду. Не станут же они удерживать меня силой!» Она, конечно, постарается в меру своих сил научить татар культуре и навыкам чтения и письма...

Поезд прибыл на станцию Высокая Гора ночью. «Боже, встретит ли меня кто-нибудь? Ну и заехала же я!» — подумала Ольга. Взяв в руки сумки, она выглянула из окна. При свете фонаря виднелось здание вокзала. В его верхней части на двух языках было написано название станции. Значит, Высокая Гора по-татарски будет «Биек Тау». Хорошо, что здесь есть освещение. На вокзале обязательно должен быть милиционер. Если никто не встретит, посижу внутри...

Спустившись на перрон, девушка поставила сумки наземь и оглянулась по сторонам. Возле скамеек справа стоял среднего роста парень в спортивной одежде. Он явно кого-то встречал. Но из вагона вышла только Ольга! Значит, он встречает ее. Словно прочитав ее мысли, парень шагнул к ней. Их глаза встретились. Откуда-то вдруг подул предвечерний ветер. Он прикоснулся к черным волосам девушки. Затем нежно колыхнул подол ее синего, в ромашках, платья. Ветер словно хотел продемонстрировать красоту той, что стояла сейчас на пустынном перроне. Девушка придержала подол. Но ветер не отставал: «Не стесняйся, покажи!» — и он снова и снова тянул ее за платье. Теперь вместе с ним прилетели запахи сена и хлеба...

После некоторого молчания парень улыбнулся:

— Ольга Михайловна — это вы? Я вас встречаю. Меня зовут Рамиль, — и он взялся за сумки. — Пойдемте к машине.

Открыв заднюю дверь «уаза», он погрузил сумки. Затем улыбнулся внимательно наблюдавшей за ним девушке: «Садитесь вперед».

Последние дни августа... Вновь подувший ветер на этот раз принес с собой запах цветов...Ольге вдруг стало хорошо. Вся усталость и переживания словно растаяли. Она почему-то почувствовала себя счастливой. Почему? В самом деле, почему ей так хорошо? Может, потому, что ветер принес с собой запах цветов. Может, потому, что ее встретил стройный и смуглый парень с красивыми глазами. Может...

Машина тронулась. По сторонам дороги выстроились одноэтажные деревянные и каменные дома. Время от времени появлялись и четырех-, пятиэтажные...Девушка прервала молчание:

— Высокая Гора — это город?

— Нет, большое село. Районный центр. Нам отсюда ехать километров двадцать пять. Потерпите немного. Устали, наверно? Я, кстати, служил в ваших краях. Издалека вы приехали...

— Правда? Вам понравилось у нас? — обрадовалась девушка.

— Ничего. Природа и у вас красивая. «Надо же, как он о нашей природе — ничего, мол», — удивилась про себя девушка.

Наступило августовское утро. Весь мир утонул в лучах солнца. Навстречу бежали поля кукурузы, подсолнечника. По краям дороги Ольга заметила голубые, синие, красные цветы. Но ведь это цветы, знакомые ей с детства, они растут в ее деревне!

— Вот здесь и живем, — сказал, немного помолчав, парень.

— А откуда вы так хорошо знаете русский язык? В армии научились? — спросила девушка. Парень странно усмехнулся в ответ:

— У нас и девяностолетние старухи по-вашему вполне прилично объясняются.

— Правда? — удивилась учительница.

— Да! Даже те, что совсем не умеют разговаривать, все равно понимают. Так что не беспокойтесь, вас тут любой поймет. Если уж попадется какое-нибудь исключение, зовите меня в переводчики. Кстати, вас вполне могут принять за татарку и заговорить на татарском языке.

— Почему? — удивилась девушка.

— Потому что похожи. Глаза карие. Совершенно черные волосы. Так что помяните мое слово, к вам будут обращаться по-татарски, — заключил парень, улыбаясь до ушей.

Не зная, шутит он или говорит всерьез, девушка испытующе посмотрела на него сбоку. А парень уже заговорил о другом:

— Ольга Михайловна, поедem сейчас к нам. Ни-колаевка, где вы будете преподавать, от нас недалеко, всего в пяти километрах. Сегодня в баньке попаритесь, отдохнете. Я специально к вашему приезду приготовил березовый веник с душицей...

— Спасибо вам, Рамиль, — сказала девушка, почему-то переходя на шепот. А про себя подумала: «Смотри-ка, у них и бани есть!»

И деревня, и баня, и родители Рамиля очень понравились гостье. Но больше всего ей понравился сам Рамиль. То ли его волосы цвета воронова крыла, то ли его добрая улыбка, то ли легкий татарский акцент в его речи пленили ее до глубины души. Ольге начало казаться, что она где-то раньше видела его. Постой... Не его ли она много раз видела во сне? Значит, человек, о котором она мечтала так давно, похож на Рамиля? Удивительно...

Для приехавшей издалека девушки неожиданностью стало то, что село оказалось красивым, дома большие и крепкие, а в доме принявших ее хозяев царили чистота и порядок. А какое гостеприимство! Девушке очень понравились татарские блюда. Она также подивилась порядку во дворе дома и многочисленности скотины в хлеву.

Начался учебный год. Ольгу поселили в Николаевке в доме у одинокой старушки. Она уже привыкла, знала почти всех в деревне в лицо. Но... прошел почти месяц, а Рамиль все не появлялся. Ведь сам обещал: «Заберу как-нибудь тебя в гости, пойдem в клуб на танцы». А теперь его нет. У такого красавца девушек, наверно, не перечесть.

Но Рамиль все же сдержал слово. Он появился неожиданно и закричал прямо с крыльца: «Теть Маша, гостья дома?».

— О-о, Рамильчик, заходи, сынок, заходи, давай. Невеста дома сидит. Пожелтела вся от тоски. Только о тебе все разговоры, — заговорила баба Маша по-татарски, удивив Ольгу. Потом пояснила девушке:

— Мы с его матерью двадцать лет вместе коров доили.

Повернувшись вновь к Рамилю, старуха продолжила, словно Ольги не было:

— Ой, Рамильчик, девка-то не только красивая но и старательная. Забери ты ее отсюда, здесь и кавалера хорошего не найти.

— Ну, ладно уж, тетя Маш...— пробормотала красная от смущения девушка.

С этого дня прошло ...самое большее, два-три месяца...

Встречать русских сватов поехали отец Рамиля — Ракип, тетя Маша и сами молодые. Мама жениха — Рузалия осталась готовить свадебный стол.

Поезд опоздал на полчаса. Когда он, наконец, замер у перрона, из вагона вышли мужчина в кирзовых сапогах и брезентовом плаще (в таких обычно пасут в непогоду стадо) и женщина в старом пальто и резиновых галошах...

Мария Ивановна обняла дочь и заплакала. Ольга почувствовала, что глаза у нее тоже повлажнили. Ракип тем временем протянул руку Михаилу Семеновичу:

— Здравствуй, сват...

Ольга бросилась всех знакомить:

— Папа, мама, это мой муж Рамиль, это тетя Маша. Я писала вам в письме! Пойдите, а почему вы так оделись? Слово в тундру собрались...

— Дочка, мы же решили, что в степь едем. Хорошая одежда у нас в чемодане, — пояснила мать. Ольга звонко рассмеялась. Остальные поддержали ее.

Ракип повел процессию к двум припаркованным поодаль «Волгам».

Свадьба Рамиля и принявшей мусульманство Анисы была сыграна на славу. Во главе стола рядом с родителями невесты сидела тетя Маша. Она заодно послужила гостям и переводчиком.

Лето прошло. Ольга-Аниса теперь преподает русский язык в деревне Рамиля. Вскоре собирается уходить в декретный отпуск. За это короткое время она научилась вполне сносно говорить по-татарски. Деревенский люд почему-то сразу принял ее за свою. С ее родины — Воробеевки — письма приходят довольно часто. Вот и сегодня почтальон принес очередной привет. От отца. Он написал, что они очень рады за дочь и обязательно приедут к рождению внука. Письмо заканчивалось так: «Доченька Ольга-Аниса, сама знаешь, что скоро твоей сестренке Тане исполнится 18 лет. Не забывай, ради Бога, и о ней!..»

Перевод Гаухар Хасановой

ДАНИЛ САЛИХОВ

СУЛЮК

ак же хочется порой вернуться в босоное детство да поваляться-покататься по лугам, на которых играли и пасли лошадей, полной грудью вдохнуть свежего воздуха родимой стороны.

Как же хочется вернуть веселые мгновения детства, чтобы по-другому взглянуть на прожитые годы, чтобы не совершать ошибок в будущем.

Однако никому из потомков Адама не дано пустить течение времени вспять при всем старании. Человек сам делает выводы из допущенных ошибок, сам выбирает себе путь и сам же по нему идет. Постоянно меняется, приспособляясь к возникающим в жизни проблемам. Лицо покрывается сеткой морщинок, фигура полнеет, характер становится более спокойным и сдержанным. И все чаще всплывают из глубин памяти воспоминания детства, навевая тоску о счастливых временах.

В те далекие годы почему-то и лето было жарче, и дожди были более теплыми, и морозы более трескучими, и зимы более снежными.

То ли душа у человека стареет, то ли он сам, а может, и сама природа стареет вместе с человеком?! Трудно однозначно ответить на этот вопрос.

Нас было трое друзей-приятелей. Вместе выросли и повзрослели. Все трое женились, стали отцами, обрели профессию и достойную работу. И в детстве нас связывало немало событий и происшествий. Одно из них, наиболее глубоко запавшее в душу, до сих пор не могу спокойно вспоминать. Как увижу коней, так сразу начинает шевелиться заноза в моей памяти, невольно оживляя дела минувшие.

Было мне в ту пору всего-то восемь лет. Мы — ватага мальчишек-сверстников — искупались в пруду и разбежались по домам. Только поднес, было, ложку аппетитного супа ко рту, как влетел запыхавшийся Фазиль, дружок мой, и с ходу выпалил:

— Айда, бежим в «канюшни», быстрее! Отец привез из Казани скакуна, бежим скорей, потом докушаешь!

Я сделал два-три глотка из кружки с остывшим чаем и бросился к двери. Громкие причитания матери уже не могли меня остановить, через огороды, самой короткой дорогой помчался я в «канюшни».

То, что мы называли услышанным от взрослых русским словом «канюшни», было крытым соломой и обмазанным глиной полуразвалившимся хлевом на окраине деревни. Первое, что я увидел в окошко, когда добежал, это стоявшего рядом с отцом посреди конюшни Фазиля, восхищенным взглядом пожирающего скаковую красавицу кобылу. Все пространство вокруг уже успела облепить малышня. Кто-то на жердях забора пристроился, кто-то взобрался на телегу-арбу. У всех было одно желание: любым способом проникнуть в загон и подойти поближе к скакуну, но никто не решался самовольно войти внутрь. Наши взгляды металась между лошадей и Фазилем. Только Фазиль мог осчастливить нас, позвав кого-нибудь к себе. И это счастье выпало мне. Призывный жест Фазиля, и я молнией бросаюсь навстречу.

— Пошли-ка, друг, принесем скакуну водички. Папа велел, — не успел он договорить, как мы уже побежали в хлев. Налили воды и, взявшись за дужку ведра каждый со своей стороны, торопливо, спотыкаясь, поднесли к лошади. А победный взгляд наших глаз направлен на малышню, сидящую на заборе. Пусть знают, кто первым напоил скакуна. Казанская гостя только принялась к воде и отвела голову. В ту же секунду сидящий верхом на жерди Аптери разразился громким язвительным хохотом! Осмеять нас вздумал. Да только сам не заметил, как на землю грохнулся, обессилев от смеха. «Ну и поделом ему», — обрадовался я про себя. Исхак-абзый поднял ведро и поднес прямо к морде лошади. Она фыркнула и отвернулась.

— Не признает пока, — сокрушенно произнес Исхак-абзый.

— Не освоилась еще, нервничает.

И в самом деле, лошадь постоянно озиралась, время от времени била копытом землю возле ограды, громко фыркала, нервно прыдала ушами, наверное, чувствовала себя на новом месте тоскливо и неудобно.

Подъехали совхозный зоотехник Аbugали-абзый и ветфельдшер Исмай-абзый. Сойдя с тарантаса, сразу поспешили в хлев. Поручались с конюхом. Погладили скакуна по крупу. Мы наострили уши, ставшие похожими на листья лопуха, чтобы не упустить ни одного слова из их разговора, протиснулись поближе к сараю. Аbugали-абзый все кружил и кружил вокруг скакуна, не переставая повторять одни и те же слова, не в силах отвести восхищенный взгляд: «Боже, какая красавица, хвала аллаху!» Лошадь, и вправду, была очень красивая: высокая, стройная, длинноногая. Кроме белой звездочки на лбу, ноги ниже коленей тоже были белоснежными, сама широкогрудая, рыжей масти. Живот плавной изящной линией поднимался к спине.

Конюх Исхак-абзый был небольшого росточка, но при этом большой любитель посудачить, безобидно приукрасить свой рассказ небылицами. Было ему лет 40–45. За его любовь к лошадям, за преданность своему делу люди прозвали его «Тпру, Исхак». Вот как он начал свой рассказ о поездке:

— И это мы, называется, живем, товарищ Аbugали. И это, называется, мы содержим коней. Не живут они у нас, а мучаются, как пить дать, мучаются! Посмотрел я на Казанский ипподром — огромное здание из красного кирпича, просторное светлое, настоящий конезавод, скажу я вам. Чистые светло-желтые некрашенные полы. Крахмалом отмытые. Я открываю дверь, а мне навстречу выходит мужчина в белом халате. Словно хирург какой.

— Вы куда? — спрашивает он меня.

— Я из района, — отвечаю, — приехал за конем для колхоза.

— Где документы ваши? — говорит он.

— Вот, пужалыста, — говорю я и протягиваю бумаги из нагрудного кармана. Он взял документы и говорит:

— Вы здесь постоитте пока, а я сейчас вернусь. И ушел внутрь здания.

— Да, — говорю я себе, — и так вот тоже бывает, оказывается. Наша районная больница по сравнению с этой конюшней... Через 10–15 минут мужчина вернулся и вынес мне белый халат и тряпичные сапожки.

— Вот, надевайте эти вещи и следуйте за мной.

Зашел я вслед за ним и чуть сознание не потерял. Какой там порядок, какая чистота кругом. Все в белых халатах. А лошади-то, а лошади — одна другой красивее и ухоженнее. У каждой лошади написана кличка, возраст, родословная, рацион питания. Если не за каждой, то за двумя-тремя, не больше, закреплен свой конюх. Мы своим детям такого обеспечить не можем.

— Вот, эта партия лошадей специально для районов предназначена, выбирайте себе сами, какая приглянется, — говорит мне мой провожатый.

И вот, что же я тогда делаю. Ой, чуть не забыл сказать. Там же еще один человек был. Он тоже, как и я, приехал за лошадью. Из Алькеевского района. Такой весь из себя — специалист по коням. Раскрывает рты и пересчитывает зубы у лошадей, согнув ногу в колене, копыта пытается у них разглядеть. А я пошел себе вдоль загонов. На первого коня посмотрел, на второго, на третьего, а на одиннадцатой остановился и сразу понял — вот это для меня. Ноздри у нее размером с граненый стакан. Если эту выберешь, не промахнешься, — говорю я сам себе.

— Послушайте, товарищ, — обращаюсь я к казанцу в белом халате, — я, пожалуй, вот эту лошадь выберу.

Товарищ посмотрел-посмотрел на меня и присвистнул. Ага, — подумал я, — клюнул, кажется.

— Давно с лошадьми работаете? — спрашивает.

— С самого детства, — отвечаю.

— Да, хорошо научились разбираться в лошадях. Эта кобыла в свое время взяла второй приз на республиканском сабантуе. Не ошиблись в выборе-то, молодец! — похвалил он меня.

А про себя думаю: «А как ты думал-то! Кровь Шакура-конокрада и в моих жилах течет, уважаемый! Насчет лошадей со мной не шути!»

Через некоторое время он позвал меня в кабинет со словами:

— Заходите, уважаемый, сейчас паспорт на скакуна выдадим.

А тот, Алькеевский мужик, как прилип ко мне, так и не отстает.

— И мне уж подбери лошадь, пожалуйста. А я тебя поллитровкой угощу, идет? Пришлось мне его отругать прямо при хозяевах. Мол, не стыдно тебе?! Сам приехал коня выбирать, а сам про водку говоришь! У того, кто тебя послал сюда, вместо души — мыльный пузырь! Да разве можно такому, как ты, поручать ответственнейшее дело — выбор коня?! Покраснел мужик. Конечно покраснееешь, после такой взбучки-то! Даже жалко мне его стало.

— Ладно, — говорю, — не суетись, сейчас подберем и для тебя. И какого, думаешь, коня я ему выбрал, товарищ Аbugали? Оказался жеребенком лошади, на которой сам товарищ Буденный ездил! А Семен Михалыч не садился на всяких там доходяг, факт! Уж как обрадовался удачному выбору мужик, уж как обрадовался-то!

Когда я вошел в кабинет, казанский начальник мне и говорит:

— Послушайте, товарищ, а не хотели бы вы у нас поработать? Зарботки у нас хорошие, грех жаловаться. В колхозе-то, сами знаете, не зарплата — а глазные капли.

— Нет, — решительно отвечаю я, — за предложение спасибо, но и у нас в колхозе есть добропорядочные руководители. Может, даже и вы слышали про товарища Аbugали?!

— Нет, — говорит, — не слышал.

— Жалко, — сокрушаюсь я, — он очень чуткий товарищ и хороший зоотехник, думаю, что он сумеет найти возможность повысить мне зарплату. — Усы Аbugали-абзый приподнялись, обозначив улыбку:

— Хорошо, что не остался, Исхак, а то что бы мы без тебя тут делать-то стали, а?!

— Вот и я про то же самое подумал, товарищ Аbugали. Мол, без меня, как без рук останется ведь. Не стану обижать хорошего человека.

Исхак-абзый продолжал хвастаться:

— Ну как, товарищ Исмай, хороша?!..

Молчавший все это время в сторонке Исмай-абзый подал голос:

— Когда такое было, чтобы твой выбор, плохим оказывался? Хороша, конечно же, а как же еще-то?! — подлил масла в огонь ветфельдшер.

Именно в эти минуты из меня неожиданно вырвалось:

— Сулюк, правда ведь, Исхак-абзый? Не лошадь, а настоящая танцовщица!

Это слово тут же подхватил Аbugали-абзый:

— Вот молодец, какую правильную кличку придумал для нашей красавицы! Решено, так и назовем ее — Сулюк.

Исхак-абзый неодобрительно покачал головой:

— У нее в паспорте уже написано имя — Батва.

Но Аbugали-абзый был непреклонен и настоял на своем. С той поры казанская гостья и превратилась в Сулюк. Только Фазиль никак не хотел соглашаться с этой кличкой. Злился он на то, что не им придумано имя.

— Ну ладно, Исхак, пусть новая скотина ко двору нашему придется. Ухаживай за ней хорошо. Каждый день давай ей овса, сена из того стога, что заготовлен для телят и выпиши с птицефермы яиц. Для скаковой лошади это очень полезно. Пришло время дать по шапке всем соседним деревьям на сабантуевских скачках, — сказали с важным видом начальники и укатили в сторону деревни.

Исхак-абзый надел на голову лошади новую уздечку, украшенную медными бляшками. Посадил верхом Фазиль и повел лошадь вместе с седоком в конюшню. А мы, остальные мальчишки, чуть не лопнули от зависти. Все собрались возле одной телеги. Фазиль выбежал из конюшни и сел посреди арбы, подогнув под себя ноги. Ну прямо не Фазиль, а турецкий султан к нам пожаловал собственной персоной, мол, знайте, кто тут главный! А мы и так перед ним и эдак, ужами извиваемся, угодить ему пытаемся. А по-другому нельзя, иначе не возьмет с собой вовнутрь конюшни. А без него как войдешь-то?

А между тем беседа наша становилась все оживленнее. Как заправские специалисты обсуждали мы коней. Со стороны послушать нас — деревенские степенные аксакалы, ни больше, ни меньше. Один из нас говорит:

— Ну все, скакунам из соседних деревень — крышка. Ничего хорошего им теперь не светит на скачках.

А мальчик по имени Ибрай подхватывает:

— В самой Казани взять второй приз — это вам не шутки, пацаны. — А дальше Фазиль с умным видом продолжает:

— Отец сказал, что она должна была первый приз взять, да наездник оплошал по неопытности своей. Ему про это дядя в белом халате рассказал. — И я решил поддакнуть Фазилю:

— Жаль, что не Исхак-абзый был тогда наездником, уж он бы задал жару городским, — подбросил я хворосту в топку.

И даже тихоня Карим, сообразив, куда ветер дует, вымолвил:

— Ну не зря же тот дяденька предлагал перейти к ним на работу. Он сразу почуял, какой лихой наездник наш Исхак-абзый!

Дни потекли за днями. Каждое утро мы выводим Сулюк на прогулку. То Исхак-абзый, то Фазиль совершают верховые пробежки. Изредка и мне удается проехать верхом от загона до ворот. Оттираем с крупа грязь скребком, моем водой, расчесываем гребешком гриву у нашей красавицы. Приносим ведрами яйца с птицефабрики. А Исхак-абзый все с тем же ветфельдшером Исмай-абзый, знай себе, блаженствуют. Из клетчатой сумки с красным крестом фельдшер достает пузырек со спиртом, разливает по стаканам и протягивает один стакан конюху. Потом они оба берут по яйцу и разбивают о копыто подшефной. Выпивают спирт за здоровье Сулюк и закусывают свежим яйцом.

И наконец-то пришел долгожданный день. На полях проклюнулись озимые всходы. Земля укуталась нарядным зеленым покрывалом. Леса принарядились и наполнились птичьим пением. В деревню отовсюду начали стекаться гости. Гармошки радостно послетали со шкафов и наполнили село татарскими мелодиями. В самых красивых своих нарядах поспешали на сабантуй и стар и млад. Вытянувшись в цепочку, словно перелетные гуси, слетались к майдану наездники с окрестных деревень. Так начиналось утро праздничного дня. А мы, мальчишки, накупив на копейки, выделенные в честь праздника родителями, лимонада, спешим к лошадям, копошимся возле них, ведем на тему предстоящих скачек жаркие споры. Сулюк — первая, а вот эта будет второй, а эта третьей. Но как бы мы ни спорили, Сулюк у всех стоит на первом месте. Все единодушно верим в победу Сулюк. Вот она — долгожданная минута! Первой на повороте из-за леса заблестела звездочка. Сулюк! А мы уже бесимся, прыгаем, орем — «Давай! Давай! Покажи-ка всем, как нужно выигрывать!» А Сулюк и вправду оставила всех на полверсты за собой и первой пришла к финишу. Мужики из соседних деревень зароптали:

— Нет, это нечестно, она срезала дорогу! — А мы им в ответ:

— Ага, как же! Еще чего придумаете! Она в самой Казани первое место брала!

В спорах самый горячий из нас, Аптери, накинулся на мужиков своим звонким голоском:

— Так нечего в скачках на ломовых лошадях участвовать, дяденьки! Посмотрите — брюхо ваших скакунов аж до самой земли достает! — сказал и громко рассмеялся Аптери. Мы тоже поддержали его дружным смехом. Аптери уж скажет, так скажет, палец в рот не клади ему. Но как бы то ни было, а все взгляды были направлены только на Сулюк. Нахваливают, восхищаются красотой. Но по лицам многих соседей заметно, что это только внешне они радуются нашей победительнице, а внутри у них горит огонь черной зависти.

В то лето Сулюк выиграла скачки в нескольких селах и в райцентре, принесла совхозу три телевизора и одну радиолу. Телевизоры, конечно, заняли почетные места в домах у директора и зоотехника.

Шесть лет не было равных нашей Сулюк. Да что там шесть лет, она так и ушла — непобежденной. Трагическое событие произошло в четвертое лето. Она в очередной раз победила на сельских скачках и, когда не осталось никого, кто бы мог конкурировать с ней в районе, решено было поехать в соседнюю Башкирию, в Илешевский район. Поехали за славой, а привезли пожизненные страдания и боль нашей Сулюк. До самых последних дней жизни эта рана не давала ей покоя. И привела, в конце концов, к преждевременной смерти.

Из-за того, что весна в тот год была очень ранняя, посевная тоже завершилась пораньше. И сабантуй провели необычно рано. Как и ранняя весна, трагедия с Сулюк тоже была неожиданна для всех нас. А было это так. Сулюк стояла на линии старта рядом с воспетыми во многих песнях башкирскими скакунами. Прозвучал стартовый колокол. Сулюк бросается вперед. На глазах у изумленных зрителей она оставляет позади себя всех соперников. Народ вокруг начинает завистливо роптать. Да где это видано, чтобы татарстанский скакун обыгрывал башкирских?! Никогда такого не было! Удивлению зрителей нет предела. А Сулюк рвется вперед, к финишу. На ней верхом Исхак-абзый, который весил чуть больше, чем два петуха. Будто и нет никого на лошади. Он почти слился со скакуном. Спрятавшись под развевающейся гривой, переживает наездник счастливые мгновения. И вдруг неожиданно захлопываются металлические ворота забора, возведенного вокруг деревни. Сулюк со всего маху перескакивает через преграду, но, перелетев, падает и больно ударяется передней ногой о железо. Тут же снова поднимается. Почувяв, что наездник взобрался к ней на спину, бросается вперед. Сильно припадая на ушибленную ногу, первой приходит к финишу.

А следующее лето принесло нам неожиданную радость. У Сулюк родился жеребенок-первенец. Сынок был весь в маму: такой же длинноногий, со звездочкой на лбу, исключительно милое существо. В тот день мы порхали от радости, не чуя ног под собой. Не только для нас, но и для всех жителей деревни это был большой подарок от Сулюк. Только вот здоровье у самой Сулюк было неважным. Она в тот год даже не участвовала в скачках. День ото дня ей становилось все хуже и хуже, она похудела и ослабла. Но, несмотря на это, тщеславный директор совхоза хотел, чтобы Сулюк непременно участвовала в бегах. Но Исхак-абзый настоял на своем и позволил лошади не участвовать в соревновании. Пожалел бедняжку. Такое ослушание не понравилось начальству. Не прошло и месяца, как Исхак-абзый уволили с конюшни.

Дни потекли за днями. Жеребенок подрос и превратился в стригунка, как две капли воды похожего на Сулюк.

Многие сельчане тяжело переживали последние скачки последней весны Сулюк.

Возвращавшегося домой Исхака-абзый нагнал директорский «уаз». Из кабины вышел директор Сагди, протянул руку и, приветливо улыбнувшись, поздоровался. Расспросил про дела, про здоровье. Затем неспеша перевел разговор в нужное ему русло:

— Послушай-ка, товарищ Исламов, правильно ли мне доложили, что это ты выступил против моего решения участвовать в скачках? Я всех начал уверять, что это неправда, что товарищ Исламов никогда не скажет такого. Решил вот своими ушами услышать, так это или нет, — неестественно округлил свои узенькие глазки директор.

— Да, все правильно, товарищ Сагди Галиев, я уже не справлюсь. В 50 лет разве участвуют в бегах. Пусть уж лучше молодежь выступает. С каким лицом подойду я к лошади, как смогу удержать ее в узде? Или хотите сказать, мол, сам привез скакуна из Казани, сам и добивай? Нет, не бывать этому!

Когда Исхак-абзый говорил эти слова, то колени его тряслись, губы мелко дрожали и сам он не находил места от волнения. Сагди-абзый с серьезным видом продолжал:

— Она уже выздоровела, на четырех ногах твердо стоит, врачи дают «добро» на участие. И потом, вот еще что: мы посоветовались со специалистами и решили в этом году и стригунка обкатать — на Сулюк сын твой сядет, он полегче, а ты на молодом поскачешь.

Глянув на сопящего рядом с конюхом Фазиля, директор подмигнул ему:

— Правильно я говорю, сынок? — и погладил его по соломенным волосам.

— Вы-то, наверное, и договорились со специалистами, но я не согласен, — возмущенно произнес Исхак-абзый, — что они понимают, ваши специалисты?! Им лишь бы подарок урвать, да прославиться. Понимают ли они состояние лошади, ее душу?! Конь — это же не трактор и не машина, он — живой! Сердце ему не разберешь по винтикам и не посмотришь вовнутрь. Чтобы прочувствовать это, не нужно институты заканчивать, побольше рядом с лошадьми нужно находиться. А эти «спецы» хоть раз в год заглядывают ли в конюшню?! А вот меня, можно сказать, умеющего говорить с лошадьми на их языке, отстранили от дела. Вместо уздечки в моих руках теперь этот проклятый топор. Да какой из меня мастер-плотник?! — воскликнул бывший конюх и швырнул в сердцах инструмент на землю. — А ведь на скакуна не специалисту вашему садиться, а мне! А Сулюк не готова участвовать в скачках, — этими словами хотел Исхак-абзый оборвать разговор. Но директор не уступал. Уговаривал, сердился, ругал, запугивал и, в конце концов, всеми правдами и неправдами добился согласия конюха.

А наш дружок Фазиль в то лето стал казаться на две головы выше остальных. Ну а как тут не вырастешь-то, как тут не возгордишься, когда ты — участник скачек на сабантуе!

Бега в тот год организовали на открытом просторном лугу. Можно было издали разглядеть приближающихся к финишу скакунов. Вот, вдалеке уже засверкала звездочка Сулюк. Она, хоть и

прихрамывает, но скачет впереди. И вдруг на полном скаку останавливается и переминается на одном месте. Оказывается, она поджидает, пока стригунок не вырвется вперед. Когда он ее обойдет, она снова рвется лидировать, и опять пропускает сыночка, и опять обгоняет его. словно своему единственному сыну передает победную эстафету. На финиш первым приходит сынок-стригунок. За ним Сулюк — его мать. Даже у лошадей все очень правильно происходит: мать выводит повзрослевшего сына в будущую жизнь. Победившему жеребцу повязали по традиции полотенце, украсили коня лентами, наградили подарком. А постаревшая мать стоит в сторонке и смотрит на сына полными радостных и волнительных слез глазами.

С этого дня Сулюк больше не смогла вставать на больную ногу. И лечить чемпионку было уже поздно. А к зиме про нее вообще стали забывать. Непобедимая во всей округе Сулюк стояла в загоне по колено в грязи, вся покрытая клочками невылинявшей шерсти и жевала трехлетней давности солому с крыши. А ее теплое стойло занял директорский жеребец.

Мы, мальчишки, поговорили между собой и решили помочь нашей бедняжке Сулюк. Стали воровать хорошее сено на совхозном сеновале и подкармливать ее. Но директор Сагди-абзый, каким-то образом пронюхал и быстро пресек нашу затею. Обвинил нас в воровстве. И наше желание помочь не поддержал.

В один из дней задумал Сагди-абзый сдать нашу чемпионку на мясопереработку. В тот же день пожаловал к нам зоотехник из деревни Табуляр, что в Муслюмовском районе, с целью выменять у нас кобылу и заполучить от нее потомство. За Сулюк было заплачено двумя кошевыми санями и одной ленивой лошадкой. В тот же день Сулюк отвезли в Татбуляр. Тяжелее всего было наблюдать за тем, как лошадь грузили в машину. В горле у меня застрял комок, глаза наполнились слезами. Я еще пытался утешать своего закадычного друга детства.

— Успокойся, ей ведь там будет лучше. Ее же увозят на знаменитый конезавод, который славится своими скакунами даже за границей, — успокаивал я его и себя.

Но как бы то ни было, в душе с тех пор образовалась черная рана, какой-то черный камень лег на сердце. И эта тяжесть остается во мне до сих пор. Как увижу лошадей, так с новой силой начинает внутри что-то ныть и болеть.

Проводили мы Сулюк. Вместе с ней мы проводили прекрасное мгновение детства, прекрасные и в то же время трагичные воспоминания.

По пашне идет сгорбленная кляча. Похромает немного и останавливается от нестерпимой боли в ноге. Приподнимет больную ногу и долго смотрит усталым взглядом вдаль. Немного похромает и снова останавливается. словно спешит она из последних сил, преодолевая нестерпимую боль, в родные края, чтобы в последний раз кинуть взгляд на свое дитя, попрощаться с ним навек. Торопится, подгоняемая считанными часами и минутами.

Перевод Наиля Ишмухаметова

ИНДУС СИРМАТОВ

НОВАЯ КВАРТИРА

о дворе видавшего виды дома шумит народ: Алмаза Хайруллина окружили избиратели. Сгорбленная старушка тоже направилась туда.

— Че-го э-то со-бра-лись?..

— Депутат пришел, бабуля.

— Кто при-шел?

— Кандидат в депутаты. Райсоветовский. Говорят, студент. Может, и тебе квартиру даст, — словоохотливо объяснил кто-то из собравшихся.

А квартира старушке Гульсайре ой как нужна... давно ждет она ее. Может, правда, и не всю жизнь, — ведь в ту пору, когда она жила вместе с родителями в Новой Слободе, и думать не думала, что такое квартира для человека. Отец ушел на гражданскую и не вернулся. Затем от тифа умерла мать. В то лето у соседей случился пожар. Сгорела дюжина домов. И их тоже. Но и тогда Гульсайра не осталась без крыши над головой. Ее, сироту, устроили в детдом. Там она выросла, выучилась, вступила в комсомол, стала одной из активисток ликбеза.

А вышла замуж, — с тех-то самых дней квартирный вопрос, как говорится, с повестки и не снимался.

Сначала жили в дровянике — друг Сабируллы приютил. Летом и горя не знали. А как похолодало да стала Гульсайра заметно «поправляться», начали обивать пороги завкома.

В самом центре Казани на первом этаже двухэтажки показали Сабиру маленькую комнатку, дверь которой открывается прямо на улицу. Сказали, скоро снесут, получите новую, и Сабир согласился.

Но дом не снесли ни в том, ни в следующем году. Хотя в документах райисполкома он числится «аварийным», стоит до сих пор. И ремонт не делают, поскольку аварийный.

Правда, когда воздвигали на площади памятник видному революционеру, фасад выкрасили в кирпично-красный цвет. Вдоль улицы поставили забор, размалеванный цветами. И каменная фигура с постамента, словно по иронии судьбы, протянула руку к живущим за забором.

Уже прошло более года, как установили памятник, а старушка Гульсайра еще ни разу не видела его: стена-то, обращенная к площади, слепая, без окон. А на площади Гульсайре самой делать нечего, поэтому туда и не выбирается. Если б даже и выбралась, вряд ли обратила внимание на памятник, вряд ли увидела его: один глаз не видит совсем, поврежденный металлической опилкой на заводе в годы войны. Второй ослаб настолько, что все вокруг словно в тумане.

— Сы-нок-ты-заг-ля-ни-ко-мне-то-же, — протянула старушка по слогам. — Как-ос-во-бодишь-ся...

Раньше встречи с кандидатами проводили где-нибудь в клубе. Кто из избирателей приходил туда, а кто вообще не появлялся. Нынче кое-что изменилось. Вон Алмаз Хайруллин, к примеру, встретился с избирателями в их же дворе.

— Зайду, бабушка. А где ты живешь?

— Одна живу, сынок, совсем одна. Сын-то мой, сердешный, а-а-ах утонул на соревнованиях. Большой уже был, как вот ты... А муж с войны не вернулся.

— Я спрашиваю, где ты живешь, бабушка?

— Разве? Во-он там. Покажут. Меня тут все знают.

— Зайду, бабушка, обязательно зайду. Ты иди домой, я зайду. — Но в тот день ему не удалось сделать это. Жители старой улицы обступили его, говорили, перебивая друг друга, приглашали к себе, жаловались...

— Взгляни на эту срамоту. Даже летом нет воды в нашей колонке..

— Зайди, сынок, посмотри, могут ли жить здесь восемь человек?

— Нельзя ли снести эту уборную?.. Ведь в центре города и такая вонища...

— Начальника жэка посадить бы в нее!..

— Посадишь! У него, поди, и туалет почище твоей квартиры...

И так продолжалось до поздней ночи.

Со старушкой Гульсайрой Алмаз встретился назавтра.

— Воду приносят соседи. Спасибо им. Только зимой очень уж она холодная. Руки болят, ноют. Хоть бы годик погреть руки в теплой воде... А там уж и умереть не страшно. Хоть бы годик...

Алмаз, слушая Гульсайру, оглядывал каморку. Маленький столик да старый диван, вот и вся мебель. Потолок подпирается тремя столбами да печь вместо четвертого.

В комнате опрятно. Вещи, а их немного, все аккуратно сложены. И это придает какой-то уют жилищу.

— А там что у тебя, бабушка? Там, за печкой? — Алмаз заглянул туда и был изумлен: в потолке такая щель, что виден просвет. Наверху, оказывается, неотапливаемый чулан соседей. Из щели свисают старые тряпки, пакля... Чуть притронешься — сыплется мусор. На стенах лишь следы от былой штукатурки.

— Вот заделать бы эту щель, — произнесла старуха, — у самой-то уже сил нет.

— А не обращались туда, где раньше работали?

— Давно уже не хожу. Раньше очень помогали, спасибо им. Мало ли у них своих забот... Хоть годик бы пожить в тепле...

Алмаз, не дожидаясь выборов, побежал на завод, в профком. А там про старуху толком и не помнят. И все же нашли для нее мешок цемента, доски, выделили автобус и людей. Те разом отремонтировали окна и потолок, отштукатурили стены.

— Как подсохнет, приедем, побелим — пообещал бригадир. — Завтра или послезавтра.

— Спасибо, милые, здоровья вам! Квартира-то совсем как новая стала... Только вот воды бы теплой еще...

Не в этом ли все грезы долгого былого и надежды не вечного будущего?.. Неужели неосуществима такая малая малость на закате жизни, полной горьких утрат и тяжелого неженского труда, — погреть больные руки в теплой струе из-под крана...

Получив удостоверение депутата, Алмаз побежал в райисполком. Бесполезно. Заходил в редакции, писал в Москву, обращался в тот же заводской профком...

Прошел год пустых хлопот, и он уже не рассчитывал ни на что. И лишь на всякий случай записался на прием к председателю республиканского комитета женщин.

Потом, когда он рассказывал об этой встрече старушке Гульсайре, та то ли от радости, то ли от удивления еще сильнее растягивая слова, переспрашивала:

— Так и ска-за-ла? При-хо-ди через месяц сказала?..

Но не прошло и месяца, как Алмаза пригласили в райисполком.

— Вы, говорят, хлопчете за Гульсайру Валееву, — уточнила добродушная ханум из квартирного бюро. — Очень хорошо. Вот и доведите дело до конца. Сейчас выпишем ордер. Отдельная квартира на первом этаже высотного дома. На квартале.

За неделю Алмаз успел выписать старушку из бывшей и прописать на новой квартире. Тут же хотел отвезти и ее туда же, но она отказалась.

— Уже вечер, — рассудила она. — Такое, сынок, принято делать с утра. Долго я ждала и еще чуток подожду. Посплю здесь напоследок.

На другой день Алмаз с друзьями весело и шумно ввалились к ней домой.

Но узлы еще не были приготовлены. В чисто прибранной комнате все оставалось на своих местах.

— Мы приехали, бабушка, за тобой, — произнес Алмаз. — Сейчас поможем.

Видать, тяжело старой расставаться со своей каморкой, подумал Алмаз, взглянув в сторону Гульсайры, — та привалилась обессилено к спинке дивана.

— Бабуля, — одна из девушек притронулась к рукам старухи и тут же, ахнув, отпрянула в сторону.

— Так она же умерла! И руки холодные!

Новую квартиру с горячей водой, где старуха не успела ни разу переночевать, Алмаз обратно сдал в райисполком.

А когда катафалк увозил со старого двора тело покойной, Алмазу в какой-то миг показалось, что памятник протягивает руку, словно моля о прощении.

Перевод Розы Кожевниковой

ЗАЛИЛЯ

оченька, ты сегодня дома будешь? Зулейха, говорю, доченька, чего молчишь? Зоя!

— Ну, чего?

— В Ягодную хочу съездить, если будешь дома...

— Ну?

— Будешь дома?

— Ну, продолжай, не тяни.

— Далекое ведь. Задержусь до вечера. Надо повидать тетку твою.

— Езжай, кто тебя держит?

— Ты всегда так говоришь. А сама убегаешь...

— Ну и что! Говорю, иди. Сегодня посижу дома.

— Отложила бы книгу... Послушай. Присмотришь за цыплятами, а? Очень надо!

— Нельзя же их морить голодом, раз появились на свет. Уж слишком поздно вылупились эти. А те вон уже пытаются кукарекать. Настоящие петухи...

— Я же тебе говорила, не мучайся, бери в инкубаторе. А ты: свои-и, своя курица вывела. Вот и выращивай сама.

— Ведь и съездить надо. Сестра обещала перстень показать. С бриллиантом.

— Ладно, ладно, езжай. Бери, если только хороший. Да и не знаю, на кой ляд ты их собираешь!..

— Это у нас в роду повелось. Дед с бабушкой копили и до них тоже. И все это теперь твое.

— Ну и что! Перед кем мне красоваться в них? Перед твоими запоздалыми хилыми цыплятами, что ли?

— Не говори так, доченька. И для тебя найдется суженый. Не стара еще. Внешностью тебя природа не обидела, все на месте.

— Не подлизывайся. Езжай, раз собралась. Так и быть, присмотрю за твоими цыплятами.

— Вот и хорошо. Кашу пшеничную дашь. К вечеру — творог. Крапиву сама приготовлю, как приеду... Найдется еще и для тебя, алла бирса¹. Выходят и после сорока...

Как же! Нужна буду я после сорока! Ха-ха-ха! Не смейся хоть! Поезжай скорей, не мозоль глаза!

Нагима-апа поспешила удалиться, пока дочь не передумала.

Зулейха долго читала и после ухода матери. Затем отбросила книгу в сторону, поднялась с дивана, встала перед зеркалом и потянулась.

По всему телу разлилась сладкая истома, слегка закружилась голова. С закрытыми глазами Зулейха поворачивала то вправо, то влево белую, как очищенная репа, шею. Из полураскрытых губ вырвался вздох.

В детстве, когда она просыпалась и потягивалась, мать любила повторять: «расти хочет доченька, расти хочет!»

Тогда, может, и было это лишь желанием расти. А теперь? Теперь...

Зулейха со злостью пнула диван. Книгу отшвырнула подальше и, ничком упав, рыдалась.

Плечи, которых еще и в тридцать пять не касались мужские руки, нервно подрагивали.

Зулейха резко вскочила с дивана, но тут же снова упала. Теперь уже лежа на спине, раскинутыми руками она пыталась ухватиться за обшивку дивана. Но пальцы соскальзывали и девушка продолжала рыдать. А глаза оставались сухими. Не плач это был, а самоистязание, в которое выливалась боль души. Так, отчаявшись, проклинала она весь мир, не зная, что делать.

В вырезе открытого летнего платья груди, похожие на спелые яблоки, и мучительные терзания их обладательницы, казалось бы, так это не вязалось... Но что ж, увь, бранный мир не всегда и не ко всем справедлив...

Девушка поднялась и присела на край дивана. Отрешенно уставилась на беленую печь, не видя медвежонка, когда-то нарисованного синей краской и успевшего выцвести. Мысли были где-то далеко-далеко.

Эх ты, растяпа Тимер! Отважился бы тогда! Может, не так бы страдала теперь твоя Залиля!..

* * *

...В то время многие в поселке Савиново держали свой скот. И отец Зулейхи тогда продал дом в Татарской слободе, где затопило все кругом, и перебрался сюда, в Савиново. Построил прекрасный дом из сосновых бревен, хлев.

И познакомилась Зулейха с Тимерханом, который приглядывал за коровами и овцами, своими и соседскими. Он водил девятилетнюю Зулейху на самые лучшие луга. То ли оттого, что Тимерхан был старше ее на два-три года, то ли по другой причине, Зулейха во всем беспрекословно повиновалась ему, везде следовала за ним. И Тимерхан относился к Зулейхе не как к остальным девчонкам, оберегал ее. И называл не Зулейхой, а как-то особенно красиво — Залиля.

Прошли годы. На лугах они встречались все реже и реже. А последняя встреча...

В тот день Зулейха пришла на луг ненадолго. Корова лениво жевала, овцы от жары прятались в тени тальника. И Зулейха, убедившись, что все нормально, повернула обратно. Но, подумав, шагнула к Казанке. На ходу разделась, одежду кинула в кусты, пробежала через пески напротив башни Сююмбике и окунулась в речную прохладу.

Вдоволь наплескавшись, выбралась на берег и с ужасом обнаружила, что одежда ее исчезла. И когда, растерянная, она еще и еще раз осматривала заросли кустарника, вдруг послышался знакомый голос:

— За-ли-ля-а!

Девушка резко обернулась — в нескольких шагах от нее стоял Тимерхан и, смеясь, поддразнивая, протягивал платье:

— Иди ко мне, Залиля, одену!..

— Ах ты, бесовестный! Убью!.. — Зулейха рванулась было к нему и тут только спохватилась, что она почти что в чем мать родила, и, прикрыв руками груди, отвернулась, присела на корточки.

— Отдай платье, вредина! Я тебе устрою!..

Тимерхан, продолжая смеяться, помог ей надеть платье, а лифчик спрятал себе в карман. Зулейха, разгневанная, как-то не обратила на это внимания и, вскочив, погналась за Тимером.

— Валлахи¹, Тимер, если поймаю, убью!

Поймать, конечно, она его не могла. Зато он внезапно остановился, распростер руки, и Зулейха оказалась в его объятиях.

— Вот тебе! Вот тебе! — кулачки девушки колотили по Тимеру до тех пор, пока их горячие губы не соприкоснулись и у нее слегка закружилась голова.

Сколько за эти годы они, бывало, бегали наперегонки, шутя обнимались, но такого она еще не испытывала.

Вот они уже на траве. Губы Тимера обжигают ее тело и шепчут: «Зулейха! Залиля!..» И даже когда они коснулись ее груди, девушка не вспомнила, что та часть одежды, которая должна прикрывать их, у него в

кармане. В эти минуты она была вся во власти парня. Не отдавая себе отчета, как во сне, скомкала подол платья и потянула его вверх. И тут ее рука нечаянно ощутила сквозь одежду то, что отличало парня от девушки и по всему ее телу пробежала необъяснимая дрожь.

Вдруг что-то случилось. Тимерхан стремительно поднялся.

— Залиля, не надо! Иди домой, Залиля!..

Через несколько дней он ушел в армию. На проводы Зулейха не пошла. Было невыносимо стыдно. А еще через день или два обнаружила в дровяном сарайчике аккуратный маленький сверток... Лифчик...

А этого медвежонка на печке Тимерхан нарисовал, когда учился то ли в девятом, то ли в десятом классе. Печку с тех пор не раз белили, но к рисунку не притрагивались.

Отец Зулейхи давно скончался. Тимерхан после армии остался на Украине, женившись на хохлушке. Наверное, он уже забыл про тот день на берегу Казанки и, наверное, даже не подозревает, какой незарастающий след оставил в сердце девушки...

* * *

Зулейха снова встала перед зеркалом. И тоска, и отвращение нахлынули на нее — не разобраться.

Она откуда-то извлекла спрятанную матерью шкатулку, вытряхнула содержимое на диван. Золотые и серебряные монеты, массивные браслеты, перстни с бриллиантами, сверкающие броши, серьги рассыпались со звоном, запестрели в глазах.

Девушка надела на каждый палец по три-четыре перстня, в уши продела сережки, грудь увесила брошками и опять подошла к зеркалу, похожая на разнаряженную елку.

— Дура! Дура она и есть дура! «В роду-у так повело-о-ось!..»

А доктор знакомый говорит, что может оказаться «ка» и, возможно, потребуется операция. Для доктора «ка», а для тебя — рак. И для этого «ка» она сберегла свою девичью честь?! Неизвестно, как пройдет операция... Даже если успешно, сможет ли она рожать?.. И кому ты тогда нужна со своими побрякушками?!

А ведь когда-то парни души в ней не чаяли. Только не могла она никому ответить тем же. Ничьи поцелуи, ничьи ласки не способны были затмить тех безумно-волшебных мгновений в тальнике.

Правда, однажды она чуть было не решилась. Отправила мать к тетке и пригласила к себе знакомого инженера, который давно пытался объяснить ей в любви. Но в тот вечер Зулейха так и просидела в темноте, не включая свет и не отворяя ворот. Парень долго ходил по улице взад-вперед и, не дождавись, ушел. А ей все казалось, вернется однажды Тимерхан и подарит она ему то, что берегла все эти долгие годы. Лишь неведомо это никому...

Со временем вроде бы и Тимерхан забылся. Но так и не встретился человек, который мог бы согреть ее выстуженную душу. Окончила аспирантуру, стала завотделом НИИ, превратилась из Зулейхи в Зою Ибрагимовну, а женского счастья так и не испытала.

Хуже того, в последнее время Зулейха на попытки мужчин ухаживать за ней реагировала почти с ненавистью. Ярость захлестывала ее до краев и оборачивалась неприятностями кому-либо в отделе или родной матери, в лучшем случае — битой посудой.

Потом она впадала в задумчивость и даже тихонько напевала услышанное когда-то от матери:

— Лодка по реке Идели
Унесла мои мечты.
Что мечты мне, в самом деле, —
Лишь с ума бы не сойти...

Она даже стала сомневаться, все ли у нее в порядке и однажды пошла к знакомой докторше-психиатру. Та подняла ее на смех и заявила, показывая длинный карандаш:

— Голубушка, вот чего тебе не хватает!..

— Фу ты, язва! — смутилась тогда Зулейха и, отобрав у той карандаш, кинула его в угол.

Посмеялись они, усевшись рядом, и знакомая на прощание всерьез сказала:

— Сама я тебе найду. Холостяк, жена умерла. Остался с двухлетним сыном на руках.

— Ладно, подумаю, — ответила Зулейха, но больше у психиатра не появлялась.

..За дверью слышалось кудахтанье, и Зулейха очнулась от своих дум, вспомнив, что обещала матери покормить цыплят. Как была, в украшениях, вышла на крыльцо с миской пшенной каши.

— Цып-цып-цып-цып!

Изголодавшиеся за день цыплята и насадка сбежались мигом. Зулейха равномерно разложила густую кашу по доске и пушистые желтые существа тут же набросились на еду. Это внезапно разозлило Зулейху. Она отшугнула курицу, вместе с ней кинулись прочь и цыплята. Беззащитные комочки... И чего она сердится на них? Зулейхе стало жалко их. Она поймала одного, приблизила его клювик к своим губам, время от времени он щекотал язык и так странно напоминал те давние ощущения...

Зулейха смотрела на цыпленка, уютно расположившегося в ладони. Пальцы против воли медленно сжимались в кулак и, когда сверху осталась торчать лишь головка, резко сомкнулись, что-то хрустнуло и из-под сверкающих бриллиантами перстней потекла теплая жидкость.

Жалкое и липкое нечто, мгновения назад бывшее цыпленком, девушка отшвырнула в середину двора. Тут же сбежались молодые петухи и с дракой стали делить добычу.

Зулейха поймала второго цыпленка, вытерла об его желтый мягкий пушок выпачканные пальцы и тоже кинула туда же. Петухи сначала шарахнулись было в сторону, но, поняв, что и этот испустил дух, с пущим азартом набросились на него.

Наседка переполошилась за птенцов и кинулась на Зулейху. Зулейха вскочила и изо всех сил пнула ее так, что острый носок туфли пришелся курице в грудь.

...Нагима апа вернулась из Ягодной слободы поздно. Сначала увидела разбросанные по всему полу украшения, удивилась. А взглядевшись в дочь, пластом лежащую на диване, едва не упала в обморок:

— Доченька, дитя мое, что с тобой? Что случилось? Почему у тебя на лице кровь?..

Зулейха в ответ то ли наяву, то ли в бреду, тихо и отрешенно всхлипывала.

Перевод Розы Кожевниковой

НА ПЫЛЬНОЙ ДОРОГЕ

есчаная пыль дороги была сухой и горячей, готовой вот-вот загореться. Илья казалось, что его ступни давно уже горят пламенем, а искорок не видно только потому, что он очень уж быстро бежит. Лишь когда он наступает на увядшие от зноя листья подорожника и редкие лапчатки, по телу пробегает ласкающая прохлада. Но мальчик даже на это не обращал никакого внимания. Отец Василий велел ему скорее вернуться.

Хороший он человек, отец Василий. Никому не позволяет обидеть Илью. Нет пощады лишь от рябого конюха Миколки. А он только и ждет случая пристать к нему. Миколка может и потрепать его тайком от батюшки.

Совсем недавно, когда вышли из церкви, завел в конюшню и сильно-сильно дернул за ухо. А когда Илья сказал, что пожалуется батюшке, Миколка пообещал повесить на перекладине за ябедничество. И сегодня погрозил пальцем. Если б не наблюдал за ними батюшка, Миколка точно бы отдубасил его.

Когда Илья добежал до речушки, разделяющей две деревни, прибрежные камушки вперемешку с ракушками и вовсе обожгли его стопы. Гостинец для матери, завернутую в салфетку буханку хлеба, Илья оставил на песке и по колено залез в воду. И только тут он спохватился, что забыл скинуть рубашку и штаны. Илья быстро снял с себя одежду, положил рядом со свертком, снова зашел в речку и с наслаждением распластался на воде.

* * *

С таким же удовольствием купался Илья и тогда. Наверное, уже больше месяца прошло с тех пор. В тот день отец Василий подарил ему совершенно новую рубаху. Вкусно накормил, угостил соленым огурцом, жирным мясом и щами. Потом в чарку с красивыми узорами налил немножко жидкости и подал ему. Илья не хотел пить эту пахучую штуку и с отвращением поставил на стол. Но батюшка сам показал пример.

— Ты ее только немножко пригуби, — сказал он. — Потом закуси соленым огурцом.

— Ты, батюшка, дал бы ему послабее, разбавленную водой.

— Так и сделал, Сандра. Ты иди, не возись тут. Накажи Миколке запрягать коня. В церковь поедем. Потом спустимся к речке. И сама готовься. Захвати еды.

Когда вышла тетя Сандра, батюшка налил в чарку еще одну ложечку жидкости. В этот раз Илья не почувствовал дурного запаха. Глотнул и по телу пробежала приятная дрожь. А когда уже глотнул в третий раз и начал зажевывать жирным мясом, у него слегка закружилась голова и почему-то хотелось смеяться.

— Я, батюшка, знаю, самогон это. Его пьют. Его делают из проросшей ржи. Потом пьют. Я знаю...

— Точно говоришь, молодец! Ты ведь уже большой парень. Поэтому и люблю я тебя. Вон какую красивую рубашку подарил я тебе. И вон смотри, какие штаны купил. Не холщовые, а городские. Если будешь слушаться меня, и шубу сошьем на зиму.

— Как у Кости, батюшка?

— У Кости разве шуба! Если будешь послушным, шубу получишь куда лучше, чем у Кости. Любишь ты меня?

— Люблю.

— Если любишь, пошли в церковь. Крестить тебя будем. Вернемся, снимешь старые и оденешь новые штаны. Согласен?

— Согласен.

Только Илья пока еще и сам не знал, на что он согласен: то ли на новые штаны, то ли креститься. Впрочем, теперь ему уже было все равно. Разве пожелает плохого отец Василий!

Хотя и ослабли колени, Илья бегом вышел во двор и уселся в тарантас. В церкви же он крестился, глядя на позолоченную икону, как и велел отец Василий.

— Ты теперь стал Ильей, понял? Так запишем и в метрику. Ну-ка скажи: «Я — Илья».

Креститься было интересно. Только мальчик не мог понять, для чего понадобилось изменить ему имя. Но раз сказал батюшка, значит, так и надо.

— Я — Илья.

После церкви они втроем поехали к речке. Тетя Сандра постелила клетчатую скатерть, наставила еды. Отец Василий налил Илье еще той жидкости. Мальчик, не раздумывая, выпил.

— Разденься и войди в воду. Продолжим крещение. Илья так и сделал. Он беспрекословно выполнял все, что говорил батюшка. Правда, не все помнит теперь, что было тогда. А вот то, что купался с наслаждением, помнит хорошо. Было так же приятно, как и сегодня...

Илья вспомнил наказ батюшки не задерживаться в гостях, выбрался на берег, оделся и побежал в свою деревню.

* * *

— В гости вернулся, сынок? Как хорошо, а! Вы только посмотрите на моего сыночка! Какие штаны, какая рубашка!

— Тетя Сандра прислала тебе, мама, гостинец. Хлеб. Целая буханка!

— Ну да? Ой спасибо!.. После твоего ухода хлеба я и не видела. Вот спасибо им! Какие добрые люди!

Мать быстро поставила самовар. Бегом, пока кипел самовар, сходила в хлев и принесла одно яйцо. Сама постоянно причитала, что курица снеслась на счастье сыночка, успевая при этом обнимать и ласкать его.

Сынок, как там, не трудно тебе? Не голодаешь ты там?

Мальчику хотелось похвастаться перед матерью. Подражая взрослым, он рассказал, как пасет шесть телят отца Василия и двух его соседей, как досыта кормят его по утрам и вечерам, а так же и в обед, когда оставляет животных в загоне у речки и приходит домой. Не забыл он напомнить и то, что не все у них ладится с Миколкой.

— Не нужно зря пререкаться с людьми, сынок. Вполне достаточно, что сът и обут, — сказала мать. — Был бы папа живой, разве мы отдали бы тебя в чужие руки в таком возрасте... — Мать вытерла передничком краешки глаз. — Вот и нынче поле не засеяно. Клочок земли с просом в поле да одна курица во дворе. Уж и не знаю, как перезимуем. Жать на чужом поле придется, чтобы подзаработать. Теперь вот кудель пряду, зимой, может, холст дадут соткать. И ты вот, слава Аллаху, стал помощником. Только нынче сердце у меня что-то начало пошаливать.

Мать на некоторое время направила на сына вопросительный взгляд.

— Сынок, говорю, если ты разрешишь, может, соседской бабушке занести ломтик хлеба? И она бедняга еле сводит концы с концами.

— Отнести, мама, да потолще ломтик.

— Айда, сынок, поблагодарим Аллаха за еду.

Мать вознесла руки и начала шептать молитву.

Илья спустился с нар, повернулся в глубинный угол дома и, нагибаясь, стал креститься. Увидев это, мать сначала лишилась дара речи, затем еле слышно выговорила:

— О, Аллах!.. Что ты делаешь, Ильяс?

— Мама, теперь я не Ильяс, а Илья. Отец Василий крестил меня в церкви. И молиться научил: «Господи, помилуй». Показать тебе еще, как надо креститься?

Мать закрыла глаза, взмахнула руками, хватаясь за воздух, и повалилась на пол. Ильяс сначала никак не мог сообразить, что стало с матерью, потом, не получив ответа от нее, побежал к соседской бабушке. Когда они вернулись вдвоем, мать стонала. Бабушка наказала Ильясу никому ничего не болтать о случившемся и отпустила во двор. Здесь мальчик вспомнил об отце Василии и выбежал на улицу. У

околицы он резко остановился и, немного подумав, снова тронулся. И тут же опять осенило, а что с матерью? Весь дрожа зашел в дом и увидел мать, сидящую склонившись на сундук, и бабушку, хлопочущую возле нее.

К вечеру матери стало немного получше. Она медленно, но уже ходила.

Взрослые закончили вечерний намаз, и они все втроем улеглись спать на нарах. Ильяс заснул быстро, как только голова коснулась подушки. Шептания матери бабушке, что она не отпустит сына от себя, если даже умрет с голоду, Ильяс слышал только сквозь сон.

* * *

— Дорога дальняя. Как ее одолеет шестилетний младенец, Бибисалима? Поди, шестьдесят верст вам придется прошагать. И сама совсем ослабла. Может, подождешь денек?

— Нет, Махибадар-апа, не могу оставаться ни на полдня, ни на четверть дня. Если Ильяс не вернется и сегодня, придут и заберут его, обесчестят окончательно. И весной-то я отпустила его, только поверив их словам, что мальчик будет сыт и обут, а к зиме вернут его живого и невредимого. Доверяй ты этому крещеному. Вон ведь чего наделали с моим дитем. Курицу захватила с собой. Просо сама пожнешь осенью. А мы как-нибудь проживем. Говорят, человек не воробей, с голоду не помрем. И свояченица живет одна, не прогонит нас. Прогонит — так пойду по миру, прокормлю сыночка, но не дам отлучить его от веры.

— Может, мне проводить вас до твоей свояченицы? Ведь всякое может случиться по дороге...

— И не думай об этом. Как только вернешься, заставят сказать, где мы находимся. Приедут и заберут сыночка. А так с тебя нет спроса, и ответ у тебя один — не видела, не знаю. С позволения Аллаха до восхода солнца мы тронемся в путь.

Долго шагала Бибисалима вместе с шестилетним сыном по пыльной дороге. Сама постоянно оборачивалась назад — не следует ли кто за ними. Когда чувствовала, что сынок начинает уставать, сворачивала на обочину, и они отдыхали в тени какого-либо дерева или кустарника.

В деревню свояченицы они прибыли только после обеда следующего дня. А свояченица приняла их как самых дорогих родственников.

— Что имею — все ваше, — сказала она. — А чего нет — тоже пополам.

Она тут же побежала к мулле своего прихода и рассказала все как есть. Бибисалима с сыном приютились у нее. А к осени хазрат забрал мальчика к себе в медресе. В середине же зимы приехал к ним Миколка. Тон у него был довольно резким.

— Мальчик крещен в церкви, метрика имеется, батюшка наказал привезти его немедленно. До этого не знали, где он. Знали бы, давно забрали.

Но и хазрат не полез за словом в карман.

— Пойми, Микулай, прежде чем крестить мальчика, ему дано имя Ильяс по Корану. Без согласия родителей никто не имеет права отлучить его от истинной веры.

Когда началось весеннее половодье, овраги, лощины и всякие речушки до отказа наполнились талыми водами, Миколка приехал снова. Приехал он в этот раз верхом на коне и сразу остановился у дома хазрата.

— Дело у меня, мулла-абзый, то же, что и зимой, — начал он. — Батюшка сказал, если не отпустят мальчика, подам в суд за укрытие христианина. Вот так-то. Но должен вам сказать, абзый, я и сам не согласен отбирать у матери сына. Меня-то ведь и самого еще младенцем отлучили от матери и сделали рабом. Ладно еще не отлучили от веры. Как был крещеным, так и остался христианином. Илью же хотят и у матери отобрать, и от веры отлучить, да и в такого же раба превратить, как меня. Что обо мне подумает Илья, когда вырастет. Он меня и так уж жаловал не очень-то. А я ведь ругал его только за то, что все время ходил с батюшкой, как привязанный. Не понимал он этого. Короче, вернись и скажу батюшке, что не нашел я его, перебрались они в другую деревню неизвестно куда.

— Поверит ли? Но и на том спасибо, сынок Микулай. Так и скажешь. А мы тут тоже подумаем.

— Ваша воля. Да я и сам нынче уйду от него. Может, хоть сытым буду. Пусть батюшка поищет себе другого батрака.

Хазрат позвал его в дом перекусить, но Миколка наотрез отказался. Ему дотемна нужно было вернуться к себе. Ведь весенняя распутица спутник ненадежный.

* * *

Через речушку меж двух деревень летом даже гуси переправлялись вброд. С наступлением же весеннего паводка талые воды выходили из берегов. Когда Миколка доскакал до реки уже после захода солнца, вода как раз бесновалась. Миколке не хотелось ночевать в деревне татар-мусульман и он направил коня в воду. Сильный поток тут же подхватил их и понес. Миколка понимал, что коню нелегко нести седока в седле. Он жалел, что и сам не умел плавать. Высвободил одну ногу из стремя и, вконец измученный, не справился с другой. Ледяная вода все прибывала и прибывала. И тут из темноты надвинулось на них вырванное с корнями дерево и толстым стволом снесло Миколку с седла.

* * *

По пыльной дороге степенно шагает крепкий мужчина с проседью в бороде. Это Ильяс, который тогда, после смерти матери, с разрешения тетки-свояченицы перебрался к хазрату.

И кончине хазрата уже много лет. На его место назначили муллой Ильяса, окончившего медресе. Ильяс каждый год навещал могилу матери. Но вот выполнить один обет никак ему не удавалось.

Когда хазрат слег в постель, он пригласил к себе Ильяса и передал ему все, что говорил рябой Микулай в свой последний приезд. В то время Ильясу уже было известно, как утонувшего Миколку летом нашли в песках, верстах в пяти-шести ниже по течению и похоронили на кладбище, Ильяс понимал, что ни к чему радоваться смерти чужого. Но в то же время считал нормальным смерть Миколки, постоянно обижавшего его. А вот услышанное от хазрата всколыхнуло душу. Со временем он начал думать, что Миколка, хотя и крещеный, был святым человеком. В один из таких дней он дал обет помолиться на могиле Микулая.

Одобрят ли единоверцы его посещение кладбища безбожников, простят ли они ему молитву на могиле еретика-христианина — это очень тревожило Ильяса. Может, совершить это скрытно, ночью. Некоторое время Ильяс постоял, терзаясь сомнениями. Затем подумал: «не скрывать же от людей то, что известно Аллаху, объясню, поймут», — и шагнул он по пыльной дороге прямо в сторону деревни кряшен.

Перевод Розы Кожевниковой

МУСАГИТ ХАБИБУЛЛИН

ВЕЛИКИЙ КИР И ТАНАНА

огушественный Кир, шахиншах миданов, покорил Вавилон и собирался идти войной на массагетов. Желая выведать, какими силами располагает противник, он велел позвать к себе визиря. По одному лишь пылливому взгляду повелителя визирь догадался, что хочет шахиншах узнать от него, и начал свою речь так:

— О великий шах! Да будет вам известно, что массагеты сильны и отчаянны. Когда нависает над ними угроза войны, все как один встают они на защиту своей Отчизны. И стар и млад берутся за оружие. С низовьев рек, из степей, пустынь и с гор мчатся к месту сражения. Возникают внезапно, словно вырастают из-под земли. И в решающий миг, словно мощная лавина, сокрушают врага. Кони у них быстроноги и выносливы. Стрелков так много, что не счесть. Мечи острые, копья длинные, щиты легки, кольчуги непробиваемы. Этому народу неведомо поражение. Если массагеты вступают в бой, то бьются отчаянно, до последней капли крови. Смерть на войне при защите своего народа и земли считается у них великой честью. Государство их расположено к северо-востоку от нас, вдоль по течению Аракса и граничит с исседонами, которые населяют побережье полноводного Чулмана. Греки зовут массагетов скифами, а табгачи — суннами.

Визирь умолк. Затем, почтительно склонив голову перед шахом, продолжил свой рассказ. Шахиншах слушал его не перебивая.

— В жестокой схватке с табгачами сложил голову бесстрашный вождь массагетов Шугер ата. И теперь этим богатейшим государством безраздельно правит его вдова, красавица Танана. О ее красоте рассказывают легенды. Танана называют Лучезарной. Говорят, кто хоть раз взглянет на нее, тот навек теряет голову, покой и сон, в мечтах о ней слагает стихи и песни, напрочь забывая обо всем на свете. О

великий шах! Вы посланник Бога на земле, и мирские чувства, конечно, не могут вас тревожить. Но умоляю вас, прислушайтесь к моему совету — не вступайте в войну с массагетами! Пошлите к Танана сватов. Тогда вы будете в двойном выигрыше: ваш дворец будет украшать женщина, равной которой по красоте, может, нет на всем свете, а ее богатейшие земли — бескрайние пастбища с сочной травой, реки и озера, кишасшие рыбой, леса и горы, полные дичью, — без кровопролития перейдут к вам. Прислушайтесь к моему совету, о могучий шах, не вступайте в войну с массагетами! Идти против них с оружием надо лишь тогда, когда не останется иного выхода...

Еще много удивительного рассказал визирь шахиншаху, вызывая в нем все больший интерес к этому племени.

Великий Кир не знал страха. Не знал он и поражений. Одно за другим сокрушил он такие могучие государства, как Вавилон, Аккад, Лидия. И не было у него ни тени сомнения, что такая же участь постигнет вскоре и массагетов. Ему ли бояться какой-то там степной дикарки!

Сколько красавиц он покорил! Он же властелин. А у власти есть все: и сила, и богатство. Кто же перед ними устоит? И эта гордыня тоже покорится. Покорится, какой бы лучезарной она ни слыла. Добром не покорится — силой возьмет. И ее, и всю ее страну.

— Визирь, а что такое любовь?

— О великий шах! Я вас понимаю, но поймите и вы меня. Вам чуждо это чувство. Оно не подвластно ни силе, ни богатству. Это истина. Вы не простой человек. Любовь же — чувство простое, земное.

— Разве властелин не может быть простым человеком?

— О нет, великий шах. Нельзя стоять одновременно на вершине горы и у ее подножия. А вы сейчас на гребне славы.

— Ты прав, визирь. Государство, которым правит женщина, да еще красавица, лучше захватить хитростью. Расправившись с массагетами, я двину войска на своего главного врага — египетского фараона!

Кир прислушался к совету визиря и направил сватов к Танана во главе с самим визирем. Ни щедрых даров, ни драгоценных украшений не пожалел шах, стремясь пленить сердце красавицы.

Провожая в путь-дорогу сватов, он напутствовал своего визиря такими словами:

— Убедись, так ли красива шахиня массагетов, как о ней говорят. Если нет, то я быстро завоюю ее страну оружием...

* * *

Сарман ослабил поводья Алтынтояка. Конь даже с закрытыми глазами мог бы одолеть весь этот путь: Шугер ата, его первый хозяин, часто навещал родного брата Кандыра ата. Алтынтояк — чуткий конь. Стоит лишь немного натянуть поводья, как помчит рысью, ослабишь — переходит на шаг. Конь и всадник — словно сказочный кентавр, очарованный огненными бликами заката.

Степной ковыль колышется, стелется, как необозримое море. Где-то посвистывает суслик, притаилась и охотится рыжая лисица. Вот она, почуяв коня, привстала и замерла, провожая его настороженным взглядом. Шустрый зайчишка, забавно подкидывая задние лапки, успевает скрыться в густой траве. Как будто подзадоривая, прямо из-под копыт коня вспархивают с шумом тетерева. Но Алтынтояк — храбрый конь, его ничем не испугаешь.

А ведь сколько опасностей, бывало, подстерегало его в этой же степи! Сколько раз мчался он навстречу смерти под свист вражеских стрел, преодолевал вплавь полноводные реки — Ра, Аракс, Урал, Чулман, Ик, Белую. Первый его хозяин, бесстрашный и добрый, ни разу не поднял на него руки, ни разу ничем не обидел. Частенько охотились они вместе на степных волков, гонялись за быстроногими джейранами, так что ветер свистел в ушах. Хозяин стрелял метко и булавой их доставал. А в прошлом году, в жестокой схватке с врагом, он сложил голову. И тогда Алтынтояка передали его сыну — Сарману. Поначалу Алтынтояк не хотел подчиняться новому хозяину, вставал на дыбы, брыкался. Но тут подошла его мать, вдова хозяина. Так нежно и ласково она говорила, гладила, угощала коня сюзьмой, что Алтынтояк невольно потянулся к ее рукам, мягкими губами коснулся ладоней и отведал угощения. Он почуял в ней хозяйку Кашка — Белой Звездочки, с которой вместе щипал траву, ходил в походы. Затем женщина передала поводья сыну. И уже из его рук Алтынтояк отведал вкусную сюзьму...

Солнце уже заходит за горизонт, а дорога еще дальняя. Конь хотел было рвануть вперед, но Сарман не тронул поводья. Он глубоко задумался. События последних дней так бурно развивались, что он лишился сна. Неделю назад к ним прибыли сваты от шаха миданов. Сарман порывался зайти в шатер к матери, но телохранители секирами преграждали ему путь. Три дня и три ночи гостили сваты великого Кира. И все это время Сарман не находил себе места, злился. Как же так, ведь золотой трон массагетов

предназначался ему! Потом не выдержал, попросил стражников передать матери, что если она и на этот раз его не примет, то он уйдет от нее к Кандыр ата. Лишь после этого мать приняла сына.

* * *

— Мама, — Сарман старался говорить как можно спокойнее. — Мама, ты ведь не выйдешь замуж за шаха миданов, не выйдешь?!

Он снял с себя богато украшенный шлем, железный кинжал, отстегнул ятаган и положил перед матерью. Это был знак непримиримости.

— Сын мой, что все это значит?

— Мама, сваты еще не успели далеко отъехать, я догоню их. Позволь мне только!

— Сын мой, сначала коня седлают, а потом на него садятся, иначе, неровен час, и свалишься. Да, шахиншах миданов прислал ко мне сватов. Но я разгадала его хитрый замысел. Он хочет жениться на мне, чтобы прибрать к рукам наши земли и наш народ. Не трогай сватов, сын, пусть они продолжают свой путь. Я не дала им своего согласия. Кир не простит мне этого унижения. Нам — надо готовиться к войне. Я даю тебе очень важное поручение: немедленно езжай к Кандыр ата. Он знает миданов, потому что уже воевал с ними. Мне сейчас очень нужна его поддержка.

— Мама, а придет ли Кандыр ата? Ты же больно задела его самолюбие...

— На сердце уздечку не накинешь, сын мой. Не я нужна была Кандыр ата, а мой золотой трон. Я же храню трон массагетов для тебя.

— А если Кандыр ата не согласится ехать?

— Если сердце его не камень, то он откликнется на зов любви.

— Ты любишь его, мама?

— Я тебе этого не говорила, сын мой. Когда враг на пороге, не время выяснять отношения. Надо защищать землю и народ.

— Мама, я тебя понял. Мне сегодня отправиться в путь?

— Сегодня же, сын мой. Передай Кандыр ата, пусть не гневается на меня. У правителей разум должен быть превыше чувств.

* * *

Танана была самой любимой женой правителя Шугер ата. Она подарила ему единственного сына, превзойдя этим всех своих соперниц. Когда сыну исполнилось пятнадцать лет, Бог призвал к себе великого правителя. И скоро на трон сядет Сарман. И будет править, как отец, долгие годы. Перед ним будут склонять головы вожди всех родовых племен. По правую руку сядет дядя Кандыр ата. Еще совсем недавно так мечтал Сарман. Но не сбылись его мечты. Не успели отметить сороковины, как аксакалы возвели на золотой трон его мать, Танана. Узнав об этом, Сарман явился к матери и сказал, что ей надо выйти замуж за Кандыр ата. В ответ он услышал гневные слова:

— Уймись, сын, рано еще тебе решать судьбу главного государства.

Ни разу после этого разговора не упоминал Сарман имени дяди. Тот уехал ни с чем в свои владения.

Что скажет теперь Кандыр ата, внимлет ли он просьбе матери? Встанет ли на защиту главного государства? Всю дорогу думал об этом Сарман.

К вечеру на горизонте синей лентой показалась полноводная река Чулман. Скоро уже должны начаться земли верхнего государства. На границе его встретит верная стража. Только он так подумал, как четверо всадников появились тут как тут, словно из-под земли выросли.

— Куда держим путь? — строго спросил один из них, выступив на шаг вперед.

— К Кандыр ата, богатырь, — уверенно ответил Сарман.

— Гонец или проездом?

— И не гонец, и не проездом я, а с вестью из главного государства.

— Добрая весть или нет?

— Другу — добрая, врагу — худая, богатырь.

— Гостям всегда мы рады. Скажи свое имя, путник.

— Я Сарман, сын Шугер ата, богатырь.

— Добро пожаловать в верхнее государство, Сарман, сын Шугер ата! Мой дом — твой дом. С восходом солнца представлю тебя Кандыр ата.

* * *

Когда солнце озарило своими первыми лучами землю, Сармана представили Кандыр ата. Средних лет, с заметной проседью, дядя стоя приветствовал и обнял Сармана. Потом он приказал созвать аксакалов. Когда все уселись, он попросил юношу подробно изложить свою просьбу.

— С какой бы вестью он ни приехал, пусть сначала принесет клятву, — сказал один из аксакалов.

— Пусть поклянется! — поддержали остальные.

На золотом подносе принесли две пиалы с кумысом. Сарман вынул из ножен кинжал и надрезал палец. В пиалы закапала кровь. Юноша пригубил содержимое одной из них и передал Кандыр ата. Аксакал тоже пригубил, затем выплеснул на лежащее рядом седло, а вторую пиалу протянул Сарману, тот также выплеснул ее на свое сиденье.

— Первое дело он сделал, пусть приступает теперь ко второму, — сказали аксакалы. — Отвечай, на чьей ты стороне?

— Кандыр ата, пока течет в моих жилах кровь, я всегда буду на твоей стороне, учитель мой. Клянусь богом Солнца.

— Не верь ему, Кандыр ата, — перебил его один из аксакалов. — Танана обманула сына. Она не отказала великому Киру. Мужчина ошибается раз, а женщина дважды. Сын здесь, а мать сейчас, наверное, к Киру собирается. В прошлом году она отказала тебе, хотя вы в кровном родстве. Шахиншаху миданов она отказать не посмеет: слава о нем идет по всему миру. Танана преступница!

Услышав такие слова, Сарман медленно встал со своего места и в упор посмотрел на аксакала, который так непочтительно отозвался о его матери, но тут же снова сел. Он вдруг почувствовал, что тот, может быть, прав. А если и в самом деле мать отправила его к Кандыр ата, чтобы избавиться от него?

~~Видной сборотпринимаетделовсалиКандырата~~

— Досточтимый аксакал Туран, в чем вина юноши? Он привез весть, что Танана просит о защите нашего главного государства. Так? Ее дело — просить, все остальное — наше. Ты как считаешь, Туран, мы должны защищать наше общее государство или нет?

— Я что? Я как все, Кандыр ата, помочь надо!

— Решили, аксакалы?

— Решили, Кандыр ата, решили...

* * *

Для Танана потянулись дни, полные тревоги. Караульные стражники шлют весть: великий Кир с огромным войском движется вдоль Аракса к главному государству массагетов. Где оно остановится и построит мост, там и будет битва. Но прежде она хотела поговорить с Киrom. Чего он хочет от массагетов? Не ради нее же ведет он сюда многочисленную армию? Как бы то ни было, Танана приложит все усилия к тому, чтобы предотвратить кровопролитие. Если понадобится, она даже согласится выйти замуж за Кира. Но только при одном условии: пусть сначала Кир со своим войском вернется в свои владения, после чего она возведет на трон сына своего Сармана, и только потом уж она поедет к миданам.

В последнее время Танана почему-то как никогда волновалась за Сармана. То ей казалось, что сын, переходя реку, попадает в плен и погибает; то чудилось, будто Кир отрубил ему голову, посадил на кол и показывает ей через реку... Сердце матери, что-то предчувствуя, тревожно билось.

Она вышла, из шатра ни свет ни заря: В ту же минуту к ней подоспел слуга с медным тазом и кувшином. Танана умылась прохладной водой. Затем отдала почести восходящему солнцу. Повернувшись к реке, долго всматривалась в ее низовье.

— Государыня, что изволите кушать — сюзьму, казы, кумыс, рыбу? — слуга покорно склонил перед шахиней голову.

— Коня вели привести, — приказала Танана.

Тут же к ней подвели Кашка. Танана, как искусная наездница, ловко вскочила на лошадь, взяла в руки плетеные поводья. В это время к ней подбежал телохранитель.

— Что случилось? — Танана старалась говорить спокойно, однако сердце опять невольно сжалось.

— Радостная весть, государыня! Кандыр ата со своим войском расположился в верховье реки. Просил передать, что будет ждать распоряжений.

— Передай Кандыр ата, правителю верхнего государства, что мой шатер для него всегда открыт.

Воин тут же ушел исполнять приказ.

* * *

Долго беседовали в тот вечер с глазу на глаз Кандыр ата, правитель верхнего государства, и шахиня массагетов. Потом они вышли из шатра, облаченные оба в воинские доспехи. Приказали привести белого

жеребенка и направились к родовым усыпальницам. Там, положив на белый камень жеребенка, они принесли его в жертву и, кровью окропив сабли, поклялись над могилами предков биться с врагами до конца. В плен не сдаваться, а если так случится, что враг окажется сильнее и победит, погибнуть на поле брани, не радовать врага.

Танана никаких обещаний Кандыр ата не давала, но и не отказала. Клятва мужчины доказывается делом, клятва женщины — сердцем, рассудила она.

* * *

Не проигравший доселе ни единого сражения и непоколебимый в собственном превосходстве, великий Кир возводил плавучий мост прямо перед носом массагетов. Ему ли, могущественному властелину, покорившему Европу и пол-Азии, бояться какого-то там неизвестного полудикого племени?!

Увидев миданов, возводящих мост перед их шатрами, Танана приказала позвать к себе глашатая и передать непрошеным гостям от ее имени следующие слова:

— Шахиншах миданов! Остановись! Не затевай переправы через реку. Не пришлось бы сложить тебе здесь голову. Ступай домой со своим войском, не трогай нас... Ты, конечно, сильный и могущественный Кир и ты наверняка не внемлешь моей просьбе, не уберешь свое войско. Но если все же, шахиншах миданов, ты намерен сразиться с массагетами, не утруждай себя понапрасну, перейди реку по той переправе, какую мы тебе укажем. Мы отойдем отсюда вверх по течению реки на расстояние трех дней пути. Это будет нашим полем сражения. Ежели ты, великий Кир, желаешь провести сражение на своей стороне реки, то сам отойди с войском на расстояние трех дней пути. Это будет вашим местом сражения.

Так передал глашатай.

Услышав эти слова, великий Кир позвал в шатер на совет аксакалов и визирей. Когда все собрались, он спросил у них:

— Что вы мне посоветуете: перейти с войском на берег противника или принять бой на своей стороне?

— О великий Кир, — начал свою речь один из аксакалов, — чувствую, не удастся нам здесь обосноваться. Не только землей крепко государство. Передай глашатаю, что будем ждать массагетов здесь.

— Хорошо, — ответил Кир. — Но я хочу посоветоваться еще и с царем Лидии. Если никто из вас не возражает, я приглашу своего пленника сюда.

— Чем больше советов, тем разумнее решение, — в один голос ответили аксакалы.

* * *

— Великий Кир! — сказал Крез. — Когда я был взят в плен, то поклялся никогда и ничем не огорчать тебя. Искренним будет и мой совет. Что и говорить, плачевно мое положение, врагу такого не пожелаешь. Сдавшись в плен, я потерял все: трон, государство, народ. О великий Кир, если ты считаешь себя бессмертным, приравниваешь к богам, то я перед богами бессилен, они от меня отвернулись. Мой совет тебе не поможет. Как хочешь, так и поступай. Если же ты считаешь себя, как мы, просто человеком, то никогда не забывай святой истины: все течет, все изменяется. Ничто не вечно на земле. Жизнь коротка. Жил человек — и нет его. Было государство, был народ, был царь, теперь они стерты с лица земли. Как могуществен был Вавилон! Весь мир содрогался от него, а теперь и он у твоих ног...

— Государь, — поднялся один из аксакалов встревоженно. — Зачем ты внемлешь разглагольствованию этого пленника? Лучше прислушайся к голосу аксакалов. Кто сделал тебя шахиншахом? Кто посадил на золотой трон? Мы, миданы. Нас и слушайся: не надо возводить мосты, заставь массагетов перейти на эту сторону. Дома и стены помогают, так в народе говорят.

— О великий шах, позволь мне довести свою речь до конца, — продолжал Крез. — Воля твоя, как ты решишь, так и будет. Советую тебе сделать не то, что сказали аксакалы, а наоборот. Переправься со своим войском через реку. Тогда массагеты будут вынуждены отступить в глубь страны на расстояние трех дней пути. В моем совете заключен двойной смысл. Если массагеты переправятся на твой берег, то в случае твоего поражения останутся здесь и захватят все твои земли. Кроме того, могущественные правители никогда не приглашали женщину к себе, а брали ее силой. Чтобы с наименьшими потерями добиться цели, я предлагаю тебе воспользоваться хитростью. Насколько мне известно, о великий Кир, массагеты не пьют бузу. Отсюда мой совет: построй через реку плавучий мост и переправься по нему на тот берег. После этого шахиня массагетов, согласно уговору, отойдет с войском на расстояние трех дней пути в глубь страны. Потом ты вот что сделаешь: пройдешь со своим войском следом за ними на расстояние одного дня пути и устроишь щедрое застолье. Не жалея угощений. Особенно не жалея бузы. Потом, оставив

возле яств отряд, состоящий из пленных, вернись через ту же переправу восвояси. Массагеты не удержатся, приблизятся к воинам. Вступят с ними в бой. Легко их одолеют и от радости победы начнут пиршество. Когда они досыта напьются, ты вернешься со своим войском и перебьешь их, пьяных. Таким образом ты легко уничтожишь один из лучших отрядов шахини. А кроме того, вселишь уверенность в сердца своих воинов в близкую победу над врагом. Вот что я хотел посоветовать тебе.

Кир махнул рукой, давая знать стражникам, чтобы они увели Креза, пленного царя Лидии, и долго сидел, погруженный в раздумья. Потом, медленно подняв голову, обвел взглядом аксакалов и промолвил:

— Пусть визирь останется, а вы все можете идти.

— О великий Кир, я принимаю совет Креза.

— Одобряю твое решение, визирь. Передай глашатаю: пусть массагеты возводят мост через реку и уходят на расстояние трех дней пути в глубь страны!

* * *

Танана сдержала свое слово и после переговоров с Киrom увела войско вверх по течению реки и обосновалась там. Немедля велела позвать в шатер Кандыр ата. А затем и сына Сармана. Посоветовавшись, решили первым делом послать в разведку Сармана с его отрядом.

С восходом солнца, благословив начало нового дня, отряд во главе с Сарманом ушел в разведку. Домой он уже не вернулся.

А произошло вот что.

На расстоянии одного дня пути от стана разведчики напоролись на неприятеля. Короткая схватка закончилась тем, что миданы были наголо разбиты. У Сармана это была первая стычка с врагом, поэтому он дрался яростнее всех. Одержав скорую победу над миданами, разведчики отведали их дурманящий напиток — бузу. Она показалась им терпкой и в то же время приятной. Пили еще и еще, пока вконец не опьянели. Затем пели, плясали до тех пор, пока не повалились, заснув мертвецким сном. Пьяных и беспомощных, их перерезали миданы. В живых оставили лишь одного, совсем юного воина в дорогих доспехах.

* * *

Студеная вода довольно быстро отрезвила Сармана. Он вскочил на ноги и хотел выхватить оружие. Однако ни кинжала, ни сабли при нем не оказалось. Озираясь по сторонам, он вдруг увидел, что его богатыри истекают кровью возле недавнего застолья. Тогда он все понял. Сбросив шлем, он начал громко причитать и рвать на себе волосы. Испугавшись, как бы юноша чего-нибудь не сотворил, визирь приказал связать пленному руки. В таком вот виде Сарман и предстал перед могущественным шахиншахом миданов.

— Кто это, мой визирь? — с иронией спросил Кир.

— О великий шах! Это сын Танана, правительницы массагетов.

— Не ты ли рассказывал мне, что массагеты никогда не сдаются в плен? Смотри же теперь, кто стоит передо мной?!

— Я уже сказал, великий Кир, это сын Танана...

— Сын Танана?! — переспросил Кир, подняв к небу толстый указательный палец, на котором переливался золотой перстень с великолепным изумрудом, и всматриваясь в юного пленника со связанными руками. Юноша был так хорош собой, что Кир невольно залюбовался им. «Только женщина лучезарной красоты могла дать миру такого наследника», — подумал он, пытаясь представить себе облик шахини Танана.

...Когда сваты вернулись от шахини ни с чем, то и после этого визирь не переставал с восхищением описывать ее красоту. Кир недоумевал: неужели и в самом деле красота может быть столь неотразимой? Оказывается, может. Вот, стоит же перед ним ее сын — красавец. Могучая это сила — красота!

* * *

Когда Сарману наконец развязали руки, он старательно расправил свою одежду, отороченную собольим мехом, не спеша снял кольчугу. Затем поднял голову и устремил взор к небу. Прямо над его головой парил беркут. Это плохое предзнаменование. Домой Сарману путь заказан: он погубил самый

отборный отряд воинов, и аксакалы никогда не простят ему этого. Теперь о троне нечего и мечтать. Кто ему доверит золотой трон массагетов после всего, что произошло? Нет, никогда не быть ему шахом...

Всех присутствующих поразило, как долго Сарман смотрел на небо, и невольно они тоже подняли головы и стали глядеть ввысь. В этот момент юноша молниеносно выхватил кинжал из рук стражника, стоящего справа, и вонзил себе в грудь.

— Он заколол себя, великий шах! — вскричал стражник.

Но было уже поздно. Сарман лежал на земле, истекая кровью. Пораженный, Кир даже вскочил с места:

— Визирь! Что это?!

— О великий шах, я же предупреждал вас.

Свою ярость шах обрушил на стражников.

— Утопите их в реке! — приказал он телохранителям. — Визирь, пусть глашатай передаст Танана, что ее сын заколол себя. Кир ждет ответа!

* * *

До самого захода солнца кричал глашатай. Но ответа так и не последовало. Массагеты молчали. Внезапно Киром овладело чувство тревоги. Он ведь намеревался вернуть сына матери-шахине и этим самым расположить ее к себе. Теперь же все рухнуло. Кто бы мог подумать, что этот юнец поднимет на себя руку...

Кир вошел в шатер, укутался в тигровую шкуру: его знобило. Ночь была теплая, а его била дрожь. Перед глазами стоял юноша, заколовший себя. Такой молодой. И такой отчаянный. А что, если все массагеты такие, как он?.. Конечно, он все равно их победит и увезет красавицу Танана к себе.

Степной ветер в ночи колышет шелковый шатер. За огнем следит раб-невольник. Время от времени он добавляет сало в сосуд с огнем. Когда порывы ветра усиливаются, шатер наполняется страшными тенями. Голова гудит от бузы, выпитой в честь победы над врагом.

Он не смог победить массагетов хитростью. Значит, надо действовать оружием. А ведь Танана почти что была в его руках... Этот юнец все испортил.

Долго не мог уснуть Кир. Мучился, ворочался и лишь под утро забылся тяжелым сном.

* * *

Когда рассвело и взошло солнце, на берегу реки появились массагеты. Им не было ни конца, ни края. Увидев такое многочисленное войско, великий Кир впервые испытал ужас. И никак не мог отделаться от этого навязчивого чувства. Однако душевное противостояние длилось недолго. Он взял себя в руки. Велел привести коня Сармана. Голенастый гнедой скакун с золотыми копытами, казалось, и ему придаст силы и уверенности.

Вскочив на Алтынтояка, шахиншах пристально оглядел свое войско. Ему почудилось, что воины тоже охвачены подспудным чувством страха. Гнетущее чувство тревоги вновь овладело им.

— Мы победим! — вскричал Кир, чтобы приободрить себя и свое воинство, и тут же всем своим нутром почувствовал, что его ликующий возглас не вызвал воодушевления среди воинов.

— «Видать, им не по душе чужой конь», — опять попытался успокоить себя Кир. Он победит, никаких сомнений и быть не может! Пришпорив тулпара-рысака, он еще раз объехал войско.

И в это же самое время на стороне массагетов верхом на белой лошади показалась Танана. Ее золотой шлем сверкал в лучах восходящего солнца. Она также воодушевляла бойцов на битву. До шаха доносились звуки ее голоса, позвякивание серебряных монист на груди.

Глашатай, как эхо, вторил словам шахини:

— Кровожадный Кир, это ты погубил моего сына. Ты обманул его. Не гордись своей победой. Она досталась тебе не в равном поединке. Кир, ты не прислушался к моему совету, не убрался восвояси. И теперь пеняй на себя. Я буду с тобой биться!

Нет, не мог шахиншах вынести такой насмешки от дикарей. Снова пронесся он верхом, гарцуя, вдоль войска, подзадоривая его перед решающей схваткой.

— Воины, много стран мы покорили. Победим и массагетов. Победа будет за нами! Они испытали уже на себе, как остры наши кинжалы. Мы, миданы, самый сильный в мире народ!

Да, да, подстрекать и еще раз подстрекать! Раз, другой, третий! И когда ненависть к врагу достигнет апогея, когда закипит в жилах кровь, направить всю эту смертоносную лавину на врага, чтобы стереть его с лица земли.

...Когда его лучники выпустили все свои стрелы, с левого и правого флангов пошли копьеносцы. Кир успел заметить, однако, что массагеты стреляют очень метко: ряды миданов значительно поредели. Он поднял руку, отдавая приказ коннице идти в атаку. Но тут же спохватился, понял, что поспешил. Массагеты, как в живую мишень, без промаха пускали в нее стрелы. Внезапно самые храбрые всадники миданов, прорвав ряды массагетов, начали рубить противника направо-налево. Но их было мало, поэтому массагеты легко поднимали их на копыта. Увидев это, Кир вне себя от ярости дико закричал. И сам не услышал своего крика среди ржания коней, воплей, стонов умирающих. Он заметался. Поднимал в атаку то левый, то правый фланг войска, то пускал в ход основную ударную силу. Но все атаки в мгновение ока отражались противником.

Даже небо, казалось, содрогалось от топота копыт, пыль застилала глаза. Кир бросил в атаку резервную конницу. Но и та не смогла противостоять стрелам, которые градом посыпались на нее, и отступила. Массагеты и миданы уже стеной пошли друг на друга. Все смешалось, перепуталось. Свирепо ржали кони, страшно кричали пронзенные копьями воины, катились по земле отрубленные головы.

Кир все слышал, все видел. Сердце его возликовало, когда миданы перешли в наступление. Но тут, с верховья реки, словно из-под земли, появился новый конный отряд. Киру грозило окружение. Тогда он вознес над головой саблю. Это был условный знак для сотни его верных телохранителей. Те должны были вывести шаха из окружения. Они плотной стеной сгрудились возле него. Часть его войска бросилась наперерез мчащейся коннице. Ряды воинов редели на глазах.

И тут Кир увидел, что прямо на него на белой лошади скачет сама Лучезарная. Ее тоже охраняла надежная сотня.

— Вперед! — крикнул Кир и бросился навстречу шахине. Телохранители последовали вслед за ним. — Скорее, вперед!

Кир не мог даже представить себе, что будет драться с дикарями один на один. Как всегда, он был уверен в легкой победе. Представлял, как возьмет Танана в плен и увезет красавицу в свой роскошный дворец. Увезет — и ни разу не удостоит ее своим вниманием. Ни один мужчина никогда даже краешком глаза не сможет взглянуть на нее. Она канет в Лету. Пробудет в заточении до самой смерти.

Навстречу ему мчалась белая лошадь. На ней грациозно восседала красавица из красавиц. Самые сильные, отчаянные воины охраняли ее. Вот сейчас и решится твоя судьба, гордячка!

— Не трогать шахиню, я сам с ней расправлюсь! — приказал он страже. — Уничтожьте ее охрану!

В это мгновение произошло нечто непредвиденное. Алтынтояк вдруг узнал Кашка и радостно заржал. Танана резко развернула лошадь и направила ее в степь. Кир больно ударил коня плашмя саблей.

— Догони!

Алтынтояк вытянулся в стрелу и пустился вскачь во весь дух. Вскоре он догнал Кашка. И так они мчались на расстоянии каких-нибудь десяти шагов. Их уже никто не преследовал. Воины Кира сражались с телохранителями шахини.

— Танана! — кричал Кир на полном скаку. — Танана! Сдавайся!

— Кир, кровожадный Кир! Ты не человек, ты чудовище!

В мгновение ока она натянула тетиву и выпустила стрелу. Кир едва успел подставить свой щит. Стрела, покрытая золотой краской, ударила о него.

— Танана, сдавайся! — снова кричал Кир, пытаясь преодолеть шум ветра.

Танана чуть-чуть ослабила поводья. И Кир вдруг увидел ее лицо. Увидел и обомлел. Как прекрасна была она: изящные черные брови, как точеные крылья ласточки, красивые восточные глаза, словно убегающие друг от друга, сочные, как будто налитые, алые губы. И вся она словно излучала солнечное сияние. Лучезарная! Кир был ослеплен и покорен ее красотой. Только сейчас он окончательно понял, какую роковую ошибку допустил. Никогда еще ему не доводилось видеть такую красивую женщину.

— Танана, сдавайся! Я увезу тебя в свою империю! Я посажу тебя на трон рядом с собой, Танана!

— Кир, ты слышишь меня? Ты пришел сюда не за моей любовью, а за своей смертью. И ты ее скоро найдешь, Кир! Здесь, в моей степи. Ты обманул, погубил моего сына. Ты бездушный человек, Кир! Алтынтояк, сбрось его, он чужой. Это не твой хозяин, Алтынтояк!!!

Танана резко натянула поводья, Кашка встала на дыбы и остановилась. Алтынтояк рванул было вперед, но, словно опомнившись, начал вставать на дыбы, сбрасывая седока. А когда тот упал на землю, конь, пригнув голову, пошел прямо на него. Кир успел вскочить на ноги и вынуть саблю. Он всадил ее с размаху в грудь коня. Но Алтынтояк, словно и не почувствовав вонзенную в грудь саблю, со всех сил лягнул своими копытами Кира прямо в голову...

Услышав дикий вопль умирающего и предсмертное ржание Алтынтояка, Кашка в ответ тоже заржала, жалобно и протяжно. Танана направила лошадь туда, где лежал конь. Но Кашка начала фыркать, со страхом пятиться назад. Тогда Танана спешила и подошла к двум истекающим кровью телам.

Могущественный Кир, шахиншах миданов, решивший покорить массагетов, пришедший на их землю с семидесятитысячным войском, умирал под лошадью. Его шлем, усыпанный драгоценными камнями, валялся в траве, лицо и борода были залиты кровью, глаза выпучены и устремлены в небо, словно прося прощения у Солнца, бога массагетов, за все то горе, которое он им причинил.

Танана обернулась туда, где кипело сражение. Под натиском войска Кандыр ата, неожиданно появившегося с верховья реки, остатки войска миданов бежали к реке в надежде на спасение. Кандыр ата, однако, успел захватить мост и никого не оставлял в живых: у миданов было два выхода — либо броситься в реку и утонуть в тяжелых доспехах, либо нарваться на острые копыта массагетов. Третьи бросали оружие и ложились на землю — сдавались в плен.

* * *

Танана вскочила на лошадь и поскакала к месту битвы. Она знала, что зло, как бумеранг, возвращается к тому, кто его совершил, поэтому спешила пощадить пленных. Многих миданов спасла она, оделив их землей, хозяйством, пристроив к вдовам. Благодаря этим добрым делам ее имя вошло в Историю.

На восходе следующего дня Танана приказала воинам разыскать тело сына. Аксакалы облачили Сармана в самые дорогие и красивые доспехи. По верованию массагетов, на том свете он должен был предстать перед богом Солнца — Тенгре. Вместе с ним были захоронены его погибшие друзья, любимый конь Алтынтояк, а также провиант на три дня, драгоценная посуда и оружие. Потом, по ритуалу погребения, каждый воин высыпал на могилу полный шлем земли. Так будет и в сороковины, и в годовщину смерти. И ежегодно из века в век. Возможно, вам доводилось видеть в степи высокие курганы? Это могилы массагетов.

Когда были соблюдены все обряды, Танана призвала к себе аксакалов и объявила им о своих намерениях:

— Почтенные аксакалы, хочу сообщить вам, что: правителем государства массагетов станет Кандыр ата. Я же со своей свитой переберусь во владения миданов. За их земли и реки, степи и пастбища была пролита кровь моего сына и наших доблестных воинов. Дайте мне свое благословение!

— Благословляем тебя, Лучезарная! — в один голос сказали аксакалы. Никто не смел возразить женщине, одолевшей самого могущественного шахиншаха.

...Вскоре Танана со своей свитой вступила на престол государства миданов.

Эта страшная война произошла в 530 г. до н.э. О ней рассказано во многих исторических произведениях, в рукописях известных историков. Подробно описал ее и современник той эпохи отец истории Геродот, которого называли летописцем мировой цивилизации человечества. Миданов стали впоследствии именовать персами, а массагетов, поселившихся на противоположном берегу реки сначала сарматами, потом скифами, а китайцы звали их сюннами.

Перевод Наили Краевой

АЙДАР ХАЛИМ

ТАЛЬЯНКА НА ПЛЕТНЕ

*Светлой памяти
знаменитого гармониста
Файзи Биккинина*

т рытья земли ломило поясницу. Наконец, он отложил в сторону лопату и с наслаждением выпрямил спину. Потом, нагнувшись, потряс головой, стряхивая крупные, жемчужные капли пота со своей всклоченной шевелюры. Пот струился по лицу, заползал в глаза, раздражая их и вызывая слезы. Если бы он посмотрел сейчас на себя в зеркало, то увидел бы, как вытянулось его лицо, тусклое, как лишенный солнечных лучей клинок кинжала.

Да, работать с землей — это мужское дело. Тут нужен соленый мужской пот. Он улыбнулся краешком губ, вспомнив давнишний анекдот. Так себе анекдот, дурацкий, конечно, но почему-то запомнился. Одного татарина, работавшего шахтером в Донбассе, спросили: «Ты почему домой не поехал на похороны отца? Предал бы его тело земле...» «А зачем? — ответил тот. — С землей мы и здесь работаем».

Да, хоть стой, хоть падай. Выдумают же черт знает что... Разве у татар так бывает?

Он вытер рукавом соленый пот со лба и, запрокинув голову, посмотрел на солнце. Светило уже поднялось на достаточную высоту. Воздух нагревался, становился даже душным здесь, в яме, в тени хлева.

Он с трудом поворачивал во рту пересохшим языком, словно жерновом мельницы, потом воткнул лопату в извлеченную грудку земли, снова посмотрел наверх и наткнулся взглядом на стеклянную четверть — трехлитровую бутылку айрана, прикрытую здоровенным, с лошадиную голову, листом лопуха.

Лицо его осветилось радостью. Ах, айран! Он вдруг ощутил, как мучила его жажда — аж до спазм в пищеводе.

В горячке работы он чуть было не забыл об этом божественном напитке, заботливо приготовленном для него картиней¹.

В предвкушении наслаждения он чуть было не захлебнулся слюной, но все же решил растянуть удовольствие.

Он вылез из ямы, уселся на привезенное сюда с неделю назад дубовое бревно, приготовленное для колодезного журавля, и не спеша потянулся за вожделенной бутылкой айрана. Бутылка была покрыта маленькими холодными капельками, словно тоже потела в ожидании встречи с жаждой. Вид запотевшей бутылки с новой силой подстегнул ощущение жажды.

И он, уже больше не сдерживаясь, впился ртом в горлышко бутылки, спеша втянуть в себя прохладный айран, залить этот неумолимый сухой жар в груди...

Напиток оказался холодным, как лед, терпким, как полынь, густым и мягким, как сметана!..

Казалось, нет ничего волшебнее и чудеснее айрана — этого напитка, приготовленного путем соединения густого и жирного катыка с колодезной водой, щепоткой соли и щепоткой соды. Когда эту божественную смесь взболтаешь, она пенится и пенится на солнце мириадами радужных точек, готовых заполнить каждую клеточку твоего тела, истомившегося по влаге.

Вообще, в отношении таких напитков, как катык, айран, он был ненасытен. Айран был первым напитком, вкус которого он ощутил еще на заре своей жизни. Он тогда не знал, что айран испокон веков считается целебным средством при различных заболеваниях рта, органов грудной и брюшной полости. Он просто пил и пил айран, забыв обо всем на свете, и даже не чувствуя, как напиток тонкими струйками стекал из уголков его рта по шее, груди, достигая пупка...

Да, айран был хорош! Еще бы — ведь он приготовлен на чистой колодезной воде. А-а, вы ведь еще не знаете, что у нас есть собственный колодец, да! Какое это подспорье — колодец. И как прежде мучилась без своего колодца бедная картиней.

Отец начал копать колодец за несколько дней до того, как грянула война и его призвали на фронт, работа так и осталась недоделанной. Но разве в деревне можно без колодца? Приходилось брать в руки коромысло и ходить до соседнего колодца. Туда-сюда... туда-сюда... Поэтому картиней очень обрадовалась, когда он объявил, что будет копать колодец. И как ему раньше эта мысль в голову не пришла? Впрочем, рытье колодца — это тебе не поедание блинчиков со сметаной. Труд тяжелый, изнуряющий. Здесь и сила нужна, и мастерство, и терпение, и аккуратность. Тогда они выкопали колодец втроем — он с приятелем Ихсаном да дед Гимакай, которого вообще-то зовут Гильметдин, но деревенские давно уже кличут его попроще — Гимакаем.

И сруб отличный соорудили. Спасибо деду Гимакаю — он классный печник и специалист по срубам, но пальцем о палец не ударит для человека, который ему не нравится. А они ему, значит, понравились. Хотя и остер на язык дед, иногда скажет, как косой срежет. А вот его, Багрима, он встретил, можно сказать, с открытой душой.

Дед вил аркан из лыка, привязав его к стояку хлева, когда к нему пришел Багрим. И состоялся у них примерно такой разговор.

— Гимакай бабай!

— У-у, не язык, а колода! Нужно говорить: «Здравствуйте, любимый наш дедушка Гималетдин!»

— Здравствуйте, любимый наш дедушка Гималетдин! Я хотел тебя...

— Тебя!.. Мы с тобой что, вместе гусей пасли? Нужно начинать так: «Любимый наш дедушка Гималетдин! Если вы позволите, я хотел бы попросить вас...»

— Любимый наш дедушка Гималетдин! Если вы позволите, я хотел бы попросить вас...

— Ну, и?..

— Я хотел попросить вас, не сможете ли вы помочь нам вырыть колодец?

— Ты-ы... Это смотря кто кому поможет... Кто же там у нас будет начальником, кто помощником, а? Кто найдет источник воды, кто выкопает горловину колодца? М-м-м?

— Ты, конечно.

— То-то... Значит, нужно обращаться так: «Дедушка Гималетдин, не смогли бы вы выкопать нам колодец?» Ну, говори, деревянноязыкий!

Подросток понял, что дед расположен шутить, а значит, дело почти что на мази.

— Но ведь и мы будем копать, Гимакай бабай?

— Ой, ой! А ты что, хотел сидя на крыльце смотреть на мою работу?

Дед с удовольствием рассмеялся.

— Посмотри-ка на него, каков губернатор! Ладно, ладно, приду. Спасибо за приглашение. Пстой, сколько тебе годков-то?

— Шестнадцатый пошел...

— Шишнацатый, — передразнил его дед. — Еще скажи: шестьдесят шестой... Ну, ладно, молодец, джигит! Многие мужчины и в шестьдесят лет умирают, так и не научившись рыть колодец. А ты... Всего лишь «шишнацатый», а гляди-ка... Значит, в ауле появился еще один настоящий мужчина. В добрый час!..

После войны в деревнях мужчин действительно было мало, а старику так хотелось настоящего мужского разговора, и он словоохотливо продолжал:

— Приду, приду. Как же не прийти? Еще как пойду, понимаешь... Ты сказал — я сделал. Гм-м... — Тут он хитро прищурил глаза:

— А твоя картиней пусть как следует пошарит за печкой: может, найдет там крынку-другую медовухи. Гм-м... Интересно, есть ли у нее медовуха?.. А так... Конечно... ты сказал — я сделал. Угу. Как спичкой по коробке — раз, и готово... Кхе-кхе...

Работа шла споро. Вот только память у деда Гимакай дырявая, тут уже ничего не поделаешь. Подростки втихую смеялись над этим недостатком старика. Да и как не посмеяться: сняв размер со дна колодца, он при выходе на поверхность земли напрочь забывал минуту назад взятый размер, и наоборот, размер, снятый наверху, напрочь забывался при спуске на дно колодца. И если бы не Багрим с Ихсаном, дед до конца жизни своей так и метался бы между верхом и дном колодца, стараясь запомнить им же выверенные размеры. Скажем, дед сообщает со дна колодца: «Та-ак, один метр двадцать сантиметров». Вылезая наверх, он растерянно смотрит на хлопцев и спрашивает: «Э-э, сколько-сколько?» Смех, да и только!..

Одно время к колодцу Багрима стала приходиться через речку и соседка Разия. Вообще-то у них был свой колодец, но вода в нем с каким-то привкусом, а в багримовском — влага чистейшая, нежнейшая. Не зря, наверное, в одной из песен поется:

Есть у них колодец свой, да все к нам идут они...

При мысли о Разии Багрим почувствовал какой-то жаркий толчок в сердце и обостренно ощутил каждую капельку пота на лице. Вроде бы эта Разия — никто для него. Так, соседская девчонка. Дом их стоит напротив, через речушку с названием Уязи. С раннего детства Багрим то и дело слышал, как тетя Рагиба зовет своих дочерей: «Разия! Ракыя! Дарига! Хадия!»

Дочки тети Рагибы наполовину сироты — отец их погиб на фронте. И вот сейчас старшая из них, Разия, готовится выйти замуж. Вовсю идут приготовления к свадьбе, Багрима тоже позвали — как гармониста — провожать невесту, уезжающую из родного села в дом мужа...

Да, с тех пор, как он начал играть на гармонии, его жизнь четко разделилась надвое: до и после. До гармонии и после гармонии. В одном человеке жили как бы двое: один — простой парень, второй — «очень нужный человек», то бишь гармонист.

Да что уж тут говорить! Багрим с силой вонзил лопату в груды выкопанной глины и прислушался: за тальником, за речкой не слышно было ни звука. Гости, сваты и сватья, приехавшие со стороны сел Ашказар, Ишембай, еще, видимо, не проснулись, уморенные чрезмерным гостеприимством. Юноше вспомнилась какая-то частушка.

Уморившись в гостях, сваты весело храпят...

Сегодня Разию вместе со сватами и всем свадебным кортежем должны проводить в аул жениха. Какой-то хмырь должен увезти Разию куда-то за реку Белая... Надо же... Странно как-то... И... И обидно? Да, обидно, досадно!

Где-то у соседней встревоженно закудаhtала курица. Наконец, ее поймали, птица еще пару раз сдавленно булькнула горлом, и снова все затихло. Сейчас ее будут ощипывать. Потом сварят суп-лапшу...

Эх, не увозили бы ее!.. Кого-кого, ясно кого — Разию.

Он поплевал на ладони, схватил лопату и снова принялся за работу. Он хотел сделать этот колодец с особенно высоким журавлем, чтобы он был виден издали и манил путников многообещающей прохладой своего лона. Говорят, и отец хотел, чтобы колодец был с журавлем. Эту яму Багрим копает, чтобы усадить туда столб для журавля. По правде говоря, не сегодня хотел он этим заняться. Просто душе тошно было, места себе не находил, вот и взялся копать. Как говорят в народе, «инструмент работает — мужчина хвастает». Вот и у Багрима работа пошла как по маслу. Еще часа два, и яма будет готова.

Углубляя яму, он обратил внимание на пташек, смело оккупировавших груды свежевыкопанной земли. Пичужки искали и находили в земле свежих жирных червей. Птахи с щебетаньем взлетали, когда с лопаты падала очередная порция земли, и тут же, едва Багрим наклонялся над ямой, снова пикировали на кучу с дармовым угощением. Однако в этом году земля не особо богата на червей. По мере убывания червей птахи все более волнуются, суетятся, насканивают друг на друга, пытаются отогнать соперника от найденного лакомства...

Он уже давно прошел серый слой почвы. Когда останется позади и чернозем, и появится красная глина, достаточно будет выкопать земли еще на штык — и дело сделано. Багрим знает: глубина ямы должна доходить как минимум до пупка.

Кстати о червях. Их малочисленность — не единственная особенность этого года. Несмотря на середину июня, почва хранила в себе чуть ли не ледяной холод. Нынешнее лето, как сказал учитель Махмут абый, оказалось «резко континентальным». Не только в мае, но даже в июне сельчане ходили в бешметах: дождь лил и лил. Тяжелые свинцовые тучи словно утюжили землю, дыша холодом на все живое вокруг. Земля чавкала под ногами. Вплоть до начала июня не могли зацвести яблоня, черемуха, вишня. А ягоды, вот-вот готовые выстрелить цветами, даже под снегом, даже при ночных минус трех-четырех не померзли, не погибли! Приоткрывшиеся почки напоминали зрителей, открывших рот для улыбки да вдруг раздумавших это делать и так оставшихся с полуулыбкой. А еще они похожи были на борцов, победивших на сабантуе и застывших на пьедестале в ожидании приза.

Любимый школьный предмет Багрима — зоология. Потом — биология. Обронит ли свое перышко чайка, выющая гнездо на крыше сарая, или попадет под ноги необыкновенно громадный лист лопуха — бери и изучай! Но юношу больше всего беспокоил вопрос: почему заморозки на почве случаются именно тогда, когда растения только-только начинают цвести? Словно Дедушка Мороз специально выжидает этой поры. Ведь пора цветения — все равно что первая любовь у людей. Или это испытание всего живого, своеобразный тест на выживаемость, естественный отбор? Если так, то не слишком ли жесток в этом проявлении Всевышний? Почему, хотя в одной песне поется «Расцветают яблони в середине мая...», в этом году яблони даже под снегом не померзли, потому что еще не успели зацвести? Глядя на яблони, Багрим иногда пугался: а вдруг из-за холодов ни одно растение в природе нынче не зацветет? Что тогда? Травы не взойдут, хлеба не вырастут...

Но напрасно тревожился юноша. Солнце, показав свой капризный нрав в конце мая, то пригревая, то остужая землю, в конце концов заулыбалось вовсю и за несколько дней вернуло к жизни все живое: на полянах и лугах вытянулись толстоногие борщевики, щавель, земляника поперла аж в колеях от тележных колес, верите, нет, даже не зная цветения крапива вдруг заколыхалась какими-то беленькими колокольчиками; более того, из бог весть как сохранившихся семян «вылупились» растения, о которых в народе было забыто несколько десятилетий назад...

Да, нынче природа не знала удержу. От пяти градусов мороза в середине мая природа уже в начале июня прыгнула в тридцатиградусную жару. Дела-а... Вовсю зацвела кислица, запенился кумыс... Воздух наполнился ароматом меда, потому что медоносные пчелы, стремясь наверстать упущенное, собирали нектар, казалось, и днем, и ночью. Лицо обдавало зноем лета. В речках закипала вода, рыба выбрасывалась на берег, словно ища у земли прохлады...

Да, природа сначала никак не хотела замерзнуть и не замерзла, а потом никак не хотела сгореть, и не сгорела. И что интересно, почти у каждого дерева в зеленой куще листы обязательно промелькнет или ветка, или отдельные листочки, резко выделяющиеся на общем зеленом фоне своей бледностью, даже белизной, словно сединой, появившейся то ли от чересчур жаркого дуновения ветра, то ли от слишком холодного дыхания ночи. Судьба! Крона дерева буйствует зеленью, а вот одна его ветвь, какая-то

небольшая поросль или гниет, или вообще засохла. «До семидесяти лет дожил, а такого лета не видел», — сокрушенно качал головой Гимакай бабай. — Как-то даже сон благодатный приснился. Будто черемухи вдоль Уязи стоят белые-белые... Значит, рожь нынче уродится на славу, даст аллах!»

А еще старик любил иногда приговаривать: «В книге сказано, что перед концом света вся природа вот так вздыбится. Мир возгордится, вознесется. Хлеба уродятся как никогда. Деревья согнутся под тяжестью плодов. И явится миру Даджал¹...

И что это, интересно, за Даджал? Человек, что ли, какой-то особенный, или это какое-то пограничное, не знающее удержу состояние внутри каждого из нас?

Вдруг штык лопаты заскрежетал обо что-то, и юноша встрепенулся, все еще находясь во власти своих мыслей: «Что это? Может, это и есть Даджал?»

Он осторожно руками разгреб ямку и вынул из нее какую-то железяку с цепочкой. Почистив находку, он узнал в ней старинной работы замок. Кажется, это был замок от кандалов. Может, он имел какое-то отношение к беглому Акри, который, по преданию, основал их село. Нужно будет показать находку учителю Махмуту абый.

Он улыбнулся. А что, если ковыряясь так в земле, пройти ее насквозь? Какие сокровища лягут на его лопату!

Он засмеялся каким-то дурашливым смехом. Представьте себе: вот он с голосистой тальянкой в руках выходит на ту сторону земли и затягивает любимую свою песню «Сарман». А там на очаге висит казан, то есть котел. И вообще, везде, куда ни посмотри, висят казаны, и дым кострищ густо валит из-под них.

Местные аборигены из племени, скажем, лампа-пуду, приглашают тебя отведать... человечинки. Да-да, племя-то каннибальское!..

— Иди сюда, — зовут они, — поближе к казану, выбирай кусок получше да пожирней!

А у самих даже фигового листочка на срамных местах нет.

— Я ведь из Казани, — отвечает Багрим. — Мы, казанские, не едим человечину, ведь мы и сами люди. И знай себе наяривает на тальянке.

— Если вы, как мы, будете играть на тальянке, тоже перестанете есть человечину!

— Что? Это казанцы людей не едят?! — от души потешаются лампапудунцы. — Ври, да знай меру! Еще как едят! Разве не вы изобрели казан для варки людей? Едите, еще как едите друг дружку, да еще облизываетесь! Целыми родами, племенами заедаете, даже имен-названий не помните, а потом, напившись в стельку, пляшете и орете под свою шарманку, то бишь тальянку! Поэтому о вас в мире не знают. А нас ведь мир знает! Знаешь, почему? Потому что мы классно пляшем под ритм барабанов!

Окрестности взрываются барабанным боем.

— Мы не скрываем, что едим человечину и пляшем под барабаны! Мабимбо-бомбо! После трапезы запрыгнешь на барабан, заведешься в пляске, глядишь, в брюхе так все утрясется, хоть снова целого человека лопай! Мабимбо-бомбо!

Б-р-р!.. Юноша поморщился от своих же фантазий.

Чу!.. Кажется, кто-то зовет его.

Он прислушался. Голос доносился не из-за реки, как он ожидал, а гораздо ближе, с их подворья.

— Багрим! Соколик мой!

Это звала картиней, желтое платье которой полыхало на ярком утреннем солнце сквозь редкий плетень, а синий платок приходился как раз на верхушку изгороди.

— Чего, картиней!

— Беспокоюсь, ты не забыл, что должен провожать свадьбу? Давеча еще раз позвали. Пусть, говорят, гармонь не забудет.

— Не забуду... — Багрим рассердился на картиней за то, что она напонила о свадьбе Разии. Как будто без нее не знают. Он поплевал на ладони и вновь принялся за работу. — Им бы только гармошку...

Да, он действительно состоит как бы из двух людей. Один — «простой», как все, другой — гармонист, человек нужный.

Багрим копал и копал, словно в самом деле хотел продырявить землю насквозь.

Да, его зовут Багрим, это значит — душечка, душа моя. В этом имени было что-то значительное, что-то недосказанное, таинственное, красиво-тревожное и даже трагическое... Да-да... Разве можно не любить свою «душу», разве можно уйти от дорогого человека? Конечно, нет. На то он и Багрим. Попробуй-ка сказать: «душа моя, я не люблю тебя!» Абсурд!

Парень, незаметно превращающийся из подростка в юношу, крепко сбитый, с тугими, как хорошо надутый мяч, бицепсами и рельефными мышцами груди, наверное, еще не задумывался всерьез о значении своего имени. Но он знал его историю.

Знал, что он единственный сын своей матери. Вернее, единственный, кто выжил. Шестеро его братьев и сестер умирали, едва появившись на свет. В 1939 году пропал без вести на финской войне отец. Багрим тогда еще находился во чреве матери. Он родился преждевременно, в разгар сенокоса, на охалке сена в лесу. Мать умерла там же от сильного кровотечения, которое никто не смог остановить. Она лишь успела прошептать: «Если выживет, назовите его «Багрим» — «душечка», «ненаглядный мой»...

Сказала — как в воду глядела. Впрочем, весьма вероятно, что она это имя уже давно в сердце вынашивала. У нее и у самой было красивое, звучное имя — Танзиля! Тан-н!.. Зил-ля!.. Джилля... То есть ветер... ветерок... Утренний, вернее, рассветный ветерок! Ну, разве не бесподобное имя?! Как волшебные струны чудесного тихого рассвета... Как тонкое, звонкое постукивание липовой пахталки, творящей божественный кумыс в предрассветной дымке мироздания...

Старшая сестра матери — Уммугульсум — взяла сироту на воспитание. Ее-то и звал Багрим ласково — картиней. Дословно с их диалекта это переводится как «старая мамка», но кто же в деревне понимает дословно, в ауле давным-давно научились каждое слово понимать образно, сообразно со своими понятиями. Вот и «картиней» в устах Багрима означает скорее всего «миленькую старшую мамочку». Она сама настояла, чтобы он так звал ее как это принято у них, приуральских татар. А что, это правильно. Раз судьба отняла у него свою, то есть «молодую мать», как прикажете назвать ее старшую сестру, взвалившую на себя бремя воспитания сиротинушки? Верно, «старшая мать».

Уммугульсум, правда, не кормила его грудью, а носила его из дома в дом к молодым, что недавно родили. И так — на протяжении девяти месяцев — строго по графику ходила она к кормилицам. Вот так... Можно сказать, Багрима кормила грудью вся деревня, и был он в какой-то степени молочным сыном всей деревни, и молочным братом всех своих сверстников. Такие вот дела...

А потом Уммугульсум стала поить его козьим молоком, чрезвычайно полезным для здоровья...

Снова сердито зачирикали воробы, отвоевая друг у друга жирного червя, вынутого вместе с пластом прохладной земли. И юноша вдруг подумал: «А у меня нет никого, ни брата, ни сестры, с кем я мог хотя бы вот так повздорить, поспорить из-за чего-то, чего-то не поделить, обидеться, а потом снова помириться... Словом, жить, как в других семьях... Круглый сирота, что и говорить. Вот и Разия уходит...»

Ему почему-то казалось, что в выкопанной им яме вот-вот должны появиться несметные сокровища. Чудилось, что на другом конце выкопанного им однажды тоннеля взойдет, обдав его нестерпимым светом, его звезда — Белая Звезда — Ак Юлдуз. И как только сталь лопаты коснется Белой Звезды, она превратится в волшебный родник, вода которого не иссякнет никогда...

Но с кем он будет делиться водой из родника Белой Звезды? И Разия... Разия уходит...

Он тяжело вздохнул и энергичнее заработал лопатой, словно отгоняя от себя нерадостные мысли.

«Тук-тук...» — вонзается штык лопаты.

Он никогда не уйдет из деревни в поисках лучшей доли, в поисках эфемерных сокровищ или человека, который может стать для него самым близким, дорогим, с кем бы он эти сокровища поделил...

Тук-тук...

Нет, он не предаст свой аул. Ведь он — его молочный сын и брат.

Тук-тук.

Если на то будет воля аллаха, он построит на месте их лачуги высокий и просторный дом-пятистенок с покрытой жестью крышей...

Тук-тук...

Вдоль Уязи он разобьет для села великолепный фруктово-ягодный сад. Он будет растить для колхоза арбузы размером с самовар, дыни величиной с лошадиную голову, огурцы длиной с человеческий локоть, яблоки с кулак, смородину с ноготь большого пальца...

Тук-тук...

Погоди-погоди... Ведь он когда-нибудь женится? Будет растить детей?.. Вот еще... Какие дети? Он еще сам, можно сказать, из детского возраста не вышел. Да, а разве его сверстница Разия вышла из детского возраста? Ведь она выходит замуж! Сегодня ее увезут куда-то в сторону речки Ашказар... Погоди-погоди... Какая свадьба? Какое такое еще «замуж»? Неужели Разия уже настолько выросла? Как говорит картиней, «созрела»... Значит, она опередила его? Она лучше его, что ли? Первого сорта?

Он вдруг откинул голову назад, не выпуская из рук лопаты, на которую оперся, и дико захохотал, показывая небу свои ровные белоснежные зубы.

— Ха-ха-ха-ха!..

Воробы, переполошившись, тут же дали стрекача.

Багрим откинул в сторону лопату и, держась за стенку выкопанной ямы, продолжал хохотать.

— Ха-ха-ха-ха!..

— Соколик, у тебя все в порядке с головой? — Это крикнула ему с крыльца картиной. Она все время говорит ему «соколик».

— Прочитай «бисмиллу» и сплунь по сторонам, соколик! — подала совет заботливая картина.

— Ха-ха... — как-то сам по себе заглох этот ненормальный смех.

Действительно, что это с ним? Ум за разум зашел, что ли...

«Жениться — не болтовней делиться», — говорят в народе. Почему? Разве нельзя болтать, не женясь, и жениться, не болтая? Тьфу, абракадабра какая-то... И вообще, что нужно для женитьбы? Как минимум, для этого нужны парень и девушка. Это — во-первых. И парень, и девушка должны иметь высокий рост, приятную внешность, голову на плечах умную... Ну, и сердце, конечно. То есть души, которые их притягивают друг к другу. Мысль о женитьбе еще ни разу не посещала Багрима. Стало быть, у него нет ничего из вышеперечисленного? Как же так? А вот Разия, еще вчера воробышком прыгавшая, замуж собирается. Вернее, уже выходит. Значит, эта пигалица по всем признакам созрела для замужества?

Ну, рост, внешность, пожалуй, можно на глаз определить. А как быть с сердцем? Багрим затруднился ответить на этот вопрос. При слове «сердце» в его воображении возникал какой-то мягкий, как белочка, клубок, катящийся перед ним. Этот клубочек закатывается в прибрежный тальник, словно норовя затаиться там, и вдруг превращается в девушку, укутанную в полупрозрачную голубую шаль, и эта фея ласково зовет его «Я — любовь... Я — это вздохи влюбленных... Я — это томление чувств... Я — твоя любимая».

Влюбленность, томление чувств и вздохи сердца — это для Багрима были как бы тремя ступенями на пути к любви, как бы тремя ипостасями в нем самом... Да, нельзя выходить замуж без преодоления трех этих ступеней, значит, эти три ценности должны зародиться и расцвести внутри самого человека. А Багрим не чувствует в себе ни одной из них. Внутри Багрима эти почки еще не набухли и не дали нежных лепестков. Влюбленные представляются ему чем-то вроде ангелов, из-под лопаток которых растут белоснежные крылышки. И юноша сделал для себя вывод: «Все влюбленные — это люди с крыльями, только крылья эти не видны. Влюбленные — это существа, парящие над землей, а не ходящие по ней, как простые смертные».

А над землей можно летать, наверное, лишь тогда, когда твоя возлюбленная готова за тебя жизнь отдать. С другой стороны, как это может произойти, когда девушка, которую ты вчера совершенно не знал, сегодня вдруг влюбляется в тебя и готова отдать за тебя жизнь? Такой, наверное, и должна быть истинная любовь.

Интересно!.. Очень интересно!

Багрим вспомнил кинофильм «Падение Берлина». Помнится, он растерялся тогда: ему было непонятно, почему Ева Браун, зная, что через несколько часов умрет в этом бункере от принятого яда, тем не менее соглашается официально соединиться с Гитлером узлами брака? Как нужно любить для этого? Наверное, так, чтобы ощущать это чувство каждой клеточкой тела. Ведь не для кино вступали в предсмертный брак Гитлер и Ева...

Багрим потрогал кистью руки у себя под лопатками: нет, крылышек еще не было. Впрочем, это его не особенно расстраивало. Ведь любовь нельзя подстегивать, она должна прийти сама, не спеша, как незаметное и естественное чудо.

Да, он не расстраивался, но, по правде говоря, испытывал некоторую растерянность. Это что же выходит: значит, Разия потихоньку обзавелась крылышками любви? Может, она их поливала по ночам какой-нибудь волшебной водой, шептала для них какие-то особенные молитвы? Значит, Разия, его подруга детства, подруга отрочества Разия, втайне от Багрима, не говоря ему ни слова, вот так взяла да обзавелась собственной любовью? А Багрим до сих пор не знает, что это такое? Действительно, что это такое? И-интересно получается... Вообще, морока с этими девчонками, правда. Посудите сами: втайне от всех наливаются соком, втайне от всех созревают, втайне от всех расцветают, втайне от всех окрыляются и... втайне от тебя, будучи помолвленной, упархивают прочь прямо из-под твоего носа! А ты, губошлеп, с носом остаешься!

..Взяла и вышла замуж Разия. Чудеса, да и только! Багрима будто молния ударила, когда он узнал об этом. Они ведь только вчера еще были как две ветви одного дерева, как две стрелочки стебля осоки, как два глаза у лошади! Они даже не успели толком осознать различие между ними как между юношей и девушкой, и вдруг... Да-да, и вдруг эта Разия, эта вечная «гусиная пастушка», эта смуглая, рябоватая Разия вышла замуж! С ума сойти... Дескать, семнадцать уже стукнуло. Ну и что, что стукнуло? Багриму, дескать, только-только шестнадцатый пошел. Ну, и пошел, да. И что? Только он никогда не уедет из села, ни за что ни покинет его!

Милостивые государи, вы только обратите внимание: какой-то косоглазый образина, не иначе, как потомок фараона, с берегов какой-то богом забытой речушки Ашказар, из невесть откуда взявшейся деревеньки Аллагует, вдруг ни с того ни с сего посылает кривоногих сватов и спустя несколько дней преспокойно забирает себе девушку, которую до этого и в глаза не видел, и о которой до этого и слыхом не слыхивал. Виданное ли это дело? И что самое интересное: девушка уходит к нему сама, по своей воле! Она, вчера только игравшая в куклы, напрочь забывает родной порог, родник и тропинку к нему, словом, бросает все родное и уезжает куда-то к этому пучеглазому фараону! В чужую, незнакомую сторону, к чужим людям. Неужели до того сильна любовь, до того сладка и маняща?

А ты, олух царя небесного, так и остался стоять с разинутым ртом, словно размокший от осенних дождей и затерявшийся среди берез сумрачный гриб. Словно ничего не видел и не знал. Почему же в таком случае она не увезет с собой этот родник, эту тропинку... с Багримом в придачу, а?

Так мучился Багрим, не умея понять самого простого и самого сурового закона жизни. Он мучился вопросом: как же можно вступать в брак, не зная друг друга, даже немного не поухаживав за избранницей, не погуляв с ней по вечерам под звездным небом? А потом дошли до Багрима пересуды о том, что Разия не особенно-то без ума от жениха, и что он ей просто «нравится», а выходит замуж по принципу: стерпится-слюбится. Но как? Разве можно так, без любви, «стерпеться и слюбиться»?

Разия любила слушать, как Багрим играет на гармонии. Как только он, бывало, развернет меха да начнет сыпать переборами, Разия заслушивается и почему-то начинает часто-часто мигать глазами. Странная манера слушать... Мелодия — она ведь не только в одном Багриме. Она есть в каждом, есть она и в самой гармонии. Ведь она, сердечная, кто бы ее в руки ни взял, так и норовит соловьем залиться. Лишь нажмут на ее клавиши — гармонь и вздохнет, да так, что слезы наворачиваются. По правде говоря, только Разия и вдохновляла его, Багрима, на игру, лишь благодаря ей стал Багрим гармонистом. Это она не уставала подначивать его: «После войны в нашем селе ни одного гармониста не осталось. Давай, давай, будешь гармонистом нашего, послевоенного поколения!» да еще и похваливала: «Молодец, хорошо играешь!» То ли искренне хвалила, то ли нарочно, не поймешь. Вознесла его до небес. А гармонисты — народ такой, раз поднявшись, опускаться обратно не землю не хотят.

Первым мелодиям его обучил вернувшийся из донбасских шахт дядя Раис Карамысла. Это прозвище у него такое — Карамысла.

Тальянка его была четырнадцатиклавишной, спереди на мехах — аккуратный белый ромбик. Жива еще та гармонь. Когда порой вечерами дядя Раис разворачивает меха своей тальянки, кажется, что от белого ромбика так и сыпет лучами светлой музыки. Переливы и переборы тальянки не у одной молодухи вышибали слезу...

Гармонь снилась ему по ночам, звучала, пела, чародействовала... И Багрим решил: во что бы то ни стало занять свою собственную тальянку! Спасибо дяде Минеахмету: он включил двенадцатилетнего хлопца в бригаду по заготовке древесины, а попросту в бригаду лесорубов. Полтора месяца, отбиваясь от свирепых комаров, валил он лес, срезал сучья, таскал валежник в Новониколаевском лесу, что возле Старлибаша. Получив свои кровные 78 рублей, он по пути домой остановился в селе Мулла-Гулюм и купил у гармонного мастера дяди Мустакиля новенькую тальянку о двенадцати звонких клавишах с гремучими басами. На оставшиеся 28 рублей купил отрез материи на платье для картиней да один килограмм кофейных конфет. В родной аул Култамак он, хоть и усталый, но вошел с гордо поднятой головой, торжествующей походкой победителя. У него была своя гармонь, милостивые государи, понимаете ли вы это? Собственная гармонь!

Первым делом он нанес на меха инструмента такой же аккуратный белый ромбик, какой красовался на гармонии дяди Раиса. Этот ромбик как бы освещал черные меха гармонии, то расширяющиеся, то уменьшающиеся. Даже в кромешной ночи виден этот призывный ромбик.

Дяде Раису гармонь понравилась. Немного поиграв на ней, он вынес свой приговор: «Ну, гармонь твоя выглядит прилично, это стоящий инструмент. Да будет век ее долог!»

А потом дал Багриму несколько неожиданный совет: «Ты только не бегай ко мне каждый раз, когда надумаешь новый мотив выучить. Самое главное — я научил тебя играть. А песни учи сам. Свою мелодию ищи сам. Бери гармонь в руки и дуй в баню, запись там и учи, учи, ищи, дерзай, твори. Настоящий гармонист в бане рождается, ги-ы!..»

Совет оказался поистине бесценным. Именно на банном полке освоил Багрим такие песни, как «Ком бураны» («Песчаная буря»), «Корт чакты» («Пчела укусила»), затем перешел к более сложным мелодиям: «Жанкай-жанаш» («Миленький»), «Кара урман» («Темный лес»), «Васби-Камиля».

Наверное, и душа у него была песенная, лиричная, во всяком случае, сельчане хвалили его именно за напевность, мелодичность. Но чем больше «брал он за душу», тем больше уставал. Видимо, такая трогательная игра отнимала у него часть души...

За три года чего только не довелось увидеть его многострадальной тальянке!

Она тонула в половодье. На току была засыпана зерном. Хрущевский «тридцатитысячник» товарищ Айсин, приехавший руководить колхозом аж из самой Москвы, давил его гармонь тарантасом... Айсина в их ауле сейчас нет, слава богу. Года два помучил он култамаковцев и перевели его в другое хозяйство. Станный был человек, этот Айсин, весь, казалось бы, сотканный из противоречий. Если коротко, то был он из породы комиссаров, готовых с шашкой наголо штурмовать танковую колонну. На людей он смотрел тоже как-то странно, вернее, не смотрел, а косился каким-то по-рыбьи красноватым глазом. По образованию и специальности был он ветеринаром или, как в народе говорят, лошадиным доктором. Поговаривали, что майором он стал вовсе и не на фронте, а где-то на Рязанщине, в одном из райкомов, где он, сидя на печи, лихо рубил шашкой вражеские танки.

А в прошлом году в разгар жатвы произошло вот что...

Молодежь, прибывшая на ток во вторую смену, выгадав время, когда подвоз зерна прекратился, по их расчетам, где-то на часок, решили этот естественный перерыв провести в клубе, на танцах. Только-только начали они отплясывать, как в клуб заявился грозный Айсин с плеткой в руках!

Как боевые доспехи, сверкали две медали на его груди, а широченные галифе, казалось, затмевали весь мир! Согнав плетью молодежь, сидевшую вдоль стен, как воробышки на телеграфном проводе, «присидатель» продолжал хлестать их, как бескровную скотину, и приговаривал сквозь зубы:

— На току зерно гниет, а вы — тралля-ля играете?! Айда, марш отсюда!

— погоди, дядечка, осторожно! — вступился за сверстников Багрим. — Здесь не скотный двор!

— Да, не скотный двор, а просто хлев какой-то, сарай! — забесновался Айсин и от души, с плеча огрел Багрима кусачей плетью. — Айда, марш!.. Армейский парядык!..

— Это — клуб, клуб! Он играет важную роль в воспитании советской молодежи...

— А-а, — взъярился тот, — так ты еще мне мозги компостировать?!

Глаза его, казалось, вылезли из орбит, закрыв собой даже брови. Изо всех сил он плетью по гармонным мехам и заорал:

— Отойти в сторону, недоносок, дитя блуда!.. Армейский парядык!..

Разия попробовала защитить Багрима:

— Вы не имеете права запрещать молодежи танцы! Айсин оттолкнул ее, резко повернулся к кому-то, но сделал это так неловко, что фуражка слетела с его головы, обнажив «трудовую мозоль», то есть след от фуражки.

Багрим, весь вне себя, еле сдерживался. Не зная, куда смотреть, он направил свой горящий взгляд вниз, на грубоватый пол, и наткнулся на сапоги Айсина. Тонкий и мягкий хром правого сапога вздулся возле большого пальца, где огромная мозоль торчала, словно копыто.

И вот их глаза встретились, взгляды пересеклись. Айсин бешено косился на него по-рыбьи кровавым глазом. Тонкий подросток с гармошкой в руках, стоявший перед медалистой тушей лошадиного доктора, напоминал соловья, замершего в пригоршне грубых человеческих ладоней.

— Я... — срывающимся голосом произнес еле сдерживающий себя Багрим, — я-а... Не дитя блуда! Это ты — сучье отродье! Об этом и по радио вчера передавали. А сегодня повторили...

Глаза Айсина полезли на лоб и, казалось, сделали пару витков по фуражечной орбите. Потом он стал грозно надвигаться на подростка, захлебываясь от нехватки слов.

— Смотрите-ка, что он говори-ит?.. Меня, меня — оскорблять? Да я тебя из деревни выгоню поганой метлой, лачугу твою с землей сровню!..

Взгляд его наткнулся на белый ромбик гармони, и он, будто что-то решив для себя, выскочил из клуба с угрозами:

— Вышвырну из деревни, до седьмого колена предков молить будешь, отродье!.. Армейский парядык!

Молодежь, чувствуя, что добром эта стычка не кончится, ринулась к двери, как стадо овец. Вышли из клуба и Багрим с гармонью, у которой оборвался ремень, и его единственная защитница — Разия.

В клубе вырубил свет, отчего звезды на небе стали выглядеть еще ярче, еще крупнее. Густой теменью, но с ясно-звездным и луноликим небом ложилась на землю ночь на исходе августа.

— Во-от тебе гармонь! — Айсин с побелевшими от злости зрачками выхватил и швырнул тальянку прямо под копыта застоявшегося рысака, запряженного в тарантас.

— Пущай поет!.. Не погуляете больше во время уборки!

Рысак испугался от попавшей ему под ноги гармони, которая тревожно клацнула клавишами, словно всполошившийся гусак, и прыгнув, с храпом рванул с места. Гармонь попала под заднее колесо и разорванная пополам, прямо посередине белого ромбика, курлыкнула в последний раз, как дикий гусь в небесах.

Из глаз Багрима хлынули слезы. Он даже не плакал, а судорожно всхлипывал, и каждая его слезинка, казалось, разряжалась молнией.

Зажав под мышками обе половины изуродованной тальянки, он молча, стиснув зубы, пошел на ток и проработал там всю ночь.

Странно, что он вовсе не озлобился против этого Айсина и не воспылил к нему мезтью. Багрим как-то не умел обижаться на людей, обделенных даром слышать музыку. Он их только жалел.

А тальянку он отремонтировал. В ту же ночь после работы на току он пошел в село Мулла-Гулюм к гармонному мастеру Мустакилю, и тот за обещанные по осени пять пудов картошки привел инструмент в божеский вид. Утром Багрим с гармонью, залечившей свои раны, вернулся домой, усталый, но донельзя довольный.

— Не горюй, — успокаивал его мастер Мустакиль.

— Я добавил еще немного серебра на язычки. Вот увидишь, парень, пройдет время, и ты станешь единственным в округе итальянщиком и переплюнешь самого слепого Сагита.

Слепой Сагит из соседнего села Яна-Ишле был самым знаменитым гармонистом в округе. Как же, переплюнешь такого!

— Почему ты говоришь — «итальянщиком»? Тальянщиком...

— У-у-у, молодой человек! Ты даже этого не знаешь? — в шутку огорчился мастер. — Какая же ты темнота! Тальянка пришла к нам из Италии, а туда — через византийцев и германцев. Сначала тальянка в поисках татар направилась на Донбасс, к шахтерам, там и стала называться «тальян гармуны», то бишь гармонь-тальянка. И только потом стала известна у нас, татар, под этим именем. Не веришь, почитай газеты. Хотя бы ту же «Кызыл Тан», там написано...

Словно на крыльях летел домой Багрим, а крыльями этими была его выздоровевшая гармонь. Ну, не чудак ли: уже заря занимается, а он никак до дома не дойдет — то у поляны Карлау Башы остановится, то у родника Кынгырау Чишма — чтобы сыграть пару-другую мелодий на возрожденной гармонии...

Поначалу Багрим не очень-то верил словам мастера. Вот еще, с какой стати татарская насковозь тальянка должна быть итальянской? Тальянка испокон веков была татарским народным музыкальным инструментом, и никак она не может происходить от слова «итальян». Скорее всего, тальянка происходит от татарского «тал», то есть ивы, и «джан», то есть душа. В Италии вряд ли найдутся такие серебристые ивы, как у нас вдоль речки Уязи. Ха, как будто татарский народ сам не способен изобрести такой музыкальный инструмент. Ну уж!.. Не скажи!.. Хотя у нас, татар, вечно все не по-человечески. Увидит у другого, скажем, у Шаляпина, и приветствует: браво! Увидит у нас, например, у Сайдашева, и тут же в позу: откуда взял?

В сердцах он с силой вонзил лопату в глинистую, начинающую краснеть на солнце землю, вытащил из лопухов бутылку айрана и, запрокинув голову, стал жадно пить.

Какая чудесная сегодня погода! Небеса пронзительно голубые, как поле цветущего льна. Белоснежными стогами плывут на этом поле облака.

Как прекрасна его родина! Разве можно назвать сиротой человека, у которого есть свой очаг, милая картина, такие добрые и отзывчивые сельчане, а за селом — непроходимые дубравы, бескрайние поля, чистейшие родники, наконец, эти белоснежные облака! Есть, наверное, на свете сироты, но Багрим к ним никак не относится.

Он тихо, почти беззвучно запел, и пальцы его забегали по воображаемой клавиатуре.

Потом он вдруг перешел на стихи и громким голосом начал декламировать Тукая:

Он слывет большим аулом?

Нет, напротив, невелик,

А река народа гордость —

просто маленький родник...

... Там ни холода, ни зноя никогда не знал народ:

В свой черед подует ветер,

в свой черед и дождь пойдет...

Глубина ямы, кажется, доходит уже до пупка, даже выше. Что за красные комары кружатся перед глазами? То ли крови его напились до такой степени, что просвечивают, то ли в глазах у него марево красное...

А что касается гармонии, произошло одно небольшое, но очень приятное совпадение: звучание гармони багримовской и звучание гармони дяди Раиса великолепно, на редкость удачно дополняли друг друга. Поэтому на праздничных концертах эти две гармонии часто играли дуэтом. Недавно еще, на майских праздниках, они на бис исполняли песни «Ай, былбылым!» («Ах, соловей мой») и «Коймэ килэ» («Плывет лодка»).

Интересно, что бы подумал этот косоглазый Айсин, узнай он, что Багрим до сих пор играет на той, раздавленной тарантасом гармонии? Может, извинился бы перед ним? Гм-м... Как бы не так...

Айсин вообще с народом не мог общего языка найти, с тем и ушел из села этот странный «тридцатитысячник».

Да, народ у нас такой, норовистый, не сможешь подладиться к нему, он сам тебя выживет. Это сейчас народ и сам понял, что Айсину, желавшему работать, но не знавшему местные обычаи и порядки, ох как нелегко приходилось. Иногда даже в народе жалели очередную жертву чудовища по имени партия. У Айсина был своеобразный лексикон и особенный характер, а относился он к породе людей, которые для того, чтобы выполнить свой долг, и в дерьмо по уши готовы залезть. Словом, такой вот простой был. Из-за своей прямолинейной ружейной простоты и попадал он в ситуации неприятные, сложные. Словом, не сумел он здесь раскрыть свои способности. И потом: время такое было, суровое, непонятное. После смерти Сталина сабантуи в селе перестали проводиться только с приходом Айсина — впервые в истории аула! Впрочем, народ догадывался, что запрет исходил свыше, от «деда Крючка», как говорили в селе. Дескать, сабантуи наносят вред делу дружбы народов? Каких таких народов, позвольте спросить. И в Култамаке, и в окрестных селах никакой другой народ, кроме татар, не живет.

Вот и в этом году без сабантуя остались. Что это за «дружба народов» такая? Непонятно. Кажется, никто и не ссорился, чтобы дружить.

Иногда Багрим даже скучал по Сталину. Конечно, его сейчас хаот, в культе обвиняют, то да се... Но ведь они победили в этой войне с именем Сталина на устах. Со Сталиным они не боялись ничего и никого. Если уже на то пошло, то Багрим даже ночью в баню шел, шепча, как заклинание, имя Сталина. Скажем, еще в детстве посылали его поздно вечером в баню, где картиной забывала то таз, то кумган. Замерев от страха, он шел в ночи к бане, открывал дверь, зажмурив глаза, кричал «Сталин!» и стремглав, точно бросался с гранатой под танк, врвался в баню, с полка которой все черти (если они там были) сигналы в страхе кто куда, сталкиваясь рогами и хвостатыми задницами. Эта его привычка, его оригинальный метод преодоления страха сослужил ему добрую службу, когда он до ночи засиживался в бане, разучивая на гармони очередную песню...

А еще Айсин досадил сельчанам тем, что привез с собой в Култамак трех огромных свиноматок со множеством розовых сосцов на животе. Никогда еще за всю свою многовековую историю мусульманский Култамак не видел подобных существ. Но человек любопытен от природы. И вот потянулся народ к заброшенному саманному домику стариков Самиевых, где и содержались эти свиноматки. Придут, глянут, зажмут от смрада нос и выбегают наружу, быстро читая про себя «бисмиллу».

Айсин ходил от дома к дому и гнал женщин работать на новообразованную свиноферму, приговаривая: «А я вот к свиньям равнодушный, у меня с детства слабость к поросятине, без свинофермы низ-зя, товарищи!.. Бедные татарские свинарки (господи, какое дикое словосочетание!) потом всю ночь песком отмывали свои руки от свиного запаха. Может, айсинская слабость к поросятине тоже досталась ему «сверху», от деда «Микиты Крючка»?..

Да, редкостный дундук был этот Айсин, дундук честнейший, можно сказать, по призванию. Жители верхней части Култамака, у которых Айсин успел побывать в качестве «отца родного», то есть расспрашивая о жите-бытье, прозвали «присидателя» «Армейский пар-рядык». Жители нижней части Култамака, о жите-бытье которых Айсин проявить заботу не успел, называли его по-другому: «Дунгыз Иванныч», то бишь «Свин Иванныч». Как говорил Гимакай бабай, Айсин и сам стал жертвой этого пресловутого и фетишируемого им «пар-рядка».

Стало быть, по приезду в село по поручению райкома Айсин стал ходить по домам и узнавать «про жите-бытье». Не привыкшие к таким «телячьим нежностям» люди сначала выпучили от удивления глаза, словно их против шерсти погладили, а потом, опомнившись, со свойственной народу смекалкой стали извлекать из этой ситуации максимум забавного: все ж таки разнообразие и все такое...

Сначала Айсин решил навестить дом Сабира Кылтайгана, что на самом краю села. Прозвище Кылтайган означало «высокомерный». Сабир встретил его, стоя в воротах, высокомерно повернувшись к пришедшему своим изуродованным левым плечом, словно большой старый надменный гусак с перебитым в драке крылом.

— Как дела, сказать есть чё? — спрашивает Айсин.

— Слава богу, на плечо, — загадочно отвечает в рифму Кылтайган.

— В смысле?

— Плечо имею в виду, видишь? — наступает на него Кылтайган. — Когда гнул полозья у саней, попал плечом в станок, увечье получил.

— Ого! Неужели самолично плечом в станок?

— Точно так, — надменно задирает нос Сабир. — Если очень интересуешься, могу и твое плечо туда сунуть!

Так сказал Сабир, а потом развернулся и пошел в дом: дескать, все, разговор окончен.

Потом Айсин пошел к Зинатулле Зимагуру. Зимогор — значит, сезонный рабочий, вечный наемный работник, крестьянин, слоняющийся по разным промыслам, словом, перекаати-поле.

— Ну, как дела? — спрашивает Айсин.

— Когда спрашиваешь человека о его житье-бытье, руки из карманов вынимать надо. Нехараша... — отчитывает его Зимагур.

— Почему это?

— Чудится мне, что ты сейчас достанешь из кармана пачку денег и вручишь мне, — говорит Зимагур.

— Потом придется с тобой застолье устраивать...

Айсин, звякая медалями, шел к дому Аглям Кун-чель, то есть Ревнивого, и думал: что за народец в этом селе, язычок вострый, палец в рот не клади...

— Дела зашибись, — ворчал Аглям Ревнивец, нос и губы которого, казалось, навечно были сдвинуты в гримасе недовольства. — Али не слышал?

— А что? О чем ты? — оживлялся Айсин. — А ну, говори быстрее!

— Пока я сено в стог метал, сосед с моей женой спал!

— Да ну!

— В старом доме одиннадцать лет душа в душу жили, а как в новый дом переселились — распоясалась совсем!

— Да ну!

— Сладу нет!

— Да ну!

— Может, и ты приволокся сюда, чтобы за моей женкой приударить, а? — повышал голос Аглям, даже не слыша лепет Айсина, уверявшего, что он новый «присидатель». — Иди, иди отсюда, поганец, порождение банной слюны!..

— Нет-нет, боже упаси! — растерянно пяtilся Айсин. — Смотрите у меня, чтоб... это... армейский парядык в избе был! Живите счастливо!

— Счастье — не мальчишка, его не поймашь! — Наконец Айсин направился к дому Мэнге, то есть Вечного Ташрифун Мухлиса.

Мухлис, говорят, застыл в одной позе, упершись глазами в какую-то, одному ему видную точку.

— Чего потерял? — интересуется Айсин.

— Вчера из головы один шуруп выпал, никак не найду, — отвечает хозяин. — Не поможешь?

— Шуруп? — восклицает Айсин, ничего не понимая. — Что еще за шуруп?

— Собака такая, — поддразнивает его Мухлис. — Шурупом зовут. Вау-вау-вау!

Мухлис лает и изображает пса, готового накинуться на незваного гостя.

— Я не из тех, кто лаять станет, как собака, — говорит Айсин. — Я ваш новый председатель, вот так...

— Вай! Да ты ли это! — оживляется вдруг Вечный Ташрифун. — Да такого присидателя, как ты, у нас никогда не было и не будет, а если и будет, то даром не нужен! — и хозяин, обнажив в улыбке гнилые зубы, ловко потрогал председателевы карманы. — Я думал, ты опохмелить меня пришел. Ха-ха-ха!.. А ты всего лишь навсего новый присидатель... — Да, нет ничего страшнее напрасного ожидания, особенно когда ждешь прихода гостя или смерти жены, ха-ха...

На Мухлисе комиссар Айсин решил прекратить свое знакомство с «контингентом». Как-то уже не хотелось продолжать знакомство с этими чокнутыми култамаковцами. Ну их, в самом деле... Помучил он местный народец около двух лет да и слинял отсюда. Говорят, Центральный Комитет перебросил его на другой участок фронта: из култамаковского колхоза имени Буденного, что на реке Уязи, его перевели в колхоз имени Ворошилова, что на речке Ашказар. И вообще, кому какое дело, куда власть засунула этого раздолбая Айсина. Самое главное — отделались от него. Слава богу, Култамак остался на месте. И лишь гармонь, когда-то брошенная Айсиним под копыта рысака, напоминает ему иногда о Разии, и тогда сердце больно сжимается.

Хорошо бы узнать, что это такое — выйти замуж или жениться?

Юноша глубоко вздохнул. Наверное, и сегодня Разия расчесала свои волосы, оставив аккуратный пробор ровно посередине прически, и заулыбалась своей симпатичной ямочкой на левой щеке, зазолотилась такими милыми веснушками. Или Разия сейчас вообще не улыбается? А может, наоборот, рот все время шире варежки? Невеста!.. Надо же, Разия — невеста! Здрасьте! Багрим стал про себя дразнить Разию: невеста, понимаешь ли... Не-ве-ста... Хи-хи-хи... У Разии жених, понимаешь ли, хи-хи-хи... Умора... Багрим лишь раз увидел этого жениха — и сразу возненавидел. Ха-ха. То же мне — жених... Недоразумение какое-то — пучеглазый урод с отечным лицом, словно тот Сисястый Чуваш, что приходит к ним из деревни Уязибаш; к тому же уши у него большие, оттопыренные, глаза навывкате, весь какой-то склизкий, мокреть, одним словом. И подбородок аж о четырех углах, что несомненно говорит о его выдающихся жевательных способностях.

Но для Разии, выходит, этот урод — самый красивый человек на свете. Во всяком случае, так говорят в народе. Может быть. Как же иначе выходить замуж, если не видеть в женихе лучшего на свете человека. Девушки — это ведь народ очень своеобразный: то вместо ума интересуются внешностью, то вместо того, чтобы плакать, смеются.

Багрим своими глазами видел, как смеялась рядом со своим женихом Разия, когда они рука об руку возвращались с прогулки по лесу. Что, обязательно надо было брать ее за руку? Чтобы не потерялись? В ту минуту Багриму захотелось пристрелить этого жениха, хотя бы из деревянного пистолета. Разия тогда впервые показалась ему не подружкой детства, не милой соседкой, которую он оберегал от дождя, холодов или жары, а совершенно чужим, посторонним человеком. Почему Разия, прежде чем решиться на такой ответственный шаг, не посоветовалась с ним, не спросила у него разрешения? Не спросила разрешения у этих полян, холмов, родников? Ведь и они растили Разию. Может, он ревнует Разию? Да нет, боже упаси! Ведь она даже не была его девушкой, в том смысле, что он не ухаживал за ней. Он вообще еще ни разу не гулял ни с одной девушкой. Он и не пошел бы к ней гармонистом на свадьбу, если бы односельчане не попросили его...

Он перестал рыть — яма уже доходила ему до груди. Слишком глубокая яма тоже не нужна. Глубина должна быть нормальной, выверенной.

Опершись на черенок лопаты, он выпрыгнул из ямы. Ни от него, ни от стоявшей вертикально лопаты тени почти не было: солнце стояло в зените. Время обеда.

Он вдруг встрепенулся, наострив уши. Кажется, свадебный кортеж готовится к отъезду. Он взял ведро с привязанной к нему вожжей, подошел к колодцу и, навалившись грудью на сруб, стал опускать ведро вниз. Со дна колодца в обрамлении белых облаков на голубом небе смотрел на него широколобый, круглолицый отрок. Да, в деревне неспроста прозвали его «Медным лбом». Его рельефный лоб действительно словно выкован из меди. Посмотришь, и будто тот пучеглазый, большеухий, склизкий от собственного пота жених это и есть он сам, Багрим. И четырехугольный подбородок, и челюсть, созданная для перемалывания пищи, вот они, пожалуйста.

Пустое ведро плюхнулось на водную гладь колодца, где покачивалось отражение его головы со всклоченными волосами, медным лбом и залитыми потом глазами... Раз — и круги от ведра разлетаются, не вмещаясь в узкую окружность колодца и исчезают где-то далеко, в неведомом пространстве, унося с собой навечно нестойкое отражение багримовского лица.

Он отнес ведро к забору. Вытряхнул штаны, носки, рубашку с короткими рукавами, инструменты, повесил одежду на забор и пошел мыться.

— Соколик, наденешь ту рубашку, что у Качагана брал, ладно?

Картиней, согнувшись на крыльце, готовила болтушку для прожорливой домашней птицы. Да, картиней словно создана была для того, чтобы напоминать ему то о том, то о другом деле. Лучше бы она думала, стоит ли скисший катык добавлять в болтушку для кур? А вдруг куры от него захмелеют и заклюют единственного петуха?

— Слышишь, надень качаганскую рубашку!

Багрим не ответил. Настроение было отвратное, состояние — как натянутая струна. Картиней, несколько помолодевшая на чистом парном молоке и напоминавшая отчасти отполированный до блеска зуб бороны, на ухо, однако, была туговата, и, колотя бельевым вальком, она крикнула в третий раз:

— Наденешь качаганскую рубашку, слышишь? Брюки отутюжены, на спинку стула повешены.

— Знаю.

— При встрече первым делом спросят, чей сын, а твои родители были людьми очень чистоплотными, порядочными, сердечными. Пусть земля им будет пухом... Наденешь новые тапочки...

— Знаю.

Нынешней весной сшили ему брюки, сатиновую рубашку, купили «тапочки», как называет картиней ботинки, и Багрим, облачившись в обновки, совсем преобразился. Он смотрел на себя в зеркало: там был прежний, знакомый ему Багрим. И подбородок не четырехугольный, и глаза не склизкие, а свои, багримовские. Кажется, из-за реки послышался топот конских копыт... Или это его сердце так гулко стучит сегодня? Не колокольчики ли звенят на дуге у лошади?

Подхватив гармонь, он пошел к калитке, и тут наперерез ему выскочила картиней и снова дала наказ, на этот раз по органической химии.

— Сегодня утром, когда гнали стадо, возле дома Длинной Зайнаб...

Картиней, как и все мензелинские татары типтаре, по старинке выговаривала вместо «з» — «д», так что Зайнаб она называла «Дайнаб», «озын», то есть «длинная», звучала у нее как «одын» и т.д.

— Возле дома Длинной Зайнаб я увидела свеженькие кучки собачьего дерьма. Смотри, не вляпайся. Собачье дерьмо до того дерьмо, что подошву сожжет за милую душу, ага...

— Знаю.

— Знаешь — и очень хорошо, а кто не знает — скажи ему пять раз.

Повесив гармонь через плечо, Багрим зашагал своей дорогой, поглядывая под ноги и направляясь в сторону знакомых мостков, что возле дома Разии, на той стороне речки Уязи, а до ушей все еще доносились обрывки бесконечных напутствий и причитаний картиней:

— Ангелочек наш... в канун светопреставления... — Он уже сходил с мостков в густую зелень прибрежных ив.

— ...Мир... погрузится в свиное и собачье дерьмо... сказано...

Странные люди — эти старики да старухи. Кто-то призывает Даджала перед концом света, кто-то оставляет этот мир в свино-собачьем дерьме...

И только войдя в заросли ивы, сквозь которые шла тропинка, словно в пещере, он перестал слышать увещевания и нравоучения беспокойной картиней.

Багрим шел среди лопухов, вымахавших в человеческий рост, среди буйной и пронзительно зеленой крапивы, впервые в этом году вдруг зацветшей беленькими колокольчиками, и не переставал удивляться богатству природы, щедрости родного края.

Тропинка вывела его на небольшую возвышенность, на которой и находился дом, где жила Разия.

II

Сегодня ему казались чужими и этот старый, наполовину вросший в землю дом-четырехстенок, его малюсенькие, словно игрушечные, сени, этот покосившийся плетень, и даже эти плакучие ивы, заросли которой охватили чуть ли не половину двора. Он почти как человека пожалел изнемогавшее, иссохшее от жары крыльцо, изнуренно распростертое в ожидании хотя бы свежего ветерка.

Лошадей привязали в тени, где они лениво жевали брошенную на телеги, тарантасы или просто на землю свежескошенную траву, ударами хвоста, как хлыстом, отгоняя назойливых мух. Под телегой, стоявшей у лабаза, виднелись вляпавшиеся в коровий навоз ноги одного из сватов — мертвецки пьяного. Из расстегнутой ширинки пестрели трусы. «Этот уже отпровожался», — ухмыльнулся Багрим. Сквозь полуоткрытые ставни доносились голоса: кто-то разговаривал, кто-то смеялся и что-то напевал.

— Ты, сосед, чего опаздываешь? — из клетки появился дядя Масгут — младший брат матери Разии, неся в руках две бутылки браги. — Разия выходит замуж, такое бывает раз в жизни!..

На кухне было жарко как в преисподней, однако в горнице окна были плотно занавешены, и там было относительно прохладно. Гости, исполосованные лучами солнца, вырывавшимися из щелей ставен, сидели по-мусульмански на ковре — усталые, опухшие, раскрасневшиеся от трехдневного пиршества, и были целиком заняты утренней трапезой. Никто даже не заметил вошедшего Багрима. Наконец, гармониста узнали его сверстники — Ихсан и Сабирзян, сидевшие на «галерках» застолья.

— Айда к нам! — замахали они ему руками. Услышав их, Гимакай бабай всполошился и, наливая из чайника медовуху, как всегда, забыл очередность, раздавая чарки кому попало, не забыв, однако, приветствовать Багрима:

— Говорят, у гармониста в каждом суставчике пальцев любовь спрятана! Айда, проходи, на почетное место, твое место в центре, джигит! Гмм!.. Ах-хм!.. погоди, чья же сейчас очередь? Опять забыл, тьфу!..

— С себя начинай, не ошибешься, Гималетдин абый, — со смехом подсказал ему Чулак Гамир. — А как только ошибешься, опять с себя начинай, и все ништяк будет!

Гимакай старик, несколько лет назад похоронивший супругу, жил с сыном и невесткой, и вот — надо же! — тряхнул стариной, вспомнил молодость и вызвался быть кравчим, виночерпием на свадьбе. Силен старик, хоть и с памятью у него туговато...

Багрим, однако, не решился пройти на почетное место, указанное стариком-кравчим. Каким бы виртуозом ни был гармонист, место его всегда находится где-нибудь поближе к выходу, обслуживают его после всех гостей. Но вот когда начинаются песни, танцы — тогда гармониста немедленно поднимают на олимп, принадлежащий ему по праву таланта. Так уж повелось. Так нужно. Так правильно и удобно. Багрим протиснулся к печке, возле которой сидели Ихсан с Сабирзяном, и уселся между ними.

Кто-то пьяно заорал:

— Гармонисту штрафну-ую!..

Но на этом попытки «оштрафовать» гармониста заглохли, потому что в зал вошла мать Разии — Рагиба джинги — и, попросив Гимака бабая наполнить две чарки, протянула их главным сватам и затащила старинную песню «Зэнгэр капка» («Голубые ворота»). Первым песню подхватил Масгут. Это была обрядовая песня, которую за отца Разии решил петь Масгут. Багрим знал эту песню, но подыгрывал негромко, тактично.

До чего же красив голос у Рагибы джинги, как он наполнен чувством! Долгими зимними вечерами тетя Рагиба приходила к ним посидеть, и тогда Багрим с замиранием сердца слушал, как его картиной и тетя Рагиба, сидя за пряжей, тихо и задумчиво пели песню за песней.

А тут... в такой день... песня лилась из груди Рагибы, как вода из родника. Как будто она, солдатка, поднявшая на ноги и воспитавшая четырех детей, этой странной песней хотела как бы ненавязчиво, намеком, через музыку, просить сватов беречь и не обижать ее доченьку, которую она отдает, по сути, в чужие руки, в чужой дом... Слова этой старинной песни никого не оставили равнодушным, всколыхнули чувства, заделали сердце... Как жаль, что очень сложно, почти невероятно перевести с татарского — даже не слова! — а синтез смысла и мелодии, своего рода национальную семантофонию. В этой связи вспоминается притча времен Древнего Рима. Один римлянин на дороге услышал песню, которую пел какой-то грек, сидя под мостом. Песня настолько тронула грубое сердце римского центуриона, что он остановил коня и спросил грека: о чем ты поешь так душевно? Переведи, пожалуйста...

И грек, плохо знавший латынь, попытался перевести: «Ну... летела птица... Красивая такая птица... над морем... Летела быстро... Потом упала... У моря... Красивая была птица... летела красиво... Но упала...»

— И это все? — удивился римлянин.

— Да, — ответил простодушный грек.

«— Песня-то так себе... — подумал римлянин, — ни о чем. Однако как за душу берет!»

Вот и многие из татарских народных песен — казалось бы ни о чем, но как душу выворачивают!

Из Казани плывет голубая ладья, о, сват,
Все мы как одна пуговица, о, сватья,
Собрала я ягоды, наделала пастилы,
Да, пастилы ежевичной...
Мы соединены теперь со сватами,
С замечательными сватами,
С самыми замечательными!..

— И-и! — подхватили за столом.

— Bravo! Афарин! Bravo! — не унимался какой-то опьяневший гость. — Так держать, сватья Рагиба! Брав-во, я говорю! Еще! Давай ищ-щ-че-о!.. Афарин!

Все мы как одна пуговица, о, сват,
Будем же жить в согласии, одной песней!..
Перед лесом разрослись кусты, да,
В кустах застоялись кони, да,
В меды мы положили хмель, да,
Споём же, сваты, споем, гости, да!..

Рагиба джинги и Масгут абзый протянули чарки главным сватам.

— Афарин, сватья, афарин, Масгут-сват! — ответил сват. — Амин, пусть будет так!

— Да, в честь такой песни и пень стоеросовый, под снегом замерзший, сучок свой к чарке протянет! — витиевато, хотя и не без труда, проговорил один из сватов помоложе, видимо, чуть протрезвев от наплыва чувств, и толкнул в бок сидящую возле него жену:

— Эй, жена, давай, и ты пей, не отставай! — И тут в другом углу зала раздался еще один пьяный голос, запевший что-то вроде частушки:

У девушки есть нежность,
У парня заботы другие...
У свата, прибывшего к нам,
Макушка-то плешивая!..

И тут, и там раздался смех.

— Ну и что, что плешивый! — подхватил Ихсан. — К кому придет плешивый, как не к такому же, а? А мы, култамаковцы, все такие, так ведь, Медный Лоб?

Багрим рассердился и больно ткнул приятеля в пах: тоже мне шутник, шут гороховый, вздумал поддакнуть частушечнику Сабахутдину.

— Чего тебе не хватает? Чего наш аул хаешь? — зашипел на приятеля Багрим.

— Так я же... Так просто...

— Так просто... — передразнил его Багрим. — Так просто иди рассказывай кустам да полянам...

Да, ту частушку спел известный всем балагур, у которого спьяну что на уме, то на языке — охотник Сабахутдин, успевший втайне от жены хорошенечко набраться. На селе его звали сокращенным по-свойски именем — Сабакай, или еще — Сунарчы Сабак, то бишь Охотник Сабак. Вон он сидит, едва не прокалывая соседей своими длинными, черными, заостренными, как у турка, напомаженными усищами. Как всегда, на всякую пирушку он таскал с собой свою благоверную, Мастуру джинги, чтобы она, увидев, что муженек от выпитого теряет чувство реальности и переходит рамки так называемого приличия, незамедлительно и как можно деликатнее тащила его домой, приговаривая что-то вроде: «Айда, старый, айда домой, хватит, все, что могло случиться, уже случилось...»

С одной стороны, Сунарчы Сабак до поры до времени четко держался, что называется, «в рамках». Неторопливо, со вкусом ел, пил, закусывал, вел раскованную, но умную беседу, пел, закрыв глаза, длинные старинные песни-джыру. Но вот опьянение постепенно достигало черты, за которой чувство меры притуплялось, и Сабак время от времени, не считаясь ни с кем и ни с чем, выдавал такие шутки, что многим становилось неловко. Вот и сейчас он, ничтоже сумняшеся, грациозно чертыхнулся и тоненько затыкнул:

Обезьяны веселятся-а-а, разделившись на две группы-ы...

Но никто уже не смеялся, даже не слышал его, потому что, во-первых, слова его потонули в общем шуме застолья, а во-вторых, тем, кто услышал, надо было крепко пошевелить мозгами, чтобы добраться до сути слов. А мозги были заняты совершенно другим...

Вообще-то Багрим любил этого непутевого Охотника Сабака. Сунарчы Сабак был человеком бесхитростным, честным, искренним, открытым. Но это — если его не обманывают. Если же он обнаружит с чьей-то стороны обман — то становится совершенно другим человеком, в него словно бес вселяется.

В последние годы он стал и Багрима брать с собой на зимнюю охоту. До этого он проверил его на весенне-летней охоте за сурками и хомяками, и подросток понравился ему своей сноровкой, смекалкой. И потом, Сабак ужас как не любил свежевать этих мелких грызунов, а Багрим с Ихсаном настолько набили на этом руку, что шкурки сурков и хомяков, казалось, сами собой слезали с их тушек, ведь было ради чего стараться: эти шкурки сдавались «утиль-сырьевщику» Суфияну бабаю по 20 копеек за штуку. В итоге набиралась приличная сумма. Иногда, когда охота была особенно удачной, он устраивал из пойманных зверюшек настоящий цирк, чем немало веселил односельчан. В прошлом году, например, он поймал журавля с детенышем и каким-то способом заставил их идти в село танцующей походкой. Вот смеху-то было! Вся деревенская детвора на улицу высыпала.

— А ну-ка, браток! — услышался голос Масгута абзый. — Иди-ка сюда, иди, гармонист удалой!

Он чуть ли не насильно подтащил Багрима к табурету, стоявшему возле двери: — Давайте-ка затынем нашу «Шомыртым» — «Черемуху». Но сначала держи-ка ковш с медом игривым, выпей чарку, прими из моих рук! Правильно я говорю, сваты дорогие?

— Верно!.. Правильно! А то-о...

— Нет, нет, не отворачивайся, парень, хочешь, сидя пей, хочешь — стоя, но эта чарка — твоя! Какой же ты гармонист, если песни свои медом не смочишь, чтобы и народу слаще петь было?!

Багрим еще ни разу не пробовал спиртное.

— Не буду, — снова отвел он от себя чарку с брагой. — И не пил никогда.

— Ты чего?! Ведь свадьба у Разии!

— Да выпей ты, — зашептал ему в ухо Ихсан. — Мы ведь выпили — так хорошо стало!..

— Масгут абый дело говорит, — поддакнул Сабирзян. — Это первая свадьба среди наших сверстников. Айда, чтобы потом не пришлось жалеть. Может, мы Разию уже никогда не увидим. Скоро в армию, а потом... Кто знает...

«Ведь свадьба у Разии!» «Может, мы Разию уже никогда не увидим...» Эти слова горячей тревогой обожгли его сердце...

— Не пью, — он оттолкнул руку с ковшом. — Сказал — не пью, и баста.

Багрим заиграл «Черемуху». Потом его пальцы, чутко предугадывая настроение гостей, стали выводить «Донбасс», «Идель». Какая-то огромная, теплая волна обволокла его сердце. В волнах его теплых мелодий сваты и сватья с обеих сторон, растрогавшись, угощали друг дружку хмельным медом. Не было здесь ни друзей, ни врагов, а были лишь новообразованные родичи, по сути, ровня друг другу, где каждый желал каждому только хорошее, только благое, и никто еще не задумывался о том, что на этой обыкновенной деревенской свадьбе появляется на свет, пишется рукой небес новая великая страница: это юный джигит по имени Багрим с неразлучной гармонью в руках переступает новую, незримую между своей жизни...

...Внезапно перед его глазами предстал замерзший в ледышку юный полумесяц, под которым, казалось, раскинулись какие-то тонкие мелкоячеистые сети. Месячишко был такой молоденький, что Багрим подумал: наверное, и он в своих небесных школах учится не выше первого-второго класса, как и Багрим с Разией. Юный тонкий полумесяц светил, казалось, прямо над головой Разии, напоминая калфак — татарский национальный головной убор.

Перепрыгивая через ямы, в которых еще не везде стаял снег, шагая по кочкам, на которых уже появлялась зеленая травка, они в поисках вкусной гнилой прошлогодней картошки все отдалялись и отдалялись от родного села, пока, наконец, не приблизились к «хохляндскому» поселку Петропавловское, чуждое их языку название которого татары обычно произносили как «Питырпаул». Так далеко в поисках гнилой картошки дети еще не забредали. От их аула до Питырпаула — целых десять километров! Да, голод не тетка, доведет и до хохляцких огородов...

Переселившиеся в эти края лет пятьдесят назад полтавские украинцы, которых окрестные татары и башкиры называли лаконичным и звучным словом «кахул» — искаженное от «хохол» — жили небедно, даже привольно. Огороды на их хуторах были не менее сорока-пятидесяти соток. У култамаковцев, к примеру, надворные участки не превышали десяти-пятнадцати соток. Для голодной татарвы весной и гнилая картошка деликатес, а вот кахулы гнилой бульбой даже скотину кормить не станут. Да, пирожков с картошкой тут, наверное, немерено. Но не для татар. Ну не дают хохлы татарам «земляных яблок». Даже прошлогоднюю гнилую картошку выкапывать не дают. Не потому, что жалко, а для того, чтобы «татарву» унижить. Несколько раз култамаковские парни возвращались битыми из хуторов Хлебороб, Будяновка. Ничего.. Главное — чтоб не отняли у них лопаты, а их самих не заперли в погреб. А так — ничего... Увлечшись, Разия с Багримом не заметили, как опустились на землю сумерки. Они уже решили было повернуть оглобли домой, когда наткнулись на мужика, лицом похожего на татарина. Ох, как они напугались! Они молили аллаха, чтобы этот татароподобный кахул не запер их в свой темный погреб. Но тревоги оказались напрасными, более того, этот странный кахул вызвался даже помочь заблудшим татарчатам. Подростки удивились: неужели даже среди кахулов есть люди, благосклонные к татарам?! Что-то говоря и объясняя, этот кахул стал копать детям картошку. Ничего, кроме слова «картушка» не понимая, дети оробели и смутились. Потом хуторянин пригласил их в дом, угостил молоком с краюхой какого-то желтоватого хлеба. Кажется, он назвал его «кукурузный хлепец». Потом, словно что-то вспомнив, вскочил, открыл погреб... О, боже! А там столько картошки! Ядреной, крупной картошки! У детей аж дух перехватило. А кахул жестами объяснил: мол, выкидывайте из мешка эту гнилую, что собрали, и затаривайтесь нормальной картохой, что из погреба.

Мать честная! Разве култамаковский ребенок решится на такую наглость! Хлеб с молоком — от пуза да еще ядреную картошку из погреба задаром? Это уже слишком. На такое Багрим с Разией ни за что не пойдут.

Дети растерялись, не зная, что и делать. Впрочем, Багрим был уже почти готов заменить гнилую картошку «здоровой», но Разия вдруг жалостливо зашмыгала носом и протянула: «Слы-ышь, разве нормальный человек выбросит ни с того ни с сего эту замечательную картоху, что мы собрали с его огорода? Она ведь даже почти не гнилая, так... только малость... Не-ет, здесь что-то не то... не так... Аида, тикаем отсюда быстрее, как бы чего не случилось...»

Кяхул так печально, так грустно смотрел на них, что Багриму захотелось развеселить этого странного дядечку. Но как? Тем более не зная и слова по-русски.

А хохол, кажется, угадал намерение мальчика по его глазам и вдруг спросил:

— А ти спивати може? — И тут же продемонстрировал то, чего просил: «Широка страна моя родна-ая а...»

— Знаю, знаю, знаю! — радуясь, что понял кахула, закричал Багрим и запел то небольшое, что знал «по-русски»:

Жултый-жултый жуп-жулгый,
Жултый пэке саплары.
Мин жултаймый кем жултайсын

Килми привет хаглары...

— это на нормальном русском языке означало примерно следующее:

Желтая, желтая, совсем желтая
Рукоятка у ножа.
Как же и мне не желтеть, —
Не приходят с письмами приветы...

Хохол, слушая, смеялся — искренне, во весь голос, даже чуть не задохнулся. Ободренный таким успехом, Багрим вспомнил еще одну «русскую» песенку:

Сербиянка, сербиянка,
Сербияночка моя.
Кичэ ыштаным бар иде,
Буген ыштаным кая?

Две последние строчки этого весьма фривольного куплета можно перевести примерно так:

При штанах я был вчера,
А сегодня где они?..

— Фу, бессовестный! — возмутилась Разия и стукнула его по спине. — Разве можно петь такие плохие песни человеку, угостившему нас хлебом и молоком?

— Молодцы, хлопцы! — похвалил дядя, ласково похлопав их по спине. — Ваши нашим за рупь пляшем. И завтра приходьте!..

Сытые и довольные подростки шли, закинув за плечи мешки с мерзлой картошкой, уже слегка оттаявшей в тепле и холодной влагой растянувшейся вдоль спины, и вплоть до Дубового холма споря о том, уж не татарин ли этот странный хохол.

Их провожала луна, застывшим блином топленого масла лежавшая на небе. При спуске с холма подростки чуть было не попали в беду. Сзади вдруг, разворошив одеяло прошлогодних листьев, с топотом и с шумом гналось за ними какое-то чудовище, сто чудовищ! Подростки спрятались за березой, вцепившись в нее с двух сторон, и невольно закрыли глаза. Когда топот достиг места, где они притаились, Багрим открыл глаза и... о, боже!.. — вся низина дубового леса была усыпана горящими волчьими глазами: волки вышли на весеннюю охоту...

Ох, как вспомнишь — мурашки по коже. Хорошо, что все обошлось каким-то чудом...

Вдруг ему показалось, что с этого свадебного застолья взметнулись к небу какие-то огненные крючья, эти крючья стали тащить в пропасть диск луны, примостившийся нимбом над головой Разии, потом потащили и саму Разию... Багрим, пытаясь избавиться от этого видения, закрыл глаза и заиграл песни «Сарман», «Джомга». Его подхватил Гимакай карт, затянув тонким голосом частушки:

Пошел я в больницу,
К сердцу, говорят, сердечко...
Между двумя сердцами
Хорошо бы сто грамм пропустить.

И вот теперь Разия, его Разия, чудом вырвавшаяся с ним из волчьей пасти, оставляет его, уезжает. Как она может? Как сердце ее допускает такой поступок?

Внезапно Багриму захотелось увидеть Разию. Ему казалось, что Разия просит его: «Спаси меня, Багрим! Меня насильно отдают за этого пучеглазого! А я еще в куклы не наигралась!»

Она не в себе. Похожа на тонкую ивовую веточку с беленьким платочком, из-под которого горят мольбой черно-черемуховые глаза. Щеки горят румянцем...

Но где же Разия? С женихом в комнате? Он вздрогнул, будто его ударил ток. По телу прошла горячая дрожь, от чего кровь сумасшедше хлынула по венам, не зная, заматавшись и заплутавшись...

Грубо обрывая переживания Багрима, один из гостей громко и длинно рыгнул.

— Кажется, что-то рухнуло, — неловко произнес его сват-сосед. — Все живы-здоровы?

— Слава богу, здоровы! — бодро воскликнул Гимакай карт.

Все засмеялись. Продолжая играть на гармонии, Багрим заново оглядел участников пирушки. Он искал среди них людей красивых, сильных, свежих, с вдохновенными лицами — и не находил таких. Ему почему-то показалось, что такое печальное обстоятельство мучит прежде всего его, Багрима, а не этих людей, его, Багрима личная трагедия, а не этих серых невзрачных потасканных людишек. Он вдруг почувствовал, как мягчеет душой, становится как-то тоньше, что ли, в ощущениях. Ведь, с другой стороны, култамаковцы, свои земляки, ему все-таки нравились, не то что эти пришлые сваты — ни кожи, ни рожи.

О, боже! Огромный нос икнувшего гостя Багрим сравнил почему-то с порогом, изъеденным тысячами подошв и каблуков. Никто из приехавших не нравился Багриму. Кто-то был кривой, кто-то косой... Словом, такой-сякой, сухой-немазанный... Будто они были какими-то папуасами с неведомой далекой звезды. Или как ягоды в разных погодных условиях: одна от жары изнуренная, другая сморщенная от недостатка влаги, третья — разбухшая от переизбытка воды. Даже зады у их лошадей задраны нелепо кверху, — это он успел заметить.

Багриму вдруг стало страшно от увиденного им убожества. Нет-нет, он допускает, что когда-то эти люди были молоды и красивы. Наверное, судьба так неузнаваемо изменила их. Впрочем, может, они так уродливо выглядят лишь в глазах Багрима? Или они пытаются хотя бы на время утопить в омуте пьянства свои горести и печали, хотя бы напиться в доску, до варварского состояния, чтобы забыть, пусть ненадолго, терзающие их боль, горе? Стало быть, возможно, что это уродство, омерзительное убожество — это явление временное? Дай-то бог, если так. Если эти люди действительно потеряли свою природную красоту, если такая несправедливость будет продолжаться бесконечно, то как же сможет жить среди них Багрим?

— Выпей-ка одну! — на этот раз его стали уговаривать неутомимый старик Гимакай и Гиндулла, что живет возле моста. — Отдохни малость от гармонии. В такой праздник даже полено выпьет!

— Сказал же, что не буду, — огрызнулся Багрим, отворачиваясь от кружки. — Вы чё, социалистическое обязательство по выпивке взяли, что ли? Чтобы ни одного трезвого не осталось?

Ихсан с Сабирзяном развалились, уронив пьяные головы набок, словно надломленные колоски пшеницы.

Окружающие казались Багриму все некрасиво, все старше, все глупее. Куда идем? В какую яму, пропасть движемся? Не в этом ли стакане, не в этой ли кружке тот Даджал — Предвестник Судного Дня, о котором говорил старый Гимакай? Может, этот Даджал уже уселся, свесив безобразные ноги, и на этого милого старикана-балагура, и на всех нас?

Ему снова захотелось видеть Разию. Ему казалось, что ее можно спасти, освободить: ведь у нее за плечами есть крылья!

Что-то защемило в душе юноши, защемило больно и сладко... Багрим стал играть «Агымсу», «Баламишкин...» Вслед за ним все застолье загорланило «Баламишкина».

А Багрим вновь погрузился в воспоминания. Было это два года назад. Впоследствии этот день запомнится как 5 марта — день смерти Сталина.

Кончались дрова: топить было нечем. Они взяли санки и пошли в березовый лесок. С утра было пасмурно, сыро, мрачно. Да тут еще повалил мокрый, унылый снег. Шли по пояс в снегу, выбиваясь из сил. Углубились немного в лес и осмотрелись: где, под каким сугробом найти хотя бы сухостой для их изголодавшейся по огню печи? Чтобы срубить или спилить какое-нибудь деревце — об этом не могло быть и речи: запрещено! Даже если решишься, надеясь, что все обойдется, и никто не заметит, все равно малейший удар топором по стволу отзовется в этом пустынном крае аж до Оренбурга. Нет уже, боже упаси! Поэтому самый оптимальный вариант — это залезть на верхушку дерева и потихоньку «стричь» ветки, кидая их вниз. Это они научились делать мастерски. Багрим ловко взобрался на дерево и принялся, словно дятел, постукивать, «сбрасывая» ветки, а Разия собирала их и складывала на санки.

Только собрались они домой, выйдя на «Киргизскую дорогу», как явился тут как тут лесник Госман. За гнилой картошкой пойдешь — хохол тебя избьет, в лес отправишься — лесник тебя мутузит, за соломой тыркнешься — на кулак бригадира наткнешься, на гармони заиграешь — председатель Айсин поколотит. Совсем житья нет! Этого нельзя, того нельзя, день начинается с «нужно», а кончается с «нельзя». Что делать? Куда податься? Или так делается специально, чтобы обезлюдели села?..

Госман, от которого густо пахло водкой, сначала заставил их отвезти сучья обратно в лес. Подростки совсем выбились из сил. Потом этот изверг отнял у них топор. Боже! Как в деревне без топора? Невозможно! Это ведь единственный мужицкий инструмент в доме без мужика. И потом испокон веков было заведено: татарин без топора — бесправный татарин. Только самых-самых несчастных сравнивали с человеком, у которого топор упал в воду, Багрим умолял, слезно просил вернуть топор. Куда там! Такого не разжалобишь. Когда Госман уселся на телегу, собираясь понукать коня, Багрим молнией метнулся к нему, пытаясь выхватить из телеги топор, но тут же упал, отброшенный сильным пинком в грудь. А разъяренный лесник кинулся с кулаками на бедного юношу. Подбежала Разия и своими слабыми кулачками принялась стучать по спине громилы, со слезами повторяя: «Отдай топор! Топор отдай!»

Силы, конечно, были неравны. Госман от сознания своей силы и вовсе распоясался: хлестнул Багрима кнутом по лицу, чуть глаз не выбил. Месяц Багрим со шрамом ходил...

Вспоминая этот день, Багрим мучился вопросом:

«Был бы с ними так жесток Госман, если бы знал, что в тот день — 5 марта — умер Сталин?» Багрим знает, что в этом вопросе, возможно, вообще нет смысла, но, что делать, мучил его этот вопрос, и все тут. И эта Разия сегодня бросает его, уезжает к этому пучеглазому? Бросает эти родные холмы, эти поляны?

Отец жениха — главный сват — объявил:

— Ну-ка, друзья скажем «спасибо» сватам-сватьям да в дорогу будем собираться. Праздник должен продолжиться у нас, даст аллах. Воздадим в молитвах похвалу за этот обильный стол и...

— Ну-у, сват, — протянула тут Рагиба джинги. — И погостить-то толком не погостили, по-свойски, по-родственному. Остались бы еще хоть на денек.

— Нет-нет, сватья, спасибо, рахмат! Славно, славно погостили! Три дня в доме невесты по нынешним временам — даже очень вольготно. На следующие три дня милости просим к нам! К тому же председатель Айсин лошадей нам только на три дня и дал.

— Какой-такой Айсин? — встрепенулся вдруг Гимакай карт, повернув свою большую, круглую, словно танковая башня, голову в сторону говорившего.

— Чего это ты, сват, об Айсине-то лопочешь? А-а?..

— Так... Я о Габидулле Айсине говорю... А как же... Если не ошибаюсь, его к нам после вас направили, да?

— Гм-м!.. Этот, что ли, «армейский порядок»?

— Точно он! — заворочался на месте сват. — Откуда знаете?

— Гы-ы!.. Как не знать! А еще его наверняка «Дунгызом Иваннычем» кличут?

— А вот этого пока не слышал. У нас про него еще говорят: «Центральный Телеграф».

Култамаковцы, услышав об Айсине, даже жевать перестали и скривились, будто от зубной боли. А на деда Гимакая вдруг напала неистовая икота.

— А-а-а!.. — тщето пытался он побороть икоту.

— По-по-че-ему так за-завут?..

— Как почему... Чуть что, бежит к телефону и начинает орать в трубку: «Синтыральная! Синтыральная!» Пока он так кричит до посинения, район дважды можно объехать.

Тут не вытерпел и встрял в разговор Чулак Гамир, по милости Айсина целый год отсидевший в тюрьме. Он мрачно буркнул:

— Вы уже, сват, того... Ради бога, не вздумайте его к нам обратно засылать. Пусть сидит там как невеста: выдали, так и не рыпайся, сиди сиднем, о хозяйстве, так сказать, думай. Гм-м...

Из другого угла послышался ехидный голос Сабахутдина:

— Гордитесь, сват, это мы его к вам направили... Как бы вместо тараканьего яда... — Кто-то прыснул со смеху.

— Ой, ой! Значит, мы с вами вдвойне родственники! — нашелся сват, ставя точку на этой теме и закончил:

— Вы, дорогие сватья, сваты, встретитесь еще с Габидуллой Султанмуратовичем у нас в Аллагуате! А теперь давайте прочитаем молитву и в путь!

От всего услышанного у Багрима похолодело в душе, сперло дыхание. Будто снова крикнула лебедем под тарантасным колесом гармонь, разорванная пополам.

Наскоро прочитали молитву, кто не читал, так по-быстрому провел ладонями по лицу, отдавая символическую дань аллаху, кто-то вообще не шелохнулся, оцепенев в алкогольном угаре, после чего все поднялись из-за стола. И тут началась суматоха проводов свата. Невозможно объяснить, из каких серьезных мелочей, мелких важностей и серьезных глупостей состоит эта церемония. Это нужно чувствовать, ощущать. Впереди гостей ждали три дня гулянки в доме жениха. Наверное, поэтому еще древние говорили, что на свадьбе без обид не обходится.

III

Лошади уже были запряжены. Для жениха и невесты приготовлен тарантас, черные жеребцы которого рыли копытами землю, мотали крутыми шеями, от чего звенели колокольчики на дуге и становилось как-то грустно на душе. Продовольственный обоз явственно демонстрировал, что люди после войны наконец-то начали выходить из состояния постоянного полуголода. Чего только тут не было! Прежде всего на видном месте стоял сундук с приданым невесты. Потом — завернутые в белую ткань одеяла, подушки. А затем — признак продовольственного благополучия: бочки хмельного меда, огромные белые хлебы, завернутые в кухонные полотенца в клетку, утопающие в меде бавырсаки, большие лепешки на чистом сливочном масле, сдобные булочки...

Ихсан и Сабирзян, уже «тепленькие», пристали к Багриму:

— Эй, Меднолобий! Нас посылают проводить сватов до Булякского леса. Дядя Масгут велел и тебя взять. Пошли!

— Нет, не пойду, — отказался Багрим. — Я здесь провожу...

— Ты че, спятил? Как же без гармонии? — Ихсан хлопнул его по плечу. — Неужто не хочешь проводить нашу Разию хотя бы до опушки?

— А-а!.. Вам лишь гармонь моя нужна, да? Но запомните: гармонь и Багрим едины, их нельзя отделить друг от друга. Поняли? Сказал не пойду, значит не пойду.

Друзья знали, что багримовское слово крепко, и слегка приуныли.

— Что-то ты испортился, годок, — обидчиво проворчал Ихсан. — Не пойму я тебя сегодня.

— Не поймешь сегодня, может, потом поймешь... — процедил сквозь зубы Багрим, не в силах не то что объяснить друзьям происходящее в душе, но даже сам это толком не понимая. — Зато я понимаю, что ты меня не понимаешь.

Он уселся на одно из старых, потрескавшихся осиновых бревен, которые отец Разии — Минебай абзый привез из лесу еще до войны, прежде чем уйти на фронт, и заиграл «Их, алмагачлар!» — «Ох, мои яблони!» Но увидев, что один из сватов попытался со всей возможной для него грацией что-то сплясать, мгновенно перешел на танцевальную музыку: зазвучала пляска «Корт чакты» («Пчела укусила»). Все вокруг принялись неистово плясать, поднимая тучи пыли.

— Ас-са!..

Сабахутдин, не любивший делать ничего без веома и без участия жены, затащил свою благоверную в круг:

— Айда, старушка Мастура! Пляши! В Уязи растут ивы, запляши-ка ты красиво! Ух!

— Багрим, сыграй «Колхозную пляску»!

— Багрим, родненький, жарь «Лапти мои!»

Если бы Багрим не научился играть на гармонии, он вошел бы в историю села своим искусством плести лапти. Хоть и юн он был, но не было ему равных по части лыкоплетения. Ведь плести лапти — дело такое же тонкое, как играть на гармонии. Вот и Разия, можно сказать, выросла в лаптях, которые плел ей Багрим.

Вообще, в мире есть три вида лаптей: грубые русские, изящные татарские и вытянутые мокшанские. Конечно, любой скажет, что самые красивые из них — татарские. Их-то и мастерит Багрим, и еще как мастерит. Узоры его лаптей искусны, изящны, а подошвы — сплошь из мелких-мелких ячеек. Особенно он любит мастерить лапти из нежной, мягкой, светлой, тонкой коры молоденьких лип. Не лапти получаются, а просто заглядение! Наверное, поэтому Разия носила только лапти, сплетенные Багримом. Но однажды она отказалась даже от багримовских лаптей.

Дело было так. Приближался новый учебный год. Багрим, как обычно, зашел за ней, чтобы вместе идти в школу в соседнее село. Из дома доносился жалобный голос Разии:

— Мамочка! Мамочка! Не надену, нет, хоть убей — не надену! В чужое село в лаптях не пойду. Я же не нищенка какая!..

— Не выводите меня из себя! Тоже мне — ханская дочка! — кричала мать. Послышался удар ремнем.

— Еще как наденешь!

— Не-ет! Не надену! Папа не позволил бы мне пойти в соседнюю деревню, да еще в школу, в лаптях!

— Что-о?! Может, тебе наследство от отца досталось? — в сердцах воскликнула вдова-солдатка. — И кости его уж, наверное, сгнили!

Рагиба джинги бессильно опустилась на кровать и заплакала.

Багрим и не заметил, как тоже заплакал — так жалко ему стало их. Он мигом вернулся домой и бросился к картиней:

— Картиней, миленькая, дай, пожалуйста, те блестящие галоши, которые дядя Сафа прислал тебе с Донбасса!

Не сразу, но все-таки дала она ему галоши. Да, очень подошли Разии эти блестящие, на красной подкладке чудо-сапожки. Казалось, все в школе только на них и смотрели.

Вспомнив, что сегодня его Разию навсегда — навсегда! — провожают из родного села, из родного гнезда в чужое, он вдруг встрепенулся. Постой? Как так! Почему, в конце концов, она уезжает, а не, скажем, приезжает? Разве можно, например, оторвать переливы багримовской тальянки от этих ив, задумчиво склоняющихся над речкой? Нет, нет и еще раз нет! Но разве душа юноши и душа девушки не похожи? Разве они не одинаково живут? Как же так: обретаешь здесь душу, и вдруг уезжаешь, оставив, бросив здесь все это великолепие? Так не бывает. Душа должна остаться, даже если тело удалится. И даже если вместе с ним уедут какие-то вещи. Потому что душа все равно возвращается...

Так мучился философским разрешением вопроса о соотношении духа и тела этот полумальчик Багрим, только-только начинавший формироваться как юноша, не знавший еще, что девушки созревают раньше юношей, что девушки и юноши, уезжая из деревни по разным причинам, испытывают разные чувства, не

понимавший еще, что его собственная детская непосредственность и искренность, полнота чувств, наконец, кристально чистая любовь и есть те мифические крылья, которых он ожидал и которыми он сам скоро будет...

Двор, переполненный веселыми голосами и криками, устал «плясать».

Багрим заиграл песню «Озата барма» («Не провожай»). Кто-то во всю грудь подхватил:

Не провожай, любимая, не провожай,
Ведь широка дорога, не заблужусь...

Заливалась, плакала тальянка. Слегка повернув голову в сторону, Багрим играл и играл, играл как-то отрешенно, словно и не был причастен ни к мелодии, ни ко всему этому шабашу. И так ведь все понятно: на земле, наверное, нет такого племени, как татары, у которых ивы и гармонь почти неразделимы, одно дополняет другое, живут как дух и тело, как соединенные сердца, как две связанные пуповины. В тальянке, казалось, живет душа ивы и душа татарина. В татарской тальянке — душа тальника. Это итальянская гармонь прилетела к татарским тальникам. О, Господи, эти слова можно было бы бесконечно складывать друг с другом. Словом, татарин как татарин умрет тогда, когда останется без тальянки.

Народ, провожающий сватов, не уместился во дворе и высыпал на улицу, кучкуясь вдоль плетней и заборов. Подул теплый и мягкий ветер, и встрепенулась, словно порыв сердца, листва ивы. Подернулась рябью и успокоилась гладь речки Уязи.

— Выходят!

Багрим закрыл глаза крепко-крепко, аж ресницы свело, а сам затыкнул на гармони входившую тогда в моду песню «Хуш, авылым!» («Прощай, село мое!»).

Народ подхватил дружно, словно эта песня была написана специально для дочери солдатки Рагибы, покидающей свое родное гнездо.

Прощай, село мое, жди от меня приветов,
Когда утром подует свежий ветер...

Мелодия песни заполняла излучины реки Уязи, лилась по ее руслу, и эхом возвращалась от прибрежных зарослей тальника. Мелодия, сжимая сердце, словно переставала подчиняться Багриму и жаворонком поднималась в небо. Багриму хотелось обуздать, спрятать эту мелодию, но это уже было не в его власти. Звуки будто выходили из его тела, из всего его измученного, как выжатое после стирки полотенце, существа, дрожали в каждом его суставе.

Я вернусь, тоскуя по тебе, вспомнив до боли в сердце о тебе...

— Сейчас выйдут!

Он повернул голову в сторону голосов, но глаз так и не открыл: сил на это не хватило.

Словно он был пленником в собственном теле, в собственной душе. Наконец, он все-таки разлепил ресницы — с трудом, будто грузчик, поднимающий непосильную ношу, и сквозь ресницы, как сквозь решетки тюремной камеры, полился дневной свет, и где-то в конце этого сияния, будто марево, возник образ Разии, выходящей из дома.

Свет все струился, темница исчезала, горизонты расширились. Вот обозначились и контуры пучеглазого жениха. Силуэт Пучеглазого подхватил под руку видение Разии и хищно потащил ее к тарантасу.

Разия была одета в зеленое, с белыми горошками, платье, поверх которого красовался передник с вышитыми большими цветами, на ногах — новенькие сапожки. Наверное, все это — из калыма.

Багрим судорожно растянул меха гармони, чуть не разорвав их. Разия шла улыбаясь, не поднимая глаз, словно бледное солнце, поднимающееся где-то за холмами Култамака.

Верите, нет? Разия, немного растерянная, бледная, — улыбалась!

Значит, это так радостно — оставить свой дом, бросить свое гнездо? Может, это и есть счастье?

Молодой кучер сидел на козлах тарантаса, натянув вожжи, как тетиву лука, и еле сдерживал застоявшихся жеребцов.

Багрим среди всей этой кутерьмы проводов видел только одно: этот тарантас, увозящий его Разию. Вот Разия, опираясь на руку Пучеглазого, поднялась на подножку тарантаса, села на сиденье, сплетенное из мелких ивовых прутьев, выкрашенных черным, чтобы быстро не сгнили. Рядом с ней, предварительно осмотревшись и кивнув кому-то, сел жених. Сельский люд окружил молодую пару, еще вчера бывшую обыкновенными парнем и девушкой, а сегодня ставших женихом и невестой. Багрима среди них не было.

Стали говорить напутственные прощальные речи. Сваты и сватья начали садиться в свои повозки. Багрим вдруг перестал играть. Он с трудом поднялся на ноги, словно на плечи его давила целая гора. Вместе с ним поднималась не только его гармонь, но, казалось, все сущее вокруг: воробьи, только что

бойко скакавшие вокруг него в поисках крошек пирогов, этот дом, забор, речка с ивняком, весь этот непонятный земной шар. Ох, трудно было поднять на себе Землю, тем более, вместе с гармонью!

Он мелкими шагами подошел к тарантасу и остановился. Впервые он внимательно посмотрел на жениха. Он ему не понравился. Действительно, Пучеглазый, весь какой-то угловатый, в складках, как... ну, как, например, гречишное зерно.

— И не попрощаешься, Разия? — тихо-тихо спросил он.

Разия не ответила. Она не смела поднять глаза. Может, ей было неловко. Багрим снова спросил.

— Прощай... — почти шепотом произнесла Разия, покраснев так, будто вот-вот заплачет.
— Прощай, Багрим...

— Кто это? — вскинулся Пучеглазый. — Что за Багрим? Что за молокосос устраивает допрос моей невесте?

Не вставая с места, он ногой, обутой в сапог, толкнул Багрима прямо в его гармонь. Багрим едва не упал. Тальянка крикнула раненым лебедем.

Все остальное произошло будто в мгновение ока. Кто успел — увидел, кто нет — просмотрел.

Пучеглазый вынул из кармана пригоршню денег и рассыпал их под ноги собравшимся. Потом полез в карманы. Дождь медяков обрушился на Багрима. Детвора, толкая друг друга, кинулась собирать монеты.

Багрима словно прорвало. В его замутненном сознании молнией вспыхнули какие-то огненные знаки, и земля соединилась с небом. Небо что-то шептало ему.

Утопив до предела, до боли пальцы в клавиши гармони, растянув неимоверно меха, он издал какой-то дикий, безобразный аккорд, резко сжал меха, потом снова рванул, изрыгая из них несусветную какофонию. Насилуя таким образом тальянку, он дошел до ближайшего плетня. Белый квадрат в середине мехов прыгал, то сужаясь, то расширяясь. У плетня он в последний раз громыхнул несуразным аккордом и вдруг, недолго думая, с размаху насадил гармонь мехом на один из кольев плетня. Это был плетень Разии. Вернее, плетень дома, где когда-то жила его Разия...

Меха прохрипели и затихли. Народ ахнул. Последний раз крикнув смертельно раненым лебедем, гармонь затихла, бессильно повиснув на плетне. Крылья умирающего лебедя сломались и поникли.

А Багрима уже невозможно было остановить. Он молнией вернулся к тарантасу и схватил Пучеглазого за грудки:

— В порошок сотру! Раздавлю! Не отдам Разию! Не отдам!..

Толпа всколыхнулась. Сваты и сватья, другие новоиспеченные родичи заматались, испугались, стали шарахаться туда-сюда.

— Гони лошадей! — закричал Пучеглазый кучеру и сам в нетерпении потянулся к вожжам. — Но! Поехали! Гони!

Жеребцы всхрапнули и рванули с моста в карьер. На все село зазвенели колокольчики на дуге.

— Да ведь он пьяный! Остановите его!

— Да что это за джигит, теряющий голову от одной кружки медовухи?

— Испортил всю свадьбу, молокосос!

Сотни голосов гудели возле дома Разии.

— погоди, Багрим! — несколько мужиков повисли на разъяренном юноше.

— Ты что, Багрим? Да ведь ты с ней не гулял даже! — откуда-то появился и ухватил друга за плечо Ихсан. — Разве можно так?

Его свалили, но он вырывался из рук. Пришлось навалиться и прижать его к земле. Горячее дыхание мужиков, словно отражаясь от земли, волной шло в ухо извивающегося Багрима.

— Не учите парня тому, чего сами не знаете! — это раздался голос старого мудреца Гимакая, поспешившего защитить Багрима. — Не то совсем спятите! По молодости такое бывает. Вернее, только молодость на это и способна... Юный, глупый, кровь горячая...

И тут раздался еще один голос в защиту несчастного юноши:

— Так... Это... Пока у нас есть такие джигиты, живем, братцы!

Это сказал Зимагур Зиннатулло, до этого молча стоявший у плетня.

— Да ревнует он, — решил кто-то внести ясность.

— Чем выше блоха из штанины вверх лезет, тем больше мужик бесится, вестимо...

— Да не ревную я! Не ревную! — закричал Багрим, беснуясь от того, что его не понимают. — Мне обидно! стыдно! Больно мне!

От его надрывного крика пьяные трезвели, а трезвые впадали в прострацию.

— Э-э-эх, дураки, даже этого не понимаете, — вдруг спокойно сказал Сабакай. — Любит ведь он ее. Любит. Всем сердцем любит, понимаете? Хотя откуда вам понять такую любовь...

— А чего же тогда его Разия не любит? — раздался чей-то бестолковый голос. — Почему она его не полюбила, а вышла замуж за какого-то чужака-оболтуса?

— Дурак! Багрима нельзя не полюбить, — одернул его Гимакай карт. Потом подумал и добавил:

— Невозможно сказать ему: «Душа моя, я не люблю тебя...» Для этого нужно камень вместо сердца иметь... Вопрос, друзья, тут стоит по-другому... По-другому...

— Да, Багрим... Его все село выкормило. Он — молочный сын и молочный брат всех култамаковцев... — задумчиво сказал Чулак Гамир.

— Нас покидает первая красавица села, девушка, достойная, чтобы ее воспели култамаковцы. Вот почему плачет душа джигита... — бесхитростно подытожил свои размышления Зимагур Зиннатуллов.

И тут Багрим, уткнувшись лицом в землю, вновь заплакал:

— Из ив ушла душа, вы понимаете? Дух ивы покинул меня! И эти холмы, и горы — они тоже покинули меня!

Подошла мать невесты, Рагиба джинги, не зная, куда деться от стыда.

— Ни с того ни с сего, — смущенно говорила она, теребя передник. — Как будто бес на него напал. Будто шайтан нашептал ему, чтобы свадьбу испортить. О, господи! За какие грехи наказал нас Тенгри? Не разрушай свадьбу, слышишь, Багрим, не расстраивай свадьбу!

— Прости, Рагиба джинги... Ради бога, прости... — тихо и тепло, словно своей матери, сказал ей Багрим. — Я не хотел... Да и не я это... Пойми... Поймите... Небеса так распорядились...

— Вот это правильно, б-браток, вер-рно, — подхватил вдруг его слова полупьяный Гиндулла, что живет у источника.

— Я вот... пьяный. Я — с-свинья... Адна-ако скажу: нами, друзья, небеса распорядятся... Точ-чно... Подвода за подводой выезжали вслед свадебной процессии. Рагиба джинги, боясь отстать от обоза и оставить дочку без материнской опеки, зашпешила, побежала к последней телеге...

С далекого-далекого горизонта багримовского сознания вдруг появилась зловеще-карикатурная тень председателя Айсина, стоящего во весь рост со своими неизменными двумя медалями, и в галифе, закрывающими весь горизонт. Вот он, где-то возле берегов Ашказара, на окраине села Аллагуат, стоит, широко открыв рот, словно поджидая Разию, чтобы проглотить ее.

Багриму вдруг показалось, что это и есть тот самый страшный Даджал, о котором говорил дед Гимакай.

С дьявольской силой, внезапно появившейся в нем, он вскочил, легко рассыпав в стороны навалившихся на него мужиков, и побежал за свадебной процессией, громко крича:

— Вернись! Разия, вернись! Разведись и вернись!..

Кто-то догнал и ударил его по лицу:

— Типун тебе на язык, идиот! Это был двоюродный дядя Разии — Масгут абый. Из рта Багрима пошла кровь. Как ни в чем не бывало, он снова вскочил и снова побежал за обозом:

— Разия-а! Вернись! Разия! Вернись!..

...Этим событиям исполнилось уже полвека. И вот уже полвека висит постаревшая, усохшая гармонь на плетне возле дома, где когда-то жила Разия. Висит, покачиваясь иногда под ветрами, веющими откуда-то из-за реки Ашказар, наверное, из глубин оренбургских степей. Изредка, при сильных порывах ветра, гармонь жалобно звякает, и раздаётся тогда звук, чем-то напоминающий крик раненого лебедя.

Что касается Багрима, то он, кажется, до сих пор бежит и бежит вслед той злополучной свадебной процессии.

Как память о тех годах возле дома, где жил Багрим, висится журавль колодца, который вырыл когда-то Багрим собственными руками. Журавль стремится ввысь, в небеса, словно ищет кого-то и не может найти, и поэтому стремится еще дальше, на века вперед...

Перевод Фаяза Фаизова

ЛИРОН ХАМИДУЛЛИН

В МЕТЕЛЬНУЮ НОЧЬ

ля бригадира Крутоярского участка эта зима оказалась несколько неожиданной. Он знал, что для путейцев самое неблагоприятное время именно в эти месяцы, но, похоже, недооценил, насколько они

окажутся изнурительными и изматывающими душу. Уже сколько недель неустанно завывает ветер, кружат метели. Впрочем, что можно успеть увидеть и познать за время прохождения двухмесячной практики в годы учебы?! Тем более, что половина этой практики проходила в самый разгар лета. И, главное, ответственность все-таки лежала на других, а практикант Закария работал лишь под их прикрытием. А сейчас восьмикилометровый участок дороги как бы всей своей «тяжестью» давит на его плечи.

Несмотря на то, что жизнь разъезда Крутой Яр, состоящего из четырех старых барачков-казарм и горстки частных домишек, текла, казалось бы, в центре этого суматошного мира, он стал напоминать Закарии богом забытый островок на краю земли. Действительно, на карте железных дорог, занимающей одну из стен бригадирской комнаты, такого пункта вовсе и не было. Сколько названий городов и станций на этих пересекающих Уральские горы вдоль и поперек красных линиях дорог, напоминающих местами паучью западню! Но не значит ли на этой большой карте их зажатый между скалистыми горами Крутой Яр. Правда, в первые же дни своей работы Закария, тогда еще не обеспокоенный этой неизвестностью, в одном месте этой красной паутины — между двумя соседними станциями с известными названиями — поставил точку фиолетовыми чернилами. Крутой Яр должен был находиться здесь — ровно посередине этого промежутка с ноготок.

Однако созерцание карты не рассеивало чувства заброшенности и одиночества, постепенно превращавшееся в нечто, похожее на недуг.

А ведь не так уж давно он приехал сюда, на эту безвестную точку, окрыленный стремлением свершать большие дела. Тогда этот неказистый разъезд его встретил приветливо, улыбаясь своими крупными, словно блюдца, цветущими подсолнухами. Даже окружавшие Крутой Яр темно-бурые горы не показались тогда такими невзрачными, такими темными, тяжелыми. Наоборот, окрыляя душу, по-дружески манили к себе. Закария тут же по-детски влюбился в них. Словно спеша на встречу с почетным родственником, на второй же день после приезда он полез, вскарабкался на самую крутую вершину. Вознесясь в небо, он тогда устремил свой взор в пространство дальних горных гряд...

А теперь почему-то кажется, что эти горы, эти суровые скалы теснят его душу и даже не дают свободно двигаться. Если бы не их плен, он, может быть, давно уже выбрался бы из этой заснеженной ямы, давно бы добрался до бурлящей жизнью большой станции. Перед его глазами возникли видения шумной городской улицы, заполненной элегантно одетыми людьми. Только что за чудо, оказывается, эта железная дорога, возвышающаяся посреди улицы своими шпалами и рельсами. Уж не пристанционная ли это улица? И почему этот сердитый человек не дает пройти вперед, теснит его и толкается? Отчего и его помощник Карамат, считавшийся его правой рукой, поглядывает на него так строго, хмурит взгляд и отворачивается? Не поезд ли идет... идет прямо на Закарию, надо бы посторониться, успеть отойти в сторону! Вон и улица содрогается, огромный тепловоз, закрыв своим безобразным корпусом все на свете, стал ухачь возле самого его уха. «Пуф-пуф-пуф»... Вот-вот его задавит, а Закария никак не может сдвинуться с места...

II

Убаюканный завыванием ветра, погруженный в бредовый сон, Закария не сразу проснулся под нескончаемую трель телефона. Очнувшись, кинулся к телефонному аппарату, стоящему на рабочем столе в противоположной стороне комнаты. Слышался сотрясающий стены казармы грохот колес проходящего мимо тяжело груженного состава. Вот участился стук колес на стыках рельсов, голова состава, видимо, минуя стрелки разъезда, вышла уже на прямую дорогу. Машинисты — народ такой: как только тепловоз оставит за собой опасный участок, скорее тянутся к рычагу скорости, не думая о состоянии хвостовых вагонов. И тут уж эти вагоны, словно отставшие от матери-утки, раскачиваясь и ударяясь обо что попало, начинают проявлять свою прыть. Если один из этих вагонов кувыркнется под откос, будут винить путейцев.

Закария привычно подумал: «Ага, не остановился, значит, впереди встречного поезда нет». Если бы ему год назад сказали, что он будет мысленно сопровождать каждый проходящий поезд, не поверил бы. Он же не верил, когда говорили, мол, «и во сне вижу только поезда». Верно ведь говорили.

В последние несколько дней у Закарии было далеко не отменное настроение. Только выйдет на мороз, пробирают озноб и дрожь, все тело покрывается холодным потом. Да, и впрямь говорили же ему знающие люди, еще не раз тебя на этой работе прошибет холодный пот. Неужто это в самом деле? Да быть не может! Ерунду, наверное, болтали... Но то ли действительно этот самый седьмой пот тому причиной, то ли еще черт те что, но откуда-то наваливается вялость и доходит до того, что он еле передвигает ноги. Только недавно, вернувшись с проверки работ путейцев, очищающих входные и выходные стрелки в разных концах далеко растянутых, проложенных полукругом вокруг скальной горы

путей разъезда, он, измученный от слабости, свалился на свою лежанку. Доходящее через дощатую перегородку тепло печки с запахом каменного угля и усталость, и невеселые думы сделали свое дело, разморили — вот он и погрузился в бредовый сон. А ведь на столе его ждет срочная работа — недельный отчет о выполненных мероприятиях. Он твердо намеревался закончить ее сегодня днем, в выходной день.

Услышав неистовый телефонный звонок, он скинул с себя слегка отсыревшую от хождения по липкому мокрому снегу шубу и потрусил в передний угол комнаты. Что еще там стряслось? И в выходной день не дадут немного отдохнуть. Наверное, мастер по нему соскучился, устав от перепалок со своей сварливой Машкой. Небось, намеревается отчитать, почему, мол, до сих пор не сообщил недельную сводку.

— До чертиков устал от этой работы... — Ворча таким образом, он подошел к столу.

— Але! Бригадир слушает! — сказал он в трубку.

Оказывается, звонят со станции, сам главный диспетчер.

— На Халиловском перегоне рельс лопнул. Там обходчик Хисмат, это он сообщил, остановив поезд. Прими меры, бригадир! Спешите! — приказал он.

Если, как сказал диспетчер, лопнул рельс, поезда ходить не должны. А ведь оттуда только что прошел состав. Выходит, не совсем сломался, должно быть, только треснул. Для Закарии спокойнее, конечно, если рельс только треснул. Если лопнул, дела будут похуже, остановится движение, на бригадира посыплются упреки.

Еще вчера ветер обжигал лицо, а сегодня вот идет мокрый снег — за ночь ветер переменялся на южный. Результат всего этого — более чувствительным к этой перемене погоды оказался, как это частенько бывает, стальной рельс. Хотя и человек ведь тоже так, работает, словно стальной, не зная меры, и неожиданно возьмет да и «сломается».

Размышляя подобным образом, Закария поспешно одевался. Кто же сегодня дома из бригады? Карамат с женой, возможно, еще Магинур. Еще... Жаль, что нет семьи Валимухамеда. И он, и его старший сын отпросились на свадьбу. И Закарию приглашали, уж очень уговаривали. Нет обиды на деда Валимухамеда, пусть с удовольствием справляет свадьбу родственника. Дня три-четыре назад их двоих постигла такая же участь. И тогда его, Закарию, диспетчер поднял с постели так же среди ночи. Паническим голосом сообщил:

— Пропали, Закиров, на семьсот шестом километре вагон рассыпался, на дорогу высыпались бревна! Я пока держу здесь поезда, скорее беги туда с бригадой! — Кричала в трубку паническим голосом Серафима Петровна, женщина с суетливым характером. Он тогда ей посоветовал:

— Пусть «четный» потихоньку выйдет навстречу, если что, подождет там. А мы скоро там будем.

В такие минуты нельзя колебаться и тянуть резину. Как только узнал, в чем дело, решил вопрос, сколько же нужно людей и какие понадобятся инструменты. Тогда Закария, прикинув, что, наверное, хватит одного подручного, разбудил только Валимухамеда, живущего в том же бараке, что и сам. Если что, он надеялся встретить кого-либо из работающих посменно обходчиков.

Да, он не ошибся. Когда они, спотыкаясь и падая в темноте, прибежали к темнеющим на снегу сосновым бревнам, обходчица Апанасова была уже там. И сил уж нет у бедной старушки тягаться с этими бревнами, но она молодец, на своем посту оказалась — начала принимать меры. Как ей не скажешь спасибо! Свою благодарность обходчице Настасии Апанасовой и деду Валимухамеду он повторил и утром, перед бригадой. Хорошее дело любого члена бригады никогда не должно забываться. Добрый, покладистый дед Валимухамед у бригадира был в особом почете. Закария только вначале недоумевал, почему это не дошедшего еще до пенсионного возраста человека все в разъезде называют «дедом». Возможно, причиной этому было его пасмурно-тучное лицо с каким-то грустно-постным выражением. Или же многочисленность детворы, вечно путающейся под ногами с криком «бабай». Казалось, его внуками был заполнен весь барак, хотя они и занимали всего две комнаты в дальнем его конце. Свое жильё путейцы почему-то называют не «домом», или хотя бы «баракком», имея в виду барачный тип этого жилья, а обязательно казенно «казармой». Видимо, это след военной поры, когда железнодорожники находились на полувоенном положении, и один из старых путейцев разъезда Валимухамед тогда был именно мобилизован на эту работу из своей небогатой деревушки. Человек порядочный, послушный, он с тех пор служил здесь и посвятил свою жизнь и жизнь семьи нелегкому путейскому делу, не теряя понапрасну времени на поиски более легкой работы. Что ни поручишь, все сделает добросовестно, можно даже не проверять. Жаль, что сегодня его нет, и его сына с женой — всего восемь рабочих рук отпустил он вчера на их свадьбу.

...Выходит, в его сегодняшнем активе почти одни бабы, и ближайшая из них — тетушка Шамсельбану. Пропахивая снежные сугробы, он прошел мимо стоящих друг за другом двух длиннущих баракков: один —

с семьями путейцев, другой — работников движения — дежурных по разъезду и стрелочников. Вот кому в такие ночи завидовал Закария, так этим самым «движенцам». Хотя и у них служба не сахар, как говорится, круглогодичная трехсменка без выходных и праздников, но зато без авралов почти, без каких-либо аварий. Время, положенное спать, — спи, никто тебе не помешает. И к тому же почти всегда в тепле, не считая, конечно, службы стрелочников. Хотя и они всегда при утепленной, да где там утепленной — при жаркой своей будке без особых надобностей на улицу и не выглянут.

Закария бегом пробежал возле темных окон длинного с каменно-бутовыми стенами барака движенцев и очутился в зоне «частного» сектора. И торкнулся в дверь ближайшего низкого саманного домика с небольшой прихожей, где тотчас же задвигались, забегали испуганные им дородно-знатные козочки тетушки Шамсельбану. До этого они мирно хрумкали свежеспаснутое сено своими мелкими алмазными зубками. Закария не раз зарекался по ночам не открывать этой двери, не тревожить этих изнеженных лохматых существ после захода солнца. Они обеспечивали свою хозяйку дополнительным доходом: ценным пухом для шали и густым жирным молоком для чая. Но сегодня вынужден это сделать, иначе не с кем идти на перегон.

Конечно, кого бы то ни было нелегко звать на работу в единственный выходной в неделю. В Крутом Яре это еще усугубляется тем, что у каждого имеется свое личное хозяйство, живность там разная и прочая мелочь. Значит, у них достаточно причин, чтобы отказать от срочной дополнительной работы, сославшись на то, что вот корова телится или козочка любимая занемогла...

Думая про себя так, Закария, чуть пригнув голову, влетел в аккуратненькую, беленную со всех сторон комнатенку, и сразу выпалил:

— Айда, пошли, Шамсельбану апа, срочно на работу. Рельс лопнул. Срочно одевайся.

Было не до церемоний, время действительно не ждало. Но тетушка Шамсельбану подобных спешек видела-перевидела. Сначала она стала выяснять: кто, где и где уже побывал бригадир. После этого довольно долго жалостно причитала:

— Ах, и проклята же моя работа... Зачем только привязалась я к ней... Да и ты, бригадир...раньше старались женщин по ночам не вызывать... Да-а, мужиков непутевых... Белье мое вот, будь оно неладно, вон целый бак кипятить поставила было. Что же станет теперь с ним?

И тоже начала ругаться и обзывать: и белье, и целый свет начала характеризовать в хлестких путейских выражениях. Закария тем временем быстренько исчез. И чего так кипятиться, если бы было кого брать, стал бы разве тревожить?

Естественно, что и Магинур апа не ждала его с пирогами. Как только выговорил: «Магинур апа, надо одеваться», тоже с упреком ответила:

— Теперь и в колхозе так не работают... И днем работа, и ночью возишься, как каторжник... — ворчала она, прохаживаясь взад-вперед по комнате и не спеша одеваясь.

С языка Закарии чуть не сорвалось: «Коли так, возвращайтесь в колхоз». Но это прозвучало бы оскорблением...

И тогда слова ругани и порицания, приготовленные для других, Закария обратил в свой адрес. Кто же навязывал ему все эти нескончаемые хлопоты? Не из-за своей ли глупости он согласился стать здесь бригадиром? Дескать, собираемся тебя, товарищ Закиров, послать ответственным лицом на такой-то важный участок. Ты знаешь, мол, язык, обычаи местного населения, к тому же есть у тебя и опыт руководителя. Как-никак, а на военной службе был командиром отделения, ефрейторское звание имеешь. И знаний, дескать, достаточно — техникум кончаешь. И насчет опыта не особо беспокойся — каждый приобретает его, работая. Вот и возьми-ка за этот участок, будь там, мол, главным руководителем.

Вот такой похвалой, видимо, и вскружили голову Закарии. И стал он «главным» на свою голову! Вон, например, Вася, с которым в техникуме за одной партией сидели, оказался умнее. Хотя и исполняет скромную обязанность техника в конторе, зато живет на большой станции, среди людей разных; отработает свои восемь часов и отдыхает с удовольствием. Пишет, ходим, мол, в кино да на танцы, и девчата, мол, все пригожие. Все тысячи удовольствий парню. Не мучается, не мокнет на снегу и не ругается постоянно со всеми из-за каких-то «важных дел». А Закария днем и ночью на дне этой заброшенной преисподней.

Кстати, насчет ругани: что-то в последние дни чувствуется холодок в их отношениях с Караматом, помощником бригадира. А сегодня без него шагу не ступишь, вся надежда на Карамата. Если не будет артачиться и если, к счастью, будет на ногах — ведь выходной, — они еще как-то справятся. А если уж счастье ему изменит, — Закарии с тремя тетушками-пенсионерками придется изрядно хлебнуть горя.

Нешуточное это дело — среди зимы менять рельс на перегоне. Нужны здесь и сила, и сноровка. Вдобавок еще нужно уволочь эту полутонную чертову железяку за пять километров.

Закария мельком бросил взгляд на часы — прошло всего восемь минут, как он выбежал из своей конторки-квартиры. Значит, возле Хисмата еще ничего не должно было произойти. Вот-вот, наверное, скалистая Кыя Тау должна дать знать эхом о шуме приближающегося поезда. Только Закария пока никак не привыкнет к одной хитрости Кыя Тау — гора как плохой репродуктор, стоявший когда-то на их деревенской площади, — если тепловоз свистнет справа, ощущение такое, будто он приближается с левой стороны.

Карамат — мужчина средних лет — опора бригады. Работает он споро, сноровисто. Пока другие раскачиваются, смотришь, он уже полдела сделал. Не зря, наверное, говорит его сосед и свояк Хисмат, дразня его и одновременно восхищаясь: «Джин ведь он настоящий. Да еще вы не видели, что он вытворяет дома. Просто это нечистая сила, наверное»... И действительно нечистая сила, этот крепыш Карамат. Коль он начнет какое дело, уж ничто его не остановит, кроме, может быть, какого-нибудь словечка, неудачно высказанного при этом. Ибо он еще и достаточно упрям, своенравен. А если уж заупрямился, — уговаривать бесполезно. В такие моменты добра от него не жди. Может даже забрать свои инструменты — и айда домой. Знает себе цену!

На днях они с этим Караматом очень резко поговорили. И почти что без причины видимой. В тот день Закария и так чувствовал себя неважно, словно несомая ветром снежинка. И с мастером поутру обменялись довольно злыми выражениями. Если не спеша разобраться, — вроде оба правы. Надо было срочно убрать кучи снега и сколотого льда, накопленного между путями разъезда. Очень уж они мешают там всем. И если увидят, и начальству не понравится. Вот мастер в то утро и говорит, что он жалеет бригаду, а то давно бы, мол, снег этот куда-нибудь перебросили. А сам ведь знает, что у них не как у других, кругом горы да скалы — перекидывать некуда. Всего несколько дней тому назад вместе решили, что некуда таскать, перед казармой же не навалишь. Чтобы все это вывезти, мол, понадобится несколько порожних вагонов.

Хоть Закария и пытался заговорить о вагонах-платформах, тот отмолчался. Если сделать так, то слишком хлопотно для самого мастера, придется выпрашивать у начальства платформу, искать тепловоз, вставить часы его продвижения в дневной диспетчерский график, то есть дня два как минимум заниматься только этим, просиживать у телефона. Конечно, гораздо проще кричать на бригадира, мол, «пусть бригада твоя немного пошевелится, совсем обленились».

И Карамат заупрямился именно в день спора с мастером. В тот день Закария должен был с недежурившей частью бригады разобрать и собрать стрелку до семафора с левой стороны. Одна ее сторона немного осела — врезалась в шпалы под тяжестью поездов. Если какой-нибудь машинист, решив проявить лихачество, прибавит здесь скорость, может случиться непоправимое.

Они сгребли и вымели снег, затем стали обтесывать эти шпалы неудобными «французскими» топорами. В самый разгар работы сломались рукоятки двух из трех топоров. Следить за исправностью инструментов в бригаде было поручено Карамату, он даже получал за это дополнительную плату, оформленную на сына-ученика. Так было заведено давно, до сих пор и Закария, и бригада были довольны его работой — инструменты всегда были в порядке, да и сын всегда помогал в этом отцу. Когда другие, отработав рабочие часы, расходились по домам, они почти каждый день оставались у инвентарного сарая, старались починить все сломанные и затупившиеся инструменты.

Обозлившись на сломавшиеся в самый неудачный момент топоры, Закария прикрикнул на Карамата, поторопил его: «Побыстрее!»

Вот после этого Карамат и вспылил. Видимо, выплеснулась переполнявшая его уже давно злоба. Говорит, брошу работу и уйду. Мол, больше и ноги моей не будет в сарае с инструментами. Ты, говорит, только с такими сладкоречивыми, как Хисмат, и дружишь. В бригаде теперь только им почет и хвала. Карамат корил Закарию таким образом еще довольно долго. И в самом деле, он только на прошлой неделе вывесил благодарность зрителю путей Хисмату.

Правда, в его словах есть истина: изредка они с Хисматом вместе проводят вечера. Посиживают иногда, обсуждая увиденное и прочитанное, лузгая семечки, каленные Магинур апа.

III

Карамат был в бане, когда пришел Закария. Поговорили через дверь.

— На Халиловском перегоне рельс лопнул, надо поменять... Как у тебя настроение?

— Вы идите пока, догоню, — ответил Карамат.

От бани Карамата Закария напрямую вышел к своей казарме. Порадовался звучащему издали ровному гулу. Со встречной стороны идет поезд. В то же мгновение, встревожив душу, проскочила мысль: «Идет. Но пройдет ли?» Конечно, Хисмат знает свое дело, если не поленится. Лишь бы смог пока проводить поезда без осложнений. Потому что даже если очень поторопиться, бригада дойдет к нему не раньше чем через час.

Дверь лачуги с инвентарем была открыта, при свете фонаря Магинур и Шамсельбану укладывали в продолговатый ящик разные инструменты. Станок для резки рельсов стоял чуть в стороне — он все равно не помещается в ящик, всегда отдельный груз, причем тяжелый и неудобный, и обычно его не хочется носить с собой.

Закария первым делом вытащил из угла кладовки и установил на пути тележку. На эту приспособленную ходить по одному рельсу тележку с одной ручкой установили тот ящик и станок, и пошли за рельсом.

Чем больше они отдалялись от прикрытия домов, казарм, тем злее казался ветер. Еле остановив уже чуть было не опрокинувшуюся тележку, Закария быстренько надел и туго завязал капюшон плаща. Так, конечно, значительно теплее, но есть риск не услышать приближение поезда, придется чаще оборачиваться и оглядываться. Как же там Хисмат терпит на таком ветру? Он ведь там уже, наверное, не меньше 30–40 минут топчется на одном месте. Если испорчено настроение, он обычно громко поет, а не ругается, как другие.

Вот они уже проходят мимо семафора. Шамсельбану на 30–40 шагов впереди, Магинур сзади идет с красными фонарями. А мокрый снег так и липнет к одежде, забивает глаза, замедляет дорогу. И ночная темнота уже давно объяла весь мир, накрыв все кругом. Не видно ни стоящих на страже крутых гор, ни жидкого лесочка между ними и дорогой. Закария идет, всматриваясь в следы по-мужски широко шагающей Шамсельбану.

Не успели уйти далеко от места, где несколько путей Крутого Яра сливаются в один, как рельс, уже давно сползавший то в одну, то в другую сторону, неожиданно выдернул ручку тележки из рук Закарии и нырнул в мягкий снег. Вслед за ним разлетелись в стороны ящик и резной станок. Закария даже не почувствовал, что рельс сполз на самый край, видимо, это случилось в тот момент, когда он оглядывался назад, пытаясь разглядеть нагоняющих.

— Рельс-то, гнутый, что ли, попался? — притворно сказала видевшая все это Магинур.

Уж не такие бедные времена, чтобы на зиму гнутые рельсы оставлять. Закария знает, что Магинур сказала так, чтобы лишь утешить его. Если будут так через каждую версту опрокидываться или пропускать поезд, то и к полуночи не дойдут. Наверное, уже вот-вот должен пройти вечерний скорый. Если не опоздает... да, если не опоздает, осталось еще примерно четыре минуты. Значит, нет смысла пытаться поднять тележку.

В это время со стороны застроек Крутого Яра показались два силуэта. Похоже, что в эту сторону «катятся» крепкие, как пень, кругленькие Карамат и Карима апа. Что интересно, народ в этих краях крепкого телосложения, ростом чуть ниже среднего, лица как блюдца. Среди них лишь старушка-кряшенка Настя тонка, как маленькое веретенце, да Хисмат солдат возвышается, словно серебристый тополь среди кленов. Ростом он почти как Закария. Иногда Хисмат любит пошутить: «Меня вырастила сахалинская селедка. Немало я ел овсяной каши с крупной селедкой за семь лет службы».

Шумно, торопясь, промчался скорый поезд. Лишь свет замерзших окон и запах теплого дыма пощекотали душу, и защемило в сердце от напоминания о том, что есть где-то светлый мир, спокойная теплая жизнь и загадочная любовь. Вряд ли кто-то из тех, кто мирно покачивался в этих промчавшихся, словно ураган, теплых и светлых вагонах, задумался о Закарии и Магинур, Хисмате и Карамате, стоявших спиной к ветру и набиравших сил для продолжения пути.

Когда, промучившись, уже почти уложили тяжелый рельс на тележку, подошел и Карамат. Оказалось, что с фонарем за ним шла дочь.

Закария с трудом прошел еще некоторое расстояние, слегка толкая ручку тележки в разные стороны, пытаясь сохранить равновесие. Почувствовав, что не может прекратить раскачивание этой бестолковой «дубины», он снова остановился.

— Дай-ка мне, бригадир, что-то она тебя сегодня не слушается, — прямо, словно наступил на большую мозоль, — сказал Карамат, взяв тележку из его рук. И, как обычно, чуть наклонившись в сторону, довольно ловко покатила тележку вперед.

Оказывается, на отца похожая полненькая и крепко сбитая дочь Карамата приехала откуда-то на отдых. Придя сюда на работу, Закарии вроде не приходилось видеть ее. Хотя, может, и видел, но не обратил внимания. У Закарии нет привычки заявляться к Караматам без причины. Как-то не принято.

Девушка идет впереди, держа сигнальный фонарь. И хоть бы раз оглянулась. Не уходит далеко вперед и не отстает.

А Дилюса же шла, представляя перед глазами молодого бригадира. Такой мрачный, уж совсем парень нахмурился. Можно подумать, невесть что случилось. На дороге без происшествий не обходится, не первый раз в Крутом Яре рельсы меняют. Может, не прошел у бригадира гнев на ее отца. Ведь говорит же мать, что бригадир очень разозлился в день ссоры, с тех пор даже толком не здоровается. Вот сейчас надулся, на Дилюсу лишь из-под бровей взглянул.

Сегодня она сама упросила отца выйти с бригадой, сославшись на то, что «маме нельзя после бани на холод». Дилюсе как-то близка работа на путях. Особенно любит встречать поезда и провожать их в далекие неизвестные края. С особой надеждой и нетерпением дожидается она пассажирского поезда, который останавливается в Крутом Яре раз в два дня. Несмотря ни на какие дела, всегда выбегала к путям встретить его и махала рукой вслед. Для нее большая радость, если поезд по каким-то причинам задерживается в Крутом Яре. В таких случаях, особенно летом, молодежь выпрыгивает из зеленых комфортных вагонов, чтобы пройтись, восхищаясь красотой Кыя Тау.

— Ах, эта гора! Ах, эти скалы!.. — восклицают они.

Некоторые подходят к Дилюсе, спрашивая о разном, словно интересуясь. Даже подразнивают: «Эй, красавица, давай возьму тебя с собой далеко-далеко!» То была пора, когда девушка уже ловила на себе восхищенные взгляды...

Воспоминания о том, как Дилюса смотрела вслед загадочным поездам, казались ей сейчас сном об интересной игре в детстве. Качающиеся огни уходящего вдаль поезда оторвали ее от мечтательного детства и унесли куда-то на чужбину. Вырвали из Крутого Яра, подобного раю. А ведь и здесь, оказывается, были такие чудесные мгновения. Да кто же мог подумать, что уже через четыре-пять месяцев Дилюса так соскучится по этому маленькому разъезду! Ведь казалось, что вот только попади она в крупный город, большой мир, и совсем о нем не вспомнит. А на самом деле и этот грустный разъезд может заставить так по себе скучать! Оказывается, когда ты одна в большом городе, бывает также грустно и печально. Человеку и такое надоедает.

Дилюса шагает перед бригадой, обдумывая все это. А тянущаяся еле видимыми нитями дорога становится все длинней, бежит вперед и все торопит куда-то.

V

Ветер все дует и дует. Все еще идет снег. Мир словно утонул в темноте. Стали совсем невидимы столбы, гудящие у дороги. Хисмат подолгу тревожно вглядывается в сторону Крутого Яра. Сквозь ночь и метель уже даже Кыя Тау не видно. Хисмат уже больше часа топчется на одном месте. Он то хлопает рукавицами, то ходит взад-вперед. И все же не отдаляется от найденного им разбитого рельса. Как только появляются огни поезда, начинает махать фонарем, чтобы они остановились. Затем, пригибаясь почти под самые вагоны, прижимает отломившийся кусок рельса лопатой и аккуратно пропускает поезда через это опасное место. Приподнимает один наушник шапки-ушанки, чтобы лучше слышать, крепко сжимает в руках черенок лопаты, уже расплющенной колесами поездов, и командует машинисту:

— Давай!

Колеса, медленно въехавшие на опасный участок, начинают набирать скорость, и кажется, что тот кусок под лопатой вот-вот выскочит. А Хисмат все стоит, согнувшись в три погибели, скрипя зубами и забыв о больной пояснице, терпеливо выжидая, когда длинный состав пройдет весь. Когда проходит последний вагон, он уже чуть не падает от головокружения.

Конечно, так пропускать поезда категорически запрещено. В таких случаях, согласно инструкции, дорога должна быть закрыта, движение поездов остановлено. Но так делать просто невозможно. На это уходит очень много времени. Да и не поглядят никого по головке за закрытую дорогу, поднимется большая шумиха. Быть может, она и не коснется самого зрителя путей Хисмата. Наоборот, его могут даже похвалить за то, что вовремя принял меры. А что скажут бригадиру?

И все же, какими бы образованными ни были этот бригадир и мастера, Хисмат ничуть не хуже знает дорожную работу, это факт. Он только сейчас числится на легкой работе — путевым обходчиком. Вон, и шурин Карамат тоже поднаторел лишь благодаря ему, и хотя ходит в помощниках бригадира, считая себя очень умным, а все же столько, сколько Хисмат, еще не знает.

Топчется Хисмат, думая обо всем этом и замерзая в открытом поле, и лишь проходящие мимо поезда прерывают его мысли.

VI

Бригада сразу же принялась за работу, едва прибыв на место. Хисмат еще до прихода бригады расчистил снег, чуть ослабил гайки на болтах и костыли — клинья на концах шпал рельса, который надо поменять. Никто сейчас не обращает внимания ни на падающие сверху хлопья мокрого снега, ни на вой ветра. Можно подумать, если сегодня, вот в этот час они быстро и четко выполняют эту работу, то с завтрашнего дня их ждут райские наслаждения. С таким рвением взялись за работу, вздохнуть некогда, и даже не слышно ни слова!

Снежная метель беспрестанно набрасывается на них сильным ветром, дергает за подолы, раскрывает полы шуб.

При свете фонаря Закария измерил рельсы.

— Отрезаемый кусок довольно большой, может, не будем мучиться с пилой, — предложил Карамат.

— Действительно, пока этот станок наладишь, пока на нем распилишь, пройдет еще как минимум полчаса. Попробуем сломать?

По следу мела большим зубилом провели по мерзлому железу неглубокую бороздку.

Раньше Закария не верил, что можно разрезать такой толстый рельс обычным зубилом, и очень удивился этому при прохождении практики. Позже ему приходилось не раз сталкиваться с этим способом.

Карамат наносил удары большим молотом, Закария, водя резцом с длинной ручкой по «шейке» рельса, проложил глубокий след. Затем Карамат позвал остальных:

— Подойдите сюда!

До сих пор расчищавшие снег и раздвигавшие клинья Хисмат, Магинур, Шамсельбану построились у рельса. Карамат начал давать короткие указания:

— Нагнулись! Вместе подняли!.. Ноги береги! Бросили!!

Наконец, после того как они несколько раз так бросали рельс на уложенный поперек шпал лом, на землю со звоном упал лишней ее кусок величиной с локоть. Естественно, инструкции, по которым обучался Закария, были против разрезания рельса таким способом. Но такой метод значительно ускорял работу. И поэтому иногда приходится закрывать глаза на незначительные запреты.

Вспотевший от скорой работы Закария, разгорячившись, сбросил сначала свою брезентовую накидку, потом и вовсе расстегнул шубу. Влажные варежки Дилюсы тоже валялись под ногами черно-бурыми пятнами. Она, несмотря на пощипывания, брала розовыми пальчиками мерзлые болты, гайки и проворно закрепляла их на место. Закария накрепко закручивал их полуаршинным ключом. На другом конце рельса Шамсельбану и Карамат делают то же самое. А Хисмат и Магинур работают между ними, помогая друг другу. Хисмат вставляет костыли в ребра шпал одревеневшими от холода пальцами. А Магинур по-мужски широко размахивается десятифунтовым молотом и вбивает их.

Закария с самого начала хотел отпустить Хисмата.

— Ты замерз, продрог, Хисмат абый, возвращайся, грейся пока, — пытался он уговорить его. Но Хисмат не ушел. Сказал, вместе вернемся.

VII

Закария и Дилюса попались на один конец рельса. Теперь горячее дыхание девушки задевает и без того горячие, пылающие щеки Закарии. Хочется коснуться волшебных пальцев девушки, столь быстро и ловкодвигающихся при свете фонаря, и хоть на миг удержать в ладонях.

— Вы, оказывается, все время ходите, склонив голову, будто топор в прорубь уронили.

Закария некоторое время не мог прийти в себя от неожиданности, что Дилюса так вдруг заговорила.

— Наверное, боитесь, что если поднимете взгляд, Кыя Тау обрушится на вас, — добавила Дилюса и первой весело рассмеялась своей удачной шутке.

— Эх, сестренка, это, наверно, оттого, что все время хожу, глядя на шпалы и рельсы, ищу брак, — ответил Закария полушутя.

Девушка вдруг стала серьезной:

— Вы уж не обижайтесь на папу за тот день, вы очень дороги ему.

Закария не успел ничего сказать, как все заглушил гудок мчащегося поезда. Свет прожектора выскользнул со стороны Халиловского перегона и стал стремительно приближаться. И вот он выхватил из темноты черневшую среди моря снега кучку людей. Хисмат стоит у самого пути, вытянувшись, как солдат. Зеленый свет его фонаря направлен в сторону приближающегося поезда, означая «дорога свободна, проезжай». В этот миг и у Закарии в глубине души вспыхнул зеленый свет тайной надежды...

АЛЬБЕРТ ХАСАНОВ

ВОЛГАРИ

ни бились уже два часа. Полторы тысячи с гаком юношей, портовые рабочие в синих, коричневых беретах, усатые грузчики, тут же и милицейский старшина Капризов, да и красавица Гюльчира, затаив дыхание, наблюдали за этой жестокой бескомпромиссной схваткой. На небольшом майдане, образовавшемся среди этого люда круге, с попеременным успехом жестоко бились двое. Но странно, никто не вмешивался, не пытался их разнимать, даже старшина Капризов. Свою выдавшую виды фуражку то сдвинув на лоб, то на затылок, он лишь повторял: «Вот ведь че делают, че делают, а? Но я ничего не видел, повторяю, ничего не видел».

Если сказать, что дрались Мотыль с Фарук-пашой, то это ничего не сказать. Можно подумать, что два хулигана что-то не поделили и тут же немедля решили выяснить отношения. Нет, здесь было далеко не так. В этот, хотя и солнечный, но довольно свеженький октябрьский полдень, на самом дальнем затоне Волги по названию Бишбалта как бы столкнулись наглость с порядочностью, предательство с преданностью, жестокость с гуманизмом. Здесь бились зло с добром! Бились они с расчетом, вдумчиво, оба жаждали только победы. Только победы. На этом небольшом клочке каждая из этих сил хотела себя утвердить. Утвердить навечно! В эту битву никто не вмешивался, никто их не пытался разнимать. Тому много было причин...

А все началось со звонка Шефа. Во второй половине дня он позвонил в общежитие, к аппарату срочно потребовал Фарука Файрушина.

— Фарук-паша, это ты, дружище? Сейчас же поднимай свою дружину и тут же ко мне. На подходе большая баржа. Жду я вас!

Шефом ребята звали Соломона Моисеевича. Он был заместителем начальника по снабжению какого-то большого строительного треста. За успешную и своевременную выгрузку цемента и других строительных материалов, которые поступали в город Казань баржами, кажется, в первую очередь отвечал он. Его в лицо знало все студенчество города, величали Шефом, по-своему уважали. Но и Шеф в лицо знал почти всех студентов, в каждом студенческом общежитии у него были свои парни, то есть всегда готовая к подъему бригада грузчиков. Если нет, то он их быстро создавал. Приедет на своей старенькой черной «Волге», соберет ребят, что покрепче, в красном уголке, поговорит и бригада уже готова.

А Фарука он уважал особенно. Потому что не раз имел с ним дело. Потому что это был парень слова, если уж сказал, то обязательно сделает. Это он первый назвал его как-то на турецкий манер «пашой», то есть Фарук-пашой. Тоже из настоящего чувства уважения. Фарук и сейчас ответил ему односложно.

— Большой рахмат, Шеф, сейчас будем! Очень кстати вы звоните.

А почему не быть? Тем более что приближались октябрьские праздники. Плюс к стипендии, которой хватает самое большее на неделю, заработать денег кому помешает? Никому. Ведь среди студентов не случайно же ходит анекдот: профессор одного своего студента на экзамене якобы спросил:

«Вот перед Вами, молодой человек, два мешка. Один, полный, с умом, другой набитый деньгами. Вы который мешок бы взяли?» Нисколько не задумываясь:

— С деньгами, конечно! — воскликнул студент.

— А я бы с умом, — сказал профессор.

— Пусть не в обиду будет сказано, профессор, тут уж кому чего не хватает, — заметил студент.

Да, студенту никогда не хватает денег. Это уж точно. Но в данном случае дело не только в деньгах. Для Фарука же причина в другом. Там работала красавица Гюльчира!..

А Фарук был никакой не «паша», а студент четвертого курса ветеринарного института. И был он еще страшным силачом, до пятого этажа общежития мог подняться вниз головой на руках. Но Фарук сам очень стеснялся, что он обладает такой богатырской силой, даже от этого был немного несчастлив. Из-за своей страшной физической силы ему частенько приходилось иметь большие неприятности, краснеть, даже горевать. Вот недавно в учхозе института за озером Кабан они делали коровам прививку. Все шло хорошо и дело шло к завершению. И тут с диким ревом за карду вырвался бык по кличке Луноход. Хороший, спокойный в обычное время и очень симпатичный бык, прямо красавец. В учхоз его привезли недавно из подмосковного совхоза по разведению породистых животных. Хороший, умный бык. К студентам же относился особенно дружелюбно и с пониманием. Но сейчас его было не узнать. То ли в нем пробудилось

чувство мавра к одной из пеструшек, то ли еще что-то, но он был мало похож на себя. Увидев его в диком нраве, студенты разбежались кто куда. А бык, разметав все на своем пути, шел к соседней карде, где паслись пеструшки и бестужевки. По пути он играючи свалил на бок «Беларусь» с тележкой, и вышел на площадь перед зданием фермы. Фарук с самого начала с восторгом наблюдал за Луноходом. Очень он любил животных, жалел их и поэтому-то и пошел в ветеринарный. Любил он быков, племенных жеребцов, легко с ними ладил. Ну и сейчас что из того, что Луноход решил показать свой нрав, свой характер? Пусть немного покажет. Фарук с симпатией и восторгом следил за ним, видел, с каким визгом разбежались девушки и скрылись в здании фермы. Но тут откуда ни возьмись на площадь выбежал сын главного врача фермы Рустик, мальчик, годика три-четыре, с длинными ресницами, смугленький такой карапуз. Бык тут же заметил его и с налитыми кровью глазами пошел на мальчика. Еще несколько секунд и на глазах всех присутствующих свершится непоправимое. Предпринять что-либо уже поздно, думать было тоже некогда. Фарук прыжком перемахнул через ограду карды и мгновенно оказался между быком и растерявшимся мальчиком. А Луноход, кажется, даже обрадовался, сейчас поднимет на свои буйволиные рога не мальчишку, а вот этого здорового парня. Сейчас он покажет, на что он способен. Если уж он играючи свалил на бок «Беларусь» с тележкой, какой уж тут может быть разговор. И Фаруку ничего не оставалось, кроме как взять быка, то есть Лунохода, за рога. Взял и потянул в разные стороны. И тут левый рог как будто с резьбы сорвался, сломался у самого основания. Струей брызнула кровь. Видимо, быку было очень больно. Он жалобно замычал и даже опустился на передние колени. Спасенного мальчика подняла на руки счастливая мать, а Фаруку опять было стыдно за себя, за свою необычную силу. После этого он долго ходил на карду к Луноходу и просил у него прощения.

Еще был случай на пароходе. Он ехал с практики, возвращался в Казань из Набережных Челнов вечерним пароходом. Это был единственный на всю Камскую флотилию старый, престарый пароход времен Чехова и Куприна. Возил он сейчас больше грузы, чем пассажиров. И, лениво шлепая колесами, груженный бочками с соленой рыбой, шел вниз по Каме. На «Метеор», шедший в Казань, Фарук опоздал. Чем коротать ночь на холодной и безлюдной пристани, сел на этот пароход, к утру все равно был бы в Казани. На этом же пароходе ехала блатная компания. Они играли в карты, пили, матерно ругались. Фарук сидел с ними рядом. Старался не обращать внимания. Сделаешь замечание, скажешь только слово, начнут приставать. Надвинув на глаза кепку, притворялся спящим. Но на одной из следующих пристаней, кажется, в Рыбной Слободе, сели две девушки. Они тоже устроились на ящиках у самого прохода. Компания их тоже заметила. Вначале к девушкам подошел только один парень. Потом и все остальные. Вели они себя сверхнахально. Словесно еще одно. Стали руки распускать. Девушки возмущались, шлепками отбивались, хотели пересесть на другое место. А те еще азартнее начали приставать. Окружили их и не дают возможности перейти в другое место. Одна не выдержала, начала плакать.

- Ох и нахалы! — сказала сидевшая рядом пожилая женщина.
- Оставьте их в покое!
- Сиди, бабка, не шамкай! — цыкнули на нее парни. — А то ведь и до вас...
- Управы на вас нет, паразиты, тьфу!

А парни все продолжали приставать, заплакала и вторая. Зная, чем это кончится, подозревая, что опять придется стыдиться себя, Фарук предупреждающе кашлянул в кулак:

- Вы, ребята, в самом деле, ведите себя прилично. Не приставайте.

— Ах ты, кто ты тут? — спросил, ломая язык, один из самых назойливых парней. — Али мене слышалось?

- Это я сказал. И снова повторяю, оставьте девушек в покое.

- Иначе чего нам?

— Ничего, — сказал Фарук, и выражая свою миролюбивость, снова надвинул на глаза кепку. А тем того и надо.

— Люди, вы слышали, мене делают замечание. Какой он нахал, однако! — сказал назойливый долговязый парень. — Что он, педагог? У тебя есть диплом? Ты что, воспитатель?

- Ах, не хочется драки, парни, — сказал Фарук так же спокойно. — Если можете, давайте оставим.

- Ему не хочется драки, нет, вы только послушайте, он мирный, он воспитанный мальчик!

— А драки и не будет. Будет разговор по душам. А разговор по душам, по-нашему, значит, это ты получишь раз по шее, два по ушам, ха-ха-ха! — добавил коренастый парень в помятой соломенной шляпе.

- Ха-ха! — поддержали его остальные. К Фаруку снова подошел долговязый.

- А ну, встань! — сказал он сквозь зубы, рисуясь перед остальными. — Сейчас ты у меня поглынешь к берегу.

- Заодно и нормы ГТО сдашь, щеночек! — добавил снова тот, что был в помятой шляпе.

— Ха-ха!

— Поплыл, давай, поплыл. Руками, ногами будешь работать. А берег вон он, двести метров, если не хочешь водолазам лишнюю работу доставить, руками гребь, ногами работай. А ну, марш, поплыл! — толкнул плечом Фарука долговязый.

При этом не сильно, но показывая превосходство, стукнул его по щеке.— У нас ведь так, разговор короткий.

Фаруку ничего не оставалось. Он взял парня за локоть, сжал и посадил с собой рядом. Тот сразу понял, с кем они связались, сел и умолк. Мужчина в мужчине силу от прикосновения рук чувствует. Но другие ведь еще этого не знали. К Фаруку подошел вожак, коренастый, широкоплечий, скуластый парень.

— Ты че, не понял? — сказал он, взял его за козырек кепки, дернул.— Встань, когда тебе старшие говорят.

А третий легким подсеком свалил его с ящика, на котором он сидел. Ничего Фаруку не оставалось, нужно было защищаться. И он принял защитные меры. После этих мер особенно плохо было вожаку. Его потом долго приводили в чувство. А ведь Фарук его вроде и не сильно стукнул. Герои пять минут назад, сейчас стояли перед ним кто с вывернутой ногой, кто рукой. Все четверо просили прощения, просили их не высаживать. А ему снова было стыдно. Стыдно за то, что сделал этим парням больно. Стыдно было даже перед девушками. Такой уж у него характер.

Еще на первом курсе сосед по комнате Петя Силантьев повел его на секцию, бокса.

— Ко мне в основном ходят не чемпионами стать, а чтобы приобрести силу, самоутвердиться, — сказал ему пожилой тренер после четвертого посещения. — Я смотрю, вам все это ни к чему...

Фарук еще на первых двух занятиях прямыми ударами нокаутировал разрядных спортсменов. Ребята после попросту начали отказываться с ним боксировать. А после этого разговора Фарук перестал ходить в секцию.

Зато как только появилось свободное время, он с удовольствием ходил на Волгу разгружать баржи. Он любил тяжелую работу. Здесь он по-настоящему чувствовал силу мускулов. Ему под тяжестью шестипудовых туюков легче дышалось. На разгрузку барж он ходил с удовольствием. Была и другая причина. Там была Гюльчира!..

Фарук после звонка Шефа тут же поднял своих ребят, кто в этот час был свободен, и приехал в затон Бишбалта. А тут сегодня народу тьма-тьмушая. Соломон Моисеевич обзвонил, видимо, все общезития. У него свои интересы. Ему важно как можно скорее выгрузить баржу. Один час простоя баржи штрафуются тысячами рублей. Вовремя не организуешь выгрузку, можно стоять сутками. На старой пристани, на только что выгруженных и сложенных штабелями досках лежало около полторы тысячи студентов. Впереди была длинная зима с ее бесконечными расходами, и поэтому каждому хотелось подзаработать денег. Собственно, кому они лишние? А студентам тем более. Одни не хотят сидеть на шее у родителей, другие приехали заработать на джинсы. Но одно плохо, когда на берегу скапливалось столько рабочей силы, это обычно заканчивалось хорошей потасовкой. Во-первых, раз уж приехали, никому пустым возвращаться неохота. Все хотят работать. А одна баржа столько грузчиков принять не может. Видимо, и сегодня без этого не обойтись. Ссора между группами обычно возникает из-за места, территории. Есть большая разница, скажем, в том, что ты из баржи мешки с цементом на берег будешь таскать за двести-триста метров, или будешь их складывать тут же, у самого берега. Тот, кто захватил «территорию» у самого берега, без труда вынесет четыре мешка, пока ты сделаешь один рейс на расстояние двести-триста метров. Если в твоей бригаде пятьдесят человек и за один рейс ты вынесешь пятьдесят мешков, то за один залог, то есть за два часа непрерывной работы, будет вынесена целая гора цемента. Так что и территория нужна очень большая. Но если в твоей бригаде только тридцать человек, а ты захватил самую близкую от баржи территорию, то бригада, где пятьдесят парней, конечно, попытается оттеснить тебя подальше. Но ведь и ты свое место добровольно не отдашь. Тут уж поневоле приходится пустить в ход кулаки, что ж делать. Приходится драться. Каждая группа представляла какой-нибудь вуз. Приходилось даже из-за этой территории вуз на вуз драться. Это плохо. Все знали, что это не дело. Хотя никого не калечили, никого на носилках не увозили, все равно это плохо. Все это понимали. Начали искать самые приемлемые варианты, математики с университета и авиационного задавали задачи даже ЭВМ. И те не могли дать приемлемого ответа. Сколько ни крути, сколько ни мучь «мозг» ЭВМ, самая близкая территория, площадь к барже на берегу одна. А претендентов на нее, желающих любым путем именно этот участок захватить, десятков, а то и больше. Тогда по согласию «отцов» — в порту были и они,— начали устраивать кулачные бои. Драться вуз на вуз из-за места — это низко и аморально! Это отпадает. А вот один на один на кулаках — это приемлемо, даже — почетно. Это как бы возврат к старым добрым традициям в решении острых вопросов. Начали устраивать самые натуральные кулачные бои. Каждый

институт выставлял своего бойца, на которого он делает ставку, на кого может положиться. Дрались по самым диким законам, английский бокс в обыкновенных кожаных перчатках им в подметки не годится. Кто кого как схватит, кто кого как заставит сдаться — это его дело. Но драться за своих ребят, за свой институт было чертовски почетно. Многие мечтали об этом, а тем, кому посчастливилось побеждать, завидовали. Были известные мастера кулачного боя, о них ходили в порту легенды. За университет выступал вечный студент — геолог Игорь, по прозвищу «отец Онуфрий». Он был высок ростом, длинноволос, носил черную сатиновую рубашку с тонким поясом. Он, кажется, уже восьмой год учился, а был еще только на третьем курсе. Игорь — единственный сын у родителей, между прочим, крупных ученых. Был начитан, эрудирован, всесторонне развит. Кроссворды, которые публиковались на последней странице «Огонька», он щелкал как орехи. Этим головоломкам ребята в порт натащали ему столько, сколько могли найти. А Игорь разгадывал их без всяких справочников. Даже имена, названия мелких речушек где-то в Сибири, или горные гряды, океанские впадины он вспоминал без всякого труда. Обладал он не только хорошей памятью, но и страшной силой. Случалось, одной рукой зацепится за крючок подъемного крана и на спор висит на нем целый час. Игорь знал приемы борьбы самбо, но большую часть свободного времени проводил в порту, нежели в университете, где играл в карты по выработанной им самим остроумной системе. Стоило ему захотеть и он постоянно выигрывал, или просто лежал на досках, молчал, как говорил он, слушал симфонию волн, созерцал, задумывался о проблемах мироздания. Дрался он охотно, но не всегда выигрывал. Потому что по натуре он не был драчуном, а очень мягкосердечным, жалеющим противника человеком.

За сельхозинститут выступал настоящий борец, мастер спорта по французской борьбе чуваш Алга. Смуглый красавец, похожий на французского киноактера Жана Марэ, этот парень был очень силен. Но Алга любил работать на публику. С противником он никогда не дрался, а как бы играл. Начинал его бросать через себя, применять всякие борцовские приемы.

На соревнованиях обычно есть правила, есть судья, арбитры. А здесь законы были скорее таежными: смотри в оба. Чуть зазеваешься, получишь нокаут.

За пединститут дрался Женя Козлов, из Козловки, что на Волге, по кличке «Мэ-мэ». Хороший такой, общительный парень, не очень сильный, на первый взгляд, но ловкий. Смело нападал, умело убегал. Чуть зазеваешься, такой удар влепит, сразу сядешь. А закон самый старый, справедливый — лежачего не бить, стоящего на ногах не щадить. Этот Женька выигрывал бой у самых грозных противников. За это его уважали и свои, и противники. Если он в порту долго не показывался, то ребята сразу замечали его отсутствие. Начинали интересоваться где он, что с ним?

Еще ребята очень уважали студента четвертого курса авиационного института Артура, по кличке Турок, в скором будущем конструктора двигателей, может быть, в миллионы лошадиных сил. Это был парень артистической красоты, рослый, стройный, геркулесовского телосложения. Он, кажется, ни в чем не нуждался, так же и в деньгах, а в порту — околачивался в поисках острых ощущений и на майдан выходил так, поразмяться, испытать себя, силу своих мускулов.

Интересно, что парни дрались здесь охотно, с удовольствием. Если в ходе кулачного боя тебе выбьют зуб, или под глазом посадят огромный фонарь, — и такое бывало, — то на это никто не обижался. Сам виноват, никто тебя за рукав не тянул, а раз вышел на майдан, то уж не зевай. Если уж получил удар в солнечное сплетение, и с тобой плохо, тоже не волнуйся, ведь будущие академики медицинских наук тут же рядом стоят: и искусственное дыхание по всем правилам сделают, и в чувство тебя вовремя приведут. Удивительно, что парни дрались охотно. Почему? Что ими двигало? Казалось бы, это нехорошо, аморально. Причина, видимо, вот в чем. Мужчина, при каких бы общественных формациях ни жил, какие бы только серьезные науки ни изучал, пусть они создают такие ускорители, в которых нейтроны-протоны, микрочастицы мчатся со скоростью, приближающейся к скорости света, пусть пересаживают сердца или посылают космические корабли за пределы солнечной системы, он остается мужчиной. В нем всегда будет сидеть дух быка, жеребца, то есть дух вожака. Сама природа подсказывает ему, что этот дух не должен исчезнуть. Если исчезнет, то дело швах. Человечество выродится. Именно это чувство, видимо, заставляло и Артура выходить на майдан, на кулачный бой.

— Карамба, тысяча чертей! — говорил он с восхищением, как хороший собственник похлопывая свои железные мускулы. Делал глубокий вдох. Грудная клетка расширялась почти вдвое. Со свистом делал выдох.

— Дыхание отличное, мускулы крепкие!

Он был страшно силен, состоял только из мускулов. Дрался почти голый, оставаясь лишь в потертых джинсах, играя бицепсами. Но, как все красивые мужчины, прежде всего он был страшно влюблен в себя, отчего и был неуравновешенный, то есть нервный. Еще в самом начале боя начинал нервничать, терял

самообладание и попадал под сокрушительные удары противника. Потом он переживал свои поражения. Садился на колени, хватался за голову.

— Карамба, тысяча чертей! — кричал он, тряся кулаками. Здесь же своим человеком был и бывший армейский офицер, бывший артиллерист Акбашев.

— Точно! В яблочко! — было его любимым выражением.

Хороший, добрый парень лет 28—30. Но страшный выпивоха, за что и из армии был уволен. Он обычно дрался по найму, то за финансистов, то за медиков, в общем, за тех, кто его к себе раньше других успел расположить. Это был настоящий Илья Муромец. Знал приемы самбо и каратэ. Помимо прочего, эрудит, ходячая энциклопедия, душа всей портовой компании. Ни жены, ни семьи у него пока не было. Прописан он был угловым жильцом у своей сестры, но в каждом студенческом общежитии он был своим желанным человеком, жил вечным студентом то у химиков, то у медиков. Он жил с идеей открыть какой-то новый закон полета снаряда, носил чертежи в кармане, кто хоть что-либо понимал в баллистике, сопротивлении материалов, старались ему помочь советом, дельными предложениями. А меж собой величали его аж Фельдмаршалом. Тоже, видать, из чувства высокого уважения.

Акбашев был силен, знал приемы. Но на майдан выходил всегда под градусом и, конечно, проигрывал. Ему это прощали и свои, и противники. По натуре он был располагающий к себе душа-парень.

Фарук в этих кулачных боях обычно не участвовал, даже тогда, когда его и его ребят пытались вытеснить с занятых ими на берегу удобных участков. Мог он запросто бросить на лопатки или нокаутировать и отца Онуфрия, Алгу или Артура-Турка, Акбашева тем более. Для него это был сущий пустяк. Но потом ему было бы снова стыдно за себя, за свою страшную силу. Он желал оставаться в тени. Но «отцы» знали его, относились с уважением. Если когда ветеринаров кто-нибудь начинал теснить, другие выступали на защиту. Потому что был случай. Это было летом. Они разгружали баржу с лесом. Работенка чистая. Это тебе не цемент разгружать. Работенка и денежная, вынес на берег кубометр дров, считай, пять рублей уже в кармане. За день работы одиннадцать-двенадцать кубов всегда вынесешь.

Работа чистая, денежная, но коварная. Это тебе не шпалы разгружать. Там тебе положат две шпалы на спину и топай на берег. Во всяком случае известен примерный вес каждой шпалы. А тут иногда попадают такие комли, никто не знает его веса, может, там полторы тонны. Так вот они тогда разгружали дрова. День был не очень жаркий, работали споро, и тут в трюме какая-то возня. Ребята уходят вниз и никто наверх не выходит. Оказывается, как раз такой комель попался. Грузили-то его или перекатом, может, краном. А сейчас надо вынести на берег. Толстое такое березовое бревно. Вода сочится. Должны были его расколоть на четыре части, а не раскололи. Видимо, не могли. Теперь его надо вынести на берег. Кто бы ни подходил, кому только на спину ни клали, под тяжестью у всех ноги гнутся. Два шага не сделают, бросают. Не выдержал и подошел к ребятам заказчик Гортопа Садык-ага.

— Зачем вам, ребята, так надрыватьсь? Не мучайтесь, — сказал он. — Откатите его как-нибудь в сторону, да и за борт. Подумаешь, полкуба дров. Я вам за это ничего не скажу.

Десятники, которые обычно становятся по обоим краям штабеля и ведут погрузку, так уже и решили было. Тут подошел Фарук и подставил подушку. Такие начинания здесь любят. Четверо грузчиков перекатом кое-как установили комель на подушку. Фарук груз взял легко с места, но ведь еще надо и подняться по маршевой лестнице наверх. Она крутая, черт, и там двадцать четыре ступеньки. Фарук спокойно поднялся и на палубу. Правда, когда он поднимался по лестнице, после каждого шага из его глаз как бы пучками летели искры. Но поднялся на палубу, пень этот вынес на берег. После этого «отцы» его еще крепче зауважали.

Здесь же в порту постоянно обитала и артель бывших уголовников, то есть вернувшихся из мест не столь отдаленных. Работать постоянно где-нибудь на производстве они явно не хотели. С непривычки это многим им даже не под силу. Там ведь, на производстве, дисциплина и порядок. Каждый день вставать в шесть утра и бежать на завод — это тоже не их мечта. А здесь — благодать. Нет баржи — неделями лежи, загорай, предавайся воспоминаниям. Никто на тебя не кричит, никто план не гонит. Пришла баржа — скорей надевай подушку. Сколько заработал — все твои. И заработаешь немало. Их было немного, где-то около тридцати. Интересно, как заметил Фарук, что число это и не увеличивалось, и не уменьшалось. Бывало иногда, старшина Капризов кое-кого из них за какие-то темные дела тут же на берегу и арестовывал. Глядишь, их опять столько же. Ряды ушедших, видимо, пополняли новоприбывшие.

Порт они считали как бы своим родным домом и не прочь были остальным диктовать свои условия. Цемент разгружать они не больно спешили. Это грязная, тяжелая работа. А если поступали баржи с арбузами, виноградом, вином, тут уж их за уши не оттащишь. Да еще других на баржу не хотели пускать. Чистую работу сами хотят сделать. А студенты ведь постоянно здесь не околачивались. Они обычно

приезжали только по звонку Соломона Моисеевича и лишь к приходу барж. Им здесь все время находится некогда, учиться ведь надо. Поработаешь со своей дружиной залога два-три и скорей домой, в общежитие или в институт. Один залог — это два часа пыльной, потной, грязной работы без отдыха и перекура. С подушечкой за спиной спускаешься в трюм, с мешком цемента в полцентнера из трюма наверх.

Один залог — это где-то семь-восемь километров пути без отдыха, с грузом за спиной в пятьдесят килограммов! Вообще-то тут сладкого и приятного мало! Но зато двадцать пять-тридцать рублей у тебя уже в кармане. Четыре залога — тридцать два километра пути. С грузом полцентнера лишь пятнадцать. Обрато в трюм-то идешь ведь без груза. Так усташь, потом два дня тебя с кровати краном не поднимешь. Но зато двадцать рублей у тебя меж пальцами приятно хрустят. Самое главное, — и это очень важно, — здесь скорее чем где-либо понимаешь, что настоящие деньги всегда потом пахнут. И это полезно знать каждому. Цена медной копейки у тебя на глазах растет. Одна копейка — это десять шагов ходу с грузом за спиной в полцентнера. Десять копеек — сто шагов. Как тут не полюбишь жизнь! Она хороша, и тут ты проливаешь пот, чтобы сделать ее еще лучше! Когда у тебя в кармане хрустят деньги и ты ни от кого не зависишь, разве это плохо? Самое главное, что деньги честным трудом добыты. Ты знаешь цену каждой копейке. Одна копейка — десять шагов ходу в гору!

Среди обитавших в порту бывших уголовников вожакон был пожилой татарин Махмут по кличке Таракан. Страшный картежник. Он сам подушку никогда не надевал, в душный пыльный трюм не спускался. За него груз выгружали другие. Свою власть над корешами он осуществлял через Паклю. Это был коренастый, крепкий парень, весь в татуировках, с постоянной злобной, металлической улыбкой на лице и предательски сощуренными глазами. Кореши его очень боялись. Но идеологом в этой компании был здоровый, рослый и красивый парень по кличке Мотыль лет двадцати восьми, с тремя судимостями. Он любил работать на публику. В порт всегда приезжал только на такси и позже других. Таксисту небрежно давал чаевые. Про него не скажешь, что редицивист, что имел три судимости. Одевался он с иголочки во все модное, заграничное. В руках — из хорошей кожи дипломат желтого цвета, на глазах темные очки. Он был начитан. Знал наизусть стихи Пушкина, Есенина, Евтушенко, Ахмадулиной. Разговаривая, в свою речь вставлял как можно больше иностранных слов. А в кармане постоянно свежий номер «Недели». Ему как-то безвольно подчинялся даже Таракан. Во всем его слушался.

Мотыль тоже обладает недюжинной силой — он это любил подчеркивать, где только возможно. Выйдет из такси, зная себе цену, подойдет к своим, снимет черные очки, без слов проверит, все ли в сборе. А потом, как бы играя, в лежащие тут рядом штабелями «сороковки» один за другим всаживает гвозди. Для сильной, развитой руки всаживать их туда особого труда не представляет, тем более эти половые доски сырые, их только что выгрузили с баржи. Но впечатление все равно производит. А Махмут — Таракан, прищелкивая языком, приговаривает:

— Ай, шайтан! Как Али-батыр силен! — ковыряя ножом, проволокой, начинал их вытаскивать обратно. Рассказывали, что Мотыль не раз пытался ухаживать за Гюльчирой. Но из этого ничего не вышло. В порту об этом все знали.

Эти бывшие уголовники меж собой часто ссорились, сводили счета, часто в ход пускали ножи. Но со студентами не связывались. Упаси боже. Меж собой студенты могли ссориться из-за выгодного места на берегу, даже драться. Но чтоб чужой их обижал, этого они никогда не допустят. Студенческое братство было крепко непонятным для уголовников. И студентов они боялись пуще старшины Капризова. Что им Капризов? Он, если и обнаружит среди них незаконное, антиобщественное, самое худшее — арестует. Кряхтя, потирая свою потную шею, посадит в свою коляску и увезет в отдел, но пальцем не тронет. Конфликтовать с милицией, особенно при народе, среди этой братвы было даже почетно. А со студентами такие шутки плохи. Могут в затоне утопить, как котенка, и фамилию даже не спросят. И никому не пожалуешься. Еще прошлым летом был такой инцидент. Пришла большая баржа с паркетом. Это уж мечта грузчиков. Работа чистая, денежная. В момент причаливания баржи студентов в порту было мало. Воспользовавшись этим, уголовная братва решила захватить баржу и разгрузку вести только своими силами.

Ребята сунулись было, а те — за ножи. Студентам пришлось отступить, покинуть баржу. Но ненадолго. Они взяли такси и прошлись по студенческим общежитиям с боевым кличем. Через час дальняя бухта Волги Бишбалта кипела студентами. Быстренько вооружившись полуметровыми дубинками, они начали теснить бритоголовую братву. Те отступили на баржу, убрали висячий трап. Решили там отсидеться. Ребята включили и подогнали рядом стоящий портовый кран и начали на баржу высаживаться, на abordаж брать. Высадили сильный десант сначала в носовую, затем в кормовую часть. Тут уж не до

рукопашной. Братву начали так лупить, что им оставалось лишь в воду бросаться. Благо берег был недалек. Кто не умел плавать, те на досках добирались.

— Жаль, что тогда меня не было,— вспомнил об этом случае недавно Мотыль. Только непонятно было, что бы он сделал. Но это был хороший урок. С тех пор они со студентами не связывались, даже уступали, когда те начинали горячиться.

Был еще здесь, как он называл себя, «оперработник береговой службы» старшина Капризов. Это был очень полный для своих пятидесяти лет, с «трехмесячным» животом, добродушный дядька. Порт был большой, и круг обязанностей у него здесь был тоже не маленький. Но он больше времени проводил в дальней бухте со студентами. Ему нравилась эта компания, милиционер любил слушать их умные разговоры. Ему самому, кроме семи классов сельской школы и двухгодичной специальной милицейской школы, учиться не пришлось. Годы войны помешали. Он был сторонником «компромиссного решения самых острых конфликтов». И на кулачные бои вожаков-студентов смотрел сквозь пальцы.

— Граждане, я ничего не видел, только меня в это дело не вмешивайте. А уж меж собой поладьте как-нибудь! — были его любимые слова.

— Оно ведь как? — рассуждал он, присаживаясь играть в подкидного со студентами. — Драться — это плохо и аморально. Сегодня, скажем, я вас за это оштрафую, или протокол на пятнадцать суток составлю. Это мы всегда можем и права на это имеем. Вы сегодня студент-драчун, а завтра ба-альшой начальник. Тогда мне каково? Вот сегодня стою я утром на остановке у Центрального парка. Возле меня резко тормозит «Волга». Я тут же беру под козырек, иду к машине.

— Стоянка здесь запрещена!..

Только открыл было рот, а из кабины выходит представительный молодой человек, улыбается мне.

— Вы ведь младший сержант Капризов?

— Ошиблись малость,— говорю.— Старшина Капризов. В чем дело, гражданин?

— А меня не узнаете?

— Вроде где-то видел, — говорю, хотя и не помню.

— Ну как же не помните? Тогда в порту мы погорячились. Потом вы, «по всей строгости закона», протокол составляли. А меня наш декан чуть стипешки не лишил.

— Может, оно и было... Так ведь на то и служба, — говорю. Вижу, передо мной большой начальник стоит.— Если я был неправ, вы могли обжаловать...

— А я ничуть на вас не в обиде. Даже благодарен. Речной порт, баржи с углем и цементом были хорошей школой жизни для меня. А у вас, наверное, дети?

— Уже внуки! — говорю.

— Тогда это им от меня, — говорит он и вручает мне целую коробку конфет, в фирменной такой, понимаете, упаковке. — В Казани я проездом. Работаю хирургом на Урале. Если что, пожалуйста ко мне. Аппендицит удалю вам за какие-нибудь пятнадцать минут. Даже не почувствуете.

А вот еще другого помню, тоже из ваших был. Маленький такой, шустренький татарчонок. Видимо, из бедной семьи был. Пока учился, все пять лет здесь работал. А сейчас знаете кто? Замминистра! Его сын и мой внук Пашка в один детсад ходят. А замминистра со мной каждый раз за руку здороваются. Не прояви я тогда бдительности, и если б обижал их? А каково было бы мне сейчас? Так, что, господа студенты, в ваши дела я не вмешиваюсь. Но смотрите, хотя я человек терпеливый, но все равно могу составить протокол.

И еще здесь была красавица Гюльчира. Кажется, она была первой красавицей Казани. Ребята, которые здесь работали, в нее были влюблены все поголовно. Но она была недоступна. Кранов в порту было много, целый лес. Она работала на самом крайнем, где обычно останавливались баржи, груженные новенькими «Жигулями», сельскохозяйственными тракторами. И красавица Гюльчира на всех парней, которые вздыхали по ней, смотрела лишь с высоты своего башенного крана. И Фарук не составил исключения. В Гюльчире он влюбился в первую же встречу. Тогда он со своей группой лежал на досках и ждал, когда пришвартуется баржа с цементом. Баржа была большая. Капитан баржи вначале пытался пристать к берегу почему-то левым бортом. Долго маневрировал. Но ему что-то не понравилось. Баржу снова увел в середину затона, развернулся, и так же неуклюже пытался пристать правым бортом, носом к течению. Тут Фарук заметил девушку, которая шла берегом легкой, независимой походкой, играя своей маленькой сумочкой. На голове у нее была голубая косынка с белыми горошинами, на ней легкое цветастое платье, на ногах — белые босоножки на высоких каблучках.

— А губа у тебя не дура, Фарук-паша, — сказал тогда Акбашев, заметив его замороженный взгляд. — Хорошенькая Сара, да не нам пара. Не в яблочко!

Затем Фарук узнал, что красавицу эту зовут Гюльчира, что у нее есть парень, он служит во флоте. Она его ждет и поэтому никому не позволяет за собой ухаживать. Многие пытались дарить цветы. Хитрый, между прочим, но и верный способ для установления близких дипломатических отношений с девушками. Но и она очень умело отказывалась. Говорили, что Мотыль особенно усердно пытался завладеть ее сердцем, и у него, однако, ничего не вышло. А сейчас при каждом случае пытался ей мстить, в ее адрес посылал пошлые словечки. Студентам это не нравилось. Они Мотылю делали замечания, предупреждали. А он продолжал свое. Очень уж самоуверен и страшно в себя влюблен был этот красавец-уголовник. Разве он мог допустить, чтобы ему в чем-то отказали? Никогда в жизни! А вот от Гюльчиры он получил от ворот поворот.

Но Фарук в нее влюбился по самые уши. Бывает же так. Как все физически сильные люди, в вопросах любви он был настоящий слабак. Гюльчира ему очень нравилась. А вот сказать ей об этом, хотя бы дать ей намек, — на это у него не хватало смелости. Тут уж хоть убей. Прошлым летом лишь из-за нее он не поехал в студенческий стройотряд. Все лето коротал на дальнем затоне Бишбалта. Выгружал доски с Урала, цемент из Ставрополя, арбузы из Камышина. По своей технической оснащенности казанский грузовой порт может дать десять очков вперед многим волжским речным портам. На основных причалах — всюду мощные башенные краны, сноровисто работают конвейеры для сыпучих грузов. Погрузочно-разгрузочными работами руководят с пульта диспетчеры через телевизионные установки. Только в дальнем затоне нет никакой механизации, кроме трех-четырех башенных кранов. Потому что этот затон в самые ближайшие годы будет перестраиваться по новому проекту. Поэтому и механизировать его пока не спешили. Да и разгружали там в основном лишь доски и цемент. И баржи направляли сюда, когда на основных причалах не хватало места. Но студентам здесь приволье. Здесь всегда есть работа, всегда можно подзаработать. И в этой пестрой толпе портовых грузчиков Гюльчира, наконец, тоже заметила Фарука. Она иногда по-дружески и очень мило подмигнет ему или помашет ему косынкой с высоты крана. А когда узнала, что он студент ветеринарного института и хорошо знает органическую химию, попросила его помочь ей решить трудную задачу по этому предмету. Она, оказывается, студентка вечернего отделения биофака университета. И никакого парня у нее нет, никто не служит в Морфлоте. Это она придумала, чтобы отвязаться от настойчивых и назойливых ухажеров.

Фарук тут же на ее глазах довольно быстро решил задачу, объяснил решение. Тут уж можно было бы и за мороженым сбежать, будь на его месте более смелый парень, или вечером ее в кино пригласить. Нет же. Не пригласил. Считал, что это как-то неприлично, банально. За лето они несколько раз вместе шли после работы до трамвайной остановки. И тут были возможности для близкого знакомства. Но у него всегда не хватало смелости. Когда по-настоящему любишь человека, видимо, всегда так. Объяснение с Гюльчирой, признание в любви всегда откладывал до следующего, более подходящего раза.

Когда Фарук с ребятами приехали в порт, баржа уже пришвартовалась, матросы спешно тянули трап. Дело шло к зиме. Нынче караванов, видимо, больше не будет. И эта баржа — из запоздалых. Потому что в скором будущем Волга замерзнет. Тогда уж и заработков не будет. Поэтому на берегу и народу тьма. «Отцы» тоже в сборе. Группой стоят Отец Онуфрий, Артур-Турок, Женька Козлов, Акбашев.

Недалеко от Фарука расположились уголовники. Почти рядом с ним стоят: пахан Махмут, в помятой шапке, в фуфайке, Пакля с потухшей сигаретой на губах, Мотыль в новой фетровой шляпе, в светлом макинтоше, с желтым дипломатом из хорошей кожи и со свежим номером «Недели» в кармане. Такую грязную, пыльную работу вообще-то они не уважают. Но что делать? Ведь на безрыбье и рак — рыба. Шабашу скоро амба. Волга скоро встанет, порт закроется. А они на зиму могут остаться без гроша в кармане. Поэтому в разгрузке братва тоже участие примет.

— Хэ-хэ-хэ, ох и сабантуй будет здесь сегодня, вот увидите, хэ-хэ,— сказал со злорадством пахан Махмут.

— Эти длинноволосые сегодня друг друга за космы будут таскать. Покалечат друг друга, будь здоров, только не шамкай. Кораблик-то вон какой малюсенький. Всех корешей на свой борт он принять не сможет, а то кверху брюхом ляжет, хэ-хэ. А подшаманить каждому охота. Так просто, без спуска красной жидкости никто отсель не уйдет. Крепкая будет война, хэ-хэ.

— Вот будет потеха, ледовое побоище, побачимо, — поддержал его Пакля.

В душе все они студентов страшно ненавидели скрытой и глухой ненавистью. У студентов, у этих жизнерадостных и беззаботных парней, самые светлые минуты в жизни были еще впереди. А у них уже позади. Как будто студенты были виноваты в их испорченной, несложившейся судьбе.

— Сейчас все двинутся на баржу,— продолжал Пакля, слегка хлопая в ладоши.

— Будет в самом деле крепкая свалка. Подерутся, выбьют друг другу фиксы и разойдутся. Тут без ментов и тетушек милосердия не обойтись. Они будут разбираться, а мы тем временем спокойненько по мешочку на берег, по мешочку «на гора». Ха-ха. Вот будет потеха!

Но сегодня здесь не до кулачного боя. Это ничего не даст. Если эти полторы тысячи парней начнут горячиться, они весь порт снесут. Но и «отцы» не дураки. На это они не пойдут. Как настоящие вожаки, лидеры, они, быстро оценив обстановку, решили поступить иначе.

— Волгари! — встав на ящик, Игорь обратился ко всем. Он озабоченно провел пальцами по своим длинным волосам, поправил ворот черной сатиновой рубахи.

— Подзаработать всем охота, мы все желаем. Это тоже всем ясно.

— В яблочко, отец Онуфрий, в яблочко! — поддержал его Акбашев.

— Вот что мы решили, волгари! — Игорь остановился, посмотрел по сторонам. Слушали его с предельным вниманием. Даже «бичи» примолкли. А глуховатый пахан Махмут приложил к уху ладонь. Слушают.

— Вот что мы решили, волгари, — повторил Игорь, — пусть из каждой группы выйдут два шага вперед те, которые согласны один залог выносить по два мешка.

— Точно! В яблочко! — снова повторил Акбашев, выражая полную поддержку предложения отца Онуфрия.

— Мы пас! Не участвуем! — откликнулся первым пахан Махмут. Тут у моих корешей малайки семеро по лавкам не сидят. Рвать себе кишки не будем. Не с курорта вернулись. Мы свое не здесь, так в другом месте хапнем, хэ-хэ, — повернувшись к своим, с хитрецей подмигнул он. Сказать-то сказал, но, кажется, поспешил. Кореша его, выражая недовольство, заговорили. В другом месте, может, и хапнешь. Но ведь потом за это на голубое небо в течение многих лет приходится смотреть через металлическую решетку. Это они уже испытали, тоже не сладко. А здесь пока честный заработок, деньги сами в руки идут. Такого случая упускать не следует.

А тем временем из толпы собравшихся на берег вперед вышла почти половина. Это около восьмисот крепких хлопцев. Эх, матушка-Волга, за свой длинный век много ты видела силачей, настоящих богатырей. Но они не перевелись. Посмотри! Вон их даже в этом маленьком затоне сколько! Слышно было, как Волга, как бы приветствуя этих богатырей, радостно шлепала волнами о берег. Много видела она на своих берегах таких молодцев, рада и этой встрече.

Сто килограммов за спиной, один залог — два часа непрерывной работы. С таким грузом где-то четыре-пять километров пути. Всего за это время прошагаешь восемь-десять километров. Но половина без груза. Только ведь из баржи с грузом. Обрато в баржу рейс порожний. Недюжинную для этого силу надо иметь!

Но не ожидавшие этого «отцы» снова растерялись. Восемьсот — это тоже много. Баржа столько грузчиков принять тоже не может. Там негде повернуться будет.

— Что будем делать, «фельдмаршал»? — обратился в растерянности Игорь к стоящему рядом с ним Акбашеву. — Не в яблочко ведь получается.

Тот тоже лишь плечами пожал. Черт знает, как им тут быть, что еще придумать. Тут им на помощь пришел Артур.

— Три раза по три мешка! Можно ведь? Если уж мы решили по справедливости, то будем справедливы до конца, — Артур тоже поднялся на ящик, встал рядом с Игорем. — Три раза по три мешка, тысяча чертей, карамба! Кто согласен, еще шаг вперед!

Сказал и сам же, не будучи уверен в этом, замолк. Кажется, он лишнего загнул. На подушку сто пятьдесят кило. Видано ли?

— В яблочко ли? — с сомнением спросил и Акбашев. Но вперед вышли около ста восьмидесяти-двухсот парней. На спину тебе сто пятьдесят килограммов груза и марш наверх. Если это сравнить с рекордными показателями известных штангистов, может, это и не много. Но ведь там аккуратненькие металлические тарелочки. Собрался с силами и го-оп! Толкнул их над головой и бросай не жалея. А здесь с таким грузом надо подняться из трюма. А там двадцать четыре крутых ступеньки. Да еще надо до берега идти по пятидесятиметровому трапу, который тебя после каждого шага подбрасывает, как на батуте. Чем тяжелее на тебе груз, тем веселее ведет себя трап. После каждого шага отличный шанс полететь головой вниз. Много ты видела, матушка-Волга, на своем веку силачей. Но они еще не перевелись. Вот они. Вперед вышли около двухсот парней. Слышно было, как, приветствуя этих богатырей, о берег радостно и дружно шлепали волны. Волга рада такой встрече. Как-то подозрительно зашумела уголовная братва. Тут от них отделился Мотыль. Положив руку на плечо отца Онуфрия, он сказал:

— По три мешка десять раз, отец, пойдет? — сам же, демонстрируя свою готовность, начал раздеваться. Пакля принес ему очень удобную, обшитую старой фуфайкой, подушку. Но десять раз — это слишком много. Многие парни, вышедшие вперед, вернулись на свои места.

— Я пас,— сказал первым Артур-турок. — Десять раз, тысяча чертей, это слишком!

— Я тоже,— сказал и Акбашев. — Не в яблочко! — Женя Козлов, Алга, отец Онуфрий промолчали.

— А я вынесу! — сказал с унижительной улыбкой Мотыль. — Но с условием, — с холодной, презрительной улыбкой на губах, он обвел всех взглядом.

— Потом всю баржу будем выгружать только сами, только наша братва. Мы ведь от государства пособия или, как господа студентики, стипендии не получаем. А зима в наших широтах ой-ей длинная. Деньги нам нужны позарез. А эту старую калошу за неделю все равно выгрузим.

«Отцы» стояли в нерешительности, в полной растерянности. Такой выходки со стороны Мотыля они не ожидали. Тогда вперед вышел Фарук:

— Я согласен. Десять так десять раз. По три мешка десять раз, — сказал он. — Ваши условия принимаем.

Все ребята, в том числе и «отцы», легко вздохнули. Все окружили Фарука. Кто-то начал ему подтягивать лямки подушки, кто-то подложил под подушку свой мягкий свитер, кто — штормовку с удобным капюшоном. Все по-дружески хлопали его по спине. Ребята сердцем понимали всю серьезность положения. Вон ведь что придумал Мотыль. В случае победы выгружать баржу собираются только сами. Не любил, ненавидел он этих беззаботных парней, студентов. Поэтому и предложил эти архижесткие условия. Три мешка цемента надо вынести на расстояние порядка ста пятидесяти метров. Если это десять раз, то с грузом в полтора центнера в один конец надо прошагать более полутора тысячи метров. Мотыль спокойно это сделает. Силы ему не занимать. Сложись судьба у него по-другому, по-хорошему, с такими физическими данными он мог стать кем угодно. Может быть, где-нибудь на арене цирка ему аплодировала бы Европа или весь мир.

Но и Фарук в себе был уверен. Вынесет он десять раз. Спустившись в трюм, места обычных грузчиков заняли сами «отцы». Отец Онуфрий для важности перекрестился. Алга с Акбашевым плюнули на свои ладони. Первым свою подушку подставил Фарук. Два бумажных мешка плашмя ребром, третий сверху, как бы связкой. Груз осязательный, но ничего, нести можно. Фарук спокойным шагом пошел наверх. Первые два рейса легко шел и Мотыль. Но в шестой раз по лестнице он поднимался тяжело, с трудом. А когда шел по пружинистому трапу, вообще начал качаться. Фаруку даже пришлось слегка его придержать. Но до места он все равно не дошел, мешки сбросил и они бухнулись в воду с высоты шести-семи метров, раздался сильный всплеск воды.

— Учти, паша, ты бельмом сел мне на глаза. Этого я тебе не прощу,— сказал он Фаруку со скрытой злобой сквозь зубы. Как будто Фарук был виноват в том, что он не донес эти мешки.

А Фарук спокойно вынес десять раз. А в самый последний раз попросил положить ему четыре мешка.

— Ты что делаешь, паша? Это же лошадиная доза! — воскликнул Акбашев. — В яблочко ли?

— Смотри, пупок ведь развяжется,— сказал крутившийся здесь же Пакля.

— Ничего. Кладите столько, сколько я сказал, — потребовал, улыбаясь, Фарук. — Не беспокойтесь, в яблочко будет!

И удивительно, эти четыре мешка, двести килограммов он вынес под торжественные возгласы и аплодисменты собравшихся. А потом закипела спокойная работа. Ребята начали выносить по два мешка. Как и договорились, один залог. В жизни всегда есть место не только подвигам, но и полезным задумкам. Ребята, которые сообразительнее, и в этой ситуации нашли выход. В список записывался только один. А поочередно работают вдвоем или втроем. Пока один с двумя мешками делает один рейс, другой отдыхает. Потом его заменяет другой. И деньги потом пополам. Отличный выход. Таким образом, около трехсот парней, встав в замкнутый круг, приступили к разгрузке. Все в штормовках, на голове капюшоны, на спине подушки. Эта цепь из трехсот грузчиков, как гигантский конвейер, не зная остановки, начала подавать мешки с цементом из утробы баржи наверх. За каких-нибудь полчаса работы на берегу выросла целая гора цемента в мешках. Но было это лишь начало.

Только уголовники в последний момент отказались участвовать в разгрузке. Они сидели тут же на берегу, конечно, злились на всех. Тем временем прошел первый залог. Дальше уже будет легче. Там уже будут таскать только по одному мешку. А пока ребята расположились на отдых, кто где. Чуть в стороне на досках сели отдохнуть «отцы», вместе с ними и Фарук. Решили слегка перекусить, достали, у кого что есть. Тут незаметно подошла к ним Гюльчира:

— Можно и мне к вам? — сказала она, уже присаживаясь. Она работала тут недалеко. На баржу, стоявшую почти с ними рядом, грузила оборудование в больших ящиках, видимо, на экспорт.

— Как «не можно». В самое яблочко. Приглашаем к нашему столу с превеликим удовольствием, Гюльчира-туташ, — сказал от имени всех Акбашев. Он бывший офицер, галантности ему не занимать. Тут же ей предложил место рядом с собой. — Вы нам желанная гостья.

А Гюльчира вынула из своей сумки несколько бутылок лимонада, сыр, колбасу.

— Угощайтесь!

— Ай рахмат тебе, Гюльчира, особенно за это, — сказал Игорь, открывая бутылку лимонада.

— А Фарук настоящий герой! — сказала она. — Я не думала...

— Он у нас молодец! — хлопнул его по плечу Артур-турок.

— А я сверху все видела, — продолжила Гюльчира. — И очень за вас беспокоилась.

Фарук же, не находя слов, что сказать, как поддержать разговор, смущенно улыбался. Ладно, его снова поддержал Артур-Турок.

— Он у нас тако-ой! Только вы его так редко замечаете, — сказал он, при этом подмигнув всем, по-дружески хлопнул Фарука по плечу.

Тут без всякого приглашения, как таракан, угодивший в суп, подошел к ним и сел Пакля. Попросил дать ему закурить. Пачка сигарет лежала в середине круга. Бери и кури. Но не за этим он, конечно, подошел.

— Что, птичка, тоже прилетела? — грубо, с нахальством сказал он, обращаясь к Гюльчире.

— Она не пришла, а мы сами ее пригласили, — сказал отец Онуфрий, — чтобы украсить нашу скромную трапезу, темный ты человек, Пакля.

— Пришла и вас не спросила, — ответила Гюльчира.

— Оно, конечно, так. Мне ночью шептала одно, а сейчас и признавать не хочешь. Лимонадом угощаешь других.

— Где это я шептала? Кому?

— Где шепчут? А то не знаешь? На мягкой кровати, где крестиком вышиты подушки.

— Нахал! — сказала Гюльчира, задыхаясь от стыда.

— Ты брось. Пакля. Нехорошо так, — сказал Артур.

— Чего бросать-то? Скорее это она бросила. Шестимесячного от меня бросила, выкинула за борт. Хэ-хэ-хэ!

— Вот теперь, Пакля, ты заслужил хорошего шлепка по твоим вонючим губам, — сказал Артур.

Игорь, Алга, Женя Козлов были заняты едой. Молчали.

— От тебя, что ли, Турок? Руки коротки, — издевательским тоном сказал Пакля.

— От кого же еще? И я сделаю это непременно и с превеликим удовольствием. А ну встань, гад ты ползучий! И сейчас же извинись. А то я надолго испорчу твою тюремную прическу, — Артур горячего нрава парень, вспыхивает, как спичка.

Но тут подошел Мотыль. Видимо, скандал они затевали, заранее договорившись.

— Что за шум, волгари, а драки нет? — сказал он, присаживаясь.

— А ну, встань! — повторил Артур. Он готов был разорвать Паклю на куски. Пальцы сжаты в кулак, на лице — львиная ярость.

— Карамба, тысячи чертей! Или на колени, извинись!

— Ты не трогай его, Турок. Моего кореша не обижай. Он маленький, глупенький, — сказал нахальным тоном Мотыль, — я его сам накажу, вечером в угол поставлю, — и встал между ними. А Пакля тем временем дал деру.

— Если ты, Турок, в самом деле хочешь подраться, если у тебя руки чешутся, пожалуйста, я к твоим услугам.

Артур парень вспыльчивый, но быстро отходит.

— Охота мне о тебя руки марать! — сказал он и сел на свое место.

— То-то! — сказал торжествующе Мотыль. Сняв свои черные очки, оглядел всех сидящих. — А если кто в самом деле желает поразмяться, я к вашим услугам. При этом он, не оставляя никакого выхода из положения, демонстративно бросил одну свою перчатку на доски. Вызов.

«Отцы» все молчали. Перчатку никто поднимать не собирался. Причин на это было несколько. Во-первых, драться на кулаках с каким-то уголовником никому чести не делает. Во-вторых, Мотыль был очень сильный. Это тоже нельзя было сбрасывать со счетов. И драться он умел. За свой надменный характер его, может, и в лагере не раз били, но он сам там научился драться. Сгоряча выйдешь на майдан, а там черт знает, как сложится ситуация. А то может и так случиться, что с майдана выйдешь не только с разбитым носом, но и с несмываемым позором. Так, может, думал каждый из «отцов». Меж собой они дрались часто и охотно. И это в их среде было почетно. А тут ведь какой-то паршивый уголовник.

Фарук так не думал. Давно уже он имел желание врезать этому нахалу по зубам. Считал это неудобным делать при Гюльчире.

— Вижу, что желающих поразмяться со мной нет. А жаль. Тогда перчатку придется поднять мне самому. А ты, пташка, не плюй в колодец, как говорили в старину, как бы воды не пришлось напиться, — сказал он, обращаясь к сидящей здесь в растерянности Гюльчире. — Ходишь по рукам, так молчи в тряпочку.

Тут вдруг подал голос до сих пор молчавший Акбашев.

— М-да-а! Дожили мы, волгари, наконец. Не в яблочко получается. У нас на глазах кровно обидели девушку и защитить ее некому. А ты, Мотыль, сучий сын, йодом и прочими медикаментами запасся? — тут же спросил он Мотыля.

— А что? Есть необходимость?

— Будет. Пригодится. Не офицерское это дело — прощать такие пакости. Твою нахальную морду буду бить я, — и начал не спеша подниматься с места.

— Нет, ребята, бить его буду я, — сказал, наконец, Фарук. Не хотел было он выделяться. Не выдержал. Этого нахала следует крепко проучить. Иначе они здесь вообще разбушуются, никому проходу не дадут.

— Мотыля буду бить я! — повторил он. А Мотыль словно этого только и ждал.

— А-а, паша! С удовольствием наматаю твои кишки на твою же шею.

— Это мы еще посмотрим, — сказал спокойно Фарук, снял с ноги кеды, вытряхнул из них песок. — Как будем драться? На кулаках?

— На кулаках! На кулаках! — в один голос повторяли ребята.

— Лежачего не бить! — загалдели. — По-честному! При этих словах в глазах Мотыля вспыхнул холодный огонек.

— Это еще будет видно, — сказал он с каким-то дальним прицелом.

Предотвратить бой, что-либо сделать было уже поздно. Страсти слишком накалились. Тут же образовался большой круг. Тарахтя, на своем трехколесном подъехал старшина Капризов. Он хотел было вмешаться, предупредить обоих, но парни его оттеснили.

— Тогда как хотите, так и молотите. В общем, я ничего не видел, ничего не слышал, — сказал он обиженным тоном. — Вообще-то этому Мотылю давно пора выбить ползвода зубов. Если бы я был гражданским, давно бы это сделал сам, — добавил он после.

Тем временем в образовавшемся кругу началась жестокая схватка. Мотыль начал бой с яростной атаки. На Фарука налетел как шквальный ветер. Хотел его сломить в первые же минуты боя. Но бьются они уже два часа. Оба уже имеют по фингалу под глазом. У обоих губы рассечены.

Фарук же избрал совсем другую тактику. Он запросто мог бы Мотыля одним ударом сбить с ног, нокаутировать, схватить в охапку и пару раз бросить на доски. Но калечить человека, пусть он и отпетый нахал, в его планы не входило. Он решил держаться тактики активной обороны, таким образом Мотыля измотать и, окончательно обессиленного, заставить сдаться. Но Мотыль уже давно нарушил договор драться только на кулаках, лежачего не бить. Уголовщина и предательство — синонимы, ибо предательство всегда рядом ходит с уголовщиной. Уголовщина не может жить, существовать без предательства. Мотыль два раза кинул в Фарука оказавшимся под ногами булыжником.

Один раз пустил в него острым камнем, попал ему в коленную чашечку. От боли у Фарука потемнело в глазах, он даже чуть присел было. Тогда Мотыль попытался добить его пинками.

Тут уж иначе решил действовать и Фарук. Если в начале боя шквалом налетел на него Мотыль, то сейчас за ним, как по огромному рингу, гонялся Фарук. Он и сейчас не стремился его сбить ударом, сделать ему какое-нибудь увечье. Фарук его достигал и колотил не очень сильными, но бесконечными боксерскими ударами. Три-четыре посещения секции бокса ему сейчас оченьгодились. Мотыль не знал, как от него отбиться. Он пыхтел, ругался, матерился, кидался чем по руку попадало. Как ошалелый бегал по кругу. Вот и сейчас, еле увернувшись от удара, двумя руками схватил песок, кинул его в лицо Фарука. Хотел попасть ему в глаза, на время ослепить. Воспользовавшись замешательством, нанести еще какой-нибудь предательский сокрушительный удар, тем самым обеспечить себе победу. Пусть позорную победу. Но победителей не судят. Может, он в жизни не знал многого другого, а об этом знал — победителей не судят. В глаза ему не попал, а рот был полон песка. Фарук рукавом вытер рот, дважды плюнул. И он понял, что с этого круга мирно не разойтись. Надо активизироваться. Заняв удобную позицию, легкими ударами он начал теснить противника к половым доскам, которые здесь лежали штабелями высотой около двух метров. А то до этого Мотыль все от него уходил, убегал. А тут ему будет некуда деваться. Позади — глухая стена высотой два метра. Там он его и заставит сдаться. Будет колотить его, пока тот не выбросит белый флаг, не будет просить пощады.

Мотыль тоже понял его замысел. Он уверенно шел туда, куда его теснил Фарук. Дошел до штабелей, прислонился. А потом мгновенным движением вытащил из заднего кармана нож на фиксаторе. Зло, с выражением победителя, улыбнулся.

— Ну вот, паша, и спору нашему конец! — сказал сквозь зубы. — Придется мне тебе на шею красный галстук надеть.

Увидев финку, Фарук вначале в самом деле растерялся. Можно ожидать предательства от человека, но не настолько же!

— Брось нож! — в один голос сказали все наблюдавшие за этим боем. — Брось!

— Не для того достал, — сквозь зубы процедил Мотыль. — Вы все чистенькие, будущие вершители судеб человеческих. Одному из вас я сегодня крепко замараю биографию. Остальным тоже будет урок.

Мотыль, выставив нож, уверенно пошел на Фарука, Фарук начал отступать. Не от страха, а чтобы выиграть время, занять удобную позицию. Мотыль продолжал наступать.

Весь берег, полторы тысячи с гаком народу, затаив дыхание, следили за происходящим. Уголовники, на всякий случай вооружившись железными прутьями, дубовыми паркетинами, стояли отдельной группой, в любую минуту готовые прийти на помощь своему вожаку-идеологу. Пахан Махмут подходил к отцу Онуфрию с ультиматумом. Требовал, чтобы паша повернулся и ушел. Иначе он не отвечает за своих ребят. Обижать своих они никому не позволят.

— Подумайте о своих ребятах. Им не сегодня, так завтра дипломы получать. А нам что, в худшем случае года на три — на четыре путевка в казенный дом. Подумаешь, отсидим. Но, если выйдет горячка, крепко ваших порежем, — пытался он угрожать.

— Не мы затеяли, не нам и расхлебывать, — сказал Игорь спокойно.

— Брось нож! — загудела толпа. Каждый из них, готовый разорвать Мотыля на куски, еле себя удерживал. Видя это, присмирели и уголовники. А Мотыль, со злой и нахальной улыбкой, все шел на Фарука.

— Эх, была не была, что мы, не Файрушины?! — сказал Фарук. Вдруг он сделал обманное движение, Мотыль на это клюнул, Фарук нанес ему такой удар, даже толпа ахнула. А Мотыль как подкошенный упал на песок. Упал и лежит.

— Что, лежачего будешь бить? — со стоном сказал он Фаруку.

— Лежачего бить не буду, встань! — Мотыль не встал.

— Я жду, встань!

А Мотыль все лежал. Тогда Фарук махнул на него рукой, повернулся к нему спиной, хотел было шагнуть к черте круга. В это время раздался глухой стон всех присутствующих:

«Ой, берегись!» И тут мимо него со свистом пролетела финка. Мотыль метнул ее под лопатку, в сердце, не попал. А сам встал, хотел было бежать. Но круг стал еще теснее, кольцо сужалось. Тогда Фарук, несколько себя ограничивая, сделал ему подсечку левой, добавил правой. В этот раз Мотыль не притворялся, он был в полном нокауте.

Но к нему никто не подходил. А друзей его и след простыл. Они решили лучше вовремя смыться. Тогда Фарук сам же поднял его, оттащил к Волге, вымыл и отнес в будку охранника...

— Так как же Гюльчира? — спросил я, корреспондент газеты «Вечерняя Казань», молодого ученого, кандидата наук Фарука Фатхиевича.

— Она моя жена, — сказал он, мягко улыбаясь. И показал мне фотографию очень красивой, немного смуглой, с богатой копной черных волос, женщины. Ради такой стоило биться на кулаках не только с отпетым бандитом, но и с самим чертом.

На этой загородной даче я не случайно. Супруги, два молодых ученых Файрушины, вывели новую высокоэффективную сыворотку для лечения довольно каверзной болезни сельскохозяйственных животных. Особенно коров. Сейчас об этой сыворотке говорит вся страна. А супруги представлены к республиканской премии комсомола имени Мусы Джалиля.

— А где же Гюльчира-ханум?

— Она сейчас в Москве, на симпозиуме женщин-ученых. Будет только через неделю.

А говоря о перспективах изобретенной ими сыворотки, Фарук-паша, тьфу, Фарук Фатхиевич скромно заметил:

— Врач лечит только больного, а мы, ветеринары, все человечество. Если эта сыворотка хоть капельку послужит этому делу, мы будем бесконечно счастливы.

Перевод Николая Иванова

РОЗА ХАФИЗОВА

КАКАЯ ОНА — МАМА?

аму свою Раксана совсем не помнит. Одарив дочь этим звучным именем, мать бросила ее. Кем были отец, бабушки-дедушки, есть ли у нее родственники — все это девочке неведомо. Впрочем, эти вопросы и не волновали ее. В доме, где она жила, слова «папа-мама» звучали редко. Раксана даже не понимала их смысла. Здесь было много и мальчиков, и девочек, и взрослых. Захотят дети есть — Галия апа их накормит. А Фарида апа и Сария апа вообще всегда при них. Случится, Раксана заплачет, закапризничает, так ребята постарше успокаивали ее, носили «на ручках», совали ей игрушки. Подвижная и шаловливая, эта милая девочка с нежным личиком, яркими, как цветок подсолнуха, волосами и широко распахнутыми глазками, была всеобщей любимицей: ведь в доме не было никого младше ее, и внимания ей оказывалось больше, чем другим. Она еще не знала, что такое сиротство, не ощутила его. Дети постарше воспринимали ее как сестренку и за шалости не бранили.

Раксана и сама всех их любила, тянулась к каждому. Но в особенности она любила старого Хисама. Не пересчитать всех обязанностей, которые сам на себя взвалил дедушка Хисам. Он и дом сторожил, и мальчишек учил молотком стучать, и за лошадьми ухаживал, и двор содержал в порядке. Конечно, в штатном расписании детского дома, наверное, была какая-то должность, за которую ему зарплату выплачивали. Но вообще-то он просто был своим человеком, опорой дома. Дети постоянно крутились возле него. Душевной теплоты у старика хватало на каждого.

Стоило дедушке Хисаму войти в комнату, как малютка Раксана, которая еще и ходить-то не умела, радостно лепетала и рвалась к нему. Хисам нежно брал девочку на руки, качал на коленях. Когда же старик намеревался уйти, она цеплялась за него, не отпускала, плакала. Случалось, так и уснет на руках у старика. Тогда он осторожно относил ее в постель. «Смотри, избалуешь Раксану», — говаривала Фарида Ахтямовна. Сама она была сторонницей строгости в воспитании детей. «Она же дитя еще, не понимает», — вздыхал старик.

Впрочем, он и сам скучал по девочке, если долго не видел ее. Каждое слово, каждая выходка Раксаны радовали деда.

На лето всю детвору вывозили в Прикамье, на дачу. Дети постарше помогали взрослым на огороде — картофель выращивать, овощи. Заготавливали на зиму плоды и ягоды, ну как в каждом доме.

На лето Раксана оставалась полностью на попечении Хисам бабая. Старшие дети спозаранку отправлялись то в поле, то в поход — в соседний лес. А Раксана спала себе и ничего не слышала. Дедушка Хисам в это время готовил подводу: как только проснется малышка, они вдвоем отвезут ребятам в поле бочку воды. Дедушка сажал Раксану на душистое сено, накрывал ей голову панамкой — и в путь. Рекорд, впряженный в телегу мерин, бежал неторопливой рысцой. Хисам бабай тоже не спешил, задумчиво держал в руках вожжи. Но Раксана не очень-то давала ему думать. Обнаружив в сене стебельки спелых ягод или голубые цветочки, она с восторгом сообщала деду:

— Я нашла! — и деловито начинала делить ягоды. — Вот. Это — тебе, это — мне.

Ей и невдомек, что Хисам бабай чуть свет побывал в соседнем лесочке, накопил сена и специально спрятал в нем этот сюрприз.

Может быть, так и выросла бы Раксана, ни разу не услышав слова «папа» и «мама», ни по кому не тоскуя.

Но однажды в детдом пришла мать одной из девочек, Талии, приехала забрать ее домой. Почему Талия при живой маме до сих пор жила здесь — это для детей осталось загадкой. Несомненно одно: Раксане мама Талии очень понравилась. Такая хорошая тетя! Она обняла и расцеловала не только Талию, но и Раксану. Каждому из детей дала по конфетке с мишками на обертке. Ах, как радовалась Талия! Пока воспитатели готовили ее документы, она держала маму за руку и все повторяла: «Моя мама, моя мама...» У женщины из глаз текли слезы. Большими, огрубевшими руками она нежно гладила по головке свою дочь. В душе Раксаны, привыкшей до сих пор быть объектом особого внимания, шевельнулось что-то похожее на ревность. Она повисла на другой руке женщины и, показав Талии язык, заявила: «Нет, моя мама». Талия не в силах была это стерпеть. Она встала перед матерью и, обняв ее, заплакала: «Нет-нет, моя! Да ведь, мама, скажи ей, скажи...» — повторяла она. Но Раксана не уступала. Оттолкнув Талию, она

прильнула к женщине. «Моя мама, да ведь», — повторила она слова Талии. Дети с любопытством ожидали, чем все это кончится. Мать Талии растерялась. Поддержала бы дочку, да уж Раксана так мала — совсем младенец. Тут на помощь пришла воспитательница Фариды апа. Опустившись на корточки, она обняла ребенка и стала мягко внушать: «Эта тетя — мама Талии. Твоя мама тоже приедет за тобой, если будешь хорошо себя вести».

— Приедет?! — обрадовалась Раксана. Обняв Фариду апа, она снова и снова переспрашивала: — Если буду слушаться, да? Мама за мной приедет, да?..»

Воспитательнице ничего не оставалось, как подтвердить: «Да-да, обязательно приедет».

Мать Талии увезла ее в тот же день. Дети с завистью смотрели им вслед. Особенно запомнился этот день Раксане. Она поняла, что своя мама должна быть у каждого ребенка, в том числе и у нее. Девочка стала с нетерпением ждать приезда мамы. Она нередко пыталась представить ее себе. Но у нее это не получалось. Перед взором всякий раз возникал облик матери Талии.

Мысль о маме полностью захватила Раксану. Ложась спать, она думала о том, что настанет завтрашний день и, может быть, к моменту пробуждения к ней придет мама. Ведь с Талией так и было: она еще не проснулась, а возле ее койки уже сидела мать. Раксана видела это собственными глазами. Их кровати стояли рядом. Когда Раксана проснулась, увидела, что незнакомая тетя, прикрыв рот платком, плачет, глядя на Талию. Заметив, что Раксана проснулась, женщина приветливо улыбнулась ей и, поправив упавшие на лоб волосы, выпрямилась. Раксане почему-то стало так приятно, и она улыбнулась в ответ. В этот момент и Талия открыла глаза. С удивлением посмотрела она на тетю. А та, поцеловав девочку в лоб, прошептала: «Детонька моя!» Вначале Талия растерялась, а потом какая-то сила толкнула ее к женщине. Она узнала свою мать, сердцем признала ее и, повиснув у нее на шее, закричала: «Мама, мамочка!»

С тех пор Раксана, укладываясь спать, старалась лечь на самый краешек койки. Вдруг приедет мама! Надо оставить ей место на постели, чтобы могла сесть. И платье свое Раксана аккуратно вешала на спинку кровати. Пусть мама видит, что она старательная и аккуратная девочка. Ей очень хотелось знать, какая она — мама и откуда она приедет. Откуда она берется, интересно, мама? Почему мама Талии принадлежит только ей?

Она надоедала старшим девочкам такими разговорами. На ее вопрос: «Какая она бывает — мама?» — они говорят: «Мама хорошая, она не ругает, ласкает».

Многие из них еще помнят время, когда жили дома. Однако Раксану такой краткий ответ не устраивает. Ей хочется знать не только какая она, но и откуда, и кто она — мама. «Не ругает, даже если не слушаешься и шалишь?» — «Если ругает своя мама, это быстро забывается», — говорят девочки. «Моя мама и вправду приедет за мной?» — еще раз хочет уточнить Раксана. «Может быть, и приедет», — говорят девочки. Только рыжеволосая Рузина грустно сообщает: «А моя не сможет приехать, даже если бы очень хотела. Ее нет на свете». Раксана еще не знает, что такое смерть. Поэтому допытывается: «Почему нет на свете?» Рузина уходит, не ответив. «Уже три года, как она померла. Мамы Сакины, Светы, Миши тоже умерли. Здесь очень мало у кого есть матери» — объясняют девочки. «Как умерли?» — старается понять Раксана. «Заболели и умерли. Потом их закопали в землю», — разъясняли девочки.

Раксана после этих разговоров надолго задумывалась. Затем старалась убедить сама себя: «Моя мама не умерла. Фариды апа сказала, что она за мной приедет».

В эти дни лил дождь. Дети мылись в бане, и все были заняты по хозяйству. Поэтому Раксана не могла поделиться своей радостью с дедушкой Хисамом. Когда дожди прекратились и небо прояснилось, дети опять вышли на прополку. Раксана с нетерпением ждала этот день. Оказавшись в телеге, на мягком сене, рядом с дедушкой, она залепетала: «Дедушка, хочешь, я тебе что-то скажу?» От большого волнения у нее покраснели щеки. Она даже забыла поискать по обыкновению зарытые в сено ягоды и цветы. Старик сперва натянул вожжи и прикрикнул на лошадь. Затем бросил взгляд на девочку и проговорил: «Ну, давай, послушаем, что скажешь». Раксана, широко раскрыв глаза и всплеснув руками, выпалила одним дыханием: «У меня есть мама, она приедет за мной». Старик внимательно посмотрел на девочку, промолчал. Девочке не понравилось, что он молчит. «Да-да, вот увидишь, моя мама приедет за мной», — повторила она. Старик глубоко вздохнул. «Ну ладно, ладно, очень хорошо. Но что я буду делать, если ты уедешь? С кем буду возить воду в поле?» — сказал он, наконец. Раксана сначала вроде бы растерялась. Впрочем, для детишек нет на свете неразрешимых проблем. Раксана тоже очень быстро нашлась. «Мама и тебя возьмет с собой. Вместе уедем». — И она захлопала в ладоши.

Раксана была счастлива своей мечтой, своими надеждами. Однажды мама приснилась ей. Она была и похожа, и не похожа на мать Талии. На ней было такое же с голубым узором платье, как у Фариды апа, волосы светлые-светлые, ресницы длинные, как у той куклки, которую подарил Хисам бабай, глаза

быстро-быстро мигали. Мама не сказала Раксане ни слова, только ласкала, посадив на колени. Погладила по головке, поцеловала в щеку. Мамины руки были очень мягкие, и сидеть у нее на коленях было так хорошо. Раксана никогда еще не испытывала такого удовольствия. Проснувшись, она стала искать глазами исчезнувшую маму. Ей тяжело было расставаться со сладким сном. Воспитательница Фарида Ахтямовна, увидев, что девочка не встает, подошла к ней:

— Доброе утро, Раксаночка, здравствуй.. А ну-ка, кто сейчас быстро вскочит?!

Девочка обратила на женщину глубокий взгляд своих синих глаз и очень серьезно произнесла:

— Я знаю, какая она бывает — мама. Она мягкая, теплая, — проговорила Раксана. Затем с уверенностью добавила: — Все равно она приедет за мной, вот увидите.

Женщина молча погладила ее по голове...

Перевод Зумарры Халитовой

ЭЛЕКТРОБРЮКИ

доме Фатхетдина, что возвышается над родником, гости из города. Султана это не волнует, подумаешь — новость. «Мало ли приезжает в деревню гостей! Приедут и уедут», — размышлял он. Правду сказать, недосуг ему интересоваться чепухой. Карманный фонарик вот собрать пытается, столько дней уж возится. Схему наизусть выучил. Тысячу раз разбирал-собирал — нет, нет и нет, хоть тресни! Почему не горит? — Знать бы! Станет ли он в такое время думать о каких-то соседских гостях!

Эх, а как же хочется пройтись по улице, освещая ее фонариком, собранным своими руками! Тогда и Залия перестанет нос задирать, сама, небось, прибежит: «Дай, мол, Султан, взглянуть — хоть разочек!»

Он вновь разобрал почти уж готовый фонарь. Вот беда! Вроде бы все правильно, и лампочка совсем новая. Нечистая, что ли, играет?!

Султан долго стоял в раздумье. Вдруг с улицы донесся смех. Залия! Мальчик оторвался от работы, вышел во двор. С видом полного равнодушия двинулся к высокому крыльцу: отсюда двор Фатхетдина как на ладони. Не успел до конца подняться по ступенькам, как словно током его ушибло. Во дворе возле Залии стоял пацан — ростом чуть выше Султана, рубашка защитного цвета, как гимнастерка. А брюки! О-о, что это были за брюки! Светлые, в черную клеточку. И в обтяжку! Широкие внизу штанины оторочены бахромой из каких-то цепочек с металлическими висюльками с лесной орешек. Увидев эти штаны, Султан словно окаменел. Каждый шаг того парнишки сопровождался легким движением штанин, будто взмахи крыльев летучей мыши. И цепочки качались. Султану даже показалось, что он слышит их перезвон. А Залия-то, Залия! Так и пляшет перед этим чучелом. Разоделась-то! Голубой сарафан, волосы на затылке лентой перехвачены. Мальчишка говорит и говорит, а Залия — заливается...

Султан бросил взгляд на собственные брюки, не помнящие утюга. Не вытерпел, схватил с земли увесистый камень, с кулак, не меньше, швырнул с размаху на ненавистные ворота. Но Залия с пацаном даже внимания на это не обратили, продолжали болтать. Султан заметил у себя во дворе повешенную на кол ступу. Ха, да ведь это их посудина! Султан проворно сунул ее под мышку и направился к соседям.

Когда Султан зашел к ним во двор, приезжий что-то на земле чертил и объяснял Залии. Каждый раз при нагибании цепочки на брюках задорно звякали.

— Тетя Фархия дома? — для виду поинтересовался Султан. Незнакомый мальчик замолчал, обратив на него взгляд голубых глаз с длинными ресницами. Залия подошла к Султану с недовольным видом, как бы говоря: «И что ты тут ходишь?» — взяла у него ступу и поставила на ступеньку крыльца. Приезжий мальчик будто только этого и ждал, быстро подошел и заглянул внутрь.

— Что это?

— Ступа, — сказала Залия, а сама повернулась к Султану спиной.

— Какая ступа? — продолжал допытываться мальчик.

— Какая-какая, обыкновенная, чтобы масло сбивать, — с ноткой презрения отозвался Султан: мол, даже этого не знаешь! — и сплюнул сквозь зубы.

Но паренек оказался не промах. Он сунул руки в карманы диковинных брюк и подошел к Султану. Прямо посмотрел ему в глаза и отпарировал:

— У нас масло не сбивают, а покупают в магазинах...

— Пошли, Равиль, что с ним толковать, — сказала Залия, потянув мальчика за рукав. Поморщившись, бросила взгляд на Султана и добавила: — Ну и вид!

Вечно Залия так! Наморщит свой маленький нос и бросит в его сторону косой взгляд. Все мужество Султана вмиг улетучивается. Однако на этот раз он не желал пасовать.

— А что тебе мой вид? — бросил он, выпятив грудь, и, как тот мальчик, сунул руки в карманы.

Залия звонко рассмеялась.

— Ой, боже ты мой, со смеху помру, вы только на штаны его посмотрите ...

— Эка невидаль — штаны! По-твоему, так уж трудно пришить к ним побрякушки! — ответил Султан и сжал кулаки, сдерживая гнев.

— Невидаль не невидаль, а иди, попробуй! Боже, он еще не уgomонился...

Султан не может больше переносить унижения перед незнакомым пацаном, не в силах терпеть насмешки Залии. Оттолкнув плечом стоявшего на его пути мальчишку, он вылетел на улицу. В душе поклялся никогда впредь и близко не подходить к этой калитке. Поклясться легко, но как снести такую пытку — видеть, что твой недруг красуется перед девочкой, позвякивая диковинной бахромой! Лежал-лежал Султан в горьком раздумье на сеновале и даже не заметил, как уснул.

Приснилось ему, что полетел он на Марс, что есть у него маленький космический корабль. На одну кнопку кораблика нажмешь — в небо взлетит, на другую нажмешь — под землю уйдет; может он и по воде плыть, и в воздухе летать. А какой костюм у Султана! Плотно облегает тело. Резина — не резина, капрон — не капрон. Должно быть, пошит из неведомого доселе материала. А брюки! Вон как они сверкают, а по низу штанин — крохотные лампочки. Сделает шаг правой ногой — загорится зеленый свет, шагнет левой — красный. Так и блестит-переливается всеми цветами радуги.

Когда сон дошел до этого места, Султан неожиданно проснулся. Эх, и впрямь полететь бы на Марс! И зачем он только проснулся, а? Мальчик снова лег и крепко зажмурился. Хотелось досмотреть сон. Ну, где же он, куда девался? Сколько ни лежал Султан, уснуть больше не смог. Перед глазами стоял тот заморозивший Залию мальчишка. Эх, вернуть бы сон! Разве брюки этого проходимца сравнимы с теми, что приснились Султану!? Одни лампочки чего стоят! Стоп! Султан вскочил с сена и заторопился вниз. Вбежал в дом, достал из-под койки ящик с елочными игрушками, вытянул гирлянду с разноцветными лампочками. Разобрал свой недоделанный фонарь и вытащил из него батарейки. Разделив гирлянду пополам, подсоединил их к двум батарейкам. Лампочки вспыхнули. Султан ликовал. Он быстро сбросил брюки, распорол до колена штанины. В комодке нашлись подходящие лоскутки, скроил из них две полоски по длине разрезанных штанин, пришил к ним куски гирлянды. Оставалось пришить лоскутки к брюкам с той стороны, где они были распороты, положить батарейки в карманы и... Проделав все это, Султан снова подсоединил лампочки к батарейкам и невольно заулыбался: брюки засверкали множеством огоньков.

С трудом дождался он вечера. Детвора высыпала к подножию горы пасти скотину или поиграть. Где-то на краю села зазвучала гармонь. Надев свои электробрюки, Султан поднялся на крыльцо и стал наблюдать за соседским двором. Вон они! Переговариваясь и смеясь, прошли к калитке. Залия наверняка ведет гостя на лужайку под горой, где собирается детвора. Султану не хотелось показываться им на глаза. Он помчался туда же по задворкам и садам. Увидев Залию, деревенские ребята прервали игры и собрались возле незнакомоего мальчика. Молча осмотрели его с головы до ног. Они, конечно, и виду не подали, что изумлены его необычайными брюками. И все-таки кое у кого загорелись глаза. Султан отлично знает своих мальчишек! Умрут — себя не выдадут! Залия, как бы говоря: «Видали?», свысока поглядывает то на того, то на другого. Прямо распирает ее от гордости. Будто не гость ее, а сама она одета в потрясающий наряд. А мальчишкам больно нужна Залия! Не видали они ее, что ли?!

Познакомившись с приезжим мальчиком, ребята разбились на команды, чтобы начать игру. И тут Султан не выдержал. Он подсоединил гирлянды к спрятанным в карманах батарейкам. Лампочки мгновенно вспыхнули, глаза мальчишек стали круглыми от изумления. Игра была забыта, все окружили Султана.

— Вот это да! Как ты удумал такое?

— Вот это, я понимаю, брюки ... — услышались голоса. Штаны с бахромой приезжего померкли перед электробрюками Султана. Ему показалось даже, что и Залия залюбовалась им. Радость его была неопиcуема.

Окружив Султана, мальчишки не отставали от него. Шагнет Султан правой ногой — зажгутся красные и синие лампочки, шаг левой — зеленые и желтые. Как ни ломали голову ребята, а додуматься до фокуса с лампочками не могли.

— Как ты это придумал, а, друг?

Султан гордо ступает в толпе товарищей, точно полководец, разгромивший полчища врагов. Галдящая толпа увлекла его на другой конец луга. Равиль с Залией тоже следуют за ними. Лампочки на султановых цепочках мигают, как спустившиеся с неба крохотные звезды. Мальчишки глаз от них не отводят.

Вдруг Султан споткнулся и упал.

— Эх, погибли электробрюки — заахали мальчишки.

Султан еще не понял, в насмешку они говорят или сожалеют.

— Ничего подобного, — возразил Равиль, подойдя к Султану. — Просто прервался контакт, можно за минуту исправить.

Султан знал это и сам. Но слышать эти слова из уст городского мальчишки, не ведавшего даже, что такое ступа!

— Откуда ты это знаешь? — спросил он, засовывая руку в карман и прикрепляя проводки гирлянды к батарейкам.

— Знаю уж, — отозвался Равиль, махнув рукой. — Если использовать переменный ток, будет еще эффективней.

Султан даже остановился.

— Тогда ты, наверно, сумеешь и электрофонарь собрать по схеме?

— Приходилось, — просто ответил Равиль. — Я в школе посещал кружок.

Султан, забывшись, положил руку Равилю на плечо.

— Ну, брат, как хорошо, что ты приехал. Сколько дней уж собираю фонарь. Не зажигается — и баста! В чем дело — не пойму, — сказал он. Потом, вытащив из кармана батарейки, раскрыл ребятам секрет электробрюк. Уж смеху-то было, пока осматривали штаны Султана!

На следующий день Султан с Равилем собрали-таки по схеме злополучный фонарик. Оказывается, этот Равиль отличный малый. К тому же, как теперь выяснилось, он близкий родственник Залии. Хотели даже установить между двумя домами телефонную связь, только не нашлось нужных деталей. Равиль решил привезти их следующим летом из города. Мальчики расстались друзьями. Султан отпорол с брюк электролампочки и вместе с батарейками подарил Залии. Уж очень приглянулись они ей тогда на лугу. Пусть радуется. На новогодней елке изготовит себе электроплатье. Она же девочка. Вдобавок соседка и одноклассница...

Перевод Зумарры Халитовой

МАГСУМ ХУЗИН

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛУННОМ СВЕТЕ

Памяти моей матери Бибираузы

оланта жила у нас, когда я учился в пятом-шестом классах. Она приехала с первым потоком эвакуированных, вместе с матерью и бабушкой. В августе сорок первого, через три недели после приезда, родственники Иоланты перебрались в Казань, а сама она осталась работать в нашей школе. Она писала своим родным письма, и очень радовалась когда получала от них весточку. Иногда ездила в город навещать их. Но к нам в деревню они больше не приезжали, хотя постоянно посылали какие-нибудь гостинцы. Однажды мама передала им через Иоланту приглашение приехать к нам в гости. Иоланта только руками замахала:

— Нет-нет, дорогая Магсуфа-апа, лучше пусть не приезжают. Если они приедут сюда, оставив работу, их просто могут уволить...

Как-то раз, в самом начале марта сорок второго — это я помню с точностью да часа — мама в разговоре с Иолантой заметила:

— Ты ведь так же, как твои мама и бабушка, детей музыке учишь. Тебя ведь с работы отпускают повидаться с родными!

— У меня бывают свободные дни, — возразила Иоланта. — К тому же ваши деревенские люди хорошие, душевные — если я попрошу. — Интересно, что она не сказала «директор отпустит», а «деревенские», передавая этим словом свое доброе отношение ко всем жителям деревни — А маму и бабушку могут не отпустить, они же на нескольких работах работают.

— Они же могут на меня обидеться, что в гости не зову, — сетовала мама. — Скажут, мол, Магсуфа забыла татарские обычаи. Слава Аллаху, пока еще есть чем угостить дорогих гостей. Пусть приезжают, в нашем доме их всегда с радостью примут.

Иоланта только отрицательно покачала головой, улыбаясь. На какой-то миг она пристально взглянула на меня своими синими бездонными глазами. Правой рукой провела по волнистым густым волосам,

которые светлыми ручьями стекали на плечи... Прикрыла рот кончиками пальцев другой руки, будто задержала слова, готовые вырваться наружу. Промолчала, только щеки покрылись румянцем. От этого красивое лицо моей школьной учительницы, латышской девушки Иоланты, стало еще прекраснее.

Почему я запомнил все до мелочей? Наверное потому, что красота, проявляясь каждый раз по-новому, не может никого оставить равнодушным, не говоря уже о простом деревенском мальчишке вроде меня...

После того разговора мама больше не приглашала родственников Иоланты, девушка ездила к ним сама. Я так не любил, когда она уезжала в Казань. Эти два-три дня без нее казались мне долгими годами. К тому же мама ни с того, ни с сего на меня ополчилась. Это началось с марта месяца. При Иоланте мама меня не ругала, но когда ее не было дома, придиркам и попрекам в мой адрес не было конца. Как-то раз в начале марта я стал вслух восторгаться тем, какая у нас Иоланта красавица, какая чудесная у нее душа — маме почему-то это не понравилось. А моя душа, несмотря на военное время, несмотря на то, что отец и двое старших братков сражались на фронте, лицом к лицу со смертью, несмотря на то, что мама частенько меня поругивала, — моя душа витала высоко над жизненными невзгодами... Во всем мне хотелось видеть только хорошее, для всех найти добрые слова. Я забывал даже о ссорах с друзьями и причиненных мне неприятностях.

Иоланта...

Наверное, нет прекраснее этого имени в целом свете! С тех пор как я познал очарование и волшебство, заключенное в его звуках, я стал по-другому, более осознанно относиться к своей жизни. Открыл для себя радость полетов в стране фантазий и грез, которая по бесконечности равнялась, наверное, только красоте Иоланты!

Вспоминаю один случай, который произошел в марте.

Дело было так.

Было пятнадцатое марта. Помню, что, придя из школы и перекусив, я вычистил стойло у коровы, овцам задал вечернюю порцию сена. Огляделся кругом, вроде бы делать ничего больше не надо... Можно бы снегу в погреб накидать, но еще будут впереди снегопады, так что успеется...

С этой мыслью уселся я на крыльце, подставив лицо ласковому солнцу. Чувствуется, что весна на подходе — уже пригревает вовсю! Даже корова — и та высунула морду на солнце. Пара черных ягнят, родившихся осенью, резвятся, скачут по двору. Куры тоже вылезли на свет божий из своего курятника — всем хочется на солнышко!

Вернулась домой мама. Наверное, ходила к дяде Минникаю, своему старшему брату, относила ему кыстыбый, которые в обед приготовила. Минникай абый живет один — хотя дети и присматривают за ним, но мама его без внимания не оставляет.

Увидев меня, она сразу завелась:

— Вы только посмотрите на этого лентяя!

— Но я же все дела переделал, мама...

— Говорят же, младший ребенок в семье всегда бездельником растет — верно, оказывается, говорят! Он, видите ли, размечтался на крыльце! Все дела, видите ли, переделал! А вот что скоро снег с крыши ему на башку упадет — этого он не замечает!

— Мам, никто в деревне еще снег с крыши не счищал, — вяло оправдываюсь я.

— А чего людей ждать? Возьми да начни! Насчет разных шалостей — ты у нас первый зачинщик в деревне, а как работу какую сделать, то не допросишься...

— Да я мигом эту крышу вычищу, не успеешь и глазом моргнуть!

Только я лестницу к крыше приставил, как мама вышла из дому с ведром и коромыслом.

— Мама, ты же устала, за водой Иоланта сходит.

— Да разве твою Илахию дождешься? — проворчала мама, потом вздохнула. — Эх, дурачок ты у меня, сынок.

— Это ты о ком? Кто это — Илахия?

— Богиня твоя, на которую ты молишься!

Ах, мамочка, спасибо тебе! Какое замечательное имя ты нашла для Иоланты! Я думал, что прекраснее, чем есть, имени и не придумаешь, а оказалось, что нашлось еще одно, которое вдобавок звучит по-нашему... Илахия!

Мама не успела дойти до ворот, как во двор вошла Иоланта. Не слушая возражений, она сняла у мамы с плечи коромысло, а ей вручила свою сумку.

— Иоланта, ты это... что-то припозднилась сегодня, — сразу смягчилась мама, которая еще недавно на меня кричала. — Мои кыстыбый остыли уже давно, вкус совсем не тот.

— Ой, Магсуфа апа, еда, которую вы готовите, невкусной не бывает! — улыбнулась Иоланта-Илахия.

В небе сияет солнце, а на земле — лучится улыбкой лицо Илахии. А я сижу на крыше, между двумя светилами, и мне хорошо, как никогда раньше! Она старалась не смотреть, но все же через некоторое время я непостижимым образом почувствовал ее взгляд.

— Жангарай, смотри, не свались, — Илахия, подняв кверху лицо, глядела на меня своими синими глазами, в которых отражалось небо. Я ничего не ответил, только кивнул.

— Ты, улым, будь там поосторожнее, — уже другим, ласковым голосом проговорила мама. Надо же, сразу перестала на меня сердиться! Весь этот мир в руках Илахии, для нее нет ничего невозможного! Все, к чему она прикасается, становится светлым и радостным! — Улым, сейчас к тебе на помощь Минникай абый придет, я его попрошу.

Конечно, это только слова — Минникай абый уже не в том возрасте, чтобы лазить по крышам, да мне вовсе помощь и не нужна! Ведь я знаю, что всю дорогу, возвращаясь с родника, Илахия будет смотреть на меня! Вот она — самая лучшая в мире помощь! Только как бы не оступилась, не сошла нечаянно с тропинки в сугроб...

— Ох, улым, посмотри, как ты одет... неужели нормальные валенки не нашел, чтобы в школу пойти? Сейчас я тебе вынесу... Вот привыкнешь ходить в чем попало, люди смеяться будут... Какой, говорят, человек — такая и тень у него... А ты сделай так, чтобы даже над тенью твоей никто посмеяться не мог... Ну и солнце сегодня, улым, тень-то какая четкая...

Приговаривая так, мама ходила по двору, а я не отвечал, работая лопатой... И на душе у нас обоих было безоблачно и ясно, ведь рядом с нами было наше солнышко...

Летом сорок второго Илахия провела все каникулы в городе, у своих родных. Вернулась только в августе. Я тогда был на колхозных работах, возил на подводе зерно с поля. В тот же день, как приехала, Илахия нашла меня на току. Мы не поздоровались вслух, она лишь дотронулась до моего плеча. Я, как замороженный, смотрел в ее глаза, из которых разливался вокруг все тот же небесный свет... Тот же? Нет, теперь ее взгляд был иным — ее глаза не видели ничего и никого, кроме меня! Мы с ней ни о чем не разговаривали, да и не нужны нам были слова...

Илахия помогала мне разгружать зерно из огромного ларя. Помогала заодно и моему напарнику-мальчишке — уж что-что, а сидеть без дела она не умела. Когда нам нужно было везти зерно в Шемордан, Илахия вместе с нами грузила мешки, а потом, прощаясь, погладила нас обоих по спине. Вроде бы одинаково погладила, но на моей спине рука ее задержалась дольше. Никто на току этого не заметил, это чувствовал только я...

Зима сорок второго — сорок третьего выдалась тяжелой, начался голод. В эту зиму мама уже не пекла бэлиши и кыстыбый, порой приходилось есть и суп из картофельных очистков. Но все равно голодными нас мама не оставляла. Не забывала она и о Минникае абый, и о родственниках Иоланты. В нашем доме вся еда делилась поровну. Если мама за столом подсовывала лишнюю печеную картошку мне или Илахии, Илахия молча клала ее обратно. Мама делала вид, что не замечала, как мы с ней обмениваемся взглядами, но злиться и ворчать на меня стала намного чаще. Иногда я тихонько оправдывался, а порой вообще старался помалкивать, ничего не отвечать.

Однажды в субботу мама в очередной раз подняла шум. Закончив после школы домашние дела, я сел за уроки, но в голову ничего не лезло. Я подошел к окну, из которого была видна школа. Задумался и не заметил, как мама зашла. Ее первые слова я и не расслышал:

— ...и стоит, понимаешь, как пень! Людей бы постеснялся, среди бела дня у окошка ворон считает! Что же из тебя вырастет, лоботряс несчастный!

Во дворе скрипнули ворота, но мама, распалившись в праведном гневе, ничего не замечала:

— Чего это ты зубами скрежещешь? Не нравится слушать такое? Вот и мне не нравится, что у меня бездельник и лодырь растет! Ты гусиное гнездо видел? На что оно похоже?.. В доме чуж... — тут мама осеклась, поняв, что ее могут услышать. — В доме приезжий человек живет, постеснялся бы маленько!.. Смотри, из старого гнезда уже прутья торчат, как на него гусыню посадишь? — Насчет гнезда она, конечно, преувеличивала, оно вполне еще было сносное. — Позор на мою голову, скажут, не смогла сына воспитать! Валлахи, настоящий позор!

Входная дверь скрипнула. Мама от неожиданности сразу умолкла.

Увидев входящую Илахию, она как будто посветлела лицом. Даже пальто ей помогла снять, что с ней раньше не бывало. Мама обратилась ко мне уже другим голосом:

— Сынок, Жангарай, сходил бы ты, взглянул на гусиное гнездо, оно уже никуда не годится. Похоже на то, что гусят в этом году много будет, надо бы новое сплести. Сходи на берег Мёши, тальнику нарежь. Минникай абый тебя научит, как плести надо. А ты, Иоланта, не сходишь вместе с ним? Вдвоем больше тальника сможете нарезать...

Вот ведь какие чудеса совершает наша Илахия — мамы нотации незаметно переходят в ласковое воркование!..

Когда Иоланта жила у нас вторую зиму, она уже ездила в Казань значительно реже. Из эвакуированных она осталась теперь одна во всей деревне. К ней все относились так, как будто она здесь родилась и выросла. Да и она привыкла — по-татарски научилась говорить не хуже нашего. Только слова она произносит мягко, напевно — когда говорит, хочется слушать ее и слушать. Дома мы говорим по-татарски, но мама то и дело вставляет латышские слова, которым научилась от Иоланты.

Помню, как у нас прошел первый урок музыки. Иоланта вошла в класс с баяном — она его с собой из дому привезла.

— Татарски говорить нет, — виновато развела она руками. — А когда класс, посмеявшись, затих, она с улыбкой сказала: — Я начать играть.

Но мы были серьезны. У нас до этого никогда не было такой необыкновенно красивой учительницы. Мы во все глаза следили, как она разложила на коленях небольшую вышитую подстилку, опустила на нее баян и тихо заиграла незнакомую мелодию. Глаза ее смотрели куда-то вдаль, на луга по берегам Мёши, голова то склонялась к баяну, то запрокидывалась вверх. Иоланта играла весь урок, но больше всего мне понравилась и запомнилась та первая мелодия, с которой она начала.

... Однажды вечером, когда никого не было дома, я взял без спросу баян и попытался наиграть ее. Честно говоря, я не то чтобы на баяне — на гармонии-то толком не умел играть. Но стыдиться было некого: мама ушла к Минникай абый, а Илахия в школе на репетиции — хочет поставить с учениками детскую оперу. Мелодия звучит у меня внутри, не дает покоя — все равно я ее подберу, научусь играть, как она, Илахия!

Я и не заметил, как Илахия зашла в комнату.

— Что ты делаешь, Жангарай?

Она зажгла свет. Пальто расстегнуто, пуховая шаль, которую они вязали вместе с мамой, сползла на плечи. Я сидел, застегнутый врасплох, с расстеленным на коленях ковриком. Илахия, взволнованно дыша, встала передо мной, протянула ко мне руки, потом прижала их к груди.

Жангарай...

Она присела передо мной на корточки, взяла в ладони мое лицо и гладила пальцами по щекам.

— Жангарай... Пожалуйста, не играй больше эту мелодию. Ты же умница, — ласково прибавила она. — Может быть, когда-нибудь я тебя сама об этом попрошу... Мы будем с тобою рядом, и ты для меня сыграешь... Если нам на роду написано...

Только когда я стал студентом, я узнал, что это был дуэт Иоланты и Водемона из оперы «Иоланта» — сцена их первой встречи. Я слушал, как этот дуэт пели профессиональные певцы и в сопровождении симфонического оркестра. Но все же помню, что в исполнении Илахии эта музыка произвела на меня неизгладимое впечатление — видимо, потому что, играя, она вкладывала всю душу в прекрасную мелодию Чайковского...

За те два года, что Илахия провела с нами, немало было дней, оставивших след в моей памяти. До сих пор ясно помню все дни, когда мы с ней были вдвоем — мы почти не разговаривали, потому что понимали друг друга без слов... Но был еще один день, особенный, который никогда больше не повторится. А может, повторится?..

Был июнь сорок третьего, а какое было число — не скажу. Сам не знаю почему. Об этом дне я до сих пор никому не рассказываю...

Я окончил шестой класс и сдал, наконец, последний экзамен. У меня выдался свободный день накануне трудового лета. На завтра нужно было выходить на полевые работы — распахать паровые земли. Потом до самого августа — срока, когда засевают озимую рожь — их предстояло пахать вторично, такие были указания сверху.

Спрашивается, чего это я в такой погожий день должен сидеть дома? Мамы с самого утра нет — ушла мыть амбары. Илахия тоже куда-то исчезла вместе с баяном. В деревне у нас есть одна девчонка, про которую все твердят, что она прирожденная певица и актриса — наверное, Илахия пошла заниматься с будущей звездой.

Я решил, что если не схожу сегодня на Мёшу, то потом уже будет некогда — собрал быстренько свои удочки и отправился на рыбалку.

Вот только червей накопать забыл. Да, впрочем, мне большой улов и не нужен. Мне бы забраться в какое-нибудь тихое местечко, любоваться красотой окружающей меня природы и предаваться своим мечтам. В голове моей рождались образы, сначала смутные и неясные, которые затем становились почти реальными, осязаемыми — я оказывался в волшебном, сказочном мире, рожденном моим воображением...

Правый берег Мёши зарос густым кустарником, а слева от меня открылась Девичья заводь. Место довольно глубокое, обычно сюда ходят купаться взрослые девушки, но сейчас никого нет — они все на колхозных работах. Здесь рыбачить не принято, здесь — бабье царство, как мы, мальчишки, его называли... Если пойти вверх по течению, то там есть еще одна заводь, заросшая тальником. Именно туда мы ходили с Илахией, чтобы нарезать прутьев для гусяного гнезда. Я помнил, что хотя там и не очень глубоко, но клюет неплохо. А уж несколько кузнечиков или мух для наживки я как-нибудь наловлю!...

Вдруг с противоположного берега донесся всплеск. Осторожно ступая, я подошел ближе к воде и... замер. На «нашем» месте, где мы срезали ветки тальника, плавала Илахия.

Я стоял не дыша, боясь пошевелиться. Она долго еще плавала. Вышла из воды, выжала воду из намоченных волос. Поднявшись на берег, повернулась лицом к воде... Говорят, нет предела совершенству. Готов с этим поспорить! Юное тело Илахии было как раз пределом самой совершенной красоты, какая только существует на свете!

Она, наконец, заметила меня. Мы стояли с ней на разных берегах, но наши глаза были близко-близко.

Я с разбегу нырнул в воду. На том берегу Илахия подала мне руку, помогая взобраться наверх. Она уже успела накинуть одежду, но розовато-просвечивающее мокрое платье не скрывало прекрасных линий ее тела.

— Жангарай... — чуть слышно шептала Илахия...

Потом она долго ничего не говорила. А я вообще был не в состоянии произнести хоть слово.

— Жангарай... Прежде чем возвращаться домой, высуши сначала одежду...

Она ушла. Я остался смотреть, как она шла вдоль берега. Дойдя до Девичьей заводи, обернулась и помахала мне рукой. Хотя расстояние между нами было большое, я видел ее синие глаза. Они становились такими пронзительно-синими только, когда она глядела на меня...

В тот вечер мы сидели у ворот на длинном дубовом бревне. Еще до войны отец притащил его из леса — хотел поменять стояки у наших ворот, но не успел... Это бревно теперь стало постоянным местом для посиделок. По вечерам у наших ворот собираются соседи, обсуждают новости, как местные, так и в мировом масштабе — короче говоря, настоящий клуб общения. Илахии эти вечерние посиделки очень нравились, она всегда первой занимала место на бревне. Справа от нее — место для мамы, слева — мое. Приходил частенько и Минникай абый. Он садился в сторонке от нас, на самом краю бревна, в разговор не вступал, только иногда начинал постукивать своей палкой по бревну. Наверное, хотел дать понять, что пора уже менять тему — потому что каждый раз после его постукивания разговор заходил о чем-нибудь другом...

Сегодня мама долго засиживаться не стала:

— Ай, Аллам, у меня же дома еще дела остались, — спохватившись, она убежала домой.

А сама даже свет в доме не зажгла. Спать, что ли, улеглась?.. Через некоторое время разошлись и остальные. Мы с Илахией остались вдвоем. Она положила руку мне на плечо, притянула мою голову к своей груди. Вот оно — счастье! Все бы на свете отдал, чтобы повторить эти мгновения!

Я вижу синее небо в звездах. И еще синее — глаза Илахии, которые смотрят только на меня. Вот она отвела взгляд, посмотрела наверх, на полную луну. К луне зловеще подбираются тучи, хотят ее закрыть. Я слышал, как она тихо шепчет:

— Луна сейчас затмится... Тебе тринадцать лет, мне девятнадцать... Все, уже затмилась. Лунный свет погас...

На рассвете меня разбудила мама.

— Улым, Жангарай, вставай. Иоланта уезжает.

— Что-о?!

— Наша Иоланта собралась от нас уезжать. Сложила свои вещи... Баян тебе оставляет... Минникай абый уже пришел, чтобы с ней попрощаться... Вставай скорее, улым. Нехорошо спать, когда гостя уезжает!

Мамины слова обрушились на меня, как удар. Но вставать я решительно не хотел. Потому что, если бы встал, валлахи, всем вокруг худо бы пришлось — столько во мне было ярости и злости, что я бы все стал крушить на своем пути!..

Из чулана, где я лежал, сквозь незакрытую дверь доносился разговор мамы с Илахией:

— Магсуфа-апа, ничего, если я заберу эту пуховую шаль? Буду повязывать ее так же, как вы.

— Ай Аллам, о чем ты спрашиваешь, ведь ты ее своими руками связала!

— Нет, Магсуфа-апа, мы вместе вязали... Вы меня учили, помните?

— Эх, Иоланта, что же ты вдруг ни с того ни с сего решила от нас уехать? Может, передумаешь?

— Магсуфа-апа, это вам от меня на память. Когда наденете этот платок, будете обо мне вспоминать.

Мама на это ничего не ответила — она, кажется, вышла в другую комнату. Там, наверное, Минникай-абый уже сидит на сакэ — молча, как всегда, со своей неизменной палкой в руках.

В чулан зашла Илахия. Ни говоря ни слова, присела на мою постель. Положила руку мне на плечо. Я лежал на боку, свернувшись калачиком и спрятав лицо. Она перевернула меня на спину, припала ко мне, прижалась крепко-крепко. Я обнял ее за талию. В первый раз в своей жизни я обнимал женщину... Сердце мое готово было выскочить из груди...

Все это происходило в считанные минуты... а может быть, и нет? Я долго еще ощущал дыхание Илахии на своем лице.

День был или ночь — я уже не мог сказать... все смешалось в моей голове, время как будто остановилось.

Откуда-то издалека до меня доходили отрывки разговора Минникай-абыя и мамы.

— Ты это, Магсуфа... не слишком ли поторопила события? Они бы как-нибудь сами разобрались.

— С чего ты взял? Я никогда между ними не встревала. Иоланта сама решила уехать, сама!

— Уехать-то уехала... — расстроено вздохнул Минникай абый. Мы с ним из одного теста, он такой же чувствительный, как и я. — А на свете чего только не случается... Вот вырастет Жангарай...

— Ох, абый, не дави ты на больную мозоль!.. Я и без того уже вся извелась, на них глядя... Аллабирса, вернется муж с войны, что я ему сказать должна! Что тринадцатилетнего мальчишку женила, не соблюдая никаких обычаев, наперед двух старших братьев? Время-то какое, абый, разве об этом сейчас нужно думать? Где я должна взять свадебную рубашку с тесьмой по краю? Да он еще ребенок совсем, абый... И оставить все как есть тоже нельзя было...

— Зачем так далеко заходить, сестра. Дошло бы дело до свадьбы или нет — одному Аллаху известно. Мужу и старшим сыновьям говорить ничего не надо. Пусть о этом знают только Иоланта с Жангараем, ну и мы с тобой. О том, что пережили эти дети, никому рассказывать не обязательно... Жизнь есть жизнь... Вот вырастет Жангарай...

— Да, верно ты говоришь, жизнь есть жизнь... А вот пойти Иоланту до околицы проводить мы не додумались!

— Так пошли скорее, догоним ее.

— Знаешь, уже времени порядком прошло, как она ушла, наверное, уже мост через Мёшу переходит. Ох, что люди скажут — Магсуфа Иоланту не проводила, одну отпустила! Ох, девочка моя, Иоланта-Илахия... Знают ли твои родные обо всем? Может, ты специально их сюда не привозила, чтобы они ни о чем не догадались? Девочка моя бедная, как же твое сердце такое выдерживает?!

Что было дальше — помню, как в бреду. Помню, как мама меня утешала, гладила по голове. Потом Минникай-абый постукивал своей палкой у меня в изголовье:

— Крепись, будь мужчиной...

О том, успела ли мама догнать Иоланту, о чем они говорили — я никогда не спрашивал, а сама она не рассказывала. Много потом по деревне было разных разговоров:

— Иоланта свой платок забыла, поэтому Магсуфа вдогонку бросилась...

— Своими глазами видела, люди добрые, как Магсуфа догнала Иоланту, они обнялись, как родные и долго так стояли...

— Почему же все-таки Иоланта уехала?

На этот вопрос у меня до сих пор нет ответа.

В заключение могу сказать только следующее: платок, подаренный Иолантой, мама никогда не надевала, хранила бережно на дне сундука. Этот платок сейчас у меня. Иногда, оставшись один, я его повязываю на голову. Знаю, что в такие минуты я бываю сам не свой. А в сознание меня приводит лишь голос Илахии, который доносится ко мне сквозь годы:

— Луна затмилась... Свет луны погас...

Перевод Фариды Ситдиковой

ЗИННУР ХУСНИЯР ВОР

казывается, я забрался на самую яркую звезду и оттуда наблюдаю наш аул. Света звезды не хватает на все село. Я разгоняю облака, закрывающие луну. Освещаются улицы, дворы, даже снежинки в сугробах светятся кристалликами.

Смотрю на двор нашего дома. Мама босиком вышла на снег и, задрвав голову, смотрит в небо, меня, наверное, ищет.

— Вставай, сынок, вставай.

Сон улетучился. Ресницы тяжелы, не поднять, будто слиплись, вставать не хочется, на веках словно по гире привязано. Еще одну, две, три минуты хочется поспать, украсть у сна.

— Вставай же, сынок, вставай.

Я шевелюсь, шевелю ногами, показывая, что уже проснулся, не сплю и сейчас встану, — а у самого глаза все еще закрыты. Может, мама увидит, что я уже зашевелился, подумает, что я сейчас встану, и отойдет, а я тем временем чутко еще сосну. Сознание у меня уже пробудилось, а тело еще спит.

Нет, маму просто так не обманешь, не проведешь. Она видит насквозь мою хитрость. Она снова подходит ко мне, я ощущаю ее теплое дыхание, мама пока медлит сказать мне: «Вставай!», жалеет меня, хочет подарить еще несколько чудесных мгновений сна. Уже не первый раз так. А я, пользуясь этой маминой жалостью, и в самом деле снова проваливаюсь в темную яму сна.

— Встанешь ты, нет!

Одеяло сползает с меня, и от холода глаза сами открываются, потом я сажусь. И почему я вчера не лег спать в шесть часов вечера?! А все телевизор виноват. До программы «Время» сидел, смотрел, потом уже не вытерпел, заснул... Нет, сегодня обязательно вместе с петухами лягу.

Мама принесла мне латаные-перелатаные штаны, выцветшую рубашку. Пока она ищет отцовскую фуфайку (одежду я вчера, конечно, не собрал в одно место), я сижу на кровати, и подбородок мой постепенно опускается на грудь, а нос сладко посапывает. Я все еще хитрю, делаю вид, что подтягиваю к себе штаны, дескать, не сплю я, а одеваюсь. Мама находит фуфайку, которая метко летит в меня, заставляя окончательно проснуться.

Глухой ночью мы с мамой идем воровать солому с колхозных скирд. Сколько уже воруют эту колхозную солому, а она все не кончается!

Я выпиваю полковша холодной воды и надеваю отцовский бешмет. Бешмет этот я надеваю только ночью, когда идем за соломой. Хоть бешмет этот еще добротный, но я никогда днем не выйду в нем на улицу! Пусть отец не видит меня в его одежде, не радуется, что я в его одежде хожу!

Когда отец развелся с мамой, мама завернула меня, двухлетнего, в этот бешмет и принесла к себе домой, к своей матери, то есть к моей бабушке. Прошлой осенью мама попросила соседку тетю Фатыму ушить бешмет для меня — пусть, мол, одежда зря не пропадает. А я все равно буду ходить в своем, пусть и старом, а на улицу этот бешмет все равно не надену!

Выйдя во двор, мама немного постояла в раздумье. Я думал, что она позовет и соседку, тетю Фатыму. Но нет, мама пошла в лапас¹. Там на гвозде висит веревка для соломы. Эту веревку мама готовит загодя, вечером, чтобы ночью свет в лапаса не зажигать из-за осторожности.

Моя веревка тоже приготовлена заранее — она лежит на дровянике. Мама говорит, чтобы я пошел с ней так, за компанию, чтобы ей одной не было страшно, она не хочет, чтобы я поднимал солому, жалеет меня... Я беру с дровяника веревку, откуда-то выбегает большая крыса; испугавшись, я спешу вслед за мамой. Мама делает вид, что не замечает мою веревку, делает замечание за то, что я разбудил (потревожил) кур. А я и на этих кур, и на петуха зол. Эти бестолковые твари каждое лето преспокойно дают крысам воровать яйца. Ладно — куры, а петух куда смотрит? Мама говорит в сердцах, что наши куры несутся специально для крыс.

А я знаю, как крысы воруют яйца. В этом деле они уж мастера! Летом по телевизору показывали: к яйцу подбегают две крысы, одна из них обхватывает лапками яйцо и ложится, вытянув хвост, а вторая крыса первую тянет за хвост. Ну, и ворье!

Проклинаю крыс, закрываю за мамой дверь лапаса. Мама снова остановилась. Или действительно хочет позвать за соломой и соседку Фатыму?.. Нет, посмотрела на меня и пошла по скрипучему снегу.

Я знаю, почему она не хочет брать с собой Фатыму. Тетя Фатыма меры не знает. Наберет огромный сноп соломы, еле-еле поднимает, с охами да вздохами еле ковыляет домой, а за ней солома так и сыплется, дорожку прямехонько к похитителю показывает. Тут даже если и следа не оставишь, все равно глазастый сторож, хромой Сирази углядет может да прямо ко двору прийти.

Фатыма апа сама неплохая женщина. Они с мамой подружки. По несчастью — тоже. И у Фатымы апа нет мужа. Она его, вечно пьяного, сама выгнала. Иначе все хозяйство, все добро пропил бы. Фатыма апа крупная, сильная женщина, не то что моя маленькая мама. «Дура, что ли, я быть мужней женой только для того, чтобы считаться мужней, — сказала она. — Не хочу терпеть муки только ради того, чтобы казаться мужней». Короче, выгнала она с треском пропойцу из своего дома, куда он пришел, приехав в аул из райцентра.

Как и мама, я огляделся, посмотрев, нет ли кого... Нельзя нам попадаться на глаза людям в такое время... Вдоль речки, скованной льдом, тянутся картофельные огороды, они под толстым слоем снега. Вокруг — никого, тишина... Село сладко спит. Только мы вдвоем глухой ночью бредем по глубокому снегу. Я завидую сельчанам, которые сладко спят, от зависти сержусь, на глазах появляются слезы. Захотелось бежать в конюшню и бить там в пожарный колокол, чтобы село проснулось и тоже не спало. Пусть побегают!.. Почему одни мы должны месить снег?!.

Конечно, я дурак — что это за мысли такие пришли в голову? Разве нормальный человек захочет пожара? Боже сохрани, бить в пожарный колокол... В прошлом году сгорел дом председателя колхоза. Ох, и страшно было!.. Говорят, дом подожгли. Поджигателей не нашли, но все равно, я думаю, что они (поджигатели) — дураки. Ну, спалили они председателевские хоромы, и что? Думаете, председатель с семьей стал ютиться в баньке. Не тут-то было. В то же лето он выстроил дом еще больше и краше — настоящий ханский дворец! Наверное, сами поджигатели еще и на подмогу строителям приходили... Вот так-то. Говорят, что председатель сказал: «Сколько раз подожгут, столько раз выстрою дом еще больше и красивее!..» Естественно, не на свои деньги... Правильно говорит Фатыма апа, что не стоит сжигать шубу, чтобы избавиться от блох.

... И все равно я был зол на весь аул из-за того, что он спал...

Тропинка была натоптанная, но узкая, и я постоянно срывался с тропки и проваливался в рыхлый снег. По такой тропке идти через весь аул. Ночь не очень темная. Мне кажется, что это лицо мамы освещает окрестность. Люди говорят, что мама у меня очень красивая, да я и сам знаю, вижу, не слепой же. Хочется сказать: «Мама, закрой лицо, а то весь мир освещаешь...» Но стесняюсь. И потом — не время для шуток. Что ни говори, но маму даже сравнивать нельзя с новой женой отца — этой кривоносой Самигой. Вот пусть и живет сейчас с этой носатой мегерой! Так тебе и надо!.. Не смог противиться своей матери отец, послушал ее, поэтому развелся.

Мама моя остра на язык, и все время говорит прямо, без обиняков, правду. Это-то и не понравилось матери отца. Сказала: или я, или твоя языкастая жена, выбирай. Отец — ровно теленок — мягкий, не послушался свою мать. Вот так и принесла меня мама обратно в свой родной дом, к матери своей, то есть к моей бабушке — дэвэни¹. Правда, дэвэни я мало помню, нет уже ее на этом свете.

В ауле говорят, что Майсара (так мою маму зовут) могла бы выйти замуж хоть за министра, да затоптали ее счастье Салахутдин и Магруй (это мой отец и его мать). А что — правильно говорят. Салахутдин-эти¹ и Магруй-эби² и мое счастье украли.

Чу!.. Мама остановилась. Может, кого-то из людей увидела? Я забылся и, оказывается, отстал от мамы. Быстро догнал.

— Ты почему отстаешь, Ильнур? Шагай живее, — сказала она. Я виновато опустил голову. Ладно не видно, как я покраснел. Стыжу сам себя дразнилкой, которая почему-то пристала ко мне в ауле: «Ильнур атаһ — карак, син — бур!» (Дословно: «Ильнур, отец твой — карак («вор» по-татарски), ты — бур (искаженное от русского «вор»)).

Проходим мимо двора хромого сторожа. Мама остановилась. Все вроде спокойно. Двинулись дальше.

Сторожа Сирази так и кличут «Аксак», что значит «Хромой». Сам он — первейший вор, но, несмотря на это, он, сколько я его знаю, все время работает сторожем на поле и ферме... Вон, вчера только привез бревна, возле бани лежат... От трактора следы еще остались, свежие.

— Кто украл, тот грешен один раз, а кто позволил украсть — грешен тысячу раз, — любит говорить он, когда заходит к нам пить медовую бражку. Мама, втайне от соседей, потчует Аксака медовухой, чтобы сторож «не видел» наши ночные походы за соломой. Позавчера еще снова навеселе зашел было к нам, да только на этот раз мама прогнала его.

— Ты, каторжник! — рассердилась она тогда, — еще раз сунешься ко мне, на вторую ногу охроеешь!

А что, он и в самом деле каторжник. Как-то его застали, когда он воровал зерно из колхозного амбара. Судили. А сейчас он сам «сторожит» колхозное добро. Да еще мораль читает, когда заходит к нам:

— Закон запрещает воровство, воровство — противозаконное деяние. Вон, в Китае вора пальцы, руку отрубает. Нам тоже такой закон ввести надо! Напишу-ка я в Москву об этом, предложу, пусть меры принимают!

Под хмельком Аксак часто жалуется на свою судьбу: «За горсть зерна шестью годами свободы заплатил! Эх, за горсть зерна в кармане! За зерно в кармане — шесть лет!» И было непонятно, то ли сокрушается, то ли гордится он по этому поводу.

У-у, Аксак, я бы тебя вообще на 60 лет упек бы! Все равно я отомщу тебе за то, что на прошлой неделе к маме приставал!

Чтобы отомстить, не обязательно побить хромого сторожа. Достаточно украсть у него таяк¹ — великолепную, резную трость с набалдашником в виде головы дракона. Он все время носит ее с собой. Все равно я украду ее, отомщу за маму!

Мама мне об этом не говорила. Я услышал, как она говорила об этом Фатыме апа. Когда мама связала и подняла сноп соломы (она в ту ночь ходила одна, без меня), откуда ни возьмись появился Сирази.

— Чего уж такой маленький сноп связала, — сказал он. — Пришла, так уж побольше бери, Майсара.

Мама не испугалась его, ведь Аксак совсем недавно обильно угощался маминой брагой.

— Нет, нам хватит, Сирази абый, — ответила она, — это еще надо донести.

— И-их, и стоит из-за этого ноги свои перетруждать. Я на лошади, давай вяжи побольше, на санях довезем, — сказал Аксак, и сам стал набирать соломы побольше. Мама, подумав, что Сирази действительно делает это от чистого сердца, жалеючи, помогала ему. Действительно, если на санях привезти, то, пожалуй, до весны хватит соломы, больше не надо будет. Когда сани наполнились соломой, Аксак повалил маму на солому, говоря ей:

— Сегодня же всю скирду соломы к тебе перевезу, Майсара, милая!..

Мама не растерялась. Пнула коленом в живот, да побежала в село. А Сирази загнул, вопя: «Ай, мой живот!»

Услышав про этот случай, я потихоньку всплакнул. А Фатыма апа так и смя ругала сторожа, приговаривая: «Уж я бы... я бы показала ему кузькину мать!..»

Эх, Фатыма апа, не петушись, чего ты можешь сделать? Этого черта хромого я уже с прошлого лета терпеть не могу, с того дня, как он поссорился с тобой. Я же все сам своими ушами слышал.

Мама велела мне прополоть огород. Я пошел туда и услышал разговор, доносившийся из двора Фатымы апа. Фатыма апа, кажется, сушила сено. Сирази говорит ей:

— И где ты нашла такое плохое сено — одни цветы! Какая корова будет есть такое сено?

Фатыма апа отвечает:

— И за такое спасибо. Откуда же хорошее сено возьмешь, Сирази абый?

— Зачем же искать? Хочешь, я тебе привезу великолепное сено, ароматное, душистое — м-м... не сено, а ягодка.

— Колхозное, что ли?

— А это уж мое дело, главное — привезти. Я говорю — привезу, значит, привезу. Вот только... знаешь, голова что-то болит... У тебя ничего нет?

Фатыма апа говорит:

— Кажется, осталось немного от тех, кто сено мне привез. Сейчас посмотрю.

Сирази опохмелился, но не спешил уйти. Он что-то сказал Фатыме апа, я не расслышал, а подойти к забору постеснялся. Через некоторое время я услышал, как Фатыма апа сказала:

— А ну, проваливай отсюда, а то караул на весь аул сейчас буду кричать!

Я перестал полоть сорняки и прислушался. Аксак что-то бормотал, не разобрать было.

— Не уйдешь, закричу сейчас!

Слышно было, как упали из рук Фатымы апа вилы на кирпич, выложенный перед крыльцом. Я приготовился помочь, подошел поближе к забору, ожидая крика. Но Фатыма апа не кричала. Спустя некоторое время откуда-то со стороны лапаса послышалось приглушенное «Ах!..» Фатымы. Я кинулся к забору.

— Сирази абый... Сирази...

Голос Фатымы уже не был сердитым, он звучал как-то по-другому, мне это было непонятно.

— Ах... ух...

Тут с улицы меня окликнул одноклассник Ильхам:

— Айда купаться!

День был жаркий. Я бросил работу и выбежал на улицу.

Несмотря на зной, вода в озере была холодной, потому что на дне его били холодные ключи. В прохладной воде купаться приятно. Долго барахтались мы. И Фатыма, и Сирази были забыты...

Все равно я отомщу тебе, Аксак, вот увидишь!

...Мы прошли огороды Сирази, и я немного успокоился. Мама даже не оглядывалась на меня, а шла, опустив голову.

«Ильнур: отец — карак, сам — бур».

Мне хочется спросить маму, почему же меня так дразнят? Ведь никто не видит и не видел, как я хожу воровать солому. Но маму сейчас лучше не спрашивать. Чувствую, что сейчас она раздражена. Наверное, ругает сама себя за то, что взяла меня ночью красть солому.

Первым так подразнил меня, кажется, бригадир Гимай. Взял да брякнул: «Ильнур, отец — карак, сам — бур»... Этот Гимай считает себя острословом. Вообразил, что удачно дразнит меня. Еще чего!.. Но эта дразнилка так и пристала ко мне. Сейчас кому не лень, тот меня норовит поддеть этой дразнилкой. Сам он карак и бур, этот Гимай!.. Я же знаю, мне Фатыма апа рассказывала. В других аулах бригадиры ездят на выделенных им мотоциклах, а Гимай, утверждая, что не умеет водить мотоцикл, держит у себя колхозную лошадь с арбой. А на мотоцикле гоняет его сын-оболтус, с трудом одолевший шесть классов. Весь аул наводнен родичами Гимая. Где сват, где брат, где вообще какая-нибудь родня — «седьмая вода на киселе». И все воруют. А вора, как известно, судят не за то, что ворует, а за то, что попадаетея с поличным. Короче, не пойман — не вор. А этих Гимаевых не поймать. Да и кто же будет их ловить? Опять все те же их родственники — начальники?

Подождите, вот закончу только школу!.. Уеду, хоть и жалко мать, но уеду и выучусь на вертолетчика. Обязательно выучусь. Ведь у меня в школе одни «пятерки». Отец, как меня увидит, так говорит:

— Учись хорошо, сынок, большим человеком будешь.

Будто мне нужны его слова. Не для него же учусь. Пусть вон продолжает слушаться свою мать, пусть в рот ей смотрит. Теленок... Не зря же мама нет-нет да жалеючи теленком его обзовет...

А я смог бы послушаться маму? Я бы, конечно, слушался ее... Но вдруг она будет против моей жены и скажет, когда я вырасту и приведу в дом невесту: «Брось ее!» Что тогда? Я представил себе Ильсияр, живущую на противоположной улице. Дело в том, что я хочу на ней жениться, когда вырасту. Она нынче кончает десятый класс. Как встретимся, так все время мне говорит: «Ну, как дела, женишок?» — и смеется, да еще обнять меня норовит. Смеется, смеется... Я все равно тебя украду... Вот увидишь... Только бы мама не была против...

Ну, да ладно... Сначала школу надо окончить. Это раз. Потом выучиться на вертолетчика. Тогда уж мы с мамой не будем ходить воровать солому. Я украду сразу всю скирду, подняв ее на вертолете. Пусть потом ходит Аксак, черт хромой, да недоумеает: куда же делась вдруг целая скирда? И Фатыме апа скирду закину — на вертолете это пара пустяков. Не будут потом всю зиму мучиться, корм для коровы искать.

Ильсияр я тоже на вертолете украду. Сосед Галимзян свою Зифу, что из аула Бикнарата, на лошади украл — шуму было на все село. А я на вертолете Ильсияр умыкну — то-то светопреставление будет!..

Мама вдруг остановилась. Я испуганно осмотрелся: вроде тихо, никого нет. Светит луна... Интересно, ведь она все видит, видит, кто ворует. Вот бы вместо Сирази луну принять сторожем!

Я догнал маму и спросил:

— Что случилось, эни?

— Ох, уж этот Чукрак¹ Ситдик! Как зажжет свой прожектор!.. И не жалко ему столько света жечь!

Прожектор ярко освещал окрестность.

— Никого же не видно, мама.

Ругая глухого Ситдика, мы пошли дальше. Прожектор этот Ситдик повесил недавно, когда вору зимней ночью угнали «Жигули», стоявшие под окнами дома. Угонщики не смогли уехать далеко, бросили машину на обочине, видимо, основательно забуксовав в сугробе. Кто же угоняет машину зимой, да еще по проселочной дороге?

Сын Ситдика абый работал в городе каким-то важным начальником. Говорят, когда дело запахло «жареным», он пригнал «Жигули» в деревню и оставил временно у отца. После попытки угона и оборудовал Чукрак Ситдик этот прожектор.

Нашли чего воровать! Это я про угонщиков. Вон, лучше бы нашу корову своровали. Всем коровам корова! Украли бы нашу корову, вот и перестали бы мы ходить по ночам за соломой. Все ей, этой прожорливой буренке, корма не хватает. Вымахала аж с целый дом... А мама говорит, что от людей нехорошо, если в хлеву корова не стоит. Знаю, это она назло отцу.

Фатыма апа говорила:

— Стыдно в деревне без коровы и без мужа жить.

Да и мама иногда так говорила.

А на что мне эта корова? Я все равно молоко не люблю. Только когда заболею, мама насильно меня молоком поит.

На мгновение я представил себе наш хлев пустым, и мне стало как-то неуютно, грустно. Как бы огорчилась тогда мама! К кому бы она пошла за молоком, когда я заболею? К тете Фатыме? Нет, если мама корову держать не будет, и Фатыма апа тоже не будет. Она держит корову, чтобы не ударить перед мамой в грязь лицом. А мы — чтобы не ударить в грязь перед ней. Наверное, все сельчане держат корову из-за того, чтобы не ударить лицом в грязь друг перед другом.

...Выходим на окраину села. Теперь свет ситдиковского прожектора нас не достает. Идем вдоль берега речки. Возле дома Ильхама тропка резко сворачивает направо. Во дворе дома Ильхама ни лампочки... Темно. Спит Ильхам и видит десятые сны. А завтра придет в школу и будет беспрестанно зевать. Учителя стыдят его за это, говорят, что он ночью делает, не спит, что ли? Как же, не спит... В том-то и дело, что он вообще спит на каждом шагу. Ильхам и сам говорит:

— Я зеваю оттого, что много сплю.

И на уроке он вечно спит. Спит-спит, а потом толкает меня в спину (он сзади меня сидит):

«Ты решил задачу? У меня что-то не получается, дай списать». Как же получится, если он все время спит? Вот я не сплю и не зеваю, хотя мне хочется спать, и рот вот-вот откроется в зевоте, но я терплю, зубы стисну: как бы не догадались, что я ночью опять не спал, а ходил за соломой.

Все! Больше я Ильхаму списывать не дам. Пусть решает задачи по ночам. За соломой ходить ему не нужно, отец его — шофер. Все!..

Эх, очутиться бы сейчас вместо Ильхама в постели! Ох, и поспать бы!..

Мы вышли на окраину села. Тропка здесь сворачивает налево и идет на большак. Но по большаку нам идти никак нельзя. Мама говорит, что по большой дороге только начальство ворованное везет.

Мы пошли к полю прямо через сугробы. У моей соседки по парте Сэмбель отец тоже в начальниках ходит. Он — главный бухгалтер колхоза. Вот он не ворует. Фатыма апа говорит: таким людям все необходимое прямо в дом привозят. Но ведь это все равно, что красть! Только не своими руками... Нет, наверное, отец Сэмбель все-таки не такой. Как-то не поворачивается язык назвать его вором. Ведь он — отец Сэмбель. А Сэмбель — хорошая девчонка, и учится неплохо. Только по математике «хромает». Учительница говорит:

— Ведь твой отец — бухгалтер, а ты по математике «хромаешь», отца подводишь.

Я жалею Сэмбель и даю ей списывать.

Вообще, Сэмбель — самая красивая девчонка в классе. Любит она посмотреть в зеркало. И мне дает посмотреть. Конечно, джигиту не пристало глядеться в зеркало. Но я ведь смотрю не для того, чтобы любоваться, а для того, чтобы увидеть самого себя. Ведь я и так все время один. Наедине со своими думами. А самого себя, свое лицо не вижу. Мне, растущему без отца, нужно иногда смотреть на себя самого, чтобы уметь сохранить себя, свое лицо, достоинство, поведение. Когда я сказал об этом Сэмбель, она бросила мне: «Хм-м... мечтатель». Ну и пусть. Ведь это хорошая причина для того, чтобы попросить зеркало... Впрочем, с завтрашнего дня я ее зеркало и в руки не возьму. Мне кажется, что если я посмотрю на себя в зеркало, то покраснею и выдам себя с головой как вора, и Сэмбель по зеркалу догадается о моем ночном воровском походе...

— Ильнур, — позвала вдруг меня мама. Я поднял голову.

— Сюда не подходи, сынок, — сказала мама. Оказывается, она провалилась глубоко в снег, почти по пояс. Как же не подойти! Стоять и смотреть, что ли? Надо ведь помочь! Барахтаясь в снегу, я пошел на выручку и тут же сам провалился в снег. Какое там помочь! Сам не могу выбраться из снежного плена. От обиды и беспомощности я чуть было не заплакал, да вовремя спохватился, что от этого маме только тяжелее будет. Терпеть надо!.. Все же слезы предательски навернулись на глаза. Отчаянно трепыхаюсь, пытаюсь освободиться от объятий снега. Но лишь глубже увязая. Мама, опершись на локти, тоже пытается выбраться. Эх, мама!.. Как бы я хотел видеть тебя сидящей на диване у окна и вяжущей носки под мурлыканье незатейливой песни, а не барахтающейся в сугробной яме на воровском пути!..

Льются и льются слезы из глаз. Ожесточенно отбиваюсь от снега. Мама выбралась-таки из снежной западни и бросила мне один конец веревки.

— Держись крепче!

Я вцепился в веревку.

— Не вставай на ноги, старайся ползком, кажется, мы в яму угодили, — сказала мама. — Да и я хороша — задумалась, забылась, вот и угодила.

Интересно, о чем же думала мама?

Теперь я пошел впереди — даже если и провалюсь, не страшно, я легкий, меня вытащить легко.

Речка наша за деревней превращается в настоящую реку с высокими, обрывистыми берегами. Но впечатление это обманчиво, потому что воды в реке все равно мало, воробью по колено. Зимой, занесенная снегом река, конечно, впечатляет, кажется полноводной, берега ее местами размыты водой, обвалились, и там образовались ямы.

...Нужно пройти ферму и свернуть в поле. Осенью в поле высилось несколько скирд соломы. Сейчас их осталось только две. Как говорит бригадир Гимай, этим колхозным буренкам каждый день по скирде

соломы нужно. И зачем так много коров держать?.. Каждую весну, в марте колхозные тракторы начинают возить солому из соседнего колхоза.

Мы зашагали быстрее.

Разложили веревки на снегу, стали выдергивать из скирды солому. Знала бы наша прожорливая и вечно голодная корова, с какими мучениями достается солома, не раскидывала бы половину корма по двору!

В этот момент мама вдруг потянула меня за рукав:

— Пропали, сынок. Кажется, тот хромой черт едет. — Я посмотрел в сторону, куда показывала мама. Точь-в-точь по нашим следам кто-то шел к скирде.

— В лес побежать, что ли? Туда он побоится сунуться, — растерянно сказала мама. От страха я был сам не свой. Но поднялся на ноги и крикнул:

— Попробуй, тронь маму! Горло перегрызу!

Мама испуганно потянула меня за рукав:

— Что ты, что ты, сынок? Бежим скорее, он, кажись, без лошади, не догонит.

— Мама, мама... Это же не Сирази. Он же не хромает, смотри.

— О, аллах, неужели сам Гимай?

— Нет, не похож на него, мама. — Я уже осмелел.

— Значит, председатель, — зашептала мама.

Я вспомнил про чьи-то слова, сказанные о председателе:

— Ты что, мама, да наш председатель не будет по ночам в поле ходить, даже если весь его колхоз возьмут и унесут. — И откуда только слова берутся? От страха?

— Мама, мама, это ведь тетя Фатыма!

Действительно, это была она. С нас словно непосильный груз свалился.

— Смотри-ка, они сегодня без меня пошли, — проворчала, подходя, Фатыма.

Мать, обрадовавшись, сказала облегченно:

— Оказывается, это ты ходишь, пугаешь нас. Я думала, что ты сегодня не пойдешь. И с вечера ведь не договорились.

— Да, не договорились. Лежала, лежала я, думаю, дай-ка зайду, зашла, а лапас у вас не заперт, на двери дома — замок. Поняла я и побежала за вами. Ни соломинки у меня не осталось.

Я набрал большую кучу соломы и связал ее. Мама решила, что эта ноша слишком тяжела для меня и велела часть оставить, но я не дал. Мамин сноп был раза в три-четыре больше, она согнулась от тяжести, когда я помог ей взвалить солому. Мама сказала, словно оправдываясь:

— Если все будет хорошо, нынче больше не пойдём.

Помог я и Фатыме апа. Ее сноп оказался еще тяжелее. Словно прочитав мои мысли, она просипела из-под своей ноши:

— А я ведь одна, вас-то — двое. Как-нибудь уж...

Пошли. Мама впереди, потом я, за мной тетя Фатыма. Снег под тяжестью проваливался глубже, идти было трудно, и все же настроение улучшилось. Мама сказала, что больше не пойдём. С этой соломой, значит, до апреля дотянем. Мама знает, что говорит. У нее, наверное, еще немного соломы про запас есть. Я даже пошутил весело:

— Соломенные воры!

Мама промолчала. Фатыма апа восприняла шутку болезненно:

— Какие же мы воры? Воры таскают солому скирдами.

Я смутился.

Фатыма апа добавила:

— Мы всего лишь жуки навозные. Черви земляные. Трудимся, не покладая рук, не зная отдыха, а все равно одну корову — и ту прокормить не можем.

— Хватит, Фатыма апа, больше не буду шутить!

Ноша становилась все тяжелее. Ноги проваливались все глубже. Нужно подумать о чем-нибудь другом. О космонавтах, например, о Вселенной, о том, что завтра у нас будет в школе политинформация. Как говорит наша классная руководительница Гадения апа, нужно думать о проблемах в масштабе страны... А тут — какой-то несчастный пучок соломы для облезлой коровы. Все равно те, кто лошадь имеет, до последней соломинки эту скирду разворуют.

Да, завтра Гадения апа будет проводить политчас. И попробуй, заикнись там о соломе. Будешь говорить о космонавтах, о войнах в Африке, о происках американских буржуев...

Думаешь об этом, и вроде ноша легче становится...

Действительно, чего этим американцам не хватает? Не соломы, конечно, нет, им другого чего-то не хватает. Знаю — им нужно спровоцировать войну, ведь они богатеют от продажи оружия.

Спасибо руководителям нашей страны! Если бы не они, давно бы уже эта Америка с цепи сорвалась.

Как будто у нас только проблема с соломой... Погоди, а что же я завтра скажу, если Гадения апа на политчесе спросит меня? Она ведь велела нам вечером по программе «Время» посмотреть визит нашего руководителя в одну зарубежную страну. Но я ведь уснул. Вот тебе и «отличник», что же я отвечу? Ведь и Сэмбель надо подсказать.

Настроение испортилось. К тому же веревка больно резала плечо. Шея затекла.

Вдруг мама крикнула:

— Прячьтесь!

И сама первой легла навзничь на свой сноп соломы. Я все еще не очнулся, не понимаю, в чем дело. Сзади на меня наткнулась Фатыма апа. От толчка меня занесло, груз потянул меня с берега вниз, к реке. Но еще раньше туда свалилась Фатыма апа. Я привалился прямо к ней.

— Кажется, тот хромой черт на своей лошади едет. Мама, оставшаяся на берегу, сказала:

— Не поднимайтесь пока... Никак не могу снять с плеча ношу.

— Не возись, — остановила меня Фатыма апа. Ее горячее дыхание обожгло мне ухо, защекотало шею. Я пытаюсь отодвинуться.

— Да тихо ты, — говорит Фатыма апа. — Если Сирази услышит — пропали.

— Или это такой же вор, как и мы, — сказала сверху мама, лежа наблюдавшая происходящее.

— Кто в такое время, кроме Сирази, может здесь ездить? — прошептала Фатыма.

«Эх! — с тоской подумал я. — Был бы сейчас вертолет, в мгновение ока я все эти снопы по дворам раскидал бы. Если бы понадобилось, и всю скирду унес бы...»

Хе... если бы вертолет! Я этого вора вместе с лошастью и соломой на его двор мигом перенес бы. А если это Сирази, то сбросил бы его где-нибудь над лесом... И вообще, был бы вертолет, я бы в каждый двор по скирде соломы закинул, чтобы люди не мучили себя воровскими походами...

Лежу, не шевелясь. Да и не хочется уже шевелиться. Тело разомлело, отдыхает, только ноги начали мерзнуть.

— Уехал! — сказала мама.

Вновь поднялись, взвалили кое-как ноши, подтянув их на берег. До деревни уже недалеко, а там уже тропка, идти легче.

На этот раз впереди пошел я, потом мама, за ней — Фатыма апа. На улице никого не встретили. Дошли до дома Фатымы. Мама помогла открыть ворота, потом мы пошли к себе. Теперь уже шагали бодро.

У наших ворот мы увидели следы саней и растерялись. Кто же тут был? Возле ворот видны просыпавшиеся соломинки. Я торопливо открыл ворота, от шума проснулся петух. Лунный свет высветил несколько больших снопов соломы, лежащих на середине двора. Они были аккуратно перетянуты проволокой. Солома была желтой, пшеничной, с дальнего поля, а не оттуда, откуда брали мы, там — ржаная. Видно, это дело рук отца. Украдкой от своей Самиги он нет-нет да подбрасывал нам то солому, то сенаж... Да, это Салахутдин, отец! Опять мама рассердится! .. И в прошлом году весь привезенный отцом сенаж выкинула на берег. А потом, встретив Салахутдина, дала ему «прикурить». «Думаешь, мы нуждаемся в твоей помощи? — закричала она. — Не околачивайся больше у нас! Без тебя обойдемся!»

Да, сегодня отцу снова попадет...

Я сбросил свою ношу, пошел к маме. И тут только увидел рукавицу, лежавшую на снегу. Я сразу узнал: это была рукавица Сирази! Однажды по пьяной лавочке он оставил ее у нас. На другой день я сам отнес ему рукавицу!.. Ух, Сирази, взгрею я тебя!..

Мама, увидев во дворе привезенную солому, ничего не сказала. Скинула свою солому, выпрямилась устало и только тут сердито приказал мне:

— Ну, что уставился? Выбрось эти снопы на берег!

И сама уже схватилась за снопы.

— Мама! — сказал я и протянул ей рукавицу. — Это Сирази привез. Вот его рукавица. Это он!

Мама снова выпрямилась, стерла со лба пот и тихо сказала:

— Ладно, завтра уложим. А сейчас пойдём в дом.

Она пошла, устало переставляя ноги.

— Мама!!!

Я не узнал своего голоса. Мама не обернулась, только рукой позвала меня в дом и зашла. Я до крови закусил губу, ощутив соленый привкус пота.

— Нет, — прошептал я. — Попробуй только пристать к маме! Достанется тебе от меня! Не пощажу!

Я взвалил два снопа на плечи и побежал к берегу, выбросил их, потом выбросил все остальные, а свои снопы уложил в сарае. Уже шатаясь от усталости, зашел в дом.

Тонко закричал наш бедовый красный петух.

Утром я собирался в школу, когда к нам зашла Фатыма апа. Раскрасневшаяся, запыхавшаяся, она радостно выпалила:

— Майсара! Майсара! Сегодня утром я нашла на берегу четыре снопа отличной соломы. Наверное, кто-нибудь своровал, да часть по дороге обронил. Вот счастье-то!

Мама даже не посмотрела на нее. Сказала только:

— Значит, аллах дал. Благодарственную молитву прочитаешь.

Потом она поставила передо мной кружку свежего парного молока:

— Кушай, сынок, кушай...

Стараясь не показывать наворачнувшиеся на глаза слезы, я обеими руками взял кружку и залпом выпил густое, теплое молоко. Тепло от молока разлилось по телу, появилось ощущение блаженства.

Старые часы в зале стукнули семь раз. Взяв сумку, я выбежал на улицу. Как бы не опоздать на политчас.

Перевод Фаяза Фаизова

СУЛТАН ШАМСИ

ПУСТЬ ТВОИМ БУДЕТ...

становка, что на выезде из райцентра, никогда не пустует. А по пятницам на ней особенно многолюдно. Отсюда три дороги расползаются по району на три стороны света. Правда, автобусы ходят только по одному маршруту — до самых дальних деревень. А по двум другим направлениям вся надежда только на попутки.

— Вот и Карима наша подросла, — с улыбкой встретили подошедшую к остановке девушку знакомые женщины. — Карима наша — маладис, настоящая селянка, ни одного выходного не пропускает, всегда домой в деревню едет, — добавила одна из них.

Услышавшие эти слова незнакомые тетки с интересом обернулись в сторону девушки — оценить ее статью, ее одежду, ее наполненные сумки, но, не найдя чего-нибудь такого, к чему можно было бы придраться и посудачить, потеряли к ней всякий интерес. С этой минуты Карима влилась в компанию голосующих и стала полноправной автостопщицей.

В колхозе, что раскинулся на прилежащих к райцентру угодьях, Карима работает экономистом. По окончании института она специально нашла работу именно здесь, поближе к родителям. С тех пор и живет в райцентре, а в каждые погожие выходные старается выбираться в деревню, в свой родной дом. Оба родителя теперь уже на пенсии. Вырастили пятерых детей, а на старости все равно одни-одиношеньки остались. Сестры и братья у Каримы разъехались кто куда. Кто женился, кто замуж вышел — у каждого своя семья, свои заботы. Если и приезжают домой, то, в основном, в пору сенокоса, как сейчас, или же на уборку картошки стараются подъехать, помочь. А все остальное время старик со старухой ждут от детей писем, только этим ожиданием и живут.

Такие вот дела...Девушка каждую пятницу выходит на эту остановку. Голосует проходящим машинам. Хотя, если бы она захотела, то проблему с транспортом могла бы быстро разрешить. Для этого ей достаточно почаще и пошире улыбаться шоферам. Двадцать верст — это разве расстояние? До самых ворот подвезли бы. Но девушке такой скользкий путь не по сердцу. Карима — это Карима...Для нее еще существуют нерушимые понятия и принципы...

Для кого-то быстро, для кого-то очень медленно шло время, очередной автобус подъехал и увез всех желающих попасть в благословенную сторону. Для оставшихся на остановке этот факт стал новым поводом почесать языки. Женщины поволновались, пошумели и вскоре снова переключились на семечки. Тем временем машины подъезжали, останавливались и сажали хотя бы по одному или по двое попутчиков. Тут уж понятно, что вперед всех в машину лезли самые пронырливые. А стоящая в сторонке Карима все никак не могла уехать. Она, грешным делом, начала уж было подумывать о ночевке у своей бабушки, но решила все-таки стоять до последнего — ведь так хочется обрадовать стариков своим

приездом. «Подожду еще немножко, может, и подъедет на мое счастье какой-нибудь милосердный человечек», — уговаривала она себя.

Не зря, видимо, говорили наши предки — дорогу осилит идущий. Не отвернулась в этот вечер и от нашей девушки удача. Нежданно-негаданно села и поехала Карима. И не куда-нибудь поехала, а прямехонько в свою родную деревню, и не куда-нибудь села, а на продавленное сиденье, в кабину...

Никто бы и не подумал в тот момент, что несущийся во весь опор красноголовый «КамАЗ» вдарит по отчаянно взвизгнувшим тормозам и остановится аккурат напротив. Не успела еще осесть дорожная пыль, как в окне кабины нарисовалась кудрявая голова шофера. Смуглолицый, с искрометным взглядом озорных глаз, паренек улыбнулся обступившим машину женщинам:

— Возьму только одного человека. Выбирайте поскорее самую красивую из всех и поедем.

Разве деревенская женщина растеряется от такого! Тут же одна красавица отделилась от толпы (это была односельчанка Каримы), с огромной тяжелой сумкой в охапке она уже приготовилась взобраться в кабину.

— Красивее меня не найдешь, дорогой, посади, умоляю. Дома трое детей ждут и муж-ревнивец... Если и сегодня не вернусь — прикончит!

Кто-то рассмеялся, а шофер тем временем оценивающе пробежался глазами по женщинам. Взгляд его задержался на стоящей поодаль Кариме. Лицо парня радостно просияло, он улыбнулся в тридцать два белых зуба и, высунувшись из окошка, спросил:

— А вам, девушка, до какой деревни ехать?

Женщины на остановке враз притихли и ревниво обернулись на Кариму. Не ожидавшая такого повышенного внимания к себе девушка растерялась, в лицо ударила краска. Однако лучше плохо ехать, чем хорошо стоять, и она, набравшись смелости, выдавила из себя название деревни.

— Ну, раз так, то садитесь, — сказал шофер и, пока девушка поднималась в кабину, успел хитро подмигнуть неудачницам.

— Все замечательно, тетеньки...Самой красивой эта девушка оказалась...На нее и обижайтесь!..

Женщины опять загудели. Но шоферу было не до их проблем. Он, радушно улыбаясь, помогал девушке поудобней устроиться в кабине, аккуратно пристроил сумку в ногах. И только потом надавил на газ.

Машина тронулась:

— Эй, Карима, будь осторожна, парень с виду уж больно горяч, — крикнула вдогонку «мать троих детей».

Сидящие в кабине улыбнулись.

Парень держал себя очень раскованно. «Ну вот, имя ваше я узнал, теперь должен вас с собой познакомить, а то как-то неловко получается», — начав такими словами разговор, он прежде всего представился (Ислам), потом парочку анекдотов затравил, рассмешив девушку. Между делом не забывал расспрашивать пассажирку о том, о сем — кем работает, чем интересуется. Карима, хотя и не раскрывалась особо, отделяваясь коротенькими ответами, но вежливый тон своего попутчика и его манеру свободно держаться оценить успела, и поэтому слушала его болтовню с наслаждением. Когда она впервые увидела паренька в окне кабины, то сердце ее как-то странно и неожиданно защемило. И недавний конфуз, когда ее неожиданно окликнул водитель, объяснялся именно этим.

Во время разговора Ислам иногда отвлекался от дороги и поглядывал на Кариму, смотрел очень по-доброму, приятно улыбаясь и негромко посмеиваясь. А от его взгляда девушка вся воспламенялась, и становилось так необъяснимо-приятно. Она вдруг ощутила себя еще красивее и моложе. Во вздымающейся груди началось непонятное волнение, оно становилось все сильнее и сильнее, все больше и больше напоминая колыхание созревшей и ожидающей близкой жатвы нивы...

А парень-то и вправду хорош!.. Волевое лицо, словно выточенное из мрамора, пышные густые волосы, крепкая шея, мускулистые плечи и руки...Такими руками если возьмет за плечи, то голова сразу закружится, и не заметишь, как растаешь в крепких объятьях...

Только встряхнувшись на стыках моста, почти на самом въезде в деревню, рассталась наша мечтательница со сладкими грезами и вернулась в реальность. Смутьившись, она посмотрела на водителя. На ее счастье, он ничего не заметил. Смотрел вперед на дорогу и чему-то улыбался.

Через две-три минуты машина остановилась около колхозного правления. Ислам еще раз взглянул на девушку и сказал, перейдя на «ты»:

— Может, до самого дома тебя довезти, Карима?

Увидев, что девушка отрицательно покачала головой, продолжил:

— Ну ладно, коли так, я до конца уборки тут буду, так что еще не раз увидимся.

И, высунув голову из кабины, долго смотрел вслед уходящей Кариме.

Не успели обрадованные старики вместе с долгожданной дочкой и двух чашек чая с дороги выпить, как у их ворот остановился красноголовый «КамАЗ». Из кабины сначала спустился бригадир Маджип, а затем и водитель спрыгнул на землю. Вновь, почувствовав что-то такое необъяснимое, сладко защемило сердце у Каримы. Звякнула щеколда на калитке, и вошедший во двор бригадир прокричал: «Есть кто живу-у-у-уйй?»

Легкая на подъем Сабира-ханум хлопнула по коленке своего медлительного мужа: «Тебе говорю, иди, выйди во двор, встретить гостей», — и, пока старик неспешно раскачивался, выпорхнула из-за стола и начала суетиться.

Дед Габделатыф тоже потихонечку раскочегарился и, пристроив на макушку кепку, вышел на крыльцо. А сердце у Каримы в это время — туки-туки-тук — бешено билось от противоречивых мыслей и желаний, она не знала, куда себя деть. Хоть и не видела она разговаривающих мужчин, но голоса через открытую дверь слышала отчетливо.

— Как дела, Габделатыф-абзый? Все ли живы-здоровы?

— Все как обычно, Маджип-сынок. Сам-то как?

— Так у нас уж, сам знаешь, дядя Габделатыф. День и ночь все скачем и скачем... Вот и до уборки урожая доскакали уже.

— Самое время, сынок, самое время. Вчера вот сходил пшеницу проверил... можно уже и начинать уборку-то...

Бригадир, чтобы вернуть всех к основному вопросу, озабоченно почесал горло и продолжил:

— Дядя Габделатыф, а я ведь сюда с одной просьбой приехал... Прибывшего к нам на подмогу паренька не поселите ли у себя на месячишко... И он вам поможет, чем сможет...

От этих слов внимательно слушающую разговор Кариму кидало то в жар, то в холод. С одной стороны, она очень хочет, чтобы парень у них остался. Она бы в таком случае смогла бы часто с ним встречаться, разговаривать, и взгляд его, от которого так необъяснимо хорошо, был бы всегда рядом. Но, с другой стороны, что-то ее настораживало и даже пугало. Если правду сказать, то она сама себя боялась, что не сумеет совладать со своими чувствами.

Отец не спешил с решением. Заставил всех подождать, прежде чем заговорил:

— Так это... Маджип-сынок... Не будет ли молодому парню рядом со стариками скучно...

— Скучно?! Ну вы и сказанули, дядя Габделатыф... Когда ему скучать-то? Не-ког-да! У меня в планах использовать его на всю катушку... Утром уедет, вечером приедет. Вы его и видеть-то толком не будете... Если уж и в таком просторном доме, как ваш, не найти место для одного мужика, то я не знаю... Кстати, и пристрой у вас тоже пустует... Лето же, было бы место, куда голову прислонить, а больше ничего и не нужно... Ну как, договорились?

Опять воцарилась тишина. Отец, видимо, размышлял-прикидывал.

— Эта... Ладно, раз такое дело, пусть в пристрое и поживет, — выдал наконец-то дед.

Словно ливнем радости обдало Кариму после этих слов, ну как же тут устоять на месте-то. Ей сразу захотелось выйти, показаться на глаза, да и дом показать новоиспеченному постояльцу. Девушка схватила первую попавшуюся тарелку со стола, вышла в сени и тут же повстречалась взглядом с Исламом, стоявшим прямо напротив открытой двери.

Уехавшая только после полудня в воскресенье Карима через неделю опять вернулась домой — только в этот раз не в пятницу, а в субботу. Причина для такого переноса тоже имелась: девушка взяла отпуск и теперь целый месяц проведет дома. В прошлом году она съездила в Венгрию по путевке. А в этом — рядом с родителями отдохнет. Такое решение она приняла еще зимой. Однако непредвиденное появление на горизонте симпатичного шофера слегка ускорило ее уход в отпуск...

Сидя за самоваром сразу после возвращения, Карима при первом же удобном случае поинтересовалась:

— Как там наш квартирант, не разочаровывает?

Не успел отец и рта раскрыть, как мама, по обыкновению опережая всех, затараторила:

— Да что ты, дочка, повезло нам с ним! Помощником оказался, второго такого еще поискать надо. Вон, третьего дня, после работы забрал отца с собой и полмашины сена привезли, красота! — старуха хихикнула. — И отец наш теперь при деле, целый день сено сушит-вялит-переворачивает...

Старик Габделатыф искоса зыркнул на жену, но возражать не стал. За нетерпеливый характер дед про себя называл жену торопыгой. Но замолвить за парня словечко все же счел нужным:

— Парень — что надо!.. Из крестьян... Только вот зря в город уехал. Такие сейчас и в деревне-то на вес золота.

Немного погодя и машина подъехала к воротам, заставив содрогнуться окна и стены. На обед приехал Ислам. Увидев Кариму, он произнес с улыбкой:

— Смотри-ка, и гостя наша пожаловала. Тебя уже со вчерашнего дня ждут не дождутся. Заставляешь волноваться, — и с этими словами пошел к умывальнику, стоящему возле двери.

— Зато в этот раз я не уеду, — не сумела утаить своей радости Карима.

— Как так? Неужели уволилась с работы? — взялся за полотенце Ислам.

— Нет. Отпуск взяла.

— Ну-у-у, тогда за сеном будет кому ездить.

С этими словами они сели за противоположные стороны стола и посмотрели друг другу в глаза.

Карима в ответ шутливо прощепетала:

— Ну, если только в кабину будешь сажать...

Перед тем, как покинуть стол, дед Габделатыф сделал распоряжение жене:

— Ты, давай-ка, затопи-ка баню, вечером все и помоемся.

— Затоплю, конечно же, затоплю, воду натаскать теперь Карима есть, — тут решила бабка высказать наконец-то свою просьбу. — Слушай-ка, тебе говорю, дед, до осенних холодов не мешало бы баню нам в порядок привести. Или мастеров позовешь, чтобы вовремя все закончили...

— Да знаю я, заладила тоже мне... — старик только рукой махнул. Видимо, и сам не раз думал об этом.

Аппетитно уплетавший обед Ислам не оставил разговор без внимания. Поднял голову от тарелки с наваристым супом, поинтересовался:

— Что, неужели так много работы там?

На этот раз бабка промолчала — уж больно серьезная проблема, не для женского ума. Решила подождать, что муж скажет.

— Айййй...Нижние венцы у бани прогнили. Заменить бы их. Все руки не доходят, — посоветовал старик.

— А новые бревна-то есть у вас?

— Есть. В прошлом году еще заготовил я дубовые стволы.

— Раз такое дело, тогда сами и сделаем ремонт. Два угла на домкратах поднимем и закрепим...И мастеров не нужно будет звать...

— Так ведь это, сынок...Ты и так-то до ночи на работе. Не отдыхаешь. Надорвешься ведь. Лучше спецов позову я, — попытался было отговорить Ислама старик.

— Не беспокойтесь, Габделатыф-абый... Самое главное — бревна приготовьте, — сказал паренек, полотенцем утирая со лба и шеи послеобеденный пот. — Ладно, поеду-ка я...

— Ой, как хорошо бы было, как хорошо... Пусть только все хорошее тебе сопутствует в работе, сынок, — благодарила бабушка Сабира Ислама, провожая до двери. Уходя, Ислам успел бросить взгляд и на Кариму, повстречавшись с ее нежным взглядом, улыбнулся и шагнул за порог, почувствовав во всем теле прилив сил.

И даже после того, как машина отъехала от дома, бабушка Сабира продолжала восхищаться постояльцем, какой он умелый и трудолюбивый, какой он хороший помощник им, старикам. Так, нахваливая парня, она дала несколько кругов по своему дому-пятистенку. А дед Габделатыф все еще за столом, в думы свои погруженный, неторопливо попивал чаек. Вот, наконец, и он напился, перевернул вверх дном кружку, отряхнул свою округлую бороду и собрался, было, из-за стола выходить. Тут к нему подошла жена, протянула взятый с печной полки конверт Кариме и сказала:

— Вот, три дня назад от средней дочери письмо получили. В гости зовет нас с отцом.

Карима достала письмо и принялась читать. Пока дочь читала, в доме стояла тишина. Дочитав, Карима подняла голову, посмотрела на родителей. Старики тоже устремили свои взгляды на нее, терпеливо ожидая ответа.

— Пока стоит хорошая погода, надумала, видимо, сестра дачу вам показать, — прервала молчание дочка, еще раз пробежав глазами письмо. — Пока я дома, почему бы вам не съездить-то, — Карима вложила письмо в конверт и вернула матери, — в общем, сами решайте.

Хотя эти слова были произнесены обычным тоном, но сердечко у девушки все же встрепенулось.

— Тебе говорю, может, съездим, а? — спросила бабушка Сабира у мужа.

— Не знаю, что и сказать...Уборка же начинается... Как бы нам не устыдиться потом.

Бабка, почуяв, что старик сомневается, решила гнуть свою линию до конца.

— Э-э-э, папочка, какой такой стыд может быть пенсионерам-то... Ты свое уже отработал, с лихвой... Вон и табличка на наших воротах висит, что здесь почетный колхозник живет. — Бабушка начала собирать кружки со стола. — И потом, дед, Карима не может же за нами все лето здесь присматривать...

— А баня? — напомнил старик.

— Сделаем баню, обязательно сделаем... Я же не тороплю.

В комнате воцарилась тишина, и было слышно, как тихонечко напевал что-то себе под нос остывающий самовар. Старик, после некоторого молчания, подытожил:

— Хорошо, сначала баню отремонтируем, а там видно будет, — и вышел из-за стола.

Выходные прошли в ремонтных хлопотах. Ислам сдержал свое слово. С утра сам затеял разговор о замене нижних венцов. Впрочем, старик, в надежде на него, заранее освободил нужные бревна, заваленные до этого разными досками. Перед самым началом работы пришел предупрежденный накануне младший брат Габделатыфа — Вагиз. Со своим топором на плече. Короче, мастерам тут делать нечего, пусть отдыхают пока. Брат знает плотницкое дело не хуже любого мастера, у себя на дворе чего только не построил он своими руками.

Бревна, которые внизу вдоль полка лежали, совсем в негодность пришли, оказывается. Постоянно впитывали в себя мыльную воду и насквозь прогнили. А другие стены вроде совсем даже неплохо сохранились. Это значительно облегчило работу. Подъем двумя домкратами двух углов сруба и разборка нескольких нижних венцов одной стены не показались мужикам такими уж сложными и тяжелыми. Вагиз и Ислам напилили по размеру новые бревна и начали прилаживать их взамен испорченных. Старика Габделатыфу и дела-то никакого не осталось. Он на подхвате был да инструмент подавал. Немного помаявшись без дела возле работников, старик пошел в сарай и зарезал барашка, которого сегодня специально не выгнали в стадо, подвесил тушку к потолку и начал не спеша ее разделявать. Уж очень хотелось ему попотчевать как следует помощников своих.

Карима сначала отцу помогла, тазы для мяса ему вынесла. Потом в доме убралась, хорошенько выбила от пыли огромный палас. Справившись с этой работой, затеяла стирку. Заглянув к Исламу в пристрой, заодно собрала и его белье. Приглашенный к обеду Ислам, увидев свои одежды, развешанные на веревке, просиял. Эта немногословная, скромная девушка с каждым днем все глубже проникала в его сердце.

В этих милых душе всякого хозяина заботах, в этих сближающих людей делах и завершился выходной день.

Ремонт бани продолжался еще около недели. Правда, мужики, заменив бревна в выходные, свою работу закончили. Однако старое только шевельни, то тут, то там что-нибудь да отвалится... Но остальную мелочевку старик Габделатыф доделывал сам. Самый разгар уборки же, каждый человек на счету. Вот и Ислам с первыми петухами уезжает, за полночь только возвращается. Уж делать, так делать, решил старик — новый полок в бане сколотил, заменил начавшие подгнивать половицы, приделал на стену удобные полочки для мыла и шампуня, чтобы можно было дотянуться, не вставая с лавки. Когда закончились все эти мелкие работы, истопили отремонтированную, похорошевшую баньку и как следует намылись-напарились, не забывая нахваливать умелых ремонтников.

Через день-другой бабушка Сабир за ужином начала долгожданный разговор.

— Хвала аллаху, теперь и мы с баней, — сказала она и стала нахваливать удобство и целительный жар свежеремонтированной бани, не забыла поблагодарить и паренька-квартиранта за помощь, закончив напоминанием об обещанной поездке в Казань.

Дед ей возразил:

— Нет, мамочка, ты делай, как хочешь, но я поехать не могу, — сказал, как отрезал. — Вся деревня в пекле уборки горит, какой тут ехать, отдыхать... Никогда такого не было!..

— Э-э-э, тоже мне, агитатор, развыступался тут... — не на шутку завелась бабуля. — Больно нужен ты деревне-то... Пряма вся работа встанет без тебя, ага...

— Встанет или нет, не знаю, но уехать сейчас не могу. — Жилистая рука старика опустилась на стол с увесистым шлепком.

Видя, что противостояние разгорается не на шутку, в разговор вмешалась Карима:

— Мам, а что, если ты сама только поедешь? Отдохнешь одна как следует.

— Конечно, не все же нам на пару да под ручку ходить, ты ж не молодуха, не украдут, чать... — старик обнажил свои желтые зубы и хитромудро склонился на бабу.

— А вот и поеду, сама только и поеду, раз такое дело... Дочек-зятьев-внучат повидею наконец-то. — Бабушка вскочила и, не зная, куда себя деть, дала круг по комнате. — Правильно говоришь, доченька, отдохну одна как следует...

Наутро Ислам на груженном зерном «КамАЗе» попутно подбросил бабушку Сабиру до райцентра и посадил ее на автобус до столицы.

И остались они втроем. Особых изменений в жизнь это не внесло, только Кариме добавилось хлопот. Ей приходилось весь день чем-нибудь да заниматься. Деревня же, тут тебе и куры-гуси-утки, и Акбай на цепи, и теленок на аркане — всех нужно накормить, напоить, за всеми уследить. Мало того, еще и в огороде работы — хоть отбавляй: поливка, прополка, все легло теперь на хрупкие плечи девушки. А вечером — корова с овечками возвращаются из стада... Короче, навалившихся на одну Кариму мелочей и троим не разгрести. Дед с бабкой хотя и на пенсии, но изо всех сил старались не уменьшать поголовье домашнего скота. И не потому, что острая нужда в этом, нет, им самим немного нужно, чтобы прокормиться, и пенсии им вполне хватает, — чтоб хоть как-то, хоть чем-то детям помочь, держат они скотину. Свое деревенское мясо, как ни крути, всегда лучше, чем на городском рынке купленное...

Старик Габделатыф исправно выполнял свою привычную ежедневную работу: с утра выгнать скот в стадо, прибрать в сарае за коровой и овцами, подмести двор, обойти надворные постройки, в палисадник заглянуть — не отошла ли где доска, не покривился ли забор, не сломалась ли какая ветка? — и только после всего этого он заходил в дом, чтобы выпить приготовленный Каримой чай. Проводив Ислама, выходил дед на улицу, садился на скамейку у ворот и слушал, как село просыпается, как собирается, суетясь и поругиваясь, на работу, как вдохновенно трудится. Но нажитая за годы труда привычка берет свое, дед, не в силах усидеть на одном месте, шел на ферму. Если за целый день ни разу не сходит туда, не узнает всех новостей — суп ему не в радость, а сон не в сладость будет...

В первые дни он чувствовал себя без жены как-то свободнее, даже дышать как-то легче стало. Но нет, привык он, оказывается, к старухе своей, прикипел, вот уже и скучать начал без нее. Старику как-то не по себе без ее привычного беспокойства, без ее суеты...

Уезжающий с утра пораньше Ислам возвращался, как правило, только поздно вечером. Спрыгнув со своего насквозь пропахшего маслом, бензином и дорожной пылью «КамАЗа», он первым делом попинает по колесам, с хозяйским видом обойдет вокруг машины и только после этого заходит во двор. Раздевается по пояс, покрякивая и покрикивая, шумно умывается, освобождая усталое тело от машинных запахов. Карима в это время или корову доит или, уже закончив, накрывает на стол. Ставит на стол катык, для забеливания супа, кладет в отдельную тарелку свежий, только что с грядки, мелконарубленный зеленый лук, чтобы сверху суп украсить. Когда все уже готово, еще раз пробежится глазами по столу, мол, не забыла ли чего, и идет на улицу звать свежевывымытого, аккуратно причесанного, облаченного в чистую белую рубашку Ислама. Без материнского глаза девушка чувствовала себя намного свободней.

Эти приятные изменения в дочери, ее воодушевление не остались не замеченными стариком Габделатыфом, но он ничего по этому поводу не сказал и даже виду не подал. Напротив, прятал свою озорную улыбку в усы, а про себя иногда вздыхал: «Эх, молодость, молодость!» Отсутствию жены он только радовался в эти минуты.

Надо сказать, что Габделатыф никогда не находил общего языка со своей женой в этих вопросах. Четырех девочек и одного мальчика они вырастили. То ли потому, что девчонок больше было, но Сабира все время дрожала за них, все от мужиков пыталась оберегать. Но, независимо от ее запретов, каждая в свой срок находила себе парня и выходила замуж...

Отец с матерью часто спорили, потому что отец всегда доверял дочерям, их уму и порядочности, и всегда поддерживал их свободу и самостоятельность. Сабиру такое легкомысленное поведение мужа все время бесило, и при первом удобном случае она старалась обвинить во всех неудачах Габделатыфа... Потому-то и радовался старик за свою дочь. Кому это нужно — опекать тридцатилетнюю девушку?.. Не дети уже, выросли, ума набрались, сами должны быть хозяйками своей судьбы... И вот еще что: старик никак не мог понять и принять этого поспешного решения Сабиры поехать в гости, забыв о том, что в доме посторонний человек останется один на один с Каримой. Если бы тогда ей раскрыть глаза на ее опрометчивый поступок, то наверняка бабка дернулась бы от испуга как ужаленная... Ладно уж, пусть отдыхает, лишь бы ничего плохого не случилось... От разлуки с дочерью, наверное, рассудок ее затуманился...

Вечернее застолье — самая прекрасная, самая запоминающаяся пора. Этих вечеров и парень и девушка ждут с нетерпением. За столом все больше Ислам говорит, ему все в деревне внове, он целый день среди людей — много чего видит и слышит. И поэтому все новости в дом приносит он. Карима слушает его с улыбкой, ей интересны его наблюдения за односельчанами, она отвечает на его вопросы.

Однажды за ужином Ислам спросил:

— Слушайте-ка, а в доме, который недалеко от магазина, кто живет?

Отец с дочкой переглянулись, и старик уточнил:

— Это с зеленой крышей который?

— Да.

— А-а-а... Дарчин Камиль... А что?

— Как-то проезжаю мимо этого дома на машине... А он окошко открыл, высунулся и давай подштанники свои трясти-вытряхивать.

За столом раздался дружный смех, и Карима тоже смеялась от души, не в силах сдержаться.

Когда немного поутихло, Габделатыф добавил:

— Толком никогда и не работал он в колхозе-то...

— Да? А домик-то ничава, добротный, — удивился Ислам.

— У-у...за своим-то он завсегда смотрит, — посерьезнел старик.

Да, нравились девушке такие вечера, теплые перегляды с Исламом. В эти минуты Карима вдруг неожиданно начинала представлять себя замужней женщиной, как ее старшие сестры, будто бы она вышла замуж за Ислама, и что она, его любимая жена, ждет уставшего и голодного мужа с работы, заставив стол вкусной едой. Почему же судьба не дает ей такого счастья? Чем же она хуже других-то? Ну, чем же они не пара-то?..

От таких нерадостных мыслей тень пробежала по лицу девушки, но она старалась тут же и прогнать все эти раздумья прочь, — не хочется ей терять ни одной драгоценной минутки на эти невеселые размышления. Ведь ее плохое настроение тут же передается Исламу, испортив и ему вечер. А ведь Кариме хочется совсем-совсем другого — прижать эту кудрявую голову к своей переполненной нежностью груди, вдоволь наиграться озорными кудряшками, приласкать и приласкаться хочется девушке... А разве же ей, как и всем, не хочется замуж, растить детей, играть с ними, такими крепенькими и веселыми!..

Годы идут, а счастье... где оно счастье-то?.. И во время учебы в институте не нашлось ей подходящей пары. Может быть, оттого, что излишне строга и горда была Карима. Вон же, девушки, которые были более неприхотливы, уже к четвертому-пятому курсу сумели разжиться мужьями. Правду сказать, и у Каримы были ухажеры. Но почему-то не встретился тот, в которого можно было бы влюбиться в один миг и на всю жизнь, потерять от любви голову, а выскочить замуж только ради того, чтобы не остаться в девках — это не по ней. Ну, никак не встречается ей любовь. Судьба, видимо, такая. А вот от одного только взгляда Ислама девушку то в жар кидает, то в холод.

Сколько уж лет минуло с окончания института, а Карима до сих пор одна. Хорошо еще, что работа в радость, только это и выручает ее. На работе ее уважают и ценят как хорошего специалиста. Опять же тот факт, что родители рядом, что можно за ними ухаживать, тоже вносит разнообразие в ее жизнь.

Конечно же, и сейчас есть мужчины, которым она небезразлична. Но ни один из них не пришелся по сердцу. Попадаются ей, в основном, неудачники, разведенные или же любители приложиться к бутылке. Понятно, что сердце Каримы для таких навсегда закрыто. Больше всего она боится в этой жизни двух вещей — пьянства и мелочности. Если только замечает у людей, которые вроде бы уже и нравиться ей начинали, хоть один из этих изъянов, то сразу же охладевает. Чем жить-мучиться с мелочным мужиком или с пьяницей, лучше уж спокойно в одиночестве дни коротать, решила она для себя. Однако, что ни говори, это спокойствие совсем не то, которого она желала...

В последнее время открыла она одну истину. «Почему это все меньше и меньше достойных людей встречается мне?» — не раз задавала она себе такой вопрос. И сама же нашла на него ответ: все приличные парни, оказывается, уже давно обзавелись семьями, детей растят. Ей только остатки перепадает. Так вот и перешла Карима одну всем известную границу — превратилась в старую деву... Но как и когда это произошло, не заметила... Сердце-то — оно же всегда юное, все ждет чего-то, и стареть оно не хочет, известный факт... Только морщинки вокруг глаз все больше становятся почему-то...

Раз своей семьи нет, то и в командировки чаще всех направляли Кариму, она поворчит для порядку, мол, опять меня, почему опять я, но в душе всегда ехала в Казань с удовольствием. Там ей легче было развеять грусть свою. Всегда останавливалась у сестер, разговаривала с ними, делилась своими секретами и проблемами, а самое главное — с племянниками успевала наиграться вдоволь. На коленках качала, заставляя их визжать от восторга. По пышным попкам ласково шлепала. Всякими привезенными с собой вкусностями угощала. Сестры ее поругивали за это: «Зачем так много сладкого им даешь? Так и до диатеза недалеко». Карима только смеялась: «Не будет, не бойтесь... Не так уж часто я к вам в гости приезжаю, так ведь, малыш?», — обращалась она к лезущему носом в торт ребенку, теребя его мягкие кудряшки.

После ужина Ислам, по обыкновению, выходил на улицу, чтобы выкурить не спеша сигаретку-другую.

Он вырос в деревне. Он любит деревню. Но судьба у него сложилась как-то неожиданно. После армии уехал в город, да так там и остался. А сейчас что-нибудь менять, видимо, уже поздно. Но деревня манит его, ноет в груди его, как заноза, все время напоминая о себе. Потому и стремится Ислам во время уборочной приезжать в какое-нибудь село. И в автохозяйстве, зная об этом, стараются откомандировать его на время страды в один из районов.

Ах, как же тихи, как же красивы вечера в деревне!.. Вон, прямо над ветлами, что растут вдоль ручья, поднимается полная луна, на небе то здесь, то там по одной, по две зажигаются звезды. А если запрокинешь голову назад и посмотришь прямо над собой, то увидишь Млечный Путь, красивой вышивкой проходящий через ночное небо. Туманной тропинкой он разделяет весь небосвод надвое. И виден только в такие, как сегодня, безоблачные ночи. Ислам где-то вычитал: туманность образуют звезды, лежащие все в одной плоскости. А наши предки-татары назвали Млечный Путь по-другому — Дорога Диких Гусей. Наверное, в ясные ночи ложились уставшие предки на спину, а вокруг — бескрайние степные просторы, ничто не мешает охватить взглядом полмира, и наблюдали они, как вдоль туманной полоски возвращались из теплых краев лебеди, гуси и утки к родным озерам, большим и малым...

Неожиданно всполошились, закаркали вороны, облепившие на ночь ветлу. Видимо, сова тревожит сонных птиц, подумал Ислам. Вчера вечером он успел заметить, как одна сова бесшумно пролетела в сторону ручья. На дальней стороне улицы раздалось одинокое блеянье заблудившейся овечки. Шумной компанией прошли в сторону клуба девушки. Вдоль дороги, что выходит из деревни, замелькали редкие огоньки, но никаких звуков не доносится. Это, скорее всего, парни пошли в соседнюю деревню в гости к девушкам...

В эту минуту звякнул засов, и в приоткрывшейся наполовину калитке показалась Карима.

— Иди сюда, садись, — пригласил Ислам, выбросив подальше сигарету. — Какая красивая сегодня ночь. И вообще, деревня ваша, оказывается, тоже очень тихая и красивая.

— Да, красивая, — сказала Карима и робко под села рядом. — Если одну неделю только пропущу, не приеду, то сразу чего-то недостает мне...

— А сама так далеко устроилась.

— Это еще ничего, близко считается... — сказала девушка, и решила пояснить: — Здесь же для меня работы не было, а устраиваться на любую другую у меня не было никакого желания.

— Мама-то когда домой приедет?

— Пока ей самой не надоест, не приедет.

— Сена бы привезти надо. А то Сабира-апа, когда вернется, скажет, что хвастуном оказался парнишка-то, не сделал того, что обещал, — Ислам улыбнулся.

— Не скажет... Наша мама не такая, — успокоила Карима, — Скоро должны зятя подъехать, они накосят, если что...

Ислам сел поближе к Кариме, взял ее руки в свои. Девушка, на его счастье, рук не отняла. В следующий миг они повернулись друг к другу и не поняли, как слились их дыхания.

И того, что старик Габделатыф все слышал и видел через открытое окно, тоже не заметили.

Ночью Карима очень плохо спала, все бредила чем-то и с кем-то разговаривала во сне. Утром выглядела утомленной, под глазами — бледно-синие круги. Вчера Ислам, прикоснувшись к ее губам, к ее телу, разжег в ней огонь, который и без того готов был вспыхнуть от малейшей искры. Хорошо еще, что отец был в доме, а то если бы Ислам вошел за ней следом, то вряд ли нашла бы она в себе силы, чтобы удержать его. Расстроенный парень, оставшийся во дворе, всю ночь стоял у нее перед глазами. За все эти дни ни одной плохой черты характера она в нем не увидела. Нравится ей Ислам, ох, как нравится! Как она будет жить, что делать, когда он уедет, Карима даже и представить не могла. Неужели это и есть долгожданная любовь? Таких головокружительных чувств у Каримы еще не было...

За утренним чаем парень и девушка чувствовали себя как-то неловко, разговор не клеился. Те чувства, которые зажглись между ними вчера вечером, днем казались чем-то посторонним, лишним. Чтобы скорее избавиться от натянутости, Ислам слегка поклевал завтрак и быстренько исчез. Когда он уехал, Карима почувствовала некоторое облегчение, теперь она могла, не торопясь, подумать, разобраться в своих чувствах.

С тех пор, как у них поселился Ислам, Карима даже в ежедневных заботах находила неведомый ранее смысл и получала от этих простых дел особое удовольствие. Если мыла полы, то для того, чтобы Ислам всегда наступал на чистое, если варила суп, то для того, чтобы вкусно накормить Ислама, у стирки та же цель — чтобы Ислам мог после работы одеться во все чистое, и чтобы, в благодарность за такую заботу, он улыбнулся и нежно-нежно посмотрел на нее. Только сейчас она начала по-настоящему понимать своих

замужних сестер. Раньше ее удивляло их повышенное внимание к дому, к мужу, к семье, удивляло, а иногда и раздражало. А сейчас она поняла — они нашли свое счастье, они по-настоящему счастливые женщины!.. А когда есть любовь — ничего не страшно, любое дело по плечу, на все хватает сил... Важным, очень важным открытием стало это для Каримы. Может, в этом и состоит главный секрет семейного счастья...

Не переставая размышлять о любви и счастье, она перемыла посуду, вытерла полы, прибралась в доме, начала собирать белье в стирку. Зашла в пристрой к Исламу, нет ли и у него чего постирнуть. Вещи все раскиданы, даже постель как следует не заправлена, только одеялом сверху накрыта. То, что хозяин уезжал в спешке, видно невооруженным взглядом.

Карима села на табурет и попыталась представить себе спящего здесь, в летнем пристрое, Ислама. Интересно, думает ли парень о ней по ночам?.. Проходят ли его ночи, так же как и у нее, в сладких снах и грезах?.. Карима знает, что нравится Исламу, иначе разве стал бы он смотреть на нее так, что девушку бросает от его взгляда то в жар, то в холод?.. Если бы не нравилась она ему, разве его губы смогли бы так ее обжечь?..

Девушка задавала себе множество вопросов. Ей не хотелось потерять этого парня. Чутье подсказывало — больше такого хорошего человека, такого родного может и не встретиться. Погруженная в раздумья, Карима начала собирать одежду Ислама в стирку, протянула, было, руку к рубашке, висящей на спинке стула, как из кармана вывалился и шлепнулся на пол кошелек. Упал и раскрылся — из отсека выскользнуло какое-то фото. Удивленная Карима нагнулась и подняла снимок — с фотографии на нее смотрела маленькая девочка с белым бантом в волосах, а на обороте красовалась надпись: «Дочке Алсу 4 года» и, чуть ниже, дата.

Карима как подкошенная рухнула на стул, все тело ее обволокла непонятно откуда взявшаяся слабость, с губ сорвался невольный стон: «Э-эх, разве же нам можно мечтать о счастье-то!..»

И заплакала она, захлебываясь слезами...

Габделатыф-бабай долго думал, прикидывал и решил, что нужно ему на денек исчезнуть из дома. В последнее время дед ощущал себя здесь, словно не в своей тарелке, третьим лишним, что ли. Нет, никто ему не говорил такого, не намекал ни словом, ни взглядом. Но сам он это чувствовал. Раздумья о дочери своей, Кариме, переживания за ее судьбу, желание сделать дочку счастливой подтолкнули деда к этому решению.

Карима была самой доброжелательной из всех детей, все больше об отце с матерью заботилась, чем о себе. Не посмотрит ни на летнюю жару, ни на зимнюю стужу — всегда одолеет дорогу между райцентром и деревней. Приедет и утешит родителей, настроение им поднимет. А если уж не может приехать, то на ферму звонит, узнает через доярок — как там дела у родителей. Поэтому дед Габделатыф как-то по-особому относился к младшей дочери, любил ее сильнее, чем остальных детей — и то, что она до сих пор не определилась с семьей, не изведала женского счастья, постоянно терзало душу старику.

Но что-то изменилось с тех пор, как у них стал квартировать молодой шофер, дочку словно подменили. Резко помолодела, похорошела Карима, в глазах искорки заиграли, с лица улыбка не сходит, от всего этого на сердце у старика праздник. На сияющую девушку никак не может он нарадоваться-наглядеться. Правда, в последние дни какая-то хмурая ходит Карима, без настроения. Любовь, она такая: то присушит, то приголубит. Дед жизнь прожил и знает, что настоящая любовь очень редко встречается на пути, и больше всего Габделатыф боялся оказаться помехой дочкиному счастью...

За утренним чаем дед высказал мысль:

— Мне сегодня в район нужно съездить, дочка.

Ислам и Карима одновременно посмотрели на старика. Карима поинтересовалась:

— А что ты там будешь делать, отец?

— Насчет угля на зиму разузнать бы не мешало... Если сейчас не подсуетиться, то можно и с носом остаться, — ответил старик и потом добавил, — я слышал, что баржа уже пришла, и уголь потихоньку начали раздавать... В общем, съезжу, поразведая...

— После возвращения мамы съездил бы...

Старик в ответ улыбнулся:

— Если ее возвращения будешь ждать... — Габделатыф отставил в сторону пустую чашку, — я заодно уж и свата Фатиха проведаю... Может, у них и заночую, не теряйте меня, если допоздна не вернусь.

На горизонте целый день ходили тучи, но дождя так и не случилось. Солнце беспощадно жгло, над полями дрожало марево. Разомлевшая притихшая природа словно ждала чего-то, к чему-то готовилась.

И всегда-то нескончаемый, словно вожжа, летний день, сегодня длился для Каримы особенно долго, она просто извелась вся в ожидании вечера. И к тому же Ислам не приехал на обед, покушал где-нибудь в райцентре, наверное, или же в колхозной столовой. Так, в раздумьях, переглядила девушка пересохшее на жаре белье, разобрала одежду в шифоньере, развесила во дворе зимние одежды, чтобы прокалились-проветрились, потом выколотила их и снова занесла, аккуратно сложив на прежнее место. В таких вот, неведомо откуда берущихся делах-заботах, и встретила Карима вечер, с волнением ожидая возвращения Ислама.

Перед самым наступлением темноты начались какие-то изменения в погоде, на горизонте появлялись отблески далеких молний и зарницами растекались по полям, но грома пока не было слышно — видимо, гроза шла где-то очень далеко. Но, несмотря на приближающуюся ночь, воздух был еще очень горячим, словно в бане.

Машина Ислама и сегодня вернулась только тогда, когда уже совсем стемнело. Истомившаяся ожиданием девушка тут же выбежала с приветливой улыбкой навстречу. Карима была сегодня как-то по-особому ласкова.

Отец не вернулся, ужинали только вдвоем.

Отсутствие третьего собеседника за столом неожиданно повлияло на настроение. Возникавшие ранее непринужденные беседы сегодня никак не завязывались, уступая место напряженной тишине. И застольные шутки куда-то разом разбежались. Чтобы поскорее избавиться от неловкости, Ислам сразу же после ужина вышел за ворота и сел на скамейку. Он почему-то чувствовал себя неловко наедине с девушкой, не мог, как раньше, смотреть прямо в глаза, боялся, что, встретившись взглядами, выдаст себя с головой, не сможет удержать свой огонь, который, вырвавшись наружу, мог все испортить.

Парень переживал и мучился — он ведь не слепой, видит, как девушка тянется к нему. Всем телом и душой ощущает Ислам, как те отношения, что начинались вроде бы в шутку, превращаются в серьезное глубокое чувство, все сильнее привязывающее его к Кариме. Но он же семейный человек, в Казани у него жена и маленькая дочка. Правда, он пока ничего не рассказывал об этом Кариме. Она, наверное, считает его свободным. И всякие планы, видимо, строит в отношении его, надеется. Но он-то чем может ей помочь?.. Что, кроме горького разочарования, может принести это увлечение. Вот что сдерживает Ислама, вот от чего на сердце у него так беспокойно... А девушка-то ему нравится, еще как нравится...

А дождь все приближался, уже и громы отчетливо слышны, воздух стал подвижным, повеяло свежестью.

Закончив дела, Карима вышла на улицу. Подсела на краешек скамейки. В девушке тоже сегодня какие-то перемены видны, она тоже ведет себя как-то скованно. Спину держит слишком уж прямо, руки слишком уж неподвижно лежат на коленях.

— Пугал-пугал целый день, но, видимо, все-таки надумал пойти дождь-то, — сказал Ислам.

Карима думала совсем о другом и поэтому не сразу включилась в разговор. Не услышав ответа, Ислам продолжил:

— Сейчас дождь нам совсем ни к чему.

Девушка оторвалась от раздумий:

— Летний дождь не успеет пройти, как следом уже подсыхает, через полдня и следа от дождика не останется.

Разговор шел вокруг да около, не задевая волновавшую обоих тему.

Вдруг ночное небо прорезала молния, похожая на огромную ветку сухого дерева, не успела она погаснуть, как прямо над головой взорвался небосвод, а куски его с грохотом разлетелись в разные стороны. Карима вздрогнула, испуганно обняла свои локти и встала со скамейки.

— На самом деле, лучше пойти да лечь спать, — следом за Каримой засобирался Ислам. Зашли во двор, но прежде, чем они разошлись каждый по своим углам, случилось одно странное событие. Они, словно сговорившись, невольно повернулись и посмотрели друг на друга. Ничего в этом необычного не было, они и раньше часто, перед тем, как разойтись, переглядывались и перешучивались между собой. Но сегодня их взгляды задержались друг на друге как-то необычно долго, и поэтому возникла некоторая напряженность. Парню бы развеять это состояние, сказав что-нибудь или пошутив, как раньше он делал. Но язык у него в ту минуту стал какой-то непослушный, словно бы к небу прилип, не пошевелиться. Оба, конечно же, понимали, в чем причина этого напряжения, души их тянулись друг к другу, чего-то ждали друг от друга. Однако бывают минуты, когда все-таки лучше скрыть свое понимание...

От возникшей неловкости их избавила молния, выхватив из темноты на мгновение лица, рука девушки непроизвольно схватилась за дверную ручку, оказавшуюся совсем рядом за спиной.

...Ислам очнулся от оцепенения только после того, как звякнула дверная щеколда на веранде, но было уже поздно.

Он зашел в пристрой. На лбу проступил пот, сердце бешено колотилось, по телу прокатывались одна за другой жаркие волны, стало трудно дышать. Ислам распахнул до конца дверь, сбросил рубашку. Молнии сверкали все ярче и ярче, порой казалось, что при таком свете можно даже иголку отыскать в траве, гром с каждой минутой гремел все чаще и сильнее.

Через некоторое время Исламу очень захотелось пить. Не уснуть ему, если не утолит жажду. «Бадья с холодной водой должна стоять на веранде, но Карима, наверное, закрыла дверь изнутри», — подумал Ислам. Но решил проверить на всякий случай.

На счастье, дверь оказалась не заперта. Он очень осторожно вошел, чтобы не испугать девушку, в темноте нашел на ощупь кадучку. И ковшик тоже здесь был, на крышке лежал. Когда он начал пить большими глотками воду из ковшика, приоткрылась дверь дома и раздался слабый голос Каримы:

— Ислам...я молний боюсь, — прошептала она.

Машинально плюхнув ковшик на место, парень шагнул через порог в дом, сгреб стоящую в одной ночнушке Кариму в объятия и больше уже не выпускал...

В это время, осветив всю округу, сверкнула молния, загрохотал гром и пошел, наконец-то, долгожданный дождь, после нескольких первых крупных капель сразу же превратившийся в ливень.

Ничего этого сверкающего, грохочущего и льющегося с небес на землю парень с девушкой уже не замечали...

Где-то в середине зимы в одну из комнат правления районного колхоза вошел мужчина, одетый в короткую шубу и обутый в теплые унты. Не успела за ним захлопнуться дверь, как рабочую тишину нарушил вопросительный возглас:

— Карима здесь сидит?

Трое женщин дружно подняли от бумаг свои головы и с нескрываемым удивлением пристально посмотрели на беззастенчивого парня, который даже не удосужился снять шапку в помещении. У бледной девушки за дальним столом от удивления широко раскрылись глаза, исказилось гримасой лицо, даже зимой усыпанное веснушками. Она медленно поднялась из-за стола. Мужчина, увидев ее, рванулся навстречу, сметая кипы бумаг со столов:

— Карима, Карима моя... — радостно вскрикнул он и обнял растерявшуюся девушку.

Две другие сослуживицы понимающе переглянулись и вышли из комнаты.

— Я приехал, Карима, по тебе соскучившись, приехал, — сказал гость, жадно разглядывая Кариму и заметив изменения, округлившие ее, настороженно спросил: «Ты что? Неужели?..»

— Да, Ислам. — Губы у девушки мелко задрожали, она уткнулась парню в грудь и начала всхлипать.

В комнате воцарилась напряженная тишина. Ислам ласково погладил девушку по вздрагивающей спине. Карима понемногу успокоилась и взяла себя в руки.

— Ничего мне не говори, Ислам. Не нужны слова. Я все-все понимаю.

Они еще немного постояли молча.

— И про жену твою знаю, и про дочку, — спасительно нарушила тишину Карима.

— Откуда?.. Я же тебе ничего не рассказывал...

— Я, когда ты был на работе, собирала белье в стирку и нечаянно увидела твои документы... И фотографию дочки... — в эту минуту ей, забеременевшей без мужа девушке, вспомнились все те слова, которые она мысленно произносила долгими одинокими бессонными ночами Исламу, когда ей становилось совсем уж невмоготу. — Так вот я все и узнала, и, ты знаешь, Ислам, почему-то мне сразу стало легче... Только вот расстаться с тобой просто так я не смогла... — глаза у Каримы снова увлажнились, сквозь наворачнувшиеся слезы она посмотрела на Ислама, — а про остальное ты и сам все знаешь.

— Эх, Карима!..

Ислам еще раз крепко прижал девушку к груди, а Карима, почувствовав, что начинает таять в его объятиях, отстранилась, да и место здесь не самое подходящее.

— У меня к тебе одна просьба есть, Ислам, — сказала она.

— Слушаю тебя, Карима.

Девушка, собираясь с мыслями, немного помолчала, видимо, продолжать разговор ей было нелегко.

— Если ребенок родится живым-здоровым, то нужно будет отчество ему давать... В общем... пусть оно твоим будет, ладно... Не отказывай мне, пожалуйста...

От этих неожиданных слов Ислам вздрогнул. Невольный стон вырвался из его груди. Такой любви он и от жены, с которой столько лет уже прожил, не видел!.. Раз Карима из-за любви решила на такое, то чувство ее — настоящее, сильнее самого сильного!

«Карима!... Дорогая моя!... Я тебя никогда не забуду... Я уже не смогу жить так, как прежде... Ты изменила меня... Ты разожгла во мне огонь... Единственная моя!..»

В машине, едущей по зимней дороге, возвращается Ислам. Руки его крепко сжимают руль, глаза выхватывают из-под буранной поземки дорожное полотно, а мысли — мысли куда только не заносит его... То перед ним, терзая душу, возникает лицо Каримы, то вдруг он вспоминает свою жену... которая до сих пор не знает, для чего выходила замуж, которая не ценит его, своего мужа, которая после рождения дочери стала непонятно с чего зазнаваться... То, прямо из кутерьмы бурана, неожиданно появляются бесхитростные глаза маленькой дочери...

В какую сторону приведут его пути-дороги, пока не знает Ислам, пока не знает...

Перевод Наиля Ишмухаметова

ФАНИС ЯРУЛЛИН

БЫЛИНКА НА ВЕТРУ

(Отрывок из повести)

Минлегуль Рафиковой, работающей в доме ребенка и сумевшей не только осушить горькие слезы многих сирот, но и стать для них заботливой бабушкой, посвящаю...

Первая часть

Иногда не думала, что на старости лет пойду работать в Дом ребенка. Но, как видно, руки, огрубевшие за многие годы работы на стройке, и душа, зачерствевшая от похабных анекдотов подвыпивших мужиков, вдруг пожелали смягчиться и очиститься. В душе стали просыпаться доселе неизвестные чувства и стремления, особенно когда на глаза попадались статьи о брошенных детях. Хотелось что-то сделать для них, одарить каждого сердечной лаской и душевным теплом. Хотя были и сомнения: смогу ли? Хватит ли мне этого самого тепла, чтобы согреть чужих детей? Жизнь меня тоже, ой, как не баловала. В 1942 году отец ушел на фронт, оставив маму с детьми: мал-мала меньше. Вскоре, в один и тот же день умерли от дифтерии мои братишка и сестренка. Затем пришла похоронка на отца. Мать была в отчаянии. Чтобы на одного едока было меньше, меня отправили в соседнюю деревню к дедушке с бабушкой. Некоторое время спустя мама вторично вышла замуж и уже не могла заботиться о нас как раньше... Все эти события камнем ложились на мою еще неокрепшую душу. Я и сейчас вспоминаю, как билась в плаче: «Ну почему судьба так жестока именно к нам?» И лишь с годами поняла, что людей с израненной, как у меня, душой на земле очень много.

Сегодня я впервые иду на работу в Дом ребенка. На улице май. Теплынь. Солнечные лучи ласкают лицо и шею. Я смотрю в чистое, будто только что омытое дождем небо, на такие же просветленные лица людей, и мне кажется, что в такой прекрасный день на свете не может быть несчастных людей...

Вспоминаю такой же солнечный день 1951 года, когда я впервые приехала в Казань. Мечтала устроиться на работу, приодеться. Что ни говори, мне исполнилось 17 и мной начинали интересоваться ребята. Тогда мне казалось, что они видят не то, какие у меня лучистые глаза, а только мое старое, вылинявшее платье. Было стыдно, хотелось уклониться от этих взглядов. «Вот только доберусь до Казани, — думала я, — и оденусь, как кукла. Все будут мною восхищаться». Меня не пугало тогда, что в кармане не было ни гроша. Дома в дорогу мне дали фунт масла, сбитого из козьего молока. Предполагалось, что я продам это масло на станции в Арске и на вырученные деньги доберусь до Казани. Но масло — как сиротская радость — очень быстро растаяло. И когда я наконец добралась до Арска, стало ясно, что продавать мне нечего, и последний поезд давно ушел. Но это не сильно меня расстроило. Все-таки в моем узелке еще лежала пара новеньких лаптей, а душа была полна надежд. К тому же в Казани у меня есть родная сестра. Мне представлялось, что она живет в прекрасном доме, даже лучше, чем царский дворец. Только бы добраться до нее. Может быть, к моему приезду сестра еще и блинов напечет. И сразу

поставит самовар, когда я войду. Пока он будет закипать, мы обсудим деревенские новости. Между делом сестра откроет шифоньер, достанет оттуда красивое платье и скажет: «Минсылу, сестричка, примерь-ка, впору ли? Я его для тебя купила».

...Увлечись воспоминаниями, я и не заметила, как добралась до места. Во дворе мое внимание сразу привлекла скульптура: мать, обнимающая своих детей. Будто женщина хочет оградить их от бурь и превратностей судьбы.

Из газетных публикаций я знала, что эта скульптурная композиция поставлена на деньги Асгата Галимзянова. И я вдруг представила, что меня встречает не каменная женщина, а сам Асгат Галимзянов — человек святой души, посвятивший всю свою жизнь безвозмездному служению детям. От этих мыслей стало жарко, в горле пересохло. Захотелось плакать... Наверное, каждый, кто работает в Доме ребенка, святой.

С этой мыслью я переступила порог здания.

За мной закрепили одну из групп. Познакомили с каждым ребенком, но я не запомнила ни лиц, ни имен детей. Все они показались мне одинаковыми: одеты одинаково, у всех в глазах застыли слезы, а вид такой, что, заплачь один — и все хором разревутся. Я растерянно пробормотала: «Ой, я, наверное, никогда не смогу их полюбить». «Полюбишь, — ответила мне воспитательница, знакомившая с детишками, — ты еще будешь целовать им мокрые носы».

Самое тяжелое впечатление оставило то, что каждый предмет здесь был пронумерован: кровати, шкафы, стулья. Ребенок должен был садиться только на свой стул, складывать вещи в свой шкаф, надевать только свою одежду. Почему-то это напомнило мне жизнь военнопленных из фильмов. Ах, не приведи Господь моим внукам оказаться здесь. Вон как рыдает один ребенок: сучит ногами, что-то требует. Слезы градом катятся на подушку. Сколько же слез впитали в себя эти подушки и одеяла?! А звуки детского плача? Каменные стены и бетонные потолки не способны полностью поглотить их. И голос, как раненая птица, бьется о стены, окна. Рвет душу. Сердце, как надтреснутый колокол, надрывно гудит, ноет, жалуется...

Нет, нет! Я не смогу здесь работать. Разве можно привыкнуть к горю? Эти дети, будто желторотые птенцы, ждут, когда им в клювик положат пищу, чтобы, насытившись, спрятаться под материнское крыло. В чем же вина этих несчастных? За что Господь лишил их, только что появившихся на свет, материнской любви?

Пока я стояла так, не решаясь ни за что взяться, кто-то сунул мне в руку тряпку, ведро: надо помыть пол. Вокруг какая-то суета. Оказалось, что у одного ребенка обнаружили какую-то инфекционную болезнь, и теперь все в тревоге. Один из малышей неожиданно громко заплакал. Я, не выдержав, бросила тряпку, обтерла руки о полы халата и уже хотела взять ребенка на руки, как меня тут же одернули: «Нельзя прикасаться к детям, не сменив халата!»

Не помню, когда начался и как закончился мой первый рабочий день. Это был какой-то кошмар. И дети казались какими-то угрюмыми. Мои собственные в этом возрасте прямо светились изнутри, будто солнцем умытые. О Боже, дай сил и милосердия тем, кто здесь работает.

Через несколько дней я начала отличать мальчиков от девочек. Записав, кто на какой кровати лежит, я выучила список наизусть, как стихотворение. Имена я, конечно, запомнила, но самих детей различить пока не могу... Работа не ладится. Злюсь на себя за то, что я такая неумеха. Их же по четырнадцать на одного воспитателя! Даже в самой большой семье бывает легче: там старшие смотрят за младшими. Младшие знают, что они всегда могут рассчитывать на помощь старших. А эти... Эти еле стоят в своих кроватках. А некоторые и этого не могут. Не знаю, можно ли выходить таких детей? Даже когда берешь их на руки, чтобы приласкать, они словно пугаются чего-то. Я глажу их по спинке, а они таращатся удивленно и недоверчиво. Милые вы мои, как я вас понимаю. Вы были лишены всего: вы не сосали материнскую грудь, прижавшись к ней щекой, не засыпали, устав, с капелькой молока на губе и не чувствовали сквозь сон, как мать, воркуя что-то нежное, ласкает вас; вы не просыпались на мягких руках матери, вы не видели восхищения окружающих по поводу любой вашей гримаски и каждого звука, издаваемого вами... Когда впервые приподнялись ваши реснички и вы взглянули на мир, этот взгляд уткнулся в серые казенные стены. А голос ваш поглотила темная пустота длинных коридоров. Первая ваша улыбка так и погасла, никем не замеченная... Вот кто ты, голубоглазая и хилая девочка, с ножками-соломинками? Почему ты не прогонишь муху, севшую тебе на лоб? Неужели даже на это у тебя нет сил?

— Ыгы-ыгы. Уа-уа.

— А, ты хочешь на ручки? Но ведь нас за это ругают, красавица ты моя...

— Ыгы-ыгы...

— Бог даст, этой весной птички принесут тебе язычок. И ты уже не будешь гукать.

В первое время все дни слились для меня в один, я не различала границу между ними. Перед глазами постоянно, где бы я ни была — на улице, дома, в магазине, — дети. Сегодня двоих с высокой температурой отправили в больницу. Они уже даже плакать не могли, а только лежали в своих кроватках и жалобно стонали. Их бы взять на руки, приложить к их горячим лбам прохладную ладонь — им стало бы легче, но где там... Дел невпроворот. Одному штанишки поменять, другому мимоходом вытереть нос, третьего посадить на горшок, четвертому еще что-нибудь надо. Однако есть главное «но»: при любых обстоятельствах здесь не рекомендуют брать детей на руки, чтобы ребенок не привык и не избаловался. Я совершенно с этим не согласна. Если погладить ребенка по голове или, переодевая, посадить его к себе на колени и немного приласкать, как это может испортить его? Как же без ласки и нежности вырастить их добрыми и милосердными людьми? Когда берешь этих детей на руки и прижимаешь к себе, они замирают. Ведь они не знали никогда другого тепла, кроме как тепла постели. Один великий писатель сказал: «В человека самое святое входит с молоком матери». Но какими вырастут они, никогда не знавшие вкуса материнского молока? Не разжижеет ли их душа от жидкого бутылочного молока, которым кормят здесь? Ученые придумывают все новые лекарства, педагоги пишут книги о воспитании. Но все лекарства и сотни умных книг не стоят и капли материнского молока.

Многие из этих детей даже не умеют сосать грудь. Иногда, когда нет сил наблюдать, как заходится в плаче какой-нибудь ребенок, я в отчаянии прижимаю его голову к своей груди — мои собственные дети после этого обычно затихали, но эти не знают, что такое материнская грудь! Правда, некоторые малыши, видимо, какое-то время были с матерью и успели ощутить ее нежность. Таких детей и успокоить легче. Они затихают сразу же, как только дашь им пустую грудь. Но если тебя застанут за этим воспитатели или врачи, пиши пропало... Одно радует: многие дети уже узнают меня. Ждут, когда я поглажу их. Наверное, думают: «Эта тетя не чужая, можно и поласкаться». Есть одно существенное неудобство: воспитатели работают посменно, и детям приходится каждый день перестраиваться. А это очень трудно. Дома, в семье, есть бабушка и дедушка, которые «соединяют» родителей с детьми. А здесь бабушек нет. Впрочем, здесь, оказывается, должны быть няни. Но их обязанности выполняют те же воспитательницы.

Подумав немного на эту тему, я решила поговорить с главным врачом.

— Людмила Герасимовна, я человек новый и, наверно, многого не понимаю... Но мне кажется, что детям здесь нужна бабушка. Им не хватает нежности и тепла. Как бы ни старались воспитатели, они не могут всего успеть. К тому же работают они посменно, дети не успевают привыкнуть к ним. А вот если бы каждый день рядом с ними была бабушка...

Мои слова поначалу рассмешили главврача, будто я сказала какую-то глупость. Потом она вытерла выступившие на глаза слезы и вздохнула:

— Была бы моя воля, я бы к каждому ребенку приставила по воспитателю, но многое зависит не от нас. Впрочем, если бы я могла, я заставила самих матерей воспитывать своих детей. Если у тебя дома нет условий, пожалуйста, приходи сюда и ухаживай за ним здесь. Государство одевает, кормит, а от тебя требуется только ласка. И не для чужого ребенка, а для своего.

Людмила Герасимовна вздохнула.

— Ну ладно, это все так, мечты... В действительности я мало что могу. А вам, Минсылу апа, если хотите быть рядом с детьми каждый день и не боитесь грязной работы, предлагаю работать няней. А то воспитатели прохода не дают: жалуются, что работы слишком много. А как у вас, Минсылу апа, у самой в семье? Дети, муж?..

— Мужа нет, умер. А дети... Два сына. Уже взрослые. Работают на заводе. Слава Аллаху, проблем с детьми у меня никогда не было. Сыновья у меня хорошие.

— А как они отнеслись к тому, что вы пришли работать сюда? Что ни говори, зарплата здесь не ахти какая. А вам скоро на пенсию. Наверное, на прежней работе у вас зарплата была побольше...

— Да, это правда. Когда я решила перейти сюда, меня многие ругали: «Не сходи с ума, Минсылу апа, этих сироток ты все равно счастливыми не сделаешь. А мы с почетом проводим тебя на пенсию, вручим, как и всем ветеранам, сберкнижку с тысячью рублей. Тебе помешают, что ли, тысяча рублей сверх пенсии?» Вот так... А что подумали сыновья — не знаю. Грешить не стану, они мне ничего не сказали...

В тот день мы довольно долго проговорили с главврачом. А со следующего дня я начала работать няней. Теперь я хожу на работу ежедневно. Мою полы, посуду. Помогаю воспитателям. Некоторые смотрят на меня сочувственно, будто я разжалованный генерал. Я не стесняюсь этой своей работы. У меня же нет специального педагогического образования. А чтобы ладить с этими детьми, академию мало кончить. Говорю детишкам: «Я буду вашей бабушкой. Называйте меня «эби». То ли понимают, то ли нет. Когда я вхожу, они начинают хлопать в ладоши: «эббе, эббе». Если воспитательницы нет поблизости, я позволяю себе погладить детей по голове, по спине. Некоторым щекочу шейки. Как залиvisto, от души

они смеются! Если дети к моему приходу еще не встали, я подхожу к каждому и провожу ладонями вдоль всего тела, от головы до ног: «Расти большим, деточка!» Я убеждена, что ребенок должен просыпаться от материнского поцелуя или просто ощущая тепло рук близкого человека. Это и нас сближает. Когда я прикасаюсь к их личикам, ручкам, ножкам, во мне разливается какое-то неизъяснимое блаженство. И мое тело, уставшее за целый день от мытья полов, чистки паласов, вытирания пыли, словно оживает и распрямляется. О Аллах, неужели есть какая-то божественная сила, способная переходить из тела в тело, из души в душу?..

Воспитательница в нашей группе заболела. Сегодня я и «мама», и «бабушка». Обнимаю детей, сколько хочу. Но если бы я могла только сидеть и ласкать малышей. Пришло время полдника. Принесла из столовой кефир, творог. Покормила. Устала смертельно. Не успеваю. Посадила несколько детей на горшки, отвлеклась, смотрю — уже отползают... Собрала всех, посадила в манеж, дала игрушки. Если кто-нибудь начинает хныкать, играю с ним «в щекотку».

Я до сих пор почему-то не обращала внимания, что наша голубоглазая Катя, оказывается, не может шевелить ножками. Они у нее тоненькие, почти как и шейка. Посидит Катя подольше, и головка у нее начинает заваливаться набок — шея не держит.

— Ах, деточка, — говорю я ей, — сможешь ли ты когда-нибудь встать на ножки?

— Ыгы-ыгы, агга-агга!

— Говоришь: «Смогу, только ухаживать за мной нужно». Ну-ка, давай, протяни ножки. Вот так. Ага, не хочешь, чтобы я к ним прикасалась? Значит, они все-таки что-то чувствуют. Тогда есть надежда, слава Аллаху. Иди-ка сюда, наденем вот это красивое платьице.

— Агга-агга.

— Да, была бы рядом мама, ты не ослабела бы так. Но мамы у тебя нет. Ты найденыш. Что же делать, если родилась на свет, надо жить. Может, у мамы твоей другого выхода не было. Жизнь иногда так прижимает человека, что не продохнешь. А в тяжелую минуту каждый старается смахнуть с себя лишний груз. Сейчас, деточка, у всех жизнь тяжелая.

Дети играют в манеже, а я беру Катю на руки и подхожу к окну. Девочка сразу перестает плакать и застывает, замороженная. Из окна открывается вид на школьный двор. Катюша во все глаза смотрела на то, как гоняют в мяч мальчишки и девчонки. Как бы красиво ни была убрана детская, улица есть улица. Она привлекает ребенка свободой, постоянной изменчивостью. За считанные минуты Катю не узнать. Она хлопает в ладоши и что-то лопочет. Может быть, просит почаще подносить ее к окну?..

Сколько детей, столько и подходов к ним... К примеру, детский плач. Чаще всего мы не понимаем, почему ребенок плачет, считаем, что это просто каприз. Еще и ругаем за это. Но если вдуматься, плач заменяет ребенку слова... Так что работать мне и работать, прежде чем я не научусь понимать их смысл...

Настало время ужина. Я помыла детям ручки, надела фартучки и рассадила всех вокруг столов. Пока раскладывала по тарелкам кашу, детки разбрелись кто куда. Ах, вы мои ползунки! Что же будет, когда вы ходить научитесь? Совершенно не успеваю — то ли я слишком медлительная, то ли дети чересчур шустрые. Каша остывает.

... Так, кажется, всех собрала. Но теперь одна тарелка оказалась лишней. Значит, кого-то нет. Но вот кого именно — сразу и не соображу. Смотрю по сторонам. Ага, нет Гафура. Хорошо, что же делать теперь? Кормить детей или искать Гафура? Все тринадцать уже утонули в каше. Едят кто рукой, кто ложкой. Некоторые старательно вычерпывают кашу на стол... Гафур у нас вообще-то очень любит играть «в прятки». Затаится где-нибудь в уголке и ждет, когда я буду искать его. Я хожу, делаю вид, что не могу найти, а он вылетает из своего убежища с криком «ку-ку!» А восторга сколько! Где же он сейчас? Ах, деточка, с тобой судьба и так уже сыграла «в прятки» — еще до твоего рождения сбежал отец, а после рождения и мать. Долго еще тебе придется их искать...

На мои крики: «Гафур!» из соседней группы выглянула воспитательница: «Твоего Гафура главврач увела к себе». Плохо соображая, я с ходу влетела в кабинет главврача и закричала: «Что же вы делаете, я столько времени его ищу, а вы прячете его тут!».

Главврач язвительно улыбнулась:

— А-а, вспомнили, наконец, про ребенка?

— Не забыла я его... — начала оправдываться я, но главврач перебила меня:

— Если не забыли, значит, не умеете считать до четырнадцати!

Я была наслышана об этой манере Людмилы Герасимовны «отлавливать» заблудившихся в коридоре или во дворе детей, прятать их у себя и с удовольствием наблюдать, как мечется воспитатель. А после на собрании с пеной у рта рассказывать об этом «чрезвычайном происшествии».

Вернув Гафура в группу, я снова умыла детей, поменяла им одежду. Хорошо еще, что сменной одежды — вдоволь. В последнее время многие несут в дом ребенка кто одежду, кто деньги — может, в людях проснулось милосердие? Иногда привозят ягоды и фрукты из своих садов. Однако некоторые воспитательницы не любят таких. «Ходят тут, — ворчат они, — замаливают свои грехи, чтобы в рай попасть». Я не согласна с ними. Разве стараться попасть в рай — это плохо? Добро остается добром, даже если мы творим его в надежде, что нам за него воздастся... Если хорошенько подумать, то все мы ждем награды за свои хорошие поступки. Утешая ребенка, разве не рассчитываем мы хотя бы на его благодарную улыбку?

На следующий день я пришла на работу пораньше. Дети еще спали или делали вид, что спят. Они уже привыкли к тому, что я бужу их. Поглажу каждого, приговаривая: «Расти большим и хорошим. Пусть этот светлый день принесет тебе много радостей». В ожидании этого они лежат тихо, закрыв глаза и притворяясь, что спят: им очень хочется, чтобы я погладила их. Но иногда и этого им бывает мало, и кто-нибудь вдруг возьмет и прижмется щекой к моей ладони... А вот Лена ласк не любит. Если гладишь ее по голове, она начинает плакать. У девочки дурная привычка — сосать большой палец ноги. А ноги у нее, словно из теста, — куда потянешь, туда и идут.

— Господи, бедная девочка, ты, наверно, никогда не сможешь носить короткие платья. Неужели эти кривые ноги нельзя будет исправить? Парни ведь первым делом смотрят на ноги. Всем нравятся стройные ноги. Ну-ка, дай я потрогаю их...

— Ня-а, ня-а!

— Не хочешь? Ну ладно, не буду. Но только ты не бери ножки в рот. Нельзя, животик заболит.

Нет, не понимает. Вытащишь ножку изо рта, сразу начинает плакать. Воспитатели говорят: «Пусть сосет, своя же нога. Вырастет — перестанет». Но наша Лена не очень-то торопится расти. Она и есть толком не умеет: что ни дай, все выплевывает. А раз не ест, то и болеет. В таких случаях мы вызываем ее маму. Мать Лены — сама еще ребенок. Родила дочку в 14 лет. Беременность свою от родителей скрыла. Они — учителя в каком-то маленьком городке. Увидев живот дочери, отправили ее к дальним родственникам в Казань, чтобы избежать сплетен. Евгения — так зовут молодую мамашу — сейчас заканчивает среднюю школу. Дочку любит и прибегает каждый раз, когда ей сообщают о болезни Лены. Во рту у Евгении вечно жвачка.

— Вот, пожалуйста, — говорят ей воспитатели, — твоя дочь снова объявила голодовку...

Евгения как-то неловко берет дочь на руки и начинает ее «воспитывать».

— Ты почему не ешь кашу, а? Нужно есть. А то не вырастешь. Мне ведь надо, чтобы ты поскорее выросла. Тогда я заберу тебя отсюда. А тебе хочется прямо сейчас? Нет, сейчас нельзя. Я еще должна школу закончить, а потом устроиться на работу. А пока меня и так попрекают каждым куском. Я у тетки — лишняя. Говоришь: хочешь к бабушке? Нельзя, нам с тобой путь туда заказан. Они ведь у нас учителя. Людей воспитывают. А мы с тобой их опозорим. Так уж получилось. Одни меня жалеют, другие считают, что я распущенная... До чего же некоторые любят обсуждать чужую жизнь. А вот я ничем таким не интересуюсь. Разве нельзя жить и ни о чем не думать? Можно же! Родители же научили меня ни о чем не думать. Что говорить, с кем дружить — все было так, как хотелось им. А что делать, когда остаешься наедине с парнем, они мне объяснить не успели...

После таких «разговоров» Лена и впрямь скоро выздоравливала. Она снова ела, играла с детьми, смеялась. Видимо, и в самом деле между матерью и ребенком есть особая связь, о которой мы почти ничего и не знаем...

* * *

Забавные эти детишки. Только что народились на свет, а у каждого свой характер и нрав. И свой запах. Впрочем, чему удивляться? Когда я родила своего первенца, я надышаться не могла его запахом. Самый прекрасный цветок в мире не мог бы пахнуть приятнее. Запах цветка будоражит ноздри, а запах ребенка — душу. Каждой клеточкой ты чувствуешь: «Это твой сын, запомни, ты не должна спутать этот запах ни с каким другим в мире». А первое кормление грудью! Когда ребенок начинает сосать, блаженство разливается по всему телу: ты — корень, а ребенок твой — росток. Крохотные пальчики цепляются за грудь, будто проверяют прочность и надежность своего счастья. Ах, как тебе хорошо! Ты радуешься тому, что на свет родился новый человек — твоя плоть, часть твоей души.

И как только не разорвется сердце у тех матерей, которые оставляют в роддоме этот беззащитный комочек?! Как можно лишить корней эти хрупкие ростки? Неужели у них не замирало сердце в ожидании первого крика своего ребенка? А потом, вслушиваясь в него, неужели они не захлебнулись слезами счастья? Да кто же они, эти матери? Даже глухие способны услышать и пойти на голос собственного

ребенка... Ну разве это не чудо? Мне хочется крикнуть: «Господи, прости их, копошащихся на дне жизни и предающих Тебя!..»

Что-то я отвлеклась... А ведь у меня их целых четырнадцать, и каждое такое «чудо» надо умыть, накормить, переодеть. Рассуждать некогда, мол, это не моя забота, а воспитателя или медсестры. Лишь бы попроворнее быть... Я все еще не привыкла к здешним порядкам. Принимаясь за какую-нибудь работу, здесь обязательно нужно надевать специальный халат. А я забываю менять. Когда дети начинают «хором» плакать, я совсем теряюсь, а потом думаю: «Хорошо бы вам и в жизни быть такими же сплоченными».

Никак не разберусь до конца в характерах детей. Поделилась было с воспитательницей Тамарой Ивановной, а она еще и выговорила: «Зачем вам их характеры? Они же не домашние дети. И вообще, мне не нравится ваша манера общения с ними. Вы их портите. Балуете».

Эти слова обидели меня. Порчу я их, видите ли! Да кто же еще погладит по головке этих несчастных. Ведь жизнь и так обделила их всем.

— В будущем этих детей ждут большие испытания, — жестко продолжала Тамара. — А избалованный ребенок при первой же трудности скисает. Вы же не хотите, чтоб с ними было так же? Минсылу апа, я давно собиралась сказать вам это. Хорошо, что вы сами заговорили. Оставьте вы свои нежности. Всех обнимать рук не хватит.

— Но если не приласкать хотя бы изредка, как же внушить ребенку тягу к доброте и милосердию? — не унимаюсь я.

— А зачем нужны эти чувства в нашем жестоком мире? Если мы воспитаем их мягкими, то есть милосердными, как вы говорите, они, став взрослыми, вас же и проклянут. Потому что не смогут приспособиться к этой безжалостной действительности.

Я замолчала, не умея объяснить Тамаре ее неправоту. Нет, что ни говори, лаской человека испортить нельзя. Перед глазами снова проходило мое собственное детство.

...Мама вышла замуж за человека с пятью детьми. Я сильно тосковала по ней, особенно в ненастные дни, а когда становилось и вовсе невмоготу, шла в соседнюю деревню, где теперь жила моя мама. Деду я говорила, что пошла за молоком, и он понимал меня с полуслова: да, дочка, конечно, молоко кончилось, сходи. У нас с дедом коровы не было, а молоко нужно было постоянно, но еще больше мне нужна была материнская ласка. Когда я приходила в новую семью мамы, она не сразу обнимала меня. Харис абый, человек жесткий и немногословный, не одобрял наши встречи. Может быть, опасался, что его собственным детям достанется меньше тепла... Я побаивалась его, но сердце бунтовало. Каждая клеточка моего тела, каждый волосок на моей голове ждали ласки. И случайные, между делом, прикосновения матери — когда она просто поправляла на мне сбившийся набок платок — доставляли мне неизъяснимое наслаждение. А когда она не могла подойти ко мне, я купалась в ее нежном взгляде. Свет, льющийся из ее глаз, обволакивал меня и погружал в состояние бесконечного счастья: я забывала о том, что голодна, что моим промокшим ногам холодно... Этот свет пропитывал меня всю, и когда я возвращалась домой к деду, то была как пьяная. Душа пела. И хотелось, чтобы все живое на свете было так же счастливо, как я сейчас. У ворот меня поджидал дедушка. Мне хотелось, чтобы и ему немного перепало от того счастья, которым я была полна. Я обнимала его за шею, прижималась щекой к его лицу. И чувствовала, как по морщинистой щеке деда бежит слеза. Так мы и сидели, обнявшись, у ворот. Заходить в дом не хотелось, казалось, стоит войти, и нашей радости станет меньше. После смерти бабушки дом стал неприятным, что-то ушло из него...

* * *

В Доме ребенка я работаю всего десять дней, а такое ощущение, что всю жизнь... Сегодня у меня была ночная смена. Одного ребенка отправили в больницу с поносом. Надежда Николаевна очень встревожена, даже в лице изменилась. Насим замучил капризами: всю ночь я носила его на руках. В последнее время что-то не видать его матери, наверно, потому и ребенок так беспокоен. Мама Насима работает у нас воспитателем, только в другой группе. У нее нет ни мужа, ни жилья. Потому и отдала своего сына сюда. Ох уж эта нужда! Чего только с ней не натерпишься. Даже купить печенье или пряники ребенку не на что, да и негде — в магазинах пустые полки. Детишки с утра подолгу ждут завтрака. И пока мы с воспитательницей сажаем их на горшок, умываем, переодеваем, хорошо бы в этот момент дать им в руки печенье или сушку. Если мне попадается в магазине что-то подобное, покупаю побольше. Некоторым воспитателям это не нравится, они опять же считают, что я порчу детей. Но утреннюю кашу зачастую вообще невозможно есть. В ней, похоже, ни капли молока. Особенно это чувствовалось, когда на кухне работала Фатима, женщина с вечно голодными глазами. Масло, намазанное на хлеб,

невозможно было рассмотреть даже под микроскопом. Есть же люди, способные покуситься даже на сиротский хлеб! А некоторые воспитатели, не стесняясь, наливают себе полный бокал молока и прямо тут же, при детях, начинают хлебать его. Однажды мы из-за этого поругались с Зинаидой. Я застала ее уплетающей картофельное пюре, предназначенное детям.

— Что вы делаете? — встала я перед ней. — Ведь обед выдается строго по порциям. Если ребенок не съест хотя бы 200 граммов пюре, как же ему жить? А вы и эти несчастные 200 граммов им не докладываете.

— Не переживай, — ответила Зинаида, продолжая есть. — Меньше съедят — меньше в штаны наложат. Тебе же легче...

— И так уж большинство из них — как бледные тени. Сколько раз в день ест домашний ребенок?! А наши, если не давать им хотя бы положенной порции, с голоду умрут.

— Не волнуйся, не умрут. Смерть ищет благополучных и единственных, на которых родители молятся. Чем больше пинаешь ребенка, тем он крепче. Я до этого работала в приюте для детей с врожденными уродствами. Ой, каких только детей там нет! Один — как камбала, с одним глазом, другой похож на паука. А один ребенок не мог глотать, и нужно было сильно ударить его по спине, чтобы он проглотил. И ведь живут, не умирают. Вот и не бойся. Вор не возьмет бесполезную вещь, а смерть — ненужного ребенка.

Я с трудом верила своим ушам. Неужели и такие дети живут на свете? Слава Аллаху, наши дети здоровы. Но кто может гарантировать, что они и дальше будут такими, если их объедать?..

Эту Зинаиду, похоже, ничем не прошибешь — она продолжает есть детские порции. И как в нее только лезет — худа, как щепка. Наверно, все уходит в злость. Господи, не дай и мне превратиться в такую, как она. Хотя и ее понять можно: в магазинах-то пусто.

Ну что такое наша жизнь — с каждым днем все хуже и хуже. Стояла я на днях в очереди за маслом. Народу — море. Толкотня, ругань. И вдруг продавец кричит: «Не занимайте, масло кончается». И тут одна женщина начала пробираться вперед. Озверевшая толпа набросилась на несчастную.

— Куда лезешь, бесстыжая! — крикнул кто-то.

— Вытащите ее, — подсказал другой.

А третьи будто того только и ждали — вцепились в женщину.

— Я имею право взять без очереди, вот мое удостоверение матери-героини. Если я везде буду стоять в очередях, как же я прокормлю десятерых детей? — пыталась объяснить женщина. Но ее слова только еще больше распалили толпу.

— Не надо было рожать.

— Такие, как ты, плодят нищету в стране...

— Из-за таких наша страна дошла до ручки...

Несчастливая женщина хотела еще что-то сказать, но очередь была уже не в состоянии услышать ее.

— Долой плодящих нищету!

— Размножаются, как колорадские жуки, отравы на вас нет...

Шум усилился, толпа заволновалась. Кто-то тянул женщину из очереди, кто-то пытался воспрепятствовать этому. Задние ряды не поняли, что происходит, и надавили на передних. Женщина, прижатая к прилавку, пыталась освободиться, но народ все сильнее сжимал ее. Вот она из последних сил что-то выкрикнула, а потом, побелев, повалилась под ноги толпе. Ее вынесли и положили в сторонке...

— Надо вызвать «скорую помощь», — вышел кто-то из оцепенения и побежал к телефону-автомату. Через некоторое время подъехала машина и увезла женщину. Казалось бы, произошедшее должно было отрезвить людей, но толпа зверела все больше и больше. Услышав слова продавщицы: «масло кончилось», они едва не снесли прилавок. Продавщица начала было увещевать толпу, но, увидев, к чему дело клонится, тут же скрылась. В народе говорят: «Если корова взбесится, это будет страшнее коня». Верно говорят. Даже мужики в очереди за водкой не позволяют себе такого буйства. Толпа начала крушить все, что было в магазине. Кто-то крикнул: «Они прячут масло!» Эти слова будто и вправду подлили масла в огонь.

Куда же мы катимся? Откуда такая дикость? А ведь большинство стоящих в очереди — женщины, сами матери. Кто подумал о той несчастной, у которой дома остались десять детей. Что будет с ними, если их мать положат в больницу? А если среди них есть грудной ребенок, женщина-то молодая...

Снова вспомнила послевоенную деревню. У нас была мать-героиня Гульмарьям. Однажды надумала она провести обряд обрезания сразу двоим сыновьям. Одному было семь, другому — пять лет. Прослышав об этом, вся деревня потянулась к ней в дом — кто блинов испек, кто кусок курицы принес — словом, не с пустыми руками. Целую неделю мальчишки — а с ними и вся семья — пировали. Помнится, их сестренка, Зульфья, насмешила тогда всю деревню, заявив: «Мама, я тоже хочу обрезание».

Да, в деревне рождение ребенка было большим событием. Соседи всегда шли с угощением, часто отрывая от себя и своих детей. В деревне даже рождение теленка было большой общей радостью. Через 4–5 дней после отела полагалось пригласить в дом соседей и родственников, чтобы поделиться с ними своей радостью... А ведь тогда народ жил беднее, чем сейчас. Что же случилось с людьми? Неужели ребенок значит теперь даже меньше, чем теленок? А ведь большинство из нас в недавнем прошлом — выходцы из деревни.

Не дают мне покоя эти мысли. Сколько ни пыталась я объяснить поведение Зинаиды нуждой, душа моя не соглашалась с этими доводами. Если нужда — это оправдание, то получается, что можно оправдать всех воров и грабителей. Честный человек, в какой бы трудной ситуации он ни оказался, никогда не посягнет на чужое.

Сегодня день прошел хорошо. Играли с детьми в мяч. Потом «в прятки». Дети смеются от души. Им нравится, когда взрослый человек с ними как бы на равных. Иногда какой-нибудь малыш подкараулит и взберется тебе на коленки — приласкаться... Только ужин опять все испортил. Повара не рассчитали, и компота не хватило, дети начали плакать — они же привыкли, что после каши должен быть сок или компот. Пришлось дать простой воды. После этого шум поутих.

Сегодня вывели детей на прогулку. Помогала мне врач Амина Наилевна. Вот она — настоящий врач. Жизни своей не пожалеет ради детей! Дети очень любят гулять. Мы расстилаем большое покрывало и сажаем на него малышей. Пока одних собираем на улицу, другие начинают расползаться в разные стороны. Будто горошинки — так и норовят куда-нибудь закатиться. А Катюша наша по-прежнему слаба. Ноги как из теста. Начнешь менять ей колготки, а она машет ручками: «не-не». Больно ей, что ли? Вот она и просит, чтобы ее не трогали. И еще у нее почему-то все время вздутый животик. Наши врачи постоянно осматривают ее, но понять причину не могут. Я все думаю: а почему бы не отвезти ребенка в больницу? Сказать об этом вслух не решаюсь. Во-первых, я человек новый, а во-вторых, я — всего лишь няня. Да-да, мне постоянно напоминают, что я — только няня.

Катюшу мы вывозим на улицу в коляске. Играли «в прятки». Я называю чье-нибудь имя и прячусь за манеж, детишки начинают ползком искать меня. Если кто-нибудь не может найти и начинает плакать от расстройства, я подаю голос: «ку-ку». И тогда все дети разом ползут ко мне. А потом от радости, что я «нашлась», хлопают в ладошки и смеются. Катя лежит некоторое время молча. Наверно, она боится, что если она закапризничает, то не видать ей больше улицы. Мне очень хочется вовлечь в нашу игру и Катюшу, но как? Может быть, спрятать ее вместе с коляской, а дети будут искать? Я поговорила об этом со старшей воспитательницей Надеждой Николаевной, и она одобрила мою затею. Итак, нужно отвлечь детей и спрятать Катю. Отвлекать у нас мастерица Надежда Николаевна. Она всплеснет вдруг руками: «Вон там, в небе, кто-то летит, может, журавли несут нашей Катюше ножки», — и смотрит вверх, приложив к глазам руки козырьком. За нею все дети делают так же: каждому хочется увидеть журавля, который принес Кате ножки. А я в это время осторожно прячу Катю за манеж. Когда дело сделано, Надежда Николаевна говорит: «Ой, дети, нашу Катюшу, кажется, журавлики унесли, давайте поищем ее. А то ей, наверно, скучно одной».

Детишки сначала внимательно смотрят в небо, что-то говорят по-своему. Может быть, облака, плывущие там, рождают в их душах какие-то мысли. А может быть, они хотят сказать, что наша Катя там, за этими облаками?.. Но нельзя, чтобы малыши слишком долго смотрели в небо, потому что Катюша может заскучать и заплакать. Снова выручает Надежда Николаевна: «А вот эта птичка, кажется, принесла весточку от нашей Кати? Значит, наша Катя здесь, где-то рядом».

Малыши начинают ползком исследовать окрестности манежа и когда Катю наконец находят, поднимают такой шум! А сама Катя просто счастлива!

Сегодня во время игры произошло радостное событие: Лейла самостоятельно, без поддержки, начала стоять на ножках. Мы окружили ее и начали хвалить. Лейла радуется вместе с нами, хлопает в ладошки, устав, шлепается на пол, но снова встает...

В обед аппетит у всех отменный — сказывается, видимо, прогулка на свежем воздухе. На второе было картофельное пюре. Дети вылизали тарелки и начали просить еще. Картошки больше не было, и Надежда Николаевна начала показывать каждому ребенку пустую кастрюлю: «Вот, посмотри, нет больше, кончилась». Дети вообще частенько просят добавки. Когда я занимаюсь раздачей порций, я всегда оставляю на дне кастрюли небольшой запас — на тот случай, если кто-нибудь из детей попросит еще. Эта дополнительная порция кажется им особенно вкусной.

Ближе к вечеру зашла мать Насима — Расима, принесла сыну конфеты. «Иди-ка сюда, сынок, я дам тебе что-то вкусненькое», — и она попыталась всунуть конфету в рот Насиму. Но ребенок оттолкнул ее руку. Похоже, обиделся на маму. Она и в самом деле нечасто навещает сына. А в дни, когда у нее выходные, вообще не появляется, хотя и безмужняя. Казалось бы, сиди с сыном целыми днями. Впрочем,

это мне, старухе, так кажется. А Расима молодая и красивая. И не станет, конечно, посвящать себя целиком своему ребенку. Насим чувствует это, а потому и капризничает. Вот и конфету отбросил прочь. Расима подняла ее: «Ах так, тогда я ее другому отдам. На, Гафур, съешь конфету», — и протягивает ее Гафуру. Мальчик заворожено смотрит на конфету и уже открыл было рот, но Расима вдруг резким движением отдергивает руку. «Ну нет, мой Насим сам съест». Что было с Гафуром — догадаться нетрудно.

Я разозлилась:

— Ты почему ребенка обманула?

— А что, я должна всех кормить конфетами?

— Нет, но зачем обманывать? И не первый раз. Когда кашей кормишь, то же самое: «На, Лейла, съешь, на, Сережа, ты съешь». Ребенок только рот откроет, а ты сразу съешь ложку в рот Насиму. Дети ведь расстраиваются. Потом целый день капризничают. Ты же убиваешь в них веру. А если они нам верить перестанут, кому же будут верить в этом мире?..

— О Господи, подумаешь. Обманываю, видите ли. Жизнь еще не такое им преподнесет. Извините, но я не могу относиться ко всем детям, как к своему собственному ребенку. Вот дадут мне комнату, я и дня не оставлю здесь сына. Вы специально обижаете его, когда меня здесь нет, — назло мне.

— Что ты несешь, Расима? Какая у нас может быть злоба по отношению к тебе, а тем более к Насиму?

— Почему тогда забрали у него те пестрые носочки?

— Ты же знаешь, что эти носочки связала и подарила Гульфийе ее бабушка. Гульфийа так гордилась ими. Мы с трудом уговорили ее в первый день снять носочки на ночь. А ты взяла и натянула их на своего сына. Ну, каково было видеть это девочке?

Но Расиму мои слова вывели из себя, и она начала кричать:

— Ха, подумаешь, кто ты такая?! Тоже мне педагог! Представляю, как бы ты пыжилась, будь у тебя образование, хотя бы с мое. Если хочешь знать, тут все говорят, что у тебя «крыша поехала». Вот так. Я своего Насима с другими детьми равнять не могу, других-то на помойке подобрали. Поэтому и одевать и кормить сына я буду по-своему.

После ухода Расимы я еще долго не могла приняться за работу. Вспомнились слова главврача: «Будь моя воля, я бы обязала каждую мать самой воспитывать своего ребенка». Но почему, когда приходит чья-то мать, должны страдать остальные дети? В наших условиях мало быть доброй к собственному ребенку, надо быть милосердной к другим детям. Не каждая мать к этому готова.

Расима, конечно, права. Я не педагог. Мне не довелось получить образование. В неполных 17 лет я уехала из дома и устроилась работать на стройку учеником маляра. Когда я воспитывала собственных детей, даже не задумывалась о том, что педагогика — это целая наука. Сыновьями даже больше, чем я, занимался их отец. Он с детства всюду брал их с собой. Дети очень любили рыбачить с ним. Придут, бывало, без улова, охают, ахают, мол, не клевало совсем. А я верю, говорю: ладно, не расстраивайтесь, зато к следующему разу ваши рыбки подрастут... А мальчишки и рады, что я им поверила, несут мне большую щуку или белугу. Чтобы немного подразнить их, я говорю: «Да вы их в магазине купили». И сыновья начинают наперебой рассказывать мне, на чей крючок какая рыба попалась. К моему дню рождения мальчишки обычно готовили мне какой-нибудь сюрприз. За несколько дней они начинали шушукаться, загадочно мне улыбаться. В день рождения мне обычно не разрешалось рано вставать: «Мама, ты полежи пока с закрытыми глазами, ладно? Мы сами тебе скажем, когда будет можно». Я лежу и мечтаю. Внимание сыновей и мужа бесконечно приятно. Невольно начинаю перебирать семейные заботы: у Сагита брюки совсем износились, как только получу зарплату, нужно будет купить новые. У Мунипа нет ботинок. Мужу хорошо бы купить костюм, но, боюсь, денег на него пока не хватит. Каждый раз, когда заходит речь о костюме, муж говорит: «Вы меня и в старом костюме любите. А если будут деньги, лучше купим что-нибудь тебе. Ты же у нас в доме единственная женщина. И если ты будешь оборванкой ходить, а мы обуты-одеты, какие же мы после этого мужики, так ведь?» — и он подмигивает сыновьям.

Я действительно размечталась. Младший сын подходит ко мне: «Мама, пора вставать!», а я никак не могу сообразить, о чем это он.

— С днем рождения, мама!

Мансур сдергивает со стола салфетку. Я ахаю. Стол празднично накрыт и заставлен всем, что я люблю. В середине — пышный калач. У нас в семье это стало уже традицией — в день рождения каждого из нас ставить на стол круглый белый хлеб. Виновник торжества сам разрезает его и угощает собравшихся за столом. Кому первому пришла в голову идея с хлебом, точно сказать не могу. Но нам всем очень понравилось — словно человек делится своей радостью с другими. Хлеб этот не простой, не из магазина. Мы специально заказываем его знакомому хлебопеку. От этого хлеба пахнет хмелем и полевыми

цветами. И хотя у татар нюхать еду запрещено, этот запах невольно заставляет ноздри трепетать... На стол, рядом с таким хлебом, просто кощунственно ставить спиртные напитки, и у нас их не бывает. Мне кажется, человек, уважающий хлеб, не способен на дурное. У нашего народа есть поговорка: если совершишь грех, кусок встанет тебе поперек горла. Считается, что выбросить остатки еды — это все равно что оскорбить отца и мать. Хорошо бы и нашим воспитанникам внушить это уважение к хлебу.

Этими мыслями я как-то поделилась с Надеждой Николаевной, зная, что она — одна из тех, кто всеми силами стремится заронить в детские души зерна доброты. Привозит из своего сада яблоки и вишню, а однажды привезла даже целую ветку с гроздьями ягод, чтобы объяснить детям, как растет смородина. Интересно, кто ее муж и какие дети у этой святой женщины?.. Ползарплаты она тратит на игрушки малышам, а закончив смену, не спешит уходить, продолжает что-то делать.

Мою идею отмечать дни рождения детей Надежда Николаевна поддержала сразу.

— Конечно, это было бы здорово! Но как это устроить? Только в нашей группе их — четырнадцать! А в год, получается, нужно отмечать сто дней рождения. Кто возьмет это на себя? На кухне никто не захочет каждый день печь пироги. Их и винить за это нельзя: работы невпроворот. Нам, воспитателям, приносить еду из дома не разрешается. Если только конфеты и пряники достанем...

Да, найти пряники и конфеты в наши дни дело непростое. Но как было бы замечательно, если бы мы все-таки сумели это организовать! У ребенка, растущего в семье, в год бывает по несколько праздников: День рождения, Новый год... А то еще родственники или друзья родителей придут в гости или к себе позовут. Детдомовские воспитанники таких радостей лишены. Правда, иногда в праздники повара и тут стараются как-то разнообразить меню, приготовить что-нибудь вкусное, почти домашнее. Но с другой стороны — праздник и не должен сводиться только к еде. У него должен быть особый дух, аура, что ли...

Мы долго думали с Надеждой Николаевной и решили пока никому об этом не говорить, а попробовать сначала самим.

— Не каждый воспитатель захочет взять на себя это хлопотное дело, — сказала Надежда Николаевна. — Попробуем сами. Может быть, со временем и другие подхватят идею, и это станет у нас обычным делом.

И мы начали готовиться. Приближался день рождения Кати. Она у нас — самая обиженная судьбой, и потому нам показалось удачным, что первой именинницей будет именно она.

В этот день мы обе пришли пораньше. Надежда Николаевна принесла красивый букет цветов, раздобыла где-то коробку конфет. Я принесла печенье.

Мы поставили букет на стол: интересно, заметят ли его дети? Пока Надежда Николаевна умывала, одевала и сажала детей к столу, я принесла завтрак.

Удивительно: дети сразу же обратили внимание на цветы. Пытались понюхать, потрогать руками, а потом выжидательно посмотрели на нас. Надежда Николаевна подняла Катю на руки: «Дети, у нашей Кати сегодня день рождения. А день рождения — это очень большой праздник для человека. В этот день надевают самое красивое платье и угощают друзей».

Не знаю, насколько дети поняли содержание сказанного, но, похоже, до них дошло, что сегодня происходит что-то необычное. А Надежда Николаевна продолжила:

— Сейчас мы наденем на Катюшу красивое платье и красивые колготки, — она достала припасенную заранее новую одежду и начала одевать девочку. В новой одежде, причесанная Катя стала как кукла. Дети снова «обсудили» это на своем языке, им явно хотелось оказаться на месте Кати. Как бы это почувствовав, Надежда Николаевна сказала: «Каждый из вас в день рождения получит такую же красивую одежду. А сейчас, детки, давайте поздравим Катю и пожелаем ей скорейшего выздоровления».

Она посадила девочку в коляску и разложила перед ней конфеты и печенье.

— А вот это, Катюша, наше с тобой угощение. Давай поделимся радостью с твоими друзьями, пусть им тоже будет весело, и пусть они скажут: какая щедрая наша Катя, какая она добрая!

Надежда Николаевна повезла коляску с Катей вдоль выстроившихся в ряд детей и велела ей дать каждому угощение. Сначала девчушка делала это неохотно: ей было трудно понять, почему она должна расставаться с такими вкусными вещами, но потом увлеклась самим процессом. Видимо, радость детей передалась и ей, под конец Катя даже увеличила «порции».

Надежда Николаевна попыталась ее остановить: «Посмотри, сколько еще у нас друзей. И угощения должно хватить всем. Ты согласна?»

После того, как все дети получили гостинец, Надежда Николаевна подвезла Катю ко мне:

— А это наш самый старший друг — Минсылу апа. Она — ваша бабушка. Мы не должны забывать о ней... — сказала она и рукой Катюши протянула мне угощение.

У меня вдруг защемило в груди и на глаза навернулись слезы. Я была бесконечно тронута тем, как Надежда Николаевна разговаривала с детьми — по-взрослому и в то же время с огромной нежностью и любовью.

Мы зря опасались, что дети не поймут нашего праздника. Они все поняли, и их внимание к Катюше заметно возросло. Во время игры Гафур даже преподнес Кате большого медвежонка, с которым в другой раз он не расстался бы ни за что на свете. Нам вообще часто кажется, что дети ничего не понимают. Мы ругаем их, гоним прочь, обижаем... И даже осознавая свою неправоту, считаем ниже своего достоинства извиняться перед детьми. Детская душа — очень тонкий и чувствительный инструмент. Каждый взрослый человек помнит душевные травмы, полученные в детстве.

О том, что у меня «крыша поехала», говорят, видимо, неспроста. Действительно, я не могу сдерживать свои чувства, спешу высказаться. На днях вот раскричалась в столовой. Но разве можно было смолчать?! Принесла в группу мясной гуляш. А там — сплошь одни сухожилия. Как этим кормить детей, у которых и зубов-то еще нет? Я настолько вышла из себя, что вернулась в столовую и... увидела, что весь персонал кухни, собравшись за столом, с аппетитом ест картошку с мясом. В тарелке у каждой — хорошее, не жилистое мясо.

— Что это такое?! — и я брякнула кастрюлю с «гуляшом» перед поваром Фатимой. — Вы посмотрите: что вы сами едите и что даете детям!

— Мы тут едим не детские порции, — загалдели все разом. — У нас ежемесячно удерживают из зарплаты за питание.

— Ха, удерживают! А за этих детей разве государство не платит? Как можно обижать малышей, пользуясь тем, что они не умеют постоять за себя? Они не умеют, но я — умею. И глаза у меня тоже есть.

Долго я так возмущалась, и результат не заставил себя ждать. Вечером, когда я уже собиралась уходить домой, меня вызвала к себе главврач.

— Вы почему оскорбляете наших работников? Кто дал вам такое право?

— Дети дали мне это право, — ответила я. — Пусть не зарятся на сиротский хлеб. А если это не прекратится, я найду, кому пожаловаться...

Разумеется, я не собиралась никуда жаловаться. Но в запальчивости слово было сказано, и главврач расценила это по-своему:

— Если так, Минсылу апа, мы с вами не сработаемся. Видимо, вам придется подыскивать себе другое место. Действительно, вы кто такая? Воспитатель? Врач? Будет надо, мы и сами примем меры.

Главврачу очень хотелось задеть, унижить меня, напомнив, что я всего-навсего няня. Но разве не я сама выбрала именно эту работу? Каждый день я рядом с детьми, мы очень сблизились, и для меня — это моя самая большая радость...

И все-таки Катю кладут в больницу. Приехала машина. Я сама осторожно одела ее. Господи, сделай так, чтобы девочка попала в руки добрых людей. Чтобы она встала на ноги. Катюша, бедняжка, чувствует, что мы расстаемся, и жалобно заглядывает мне прямо в глаза. Чего только нет в этом взгляде! Ну почему Господь так немилосерден к ней, и без того обиженной судьбой? Мой дед частенько говаривал: «Господь сказал: «Пошлю страдания тому, кого люблю». Неужели любовь Господа должна быть такой мучительной? Я не могу с этим смириться. Что же это за любовь? И какая жизнь ожидает этого ребенка, если Катю не вылечат? Здоровых детей кто-то может усыновить. А кому нужен больной ребенок? Неужели так и пройдет ее жизнь, и она ни разу не сорвет цветка на лугу, не будет играть в догонялки со сверстниками, плескаться в речной волне?..

Однажды, когда я еще работала на стройке, нашу бригаду послали в дом для престарелых и инвалидов. Я до сих пор не могу забыть одну старуху, которую встретила там. «Доченька, — сказала она мне, — что это такое — ходить по земле, с чем можно сравнить это удовольствие? Я за всю жизнь шагу не сделала своими ногами. А мне так хочется знать, что же это такое — ходить по земле...»

Я не нашлась, что ответить ей. Потому что ходить для нас — все равно, что дышать воздухом. Мы даже не задумываемся о том, какое это счастье... А у этой старушки во время обеда ложка выпала из рук, и она так и сидела — в шаге от своей ложки. Суп остывал. Рядом — никого. Я вымыла и подала ей ложку, но она уже отодвинула тарелку, пропал аппетит.

— Я родилась с больным позвоночником, — рассказала она мне потом. — Ясное дело: ребенок-инвалид — лишняя обуза, а потому родители не стали меня забирать. Сейчас мне почти 50 лет, но я ни разу в жизни не держала в руках деньги. Всю жизнь меня перевозят из одного приюта в другой. И почему-то всегда в закрытой машине. Даже солнце я всегда вижу только через оконное стекло. А мне так хочется подставить лицо настоящим солнечным лучам и настоящему ветру. Но где уж нам такое счастье...

До сих пор не могу забыть эту женщину, к пятидесяти годам превратившуюся в старуху. А если и нашу Катю ждет такая судьба? Нет, нет. Даст Бог, Катя выздоровеет.

Проводить Катюшу до больницы поехала опять же я, больше было некому, и всю дорогу она сидела, крепко вцепившись в меня...

На обратном пути из больницы домой заехала на работу — оставить Катини вещи. И хоть бы кто спросил: Ну как, очень плакала? Врачи хорошие? Надежда есть? Никому нет дела, я даже расстроилась. Хотя, возможно, я не права. Ведь сто детей — это не шутка, и у каждого ребенка — свои проблемы. Вдобавок, оказалось, что мы ждем какую-то комиссию. Все вверх дном. Хорошо еще, что я закончила свою смену. Все. Еду домой.

Надеясь, что комиссия уже побывала, спокойно пришла утром на работу, но оказалось, что проверяющих еще не было. Кто-то сообщил по телефону, что машина выехала... У нас здесь — светопреставление. Все перебивают в сотый раз. В другие дни хлорки для полов не допросишься, сегодня — сами несут. Откуда-то вынесли кресла. На пол постелили толстый ковер. Этот ковер только недавно главврач велела прибить к стене. Я тогда предложила ей: «Людмила Герасимовна, давайте постелем его на пол, детям будет тепло играть на нем». Но она сразу оборвала меня: «Они не ханские дети, чтобы валяться на таком ковре. Пусть на стене висит. Иначе он скоро будет как из-под коровы...» На стене этот ковер выглядел несколько странно — будто красивый ремень на поясе человека без штанов. К тому же детские кровати стояли от него на расстоянии метра, так что и пользы от ковра не было никакой.

Теперь же, благодарение Аллаху, и ковер на своем месте, и детям раздали игрушки, которых прежде не давали. Вот уж обрадовались ребятишки. Эти игрушки хранятся обычно в отдельном шкафу под замком. Так вот для чего они были предназначены! Значит, и в этих мягких креслах тоже должны сидеть дети? Иначе сейчас их не стали бы выносить. Народ у нас вконец испорчен очковтирательством. И вы думаете, что об этом не знает высокое начальство? Еще как знает! Оно же и поощряет «показуху». Иначе зачем сообщать заранее, что в такой-то день, в такой-то час прибудет комиссия?! Тут и дурак успеет подготовиться. А когда все блеснит, никакая комиссия не страшна. Сделает замечания по пустякам, и все довольны.

...А комиссия, между тем, задерживается. Провалились, что ли. Впрочем, мне-то что за дело: один начальник провалится, ему на смену пятеро новых придут. Только дети вот начали капризничать, потому что настало время обеда. Сходить на кухню и снять пробу с супа некому. Все заняты, все деловито бегают с места на место. И нас гоняют.

Детишки в ожидании обеда начали кукситься и засыпать прямо тут же, положив голову на столик. Вскоре выяснилось, что комиссия вовсе не приедет. Узнав об этом, мы побежали на кухню. Но накормить детей обедом у нас уже не получилось: они капризничали, отталкивали тарелки, не желая просыпаться. Пришлось укладывать их голодными. Но пока готовили кровати, они стали просыпаться. Начался визг, плач. Игрушки не помогали. Впрочем, красивые игрушки сразу же вернулись на свое место — в шкаф. Кресла тоже исчезли. Только ковер остался на полу. Интересно — надолго ли?..

А на следующий день приехали с санэпидемстанции. Оказывается, у Кати нашли какую-то кишечную палочку. Все помещения чем-то обработали, детей заставили выпить какое-то лекарство, после чего их начало рвать...

После отъезда представителей санэпидемстанции главврач все свое раздражение выместила на мне.

— Это тебе хотелось отправить девочку в больницу, вот теперь радуйся. Если бы оставили ребенку здесь, глядишь, все бы обошлось. А теперь слава на всю Казань. Вот попомни мои слова: теперь каждый день какая-нибудь комиссия будет высасывать нам кровь. А если вправду найдут инфекцию, кто будет отвечать? Ты или я?

Прокричавшись, Людмила Герасимовна вдруг спокойным голосом заключила:

— Я сколько раз тебе говорила: не прикасайся к детям. А ты моешь пол и тут же за детей хватаешься. Носы им вытираешь своим грязным халатом, а потом идешь в нем на кухню. Темнота... Невежа! Впрочем, чего же и ожидать от этого народа...

Я собиралась было спокойно дослушать «речь» главврача, но последние ее слова пронзили мне сердце будто ядовитой стрелой. Если мой народ обвиняют в нечистоплотности, меня это очень сильно задевает. Какими бы ни были татары, но они не грязные и не тупые. Чистота и аккуратность с древнейших времен проникли в нашу кровь вместе с законами шариата. У нас всегда считалось грехом прикасаться к пище, пока не вымоешь лицо и руки. Наши родители пять раз в день перед намазом совершали омовение. Во все времена татары, обживаясь на новом месте, первым делом строили баню. Даже самый бедный человек в деревне, помывшись в бане, менял одежду. А если у детишек смены не было, то родители, прежде чем начать их мыть, стирали одежду и вешали сушить здесь же, у печки, чтобы потом надеть ее на детей...

Да только что толку об этом говорить... На глаза вдруг навернулись слезы, душу будто высекали... Я забралась в какое-то тихое местечко и выплакалась. Это правда, что я иногда забываю сменить халат — но только потому, что я вечно тороплюсь и хочу везде успеть. Однако носы халатом я не вытираю. Наоборот, только в нашей группе у детей есть свои носовые платки, у каждого — свой. Если ненароком перепутаешь, они обязательно «подскажут» — просто-напросто отвернут свой носик от чужого платка.

От обиды на Людмилу Герасимовну к детям в тот день я даже не подошла. Они тянули ко мне ручки: «Эббе, эббе», но я, прихватив швабру и ведро, ушла убираться на веранду.

Чего только не натаскали на нашу веранду соседские мальчишки. Осколки стекла, куски бетона... Железные ограждения покорежены — как только сил хватает. В довершение, веранду облюбовали окрестные собаки и кошки. А одна черная псина так освоилась, что вовсе ложится у двери. Тамара выводит детей гулять и сидит, обнявшись с этой собакой: причесывает ее, гладит. Детишки встанут поодаль и завидуют. Им тоже хочется понежничать, услышать ласковое слово и ощутить на голове теплую ладонь. Но стоит только детям немного приблизиться к Тамаре, она тут же вместе с собакой пересаживается на другое место. «Ах, ты моя мягкая, ах ты моя умница!» — говорит Тамара собаке, будто специально желая подразнить детей.

Как-то я не сдержалась: «Если бы ты эту ласку не только собаке, но и детям дарила...» Конечно, любить собаку легче, чем детей. Собаке достаточно дать кость и погладить, когда у тебя хорошее настроение. А если надоест, ее можно выгнать, состарится — поменять на молодую. Поэтому-то многие и предпочитают вместо ребенка заводить собаку. А человек нуждается не только в ласке, но и в заботе. Часто ему просто необходимо о ком-то заботиться. Почему дети играют в куклы? Разве не для того, чтобы излить накопившуюся в душе нежность? У человека, который не знает этого чувства, и глаза бывают какими-то пустыми, потухшими. Мне кажется, такие люди и на свете-то живут только для того, чтобы раздражать других.

Если бы я не видела свет в глазах Тамары, когда она гладила собаку, не слышала бы ее мягких и добрых слов, то подумала, что нежность навсегда умерла в ее душе. Но почему она такая бессердечная, когда речь заходит о детях? Мне это непонятно. Уличная шавка для нее дороже ребенка. На днях Тамара даже постригла свою подопечную и намыла ее в ванне. В ванне, где мы купаем детей! А главврач меня ругает за грязный халат. А вот таких, как Тамара, никто не трогает. Узнав про собаку, я несколько раз чистила ванну порошком.

— За что ты не любишь детей? — спросила я как-то Тамару.

— Их собственные матери не любят, почему я должна любить? Человека должны ценить прежде всего в его собственной семье.

— Зачем же тогда здесь работать. И сама мучаешься и других...

— А может, это мое предназначение — мучить других? А что, не может быть такого? Кто-то своим рождением приносит людям радость, а кто-то — горе...

Пока мы спорили с Тамарой, мимо прошла какая-то неопрятно одетая женщина.

— Опять эта идиотка, — сказала Тамара и крикнула оборванке: — Куда прешь, дура! Тебе тысячу раз сказано: нельзя заходить к детям.

Женщина остановилась, на ее лице отразился испуг.

— Кто это? Почему ты кричишь на нее? — спросила я.

— Кто-кто! Шизо! — ответила Тамара. Увидев на моем лице недоумение, она объяснила:

— Училась, училась и рехнулась. Мать Лейлы. Идиотка, окончившая два института. Она уже раза три выкрадывала Лейлу. Надо быть начеку, она тут неспроста. Наверно, опять попытается украсть дочку.

— А почему ей не отдадут девочку? Она же ее мать...

— Да ты что, Минсылу апа, тоже «того», что ли? Ну как можно сумасшедшей дать ребенка?

— Если бы она была психически больной, ее бы положили в больницу, — предположила я.

— Где же взять столько больниц? Сейчас таких — знаешь, сколько?

Но мне не хотелось верить Тамаре. Я заглянула в глаза женщины и содрогнулась: такая глубокая скорбь затаилась в них! Она пришла к своему ребенку, но не может даже прикоснуться к нему. Это, похоже, так сильно мучило женщину, что она с каким-то отчаянием вцепилась руками в решетку ограды. От напряжения у нее даже пальцы побелели. Я не выдержала и подошла к ней:

— Успокойтесь, посидите вон там, на скамейке.

Женщина взглянула на меня с благодарностью и направилась к указанному месту. Дети играли, не обращая внимания на скорбную женщину. Лейла тоже была среди них. Ох уж эта судьба! Какие ты испытания посылаешь человеку! Один готов жизнь отдать за своего ребенка, но их и близко не

подпускают друг к другу. А кому-то родной ребенок — все равно что выпавший из кармана пустой кошелек, так ему прохода не дают — возьми ребенка, возьми...

Размышляя о превратностях судьбы, я совсем забыла про ту странную женщину, как вдруг раздался истошный крик Тамары. Я увидела, как оборванка бежит к воротам с Лейлой на руках, а за ней несется с воплями Тамара. От неожиданности я не могла сдвинуться с места. Крик Тамары привел меня в чувство: «Чего рот открыла, на помощь!» Я кинулась наперерез женщине. В это время и Тамара догнала ее и начала вырывать у нее из рук ребенка. Но Лейла — то ли испугавшись Тамары, то ли каким-то внутренним чутьем угадав в оборванке свою мать, крепко ухватилась за шею женщины. И чем настойчивее тащила ее Тамара, тем сильнее цеплялась девочка.

— Не отдам, никому не отдам, — кричала женщина, прижав к себе дочь, как самое дорогое сокровище. Мы с трудом, но все же отняли у нее ребенка, и Тамара чуть ли не пинками выпроводила странную гостью за ворота. Но этим дело не кончилось. Только я усадила Лейлу возле других детей, как у нее стали синеть губы. И пока я сообразила что к чему, она потеряла сознание. «О Боже, умерла!» — диким голосом закричала я и увидела, что на Тамаре тоже лица нет. Она побежала за врачом, и пока не пришла Нина Петровна, я не выпускала Лейлу из рук. Увидев девочку, Нина Петровна будто немного успокоилась.

— А-а, это наша Лейла! У нее бывают такие приступы. Сейчас же положите ее в кроватку. Когда очнется дайте ей люминал.

Когда Лейла пришла в себя, я вдруг почувствовала, что вся в холодном поту, а мое тело сотрясает дрожь. Заметив мое состояние, Нина Петровна сказала:

— Идемте со мной, вам самой требуется помощь.

У нее в кабинете я выпила какое-то горькое лекарство:

— Успокойтесь. Если вы из-за каждого ребенка будете так волноваться, то на сколько хватит вашего здоровья? Дети везде дети. Они болеют, выздоравливают, но иногда и умирают...

Посидев в кабинете врача минут пятнадцать, я поплелась домой. Хотя смена моя еще не кончилась, видя мое состояние, меня отпустили...

* * *

Ну что же делать с этой Зинаидой? Она все время объедает детей. Всегда наливает в свой 250-граммовый бокал их кофе, а сегодня, когда дети ушли заниматься музыкой, Зина забралась в укромное местечко и ела апельсины. Я сначала думала, что она из дома принесла, но потом пошла в столовую за кефиром и узнала, что сегодня детям полагаются апельсины. Готовая лопнуть от злости, я вбежала к Зинаиде:

— Что же ты делаешь, бессовестная! — закричала я вне себя. — Как только тебя земля носит? Так и знай, ты за все заплатишь, век тебе счастья не видеть!

Но Зинаида даже бровью не повела, продолжая есть.

— Я уже и не обижаюсь на тебя, Минсылу ханум. Что толку на дураков обижаться. Если бы ты умной была, ты уже давно чего-нибудь да достигла в жизни. Сама подумай: ну накормишь ты этих несчастных апельсинами. И что дальше? А ты знаешь, что многим из них апельсины есть вообще нельзя? Вон Надежда Николаевна — такая же добренькая, как и ты — на днях накормила всех апельсинами, так потом у многих все тело покраснело и чесалось. От апельсинов, между прочим, бывает диатез. А вы шум поднимаете. Лучше, на, сама поешь. Просто завидуешь, небось...

— Клянусь, я так этого не оставлю, — ответила я. — Я пойду к главврачу.

— А ты думаешь, что главврач воздухом питается? — спокойно парировала Зинаида. — Если хочешь знать, самые хорошие апельсины отбирают и сразу относят ей.

Последняя фраза Зинаиды уничтожила меня окончательно. Да, это вполне возможно. От Людмилы Герасимовны этого можно ожидать. Здесь поговаривали, что она увезла к себе домой новые ковры, и взамен их привезла сюда свои, старые. Наверно, это правда.

Ну и люди! Обкрадывают детей, как только могут. Хоть караул кричи, но кто же услышит... У детей и в самом деле на теле время от времени появляется «потничка» — краснота, зуд... Как-то Лена плакала, и мы никак не могли ее успокоить, я раздела ее, а у нее между ножками — сплошная краснота. Медсестры обычно смотрят и посыпают тальком, но какая польза от талька? Я думаю, что основная причина в том, что детей очень редко купают. Такие воспитатели, как Зинаида и Тамара, обычно поменяв мокрые штанишки, считают, что дело сделано. Но ведь давно известно: чем чаще моешь тело, тем меньше оно подвержено различным болезням.

Как всегда, в самое неподходящее время отключили горячую воду. Мы уже все лето маемся так. Дети потеют, пачкаются в песке, а искупать их — проблема. Потому теперь, придя на работу, первым делом я грею воду. Принесла из дома все кипятильники, что были у меня и сыновей. С их помощью через час бак с водой почти закипает. Стоит хотя бы один день не мыть детей, и кожа их сразу краснеет, покрывается сыпью. Воспитатель в группе сегодня — Сания Гатаулловна. Она в нашей группе начала работать недавно. По характеру очень спокойная, на детей не кричит. И они ее слушаются. Вместе с Санией мы перемыли всех детишек: одна держит ребенка, а другая льет воду из кувшина и моет. Мыло нам выдают нечасто, но даже после купания без мыла дети заметно спокойнее. Они даже спят иначе: вон как раскинулись во сне. Алиса скатилась на самый край кровати, а маленькими ручонками уцепилась за решетку. Лена лежит ничком. Гафур закинул ноги на подушку, а Искандеру, похоже, снится что-то вкусное: губы его причмокивают, а руки время от времени шевелятся. Лейла спит беспокойно, дыхание у нее неровное. Мы каждый день даем ей люминал, а ведь это снотворное. Как-то я заинтересовалась этим лекарством и выпила таблетку. Целый день ходила сама не своя: голова тяжелая, хочется спать, а заснуть невозможно. Неужели для ребенка не нашлось лекарства получше? А я все удивлялась: почему наша Лейла перестала смеяться, как другие дети. Глотать дважды в день эту отраву, да еще смеяться!.. Наша Таня-плакса лежит поперек кровати. Вся раскрылась, но я не стала трогать ее, чтобы не разбудить. Ну и намучились мы с этой Таней! Она постоянно плакала. Чего только не делали воспитательницы, все бесполезно. И ладно бы только днем! Так она ведь и ночью: проснется — и в рев! Уж наши врачи повозились с ней, даже в больницу возили. Но Таня, как уехала с ревом, так с ревом из больницы и вернулась. Постепенно воспитатели невзлюбили девочку, многие стали считать ее ненормальной. И даже когда Таня плакала, требуя поменять мокрые штанишки, на нее почти не обращали внимания. Бедные дети! Говорить не умеют, объяснить, что им нужно, — тоже. А требования у них чаще всего самые простые. Как и у нашей Тани. Я узнала об этом совершенно случайно.

Однажды, когда дети увлеклись игрой, я вышла в «подсобку», чтобы налить себе чаю из электрического чайника. В этот момент я почувствовала на себе чей-то взгляд: меня будто током пронзило. Я оглянулась в сторону двери и увидела, что с порога на меня во все глаза смотрит Таня: она ползком добралась до двери. Ах, эти глаза! Сколько мольбы, сколько крика было в них! Я чуть не выронила чашку. Мне вдруг показалось, что эти глаза смотрят на меня осуждающее: «Прячетесь от нас и едите. А мы тоже хотим. Вы будите нас на заре, когда есть еще не хочется, а когда мы голодны, вы нас не кормите...» Я поставила чашку на стол и подняла Таню на руки: «Ты есть хочешь, деточка? Ладно, сейчас мы вместе поедим, нам обеим хватит», — и я отломилась ей кусочек хлеба. Но малышка отрицательно замотала головой и потянулась к моей чашке. «Ах, милая, так ты пить хочешь? Сейчас, сейчас, я только остужу», — заторопилась я и поднесла чашку ко рту, чтобы подуть на кипятком. Девочка облизнула губы, и в глазах у нее отразился испуг: похоже, она боялась, что я сама выпью чай. Нет, деточка, разве я могу есть и пить, когда на меня так смотрят?! Пей, девочка, пей. Сейчас вот только сахар положу...»

Жажда, похоже, была так велика, что Таня одним махом выпила всю чашку. «Ну что, хватит?» — спросила я, но она замотала головой и потянулась к чайнику. Выпив еще одну чашку, Танюша аж лицом просветлела. Даже улыбаться начала: будто на умирающий в пустыне цветок пролился благодатный дождь. Когда я вернулась с Таней в группу, она все еще продолжала улыбаться...

Надежда Николаевна, увидев нас, очень удивилась:

— Слава Богу, наша Таня перестала плакать! Что это с ней? Вот так радость!

Я рассказала ей о своем открытии. Надежда Николаевна настолько удивилась, что даже не поверила. Но потом она сказала:

— По правде говоря, между кормлениями детям положен сок. Но некоторые воспитатели стараются его не давать, чтобы дети реже писались.

— О Аллах, — сказала я, — на руки возьмешь — избалуются, пить дашь — много описаются... Но тогда и кормить их не надо: и писать не будут, и какать — тоже. Вот будет замечательно. Только ходи и помахивай плеточкой, как жандарм...

— Не кипятись, Минсылу апа, — прервала меня Надежда Николаевна, — характеры детей постепенно проясняются. Вот нашла же ты ключ к нашей Тане. Ах, если бы дело было только в этом! Нельзя излишне строго судить тех, кто здесь работает, Минсылу апа. Мы все люди, и у нас бывает всякое. Даже собственного ребенка нельзя только гладить по головке.

Я и соглашаюсь с Надеждой Николаевной, и нет. Конечно, дети все чувствуют. Знают, к примеру, что я — мягкая и меня можно не слушаться. Когда я начинаю мыть посуду, детишки облепляют раковину: кому-то хочется с водой поиграть, кому-то обнять меня. Я их не отгоняю, хотя они мне мешают, отнимают

время! А работы много. Днем, пока дети спят, я стараюсь успеть вымыть полы, иначе дети начинают «помогать» мне. Только закончу свои дела и соберусь немного отдохнуть, как меня уже зовут на кухню — чистить картошку. Сегодня я решила не ходить. Пусть свою работу делают сами. Ведь мы же как-то справляемся...

Однако расплата за «непослушание» не заставила себя долго ждать. На раздачу я пришла самой первой, а получила обед для детей — последней. К тому же и компота налили мало. Каждому ребенку положено по 100 граммов, а мне выдали меньше литра на четырнадцать детей. Когда я попробовала возмутиться, раздатчица грубо оборвала меня: «Они и это не допивают, вы там сами обжираетесь». Она, конечно, прекрасно знала, что я никогда не притрагиваюсь к детским порциям. Иногда повара сами зовут в столовую, чтобы мы доели то, что осталось. Но мне такой кусок в горло не лезет. Я иногда не могу съесть здесь даже то, что приношу с собой из дома. Мне постоянно кажется, что я чем-то виновата перед детьми. Воспитатели, конечно, ругают меня за эти «заскоки»:

— Ты что-то уж слишком выгибаешься. Все, что положено детям, они получают. Некоторые даже в семьях не имеют столько. Одежды, например, меняй сколько хочешь — иногда на 14 детей в день уходит по 40 штанов.

— Это верно, — соглашаюсь я, но про себя думаю, что родительскую заботу ничто не заменит. И платье, заштопанное родной матерью, кажется во сто крат прекраснее, чем крепкая, но казенная одежда. И тут мне вспомнилось одно давнее событие. Я тогда жила еще с дедом. У деда был сын, который был фронтовиком, но и после войны долгое время служил в армии. И вот дядя, закончив службу, вернулся в деревню. Он вошел в дом: на ногах — скрипящие сапоги, на плечах — длинная и ладная шинель. Обнявшись с дедом, дядя поднял меня на руки: «Так вот она какая, наша Минсылу... Давай-ка пороемся в этом чемодане, может быть, и для тебя найдется что-нибудь?»

Он распахнул чемодан. Сверху лежал мужской костюм, дядя протянул его деду:

— Это тебе, отец.

— Да что ты, разве я буду это носить? Перед людьми стыдно...

— А почему стыдно? — удивился дядя. — Я же не украл его, а честно заработал.

— Так-то оно так... Но когда в деревне все ходят кто в чем, на меня в этом костюме пальцем будут показывать. Бог даст, ты его сам износишь, сынок.

Дядя не стал спорить, а просто отложил костюм на дедушкин сундук, и снова склонился над чемоданом. Достал оттуда красивый отрез ткани и протянул его мне: «Это тебе на платье, Минсылу. Вот сошьем тебе обнову, и все деревенские мальчишки будут смотреть только на тебя».

Он приложил голубой шелк к моему плечу: «И цвет этот очень тебе идет...» Мне показалось, что на меня пахло чем-то очень душистым, и я прижала ткань к лицу. Шелк был прохладный и в то же время мягкий и нежный. О Господи, неужели и у меня теперь будет платье не с чужого плеча, а сшитое специально для меня?! В таком платье, наверно, не по земле ходить, а летать хочется!

Дядя понял мое состояние, поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, повел меня к деревенской портнихе. Пока портниха что-то мерила, время от времени прикладывая ко мне шелк, мечты унесли меня далеко-далеко. Мне казалось, что всю землю обернули этим шелком. Весь мир для меня погрузился в этот приятный шорох... Только выйдя от портнихи, я вновь начала различать окружающие меня предметы.

Через два дня платье было готово, и я прямо в нем прибежала домой. Гордо покрутилась перед дедом и дядей. «Посмотри-ка, посмотри, кто это? — дедушка повернулся к дяде. — Сынок, у тебя глаза позорче моих будут, посмотри, уж не ангел ли к нам спустился?» А дядя хитро подмигнул мне, мол, а чем мы хуже ангелов?

Мне очень хотелось показаться в новом платье маме. Это, видимо, было написано на моем лице, потому что дед вдруг предложил: «Дочка, молоко кончилось, может, сходишь к матери?» Еще бы не сходить! Я взялась за бидон. «Можешь и заночевать там», — разрешил дед.

Десять километров, разделяющие наши деревни, я буквально пролетела. Нет, точнее сказать, какая-то сила подхватила и перенесла меня.

Когда я добралась до матери, в доме шла обычная вечерняя суэта. Мать уже подоила корову и готовила ужин. Поздравив с обновкой, меня усадили за стол. Я замерла, ожидая, что сейчас все начнут говорить о моем новом платье, но разговор шел о совершенно посторонних вещах: из стада не вернулась овца, и теперь все ломали голову — где ее искать. После ужина мать с отчимом отправились искать овцу. К счастью, она быстро нашлась. Когда мама начала стелить постель, я украдкой шепнула ей на ухо: «Мама, можно мне сегодня лечь с тобой?» Но отчим услышал и недовольно сказал: «Вымахала с версту, как не стыдно с матерью спать». Я ужасно обиделась на замечание отчима, но особенно меня задело то, что мама не вступилась за меня. А мне так хотелось поделиться с ней своей радостью, рассказать о

сердечных тайнах, мне хотелось, чтобы она хотя бы просто выслушала меня и крепко-крепко обняла. Но она не посмела возразить мужу. Потом, годы спустя, я, конечно, поняла, почему Харис абый не захотел, чтобы я спала с ними, но тогда, в тот день, я была ранена в самое сердце...

Мама постелила мне на сундуке, и я всю ночь прорыдала, прикусив подушку, чтобы никто не слышал. Утром, когда мы с мамой наконец остались в доме одни, она прижала меня к себе и сказала: «Не обижайся, дочка. Я бы никогда не рассталась с тобой... Но такова судьба, от нее не уйдешь. Ах, если бы был жив твой отец...» Глаза ее наполнились слезами, и она вытерла их кончиком платка. Эти слезы будто разбередили мою душу, и я тоже расплакалась. Так мы сидели и плакали вместе. А потом мама сказала: «Я тебе тоже нашла тут одно платье. Оно осталось от твоей сестры Салимы. Я кое-где заштопала его и выгладила. На одно лето его должно хватить», — и мама протянула мне белое ситцевое платье.

Обида на мать совершенно улетучилась, мы долго говорили с ней. Меня часто мучила мысль: может быть, мама разлюбила меня? Но теперь, после разговора с ней, я поняла, что она любит меня по-прежнему, но жизнь окончательно придавила ее. Раньше я плакала от жалости к себе, а сегодня мне вдруг показалось, что мама еще более несчастна, чем я.

Когда я собралась в обратную дорогу, мама посоветовала мне надеть ситцевое платье. «Красивое побереги, не носи его каждый день. Даже самая красивая одежда перестает радовать, если надевать ее каждый день. А радость нужно уметь продлевать, дочка».

Я надела заштопанное платье. Действительно, каким бы красивым ни было мое новое платье, в нем я чувствовала себя будто в гостях. А в гостях ты никогда не бываешь абсолютно свободным. В мамином же платье я чувствовала себя уютно, комфортно, будто, побывав в гостях, вернулась домой. И заплатка на плече почти не заметна, больше того, мне казалось, что платье хранит тепло маминых рук... У меня есть даже свои маленькие суеверия: если задумаю какое-то дело и хочу, чтобы оно получилось, то надеваю «счастливое» платье. И все проходит удачно. Если повяжу такой-то платок, то обязательно встречу друга, заплету в косы любимую ленту — значит, представится случай сходить к маме. Может быть, это кажется смешным, но и платье, которое подарила мама, впоследствии приносило мне только удачу. Дед знал о моих «приметах» и, посылая меня куда-нибудь с каким-то важным поручением, говорил: «Доченька, надень-ка то «счастливое» платье и поторопись...» Я и сама рада была его надеть. А синее шелковое платье, между тем, лежало — лежало в сундуке, да и стало мне мало! Оно до сих пор лежит в этом сундуке — теперь уже просто как память о детстве.

* * *

Сегодня с утра услышала радостную весть — наш Искандер кому-то приглянулся, и вроде бы его хотят усыновлять. Искандер не может не нравиться — белокожий, будто очищенная репка. И веселый — коснешься невзначай его шеи, и он сразу начинает залиристо смеяться. Живой, глаза так и блестят. На некоторых детях — печать сиротства, а у Искандера — нет. Его и врачи любят, потому что обычные детские болезни к нему не пристают. К нам частенько приезжают всякие комиссии и берут у детей анализы. Врачи у нас хитрые и наперед примерно знают, у кого могут быть плохие анализы. И потому вместо слабых детей выставляют перед комиссией таких, как Искандер или Гафур. Мы с Надеждой Николаевной пытались воспрепятствовать этому, но нам быстро заткнули рот:

— Хотите вечно мучиться с карантинном? Санэпидстанции только это и нужно. Им ваши дети безразличны. Они отчитываются только о том, сколько раз в год они провели дезинфекцию, больше их ничего не волнует.

А если дети серьезно заболеют? — спросила Надежда Николаевна. — Ведь прятать болезнь — штука опасная.

— Мы здесь и сами кое-что умеем, — ответила главврач. — Вы же видите, мы уколы делаем. Кварцуем. А что особенного делают в больнице? Так что нечего сор из избы выносить.

Вот так Искандер спасает нашего главврача от неприятностей. Между собой мы зовем мальчика «донором»...

Итак, наш «донор» кому-то понравился. Это большая радость. Интересно, что это за люди? Вчера работала Сания, надо будет ее расспросить. Правда, ее смена только через два дня, но ничего не поделаешь. С Санией я встретиться не успела, главврач сама вызвала меня к себе.

— Ты, наверно, уже слышала, Минсылу апа, что нашего Искандера собираются усыновить, — начала Людмила Герасимовна.

— Да, слышала. А что за люди?

Людмила Герасимовна скривила губы:

— А тебе, Минсылу апа, не все ли равно, кто они? Обычные люди...

— Я имею в виду: они русские или татары?

— Фу, глупее вопроса не придумала? Причем тут русские или татары?

Главврач поднялась и достала из ящика стола записную книжку.

— Я тебя вызвала потому, что нам пора подумать о документах Искандера. Среди них должен быть официальный отказ матери от ребенка. У нас такого письма не оказалось. Я прошу тебя взять адрес, разыскать его мать и привезти расписку. Если она куда-нибудь не переехала, то живет в Альметьевске. Вот здесь ее адрес. Даю тебе два дня, Минсылу апа, постарайся уложиться...

Давая понять, что разговор окончен, главврач встала. Зажав в руке бумажку с адресом, я пошла к детям. Увидев меня, они сразу загомонили: «эббе, эббе». У них всего-то слов: «эббе», «мяммя», «тятя». Самая большая радость для нас, когда дети начинают произносить первые слова или у них прорезываются первые зубки, или они делают свой первый самостоятельный шаг. Но все это не сравнимо с той радостью, когда кто-то из наших малышей обретает семью. Если его навещают будущие «родители», мы стараемся объяснить другим детям: вот это папа и мама вашего друга... И, между прочим, дети это понимают! Указывая на счастливого, у которого «нашлись» родители, они что-то «обсуждают» между собой. И если эти родители что-нибудь дарят «своему» ребенку, остальными детьми этот подарок воспринимается как собственность данного ребенка. В случае, если это игрушка, без разрешения хозяина к ней никто не прикасается. А если это одежда и ты случайно начнешь надевать ее на другого ребенка, то он обязательно запротестует. Дети очень сообразительны, особенно в нашей группе. И внешне они отличаются от других. В их лицах нет сиротской забитости.

Даст Бог, и у Искандера будут папа и мама. Кто знает, может, и собственная мать одумается. Ведь до сих пор она не отказывалась от него официально! Надо будет серьезно с ней поговорить, может быть, в ее душе проснется сострадание. Иногда люди всю жизнь сожалеют о сделанных ошибках. А здесь еще не поздно все исправить...

С такими мыслями я и отправилась в Альметьевск. Я раньше никогда не бывала в тех краях... Автобус пересек почти весь Татарстан. Мы переплыли на пароме Каму, по пути заехали в Чистополь. До Альметьевска еще несколько часов пути — достаточно времени все обдумать и подготовиться к встрече. С тех пор, как я начала работать в доме ребенка, у меня практически совсем не оставалось времени для того, чтобы спокойно сесть и подумать. Сироты вытеснили из моей души все личные невзгоды. А ведь в Альметьевске живет моя дочь Рамзия. Вот еще почему я обрадовалась этой поездке. Недавно она прислала письмо: «Мама, приезжай к нам, посмотри, как мы живем. У нас все хорошо, квартира очень большая. Мужа на работе уважают. Недавно его избрали директором. Теперь у него персональная машина...»

Ах, эта жизнь! И когда только она успела пролететь? Казалось бы, совсем недавно Рамзия появилась у нас, как птичка со сломанным крылом. Даже вспоминать об этом тяжело...

Однажды меня позвала к себе сестра мужа Нурания. Врачи поставили ей смертельный диагноз.

— Минсылу, — начала она, взяв меня за руки. — Мне недолго осталось жить. Вся моя надежда — на тебя. Не бросай моего ребенка...

— Ну что ты говоришь, Нурания апа, — попыталась я утешить ее.

— Свое состояние знаю только я сама, — перебила она меня. — У ребенка больше никого нет, ты это знаешь. Отец ее скончался год назад. Как назло, мы не были с ним расписаны, так что ни пенсии, ничего другого ждать не приходится. И сама я пенсию не заработала. Только заговорю о работе, покойный, бывало, перебивал: «Успеешь еще намурыжиться, живи спокойно, пока есть возможность». Но, как оказалось, и без тяжелой работы можно износиться до смерти. А те женщины, что всю жизнь ворочают тяжелые мешки или махают кайлом да лопатой, доживают до 70–80 лет. — Нурания апа горестно вздохнула и вытерла мокрые глаза. — Ну да ладно, Минсылу, я ведь позвала тебя не для того, чтобы жаловаться. Это уж так, к слову пришлось. Я прошу тебя не отдавать мою дочь в чужие руки. Я говорила об этом с Мансуром, но он велел переговорить с тобой. Думаю, что он прав. Что ни говори, а воспитание детей — это все-таки женская забота.

Я, как могла, старалась успокоить Нуранию:

— Конечно же, мы возьмем Рамзию к себе. Пока ты не выздоровеешь.

— Минсылу, я не ребенок, — твердо сказала она, — не старайся меня утешить. Скажи мне определенно, чтобы я могла спокойно умереть. Ты не откажешься от моего ребенка?

— Ну что ты говоришь, Нурания апа? Как же я могу отдать ее? Даст Бог, вырастим. Я сама когда-то мечтала о дочке, но не решалась сказать об этом Мансуре. Вот Рамзия и будет нашей дочкой...

Лицо Нурании посветлело.

— Другого я от тебя и не ждала, — она обняла меня. Мы обе расплакались, а в это время вернулась с улицы Рамзия. Она увидела наши мокрые глаза и спросила с беспечностью ребенка: «Вам что, перец в глаза попал?» «Да, дочка, — ответила грустно Нурания апа. — Жизнь пригоршнями сыплет перец в наши глаза так, что и смывать не успеваем».

Спустя некоторое время после этого разговора Нурания апа умерла. Рамзию мы перевезли к себе. Пенсия, выделенная ей государством, и в правду оказалась очень маленькой.

В то время мы жили в одном из подвалов на улице Восстания. Поскольку переехали мы сюда из полуразвалившегося барака, то сырая, но просторная комната показалась нам дворцом. К тому же здесь были все удобства.

Когда мы с Мансуром только начинали совместную жизнь, какое-то время нам пришлось ютиться за занавеской в комнате, где жили еще четырнадцать девушек. Четырнадцать пар глаз с любопытством следили за тем, как мы ложимся, как встаем. Может быть, поэтому мы старались не цепляться друг к другу по пустякам. Среди моих подруг по комнате — уже немолодых, но незамужних — я считалась самой счастливой, и это действительно было так.

Счастье, как пугливая птица. Одно неверное движение, и вот уже вспорхнула и исчезла. Да, мы старались, насколько возможно, не спугнуть птицу нашего счастья...

Когда в нашем доме появилась семилетняя Рамзия, старшему сыну шел пятый год, младшему — третий. Рамзию они приняли как свою старшую сестру. Постепенно девочка привыкла к нам и стала называть меня мамой, а Мансура — отцом. Так и жили. Но однажды прямо на стройке, в разгар рабочего дня умер Мансур. Тогда мне показалось, что я ни за что на свете не смогу поставить на ноги троих детей. Но, видно, им суждено было вырасти, и они выросли. Рамзия выучилась на медсестру. Сыновья пошли работать на завод. Рамзия уже несколько лет замужем, а я вот ни разу так и не собралась к ней съездить и посмотреть, как они живут. Так что это даже удачно получилось, что меня командировали в Альметьевск...

Погруженная в воспоминания, я даже не заметила, как доехали до Альметьевска. К дочери я решила заехать после того, как выполню задание, и сразу же отправилась по адресу, который мне дала Людмила Герасимовна. Довольно долго я блуждала по незнакомому городу и когда наконец отыскала нужный дом, солнце освещало своими прощальными лучами лишь самые высокие дома. Но я подумала, что это даже хорошо, что я приехала к вечеру, когда люди возвращаются с работы.

Поднявшись на второй этаж трехэтажного каменного дома, я позвонила. Дверь открыла молодая женщина. На ней был красивый шелковый халат, пуговицы были расстегнуты, и лишь на талии был слабо завязан пояс. Одним словом, все богатства женщины были на виду.

— Вам кого? — грубо спросила она.

— Если можно, я бы хотела зайти, — сказала я, не зная, с чего начать.

Женщина нехотя впустила меня. Посреди комнаты стоял богато сервированный стол. За столом сидел мужчина. Увидев меня, он встал и с недовольным видом вышел в другую комнату.

— Ну? — сказала женщина. — И покорооче, я занята. Меня клиент ждет. — Услышав слово «клиент», я почему-то решила, что эта женщина — врач. Она такая молодая, и когда только успела выучиться?

— Извините, но разговор очень серьезный, разрешите мне сесть?

Женщина указала мне на стул у двери.

— Я приехала из Казани. Работаю в Доме ребенка. Я пришла к вам поговорить об Искандере.

— Искандере? — женщина задумалась, будто силясь что-то вспомнить.

— Да, об Искандере, — повторила я, глядя ей прямо в лицо. — Вам это имя о чем-то говорит? Насколько я знаю, вы — его мать.

Женщина побледнела. Потом торопливо прикрыла дверь в другую комнату.

— Что вам нужно от меня? — приглушенным голосом спросила она. — У меня нет никакого Искандера.

— Как нет? А Искандер Фазылов, воспитывающийся в нашем Доме ребенка, чей сын?

— Я уже отказалась от него, что вам еще нужно?

— Отказались? Но у нас нет такого документа.

— А я тут при чем? Я его писала. Если нужно, могу еще написать. Могу десять, двадцать бумажек написать. Только оставьте меня в покое.

— Погодите, — прервала я ее. — Искандер — очень красивый мальчик и очень живой. Сейчас он уже начинает ходить. Все воспитатели любят его. Если бы вы увидели его хоть раз, то ни за что бы не отказались от него.

Женщина как-то странно посмотрела на меня. Похоже, она приняла меня за сумасшедшую.

— Красивый мальчик, говорите?! Вот пусть государство и заботится о нем. Да еще спасибо скажут, что я родила им красивого мальчика. Я и сама красивая. А пока красивая, хочу пожить немного для себя, в свое удовольствие.

— Вашего сына хотят усыновить хорошие люди. Не будете потом каяться?

— Если расскажу, вам плакаться не стану. Подумаешь, семья-то не из Бухары завозим... А то, что хорошие люди нашлись, так это хорошо. Пусть живут и радуются тому, что я родила для них такого красивого мальчика. Вам бумажка нужна — пожалуйста. Она достала лист бумаги и быстро что-то написала.

Уходила я от нее с тяжелым сердцем, будто камнями нагруженная. Похоже, нужды эта особа не знает, даже напротив, — всюду ковры, большой телевизор, сервант с дорогой посудой. Чтобы так жить, надо иметь очень большую зарплату. Женщина сказала, что ее ждет клиент. Может быть, она — зубной врач? Но разве зубной врач принимает клиентов за столом? Нет, здесь что-то не так, чего-то я не понимаю. Но чтобы в наше время так жить, нужно очень стараться...

На улице уже стемнело. Я почувствовала, что смертельно устала. Еле передвигая ноги, доплелась до автобусной остановки. Все тело словно было налито свинцом.

Когда я добралась до квартиры Рамзии, было уже довольно поздно. Я начала звонить в дверь, но внутри было тихо. Решив, что они спят, я собралась нажать кнопку звонка в последний раз, но вдруг открылась соседняя дверь. В щели показалось лицо женщины.

— Вы не знаете... — почему-то растерялась я, — Рамзия дома? Я из Казани приехала...

— Они всей семьей уехали отдыхать, — сказала мне пол-лица. Потом, спохватившись, оно оглядело меня внимательно с головы до ног. После восьмичасового пути и долгих блужданий по городу вид у меня был, конечно, не блестящий.

А вы Рамзии кем приходитесь? — спросила женщина подозрительно.

— Я ее мать.

— Мать? Но у нее нет матери.

Я не стала объяснять ей, каким образом Рамзия приходится мне дочерью. Я очень устала и хотела пить. Все еще надеясь на какое-то сочувствие, я спросила:

— А у вас нельзя переночевать?

— Как же, у нас тут одни пожалели и пустили такую же вот, как ты. А утром обнаружили — ни ковров, ни шуб, ни пальто. Эту проходимку на улице, оказывается, дружки поджидали. Когда хозяйева уснули, воровка покидала все вещи из окна и спокойненько ушла. Вот и жалею после этого. Когда в гости напрашиваетесь, все вы несчастненькие....

Дверь со стуком захлопнулась, защелкали замки. Поняв, что эта тяжелая дверь больше ни за что не откроется, я пошла по ступенькам вниз.

Нужно было добраться до автовокзала, пока еще ходил городской транспорт. Там я как-нибудь пересажу ночь, может, и перекушу в каком-нибудь буфете. А то с утра ничего не ела. Почему-то особенно хотелось пить...

Мне повезло, и вскоре я села в нужный автобус. Войдя в здание автовокзала, я сразу увидела в углу бак с водой. К нему цепью была прикреплена алюминиевая кружка. Залпом я выпила полную кружку. Цепь оказалась короткой, и мне пришлось встать на колени. Впрочем, перед пищей и водой и на колени встать не грех. Поскольку уже была ночь, пустых скамеек было достаточно. Положив сумку под голову, я прилегла... Почему-то вдруг вспомнилось, как я впервые приехала в Казань.

Мы вместе с несколькими женщинами ехали в кузове грузовика. То ли шофер был нетрезвый, то ли виной тому разбитые дороги, но так трясло, что мы всерьез боялись вылететь из грузовика. Однако больше всего нас волновало другое: сколько шофер возьмет с нас денег, потому что в карманах у нас было пусто. Однако доехали мы благополучно, а шофер денег с нас не взял. Когда тетki нехотя стали доставать свои кошельки, шофер их остановил: «Не надо. А если хотите сделать для меня доброе дело, подайте какому-нибудь сироте или бедолаге. Пусть они пожелают мне здоровья. Я ведь впервые за рулем».

Провожая меня в город, дед прочитал длинную молитву. Думаю, что она была услышана — в тот день все складывалось для меня удачно. Расставшись со своими спутницами, я вышла на трамвайную остановку и растерялась, не зная, в какую сторону мне ехать. Рядом стояла семейная пара. Они оказались татарами. Увидев мое замешательство, они расспросили меня, а потом, невзирая на мои протесты, повели к себе домой.

— Завтра я сам отвезу тебя к твоей сестре, — сказал мужчина. — А сегодня переночуешь у нас. Нехорошо девушке одной ездить ночью по незнакомому городу.

Жена его поддержала, и мы поехали к ним.

Когда пришли в дом, женщина поставила на керосинку греть воду. Немного погодя она поставила передо мной таз с теплой водой: «Вот, дочка, вымой ноги теплой водой, усталость пройдет...» Когда я

погрузила в воду свои огрубевшие, все в трещинах и цыпках ноги, они нестерпимо заныли. Но вскоре стало приятно. Потом добрая женщина смазала мои ноги каким-то маслом. А тут и самовар вскипел. На столе появился ржаной хлеб. Мне налили полную чашку чая с молоком. Ложась спать, я от чистого сердца помолилась: «О Господи, верни сторицей этим людям за то добро, что они сделали для меня. Пусть их стол всегда будет полон еды. И пошли им здоровья». На следующий день хозяин, как и обещал, отвез меня к сестре.

Сейчас, лежа на вокзальной скамье, я вдруг отчетливо вспомнила лица этих людей. Кажется, я немного вздремнула. Да, я видела сон. Мне приснились мои давние «спасители». Их лица будто светились. И дом их стал больше. В нем было много окон, а на подоконниках — цветов. В открытые окна щедро лился солнечный свет. Женщина держала в руках завернутый в полотенце хлеб и протягивала его мне: «Возьми, деточка, возьми. Люди должны делиться друг с другом. В жизни есть два самых святых дела: разделить свою пищу с тем, кто нуждается, и помочь сироте...» Я потянулась к хлебу, но рука вдруг наткнулась на что-то твердое, и я проснулась.

На вокзале уже началась обычная утренняя суета. Подойдя к кассе, я узнала, когда уходит мой автобус. В запасе было еще полдня. Как провести время? Может быть, съездить снова к матери Искандера? Мало ли что могло произойти за ночь? Может быть, она уже раскаивается за вчерашнее. Поеду-ка и в самом деле! Иначе я и сама не успокоюсь.

Позавтракав в ближайшей столовой, я поехала по известному уже адресу. Несмотря на ранний час, из квартиры доносилась громкая музыка. Мне пришлось довольно долго звонить. Дверь открыла вчерашняя женщина. При виде меня лицо ее перекошилось.

— Что вам нужно? — пронзительно закричала она. — Что вы мне душу мотаете?

На шум из комнаты вышел молодой мужчина. Он зло посмотрел на меня:

— Деньги вымогаешь? На, бери, и катись отсюда! — он протянул мне сторублевую купюру. Я настолько удивилась, что даже ноги у меня подкосились. Лицо запылало от мелькнувшей внезапно догадки. Прочь, прочь отсюда! Иначе я испачкаюсь в этой грязи. Боже, ведь это публичный дом! Так вот с какими «клиентами» она имеет дело!

Не помню, как я спустилась по лестнице. Очнувшись только у какой-то водопроводной колонки. Я долго оттирала лицо, шею и руки. Но даже после холодной воды меня не покидало ощущение грязи. Я снова и снова черпала пригоршнями воду...

В Казани меня ждали новости. Первая — вернулась из больницы наша Катя. Она никого не узнавала. Живот у нее был вздут чуть меньше, но все равно чувствовалось, что ребенок нездоров. На ногах Катя не могла стоять по-прежнему. Вторая — в нашу группу из младшей перевели новую девочку по имени Амина. Она все время плакала. Наверно, переживает разлуку с друзьями. Ах, деточки, даже взрослому человеку тяжело привыкать к новому месту. А вас, бедных, с рождения перемещают с места на место. Вот если растение все время пересаживать, оно не выживет и засохнет. Хотя к растениям мы более добры, чем к людям. Без нужды не рвем их с корнем. А человек — только держись! Когда матери бросили этих малышек в роддоме, корни их были вырваны в первый раз, потом их «пересадили» к нам — и это тоже была для них травма. Но и это еще не все. Судьба бьет их, как только может. Иногда с самой неожиданной стороны. Вот, нам пришлось переименовывать Искандера в Александра. Новые родители нашего мальчика оказались русскими, и они попросили, чтобы ребенка приучали к новому имени. Мы, конечно, не против, лишь бы мальчик сиротой не был. И начали объяснять Искандеру: «Ты теперь Александр, понял? Ты — Александр, Саша». И детям говорим: «Этот ваш товарищ — Саша». Дети смотрят на нас удивленно. Если бы они могли говорить, то наверняка сказали бы: «Зачем вы путаете нас? Человеку имя дается раз в жизни. Это ведь не одежда, которую всегда можно сменить». Но дети говорить пока не умеют. Вот Таня наша сколько мучилась жаждой! Теперь стоит ей только заплакать, как я сразу же даю ей попить. Она выпьет чашку воды и успокаивается. Не только Таня, другие дети тоже часто хотят пить. Они же постоянно двигаются. А мы, опасаясь поносов или мокрых штанов, жалеем для них сок или кефир.

Кстати, иногда дети начинают болеть «хором», всей группой. По-моему, соки им разбавляют водой. Попробуешь такой сок, а в нем и вкуса-то никакого нет. На днях я опять в столовой поругалась. «Если уж не можете не разбавлять, так лейте хотя бы кипяченую воду, — сказала я им, — иначе желудки детям испортите». Опять, наверно, после моего ухода называли меня «свихнувшейся». Ну и ладно. Мне все равно, лишь бы с детьми ничего не случилось.

Нашу Веру положили в больницу — у нее сильный понос. Она, бедняга, любит все тащить в рот прямо с пола. Иногда капнет каша на пол, так девочка норовит ее слизнуть. Она постоянно хочет есть, потому и соседям по столу частенько «помогает». Родители ее лишены своих прав, потому что оба — алкоголики. Старших детей отправили в детский дом. Самая младшая, Вера, попала к нам. Видимо, от постоянного

недоедания в семье девочке хочется насытиться впрок. Сколько ни дай, ей все мало. На днях приходил ее отец. Принес ей в носовом платке несколько печенюц. От долгого пребывания в кармане они превратились уже в труху. В тот день была смена Зинаиды. Увидев, как неопрятный мужчина протягивает Вере, игравшей в песочнице, печенье в грязном носовом платке, Зинаида начала кричать:

— Чего ходишь тут, алкаш несчастный! Исчезни. Если врачи увидят, мне, знаешь, что будет?! — Она выхватила из его рук носовой платок и швырнула его со всем содержимым через забор. Мужчина оторопело смотрел то на Веру, то на Зинаиду. Руки у него тряслись, из глаз текли слезы... Боже, что делает с человеком водка. Если бы не она...

* * *

Я настолько поглощена своими новыми заботами, что не помню, когда навещала собственных детей. Времени не хватает. Удлинить сутки невозможно. Едва успеваю изредка просматривать газеты. Но и в них читаю только те материалы, которые касаются детей-сирот. Сколько их, оказывается, у нас в Татарстане! Таких домов, как наш, — три. А ведь еще интернаты, детдома. Каждая сирота — это слезинка нашего общества. Кто же сможет выдержать столько слез? Есть ли где-нибудь в мире счастливая страна, где дети не знают, что такое сиротство?

Словно прочитав мои мысли, однажды Надежда Николаевна протянула мне газету. «Минсылу апа, здесь есть интересная статья. Я прочитала и поразились. Оказывается, в Швеции в роддомах вообще не оставляют детей, и детдомов там нет. А если люди хотят взять себе сироту на воспитание, ищут их по всему свету. И вот что интересно: берут больных детей. Вырастить здорового ребенка не считается у них особым героизмом. Наоборот, на таких людей смотрят с подозрением, как будто они хотят удовлетворить свои эгоистические потребности».

Я прочитала эту статью. В ней шла речь о ребенке, родившемся в нашей стране. Он был без ног, а потому мать оставила его в роддоме. Вместо него она взяла оставленного кем-то здорового ребенка. Этот ее поступок был воспринят как акт высокой человечности, и врачи роддома, радуясь, что пристроили хотя бы одного малыша, с почестями и благодарностью проводили эту мамашу.

А малыш-инвалид благодаря счастливому стечению обстоятельств попал в Стокгольм, в центр реабилитации больных детей. Там ему сделали удобные протезы. Теперь мальчик растет, не отставая в развитии от своих сверстников. Ездит на велосипеде, играет, озорничает. Его усыновили прекрасные люди. И они очень довольны тем, что им достался этот ребенок. Меня поразила в этой статье еще одна вещь: от ребенка с малых лет не скрывают, кто его настоящие родители. Поэтому, став взрослыми, эти дети не переживают трагедии «узнавания» своего прошлого и того, что их родители им не родные. А у нас нередко ребенок узнает правду на улице, и его отношения с теми, кто его вырастил, дают трещину.

Мы обсуждали с Надеждой Николаевной прочитанное, когда в комнату вошла Людмила Герасимовна. Мы и с ней поделились своим открытием

— Да ну, какая может быть человечность у капиталиста? Он же сам пьет кровь у других! Просто им нужна дешевая рабочая сила. Этих бедолаг будут всю жизнь эксплуатировать.

— Что вы говорите, Людмила Герасимовна, — возразила Надежда Николаевна. — Ну какие рабы могут получиться из этих детей? Если бы им нужна была дешевая рабсила, они бы здоровых детей брали.

Людмила Герасимовна хлопнула ладонью по газете:

— Вот, здесь же сказано, что у них нет «лишних» детей.

— Зато у нас есть, — вставила я.

— Но у нас, слава Богу, не продают детей.

— Не продают, потому что даром никто не берет, — ответила Надежда Николаевна.

Мы заспорили с главврачом, но переубедить ее не смогли.

— Если они берут детей-инвалидов, значит, им это выгодно, — безапелляционно заявила Людмила Герасимовна. — Или прославиться хотят, или для какого-нибудь эксперимента нужно. Капиталист ничего не станет делать без личной выгоды...

К сожалению, кто работает здесь, не верят в то, что в жизни существуют доброта и милосердие. А Людмиле Герасимовне достаточно того, если к приезду комиссии все будет шито-крыто.

На днях приключилась забавная история. Я попросила сыновей сфотографировать детей нашей группы. Вскоре, взяв фотоаппараты, они приехали. О задуманном я никому говорить не стала, но кто-то все-таки шепнул о приезде «людей с камерами» главврачу. Вскоре в группе появилась Людмила Герасимовна в белоснежном халате, который она надевает только к приезду комиссий. То ли она была слишком занята, то ли не хотела выдать свою неосведомленность, но, одобрительно кивнув: «ладно, ладно», она удалилась. Зато в других группах поднялась суматоха: из кабинетов врачей вновь начали

выносить кресла и диваны, детям раздали красивые игрушки. Их даже пустили в наш заповедный «уголок». В недоумении я спросила одну воспитательницу: «Что случилось, комиссия, что ли, едет?», а она уставилась на меня, как на сумасшедшую, а потом сказала: «Ты слепая, что ли? У тебя же в группе корреспонденты фотографируют...» Ах вот в чем дело! То-то Людмила Герасимовна слишком сладко улыбалась. Очень хорошо, побегайте немного. И детям будет передышка. В столовой тоже к приезду комиссии постарайтесь — меньше своруют...

Когда все дети в группе были сфотографированы, Людмила Герасимовна обратилась к «корреспондентам»: «Посмотрите и другие наши помещения. Может быть, вас заинтересует наша комната для спорта. У нас новый инвентарь...» «Мы пришли по просьбе матери, — ответили ей сыновья, — она просила нас сфотографировать ее детей». Лицо Людмилы Герасимовны исказилось, улыбка сошла с ее губ, как краски с афиш во время дождя. «Кто разрешил вам войти сюда!» — закричала она.

Сразу же после ее ухода кресла снова вернулись на свои места, из «уголка» детей выгнали, игрушки заперли в шкафу, короче, детские комнаты стали похожи на разоренный улей.

Но Аллах, видимо, все-таки есть, потому что именно в этот момент главврачу сообщили, что приехала настоящая комиссия. Обычно о приезде комиссии всегда предупреждали заранее, но в этот раз получилось неожиданно, а потому особенно эффектно. Снова началась суматоха с креслами. Надо было видеть Людмилу Герасимовну, которая была уже не в парадном одеянии, а в повседневном халате неопределенно-грязного цвета, улыбочку приклеить тоже забыла. Наоборот, от злости губы ее сжались, а из глаз сыпались гневные искры. Если бы они могли извергать пламя, наш приют сгорел бы в одно мгновение. От растерянности она сразу начала кричать:

— Не разрешаю, сейчас же уходите, — махала она руками на членов комиссии. Но среди них, похоже, оказалось какое-то важное лицо, что быстро привело ее в чувство. Людмила Герасимовна осеклась и пробормотала: «Комиссия за комиссией. Всем не угодишь...»

— Вы здесь поставлены для того, чтобы всегда был порядок, — сказал представитель комиссии.

Главврач попыталась вновь пойти в атаку:

— Не могу больше, уволюсь. Неблагодарный труд, здесь никогда не оценят по достоинству того, кто старается.

Но комиссии такие приемы были, видимо, хорошо знакомы, и главврачу хладнокровно ответили:

— К вопросу о вашем пребывании здесь мы еще вернемся. А пока давайте займемся делом.

Вот это была проверка! Другие комиссии приходили больше ради формальности и на многое смотрели сквозь пальцы. А эта заглянула в каждый угол. Даже воду из крана попробовали. Кстати, у нас давно уже засорилась мойка. Посуду можно было мыть, только поставив вниз ведро. Сколько раз я говорила об этом, но никто и ухом не вел. А теперь вот пусть краснеют. Ишь, как забежали! И сантехник нашелся — сразу прибежал. Что-то там пять минут поковырял, и вода тут же с шумом ушла. И из-за этого мы страдали столько дней! А сама Людмила Герасимовна требует у нас чистоты, даже половые тряпки проверяет. Однажды ей показалось, что моя — сухая, и тут же начала меня отчитывать: почему не моешь полы? Пришлось мне перед ней ее выжимать. Извиняться главврач не стала. Ах, если бы все комиссии приходили вот так, без предупреждения! У нас уже давно все было бы хорошо. Впрочем, в народе говорят: «Рыба гниет с головы». Очковирательство у нас распространено в масштабах всей страны. Как только приезжает какой-нибудь государственный деятель, начинают чистить город. В крайнем случае красят гнилые заборы вдоль дорог... Но ведь мы можем работать. У одной из детских кроваток уже давно сломана решетка в изголовье. Гафур частенько просовывает туда голову, а обратно вынуть не может и плачет. Мы и сюда тянем, и оттуда толкаем, чуть голову ребенку не отрываем, а позвать плотника никто не удосужится. А сегодня, пожалуйста, со склада прикатили новехонькую! Обычно, когда приезжает комиссия, с обедом запаздывают, не до того им, видите ли... Вот и теперь представитель министерства взглянул на часы и спросил: «Во сколько вы кормите детей?» А услышав, что в двенадцать, рассердился: «Вы уже опоздали на десять минут». Главврач попыталась было оправдаться, но представитель перебил ее: «У вас своя работа, у нас — своя. Нам провожатые не нужны. У нас свои глаза имеются!»

Через два дня в центральной республиканской газете вышла большая статья о нашем доме ребенка. В ней, в частности, упоминался случай, когда одному ребенку ошпарили ягодицу. Да, к сожалению, такое у нас бывает. Некоторые воспитатели не хотят пачкать руки. Они брезгливо стягивают с детей штанишки и, сунув ребенка под кран, смывают нечистоты прямо струей, не касаясь руками. А вода течет, течет и вскоре становится горячей. Ребенок орет, а воспитатель не поймет в чем дело, поскольку руки под струю не подставляет...

Главврач, увидев статью, пришла в ярость. И, конечно, ее карающий меч опустился на мою голову. А почему? Потому что я веду дневники. Когда-то, начиная вести эти дневники, я мечтала: дети вырастут,

захотят узнать, где и как они воспитывались, тут им и пригодятся мои записи. Человек многое может забыть, а бумага все хранит. Я записывала не только забавные случаи из жизни наших детей, но и то, что случалось у нас грустного, несправедливого. Разумеется, меня быстро «разоблачили». Потому что иногда я забывала и оставляла где-нибудь эти дневники, а их тут же находили и зачитывали, переводя на русский, главврачу. Несколько моих дневников бесследно исчезли. Но я каждый раз упорно начинала новый. Думаю, что именно с ними главврач связала неожиданный приход комиссии.

— Не надейся, что ты сама останешься чистой и незапятнанной. Я тебя без пенсии оставляю. И не думай, что я тебя просто пугаю. Я не привыкла проигрывать. Если меня снимут с работы, сначала я тебя успею уволить по статье. И тогда ты милостыню будешь просить на старости лет. Будь проклят день, когда я взяла тебя на работу...

С тех пор надзор надо мною еще более ожесточился. Мне теперь нельзя было ошибаться — скоро на пенсию...

Как-то навестила сыновей и рассказала им о своих трудностях. Они посочувствовали, а потом старший сказал:

— Мама, ты слишком много хочешь от людей. Вбила себе в голову, что справедливость всегда должна побеждать. Ты и нас так воспитывала. Но с такими взглядами очень трудно жить. А между тем, в жизни еще очень много несправедливого, от этого порой трудно даже устоять на ногах...

Да, я очень хорошо понимала сына. Он учился в художественной школе, подавал большие надежды. Учителя хвалили его работы и часто посылали их на выставки. Одну даже показали в Союзе художников. Учителя называли Сагита «наш будущий художник». Сын очень старался. Окончив среднюю школу, он отнес документы на архитектурный факультет строительного института. Экзамены сдал хорошо. После последнего пришел домой окрыленный: «Мама, можешь меня поздравить, я набрал проходной балл!» И мы втроем начали каждый день ходить в институт, ожидая, когда вывешат списки поступивших. Список вывесили, но Сагита там не было.

Не в силах принять эту несправедливость, Сагит плакал навзрыд. «Правды нет на свете, мама. Ты неправильно воспитала нас. В этом мире хорошо живут только жулики и обманщики. Когда мы сдавали экзамены, один мужчина заходил со своей дочерью в кабинет ректора. Я узнал потом, что это был какой-то большой начальник. Его дочь и взяли на мое место. Я сам видел в списке ее фамилию. А ведь она срезалась еще на втором экзамене...»

Я ничем не могла утешить сына. Лишь душа моя разрывалась от бессилия перед несправедливостью.

— Может быть, мне сходить в институт? — предложила я.

— Ой, мама! Ну кто ты для них? С тобой даже разговаривать не станут.

— Не принижай меня так, сынок. Я не из Америки приехала, но я — советский человек. Вся жизнь я зарабатывала себе на жизнь вот этими руками. Почти пол-Казани построено нами. Если бы не было нас, строителей, где бы люди жили?

Я говорила, что не нужно отчаиваться, надо бороться, добиваться правды... Но сын только отмахнулся:

— Нет уж, мама. Я не стану терять время на поиски правды. Вряд ли я ее найду, а ожесточиться успею. Многие вот так когда-то столкнулись с несправедливостью, а потому стали ворами или бандитами. Ударит судьба раз, два, вот уже человек отчаялся, потерял волю, и теперь его можно склонить к любому преступлению.

— Но что же ты собираешься делать, сынок?

— Не волнуйся, мама, бандитом не стану. Пойду работать. Думаю, на заводах работы хватит.

— Но твой талант...

— Забудь об этом, мама. Таких, как я, в нашей стране наберется, наверно, миллион. Почему самые талантливые уезжают из страны? У нас же человек в поисках счастья вечно переезжает с места на место — потому и страна никак не может встать на ноги. Никогда не будет процветать страна, где не ценят человека. Взять хотя бы тебя: тебе и семнадцати не было, когда ты чуть ли не босиком приехала в город искать работу. Деревенский человек думает, что в городе лучше, а тот, кто разочаровался в городской жизни, уже готов сбежать из страны.

— Ты, сынок, не торопись с выводами. Не все люди такие.

— Нет, я не о тебе говорю. Такие, как ты, привыкли жить под гнетом. Человек, если он не окончательный невежа, старается прыгнуть выше и увидеть больше. А у нас таких зорких не любят, вставляют им палки в колеса. Знаешь, я даже рад, что не смог поступить в институт. Скажешь — почему? Меньше знаешь — легче жить. Живешь и думаешь: сыт, и слава Аллаху.

Никогда раньше сын не высказывался в таком духе. Видно, сильно задела его эта история с экзаменами. Но хорошо, что он не держит в себе зла. Покипит и остынет.

Вскоре Сагит устроился на работу. Слава Аллаху, работает честно. На следующий год второй сын попытался поступить в тот же институт, но тоже не прошел. Впрочем, Мунип, похоже, не так сильно и переживал: «Шея есть, хомут найдется», — философски заключил он и устроился на работу рядом с братом. Они всегда ладили друг с другом, никогда не связывались с дурными компаниями. Когда я ушла со стройки и стала работать в доме ребенка, дети поначалу сетовали, что редко видят меня. Но сейчас, кажется, привыкли. Даже помогают иногда. Сделали вот фотографии детей. Какие замечательные получились ребятишки! Рассматривая снимки, Сагит вдруг спросил:

— Мама, а где ты собираешься хранить эти фотографии? Они же растреплются, потеряются. Хорошо бы каждому ребенку завести альбом. Будем время от времени фотографировать детей и заполнять эти альбомы, чтобы было видно, как они растут, меняются.

Мысль мне понравилась.

— Но кто сделает эти альбомы, кто их оформит?

Дети рассеяли мои опасения:

— Ты забыла, что мы окончили художественную школу?

И сыновья с азартом взялись за дело. На первой странице каждого альбома мы приклеили фотографию маленького хозяина. Под снимком — имя, фамилия, год рождения и дата, когда сделан снимок. Мы решили, что пока не сделаем все четырнадцать альбомов, никому не станем открывать свою тайну.

Альбомы получились очень красивые. Сыновья работали, соревнуясь друг с другом. Каждую страницу они украсили национальным орнаментом. Закончив работу, младший вдруг сказал:

— А ведь мы забыли о самом главном!

Мы с недоумением посмотрели на него.

— Что, по-вашему, должно быть на обложке альбома?

— Наверно, имя владельца? — предположила я.

— Нет, на обложке должна быть фотография дома, где он воспитывался. Ведь это их первое гнездышко. Куда бы они потом не разъехались, для них он всегда останется родным домом. А фотография напомнит, каким он был. Я берусь сделать эти снимки...

Альбомы становились все лучше и лучше. Хорошо смотрелся на обложке и наш дом ребенка, хотя здание в общем-то типовое, предназначенное для детского сада, и я опасалась, что на фотографии оно получится серым, неказистым. Когда его строили, о красоте, конечно, не думали: крыша есть и ладно. Наша бедность тому виной или равнодушие — не знаю. А детская душа везде ищет красоту и тайну. Детям быстро надоедают бездушные игрушки. Однажды, когда мои подопечные, побросав их, настроились все разом поплакать, я подтащила к окнам столы и поставила на них детишек. Слезы сразу высохли. Дети стояли, глядя завороченно на машины и проходящих мимо людей.

Бедные, они никогда не видели настоящей природы, летом еще ладно, какие-то деревца им попадаются на глаза. Но вообще-то, во дворе у нас довольно уныло. Вот если бы здесь разбить сад, посадить цветы, проложить аллеи, сделать большой бассейн с рыбками. Откуда же взяться доброте в душе ребенка, если он с малых лет оторван от живой природы? Дети растут не по дням, а по часам, а в игрушках, которые они ежедневно держат в руках, для них никакой тайны давно уже нет. Можно, конечно, еще сломать ее и посмотреть, что там внутри... Ребенок жаждет ежеминутных открытий. На днях в открытую форточку влетел воробей. Суматошное порхание птички сначала испугало детей. Потом испуг сменили интерес и удивление. Дети побросали свои игрушки и начали следить за воробьем. Даже всегда безутешная Амина перестала плакать. Кто ползком, кто на четвереньках устремились поближе к птичке. Гафур, который до того едва научился стоять, держась за стул, вдруг робко сделал первый, второй шаг — и так до середины комнаты, где и шлепнулся на попу, но не заплакал, — настолько велика была его радость — и за себя, и за птичку, которую он впервые видел так близко. А воробей все летал и летал, звонко чирикавая, будто рассказывал детям, какой большой и светлый мир находится за стенами этой тесной комнаты: «Эй вы, маленькие люди, мир так велик, небеса так высоки. Вы еще откроете все семь небесных врат и подниметесь на седьмое небо. На первом небе — ваши колыбельки, вы еще там. Ах, если бы над ними склонялись ваши матери! Тогда и крылья у вас окрепли бы раньше, и мечты осуществились бы скорее. Судьба лишила вас радости слышать колыбельную матери. Увы, вас укачивают чужие руки. Многие из вас свои первые слова произнесут на чужом языке, а ваш родной язык ... умрет внутри вас. Но, друзья мои, как бы там ни было, вы рождены для того, чтобы жить. Рядом с вами есть добрые люди. И вы постарайтесь — хотя бы сквозь слезы! — радоваться солнцу, небу, чудо-радуге на нем... Вы видите, я летаю. Так пусть и ваши души устремятся ввысь. Вам еще предстоит погрузиться в глубокие думы, глядя на громаду плывущих облаков, восхищаться мерцающими в ночи звездами. Ваши души еще наполнит до

краев шум леса, свист ветра, пение птиц. Сиротство будет время от времени обжигать вас своим горячим дыханием, но если ваши глаза научатся видеть красоту, сердце — чувствовать доброту и вы найдете в себе силы скинуть с души камень обиды, вы обязательно будете счастливы!» — и воробей вылетел обратно в форточку. Дети будто поняли его — они долго сидели неподвижно. Мне показалось, что это Всевышний решил: пора будить души детей — и прислал эту птичку к нам.

* * *

В народе говорят: с маслом и старый лапоть съесть можно. Так и наше здание — на цветном фото оно получилось довольно привлекательным. Однажды я все же не удержалась, положила альбомы в сумку и взяла с собой на работу. Покажу воспитателям, пусть порадуются. Может, кто и похвалит: «Ты у нас, Минсылу апа, гораздо на выдумки».

Но в тот день оказалось не до альбомов — у Васи поднялась высокая температура. Только я пришла, мне тут же сообщили: «Твой Вася заболел!» Сердце сжалось. Что же еще случилось с этим ребенком?!

Васю у нас недолюбливали, хотя особых хлопот он не доставлял. Просто бывают дети, которым изначально выпадает меньше внимания и нежности даже в такой, как наша, сиротской среде. А Вася, будто чувствуя, что он никому не нужен, постоянно капризничал. Он не ел, когда нужно, не спал, когда положено. Но даже если Вася плакал, воспитатели не спешили его успокоить, бросая в сердцах: «Народился же на нашу голову». Внешне ребенок может быть и некрасивым, но обаяние — неотъемлемая черта детства. Может быть, именно такого обаяния не хватало Васе? Те, кто выбирал себе ребенка для усыновления, в его сторону даже не смотрели. И у врачей были сомнения: не слабоумен ли этот ребенок? Другие дети после двух-трех напоминаний начинают узнавать свои вещи, даже носовые платки различают. А Васе — все едино. Мне его очень жалко. Когда выпадает свободная минутка, я подвожу его к игрушкам и учу: «Это — лошадка, это — волк». Другим детям скажешь: «Ну-ка, принеси мне лошадку, отыщи мне собаку», — и они делают это безошибочно. А Вася никак не научится их распознавать. И зубки у него появились гораздо позже положенного срока. Врачи говорят: «Посмотреть бы на мамашу, которая его родила». Меня это злит. Как будто ребенок в чем-то виноват. Я считаю так: придет срок, и все у него будет нормально, нельзя человеку заранее пророчить несчастье. Судьба — как сон. Напророчишь хорошее — все будет хорошо, а предскажешь горе — так и будет. Придя на работу, я первым делом говорю Васе: «Будь умницей, детка, не обижайся на жизнь. Надо быть добрым и милосердным. Потому что красота — это богатство, но доброта — богатство в тысячу раз большее». Воспитательницы думают, что я шепчу молитву. «Ты, Минсылу апа, кажется, хочешь излечить Васю молитвой. Но ведь ему безразлично — что молитву читаешь, что ругаешься по-черному». Нет, дорогие мои, это совсем не так. Даже собака отличает ласку от брани. А здесь — ребенок. Посмотрите, как светлеют у него глаза, когда я глажу его по головке. Даст Бог, и зубки у него прорежутся, все будет хорошо... У Васи и в самом деле скоро показался зубик. Утром я, как обычно, погладила его: «Расти добрым и счастливым, деточка», а Вася посмотрел на меня и улыбнулся. Во рту у него блеснул крошечный зубик. От радости я даже прослезилась. Подняла Васю на руки и побежала к врачу: «У Васи прорезался зуб!» Да, это был действительно большой праздник для всех нас. «Минсылу апа, — вдруг сказала Расима, — у нашего народа есть старый обычай: кто первым увидит у ребенка зуб, тот должен ему что-нибудь подарить».

За Расимой водится эта привычка — делать добро чужими руками. Но сегодня я с ней согласилась. «Обязательно, — ответила я, — этого ребенка я не обижу».

В поисках подарка для Васи я обегала все магазины, но магазины были пусты, как квартира, обчищенная воров. Тогда я решила посоветоваться с сыновьями. Они хорошо знали Васю по моим рассказам и посоветовали:

— Мама, этого ребенка вряд ли кто-нибудь усыновит. Открой на его имя счет и положи туда немного денег. Пока он будет расти, наберется какая-то сумма. У нас на заводе работает один парень — бывший детдомовец. Ему уже тридцать, а у него ни квартиры, ни жены. Когда его провожали из детдома, выдали пять рублей. Как-то мы разговорились, и он рассказал нам: «Пришел я на завод устраиваться, а у меня — ни копейки. На работу устроился, но денег-то мне никто сразу вперед не выдаст. А есть хочется. Зашел я в хлебный магазин и стою возле полок, не в силах оторвать взгляд от хлеба. В ноздри бьет душистый запах, рот наполнился слюной. В общем, нацелился я стащить одну буханку, когда народу станет поменьше. Но продавщица, видимо, поняла мое состояние и предложила: «Сейчас придет машина с хлебом, не сможешь разгрузить?» Я, конечно, с радостью согласился. Когда, наконец, я выгрузил эту машину, меня качало, как белье на ветру. Продавщица протянула мне две буханки хлеба. Я уже собирался присесть тут же где-нибудь в уголке, но женщина положила мне руку на плечо: «Сейчас я закрою магазин на обед,

пойдем, я тебя чаем напою». Я пошел с ней. Пока я ел, она подробно расспросила меня обо всем. На прощание дала мне десять рублей. Если бы судьба не послала мне эту добрую женщину, думаю, голод толкнул бы меня на воровство. А те десять рублей я тратил только на хлеб. Целую неделю ночевал на вокзале — пока не освободилось обещанное место в общежитии. Иногда становилось невмоготу, я уже хотел махнуть на все рукой и украсть что-нибудь, чтобы наконец поесть досыта, но перед глазами вставало лицо той женщины, и я сдерживался...»

Сыновья рассказывали мне эту историю, и я слышала в их голосе горечь. «Мама, человек, у которого есть родители, в случае крайней нужды может рассчитывать на то, что его приютят и накормят. А у этого парня не было даже приличной одежды. Из-за этого он стеснялся назначить свидание девушке, которая нравилась ему. А когда он наконец купил себе костюм и пришел к этой девушке, оказалось, что она уже замужем. Так и живет он теперь холостяком. Говорит, что другой такой не встретил... Конечно, не в деньгах счастье, но когда человек одинок и обижен судьбою, деньги — хотя бы на приличный костюм! — могут перевернуть его жизнь.»

Я порадовалась тому, что сыновья мыслят здраво. Их идея открыть для Васи счет мне тоже понравилась. Правда, сейчас у меня нет лишних денег. Но скоро я выйду на пенсию. Если буду здорова, то дома сидеть не стану. Тогда и материально мне станет полегче. Впрочем, деньги для ребенка можно копить и другим способом. Я где-то слышала про страхование детей. Недолго думая, я застраховала Васю на пятьсот рублей. Выходило, что в месяц я должна платить чуть больше двух рублей. Для здорового человека сумма эта — пустяк: все равно что милостыню подать.

Вот после этого я и услышала впервые «твой Вася». Некоторые воспитатели недоумевали: мол, не могла выбрать ребенка получше, потолковее. Я очень сердилась и отвечала: да кто же знает, толковый Вася или бестолковый? Мальчик словно чувствовал, что со мной он под надежной защитой: когда его обижали, он с надеждой смотрел на меня. Если ему нужно сделать укол, опять же зовут меня — держать его. Иначе, увидев медсестру со шприцем, он начинает так метаться, и ничем его не успокоить.

Вот и сегодня у Васи высокая температура, а потому нужно сделать укол. Увидев меня, медсестра облегченно вздохнула. Я положила руку на горячий лоб ребенка: «Деточка моя, ты заболел, что ли? Сейчас мы тихонечко ущипнем тебя за попку, и тебе сразу станет легче. Давай-ка мы сделаем тебе массаж...» Я прижала его к себе и начала поглаживать маленькое тельце. Сжавшееся при виде шприца, оно постепенно расслабилось. Штанишки на нем были мокрые. «Ну-ка, деточка, снимем с тебя эти штанишки. Наденем красивые и сухие, ладно?» Мягкий голос и ласковые прикосновения сделали свое — у меня на руках Вася затих, даже задремал. Укол он едва почувствовал... Сколько же сил и терпения нужно человеку, чтобы жить. Сколько мучений нужно пройти, прежде чем поймешь, какое это счастье — жить...

Когда ребенок уснул, я вернулась к своим повседневным делам. Вымыла полы, потом понесла Катю на массаж. Я наблюдала за руками массажистки — удивительные руки! Посыпав руки тальком, сначала раскинула их в стороны — будто лебедь отряхнула крылья, потом энергично потерла руки, чтобы согреть, и только после этого прикоснулась к ребенку. А Катюша, которой даже смена одежды причиняет невероятную боль, подчиняясь волшебству этих рук, блаженно размякает. Медсестра словно колдует над телом девочки, создает его заново. Говорят же, что Господь Бог сотворил Адама из глины. Может быть, и он делал так же...

Животик у Кати все еще вздутый. Недавно одна из врачей сказала: «Самое лучшее лекарство в таких случаях — материнское молоко. Если бы Катя сосала грудь, она бы очень скоро выздоровела».

Через несколько дней Надежда Николаевна привела с собой молодую женщину.

— Меня зовут Хатира, — представилась женщина. — Вот мой паспорт. Мой собственный ребенок умер сразу после рождения. А молока у меня много... Мне сказали, что кого-то нужно кормить?

... Мне велели вынести Катю.

— Не сомневайтесь, я здорова, — сказала Хатира. — Я в столовой работаю. Так что у нас постоянно берут анализы.

Катюша брать грудь отказалась сразу.

— Ах ты, маленькая, видно, ты не знаешь, что такое материнская грудь, — заворковала Хатира. — Ну ничего, научись, даст Бог. А как во вкус войдешь, так еще сама просить станешь.

Но к груди Катя так и не привыкла. Тогда Хатира начала отцеживать молоко в бутылочку. Благоприятное влияние грудного молока не замедлило сказаться: живот у Кати стал мягче.

Как бы мы ни старались оберегать детей от простуды, они все равно болели. Не помогали ни утепленные окна, ни влажная уборка. Простудился Искандер — Саша. Температуры нет, но все его тело покрылось сыпью. Медсестра обмазала его зеленкой, так что ребенка было почти не узнать. А ведь

нашему Искандеру нужно быть красивым, как девушке, поджидающей жениха. Вот и сейчас, в очередной раз приехали его будущие родители. Увидев Искандера с зелеными пятнами на лице и шее, они аж передернулись. Надежда Николаевна поспешила их успокоить.

— Это временно, все пройдет, пройдет, — сказала она. — Мы его каждый день водим на кварц. Саша у нас богатырь. Болезни не пристают к нему. Вот увидите, к вашему следующему приходу все как рукой снимет. Так ведь, Искандер?

Надежда Николаевна осеклась.

— Но мы же просили вас не называть ребенка прежним именем, — недовольным скривилась будущая «мамаша».

Нам с трудом удалось оправдаться. Когда капризничают взрослые, это еще хуже, чем каприз ребенка. Дитя можно прижать к груди, утереть ему слезы, и он тут же забудет все свои обиды. А взрослого так просто не умилоставишь. Пока Искандер был в «процедурной», «родители» все еще о чем-то озабоченно шушукались. В другое время я сама, бывало, говорила мальчику: «Вот пришли твои папа и мама. Они очень хорошие. Скоро заберут тебя к себе. Ты будешь очень-очень счастлив. Тебе не придется вскакивать в шесть утра, как солдат, ты сможешь спать, сколько хочешь...» Искандер слушал меня и улыбался. Но сегодня я не смогла заставить себя произнести эти слова. А Искандер будто почувствовал эту перемену настроения, и сам целый день вел себя тихо, как мышка.

Больше эти люди у нас не появились. Сначала мы по-своему пытались объяснить их отсутствие: «Наверно, не могут собрать все нужные документы. У нас ведь масса бюрократических препон». Но в душе все уже догадались, что причина не в этом. И мы оказались правы. Вскоре через третье лицо нас уведомили, что ребенка решили не брать. Ну и Бог с ними, может быть, это и к лучшему. А если бы они взяли ребенка, а потом вернули? Бывают и такие случаи. Только душу ребенка травмируют. Мы и на этот раз себя успокоили: не было бы счастья, да несчастье помогло...

Дети растут очень быстро. Они многое схватывают на лету. Пополняется и их словарный запас. Нам снова пришлось поставить Искандера перед детьми и объяснить: «Дети, наш Искандер теперь не Александр—Саша, а снова Искандер! Поняли? А ты, Искандер, прости нас, что иногда ругали тебя за то, что ты не откликнулся на имя «Саша». Прости нас за то, что мы невольно поселяли в тебе надежду обрести отца и мать. Не храни в душе обиду. Мстительный человек — бессильный человек. А нам хочется, чтобы ты был духовно здоровым и сердечным человеком».

Пока мы занимались «переименованием» Искандера, в группу вошла Расима. Прислушавшись к тому, о чем мы говорили с ребенком, она удивилась:

— Зачем вы извиняетесь перед детьми? Что бы мы ни делали, они должны знать, что взрослые правы.

Воспитатели по-разному восприняли ее слова. Одни поддержали Расиму, уверяя, что извиняться перед детьми — это все равно что показывать свое бессилие, другие считали, что надо уметь признавать свои ошибки. Особенно кричала Зинаида: «Да что могут понимать эти тупицы! Чем жестче с ними — тем лучше. В мою смену дети даже плакать боятся», — гордо заявила она.

Что правда, то правда — когда Зинаида рядом, дети не плачут. Она собирает их, как стадо, в кучу и не позволяет им даже сдвинуться с места. Ей бы еще плеточку в руки... Дети от испуга съеживаются, и сколько усилий потом надо приложить, чтобы вывести их из этого состояния. На днях я случайно услышала, как она «воспитывает» детей, так до моего слуха то и дело долетало — «тупица», «приблудыш», «ублюдок»...

Надежда Николаевна как-то не выдержала и сделала Зинаиде замечание: «Зачем ты здесь работаешь? Тебе же только в тюрьму, надзирателем!»

Ответ Зинаиды был неподражаем: «Пока здесь дают апельсины — а я их очень люблю — я отсюда не уйду».

В сегодняшний их спор я не стала вмешиваться. Все равно никто друг друга не слышит. Хотя у меня тоже есть свое мнение.

Как-то я пыталась надеть на Гульфию сандалики. Не дается девчонка, и все тут! Не выдержав, я отругала ее. «Если будешь ломаться, на улицу не пойдешь!» Но на девочку и это не подействовало, она продолжала плакать и сопротивляться. И тут я наконец поняла, что все время пыталась надеть на нее чужую обувь. А Гульфия просила свои новые белые сандалики, которые ей недавно привезли бабушка с сестрой. Поняв свою оплошность, я прижала девочку к груди: «Прости меня, дочка, беспамятливую. Как я могла забыть про такой замечательный подарок! А ты такая умница, сразу заметила мою ошибку!»

Гульфия и сама просияла от того, что я поняла наконец и крепко обняла меня за шею. Это была ее благодарность. Мне показалось, что весь тот день Гульфия была какая-то особенная — ведь ее усилия не были напрасными!

Но разве Зинаиде это объяснишь, да и Расима убеждена в своей правоте. Хорошо еще, что она работает не в нашей группе. Расима всем рассказывала, что заберет Насима сразу же, как получит комнату. А теперь оказалось, что комнату она давно получила — уже несколько месяцев назад, а Насим все еще мается здесь. Теперь Расима ссылается на то, что, мол, нельзя же приводить ребенка в пустой дом. Но если станешь ждать, когда у тебя будет все, ребенок вырастет и перестанет в тебе нуждаться.

Истинная же причина, почему Расима не спешит забирать ребенка, в том, что все свои силы она бросила на поиски мужа. Впрочем, Расима и не скрывала этого. «Хорошо, когда есть своя комната, — откровенничала она. — Приходишь, когда хочешь, приводишь кого хочешь. Никто ничего не скажет. Сами понимаете, мне уже поздно ходить по всяким дискотекам. А чтобы мужчина привязался, нужен домашний уют. Для современных мужчин любовь — это когда их кормят и обстирывают... Поэтому я пока не говорю, что у меня есть сын. Зачем их сразу пугать? Может быть, мужчине это не понравится».

После таких ее откровений в мою душу закралось сомнение. Похоже, будущее Насима туманно. А мы-то все говорили ему: «Ты у нас самый счастливый ребенок, потому что твоя мама рядом». Если Расима наконец решится ввести кого-нибудь в дом, не станет ли Насим лишним? Правда, пока она не отказывается от сына, но разве мало таких, кто, выйдя замуж, воспринимают ребенка как обузу?...

* * *

После критической статьи о нашем Доме ребенка, главврача все же сняли с работы. В последние дни она переругалась со всем коллективом. «Не надейтесь так просто избавиться от меня, не на ту напали. Я еще в министерстве буду работать. Вот тогда вы покаетесь!» — пообещала она.

У нас появился новый главврач. Хорошо еще, подошла моя очередь идти в отпуск. Пока я буду отдыхать, пусть другие присмотрятся к новому главврачу. И если окажется, что она такой же мерзлый кочан, как и прежняя — все, уволюсь, уйду на пенсию. Я же с семнадцати лет тяну рабочую лямку, и за все эти годы хомут ни разу не слезал с моей шеи. Да, завтра же положу главврачу заявление на отпуск. Хоть немного побуду с собственными детьми...

Мои дети... А ведь им есть на что обижаться. Какая же мать, не женив своих сыновей, вторично выходит замуж? Да за кого! За инвалида! Господь, похоже, вновь дает мне понять, что мое место — рядом с теми, кого обидела судьба. Если бы после смерти Мансура мне кто-нибудь сказал, что я снова выйду замуж, я, наверно, сочла бы это оскорблением. Со смертью Мансура весь мир для меня померк. Я не различала день и ночь, красивое и безобразное... Единственным утешением были дети. Когда я вечером возвращалась домой, и они с криком «мама!» все трое бросались мне на шею, я понимала, что я все еще живу.

Дети выросли. Рамзия вышла замуж. Скоро обзаведутся своими семьями и сыновья... А тут вдруг моя подруга Хазяр начала меня сватать:

— У нас по соседству живет человек с очень сложной судьбой. Один Бог знает, что ему пришлось пережить. Был на войне, получил несколько ранений. После войны он оказался в сталинских лагерях... Если уж отвернется счастье от человека, так уж надолго. Только женился и зажил спокойно, как начали открываться раны. Все больше времени он проводил в больницах. К тому же и сердце у него начало пошаливать. А больной человек, сама знаешь, это лишний человек. Короче, его жена забрала двух подросших дочек и ушла. Впрочем, «ушла» не совсем точное слово. Предварительно она разменяла квартиру. Сейчас Галим абый живет один. Передвигается с трудом. Если кто-то и может поставить его на ноги, так это только ты, Минсылу, — заключила подруга.

Поначалу я рассердилась на нее:

— Сама подумай, как я приду к сыновьям и скажу: «Дети, я замуж выхожу!» А они мне: «Так вот как сильно ты любила отца!» Ну уж нет, даже не уговаривай!

— Ах, Минсылу! У тебя дети хорошие, они поймут. Ты вот еще о чем не забывай: сыновья твои женятся, в доме появятся две снохи. Значит, ты станешь двойной свекровью. А свекровь, как ты догадываешься, это самая лишняя ветка на древе жизни.

— Дети не позволят обижать меня...

— Ты меня пойми правильно, Минсылу. Встреться с этим человеком. Может быть, вы не полюбите друг друга, но станете близкими людьми?.. У тебя доброе сердце, Минсылу. К нему приходили женщины, но он им не верит и выгоняет.

— Раз не верит им, не поверит и мне...

— Я все-таки познакомлю вас. Его сердечную рану перевязать только тебе под силу... — не отступалась Хазяр.

И однажды она привела меня к своему соседу. В глаза мне прежде всего бросилось то, что внешне Галим был очень похож на моего покойного мужа Мансура. Сердце мое сжалось, захотелось сделать что-то хорошее для этого одинокого больного мужчины...

С того дня я начала навещать Галима, и вскоре мы начали жить вместе. Поначалу между нами еще чувствовалось отчужденность, но со временем наши отношения стали очень теплыми. Он обожал своих дочек. Как-то я застала его сидящим со сберкнижкой в руках и сказала: «Послушай, Галим, дочери твои выросли, может быть, тебе стоит разделить свои сбережения и подарить им? Я, слава Аллаху, получаю зарплату, у тебя есть пенсия. А в молодости ведь очень хочется красиво одеваться». Галим посмотрел на меня с благодарностью, а вскоре так и сделал. Узнав о том, что отец собирается дать им денег, дочери сразу прибежали к нему...

Но сколько может выдержать израненная душа? Однажды, когда я была на работе, Галим скончался от сердечного приступа. Так я стала дважды вдовой. Теперь я обоим ношу на могилы цветы. Пусть спят спокойно и пусть не держат на меня зла...

* * *

Написав заявление на отпуск, я зашла к главврачу. Ирина Тимофеевна поднялась мне навстречу и предложила сесть. Это выглядело необычно, потому что при бывшем главвраче такого не случалось. Удивительное существо — человек. Ко всему привыкает, даже к плохому. Взяв мое заявление, главврач задумалась.

— Дети очень привыкли к вам, им будет трудно. Но не дать вам отпуска я тоже не имею права, — сказала она наконец и подписала.

Я зашла в группу попрощаться с детишками. Они уже спали. Я легонько погладила каждого по головке. Как они спят, смотреть приятно. Вот Вася, раскинув ножки и ручки, лежит ничком. Время от времени он шевелит руками. Может быть, летает во сне. Мы не знаем до конца душу ребенка, может быть, она — птица? А Катюша как-то неудобно свернулась. Бедняжка, она все еще не встает на ножки. Другие дети уже всю ходят. Катюша смотрит на них, смотрит, а потом начинает плакать. Обидно. Мало того, что сиротой родилась, так еще инвалидом. Рядом с Катей спит Лейла, лоб у нее весь покрылся капельками пота. Все пичкаем ее люминалом. Скоро девочка совсем одуреет. Неужели нельзя подобрать для нее другое лекарство? Что же она, всю жизнь будет пить снотворное? Ей же замуж выходить, детей растить. А если припадки будут повторяться — кто же женится на ней? А вот и Гафур с Искандером. Спят спокойно. Искандер уже вновь привык к своему настоящему имени. Он не злопамятный, умеет прощать. Даст Бог, будет человеком широкой души... Амина и Мадина. Сначала в группе появилась Амина. Узнав, что у нее есть сестра-близнец, мы стали хлопотать, чтобы другую девочку тоже перевели к нам. Но главврач почему-то заупрямилась: «Они все равно еще ничего не понимают...» Надежда Николаевна пыталась возразить: «Но, лучше, если они с малых лет будут знать, что одной крови...» Однако Людмила Герасимовна отмахнулась: «Нет у вас, что ли, других проблем... Не волнуйтесь, придет время — переведем». Сколько бы это тянулось, неизвестно, но одно неожиданное событие помогло изменить судьбу этих девочек.

Первым словом Амины стало «мама». И кому, как вы думаете, оно было обращено? К Тамаре! Конечно, само по себе это не удивительно, детишки часто называют «мамой» воспитательниц. Но до сих пор это мог быть кто угодно, но только не Тамара! Дети боялись ее. Когда она рядом, они встают по стойке «смирно» — как солдаты перед командиром. Однажды Тамара уложила детей спать, а сама ушла домой. Только она закрыла дверь, дети тут же повыскакивали с кроваток, и что тут началось! Кто на кровати скачет, кто пытается спуститься на пол, кто грызет зубами одеяло... Я молча наблюдала за детьми, не пытаясь их уговорить. Ведь они целый день боялись сделать лишнее движение, даже во время игр клевали носом, как куры на насесте. А сейчас наконец дали себе волю. Когда шум в спальне достиг критической точки, дверь вдруг открылась и влетела Тамара! Оказывается, она что-то забыла. У детей будто разом вырвали языки — такая тишина установилась.

Так замирают при виде змеи. «Зачем вы их портите, Минсылу апа», — укоризненно сказала Тамара и ушла, громко хлопнув дверью.

Так вот эту самую злюку Тамару полюбила наша Амина. Девочка ходила за ней по пятам и все твердила: «мама». Сначала Тамара отнеслась к этому настороженно, ей показалось, что кто-то специально подучил девочку. Но убедившись, что ребенок привязался к ней от чистого сердца, Тамара как будто оттаяла. Вообще-то она никогда не нежничала с детьми. А тут я как-то случайно вошла в комнату и увидела, как Тамара обнимает Амину, а из глаз ее текут слезы. Увиденное так потрясло меня, что я не удержалась и спросила: «Что случилось, Тамара? Уж не несчастье ли какое-нибудь стряслось?» — «Ах,

Минсылу апа, — сквозь слезы ответила она, — вот и вы считаете меня бессердечной тварью. А у меня внутри все горит, так, что если бросить мое сердце в море, то вода в нем вскипела бы».

Немного успокоившись, Тамара рассказала свою историю. Когда-то она очень сильно любила одного парня. Вышла за него замуж, родила двойню. Но оба ребенка, заболев скарлатиной, умерли еще в грудном возрасте. После этой трагедии муж ушел от нее. «А мне так хотелось услышать слово «мама»! Да и здесь я просто умирала от зависти, когда слышала, как детишки называли «мамой» других воспитателей», — призналась Тамара.

Малышка Амина смогла сделать то, перед чем оказались бессильны мы, взрослые. Мы не могли подобрать ключ к ожесточенному сердцу Тамары, а одно лишь слово «мама» будто переродило ее. Отношение Тамары к детям переменилось, к Амине она привязалась особенно. А вскоре начала ходатайствовать о переводе в группу и Мадина. А добиваться своего Тамара умеет. Людмила Герасимовна не смогла противостоять ее напору, и однажды у нас в группе появилась Мадина...

На первый взгляд девочки мало похожи друг на друга. Амина — белокожая, подвижная девочка, Мадина — смуглая, чернобровая. Сначала кровати девочек были расположены в разных концах, но Тамара поставила их рядом. Мы стараемся объяснять девочкам, что они — сестры, и во время игр, и за столом сажаем их рядом. Амина — физически более крепкая, она любит покровительствовать. Если Мадина плачет, Амина начинает ее кормить своей ложкой или отдает ей свою игрушку. Мадина пока не разговаривает. Мы же про себя молимся, чтобы и она однажды сказала Тамаре: «Мама!».

Говорят, что слово лечит. Ни за что бы не поверила, если бы сама не увидела...

* * *

Сегодня мне приснился сон. Будто я пасу гусят у речки. Мне нужно загнать их в воду. Гусята очень маленькие, а течение у реки сильное. Я смотрю с берега в воду, и у меня даже голова кружится: то ли от быстрого течения, то ли от того, что берег высокий — если сорвешься, сломаешь либо шею, либо ногу. Гусята знают, что я не столкну их, и спокойно щиплют травку. Они тянут травинки, а когда она неожиданно отрывается, смешно шлепаются на хвостики. Я сгоняю их длинной хворостиной в одно место, но гусята очень шустрые, так и норовят разбежаться. В небе парят коршуны. Стоит мне ослабить внимание, и они перетаскают всех гусят... Я размахиваю хворостиной: «Кыш! Прочь отсюда!», но коршунов становится все больше, их уже невозможно разогнать. «Кыш, кыш!» Вдруг откуда-то надвинулись темные тучи и начался проливной дождь. Гусята начали пищать: «Пип-пип, мы намокнем, скорее спрячь нас под крыло!» Я оглядываюсь, но гусыни с гусаком нигде не видно. Тогда я, прижав ладони к губам, громко кричу: Деге-деге! Деге-деге!» Мне хочется самой, как гусыне, собрать под крыло гусят. Я раскидываю руки в стороны и пытаюсь укрыть их от дождя. Но мои руки — не крылья, гусята мокнули и начинают дрожать от холода. Мне больно от того, что не могу согреть их. В отчаянии я протягиваю руки к небу и молюсь: «О Аллах, ты самый сильный, самый мудрый. Только ты можешь отыскать мать этих малышей. Найди ее. У них впереди еще столько препятствий. Посмотри, какие высокие берега, какое быстрое и сильное течение. Гусята не умеют плавать, а потому они все погибнут. О Аллах, пока они не оперятся, у них так много врагов. Если их матери уже нет на свете, возьми их под свою защиту, Тенгри!»

Я проснулась и некоторое время лежала, размышляя над сном. Отпуск мой еще не кончился, но с завтрашнего дня я, пожалуй, выйду на работу. В этом году нам с детьми предстоит разлука. После того, как им исполнится по три года, их будут отправлять в детдома. Ах, если бы это было в моей власти! Я никуда бы их не отпустила, ведь они только-только начали привыкать, называть воспитателей «мамой», а меня — «бабушкой». Каково им будет на новом месте, среди чужих людей? У нас дети привыкли к каждой игрушке, у каждого из них есть любимый уголок для игр. И теперь этот знакомый, привычный для них мир будет где-то далеко. А вместе с ним — и игрушки со следами своего первого зуба, и любимый уголок...

С этими грустными мыслями я и вышла на работу. Но, увидев детей, я вмиг забыла о мрачных предчувствиях. Детишки узнали меня и с криком «эббе, эббе» облепили мои колени, я раздала им припасенные накануне пряники и конфеты. В тот день я надела новое платье и повязала на голову новый платок. Малыши, видимо, успели это заметить и окружили меня, что-то приговаривая. Сначала я не разобрала их слов, но потом Гафур, говоривший лучше остальных, сказал: «Расти, расти, эббе!» Так вот оно что, они решили, что у меня день рождения! Мы же сами приучили их к тому, что в день рождения надо быть нарядным, угощать друзей, а те, в свою очередь, должны пожелать имениннику: «Расти большим, расти хорошим». Вот и это наше начинание пустило добрые корни...

Если какое-то время не видишь детей, то особенно заметно, как быстро они растут. Вот и мне бросилось в глаза, как вытянулся Гафур, ну прямо красавчик! Когда я уходила в отпуск, Сережа был в

больнице и теперь, говорят, стал какой-то нервный, неуправляемый. А Гульфия попала в изолятор. Пообщавшись с детишками, я решила навестить ее.

Вот так раз! Катя и Таня тоже здесь. Я раздала детям гостинцы, а сама отошла к двери на случай, если заглянет врач или медсестра. Здесь, в изоляторе, порядки еще строже, заходить к детям без особой необходимости не разрешается, нельзя и кормить их. Малыши прекрасно это усвоили, а потому, засунув конфету целиком в рот, нырнули с головой под одеяло.

Дождавшись, когда с гостинцами будет покончено, я вытерла им липкие рты и пальчики. Катя к тому же была мокренькой. Я ее быстро передела. Взяв за ручки, попыталась поставить ее на ноги, но они по-прежнему не держали ее. Из глаз девочки брызнули слезы, но она не дала им волю. Ведь воспитательницы постоянно твердят им: «Не будь плаксой, если хочешь, чтобы тебя любили». И дети стараются не плакать, ведь каждому хочется быть любимым... Только я взяла Катю на руки, как Гульфия сползла с кровати и зашлепала ко мне... Танюша тоже попыталась вылезти, дергая решетку своей кровати, и жалобно поглядывая на меня. «Почему ты не подходишь ко мне? Мне ведь тоже хочется...», — будто говорит ее взгляд. Я подняла ее и крепко обняла, прижавшись щекой к щеке. Девочка погладила меня по лицу, как бы в знак благодарности. В сущности, как мало им надо, чтобы почувствовать себя счастливыми. Но мы, к сожалению, редко используем этот шанс — обратить на себя их благородные чувства.

Я покидала изолятор со смешанным чувством. Катюша все еще не может стоять, грудное молоко, которым ее поили, не помогло, хотя польза от него, несомненно, есть, — девочка заметно поправилась. Эта Хатира стала для нас настоящей находкой. Жизнь наша такова, что появление в ней добрых, сердечных людей уже воспринимается как подарок судьбы. Душа черствеет от окружающей грубости и бытовых проблем. А побудешь с такими, как Хатира, и душа смягчается...

Первый день после отпуска я провела с детьми. Похоже, что они тоже соскучились по мне: так и норовят приласкаться. Ага, Искандера, я вижу, одолели комары: все тело покрылось характерными волдырями. И откуда берутся эти комары, ведь на окнах везде сетки? Я внимательно осмотрела форточку и нашла дырку. Залатав ее, включила пылесос и начала собирать комаров по стенам и потолку. Поначалу дети очень боялись пылесоса, но постепенно привыкли, и теперь ходили возле меня, указывая пальчиками на своих обидчиков. Иногда они подносили к щетке свои игрушки и, если пылесос «захлебывался», радости не было конца.

Я уже собиралась домой, когда пришла Расима. Лицо ее сияло, она чуть ли не обнимать меня бросилась — такой я ее никогда не видела. Не дожидаясь моих вопросов, она сказала:

— Минсылу апа, я замуж вышла. Мой муж там, во дворе.

Я выглянула в окно: хорошо одетый мужчина с приятной внешностью играл с детьми в мяч.

— Я рада, поздравляю тебя. Симпатичный мужчина. Пусть все у вас будет хорошо, — сказала я.

— Он ведь и в самом деле очень красивый, Минсылу апа?

— Очень, — подтвердила я. — Ты и сама сегодня красивая, как никогда. Счастье украшает человека, а несчастье отнимает красоту. Так в народе говорят.

— Ты такая хорошая, Минсылу апа. Умеешь сказать человеку нужное слово.

Мы помолчали немного. Вдруг вбежал Насим. У меня на языке уже давно вертелся вопрос: а что будет с ним? Теперь, воспользовавшись случаем, я спросила об этом.

— Насима мы возьмем к себе, Минсылу апа. Муж говорит, что даст ему свою фамилию. Сын ему очень понравился. На днях я с разрешения главврача возила Насима домой. Я сказала ему: «Вот этот дядя будет твоим папой», но сын вдруг расплакался: «Не надо, мама, мне не нужен папа». Мужчины здесь редко бывают, поэтому дети их немного побаиваются. Вот и Насим испугался. На ночь я положила сына между собой и мужем, а к утру Насим уже привык к Рахиму. Да, кстати, моего мужа зовут Рахим.

— А почему вы прямо сейчас не заберите Насима?

— Мы собираемся уезжать из Казани. Об этом пока никто не знает. Рахим занимается документами на усыновление. Потом ему еще надо уволиться. Сама я тоже целый день бегаю по делам. Ребенка оставить не с кем. Вот оформим все документы и сразу заберем Насима, даст Бог.

Я искренно порадовалась за Расиму и ее сына. От счастливых людей исходит какое-то особое тепло и свет, которые передаются и тебе. Сразу как-то легче дышится, ты начинаешь слышать пение птиц, острее воспринимать красоту. Те, кто никогда не был счастлив, наверно, теряют способность восхищаться и удивляться. О Боже, пусть на свете будет больше счастливых людей!

* * *

Лето. Детишки подолгу играют на воздухе, их личики покрылись легким загаром. Особенно это полезно для нашей Катюши. Разморясь, она засыпает прямо на улице. Эх, хорошо бы вывезти их на автобусе за город. Они увидели бы сосны, подпирающие своими кронами небо, услышали бы пение птиц. А сколько вокруг тайн и красоты! Если бы дети хоть раз порезвились на лесной поляне, заросшей цветами, сколько прекрасных чувств и образов впитали бы они в себя. Им не хватает не только родительской любви, но и многого другого. Счастье, которое ежедневно испытывает ребенок в семье, несравнимо с одним счастливым днем ребенка, воспитывающегося в детском доме. Ах, если бы наши деточки могли увидеть речку или пляшущий огонь костра! Вода и огонь — это две стихии, вечно притягивающие к себе человека... Я очень люблю смотреть на быстрое течение реки и пламя костра. Недалеко от нашей деревни протекала Казанка. Ребятишками мы бегали туда купаться, ловить рыбу — прямо подолом! Всего-то поймаете несколько мальков, но зато какое счастье! А какое это неизъяснимое наслаждение — впервые поплыть самостоятельно... Бывало, купаешься до посинения, а потом наберешь на берегу сухих камышей и разожжешь костер. Камыши то чернеют, то краснеют, раскалясь. Ты лежишься на песок, и мечты уносят тебя далеко-далеко. Ты смотришь на облака и мечтаешь о неведомых дальних странах, ты, как сказочный батыр, открываешь двери таинственных и недоступных дворцов... Да, многого еще лишены наши сироты. Они как цветы, выращенные в теплице. В теплице есть все: влага, свет, удобрения. Но тепличные цветы никогда не станут такими же сильными, как полевые. Стоит их сорвать, и они тут же увядают: ведь они не качались на ветру и над ними не палило нещадно солнце. Полевые цветы пускают глубокие корни, а корни тепличных упираются в мертвый бетон. Нашим детям тоже трудно пустить корни. Чтобы вырасти сильным, нужно очень многое — и ветер, и дождь, и буря, и солнце, и глубокая почва. А наши дети — все равно что куклы на прилавке. Хотя нет, куклу, если не понравится, все же не принесут обратно, а наших детей, наигравшись, могут и вернуть. Эх, судьба, судьба! Кто же дал тебе право играть счастьем детей? Вон там, у забора, не отрывая взгляда от дочери, вновь сидит мать Лейлы. Наверно, ей хочется прижаться к груди своего ребенка, почувствовать, как маленькие ручки обвивают шею. Хочется согреться дыханием своей единственной, прижаться к ее лицу и шептаться, шептаться... Но ребенка ей по-прежнему не дают — мало ли что может случиться с девочкой, а потом отвечай за нее!

Никогда не думала, что желающих взять себе детей на воспитание так много. Вот и сегодня пришла женщина тридцати-тридцати пяти лет. Я и раньше встречала ее здесь — она о чем-то шепталась с воспитателями других групп. Сегодня женщина напрямик направилась к нам.

— Которого из детей зовут Вася? — спросила она. Мы с воспитательницей Ритой Афанасьевой удивились: привыкли к тому, что детей выбирают по внешности, но чтобы по имени — такое было впервые.

— Вам непременно Вася нужен? — переспросила Рита Афанасьевна. — Вы его родственница?

— Родственница или нет, вас это не касается, — грубо ответила женщина. — Мне, может быть, имя Вася нравится.

Почувствовав, что дальнейшие расспросы бесполезны, воспитательница привела Васю. Та тут же начала бесцеремонно разглядывать мальчика. Заставила его даже рот открыть. Как-то я смотрела по телевизору сериал «Изаура», и там вот так же покупали рабов. О Господи, но почему же наши дети должны проходить через такие унижения?! Вася громко заплакал. Он плакал и смотрел на нас. «Почему вы не защищаете меня? Вы были для меня самыми добрыми, самыми справедливыми людьми, так почему вы теперь молчите? Прогоните ее! Не хочу, не хочу!..» — будто кричал его взгляд. В последнее время я очень привязалась к Васе, поэтому чувствовала, как душа моя наполняется ненавистью к этой женщине. Я с трудом сдерживала себя. Рита Афанасьевна поняла мое состояние и сказала тихо:

— Успокойтесь, Минсылу апа, успокойтесь. Они имеют право осмотреть ребенка, прежде чем брать его. Я хорошо понимаю вас. Благодаря вам Вася изменился в лучшую сторону.

Действительно, в последнее время Вася стал и физически крепче, и спокойнее. Раньше многие считали его слабоумным, а сейчас даже не вспоминали об этом. Как-то мы разговаривали с Надеждой Николаевной о Васе, и она сказала:

— Ребенок — это нераскрывшийся бутон. Кто-то раскрывается раньше, кто-то — позже. Может случиться так, что он вовсе не раскроется. Если постоянно твердить ему: ты придурок, ты глупый, — ребенок таким и вырастет. Ведь некрасивых детей нет, Минсылу апа. Каждый красив по-своему. Но чтобы внутренняя красота проступила на лице ребенка, надо очень и очень стараться. Васю «открыла» ваша любовь. Душа ребенка очень чувствительна, и Вася почувствовал, что есть человек, который любит его и защитит.

Женщина наконец ушла, а я обняла Васю и долго так сидела с ним. Я утешала его, а он все продолжал всхлипывать. Господи, как трудно утешить сироту, ему ведь не скажешь: «Не плачь, сейчас придет твоя мама и принесет тебе что-нибудь вкусненькое. Мама тебя любит».

Я молилась, чтобы эта неприятная женщина больше не приходила. Наверно, это грех — молиться о таких вещах, но я была уверена, что лучше, если Вася останется с нами. Через несколько дней женщина пришла с мужем. Муж оказался таким же дотошным. Они снова, теперь уже вдвоем, ощупывали Васю взглядами с ног до головы...

С того дня они начали регулярно приходиться к Васе, но ребенок никак не мог к ним привыкнуть. Обычно говоришь ребенку: вот твоя «мама», вот твой «папа», и в следующий раз он уже радуется приходу «родителей», хвастается перед друзьями полученными подарками. Васины «родители» тоже как-то принесли ему игрушку — резиновую лягушку. Лягушка при помощи тонкого шнура была соединена с резиновой «грушей», и стоило сжать «грушу» в руке, как лягушка подскакивала. Дети почему-то побаивались этой игрушки. Долгое время она лежала во дворе, никому не нужная, а потом куда-то пропала.

Опять все вышло, как в поговорке: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Однажды Вася упал и сломал ногу. Его положили в больницу, а через несколько дней с очередным визитом пришли его «родители». Узнав, что Вася в больнице, женщина расстроилась:

— Вы скрыли от нас какую-то его болезнь?

— Да нет же, он ногу сломал.

Услышав это, женщина раскричалась:

— За детьми толком смотреть не умеете, а лезете сюда работать! Всем вам только деньги нужны. На вас в суд надо подать!

— Послушайте, — пытались мы успокоить ее, — с детьми всякое случается, бывает, что и ломают они себе что-нибудь. Ничего, заживет...

— Заживет? А может, у него одна нога будет короче другой? Что же нам теперь, хромого ребенка брать? Ха, смотри, какие умные! Хотят сплавить нам инвалида...

— Какой инвалид, о чем вы говорите? — разозлилась я. — Если вы хотите, чтобы ваш сын выздоровел, почаще навещайте его в больнице. И ему будет легче привыкнуть к вам, а то он сторонится вас...

— Это вы его против нас настраиваете. Мне уже доложили: это вы его портите. Вам покоя не дают пять тысяч рублей, которые мать положила на его имя в Сбербанк. Вам нужен этот жирный кусок. Мы все знаем...

Боже мой! Вот это да! Те самые пятьсот рублей, на которые я «застраховала» Васю, молва превратила в пять тысяч! Вот что делают сплетни. И я же, оказывается, хочу захватить эти деньги!.. На добрые поступки у нас почему-то всегда смотрят с недоверием. А добро всегда рождает сплетни.

Я вся напряжилась, так мне хотелось послать эту женщину куда подальше, но меня удержали: «Не стоит».

Посетители ушли и больше не появлялись. Потом до нас долетел слухок: будто бы и Васю они хотели взять именно из-за этих самых «пяти тысяч». Видимо, болтливые воспитатели, сами того не подозревая, дали этим людям ложную информацию. А Васю через полтора месяца выписали. И он, слава Аллаху, совсем не хромает. Даже, напротив, замечательно бегают...

* * *

В народе говорят: каждая новая метла метет по-новому. С приходом нового главврача у нас наметились перемены к лучшему. Ковры и кресла, которые выносили из кабинетов только к приезду комиссий, стали украшать детские комнаты. Детям тоже дали больше свободы: они теперь могут играть с любыми игрушками. Ребята становятся все более подвижными. Играют, дерутся, кусаются. Вот и сейчас Таня разревелась в полный голос: Гафур укусил ее в ухо. Да, детишки подрастают и все чаще озорничают. Скоро, очень скоро их у нас заберут. Как подумаю об этом, аж сердце замирает. В какие же руки попадете вы, кровиночки наши...

... Главврач, похоже, старается, максимально скрасить жизнь детей. Вот и сегодня она распорядилась одеть их по-праздничному. Кого-то ждали. Дети и сами очень любят наряжаться. Для мальчиков мы достали белые рубашки и черные шортики. Воротнички украсили черными бабочками. А девчушек одели в ажурные платьица и белые колготки. Дети выглядели просто великолепно. Когда они красиво одеты, то и ведут себя соответственно: не плачут по пустякам, не капризничают. В их глазах читается какое-то ожидание и радостное возбуждение.

Когда дети были готовы, нам объявили, что должен приехать священник, чтобы крестить детей. Боже, это еще зачем? Сердце мое сжалось от дурного предчувствия. Я где-то читала, что когда Иван Грозный взял Казань, он начал насильственно крестить татар. Тех, кто отказывался креститься, он вешал, топил и резал. Людей загоняли в ледяную воду, и только тех, кто в знак согласия протягивал руку, вытаскивали из воды и давали выпить водки. Духовно сломленные люди, таким образом, совершали двойной грех: крестились и пили запрещенный исламом напиток. Я представила все это и передернулась. Нет, я все-таки схожу к главврачу!

— Ирина Тимофеевна, — начала я прямо с порога, — ну что же это такое? У нас ведь тут не только русские дети. Если вы вздумаете крестить татар, знайте, я стану вашим кровным врагом. И детей я вам не дам. Если хотите, можете подавать на меня в суд, прогнать с работы, но я не стану стоять и спокойно смотреть на это...

— Успокойтесь, успокойтесь, — сказала Ирина Тимофеевна. — Никто и не собирается крестить татарских детей. Даже детей от смешанных браков не будем трогать. Мы уже обдумали этот вопрос.

Я немного успокоилась. Детей-татар решено было вывести на прогулку. Я тоже собралась было с ними, но потребовалась помощь и меня оставили. Детишек собрали из разных групп, и это, похоже, их беспокоило, они капризничали. Присутствие посторонних людей еще более накалило обстановку. К счастью, священнослужители оказались молодыми и добродушными людьми. Они даже играть с детьми пытались, чтобы успокоить их. Наконец, шум стих, и начался обряд крещения...

Небольшой кисточкой детям трижды помазали мирром лоб, руки, живот и голову. Затем голову и ноги окропили водой из большой чаши. Потом детям дали поцеловать крест и выпить какую-то жидкость из маленькой ложечки. Покончив с этим, детей нарядили в белые рубашечки, на шею им повесили крестики. Девочкам повязали платочки.

Процедура показалась мне очень долгой, я даже устала немного. Если бы мой дед увидел, как я стою тут и наблюдаю за всем этим, он бы меня взгрел! Верующий ты или нет, но у каждого человека в душе есть свой Бог. И в самые тяжелые минуты мы просим у него помощи, ищем у него поддержки. Наблюдая за тем, как русские стараются с малых лет заронить в души детей ростки своей веры, я серьезно задумалась. У мусульман ведь тоже есть красивые обряды с глубоким смыслом... На следующий день главврач вызвала меня к себе:

— Минсылу апа, среди наших воспитателей-татар вы — самая старшая по возрасту, поэтому и хочу с вами посоветоваться? Как вы думаете, можно ли организовать что-нибудь подобное и для детей-татар. Вы же знаете национальные обряды.

Меня обрадовали ее слова. Как она заботится о каждом ребенке! По правде говоря, мы привыкли смотреть на русских только как на «неверных». А ведь Аллах сказал: если неверный совершит какое-нибудь благое дело, ему уготовано место в раю.

Я поблагодарила Ирину Тимофеевну за чуткость, а потом предложила:

— У нас есть прекрасный обряд — наречение ребенка именем. Сначала читают молитву, затем ребенку на ушко говорят, что он сын или дочь такого-то, что зовут его так-то, и что он должен быть воспитанным, не обижать людей и своих родителей.

— Давайте пригласим муллу, — подхватила идею Ирина Тимофеевна. — Я как-то раз слышала азан. Мы ведь совсем отошли от религии. И не только отошли, но и постарались убедить себя, что это вредная вещь. Безбожие, безверие освободило нас от многого. Мы забыли о стыде, а доброту и милосердие начали считать «высокими материями». Ведь без Бога легче жить: не нужно удерживать себя от греха, лишь бы люди не знали... Злые и постыдные дела всегда легче творить.

Мы довольно долго проговорили с Ириной Тимофеевной. От нее я ушла какая-то умиротворенная, уверенная в том, что к нашим малышам теперь «приставлен» умный и чуткий человек. Пока есть такие люди, как Ирина Тимофеевна, нашим детям легче пережить свое сиротство...

Свое намерение главврач не стала откладывать в долгий ящик. Вскоре нам была дана команда подготовиться к празднику. Это событие должно было стать одним из самых запоминающихся в жизни наших малышей.

В тот день я пришла пораньше, умыла каждого ребенка душистым мылом, надела на них праздничную одежду, причесала. Они сразу поняли, что готовится какое-то торжество, и на их мордашках опять появилось радостное ожидание.

Когда мулла вошел в зал, дети немного забеспокоились. Некоторые наши воспитатели, чтобы урезонить непослушных, частенько пугают детей: «Не плачь, а то бабай унесет тебя». Я совсем забыла про это и сказала: «Вот это, дети, мулла-бабай». Слово «бабай» сразу насторожило детей, некоторые даже заплакали. Мулла начал читать молитву. Красивый голос и своеобразная мелодичная речь подействовали

на детей успокаивающе. Они сидели, во все глаза глядя на муллу — кто с удивлением, кто с испугом, кто с недоумением. Вдруг Гафур отчетливо произнес: «Бабай поет».

После молитвы мулла прочитал проповедь о том, что исламская вера — самая чистая и истинная вера на земле...

Когда он закончил свою речь, мы начали по одному подводить детей к мулле, заранее предупреждая: «Сейчас мулла-бабай скажет тебе на ушко одно слово, слушай внимательно». Мы частенько так делаем у себя в группе. Скажешь ребенку: «Иди-ка сюда, я тебе что-то скажу на ушко», и малыш уже бежит к тебе, а другие просят: «И мне что-нибудь скажи!» Если сказать нечего, все равно что-нибудь придумываешь: «Ты очень умный мальчик, ты не плачешь, защищаешь младших, ведь правда?» И ребенок улыбается, очень довольный. Вот и сейчас любопытство одержало верх, и детишки без страха подходили к мулле. Этот обряд, похоже, им понравился. Мулла тихо произносил каждому на ухо его имя, а затем читал молитву. Арабская речь слегка сбила детей с толку, и они вопросительно поглядывали на нас. Заметив это, мулла переходил на татарский язык: «Дети, ваша вера — исламская. Растите справедливыми по отношению к людям, будьте добрыми и послушными детьми для ваших родителей». Спohватившись, что напрасно упомянул родителей, мулла виновато посмотрел на нас. Его можно понять. До сих пор ему не доводилось проводить этот обряд с детьми-сиротами. Обычно ребенку на ухо называют имя его отца, а здесь, кроме собственного имени, малышу и сказать-то нечего.

Окончив церемонию, старший мулла обратился к нам:

— Вы занимаетесь богоугодным делом. Вы заменили этим сиротам отцов, матерей, родственников. Вы — их опора и надежда. Всевышний воздаст вам тысячекратным добром за ваше добро. Человек не может быть совершенным во всех отношениях. Может быть, и у вас есть какие-то грехи перед Аллахом: человек не свободен от заблуждений. Но за ваше благородство вам уготовано место в раю. Потому что вы осушаете горькие слезы сирот. Хочу рассказать вам одну притчу: «В одном городе жил очень жестокий человек. Он творил дурные и постыдные дела. И Аллах проклял этого человека, а дерево во дворе дома этого негодяя, услышав о проклятии, засохло.

Однажды этот человек возвращался домой и увидел плачущего малыша. Ему вдруг стало жалко ребенка, и, чтобы успокоить его, он сорвав веточку с засохшего дерева, протянул мальчику. Ребенок тут же смолк. И Господь простил этому злодею все его грехи только за то, что тот утешил малыша. Божья благодать сошла и на дерево: оно ожило и распустило листья. Вот так Бог простил даже самого закоренелого грешника за то, что он утешил ребенка. А у вас в руках судьбы столько сирот! Да воздаст вам Всевышний тысячекратно за ваше добро, и да будет вам уготовано место в раю. Аминь».

Совершенный обряд оставил в моей душе неизгладимое впечатление. Несколько дней меня не покидало какое-то радостно-возвышенное состояние. Народные обычаи особенно близки сердцу. Я и так стараюсь говорить почаще с детьми на татарском, чтобы привить им любовь к родному языку. А еще я разучиваю с ними песню «Туган тел» на стихи Г.Тукая. Многие дети уже довольно сносно поют первый куплет. Сначала я учила только татарских детей, но потом подумала: ведь им всем жить в Татарстане, а раз так, то и русским детям не помешает знать татарский язык. Если с малых лет впитывать в себя язык и дух какого-либо народа, это все равно что породниться. Я думаю, что корни враждебности — в незнании души другого.

Русским детям песня «Туган тел» тоже понравилась. Они почувствовали, что у меня особое отношение к ней, и старались всюю: и каждому хотелось, чтобы я это заметила.

У детей прекрасная память. Стоит только воспитательнице по музыке взять на пианино первый аккорд, они уже затагивают на разные голоса:

Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать,
А за ней ребятки —
Желтые цыплятки.
Ко-ко-ко, ко-ко-ко,
Не ходите далеко.

Разговаривают дети еще плохо — могут связать только два-три слова, а песню запоминают быстро. Наверно, мелодия помогает. Одно плохо: репертуар состоит, в основном, из русских песен. Я как-то сказала музыкальному работнику: «Почему вы не разучиваете татарские песни, ведь многие дети — татары?» Но мне ответили: «У нас нет татар и русских, они все для нас одинаковые». — Ну и плохо, что одинаковые, — возразила я. — Разве плохо, если ребенок будет знать песни своего народа?» — «Честно говоря, я не знаю ни одной татарской песни для детей, — призналась воспитательница. — Все ваши песни мне кажутся одинаковыми. Иного певца слушаешь полчаса и создается впечатление, что он тянет одну и

ту же мелодию». — «Для того, кто понимает, они не одинаковые, — возразила я. — И детские песни, наверно, тоже есть».

И я отправилась по книжным магазинам искать нотные сборники татарских песен для детей. Но сколько ни ходила, так ничего и не нашла. Я даже обиделась на наших поэтов и композиторов. У малыша, который только начинает говорить, душа, как иссохшая земля, впитывает все, что ни предложишь. Вот тут бы игодились наши мелодии. Ну разве наши поэты неспособны написать что-нибудь вроде:

Самолеты летят
На весенний парад.
Это — май, это — май,
Веселей запевай.

И тем не менее, дети научились различать русские и татарские песни. Когда по радио передают татарский концерт, я включаю его на полную мощность, иначе из-за шума воды, звона посуды и детских голосов ничего не слышно. Дети заметили, что мне нравятся эти концерты. Как-то я занималась своими делами и вдруг услышала, что дети зовут меня. Я не смогла выйти к ним, но случайно обернувшись, увидела, что под дверью лежит наша плакса Таня и поет: «И туган тел, и матур тел...» От удивления я отложила дела и вышла к детям. Они тут же окружили меня: «Пойдем, бабушка, туган тел...» и потянули меня в комнату, где играло радио. Диктор сказал: «Мы передавали концерт татарской музыки». Детишки не унимались: «И туган тел, и матур тел...» Видимо, эту песню только что исполняли. С тех пор они зовут меня каждый раз, когда слышат татарскую песню. Иногда, заметив, что у меня плохое настроение, малыши стараются по-своему развеселить меня и затягивают «Туган тел». Они в этот момент такие забавные, что неприятности и заботы и вправду отходят на второй план.

А неприятности, между тем, по-прежнему не обходят нас стороной. Последняя была связана с Леной. Скучая по матери, ребенок опять стал выглядеть совершенно больным. И тогда Надежда Николаевна, как всегда, вызвала Евгению.

— Девочка, — сказала Надежда Николаевна, — твоя Лена — очень впечатлительный ребенок. Ей просто необходим домашний уход. Что будем делать?

— Сами знаете, Надежда Николаевна, — ответила Евгения, — я пока учусь в школе. Живу у маминых родственников. Родители даже слышать не хотят о Лене. Если узнают, что я навещаю ребенка, просто растерзают меня.

— Ты вроде бы говорила, что родители твои — учителя? Может быть, мне написать им?

Евгения пожала плечами:

— Не знаю, будет ли от этого польза...

— Попробую, — решила Надежда Николаевна и вскоре отправила родителям Евгении письмо. Через несколько дней приехала бабушка Лены.

Она раскричалась прямо с порога:

— Что вы суетесь в чужую жизнь? Евгения и сама еще ребенок. Какая из нее мать. А кроме того, мы же педагоги. А этот ребенок позорит нас. В нашем городке пока ничего не знают, и я надеюсь, не узнают никогда. Недавно я разговаривала с одним врачом, и он сказал мне, что девственность можно восстановить хирургическим путем. Я денег не пожалею ради этого... А этого ребенка она забудет.

Некоторое время спустя родители действительно увезли Евгению из Казани. Может быть, ей и в самом деле сделали операцию. К Лене она больше не приезжала. А ребенок от тоски совсем зачах. Когда Лена перестала есть, ее положили в больницу. А немного погодя из больницы сообщили, что девочка умерла... С тех пор, как я здесь работаю, эта была первая смерть. Трудно передать, как мы пережили эту утрату.

Больно смотреть и на Катю. Она по-прежнему не встает на ножки. На днях Надежда Николаевна принесла в группу воздушные шары. Мы их надули, и дети начали играть. Катя лежала в коляске и, когда какой-нибудь шар подлетал к ней, радостно махала ручками. Но шары — будто назло — близко к Кате не подлетали. Катюша, расстроившись, заплакала. Надежда Николаевна подхватила ее на руки: «Я — твои ножки. Давай догоним шарик...» Каждое прикосновение к шару доставляло девочке неопишемую радость, лицо ее все более оживлялось и светлело, она начала смеяться. Катюша, вообще-то, очень симпатичный ребенок. Когда она радуется, то вся преображается, почти светится. Дети тоже относятся к Кате по-особенному: любят ее и жалеют, и во время прогулки всегда шумно спорят за право толкать ее коляску. Однажды, когда дети, как обычно, возили Катю по двору, пришел отец Сережи. В свое время за какую-то провинность он оказался в тюрьме, и пока отбывал срок, его жена поменяла квартиру и уехала в другой город, предварительно сдав Сережу в сиротский приют.

— Если мне дадут комнату в общежитии, я сына к себе возьму, — говорит отец Сережи.

И мы верим, что так и будет. Похоже, что он — добрый человек. Когда узнал, что Катя не может ходить, он соорудил для нее удивительную коляску. Она была небольшой, легкой, с педалями. Если кто-нибудь толкал коляску, педали приходили в движение и двигали Катины ноги — вверх и вниз. Со стороны могло показаться, что управляют коляской не дети, а сама Катя. Это изобретение особенно порадовало наших врачей.

— Да вы в душе врач, Владимир Петрович, — сказала Ирина Тимофеевна. — Вы изобрели для Кати замечательную вещь. Мы, конечно, делаем массаж, лечебную гимнастику, но, сказать по правде, это бывает не каждый день. Есть еще одно «но»: дети не любят общаться с врачами. Даже при виде булавки на халате они сразу начинают плакать — им кажется, что сейчас будут делать уколы. А ваша коляска лечит ребенка естественным путем, да и остальным детям — забава.

Вскоре Владимир Петрович усовершенствовал коляску — поставил руль, поменял колеса. Они раньше были из жесткой резины, а теперь стали надувные. Здоровые дети и сами не прочь теперь посидеть в этой коляске. Не говоря уже о Кате... И все же я каждый день молюсь, чтобы когда-нибудь она самостоятельно встала на ножки...

Сколько детей — столько и маленьких разбитых сердец, настоящих человеческих трагедий. Сегодня снова пришла сестра Гульфии — Резеда, принесла девочке кучу игрушек. Резеда и сама только что вышла из детского возраста. Но на ней уже лежит забота о трех сестренках, да еще тысяча забот по дому, которые бывают в деревне. К тому же и деревня — Бог знает где. До Казани добираться — целый день. Никаких денег не хватит, ведь у отца их четверо, а мать умерла при родах Гульфии.

Я подумала и повела Резеду ночевать к себе. Решила, что так мы сможем спокойно поговорить о дальнейшей судьбе Гульфии. Когда мы пришли, Резеда сразу сбросила свое нарядное платье, облачилась в мой халат и стала мыть пол, вытирать пыль... Когда она, закончив, поправляла перед зеркалом волосы, я не выдержала и приобняла ее за плечи: «Спасибо, дочка, дай Бог тебе здоровья, дом прямо преобразился...»

Резеда смутилась от моей благодарности и покраснела. Ямочки на ее щеках стали заметнее, а лицо еще более привлекательным. Боже, какая обаятельная девочка! А Гульфия очень похожа на нее, только цветом волос немного отличается. Наверно, их мать была очень красивой.

Мы проговорили с Резедой всю ночь. Меня все время мучил вопрос, почему их отец не заберет Гульфию в семью? Ведь там, где живут четверо детей, нашлось бы место и для пятого. И теперь, о чем бы мы ни говорили с Резедой, разговор все время сводился к Гульфии. Сначала Резеда уходила от прямого ответа. Но потом, решившись, тяжело вздохнула: «Эх, Минсылу апа...» и рассказала мне следующее.

«Мама была одной из самых красивых девушек в деревне. И папа иногда шутя допытывался у нее: «Послушай, Зифа, почему ты с такой красотой вышла за меня? Что тебе во мне понравилось?» А мама в ответ только улыбалась.

Отец всю жизнь надышаться на нее не мог. Никогда не пьянствовал. Он у нас плотник замечательный. Всю деревню украшают сделанные им ставни и ворота. В праздники, немного выпив, папа частенько сокрушался:

— Эх, если бы у меня был хотя бы один сын! Я бы научил его всему тому, что умею сам. Иди сюда, мать. Ты когда-нибудь встречала человека, который смог бы сделать такой узор? Нет. Так же, как девушки вышивают шелковой нитью, я вышиваю на липовых досках. Чем? Вот этой обыкновенной стамеской. Каких только узоров не рождается в моей голове! Если бы я в свое время учился, может быть, я стал бы художником... Хотя, какой из меня художник? Если перенести на бумагу то, что рисует мое воображение, это было бы жалким подобием. Дерево почувствовать надо, и тогда никакой бумаги не надо. Эх, если бы ты родила сына...

В такие минуты мы старались не попадаться отцу на глаза, чувствуя себя виноватыми перед ним за то, что родились девочками. Со временем папа перестал говорить на подобные темы. Может, смирился с судьбой, а может, понял бессмысленность этих переживаний. Но мама частенько вздыхала, и я не раз слышала, как она шепталась с бабушкой.

— Ой, мама, я же вижу, что Габдельхак переживает. В последнее время он даже работает без удовольствия. А раньше, если его кто-нибудь звал помочь, он прямо летел: «Сделаю я им такие наличники, которых никто до сих пор не видел». Сын ему нужен. Может, рискнуть?

— Не знаю уж, невестка, — отвечала бабушка. — Тебе же скоро пятьдесят, да и здоровье у тебя не ахти какое. Раньше думать надо было.

Но маме, видно, очень хотелось порадовать отца. И она родила Гульфию. Когда Гульфия родилась и крикнула, мама умерла. Я до сих пор не могу без слез вспоминать, как рыдал отец на бездыханной груди мамы.

«Ах, Зифа, Зифа! Почему ты оставила нас? Жили ведь без мальчика! Я так любил тебя, эта любовь рождала мои необыкновенные узоры. Ты была моими глазами, которыми я видел мир таким прекрасным! Ты унесла мои глаза с собой...»

Мы сидели, сжавшись в углу. Огромную тяжесть постигшего нас горя я ощутила чуть позже.

Наверно, потому, что Гульфия невольно стала причиной смерти нашей мамы, отец не захотел даже слышать имени своей новорожденной дочери. Бабушка поехала с кем-то из соседней в роддом, чтобы дать ребенку имя. Она несколько раз заводила с сыном разговор о девочке:

— Габдельхак, может, привезем Гульфию домой?

— Какую Гульфию? У меня нет никакой Гульфии. Если вы привезете ее в этот дом, ноги моей больше здесь не будет.

Раньше отец любил играть с нами, усадив к себе на колени. Теперь он стал молчаливым и раздражительным. И чего вовсе за ним никогда не водилось: если он сердился на нас, то мог обругать обидными словами. Бабушка вскоре заболела и слегла, постепенно разговоры о девочке прекратились совсем. Из роддома несколько раз приезжали медсестры и пытались уговорить отца забрать ребенка, но он так и не смог перебороть себя. А однажды им заявил: «Если вам так ее жалко, берите, отдаю». После этого Гульфию отправили сюда, в Казань», — завершила свой рассказ Резеда.

Мы долго ломали голову над тем, куда пристроить малышку.

— Я бы взяла ее к себе, — вдруг сказала Резеда.

— Ах, детка, ты ведь сама еще ребенок.

Резеду это, кажется, задело.

— Мне уже шестнадцать лет! — сказала она гордо. — Если перейду в вечернюю школу и устроюсь работать на ферму...

— Если, если... Если отец позволит... А бабушка выздоровеет... — передразнила я, но, увидев выражение ее лица, попыталась утешить:

— Ладно, ты раньше времени не переживай. Что-нибудь придумаем. Мы проследим, чтобы Гульфию не сразу отправляли в детдом. Еще пара месяцев у нас есть.

Резеда провела у меня несколько дней. Утром она вместе со мной шла на работу. Сразу надевала халат: «Минсылу апа, что нужно делать?» и принималась чистить, пылесосить, мыть окна — везде успевала. Дети тоже привыкли к ней. Стоило только включить пылесос, как они гурьбой бежали к ней, чтобы показать, где прятались комары. Окончательно Резеда покорила детей тем, что умела «разговаривать» с попугаем. Заплачет какой-нибудь ребенок, Резеда берет его на руки и несет к клетке с попугаем: «Иди сюда, иди, тебе попугай что-то сказать хочет. Давай послушаем». Попугай начинает что-то верещать, будто и в самом деле разговаривает. «Вот видишь, — комментирует Резеда, — он говорит, что ты такой большой, а плачешь. Давай скорее вытрем слезки. Пусть попугай не смеется над нами!» Ребенок перестает плакать и начинает наблюдать за птицей. Вокруг собираются и остальные дети.

До Резеды попугаями никто особенно не интересовался, а теперь общение с ними превратилось в самую увлекательную игру. Резеда «переводила» попугая: «Он сказал: «Вася». А сейчас: «Вера». И пока Резеда не перечислит имена всех детей, они не расходились... Провожая Резеду домой, в деревню, я сказала ей:

— Не беспокойся за Гульфию, что-нибудь придумаем.

Сказать-то сказала, но у самой на душе кошки скребли. Ведь из других групп детей уже начали отправлять в детдома. Вчера сразу троих увезли в Елабугу. Дети плакали, уцепившись за подолы воспитательниц: «Не отдавайте нас. Мы будем слушаться. Мы вас очень любим». Воспитатели и сами чуть не режут. Ладно, шофер, приехавший за детьми, оказался сообразительным малым. Он взял одного мальчика на руки и предложил: «Давай библикнем и заведем машину... А потом сядем и поедем все вместе: ту-ту-у. Пусть все мальчишки нам завидуют», — и пошел с ребенком к автобусу. Мальчик посигналил, немного успокоился. У самого еще слезы на глазах и рот до ушей. Увидев это, другие дети тоже захотели «библикнуть». Тут уж шофер включил зажигание, провожатые быстренько загрузили багаж, и автобус тронулся.

Даже наблюдать эти проводы было мучением. А как подумаешь, что детей разбросают по разным детдомам, и вправду плакать хочется. Что будет, когда дойдет очередь до нашей группы. Как мы будем расставаться? Одно утешает: может быть, до того наших детей разберут по семьям. Недавно вот распрощались с Насимом. Мать его получила, наконец, расчет и зашла попрощаться: «Не поминайте лихом, — сказала она. — Уезжаем. Если в Казани останемся, мужу всю жизнь будут притыкать приемным сыном. Скажут: что же ты чужого взял, своего сделать не мог? А там, куда мы едем, никто не будет знать. Мы и тут никому не говорим, куда уезжаем. А то, неровен час, сплетня и в письме прилетит».

Расима забрала сына, и мы от всей души пожелали ей счастья. А через несколько дней после их отъезда пришла еще одна семейная пара. Было видно, что они из деревни. Разговаривают на чистейшем татарском языке. В тот день была смена Тамары. Вдруг она влетела ко мне с изменившимся лицом:

— Минсылу апа, им наша Амина понравилась. Я пыталась отвлечь их внимание на других детей, но они даже не смотрят на них, и все вокруг Амины крутятся.

— Так это же хорошо, — сказала я, — а ты сообщила им, что у нее есть сестра-близнец?

— Нет.

— Надо сказать. Близнецов нельзя разлучать: или берите обеих, или не берите никого.

— Но они, похоже, и обеих взять могут. Видно, что не просто так приехали, — простонала Тамара.

Да, я понимаю ее состояние. Ведь совсем недавно и Мадина, вслед за сестрой, начала называть Тамару «мамой». Теперь ради этих девочек Тамара жизнь готова отдать. И кормит их первыми, и во время игр глаз с них не спускает. Нам, конечно, постоянно твердят: не делите детей на «своих» и «чужих». Но, как ни старайся, какой-то ребенок все равно становится ближе.

Узнав, что у Амины есть сестра, мужчина оживился:

— Я сразу сказал жене: если уж брать сирот, то сразу двоих. Самим Аллахом определено нам взять этих девочек. Покажите нам и другую.

— Нашему Самату девчонок только и подавай, — сказала жена. — Он и десятерых готов взять.

— Девочка — это украшение дома, — спокойно ответил муж. — Представь себе: девочки в белых фартучках крутятся возле тебя: «Мама, что нужно сделать?» Что может быть прекраснее этого?!

Мы подвели к ним Мадину. Девчушка им очень понравилась. У женщины еще были сомнения. Конечно, лучше, если бы в доме мальчик и девочка... Но мы видели, что вопрос уже решен положительно.

Эта пара начала частенько наведываться к нам, а мы старались приучить к ним Амину и Мадину: «Вот приехали ваши папа и мама». Похоже, что Самат и Аделя — хорошие люди, ездят из какого-то района, чтобы только доставить девочкам радость, и каждый раз везут гостинцы и игрушки. Однако девочки привыкают с трудом. Они продолжают называть Тамару мамой. У самой Тамары глаза постоянно на мокром месте. Но она мужественно скрывает это от детей: «Смотрите, какие красивые игрушки вам привезли. Скоро вы поедете с мамой и папой домой. У них там есть мохнатая собачка и ласковая кошечка. Собачка уже замучила вашу маму: «Ну когда же вы привезете Амину и Мадину, я хочу поиграть с ними». А кошечка говорит: «Нет, с девочками я буду играть. Как только они приедут, я сразу заберусь к ним на коленки». Тамара знает, что девочки во время прогулок не пропускают ни одной собаки и кошки, — все норовят погладить. Вот и сейчас, после Тамариных слов, глаза Амины загорелись. Узнав о любимцах девочек, их «папа» тоже решил сыграть на этом: «Кроме собачки и кошки, у нас еще есть «му-у». У нее вот такие рога. Она приходит вечером домой и говорит: «Кому молока, идите скорее, я принесла много молока». И тогда ваша мама берет белое ведро и идет доить. Потом мы все пьем молоко. Хватает и нам, и собаке, и кошке. А еще у нас есть овечки, они разговаривают между собой: «бе-е, бе-е». Они спрашивают: «Когда же вы привезете к нам Амину и Мадину?»

Но Самат и Аделя не стали ограничиваться лишь рассказами о животных, и однажды привезли роскошного — будто генерал! — петуха. Поставив машину возле ворот, они привязали петуха к багажнику. Увидев такое невиданное чудо, дети загомонили. А петух повозился немного и, поняв, что отцепиться невозможно, успокоился и звонко прокричал: «Ку-ка-ре-ку!» Дети просто онемели от счастья. Самат поднял обеих девочек на руки: «Давайте посмотрим на петушка поближе, может быть, он хочет вам что-нибудь сказать?» — и пошел к машине. Будто услышав хозяина, петух прокукарекал с новой силой. «Вот, слышите? — сказал Самат. — Петушок здоровается с вами. Он со всеми так здоровается. Если утром не встанешь вовремя — он будит. А если вечером не ложишься спать, он велит ложиться. Это очень умный петух».

Девочкам петух понравился, и в этот день они впервые приласкались к своим будущим родителям... Подарки и сюрпризы делали свое дело: девочки все больше тянулись к своим «родителям».

Как только выпадала свободная минутка, я обучала Амину и Мадину татарским словам. Они уже хорошо знали «Туган тел», я научила их петь еще одну песню: «Солнце, солнце восходит каждый день и каждый день льет свои лучи. Я хочу, чтобы мама жила так же долго, как солнце...» Дети быстро выучили ее, а за ними и русские дети начали напевать: «Солнце, солнце...»

Вскоре мы провожали Мадину и Амину. Родители приехали за ними на машине, нагруженной ягодами и красными яблоками. Аделя наполнила фруктами две красивые корзинки и дала их девочкам: «Ну, мои красавицы, идите и раздайте гостинцы своим друзьям. Скажите им, что вы уезжаете домой, и попрощайтесь».

Девочки начали раздавать фрукты. Они были очень возбуждены. Как только корзинки опустели, мама малышек, наполнила их снова. И так несколько раз.

Все это время Тамара была сама не своя, глаза у нее покраснели от слез. Когда наконец пришло время переодеть девочек, и Тамара начала снимать с них казенную одежду, руки ее дрожали.

— Тамара, иди посиди, я сама их одену, — предложила я. В красивых ярких платьях, привезенных Аделей, девочки стали похожи на чудесных бабочек. Когда они пошли к машине — одна держась за руку отца, а другая — за мать, во дворе собрался весь коллектив дома, и многие плакали ...

* * *

После отъезда наших близняшек стало вдруг очень грустно. Поговаривали, что скоро вместо них привезут других детей. Конечно привезут, ведь свято место пусто не бывает. Я слышала, что существует даже очередь для таких детей, как наши. Очень может быть...

Наш Искандер снова кому-то приглянулся. На этот раз это оказалась еврейская семья. На вид они были немолоды, им больше сорока. И сразу объявили: «Мы назовем его Варламом. Пусть привыкает к новому имени, зовите его Варламом».

— Но у него уже есть имя. Очень красивое — Искандер. Если уж оно вам не нравится, зовите Александром. Это же царское имя, — пытались мы уговорить их.

— Нам не нужно ни татарского, ни русского имени. Мы вырастим сына настоящим евреем, — ответили они.

Снова мы начали приучать Искандера к новому имени. Но дети уже выросли, и выросли настолько, чтобы прекрасно помнить свое имя. Мы спрашиваем мальчика: «Что шепнул тебе на ушко мулла?» А он гордо отвечает: «Искандер». И как теперь ему сказать: «Искандер, с этого дня ты — Варлам!» Дети сердятся, когда путаешь даже имена их кукол. Но делать нечего, и мы, хоть и против своей воли, зовем Искандера Варламом. Он капризничает, плачет, хочет доказать, что он — Искандер. А мы, как идиоты, в одночасье потерявшие память, все продолжаем твердить свое. Сколько страдания, печали и обиды было в глазах ребенка! Его взгляд будто говорил: «Что же вы делаете, взрослые? Как же вы могли забыть, что я — Искандер? А я считал вас справедливыми и добрыми людьми. Я же круглый сирота, у меня нет отца и матери. Все у меня чужое — и одежда, и кровать, и дом, в котором я живу. Единственное, что мне здесь принадлежит — это мое имя. Теперь вы хотите и его отнять?»

Боже, как смотреть в эти детские глаза, полные горькой обиды? Не хочется отдавать Искандера. Возможно, эти евреи — хорошие люди и искренне привязались к Искандеру. Но мне почему-то кажется, что с ними он не будет счастлив. У меня прямо душа разрывается... В довершение всего будущие родители проговорились, что собираются уезжать в Израиль. А это значит, что ребенок навсегда лишится не только своего имени, но и языка, и родины. Те, кто бросает своих детей, задумывались ли вы когда-нибудь, на что их обрекаете?..

Вчера нам подкинули еще одного ребеночка. Оставили возле ворот нашего дома в красивой коляске. Пеленки были сухие, одежда чистая. Ребенку на вид было три-четыре недели. На личике — небольшая родинка. Возможно, кто-то из медперсонала роддома мог запомнить этого ребенка. Главврач обзвонила все роддомы города, но безрезультатно. Сообщили в милицию. Пришел молоденький милиционер. Ребенок, до того мирно спавший, вдруг проснулся и заплакал. Догадавшись, что он голоден, мы попытались дать ему бутылочку с молоком, но он отказался брать соску в рот. Значит, привык к груди. Кормить такого ребенка в наших условиях — дело непростое. Пока он привыкнет к бутылочке, может совсем исхудать. Кроме того, не ясно, останется ребенок здесь или нет. А пока он ни к кому не прикреплен, ни один из воспитателей не хочет брать на себя лишнюю обузу. Между тем ребенок уже начал заходиться в плаче.

— Погодите, — вдруг сказал милиционер, — у нас по соседству живет женщина с грудным ребенком. Пока вы будете решать судьбу этого ребенка, надо подумать о том, как его накормить.

Несмотря на молодость, милиционер оказался парнем расторопным. Мы решили было, что он привезет свою соседку сюда, но он возмутился: «Да вы что? Если я посажу ее в милицейскую машину, что соседи подумают?» И он увез ребенка с собой в сопровождении одной молодой воспитательницы.

После их отъезда главврач позвонила в министерство, но и там не знали, что делать с подкидышем. Никто не решался взять на себя ответственность за жизнь ребенка. Кто знает, может быть, и наши дети вот так же долго ходили по рукам, прежде чем попали сюда?.. Вот что значит родиться на свет лишним...

А подкидышу неожиданно повезло. Молодая женщина, согласившаяся его покормить, оставила младенца у себя, сказав: «Пусть пока побудет со мной, иначе вы его погубите своим бутылочным

молоком». Узнав о счастливой отсрочке, мы все с облегчением вздохнули и принялись за будничные дела.

Но Господь, видно, решил нас вознаградить за утреннюю суматоху и преподнес еще одно радостное событие...

Дети, как обычно, играли и по очереди катали Катю. И вдруг коляска опрокинулась. Видимо, кто-то из детей неловко ее повернул. Катюша полетела на пол, а мальчик, по вине которого произошла «авария», от страха убежал и спрятался. Мы бросились к Кате и остолбенели: держась за коляску и пыхтя, она вдруг встала на ножки! Встала и немного испуганно воззрилась на нас. Первой очнулась Надежда Николаевна. Она подняла девочку на руки: «Вот какая молодец наша Катюша! Раз так, то мы и бегать научимся, да? Давай еще раз попробуем встать на наши красивые ножки». Надежда Николаевна поставила Катю, поддерживая за руки. Кате удалось продержаться самостоятельно несколько секунд. Она стояла и смеялась, оглядывая всех нас с каким-то победоносным видом. Ее взгляд как бы говорил: «А вот захочу — и побегу! И до любой игрушки дотянусь. А если плакать захочется, смогу прятаться где-нибудь в уголке. И в мячик с вами буду играть — сама побегу за ним, и мне не придется ждать, пока он прикатится ко мне...»

Да, это был удивительный день. Мы снова и снова ставили Катю на ножки, а врачи целый день толпились в нашей группе. Ох, и порадовала нас Катюша! А что стало причиной счастливой перемены — усовершенствованная коляска, грудное молоко или просто-напросто пришло ее время — неизвестно, да это теперь и не так важно... Каждый день, приходя на работу, мы первым делом искали взглядом Катю. А она крепла с каждым днем. Раньше ее ноги были тонкие и мягкие, как тесто, а теперь пополнели и стали упругими — наверно, от ежедневных Катиных «тренировок». А может, и массаж помог. Наша массажистка Нурия всю душу вкладывала в эту девочку.

— Однажды я сказала себе: «В тот день, когда этот ребенок встанет на ноги, я поцелую на улице первого встречного, — призналась нам Нурия. — Сегодня этот день настал!» — и она, развеявая лапами халата, выбежала на улицу. Нурия — девушка очень красивая, и от ее поцелуя никто не откажется. Предвкушая веселье, мы прилипли к окнам. Обычно по нашей улице ходят толпы народа, но сейчас, как нарочно, не было ни души. Так всегда бывает, когда чего-то сильно ждешь. Наконец, от перекрестка в сторону Нурии двинулся, качаясь из стороны в сторону, какой-то сильно подвыпивший мужчина. Когда он поравнялся с девушкой, она резко подскочила к нему и собралась уже было поцеловать его, но алкаш, похоже, решив, что девушка в белом халате намерена упечь его в вытрезвитель, вдруг развернулся и побежал прочь. Нурия кинулась за ним. Алкаш только прибавил скорость. И все же Нурия догнала его и смачно поцеловала. Мужик стал отбиваться и чуть ли не звать на помощь... А Нурия, уже просто от озорства, поцеловала его еще два раза! А потом развернулась и быстрым шагом пошла обратно. Однако алкаш, видимо, успел войти во вкус и увязался за девушкой. Нам с большим трудом удалось избавиться от него. Он еще долго сидел у ворот и взывал: «Я согласен на вытрезвитель, только поцелуй еще раз!»

Вдоволь насмеявшись и еще долго обсуждая похождения Нурии, мы совсем забыли про детей. А они добрались до крана и открыли воду, которая успела наполнить до краев мойку и залить пол. Гульфия, сняв платье, старательно возила им, как половой тряпкой. Искандер, Гафур и Вася, сделав из своих игрушечных машинок «лодки», плескались тут же. Другие дети тоже нашли себе занятие — кто-то купал куклу, кто-то сам умывался. Да, этих детей уже нельзя оставлять без присмотра ни на минуту, они теперь и не на такое способны.

На днях Гульфия опрокинула Веру на палас и попыталась стащить с нее платье. Я подбежала к ним: «Что такое, Гульфия, ты зачем обижаешь Веру?» А Гульфия, указывая на Верино платье, пояснила: «Моя мама дала». Ах, вот в чем дело! Это платье действительно подарила Гульфии ее сестра Резеда, которую девочка называет «мамой». Мы надели это платье на Веру, чтобы сфотографировать ее нарядной, а потом забыли снять. Сама Вера, невольно чувствуя себя виноватой, даже не сопротивлялась.

Очень жалко тех детей, которых никто не навещает. Им надоедает казенная одежда. Вот и сейчас потребовалось их сфотографировать, так как уже идет оформление документов для отправки в детдом. А дети привыкли, когда их снимают, выглядеть понаряднее... Хорошо, если красивая одежда у ребенка есть, а когда ее приходится заимствовать у других детей, то случаются и казусы...

... Управившись наконец с лужей, я собралась немного передохнуть, но услышала, что навзрыд плачет Искандер. Подозвав стоявшую поблизости Гульфию, я попросила ее узнать — в чем дело, почему Искандер плачет. Девочка подошла к нему, они перебросились несколькими словами, и все стихло. Оказывается, Искандер, надевая трусики, просунул обе ноги в одну «дырку», а потом еще взобрался на велосипед. Как это ему удалось, одному Богу известно, но слезть он не смог, и от бессилия заплакал. Пришлось снимать его с велосипеда и срочно исправлять оплошность с трусами.

Приятно видеть, как дети заботятся друг о друге. Иногда, когда мы забываем дать Тане воду, кто-то из них обязательно напоминает нам об этом. Мы опасались, что у девочки сахарный диабет, но в больнице, где Таню обследовали, этот диагноз, к счастью, не подтвердился. Значит, решили мы, ее организм просто нуждается в большем количестве воды. И ничего удивительного. Взять, к примеру, растения. Одним требуется больше воды, другим — меньше. Почему-то мы думаем, что у людей потребность в ней должна быть одинаковой? Ведь не удивляемся же мы тому, что среди нас есть «совы» и «жаворонки»?

Сегодня к Искандеру снова приходило еврейское семейство. Они подарили мальчику бумажную лодочку. У нас во дворе есть маленький бассейн, и будущий папа с Искандером пошли туда, чтобы испытать кораблик. Искандеру игра очень понравилась: он громко и оживленно разговаривал, смеялся. Я давно не видела его таким, с того самого дня, когда к нему впервые пришли эти люди. Похоже, Искандер и не обижается, что они «забыли» его настоящее имя и называют Варламом. Может быть, думает про себя: «Ладно, называйте как хотите, лишь бы было весело...»

Мы почему-то привыкли считать хорошими только дорогие игрушки. А оказывается, можно покорить ребенка даже бумажным корабликом! Конечно, эти люди умеют найти подход, удивить и заинтересовать мальчика даже простой игрушкой. И все же какие-то они странные... Однажды принесли что-то вроде ветряной мельницы: когда бежишь, она начинает со стрекотом вертеться. Все мальчишки глаз не могли оторвать от Искандера, а он, счастливый, бегал по двору, что-то напевая себе под нос. Наигравшись, он дал игрушку Гафуру. Но будущий папа тут же сделал замечание: «Запомни, сынок, никогда не давай свои вещи другим людям». Пока Искандер соображал, папа уже успел отнять игрушку у Гафура. Малыш немедленно заплакал, а Искандер взять мельницу обратно отказался. Настроение у всех было безнадежно испорчено, дети начали капризничать, и ничего не оставалось, как собрать всех и увести в группу.

А через несколько дней Искандера увезли. У нас уже сложился своеобразный ритуал прощания; обычно, забирая ребенка, родители угощают детей конфетами, орехами. Но в этот раз все было не так. Родители переодели Искандера в одной из дальних комнат и без лишнего шума увели. Искандер не смог даже покрасоваться перед друзьями в новом костюмчике. Когда забирали других детей, мы, провожая их, радовались: «Слава Аллаху, еще один наш малыш обрел родное гнездышко». А тут у всех появилось какое-то чувство неловкости за этих людей, и мы прятали друг от друга глаза...

* * *

Начали прибывать путевки для наших детишек. Когда нам объявили об этом, сердце мое заныло. Куда же они теперь? Я спросила у главврача: почему нельзя отправить детей в один детдом. Но она ответила, что это решает министерство.

— Но ведь и там, наверно, люди сидят, — возмутилась я. — Три года эти дети жили вместе, а теперь их придется разлучать. Они же так привязались друг другу, у них столько общего... Каждый день собираются у пустой кровати Искандера и о чем-то между собой говорят. Может быть, надеются, что и у них когда-нибудь найдутся папа и мама? Дети очень скучают друг по другу. Сколько было переживаний после отъезда Амины и Мадины. Да и мы — воспитатели, медсестры, врачи — стали для них близкими людьми. Дети уже знают, кто в какую смену работает, какие у каждого из нас характеры, даже настроение чувствуют. А теперь им придется учиться этому заново в окружении абсолютно незнакомых людей...

— Что же делать, раз им выпала такая судьба, — вздохнула главврач. — Нас не спрашивают, кого и куда отправлять, мы подчиняемся решению «сверху». И дольше положенного оставлять детей не можем, потому что скоро к нам начнут поступать новые малыши. Вот из Сарманово уже который день звонят — просят принять близнецов. Пока мы говорим, что свободных мест нет. Казанские роддома тоже обрывают телефон: там некому ухаживать за оставленными детьми, они только занимают место...

От главврача я ушла с тяжелым сердцем. Не знаю, как бы я провела остаток дня, если бы не Владимир Петрович, отец Сережи. Он пришел радостный, под руку с молодой и симпатичной женщиной: «Я женился, вот это моя жена — Валентина», — с порога объявил он. Мы позвали Сережу. Владимир Петрович поднял на руки подбежавшего сынишку:

— Вот, сынок, это твоя мама, поздоровайся с ней по-мужски...

В первый момент Сережа застеснялся, а Валентина затараторила:

— Ух ты, какой у нас сын стал большой! Мы скоро домой тебя заберем. Вместе в лес будем ездить, по ягоды, ладно?

Мальчик кивнул, но на всякий случай прижался к отцу — так надежнее ...

Мы все были очень рады за Сережу. До сих пор отец не мог его забрать, потому что у него не было своей жилплощади. А у Валентины — отдельная квартира, и к мальчику, судя по всему, она настроена очень доброжелательно. Дай Бог им счастья.

Еще одна детская драма благополучно разрешилась. Осталось только что-то предпринять в отношении Гульфии и Гафура. Резеда прислала мне письмо, где сообщала, что до то, как не исполнится восемнадцать лет, ей не разрешат забрать Гульфию. Бедняжка, истерзалась совсем: «Минсылу апа, сделайте что-нибудь...»

Мне тоже не хотелось расставаться с девочкой. Гульфия стала такой умницей и красавицей! Может быть, мне взять ее к себе? Конечно, это дело очень хлопотное. Но ведь ребенка жалко! И ко мне она привязалась, зовет «бабушкой». Надо рискнуть. А там видно будет.

Ну хорошо, допустим, Гульфию я возьму. А что делать с Гафуром? Насколько я знаю, его родители погибли в автокатастрофе. Говорят, у ребенка есть дед и бабка. Но почему они ни разу не навестили внука? Гафур такой крепкий, развитый и красивый мальчик. А какой сильный! Иногда зажмет что-нибудь в руке — ни за что не отнимешь. Только если пощекочешь под мышкой...

* * *

Итак, пришли путевки. Кого-то отправят а Елабугу, кого-то в Зеленодольск или Бугульму. Нет, нельзя же вот так взять и разбросать детей по разным концам! Я попыталась еще раз поговорить об этом с главврачом. Всем жалко детей, все недовольны, но никто палец о палец не ударит. Ведь для этого надо хлопотать, обивать пороги кабинетов. А у каждого своих проблем невпроворот. Только чтобы семью прокормить, надо побегать, высунув язык... Эх, наша жизнь! Правильно говорят: голод и в ад заведет. Чего только не сделаешь ради того, чтобы набить желудок! Человеческая жизнь постепенно сводится к выживанию.

Может быть, стоит самой сходить в министерство? И, подумав немного, я отправилась туда. Мне не повезло — в министерстве шло какое-то совещание, все кабинеты были заперты. Пришлось очень долго ждать. Наконец, в коридоре начали появляться люди. Я выбрала наугад одного из мужчин посolidнее и спросила, к кому мне следует обратиться по интересующему меня вопросу. Открыв указанную дверь, я остолбенела. За большим столом с очень деловым видом сидела наш бывший главврач Людмила Герасимовна. Я уже хотела развернуться и выйти из кабинета, но Людмила Герасимовна сама остановила меня. Видимо, не могла отказать себе в удовольствии продемонстрировать мне свое торжество.

— Каким ветром занесло тебя сюда, Минсылу апа? — спросила она, приклеив к лицу улыбочку. — Ты все там же?

— Там же, — ответила я мрачно. — И никаким ветром меня не заносило. Я не бумажка, чтобы по воздуху летать. Меня сюда привела судьба наших детей. Почему вы не направите их в один детдом? У нас в группе осталось всего семеро, неужели в каком-нибудь детдоме не найдется столько мест?!

Забыв, кто передо мной, я начала объяснять, почему нельзя разлучать детей, и даже предложила:

— Если бы вы направили всех в один детдом, я поехала бы с ними и пожила там, пока они привыкнут к новой обстановке...

— Ты все такая же, — перебила меня Людмила Герасимовна. — Все так же съешь свой нос куда не следует. Тоже мне, профессор!

— При чем тут профессор! — возмутилась я, но Людмила Герасимовна не стала меня слушать.

— О-о, наконец-то я раскусила тебя! Тебе нужна слава. Ради этого сберкнижку ребенку завела... А во время телемарафона сидела надутая, как самовар...

От ее злых и несправедливых слов у меня вдруг закружилась голова и перехватило дыхание. Будто на меня вылили ушат помоев. А Людмила Герасимовна, похоже, осталась довольна тем, что ей удалось уязвить меня. Улыбка на ее лице становилась все радостнее и шире.

— Вот так, Минсылу-ханум, — сказала она торжественно, — насчет того, куда направлять детей, мы и без тебя разберемся. А ты возвращайся назад, мой свои полы, выливай горшки. Вот это — твоя работа. А если уж тебе очень жалко детей, забирай их всех к себе. У тебя, кажется, двухкомнатная квартира? Вот и живите все вместе...

От Людмилы Герасимовны я ушла в ярости. Сгоряча хотела зайти к министру, но его не оказалось на месте. Домой в тот день я не пошла, а поехала к сыновьям. Рассказала им обо всем, конечно, и о том, что наших детей скоро раскидают по всей республике.

— Но что же мы можем сделать, мама? Скажи нам, и если это в наших силах, мы тебе поможем.

— Да я не помощи у вас прошу, а от бессилия своего расстраиваюсь. Кому же, как не вам, мне рассказать об этом?

— Может, тебе бросить эту работу? Посмотри на себя. Ты же совсем в старуху превратилась! А ведь тебе всего пятьдесят пять лет. Твои ровесницы порхают, как девушки. А ты за эти два года, что работаешь с детьми, вся поседела. Ты же была такая молодая! А теперь плачешь из-за каждого ребенка, бегаешь туда-сюда, хлопочешь. Наверное, и по ночам плохо спишь. А такие, как Людмила Гересимовна, тебя же за твою доброту и оскорбляют. Такие чуть ли ни сознательно травмируют детские души, чтобы они зачерствели и в них не осталось места для доброты...

— Нет, — не соглашаюсь я, — добро не забывается. А если и забывается, то не всеми. Во всяком случае, в ту минуту, когда ребенок получает это добро, он весь преображается! Вы представить себе не можете, какое это счастье — утешить плачущего ребенка! Вы не подумайте, что я о чем-то сожалею, мне не всегда так трудно. У нас с детьми бывают такие прекрасные минуты! А вот о чем я действительно жалею, что большую часть своей жизни провела на стройке, что не пришла к детям раньше. Если Бог наградит меня силой и здоровьем, я не буду сидеть дома и впредь, я нужна им!

Сыновья заулыбались:

— Да ты только что говорила, что когда проводишь эту группу, так сразу уйдешь на пенсию.

— Да как же я их брошу! — возмутилась я. — Сейчас как раз начали привозить новых детей. Один из них — совершенный плакса. Если ему чего-нибудь не положить в ротик, он может проплакать весь день. Лучше — хлебную корочку, а то мякиш он сразу проглатывает. А еще к нам привезли близнецов. Они настолько похожи друг на друга, что совершенно невозможно различить. Кстати, о близнецах: недавно к нам привозили показать Амину с Мадиной. Вначале мы переполошились, думали, что девочек хотят нам вернуть. Оказалось, что они приехали за альбомами, помните, которые вы делали? Девочки были так красиво одеты. Волосы пушистые и блестят, как шелк. А до этого были жиденькие. Конечно, как ни ухаживай, а родительская забота — это совсем другое дело.

— Ну-у, если наша мама начнет говорить о «своих детях», то это, считай, до утра...

— Удержаться не могу! Вот еще о Васе я ничего не сказала. Вы же знаете: он сломал ногу и лежал в больнице. Моя страховка оказалась очень кстати: теперь ребенку выдали значительную сумму. Эти деньги я тут же положила на его счет. Так что пока Вася растет, сумма будет увеличиваться.

Рядом с сыновьями, даже если мы спорим, мне становится как-то легче. Они умеют относиться к жизни проще, чем я. А еще радуется, что они у меня такие дружные.

Потихоньку я начала хлопотать о том, чтобы взять Гульфию к себе. Это дело оказалось еще более хлопотным, чем я ожидала. Даже анализы пришлось сдавать... Мы первоначально договорились с Резедой так: Гульфия пока поживет со мной, а когда Резеде исполнится восемнадцать, она заберет сестренку к себе. Но просто так оставить у себя ребенка мне не разрешили. Пришлось оформлять опеку и теперь я обязана нести ответственность за девочку, пока ей не стукнет восемнадцать.

Наконец, после долгой беготни, все документы были готовы. Гульфия к тому времени уже жила у меня: я каждый день брала ее с собой на работу, а вечером уводила домой. Девочка настолько привязалась ко мне, что ходила за мной по пятам, чуть ли не уцепившись за мою юбку. Спали мы вместе, и она крепко обнимала меня за шею. Может быть, боялась, что я исчезну во сне? Дети буквально пропитаны чувством страха. Чтобы преодолеть его и поселить в их душах уверенность, нужно ой как постараться.

Так мы и жили, избавившись, наконец, от дурных мыслей о будущем Гульфии, когда неожиданно приехала Резеда. Увидев сестру, Гульфия с криком «мама!» бросилась к ней в объятия. Резеда любит сестру без памяти. Она постоянно выдумывает для нее разные игры. То на четвереньках, как лошадка, возит малышку на себе, то, превратившись в птицу, «летает» вместе с ней по комнате. Наигравшись вволю, Резеда, наконец, сказала:

— Минсылу апа, разреши мне на неделю взять Гульфию домой. Я уверена, если папа увидит ее хоть раз, он не сможет отправить ее обратно.

Я задумалась. С одной стороны, я теперь отвечаю за этого ребенка. Если она заболит, меня со свету сживут: почему я отправила ее без разрешения в деревню? Из министерства постоянно звонят, проверяют. Но, с другой стороны, в словах Резеды есть доля правды. Если девочку наконец признает ее родной отец, это будет такое счастье! Еще один человек обретет родное гнездо, опору в жизни.

Я решила рискнуть и собрала девочку в дорогу. И все же тревога не покидала меня ни на секунду. Через несколько дней я начала ждать известий. Не могла ни есть, ни спать. Наконец, через десять дней пришло письмо от Резеды.

«Минсылу апа, — писала она, — папа очень полюбил Гульфию. Говорит теперь только о ней. Каждый день что-нибудь покупает ей в магазине: платья, платочки. Раньше, бывало, после работы он часто задерживался, а теперь — бегом бежит домой. И все время беспокоится: Гульфию покормили? Гульфия

тоже полюбила папу. Отец строгаёт что-нибудь, а она тут как тут, крутится возле, играет со стружками. Папа сделал ей игрушку — птица на колесиках. Тянешь игрушку за длинную ручку, колеса крутятся, и птица машет крыльями. Сестренка в восторге! Папа говорит: «Даже смех у этого ребенка такой же, как у вашей матери!» Теперь папа очень боится, что вы заберете обратно Гульфию. Как только сестренка начинает вас вспоминать, папа чуть ли не за сердце хватается. А Гульфия часто вспоминает вас. Мы с ней вместе спим, так иногда сквозь сон она обнимает меня за шею и бормочет: «Бабуля, не отвози меня туда!» Ей, видимо, кажется, что я — это вы. Минсылу апа, папа уже и спать перестал. Он готов достать любую бумажку. Только давайте оформим все побыстрее.

И еще одно. Гульфии очень понравились козлята. Она называет их «ми-ки-ки». Завязывает им на шею ленточки, на голову надевает папину тюбетейку. А еще Гульфия любит ходить в гости к соседям. У них как раз собака ощенилась. Гульфия играет с щенками. Мы собираемся взять одного себе.

Ну ладно, Минсылу апа, надеюсь, что вы скоро ответите нам и успокоите отца. С приветом — Резеда».

После этого письма у меня будто гора с плеч свалилась. Вот ведь как разрешился этот неразрешимый, казалось бы, узел. Дай Бог, чтобы всю жизнь Гульфию так же сильно любили...

* * *

Дом ребенка закрывают на ремонт. Самых маленьких детей отправляют в больницы, а тех, что постарше, — в санатории и детдома. Суэта пугает детишек: в один момент мы вдруг обнаружили, что все малыши попрятались по углам. Васю нашли под лестницей. Его и еще нескольких детей решено отправить в Дербышки. Я хотела проводить их, но мне было велено ехать с детьми в Бугульму.

Машины уже прибыли, нас торопят. Мы судорожно одеваем детей, запасаемся едой в дорогу. Надо еще не забыть сменную одежду и игрушки. Документами занимаются воспитатели. Моя обязанность — одеть детей, но их невозможно найти. Тщетно пытаюсь отыскать Веру. После долгих хождений обнаружила ее под вешалкой для халатов. Она вцепилась в них мертвой хваткой, так что оторвать невозможно. Я уговариваю ее: «Мы сейчас поедem на машине далеко-далеко. Я тоже еду, и мама Надя едет. В дороге будет очень интересно», — и только после этого Вера выбирается из своего укрытия.

Когда мы уже уселись в автобус, я вдруг вспомнила, что забыла взять детские альбомы. Пришлось бежать за ними. Я снова увидела пустые, развороченные шкафы, разбросанную повсюду детскую одежду, и почувствовала, как к горлу подступает горячий ком. Стало трудно дышать и нестерпимо захотелось плакать навзрыд, как в детстве. Боже мой, ведь эта одежда еще хранит тепло их маленьких тел. В здании было непривычно тихо и от этого особенно грустно. Даже попугаев в клетке не слышно. Неужели и они понимают, что сейчас наши дети разъезжаются в разные стороны и уже никогда не увидят друг друга?!

Оказывается, вся красота и тепло этого дома — в его обитателях. А без них здесь неуютно и холодно. Мы, конечно, все почистим и покрасим, чтобы не осталось и следов от слезок наших детей, которые капали здесь на протяжении двух-трех лет. На новую краску будут капать новые слезы. И новые подушки будут впитывать в себя влагу безутешного детского горя...

Во дворе просигналила машина, и я очнулась, вспомнив, для чего вернулась. Отыскав альбомы, я еще раз окинула все вокруг прощальным взором и выбежала на воздух. Когда я уже заносила ногу, чтобы сесть в автобус, кто-то тронул меня сзади. Я обернулась: передо мной стояла мать Лейлы. Тусклые глаза, грязная одежда. «Отдайте, отдайте мне дочку. Где она? Вы хотите запрягать ее в сумасшедший дом, как и меня! Ваш приют — это логово дракона. Дракон ловит детей и приносит их сюда, а вы сосете их кровь. И не только ваш дом, но и весь мир — это убежище дракона. Вон там, видишь, начинается вихрь? — Я невольно посмотрела в ту сторону, куда она показала. Там и в самом деле собирались тучи. — Вы думаете, что это ветер? А ведь это дракон, и он пришел за детьми. Он сначала уничтожит всех детей, а потом возьмется за вас, взрослых».

Увидев, что я не могу вырваться из рук непрошеной гостьи, шофер и воспитательница вышли из автобуса и, взяв женщину с обеих сторон под руки, отвели ее на ближайшую скамейку.

— Сидите здесь, — строго сказал шофер, — ждите. Может быть, вот этот самый ветер и принесет вам вашу дочку.

Женщина вдруг поверила: «Нет, тогда я не буду сидеть здесь и ждать. Раз моя дочка там, я пойду к ней, — сказала она и побежала в ту сторону, где начинался ураган. А мы, благословясь, тронулись в путь.

Ох и тяжелый это был день! Как только мы отъехали, начался дождь с градом. Дорогу моментально развезло. Испуганные молнией и громом, детишки притихли и прижались к нам крепче. Они и раньше боялись грозы: кто прятался под кровать, кто под одеяло, а кто-то бежал к нам, «под крылышко». Но сейчас, похоже, гроза показалась им особенно страшной, ведь многие ехали в машине впервые...

Единственный, кто не боялся грозы, — Гафур. Едва начиналась гроза, он всегда просился на подоконник. Гафур с удовольствием наблюдал, как молния разрезает черные тучи, но особое восхищение

у него вызывал небесный грохот. А мы хвалили его: наш Гафур будет смелым парнем, ему все нипочем, он будет с молниями играть... Дай Бог ему счастья. Совершенно неожиданно за ним приехали бабушка с дедушкой. Когда прощались, Гафур как-то серьезно, по-взрослому, пожал каждому из нас руку.

Гроза понемногу стихла, и когда мы достигли парома через Каму, выглянуло солнце. Дети к тому времени уже спали, но — то ли солнечные лучи их потревожили, то ли автобус слишком резко затормозил — они сразу повыскакивали с мест. Да, дети действительно очень любят солнце. Они всегда собирались у подоконников в солнечные дни. Все живое в мире стремится к свету и свободе. А свобода наших деток — это свобода птички в клетке...

Паром пришлось долго ждать. Воспользовавшись этим, мы вывели детей из автобуса, спустились к Каме и умыли. Поменяли и одежду — многих в дороге рвало. А когда дали детишкам немного перекусить, они совершенно пришли в себя и даже развеселились, с восторгом наблюдая за чайками. До сих пор малыши никогда не видели реку и бегущие одна за другой волны. Может быть, они представляли себя такой же волной? К какому же берегу прибьет их река жизни? По каким морям предстоит им плыть в поисках счастья? Тяжелые мысли тревожат душу. Будущее этих детей покрыто пеленой неизвестности. Кто же развеет этот туман?..

В Бугульму приехали часам к трем. В детдоме шел ремонт. Двор был полон мусора, а потому нам с большим трудом удалось провести детей внутрь здания. Было время «тихого часа». Я повела детей в ванную — умыться с дороги, но обнаружила, что теплой воды нет. Мыла тоже не было. Я наспех передела детишек, и, пока воспитатели просматривали документы и оформляли детей, вышла во двор. На крыльце сидел молоденький солдат.

— Вы детей привезли? — спросил он.

— Да... Но, кажется, не вовремя.

— Ничего, тетя, ремонт закончится, а люди здесь хорошие. Я прожил тут три года. Потом меня отправили в Суворовское училище. Теперь каждое увольнение я приезжаю сюда. Вот, приготовил подарки своим маленьким приятелям.

Он раскрыл ладонь: на ней лежали значки, звездочки, пуговицы, которые пришивают к военной форме. Я вдруг расчувствовалась: как жестоко преследует человека его сиротство. Обычный ребенок поехал бы к родителям, и те угощали бы его. А этот сидит на каменных ступеньках, может быть, даже голодный. Наверняка в его жизни есть радости и горести, о которых он хотел бы рассказать самым близким и дорогим людям. Но никто не обращает на него внимания. Может, здесь уже и не осталось никого, кто знал этого паренька? Как это страшно — не знать, где приткнуть голову в тяжелые минуты...

В открытую форточку вдруг донесся чей-то жалобный плач. Так может надрываться только наша Вера. Я побежала на голос.

Так и есть, плакала Вера. У детей так: заплачет один, а другие уже готовы его поддержать. Так что через пару минут мы уже имели музыкальный хор. Да, дети понимают, что мы оставляем их здесь, среди чужих людей. А нам даже нечем их утешить, потому что для этого пришлось бы врать. Не могу же я сказать им, что остаюсь с ними. Эта ложь ударит их посильнее самой жестокой правды.

Только покормив детей и уложив их спать, мы смогли двинуться в обратный путь. Прощаясь, я погладила каждого спящего малыша по голове и мысленно сказала: «Не обижайтесь на нас, деточки. Наверно, вы думаете, что взрослые могут все, но это, к сожалению, не так. Многие благие намерения разбиваются о жестокость и бессердечие жизни. Зло неуничтожимо, как сорняк. Судьба уж в который раз бьет вас по лицу, да так, что искры из глаз и кровь из носа! И все же мы изо всех сил старались стереть с ваших лиц печать сиротства и, насколько это возможно, залечить ваши душевные раны. Пусть наша нежность и ласка будут согревать и освещать вашу жизнь в самые трудные ее моменты. Никогда не забывайте, что у вас есть мы. А мы — это плечо, на которое вы можете опереться, уши — чтобы вы могли выговориться, рука — чтобы помочь вам встать на ноги, если вы упадете... Никогда не отвечайте злом на зло, местью на месть. Пусть ваши слезы, упав на землю, вернуться к свету цветами добра...

Да, дворцы вашего счастья разрушены. И вам придется строить на этих развалинах новые дворцы. Может быть, они будут не столь величественны и не столь светлы, но вы все равно должны их построить. Вы обязательно когда-нибудь вырветесь из этого Дома — Дома, где разбиваются сердца, — и будете жить во дворцах счастья, согретых теплом ваших собственных рук. Да будет так. Желаю вам счастья, дети мои».

Перевод Гаухар Хасановой

От составителей

Тауфик Айди (перевод Г.Садыковой)
Роберт Батулла (перевод авторский)
Марсель Галиев (перевод Г.Хасановой)
Талгат Галиуллин (перевод Н.Мухаметшиной)
Ахат Гаффар (перевод Г.Хасановой, М.Сафина)
Набира Гиматдинова (перевод Ф.Ситдиковой)
Ркаил Зайдулла (перевод Р.Сабирова, Г.Хасановой)
Заки Зайнуллин (перевод Ф.Фаизова)
Марат Закир (перевод Н.Краевой)
Лаис Зулькарнай (перевод Ф.Ситдиковой)
Вахит Имамов (перевод Г.Хасановой)
Лябиба Ихсанова (перевод Н.Краевой)
Рафкат Карами (перевод З.Халитовой)
Камиль Каримов (перевод Н.Ишмухаметова)
Кави Латып (перевод С.Хозиной)
Лябиб Лерон (перевод Г.Хасановой)
Мадина Маликова (перевод Н.Ишмухаметова)
Шаида Максудова-Ахунова (перевод Р.Ахунова)
Туфан Миннуллин (переводы Ф.Фаизова, Р.Сабирова)
Шагинур Мустафин (перевод М.Сафина)
Рифа Рахман (перевод Т.Шарафиевой)
Радиф Садри (перевод Г.Хасановой)
Данил Салихов (перевод Н.Ишмухаметова)
Индуc Сирматов (перевод Р.Кожевниковой)
Мусагит Хабибуллин (перевод Н.Краевой)
Айдар Халим (перевод Ф.Фаизова)
Лирон Хамидуллин (перевод Б.Хамидуллина)
Альберт Хасанов (перевод Н.Иванова)
Роза Хафизова (перевод З.Халитовой)
Магсум Хузин (перевод Ф.Ситдиковой)
Зиннур Хуснияр (перевод Ф.Фаизова)
Султан Шамси (перевод Н.Ишмухаметова)
Фанис Яруллин (перевод Г.Хасановой)

Литературно-художественное издание

СОВРЕМЕННАЯ ТАТАРСКАЯ ПРОЗА

Перевод с татарского

Составители: **Газизова** Лилия Рифкатовна,
Мальшев Сергей Владимирович

Казань. Татарское книжное издательство. 2007

Редактор *А.Д.Алишева*

Художник *Г.В.Панкратова*

Художественный редактор *Р.Г.Шамсутдинов*

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С.Н.Нуриевой*

Корректоры *А.Г.Хамитова, Н.И.Максимова*

Оригинал-макет подписан в печать 17.04.2007. Формат 84×108 ¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура «School book».
Печать офсетная. Печ. л. 35,28 + форз. 0,21. Усл. кр.-отт. 36,54. Уч. изд. л. 37,49 + форз. 0,36. Тираж 2000 экз. Заказ С-465.

ГУП Татарское книжное издательство. 420111. Казань, ул. Баумана, 19.

<http://tatkniga.ru>

e-mail: tki@tatkniga.ru

Оригинал-макет подготовлен с помощью пакета программ Jahat™.

ГУП издательско-полиграфический комплекс «Идел-Пресс».

420066. Казань, ул. Декабристов, 2.